

В. В. ШУЛЬГИН

ДЕМ
—
1920

«СОВРЕМЕНИК»

МОСКВА

1989

Дмитрий Жуков

ЖИЗНЬ И КНИГИ

В. В. ШУЛЬГИНА

Общественная редколлегия серии «Память»:

Сахаров А. Н.— доктор ист. наук, председатель
Буганов В. И.— доктор ист. наук
Жуков Д. А.— член СП
Каргалов В. В.— доктор ист. наук
Лихачев Д. С.— академик
Осетров Е. И.— член СП
Ученова В. В.— доктор филол. наук

Шульгин В. В.

Ш95 **Дни. 1920:** Записки /Сост. и авт. вст. ст. Д. А. Жуков; Коммент. Ю. В. Мухачева; Худож. А. Сергеев.— М.: Современник, 1989.—559 с— («Память»).

При подписании Николаем II отречения от престола в числе очень немногих высокопоставленных лиц, принимавших это отречение, был автор данной книги — В. В. Шульгин. Прожив без малого сто лет, он стал очевидцем самых бурных исторических событий начала нашего века: реформ П. А. Столыпина, первой мировой, распутищины, предреволюционных бурь в Государственной думе, падения династии Романовых, прихода Октября и драмы гражданской войны. Это и нашло отражение в его мемуарах «Дни» и «1920» и описано так, как все происшедшее понимал защитник монархии и один из организаторов белого движения.

4702010200-087
М106(03)—89

без

о б ъ я в л .

ББК 84Р7+63.3(2)

© Издательство «Современник», 1989 г. Составление, подготовка текстов, вступительная статья, комментарий, художественное оформление.

ISBN 5—270—00808—4

Книги монархиста Василия Витальевича Шульгина «Дни» и «1920» я получил по наследству в переломном, 1953 году. В марте умер Сталин и умер от рака пищевода профессор Николай Николаевич Маркелов, муж моей тети Наталии Ивановны. Тогда офицер, слушатель военной академии, я был в самой гуще народных событий — дежурил в оцеплении на Пушкинской улице, сдерживая калечившие друг друга толпы, охваченные то ли горем, то ли жаждой стать свидетелями исторического момента.

Не знаю, что творилось тогда в высшем круге властителей, как всегда делившем пирог в глубокой тайне от народа, но публично лидер все не объявлялся. Тут нет места делиться своими воспоминаниями и впечатлениями, но помню, как я забежал к умирающему Николаю Николаевичу и он спросил:

- А кто же теперь во главе государства?
- Не объявили еще.

— Негоже быть России без царя,— сказал Николай Николаевич, укоризненно покачав головой.

Тогда было странно это слышать мне, воспитанному в духе Краткого курса. Но Николай Николаевич был человеком старой формации, воспринимавшим единовластие естественно, кончившим Высшее императорское техническое училище (ныне Баумана) еще в 1908 году.

Не знаю уж, как уцелели у осторожного Николая Николаевича две книги Шульгина, малого формата, но многостраничные? Может быть, оттого, что они были изданы в 1926 году, а хранение такой литературы преследовалось менее жестоко, чем сочинения личных врагов Сталина? Или в душе дядя Коля был все-таки монархистом, и взгляды Шульгина ему импонировали, ибо опыт говорил — нет ничего на свете страшнее безвластия и смуты.

Для меня доставшиеся печальным образом «Дни» и «1920» стали источником более глубокого проникновения в прошлое, хотя я уже не раз перечитывал шолоховский «Тихий Дон». Помнится, в то время много писали о «культе личности», но чьей личности — умалчивали до самого 1956 года, боязливо так умалчивали, словно боялись, что грозный владыка

восстанет из-под стеклянного колпака в мавзолее, где он лежал рядом с Лениным.

История многоголосо.

Временами она представляется плоской, похожей на пачку тщательно отобранных фотографий. Отбирают их живые, руководствуясь мертвыми схемами. Фотографии не говорят — они иллюстрируют. Документы уже более слышны, но на них лежит печать канцеляризма, позволяющая толковать их так и этак. Мемуары говорят, если только они все не переписаны на магнитную пленку с одного оригинала (разумеется, с добавлением более или менее правдоподобных подробностей). Читая хорошую художественную литературу, ток крови в венах истории слышишь порой лучше, чем изучая научные труды.

Считайте удачей, если читаете мемуары, в которых свидетельства очевидца неотторжимы от большого литературного дара. Но и не забывайте, что талант не может быть бесстрастным, что каждый видит историческую правду со своей колокольни. Для истории ценны любые свидетельства, а тем более запечатленные талантливо.

Может быть, раньше других о сохранении многоголосья истории подумал В. И. Ленин. В январе 1920 года он писал замнаркому народного просвещения М. Н. Покровскому: «Прошу сделать распоряжение, чтобы наши государств. библиотеки (Рум. муз., Петрогр. Публ. и др.) немедленно начали собирать и хранить **все белогвардейские** газеты (рус. и загр.). ...»

Особенно его интересовали мемуары, которые он читал внимательно, испещряя поля пометами. В его кремлевской библиотеке были «Временное правительство» Набокова, «История второй русской революции» Милокова, а в рабочем кабинете — «Очерки русской смуты» Деникина, «Начертание зверя» Врангеля и две книги Шульгина — «Нечто фантастическое» и «1920». Все эти книги были доставлены ему из-за рубежа...

Публицист И. В. Василевский (Не-Буква) напишет в 1925 году: «... книги В. В. Шульгина представляются самыми яркими и наиболее талантливыми в длинном списке белых мемуаров... Это, конечно, не от той идейной позиции, которую занимает автор, а от той ценной откровенности, какая ему свойственна».

Шульгин был сознательным свидетелем и участником великих событий эпохи в течение 60 лет. Яростный монархист, он боролся с теми, кто желал России поражения от Японии и видел в этом залог либеральных реформ. Шульгин с 1907 года был членом Государственной думы, поверил в Столыпи-

на и был его почитателем. Во время первой мировой войны вошел в так называемый «Прогрессивный блок», который вступил в конфликт с короной, что, по его мнению, привело к февральской революции 1917 года. Шульгин вместе с Гучковым принял отречение от престола императора Николая II марта 1917 года. Поддерживал Керенского и однажды на собрании членов Государственной думы бросил в адрес социалистов:

— Мы предпочитаем быть нищими, но нищими в своей стране. Если вы можете нам сохранить эту страну и спасти ее, раздевайте нас, мы об этом плакать не будем.

Ленин ответил ему в «Правде» 19 мая 1917 года:

«Не запугивайте, г. Шульгин! Даже когда мы будем у власти, мы вас не «разденем», а обеспечим вам хорошую одежду и хорошую пищу, на условии работы, вполне вам подильной и привычной!»

После Октябрьской революции Шульгин вместе с частью офицеров и интеллигенции возмутился Брестским миром и объявил гражданскую войну большевикам, а потом оправдывался, что ему неведомо было мнение Ленина, хотя и подписавшего этот мир, но назвавшего его «гнусным» и «архитаяжким».

Шульгин был в числе основателей Добровольческой (белой) армии в ноябре 1917 года. Во всяком случае, в их списке он стоял в третьей десятке. Помогал изо всех сил пером и иными средствами генералам Алексееву, Деникину, Врангелю.

Очувшись в эмиграции, написал несколько книг и среди них «Дни» и «1920», в которой показал, почему белые проиграли войну. Был уверен, что публикация этих книг в Советском Союзе осуществлялась по личному желанию Ленина.

В 1925—1926 годах тайно посетил Советскую Россию, увидел нэп и описал впечатления в книге «Три столицы», в которой допустил грубые выпады против Ленина, о чем впоследствии сожалел.

В конце тридцатых Шульгин оставил политическую деятельность, не желая примыкать к части эмиграции, вившей в Гитлере «освободителя», и жил до октября 1944 года в небольшом югославском городке Сремские Карловцы. В январе следующего года его «препроводили» в Москву, судили за тридцатилетнюю (1907—1937) антикоммунистическую деятельность. Он надеялся на 10-летнюю давность, но тогдашнее правосудие рассудило иначе.

Шульгин был освобожден в 1956 году вместе со многими другими и поселен во Владимире.

Он увидел могучую державу, еще не впавшую в период застоя, и смысл его новых писаний понял был так:

Мы, монархисты, мечтали о сильной России, коммунисты ее создали — слава коммунистам! Есть еще русские эмигранты, занимающиеся «холодной войной» и мечтающие о «горячей». Теперь в России никого к стенке не ставят, тут нет ни единого человека, который хотел бы войны, а всё, кроме опасности

атомной войны,— пустяки. «Свергать Советскую власть не надо»,— великодушно говорил он эмигрантам, доживавшим свой век в различных уголках Европы и Америки. Хвалил все, что видел вокруг, с наслаждением чело- века, долго не видевшего воли. Откровенно и благодарно льстил Хрущеву, но не удержался от такого пассажа:

«...мы смотрели балет. Балет этот очень занятный, в него вложена мысль. Представлено, как добродетельная кукуруза борется со скверными сорняками. В смысле хореографическом интересно применение топота для изображения гнева...»

Шпилька, она и есть шпилька. Она прошла цензуру незамеченной. Сохранить нечто шульгинское ему позволили лишь в одном заявлении: «Я — мистик. Мистицизм плохо совместим с материализмом». У этих слов будет продолжение...

1965 год памятен для меня резко обозначившейся тягой к познанию родной истории и восстановлению национального самосознания. Это был год создания Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в рамках которого регулярно проводились «вторники», посещавшиеся писателями, историками, архитекторами, режиссерами, всякого рода русскими интеллигентами, объединенными желанием общаться и отстаивать наше культурное наследие...

Так вот, после одного из «вторников», проходивших в монастыре на Петровке, 28, мы с ныне весьма известным поэтом двинулись вниз по улице и вышли к «Метрополю», где у входа в кинотеатр висела скромная афиша документального фильма «Перед судом истории» режиссера Ф. Эрмлера. То ли сеанс подоспел, то ли заморозило слово «история», но мы пошли на фильм. И не пожалели, тем более что он исчез с экрана через несколько дней навсегда.

Что мы увидели?

Первые кадры оказались экранизированным вариантом книги «Дни». И, как я потом узнал, это и было его первоначальное название. Но то ли по замыслу режиссера, то ли по указанию свыше название изменилось, обнаруживая благую мысль — судить самого Шульгина и, в его лице, контрреволюцию. Судить устами актера Свисту нова, который играл ученого-историка, вооруженного марксистско-ленинской методологией, но с незапоминающимся «средним» лицом и с вложенным в его уста текстом, невыразительным и приевшимся, как страницы из школьного учебника обществоведения.

Его собеседнику — Василию Витальевичу Шульгину восемьдесят пять лет. Голос его старчески глуховат, но богат интонациями, от трагичной до ироничной. Он высок, худ, чуть согбен, но чертовски элегантен в своем обыкновенном московшвеевском пальто, коротковатых брюках. Движения его немощны, но удивительно пластичны. Совершенно белая и пышная

борода, большой нос с утолщенной переносицей, делающей его похожим на греческий, широко расставленные на редкость живые темные глаза — все это привлекает внимание...

Его хотели показать как «осколок империи», но обаяние личности Шульгина было таково, что оно сразу же отодвинуло творческие замыслы на второй план. С самого его появления на экране в зале наступила напряженная тишина. Зрители, казалось, боялись упустить хотя бы единое слово, сказанное обманчиво тихо. Сказанное в Екатерининском зале Таврического дворца, где некогда заседала Государственная дума. От белых колонн хоров к дубовой кафедре сбегают амфитеатром ряды кресел. За кафедрой висел когда-то большой портрет императора Николая II работы Репина, а в креслах кипели парламентские страсти.

Вот мелькнула фотография Шульгина того времени — усы лихо закручены стрелками вверх. Слушая теперь его глуховатый ровный голос, трудно представить себе, каков он был тогда, тридцативосьмилетний, в канун революции, уже побывав на фронте, как говорил он здесь без микрофона, а голос его без усилий достигал самых последних рядов амфитеатра, неизменно вызывая одобрение одних и негодование других:

«...и когда вновь была созвана Государственная дума, я принес сюда горечь бесконечных путей и отступлений и закипающее негодование армии против тыла».

А потом была Февральская революция. Страх Шульгина перед ней и его отвращение к «толпе серо-рыжей солдатни» и черноватому «штатско-рабочеподобному народу», заполнившему Таврический дворец. Попытка думских деятелей перехватить власть у народа. Монархия обречена, и Шульгин с Гучковым делают последнюю отчаянную попытку спасти ее, заставить государя отречься в пользу наследника... «У Николая Александровича не было качеств, необходимых для царя: властности и твердости». Надо отречься. «Ах, Ваше Величество! Если бы вы это сделали раньше! Может быть, тогда всего этого...» — «Вы думаете, обошлось бы?» — вопросом ответил царь.

Шульгин убежден, что своевременное отречение вывело бы родину из туника, помогло избежать кровопролития. Не удалось...

«И вот что тяготит мою душу. Я чувствую и до сих пор не то что сознание вины, не то что угрызения совести, а некую великую грусть».

История часто бывает жестокой. Это касается не только участи миллионов, но и личного поведения каждого. Убежденный монархист Шульгин настаивает на отречении монарха, сознавая эту свою роль, так не вязавшуюся с его собственными убеждениями. Увы! История сыграла с ним злую шутку, но признаться в этом было трудно...

В фильме ему напоминают слова из «Дней» о том, что только «свинец может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя» — восставший народ. И еще: «Николай I повесил пять декабристов,

но если Николай II расстреляет 50 000 «февралистов», то это будет за дешево купленное спасение России».

«Говорил, не отрекаюсь... Но вы как будто бы в данном случае отрицаете течение времени. Что же вы думаете?.. Долголетие... Разве оно дается для того, чтобы старик повторял слова молодого? Дожить почти до ста лет и ничему не научиться?.. Разве я могу сейчас, имея белую бороду, говорить, как тот Шульгин, с усиками?» И потом... это было бы исповедыванием доктрины иезуитов: «Цель оправдывает средства».

Не прошло и года, как я познакомился с самим Шульгиным и узнал многое из того, что не попало в печатный станок. Общение с целлулоидной пленкой не доносит и сотой доли того, что дает нам живой человек. Жалею лишь об одном — записывал мало, не предполагая изменения обстоятельств и возможности проявления профессионального интереса к Шульгину. А может быть, это и к лучшему — просто разговаривать, а не интервьюировать...

В октябре месяце 1966 года я оказался в Доме творчества в Гагре. В горах выпал снег, и стояла та удивительно ясная, солнечная погода, когда солнце не печет, а греет, по вечерам свежо, и на душе радостно от одного сознания, что где-то на севере уже промозгло... Василий Витальевич Шульгин сидел на скамье под сенью каких-то жестяных южных растений в окружении... дам всех возрастов и комплекций. Они ахали, заглядывали ему в глаза, а он говорил им своим глуховатым голосом комплименты, никогда не забывая об истине, что мужчина любит глазами, а женщина ушами. Ему было под девяносто лет, и тем не менее дамы липли всякий день к нему как мухи, желая урвать свою порцию его обаяния и комплиментов.

Литераторы солидно интересовались мнениями Шульгина о различных периодах отечественной истории за последние сто лет, особенно об отречении Николая Второго. Монархическое прошлое Василия Витальевича шекотало воображение и вызывало ощущение некоторого вольнодумства, поскольку спрашивавшие получили крепкую закваску в условиях тирании культа. Любопытствовавшим он отвечал со сдержанной иронией:

— Я за самодержавие... Нужен самодержец! А где он?

Порой он тяжеломерно шутил по поводу несообразностей нашего быта и языка:

— Не понимаю, почему к прекрасному полу у вас обращаются — «девушка, девушка...». Ведь можно и ошибиться...

Василий Витальевич был дряхл. Более живой и элегантный в фильме, он за несколько прошедших лет сильно постарел, но по-прежнему был величествен и все бодрился на прогулках, переходил на подобие строевого

шага и спрашивал шутливо, не слишком ли быстрым темпом мы двигаемся. Мы уже встречались каждый день, разговаривали часами... Не помню, как я был представлен его жене Марии Дмитриевне, которая была моложе него лет на двадцать, но тоже с совершенно седыми роскошными волосами и «следами белой красоты» на еще гладком лице. Она была ворчлива и сердилась на публику, которая пристает к «дедушке» с глупыми вопросами. Всегда имела про запас лакомые кусочки для всех окрестных собак и котов, которые были верными ее друзьями, регулярно являлись на свидания и имели имена. Одного она звала «Пятницей», другого — «Вторником». Глядя как-то на ласкающуюся к Марии Дмитриевне собаку, Василий Витальевич сказал:

— Прекрасная женщина... Марья Дмитриевна. Только вот собачница. Но это не худший недостаток для жены...

После ареста Шульгина в 1944 году Мария Дмитриевна тайком перебралась из Сремских Карловцев в Венгрию, где жила одна по 1956 год, стала свидетельницей венгерских событий, а потом уж воссоединилась с Василием Витальевичем во Владимире. Она принимала самое деятельное участие в наших разговорах и проявляла при этом весьма задиристый нрав, далеко не во всем соглашаясь с «дедушкой». Выяснилось, что когда ему назначили пенсию в 200 рублей, она обиделась, и Шульгину пришлось сделать так, чтобы эту пенсию поделили поровну — ему и ей доставляла по 100 рублей.

Мария Дмитриевна рассказала мне, что у эмиграции в Югославию была заметная литература. Да и сам Василий Витальевич, отошедший в тридцатые годы от политики, много писал. Владея латынью, он перед войной много работал в монастырских библиотеках Далмации, прекрасного побережья Адриатического моря, и создал книгу о далматинском ренессансе — «Страна островов и поэтов». После ареста Шульгина рукопись, как она сказала, следователи зачитали...

Я сказал, что собираюсь поехать в Югославию, и Шульгин тут же стал просить меня, чтобы я зашел к их знакомым в Сремских Карловцах, у которых, кроме изъятого при аресте, оставалось много рукописей Василия Витальевича, фотографий, книг, дневников...

Я предвкушал, как первым прикоснусь к бумагам, ставшим за эти десятилетия историческими документами, но это уже другая история, и до нее, как и до многого другого, еще дойдет дело...

Как-то, гуляя по набережной, мы заговорили о русских романах. Старик оживился, рассказал, как нашел в бумагах матери ноты старинных русских романсов. Он напевал их, вдруг обнаружив еще и обширную музыкальную память...

Слушая, я курил. Курил, чувствуя себя омерзительно, проклиная себя за слабость, отсутствие воли, оправдываясь тем, что не могу работать

без сигареты. Курю и сейчас... А Василий Витальевич подлил тогда масла в огонь:

— Курите! Я бросил при романтических обстоятельствах. В тридцать лет. Я был влюблен. Оба курили. Продавались такие папиросы... в желто-зеленых обертках. Она через несколько лет умерла... И я сказал, что до смерти не закурю... Правда, один раз пришлось закурить, но я не затягивался. В девятьсот двадцатом в Одессе меня хотели взять двое... Чекисты. Я с беспечным видом вошел в табачный магазин, купил папиросы и закурил... Но ни это, ни измененная внешность не помогли. Пришлось побежать. Следом — мои сыновья, которые подали мне сигнал об опасности. А те, двое, были грузноваты и отстали. Сыновья потом говорили: «Папа, как ты бежал!»

Потом он вдруг добавил:

— Можно я буду звать вас Димой? У меня сын Дима.

Я был тронут... до всхлипа. Видимо, понравился старику...

Но что же это получается? Передаю разговоры, в которые то и дело вторгается давнее прошлое. Да еще обещаю в дальнейшем развитие некоторых разговоров... Не пора ли рассказывать по порядку, описать дорогу почти в сто лет, как и положено в добропорядочных биографиях. Чтобы даже не подготовленный исторически читатель понял, что к чему...

Василий Витальевич Шульгин родился 13 января 1878 года в Киеве, а скончался 15 февраля 1976 года во Владимире, прожив действительно почти сто лет, за которые человечество шагнуло вперед настолько, что опередило самые фантастические предположения, испытало самые кровавые войны в истории и революции, определившие поступь этой самой истории...

Отец его, профессор истории Киевского университета святого Владимира Виталий Яковлевич Шульгин, в 1864 году создал газету «Киевлянин». Передовая статья первого номера газеты заканчивалась словами: «Это край русский, русский, русский!» А жители Киева в то время были в основном поляки и евреи, кругом же в саманных хатах, крытых соломой, с глиняными полами, устланными ряднами, жили миллионы малороссов, а ныне украинцев, возвращавших обильные хлеба на черноземе, жирно блестящем на щедром солнце, когда его отваливал лемех плуга...

Шульгин возрос на этом противоречии, впитав его с младых ногтей. Самим рождением ему уготовано было стать журналистом, и взгляды его тоже были наследственными. В тот год, когда родился Шульгин, отец его скончался, и мать вскоре вышла замуж за профессора Дмитрия Ивановича Пихно, преподававшего политическую экономию в том же Киевском университете и взявшего на себя редактирование «Киевлянина». Василий

Витальевич всю жизнь относился к отчиму с величайшим почтением и разделял его убеждения.

В 1886 году Пихно был приглашен в Петербург на службу в министерство финансов и произведен в чин действительного статского советника; то есть стал штатским генералом, «его превосходительством», а следовательно, наследственным дворянином, каковое право получили и его дети.

Д. И. Пихно, как и С. Ю. Витте, его школьный товарищ, занимался железнодорожными тарифами, что было чрезвычайно важно для государства со стремительно развивавшейся промышленностью. Пихно пригласил в Петербург тогдашний министр финансов Н. Х. Бунге, тоже киевлянин, из «русских немцев», крестный отец Василия Шульгина. Мальчик приехал в столицу вместе с отчимом, и первым его впечатлением был ужас при виде крестного в расшитом золотом мундире и... подштанниках. Оказалось, что это белые суконные брюки, поскольку Бунге только что ездил представляться государю.

Во время пребывания в Петербурге случилась катастрофа в Борках: царский поезд рухнул с откоса. Витте предупреждал об опасности, и это стало началом его блестящей карьеры. Он строил железные дороги и поправлял российские финансы за счет... казенной монополии на водку, одновременно учреждая общества трезвости. Говорили, что он спаивает Россию. Сам Шульгин в книге «Годы» писал, что «картины, разыгрывавшиеся перед магазинами «монопольки», были отвратительны. Раньше люди пили в кабаках и корчмах. Там они сидели за столами и кое-чем закусывали. И как-никак не только орали пьяные песни, но иногда и беседовали. Кабак был в некотором роде клубом, хотя и низкопробным. После реформы кабаки закрылись. Потребители водки пили ее прямо из горлышка на улице, и упившиеся лежали тут же».

Прошло почти сто лет, а вопросы: пить или не пить, и если пить, то где, и действительны ли общества трезвости — остаются открытыми...

При Витте начала строиться Сибирская железная дорога. Оттого на карикатурном памятнике Александру III, изваянном Паоло Трубецким, было начертано: «Строителю Великого Сибирского пути».

Витте создал в России золотой запас в полтора миллиарда рублей и привлек иностранные капиталы в сумме до трех миллиардов рублей. Он же хотел передать надельную общинную землю в личную собственность крестьян. Это удалось, однако, сделать П. А. Столыпину законом 9 ноября 1906 года, что, как считал Шульгин, было причиной лютой ненависти Витте к Столыпину.

Но все это уже было позже. А тогда в столице Пихно не поладил с начальством и вернулся с маленьким Шульгиным в Киев. Мальчик поступил во Вторую киевскую гимназию, где учились дети самых разных национальностей, по большей части — зажиточных евреев. И не то что никакой национальной розни, вспоминал Шульгин, не было, никто даже не

интересовался самой национальностью — были лишь хорошие и плохие товарищи...

Во благовремении Шульгин поступил в Киевский университет на юридический факультет и здесь, в 1899 году, впервые столкнулся с таким явлением, как «студенческие беспорядки». Возникли они в Петербурге, где уличная демонстрация была разогнана казаками. Когда известие это достигло Киева, большая часть тамошних студентов в знак протеста против насилия казаков решила прекратить учиться и выкинула из аудиторий профессоров и небастующих студентов. Индивидуалист Шульгин счел Это «явным и наглым насилием» против его свободной личности, тем более что выходило по поговорке: «В огороде бузина, а в Киеве...»

«Антисемитом я стал на последнем курсе университета. И в этот же день, и по тем же причинам я стал «правым», «консерватором», «националистом», «белым», ну словом тем, что я есть сейчас...» — писал Шульгин в конце двадцатых годов.

Почему?

Во-первых, он заметил, что в жужжащей студенческой толпе преобладают евреи и они же верховодят «левыми». Сам опытный фотограф, он заметил также, что «чистая, святая молодежь» распространяла поддельные фотографии, изображавшие избивание студентов казаками, чистый фотомонтаж.

Во-вторых, он решился на резкий отпор бастующим студентам вплоть до готовности пустить в ход спрятанный за пазухой револьвер, объединив вокруг себя не только русских, но своих друзей-евреев, которым пришлось потом несладко. После выпуска, как и иудеям, места им при царском режиме в качестве чиновников или офицеров не было. Они становились людьми свободных профессий. А «уже настолько была распространена в то время известного рода партийность в мире адвокатском, писательском, артистическом, что не разделявшие оппозиционно-революционных доктрин сейчас же попадали на черную доску: перед ними закрывались все двери».

Такова была действительность. Сам же Шульгин после университета стал земским гласным. Под крылышком отчима Пихно, владельца «Киевлянина», ввязываясь в журнальные драки, оттачивая в них свое перо.

Какова же была позиция «Киевлянина»?

Пихно на склоне лет был назначен членом Государственного совета, где боролся с Витте. В отличие от своего прогрессивного собрата, он стоял за неограниченную царскую власть. И именно с этой точки зрения критиковал в своей газете зарвавшихся генерал-губернаторов, коррупцию, несправедливости, чинимые по отношению к населению. Перед 1905 годом «Киевлянин» имел репутацию правого, но честного печатного органа.

Давид Заславский, написавший книгу о В. В. Шульгине, которая издавалась в двадцатые годы неоднократно и в одних изданиях называлась

«Рыцарь монархии В. В. Шульгин», а в других — «Рыцарь черной сотни В. В. Шульгин», писал о позиции газеты: «Внутренняя политика должна быть построена на основе благожелательного консерватизма, с уважением к просвещению, к некоторой невинной свободе личности с признанием авторитета законности». Книга Заславского разоблачительна, но она носит характер все-таки уважительный к ее герою, к его честности перед собой и людьми, к его стремлению говорить правду. Он писал, как Шульгин в «Киевлянине» не раз выступал против полицейского произвола в преследовании евреев, и отмечал, что немалую тут роль играло то соображение, что еврейское бесправие развращает полицию — царская же полиция должна быть честна.

И он признавал, что у Шульгина «не было предвзятой, ожесточенной ненависти к левой интеллигенции и студентам, рабочим, евреям. Скорее, было презрительно-пренебрежительное к ним отношение».

Именно такая позиция была характерна для Шульгина, когда пришел революционный 1905 год.

Шульгин был в курсе всех политических событий, став ведущим журналистом в «Киевлянине». Россия стремилась к выходу на Тихий океан. Была возведена военная крепость Порт-Артур и построена Китайско-Восточная железная дорога. Авантюрный захват Маньчжурии и Кореи все более накалял обстановку. Д. И. Пихно, а следовательно «Киевлянин», считал это опаснейшей игрой с Японией. Но когда разразилась несчастная для России война, Шульгин с возмущением следил за настроениями определенного слоя либеральной интеллигенции, едва ли не открыто желавшего поражения России.

23 августа (5 сентября) 1905 года в США был заключен Витте Портсмутский мирный договор с Японией. К Японии отошла половина Сахалина. За этот мир Витте получил графский титул. Насмешники прозвали его «графом полусахалинским».

Самую объективную оценку происходящего дал В. И. Ленин в своей статье «Разгром» еще в мае 1905 года:

«Значение этого краха, как краха всей политической системы царизма, становится все яснее и для Европы и для всего русского народа с каждым новым ударом, наносимым японцами. Все ополчается против самодержавия — и оскорбленное национальное самолюбие крупной и мелкой буржуазии, и возмущенная гордость армии, и горечь утраты десятков и сотен тысяч молодых жизней в бессмысленной военной авантюре, и озлобление против расхищения сотен миллионов народных денег, и опасения неизбежного финансового краха и долгого экономического кризиса вследствие такой войны, и страх перед грозной народной революцией, которой (по мнению буржуазии) царь мог бы и должен был избежать путем своевременных «благоразумных» уступок» (В. И. Ленин. Поли. собр. соч. Т. 10. С. 255).

И уступки последовали в царском Манифесте 17 октября 1905 года.

«Смуты и волнения в столицах и многих местностях Империи Нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше...»

И далее:

«1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь же к участию в Думе... те классы населения, которые ныне совсем лишены прав...

3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы...»

Этих документов достаточно, чтобы напомнить просвещенному в истории читателю события, после которых начинается то, что столь импрессионистски отражено в книге В. В. Шульгина «Дни».

Кстати, глубоко веруя в зависимость поворотов истории от действий тех или иных личностей, Шульгин до глубокой старости считал, что «исторгли» манифест у Николая II три лица. Это беспартийный адвокат Г. С. Хрусталева-Носаря, в роли председателя Петербургского Совета рабочих депутатов, организовавший в 1905 году грандиозную всеобщую политическую забастовку, в результате которой не работали заводы, почта, магазины, газеты, железная дорога — даже Царское Село, резиденция Николая II, было отрезано от Петербурга. И Шульгину еще доведется встретиться с ним... Это командующий Петербургским военным округом великий князь Николай Николаевич, не ручавшийся за свои войска и даже грозивший застрелиться, если манифеста не будет. С ним Шульгин еще будет связывать свои политические надежды... Это Сергей Юльевич Витте, настоявший на манифесте и сошедший с политической сцены, назначенный в Государственный совет, «звездную палату», склад уволенных министров-старичков.

Манифест застал Шульгина в Киеве. Он был призван в армию в качестве прапорщика запаса полевых инженерных войск, на войну попасть не успел и служил младшим офицером в 14-м саперном батальоне.

Отношение к манифесту в семье Пихно с самого начала было контрреволюционным. Стиль изложения событий, свойственный В. Шульгину в двадцатые годы, когда писались «Дни» и «1920» (он вообще делил свои тексты на небольшие куски, отделяя их звездочками-паузами и стараясь вписать в них законченную картину, переживание или мысль, а то и¹ просто восклицание, с целью создать наибольшее эмоциональное напряжение, для чего и злоупотреблял на первый взгляд отточиями), позволяет цитировать экономно, передавая суть высказываний Д. И. Пихно и чувства слушающего его В. В. Шульгина:

«Будет каша, будет отчаянная каша... Там, в Петербурге, потеряли голову от страха... или ничего, ничего не понимают... Я буду телеграфировать Витте, этот бог знает, что они делают, они сами делают революцию.

Революция делается оттого, что в Петербурге трясутся. Один раз хорошо прикрикнуть, и все станут на места... Это ведь все трусы, они только потому бунтуют, что боятся... Конституция! Думают этим успокоить. Сумасшедшие люди! Разве можно успокоить явным выражением страха. Кого успокоить? Мечтательных конституционалистов. Эти и так на рожон не пойдут, а динамитчиков этим не успокоишь... Но кто меня поражает, — это евреи. Безумные, совершенно безумные люди. Своими руками себе могилу роют... и спешат, торопятся — как бы не опоздать... Не понимают, что в России всякая революция пройдет по еврейским трупам. Не понимают... Не понимают, с чем играют. А ведь близко, близко...»

За исключением острого предчувствия грядущих событий — революции 1917 года, здесь все полно противоречий, все — ошибка. Они и предполагать не могли организованного начала, резолюций революционных партий о вооруженных восстаниях, планирования и финансирования террористических актов, поджогов и разгромов крестьянами помещичьих имений, рабочих забастовок, демонстраций и создания боевых сил революции... Бросалась в глаза лишь слабость царизма и стихийность выступлений.

Если полистать подшивку «Киевлянина» начиная с 19 октября 1905 года, то обращают внимание сообщения, например, о событиях 18 октября в Киеве, о погромах, о разграбленных магазинах еврейских богатеи и о несчастной, ни в чем не повинной еврейской бедноте.

«Кровь несчастных жертв, весь ужас стихийного разгула, пережитого многими тысячами населения, все несчастья и разорение, которое постигло многих, а многих лишило жалкого крова и последнего куса хлеба, падает на голову тех безумцев, которые вызвали взрыв и так кощунственно оскорбили русскую святыню... Не говорите, что русский народ — раб. Это великий и любящий народ. Вы не понимаете его веры, как он не понимает вас. Но вы заставили его понять, что значит революционное насилие, вы заставили понять, что вы предаете поруганию его святые верования. И ненависть против оскорбителей разразилась в погром евреев, которых он считал вашими соучастниками... Мы сыны великого народа, мы христиане, и мы обязаны удержать всеми средствами и силами страсти народные» (19 октября 1905 года, № 290).

«Киевлянин» описывал подробно монархическую манифестацию, которую обстреляли еврейские боевики. Сообщал о демонстрации революционеров на Крещатике, захвате ими киевской городской Думы. Печалась письма такого типа: «В тот момент сорвали портрет государя Николая Александровича, прорвали дыру в полотне и один из студентов с рыжей, носатой еврейской физиономией, просунув в нее голову, кричал: «Долой Николашку! Теперь я буду царем!» (№ 311). Корона с балкона Думы была сбита русским рабочим, потом по требованию толпы водружена на место, и в нее воткнули красный флаг. Через десять минут корона была вновь сокрушена, но уже евреем. Под крики «Долой царскую фамилию!»

были уничтожены и портреты предыдущих царей. Появилось пятьдесят солдат-артиллеристов. В них стреляли и бросали бутылки. В итоге «Киевлянин» обвинил «передовых вождей избранного племени» в том, что они, подняв еврейскую бедноту и часть русских студентов и русских рабочих, сами под пули не полезли, а скрылись. И выразил надежду, что евреи сами расправятся с Бундом за обман и за еврейские погромы (16 декабря 1905 года).

— Я скажу вам, господа, что революция в России труслива, и потому я ее презираю...

Так вещал худощавый бледный молодой человек с тонкими чертами лица, длинными ухоженными усами, стрелками вверх, с подчеркнuto корректными манерами, появившийся на первых же заседаниях II Государственной думы. Говорил он тихо, медленно, сдержанно, но привлек к себе внимание сразу — голос поставленный и речь осмысленна; объявился лидер правых, ядовитый, ироничный. Слева кричали: «Погромщик! Провокатор!», а он не повышал голоса, не менялся в лице, изысканно издевался над революцией, Думой, 1905 годом.

«Его ненавидели больше, чем Пуришкевича, больше, чем Крушевана, Замысловского, Крупенского и других думских черносотенцев и скандалистов», — свидетельствует Давид Заславский. Он же пишет, что левых и центр до белого каления доводили вежливость и расчетливые выпады оратора. «Его слушали внимательно, с тревожным нетерпением. В первых же ораторских выступлениях Шульгина сказала основная черта его: талант искренности», — с уважением добавляет Заславский, которого трудно заподозрить в симпатии к Шульгину.

Да, это был Шульгин.

На политической арене Шульгин возник уже после революции 1905 года, после роспуска I Государственной думы, просуществовавшей с апреля по июнь 1906 года, распущенной правительством за «разжигание смуты», когда крестьянские депутаты выдвинули законопроект о передаче большей части помещичьей земли непосредственным производителям сельскохозяйственной продукции.

Для Шульгина толчком к политической деятельности послужило широко объявленное желание поляков провести от Киевской, Подольской и Вольнской губерний только своих депутатов. Русские помещики зашевелились. Они объединялись вокруг «Киевлянина», вокруг его издателя Дмитрия Ивановича Пихно, ставшего выразителем их интересов. Папынку его Василию Витальевичу Шульгину было поручено действовать на Волыни в деревне Курганы Острожского уезда, где за ним числилось триста десятин земли, что было не ахти каким богатством,

но давало возможность представлять уезд на выборах в новую Думу

Шульгин оказался прирожденным политиком. Летом 1906 года он не слезал с коня Васьки, объезжая уезд, агитируя крестьян и помещиков, умело обрабатывая сельских священников, которые одни могли убедить равнодушных к политике сельских жителей выбирать уполномоченных. И он добился своего — на первой стадии многоступенчатых выборов он, как говорил сам, расшевелил обломовых. На уездных выборах русских уполномоченных было на десяток больше, чем представителей от польских помещиков. На дальнейшие выборы, в Житомир, поехали пятеро — священник, чех, хлебороб и два помещика, среди которых был и двадцатидевятилетний Шульгин. Двадцать пять лет, необходимых для избрания в Думу, ему исполнилось четыре года назад.

Под старость он с некоторой кокетливостью сообщал: «У меня не было ровно никакого желания закабалить себя в политику. Я хотел жить в деревне. Немножко хозяйничать, немножко писать роман «Приключения Воронежского». Не прочь был что-нибудь делать и по земству. Меня назначили попечителем по пожарно-страховым делам. Мне нравилось скакать на Ваське всюду, где произошел пожар, и там на месте составлять протокол. Это ускоряло получение страховой премии, что было важно для погорельцев. О более широкой и «высокой» деятельности я не мечтал и тушить всероссийский пожар не собирался. Я не был рожден «для распри и битв». Но судьба распорядилась мной иначе. Возня с выборами в Острожском уезде выдвинула меня против воли».

Однако сам же и сознается: «Наш пострел везде поспел!» В Житомире он ловко вел переговоры с уполномоченными крестьян, которых было большинство.

20 февраля (5 марта) 1907 года провинциал оказался в Петербурге, проехал на извозчике к Таврическому дворцу и сбросил пальто на руки величественному швейцару, с которого скульптор Паоло Трубецкой лепил памятник Александру III, и оказался в зале заседаний Государственной думы.

Шульгин занял кресло справа. Левее располагались октябристы, потом кадеты, народные социалисты, эсеры, трудовики, социал-демократы. Такой порядок сложился сам собой — каждый занимал место, где хотел, но, естественно, льнул к своим по духу. История Государственных дум изучена весьма основательно и столь же основательно, хотя и пристрастно, описана в книге В. В. Шульгина «Годы». Самым сильным впечатлением его тогда была думская катастрофа, не повлекшая, однако, за собою жертв. После третьего заседания потолок в зале рухнул. Вся штукатурка, лепнина с высоты 12 метров обрушилась на кресла, сорвав по пути люстры. В зале никого не было в это время, а то погибли бы все правые и левые и уцелел бы лишь центр. Подозревать в преднамеренности катастрофы было

некого... но впоследствии Шульгин увидел в этом «предзнаменование величайшего крушения».

Это случилось второго марта.

Депутаты Думы, собравшиеся после обвала в Круглом зале Таврического дворца, шестого марта слушали речь председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина. Высокий, выше высокого Шульгина, черноволосый, в безукоризненном костюме, красивый даже, с властными манерами и голосом, который нельзя было не услышать, Столыпин произвел на Шульгина впечатление поистине неизгладимое. Тому казалось, что речь его плывет как-то поверх слушателей, проникает сквозь стены, достигая самых дальних углов России. «Всероссийский диктатор» — так назвал его уже престарелый Шульгин и высказал весьма странное для сторонника царствующей династии мнение, что трон при известных обстоятельствах Столыпин «был бы достоин занять».

Столыпин говорил о мерах борьбы с революционным терроризмом и одновременно выдвигал программу хозяйственного обновления страны.

Левые в ответных речах выступили против программы Столыпина. Говорили о новом вооруженном восстании, если правительство будет настаивать на своем. Социал-демократы перебивали правых возгласами: «Долой! Ложь! У вас руки в крови!»

Столыпин выступил вторично. Шульгин запомнил его речь в таком варианте:

«Правительство предложило Думе целый ряд реформ. Реформы эти направлены прежде всего на то, чтобы повысить материальное благосостояние народа, и затем, чтобы дать ему относительную свободу, ибо достаток есть «кованая свобода». Но некоторым членам Думы угодно было ответить угрозами. На это я скажу в полном сознании своей ответственности:

— Не запугаете!»

А вот что действительно сказал Столыпин:

«Правительство будет приветствовать всякое открытое разоблачение какого-либо неурядиства — но иначе оно должно отнестись к нападкам, ведущим к созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление. Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у власти паралич мысли и воли, все они сводятся к двум словам — «руки вверх». На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием собственной правоты может ответить только двумя словами: «Не запугаете!»

Ныне, в связи с продовольственной скудостью, горячим желанием поднять сельское хозяйство и выйти на международный уровень по качеству промышленной продукции, вновь появился интерес к фигуре Столыпина, к его политике. Можно было бы просто отослать читателя к

статье В. Селюнина «Истоки» («Новый мир» № 5, 1988), но мы, рассказывая о думской деятельности Шульгина, о его последовательной приверженности взглядам Столыпина, вынуждены хотя бы коротко задержаться и объяснить это явление.

Создался стереотип: «стольпинские галстуки» и аграрная реформа, направленная на создание кулачества и разорение крестьянства.

В. И. Ленин неотступно следил за деятельностью П. А. Столыпина и даже написал что-то вроде краткой политической биографии контрреволюционера после «умерщвления» его в 1911 году. Помещик и предводитель дворянства, Столыпин становится саратовским губернатором в 1902-м, министром внутренних дел в 1906-м, председателем Совета министров после разгона I Государственной думы. Он «пытался в старые мехи влить новое вино». Его крах «есть крах **последней возможной** для царизма политики». (Поли. собр. соч. Т. 20. С. 324—333).

Столыпин лично был свидетелем многих революционных террористических актов. В его доме был застрелен направленный на подавление аграрных волнений генерал Сахаров террористкой Анастасией Биценко (которая впоследствии, в 1917 году, входила в советскую делегацию на переговорах с немцами в Бресте). Уже тогда у него создалось мнение, что ради торжества революции террористы убивают всех энергичных и исполнительных представителей власти. Только за 1906 год было убито 768 и ранено 820 человек. Совершались «эксы» — крупные грабежи для добывания денег на революционные цели. На такой «экспроприации» сделал себе революционное имя Джугашвили-Сталин. Большевики осуждали индивидуальный террор, но результатами «эксов» пользовались.

12 августа 1906 года на казенную дачу Столыпина явились двое неизвестных в жандармской форме. В портфелях у них были бомбы страшной разрушительной силы. Погибли они. 27 человек, находившихся в приемной, убиты на месте. 32 ранено (6 умерло от ран на другой день). Обрушилась стена с балконом, где были четырнадцатилетняя дочь Столыпина и его трехлетний сын, тяжело раненные обломками камней. Сам Столыпин остался невредим.

А 25 августа в газетах появился закон о военно-полевых судах. Особые суды из офицеров после убийства или вооруженного грабежа начинали разбор дела пойманных в течение суток, но суд продолжался не более двух дней, и смертный приговор приводился в исполнение в 24 часа.

II Думу называли «думой народного гнева». Аристократическая реакция в лице графа В. А. Бобринского отзывалась о ней как «думе народного невежества».

Революционный террор был в разгаре, но и военно-полевые суды не щадили революционеров. Невероятная жестокость стала нормой этой

борьбы. Одно из первых выступлений Шульгина в Думе было вызывающим и совершенно непарламентским. В разгар дебатов о немилосердном подавлении революционного движения он сказал:

— ...Я, господа, прошу вас ответить: можете ли вы мне откровенно и положи руку на сердце сказать: «А нет ли, господа, у кого-нибудь из вас бомбы в кармане?»

Хотя в зале сидели эсеры, открыто одобрявшие террор своих боевиков, такая постановка вопроса показалась всем, даже либералам, оскорбительной. Ему кричали: «Пошляк!», требовали удаления из зала заседания, что и было сделано. Печать заклеила его реакционером, и он стал печально знаменит. И именно поэтому он в числе сотни «умеренных» (всего лишь сотни на всю Думу) был приглашен на царский прием в Царское Село. Всю жизнь потом он вспоминал этот прием, неоднократно описывал его, подчеркивая свои верноподданнические чувства... Вспоминал поддержку царем националистического движения, как и телеграмму, полученную Киевским клубом русских националистов от Столыпина:

«Твердо верю, что загоревшийся на Западе России свет русской национальной идеи не погаснет и скоро озарит всю Россию...»

Все это воспринималось прежде всего как антисемитизм, с которым яростно боролись думские корреспонденты всех газет — левых, центральных и даже правых. Едва ли не все газеты того времени были скуплены предприимчивой еврейской буржуазией. И ложу печати в Государственной думе зло, но остроумно прозвали «чертой оседлости». Сделали это правые и, может быть, сам Шульгин. Но именно эта печать, ругая Шульгина на все корки, называя его «очковой змеей», погромщиком, психопатом, способствовала его известности. Разумеется, он бывал уязвлен, когда писали, что у него будто бы испитое лицо, хриплый голос, тусклые глазенки, плохо сшитый сюртук... Через три месяца после первого выступления ложа печати уже считала его чересчур элегантным и сообщала: «Говорит всем известный альфонсообразный Шульгин».

II Государственная дума просуществовала сто два дня. Шульгин зарекомендовал себя отпетым реакционером, но теперь уже был «всем известным». В III Государственной думе он окончательно вошел в стан «русских националистов», чтобы в IV Думе, в начале 1915 года, основать фракцию «прогрессивные русские националисты».

Свою репутацию он подтвердил во время обсуждения в Думе в 1908 году предложения об отмене смертной казни. За три года после революции 1905 года по приговорам военно-полевых судов за политические убийства и грабежи было казнено 2835 человек, что нам, пережившим и Гитлера, и Сталина, может показаться цифрой мизерной. Но тогда и для революционеров, и для либералов это был вопрос самый болезненный. Шульгин выступил против отмены смертной казни, заявив, что это политическая демонстрация и что говорить серьезно о такой отмене можно будет тогда, когда прекратятся подстрекательства к политическим убийствам.

Дума была правая, и предложение похоронили, а Шульгин на ближайшем приеме у царя был удостоен «высочайшего благоволения».

Правые называли Столыпина «левым, скрытым революционером».

Шульгин в конце жизни сказал: «Его не могли запугать ни левые, ни правые. И потому убили его».

В этом надо разобраться.

Теперь уже пишут, что в конце XIX и начале XX века экономика России шла в гору. В развитии металлургии страна обгоняла европейские страны. В конце прошлого века ежегодно прибавлялось 2740 километров железных дорог. К 1913 году по объему промышленной продукции страна вышла на пятое место в мире, и рост был таков, что в самом скором времени Соединенным Штатам Америки пришлось бы потесниться с первого места на второе. И за развитием России там следили пристально!

Залогом успеха был технический прогресс, появление когорты талантливейших инженеров. Достаточно сказать, что из 80 судов, имевших перед войной дизельные двигатели, 70 плавало под русским флагом. Для современного понимания можно было бы говорить об атомных котлах или компьютерах. Но...

Как писал В. И. Ленин, черносотенное самодержавие «поняло, что без ломки старых земельных порядков **не может быть выхода** из того противоречия, которое глубже всего объясняет русскую революцию: самое отсталое землевладение, самая дикая деревня — самый передовой промышленный и финансовый капитализм!» (Ленин В. И. Поли. собр. соч., Т. 16. С. 417).

Просьба обратить внимание на четкость формулировок Ленина. Однако он считал, что Столыпин вступил «смело на революционный путь» ради своего класса (Т. 16. С. 424).

И тут его считали «революционером».

Действительно, сельское хозяйство задерживало развитие России. Крестьянская община, предмет гордости одних и нападков других, не давала развернуться предприимчивым. С нее удобно было брать — она была едва ли не воплощением социализма, поскольку частной собственностью, а следовательно, капитализмом тут и не пахло. Социалисты видели в общине ячейку коллективизма, предполагая сохранить ее на будущее. Ленин в 1902 году писал, что «общину, как демократическую организацию местного управления, как товарищеский или соседский союз, мы безусловно будем защищать от всяческого посягательства бюрократов» (Т. 6. С. 344).

«Унылое и убогое равенство» в общине, по выражению В. Селюнина, было выгодно во все времена всем, кроме крестьянина.

Реформу готовили многие, но Столыпин был сильной личностью

и едва ли не лучше всех понимал, что *своею* землю крестьянин будет холить, удобрять навозом, держать под паром, улучшит севооборот и передаст в хорошем состоянии сыну. Бесконечные переделы в общине не вели к старанию. Еще в том же, 1902 году Столыпин утверждал, что сохранение ее грозит «в конце концов крахом и полным разорением страны». Позже, будучи уже главой правительства, он выдвинул обширную аграрную программу — дать крестьянину право выхода из общины для создания мелкой личной земельной собственности. «Пока крестьянин беден, пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится насильно в тисках общины — он останется рабом и никаким писанным законом не даст ему блага гражданской свободы», — говорил он.

Община была прообразом колхозов, одной из главных жертв бюрократии, с которой тщетно боролся Ленин.

В годы военного коммунизма у «кулаков» было конфисковано 50 миллионов гектаров земли и передано в общинное пользование. На X съезде партии, при переходе к нэпу, Ленин настаивал на переходе к «обобществленному, коллективному, общинному труду» (Т 43. С. 26) Но на *добровольных* началах... Сейчас мы хлопочем об арендном подряде. На пять или на сто лет? Если на пять, земля будет эксплуатироваться хищнически, до полного бесплодия, как это случилось во многих колхозах, где крестьяне не считают землю своей...

10 мая 1906 года Шульгин слушал речь Столыпина о том, как вылечить Россию от тяжелой хвори:

— В деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа, — говорил Столыпин. — **Разрешить** этого вопроса нельзя, его надо **разрешать!** В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, **нам** нужна великая Россия!

9 ноября 1906 года был опубликован указ о начале земельной реформы. Политик до мозга костей, Столыпин осуществлял свой замысел, делал, по выражению Шульгина, «ставку на сильных», то есть на крепких крестьян-собственников, кулаков и середняков, развивая кредит, школьную систему, то уступая либералам, то идя напролом, принимая самые жесткие меры, веря при этом, что жертвы «стольпинских галстуков» не превышают числа жертв революционного террора и что благоденствие России стоит жертв.

Вскоре в частное владение более чем двух с половиной миллионов семейств перешло более половины общинной земли, а к началу мировой войны Россия была на втором месте в мире по экспорту хлеба, имела хорошо обеспеченный рубль...

На первом месте по-прежнему оставались Соединенные Штаты.

Но на Уолл-стрите понимали, что рано или поздно их монопольному превосходству в промышленности и сельском хозяйстве придет конец. И тогда были приняты самые решительные меры. Для низвержения конкурента годилось все. Политика не исключала ни продолжения ее иными средствами, ни террора. Прежде всего решено было убрать носителя идеи сильной России.

1(14) сентября 1911 года Шульгина в родном Киеве не было. Но его отчим Пихно сидел в четвертом ряду партера театра у самого прохода, и видел, как все произошло. Столыпин стоял в антракте, опершись на барьер оркестровой ямы, лицом к зрительному залу. Мимо него быстро прошел какой-то человек, раздался выстрел, и белый китель Столыпина сразу залило кровавое пятно. Стрелявший, человек во фраке, побежал по проходу к выходу, но какой-то господин из бельэтажа прыгнул на него сверху, сбил с ног. Убийца был задержан.

Им оказался Дмитрий Богров. Шульгин знал его отца, богатого еврея, владельца многоэтажного дома на Бибиковском бульваре. Он принадлежал к так называемой «золотой молодежи» Киева, считал себя «анархистом-коммунистом», а получил билет в театр от начальника киевского охранного отделения Кулябки.

Шульгин вспоминал, что на Столыпина было десять покушений. Так, в 1910 году живо интересовавшийся авиацией премьер поднялся в воздух со знаменитым летчиком Мациевичем, которому эсеровское руководство приказало разбить самолет вместе с собой и Столыпиным. Летчик на это не решился, а через два дня, вылетев один, разбился сам...

Шульгин говорил, что «цари живут в стеклянных дворцах — все, что делается в их стенах, становится сейчас же известно».

Отношения Столыпина с царским двором были натянутыми. Дворцовые сановники интриговали против Столыпина, говорили, что реформы его — «выдумка». Столыпинский «сильный мужичок» пугал аристократию и царя. Впрочем, и потом его старались уничтожить, пока нечего стало есть.

Столыпина ссорили с императрицей, которая считала, что царь оказывается в тени деятельного премьера...

Когда Александре Федоровне донесли, что на обеде у жены Столыпина офицеры были при оружии, а это принято только за царским столом, она сказала: «Что же, были до сих пор две царицы (и царица-мать.— Д. Ж.), теперь будут три».

Самые правые — «Союз русского народа» во главе с А. И. Дубровиным и «Союз Михаила Архангела» во главе с В. М. Пуришкевичем — были в отношении кабинета Столыпина в «оппозиции справа», обвиняя его в либерализме.

В 1911 году Шульгин защищал от них Столыпина в Думе: «Вы сгоните его, повалите, но кем замените?», а Пуришкевич сказал:

«На это отвечу я националистам: гнать мы права не имеем, мы на царские права не посягаем, заменять мы также не имеем права, но мы полагаем, что жалка была бы та страна, жалок был бы тот народ, у которого только в одном лице жиджилась надежда на спасение и оздоровление России».

Столыпин ложился в четыре утра и начинал работу в девять. Как-то поздно ночью он пригласил Шульгина и протянул ему искалеченную руку:

— Очень вам благодарен, что вы меня защищали. Но меня нельзя защитить.

Отношение к Столыпину левых — известно, хотя именно его кабинет разрешил принимать евреев в высшие учебные заведения без процентной нормы.

В «Киевлянине» Шульгин вспомнил и II Думу, и речь Столыпина с его «Не запугаете!»: «Зверя укротили. Через полчаса на улицах Петербурга люди поздравляли друг друга. Россия могла потушить свой Диогенов фонарь. Прошло пять лет: снова надо зажигать фонарь».

Столыпина похоронили в Киево-Печерской лавре. И сейчас возле развалин Успенского собора стоит большой могильный крест из черного мрамора с надписью: «Петр Аркадьевич Столыпин». А фонарь Шульгин призывал зажигать напрасно. Второго Столыпина не было. Пришло время Распутиных, продажных рамоликов, всевозможных авантюристов...

Уже некому было призывать:

«Итак, на очереди главная задача — укрепить низы. В них вся сила страны. Их более ста миллионов! Будут здоровы и крепки корни у государства, поверьте, и слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и всем миром. Дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа — вот девиз для всех нас, русских! Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России!» («Новое время», 3.10.1909).

Нового главу правительства В. Н. Кокорцева с трибуны Думы Шульгин «приветствовал» более чем недвусмысленной речью. Он говорил с болью о русском народе, о его безнадежном отставании не только от западных соседей, но и от поляков, евреев, финнов, жителей Российской империи...

«При этих условиях нужны героические усилия, чтобы вывести русское племя на путь.

И вот этих героических усилий, этого творчества, этой вдохновенной личности, этого человека, который будет день и ночь сидеть и думать, что сделать в этом отношении, человека, которого я бы назвал, с вашего разрешения, политическим Эдисоном, такого у нас нет».

Так кто же убил Столыпина?

Об этом написано много научных трудов и романов. Выдвигались различные версии.

Одна из них (и самая распространенная) основывается на том, что сам Столыпин неоднократно повторял: «Меня убьет моя охранка». Версия эта весьма сомнительна, и о ней не буду распространяться.

Вторая — Столыпина убили революционеры. Но Богров не принадлежал ни к одной из революционных партий.

Третья — Столыпина убили евреи. Да, его убил еврей Дмитрий Богров, которого стали называть «Мордкой» лишь после убийства. Но прямых доказательств «еврейского заговора» нет.

Все три версии так переплетаются, так много заинтересованных в убийстве и ликовавших по поводу его, так много путаных ходов, что концов теперь не найдешь.

В. В. Шульгин в разных своих сочинениях придерживался последних двух, присовокупляя сюда и охранку, которая запуталась в своих провокациях против революционеров и способствовала убийству.

Но у него был особый счет к Якову Шифу, американскому миллиардеру, главе банкирского дома «Кун, Лёб и компания» на Уолл-стрите, которого он считал злейшим врагом России, посвятившим всю жизнь ее разрушению. Шульгин весьма документировано ссылаясь на то, как Шиф субсидировал Японию во время русско-японской войны, приводил слова Шифа, который был близок с тогдашним президентом Вудро Вильсоном и как глава финансового мира Америки встречался с Витте в 1905 году в Портсмуте. В журнале «Бнай Брит ньюз» (май 1920 г., № 9, т. XII), а также в мемуарах Витте сообщалось, что Шиф угрожал революцией в России, если евреи там не получат равноправия. В 1911 году Шиф потребовал от президента Тафта разорвать торговый договор с Россией, но, получив отказ, сделал все, чтобы свалить президента. В разное время Шиф собирал деньги среди американских капиталистов на поддержку сил, боровшихся с царским правительством. Общая сумма доходила до 12 миллионов долларов, и из них полтора миллиона были собраны специально для организации покушений на Столыпина. После Февральской революции 1917 года Шиф поздравил телеграммой министра иностранных дел Временного правительства Милюкова с успехом, и тот ответил: «Мы едины с вами в нашей ненависти и антипатии к старому режиму...» Шульгин недоумевал — «глупость или измена» толкнули Милюкова на этот шаг?

Шульгин говорил о Шифе как о «безумном миллионщике», наподобие Саввы Морозова или Сытина, поддерживавших финансово революционеров. Но, мол, чего добился Шиф? Толща еврейства, которая в России занимала видное положение в финансово-торговом мире, была разорена революцией. Выгоду, по мнению Шульгина, получили лишь

еврей-коммунисты, истреблявшие потом друг друга в политических схватках...

Ход рассуждений Шульгина весьма зыбок. Подумаем о том, что капитал — явление не сугубо национальное, что капиталисты в Америке, тесно связанные с президентами, со своими правительствами, тревожились в связи с растущей конкуренцией России, которая в результате столыпинских реформ и роста самого передового, по словам Ленина, финансового и промышленного капитализма могла потеснить Америку. И тогда, хотя еще не существовало ЦРУ, прибегли к практике в отношении Столыпина, ныне в мировой политике не удивляющей никого...

Отношения с евреями у Шульгина были сложные. Так, когда еврея Менделя Бейлиса обвинили в ритуальном убийстве мальчика Андриуши Юшинского, будто бы замученного зверски 43 уколами с целью добывания христианской крови для приготовления мацы, Шульгин выступил на страницах «Киевлянина» со статьей, обвинив прокуратуру в предвзятом ведении дела. Правые единодушно решили, что Шульгин «куплен жидами». Дело осложнилось тем, что дети, якобы видевшие, как Бейлис тащил мальчика, умерли от дизентерии. В Думе большинство ораторов высказалось против продолжения запроса по делу Юшинского. Но продолжения не было и так. На следующий день — 9(22) июня по указу Сената Дума была распущена.

Демократические круги расценили статью Шульгина как подвиг. Либеральные газеты писали об его искренности и мужестве.

Шульгин считал, что улики против Бейлиса нищенские и могут лишь скомпрометировать царский суд. Дело Бейлиса, как и дело Дрейфуса в свое время, было, по словам Шульгина, «разнесено еврейскими газетами во все концы мира». На этом деле также испытывались политические деятели, писатели и прочие влиятельные люди — они либо делали карьеру, либо уходили в небытие. Мало того, присяжные заседатели — простые украинские крестьяне, на которых особенно рассчитывало обвинение, оправдали Бейлиса за недостатком улик.

Шульгин гордился, что ему удалось предотвратить погромы. За статью, помещенную на третий день процесса, 27 сентября (10 октября) 1913 года в «Киевлянине» (конфискованном), «за распространение в печати заведомо ложных сведений о должностных лицах» Шульгина самого осудили в 1914 году и приговорили к тюремному заключению.

«Как известно,— писал Шульгин,— обвинительный акт по делу Бейлиса есть документ, к которому приковано внимание всего мира... Причина тому ясна. Обвинительный акт по делу Бейлиса является не обвинением этого человека, это есть обвинение целого народа в одном из самых тяжких преступлений, это есть обвинение целой религии в одном из самых позорных суеверий.

При таких обстоятельствах, будучи под контролем миллионов умов, русская юстиция должна быть особенно осторожной и употребить все силы, чтобы оказаться на высоте своего положения... Не надо быть юристом, надо просто быть здравомыслящим человеком, чтобы понять, что обвинение против Бейлиса есть лепет, который любой защитник разобьет шутя...»

Подробности этого дела сейчас уже малоинтересны, но любопытен случай из жизни Шульгина, являющийся как бы продолжением дела Бейлиса.

В начале первой мировой войны, в сентябре 1914 года, Шульгин оказался во Львове. И вот что, по его рассказу, случилось с ним в гостиничном номере:

«Вдруг открылась дверь... Вошел старик с белой бородой. Он подошел к креслу и, облокотившись на спинку кресла, крытого красным бархатом, смотрел на меня. Он был необычайно красив — красотой патриарха. К белизне волос, бороды подходили в библейском контрасте черные глаза в рамке черных же длинных ресниц. Эти глаза не то что горели — сияли. Он смотрел на меня, я на него... Наконец он сказал:

— Так это вы...

Это не был вопрос. И поэтому я ответил, указывая на кресло:

— Садитесь...

Но он не сел. Заговорил так:

— И они, эти сволочи, так они смели сказать, что вы взяли наши деньги?..

Я улыбнулся и спросил:

— Чаю хотите?

Он на это не ответил, а продолжал:

— Так мы-то знаем, где наши деньги!

Сияющие глаза сверкнули как бы угрозой. Но то, что он сказал дальше, не было угрозой.

— Я хочу, чтобы вы знали... Есть у нас, евреев, такой, как у вас, митрополит. Нет, больше! Он на целый свет. Так он приказал...

Он остановился на минутку и сказал:

— Так он приказал... Назначил день и час... По всему свету! И по всему свету, где только есть евреи, что веруют в бога, в этот день и час они молились за вас!

Я почувствовал волнение. Меня это тронуло. В этом было нечто величественное. Я как-то почувствовал на себе это вселенское моление людей, которых я не знал, но они обо мне узнали и устремили на меня свою духовную силу.

Патриарх добавил:

— Таковую молитву бог слышит!

Я помню до сих пор изгиб голоса, с каким он это произнес, и выра-

жение глаз. Вокруг ресниц они были как бы подведены синим карандашом. Они как бы были опалены духовными лучами...

Через некоторое время он сказал:

— Я пришел сюда, чтобы вам это сказать. Прощайте!

* * *

Когда я бываю очень болен, я говорю себе:

— Ты богат. За тебя молились во всем мире...

И мне легко».

Может быть, в этом причина долгой жизни Шульгина, хотя он писал о еврейях всякое, и до и после «дела Бейлиса». Другому бы этого не простили.

У нас уже достаточно примеров прозы, чтобы поговорить о Шульгине-литераторе. Впрочем, грешил он и стихами.

Уже мелькнуло упоминание об историческом романе «Приключения князя Воронцовского», сочинявшемся Шульгиным лет десять, с 1903 года, в перерывах между увлечениями политикой и женщинами, успехом у которых Василий Витальевич пользовался всегда. Позже он уверял, что был счастлив в любви и приносил страдания близким... Однако вместе с женой Екатериной Григорьевной (она была старше него на несколько лет, он увлекся ею на первом курсе университета) Шульгин пестовал трех сыновей — Василида, Вениамина и Дмитрия. В семье царил взаимная доброжелательность и влюбленность в мужа и отца.

Первая часть романа — «В стране свобод» — была опубликована в Киеве в 1914 году. Действие романа происходит на Волыни в самом конце XVI века, когда эта часть Украины принадлежала полякам. Его девятнадцатилетний герой Януш Воронцовский и его слуга Ивашко принадлежали к православной части шляхты или, как писал Шульгин, к русским, хранившим свой язык и обычаи. Они едут в городок Дубно к князю Острожскому, православному магнату. И дальше начинается чистая вальс-терскоттовщина, с приключениями, поединками, любовными похождениями героя, написанными, кстати, весьма темпераментно, но не без влияния тогдашней декадентской литературы, легкого жеманства... Кончается эта часть женитьбой героя на легкомысленной Маруше, которую выкрадывают во время набега татары и увозят в неизвестном направлении...

Да, декаданс, легкий запах тления, проникал тогда всюду. Он проникал в искусство, литературу, политику... Но это не значило, что люди творившие не были талантливыми. Создавалось нечто великое, о чем

впоследствии отзывались пренебрежительно и только теперь начинают ценить. Действовала сама обстановка нервозности перед грядущей ломкой всего уклада русской жизни. У одних опускались руки, жизнь растранивалась в игре, разврате, увлечениях мистикой, черт знает в чем... У других, наоборот, был прилив лихорадочной деятельности. Шульгин принадлежал ко вторым. В одной из речей он призывал к выходу из застоя, к возвращению уверенности в своих силах:

— Мы должны доказать самим себе, чтобы не чувствовать себя всю жизнь, как это мы до сих пор чувствовали, какими-то никудашниками, какими-то подстеночными людьми, годными для подпираания стенок, способными быть только злобными и бесцельными хулителями, но совершенно негодными к творческой работе...

Это был почти вопль отчаяния. Для себя «творческой работой» Шульгин считал не журналистику (после смерти Дмитрия Ивановича Пихно он стал редактором «Киевлянина»), не думскую свою деятельность, а литературу, осознавая однако, что не может тягаться с великими писателями, которые жили и творили в то время.

Он писал поэмы, рассказы, остававшиеся незамеченными. Их отчетливая контрреволюционная тенденциозность, еще неполное умение превращать факты в художественные обобщения — все это мешало успеху у читателя, который в основном был либеральным и воспитанным на прекрасной русской литературе.

Вещи Шульгина выходили в периодике, брошюрами, пока он не издал их в Харькове в 1910 году книгой «Недавние дни».

Вся книга была типичным образцом литературы, которую называют «черносотенной».

Войну Шульгин встретил в Киеве и поспешил в Петербург, чтобы принять участие в объединенном заседании Государственной думы и Государственного совета в Зимнем дворце 26 июля 1914 года. Вместе со всеми он проталкивался сквозь толпу думцев и сановников к растерявшемуся Николаю II, крича: «Веди нас, государь!»

Порыв был искренний, но Шульгина, по возвращении в Киев, отрезвил генерал Михаил Васильевич Алексеев, будущий главный организатор белогвардейского движения, создавший Добровольческую армию вместе с генералами Л. Г. Корниловым и А. И. Деникиным.

Сын простого солдата, упорством своим сделавший карьеру, Алексеев предупредил Шульгина, что все разговоры о победе в три месяца — вредный вздор. «Война будет на измор. Воюет народ с народом». Главным Алексеев считал моральный дух народа и призывал редактора влиятельной газеты заняться именно этим. Однако Шульгин уже отошел от первого угарно-патриотического порыва и с тоской думал о необходимости каждодневно писать, как он выразился, «барабанные» статьи.

Выход был один — уйти на фронт. Это пример, это патриотично, это избавляет от журналистской рутин. Он вспомнил, что является прапорщиком запаса полевых инженерных войск, послал телеграмму командующему Юго-Западным фронтом Николаю Иудовичу Иванову и был зачислен в 166-й Ровенский пехотный полк.

Он догнал свой полк под Перемышлем. Высокий и очень худой, он показался другим офицерам мало приспособленным для фронтовой жизни. Впрочем, к нему относились как к известному члену Государственной думы, а не как к рядовому прапорщику. Но он ходил в атаку и получил ранение, оправившись от которого поступил в распоряжение ЮЗОЗО (Юго-Западной областной земской организации) и стал начальником передового перевязочно-питательного отряда. Земство помогало тыловым органам в снабжении войск, медицинским частям.

«О войне я написал несколько томов. Где они, «ты, господи веши?» Погибли ли при моих переездах, вольных и невольных, или, где-то спрятавшись, существуют, — не знаю. Но, может быть, и лучше, что оно так. Ведь эти тома именно написаны без разделения на две половины: в них не только политика, но и личная жизнь. И до такой степени, что на первой странице первого тома было написано:

«Настоящие записки не могут быть обнародованы при моей жизни».

Любопытствующие читатели могут, если им интересно, подождать до такого-то года и такого-то числа, когда эти записки отыщутся и будут обнародованы. Когда сие будет, не ведаю».

Так Шульгин писал в книге «Годы», где попытался воспроизвести кое-что из воспоминаний военных лет. Действительно, крайне любопытно было бы прочитать эти тома. Он уверял, что прожил на войне самое счастливое время своей жизни и что кончилась она для него тоже счастливо. Кажется, он подразумевал все войны, которые пережил невредимо, и не только пережил, а жил чрезвычайно наполненно... И после них пришел его звездный час, как писателя. Или речь идет о чем-то глубоко личном?

Во всяком случае, в том, что им опубликовано, личного очень мало. Шульгин считал, что мемуаристы бывают двух пород. Одни, вроде Жан-Жака Руссо, подают себя как политика, мыслителя и простого смертного человека. Большинство же о личном умалчивают, «становятся односторонними, какими-то деревяшками». Образец — мемуары «О войне в Галии» Юлия Цезаря, «лучшее снотворное средство, которое я знаю».

Лукавство, простительное для человека, который знал уже себе цену как мемуарист...

Под старость он вспомнил и рассказал пунктирно об ужасах войны. О победах, а больше — о поражениях. Он знал командующего 8-й армией Алексея Алексеевича Брусилова, представлявшего лучшую часть русской армии, а рассказывал больше о военном министре Сухомлинове с его подручным Альтшиллером, о Мясоёдове с Самуилом и Давидом Фридрихсбергами — предателями России. Он много знал об агонии царствующего дома, о «делах» Распутина, Манасевича-Мануйлова, Андронникова, Рубинштейна — всей той накипи, которая особенно интересует романистов, но мемуары читаются интереснее романов.

С фронта, где хотели мира и земли, поскольку столыпинская реформа так и не была завершена, где требовали снарядов, которых не было, и охотно прислушивались к агитации большевиков, выступавших за поражение своего правительства в войне, он вернулся другим человеком, мягким, покладистым, склонным к компромиссу, сблизился с Милоковым, Родзянко и другими «левыми», готовый на все, лишь бы остановить необратимый процесс гибели царизма...

Но получался исторический парадокс — монархист Шульгин сам подталкивал монархию к гибели, что бы там ни говорил он с думской трибуны.

Началось с того, что в августе 1915 года объединяются в так называемый Прогрессивный блок бывшие «непримиримые» враги — националисты, октябристы, кадеты, прогрессисты, центристы — и получают большинство. Шульгин в руководстве блока, он член Особого совещания по обороне, он мечет громы в сторону правительства...

Но послушаем его собственное признание, для чего это делалось:

«Раздражение России, вызванное страшным отступлением 1915 года, действительно удалось направить в одушину, именуемую Государственной думой. Удалось перевести накипевшую революционную энергию в слова, в пламенные речи и в искусные, звонко звенящие «переходы к очередным делам». Удалось подменить «революцию» «резолуцией», то есть кровь и разрушение словесным выговором правительству».

Шульгин даже поступает своей твердостью в «еврейском вопросе», откалывается от «русских националистов», создает новую фракцию «прогрессивных русских националистов» и соглашается поставить свою подпись под резолюцией о «вступлении на путь отмены ограничений в правах евреев».

8(21) марта 1916 года он говорил в Думе:

— Господа, скажу вам откровенно. Может быть, я не доживу, но буду счастлив за тех людей, которые доживут до той счастливой минуты, когда мы сможем сказать, что все ограничения с евреев сняты, потому что это тяжело для нас братья...

Впоследствии он вспоминал и о своих заслугах перед большевика-

ми—депутатами Думы. Избранные в 1912 году от рабочей курии Г. И. Петровский (его имя осталось в названии города Днепропетровск), М. К. Муранов, А. Е. Бадаев (его именем назван пивной завод), Ф. Н. Самойлов, Н. Р. Шагов, несмотря на депутатскую неприкосновенность, были осуждены по уголовной статье и высланы во время войны в Туруханск. В 1915 году Шульгин с трибуны Думы протестовал против этого незаконного акта, назвав его «крупной государственной ошибкой».

Он уверял, что Прогрессивный блок борется именно за трехцветное знамя, когда знаменитый реакционер Марков 2-й назвал его «желтым». Кадеты с октябристами бешено аплодировали Шульгину, ставшему уже любимцем большинства Думы. Потом Шульгин уверял, что не мыслит себе России без династии, но она сама обрекала себя на гибель... И он начинает служить революции — буржуазной, но революции, оправдывая себя тем, что уже нет настоящих монархистов,— при виде того, что делается при дворе, из-за всей этой распутищины, безумия остается только монархизм по убеждению, холодный, рассудочный, вытравляется искреннее монархическое чувство...

Но разве можно ожидать искренности от политика?

Сложная фигура — В. В. Шульгин. Я часто спрашиваю себя: а не был ли он типичным порождением своей эпохи, эпохи гниения, а потом — страха? Что Шульгин был честен и говорил правду — это верно. Это от ума, от таланта, от характера... Но и актерства в нем было много. Это уже от эпохи. И тщеславия, ораторского и литературного. Это уже от лукавого...

3 ноября 1916 года он взшел на трибуну Думы. Встречен был одобрительным шумом. Начал с оговорки:

— Я не принадлежу к тем людям, для которых борьба с властью есть дело, если не сказать привычное, то во всяком случае давнишнее. Наоборот, в нашем мировоззрении та мысль, что даже дурная власть лучше безвластия, эта мысль занимает почетное место...

И тем не менее.

— У нас есть только одно средство: бороться с властью до тех пор, пока она не уйдет!

И еще он сказал:

— Мне кажется, что рабочие будут спокойнее и усерднее стоять у своих станков, зная, что Государственная дума исполнит свой долг; и даже тогда, когда в их мастерские будут врываться банды и говорить им: «Забастуйте для борьбы с правительством», я уверен, рабочие скажут: «Прочь, уходите, вы или шпионы, или провокаторы, потому что

борется с правительством Государственная дума, и она борется с правительством за Россию...»

Марков 2-й дал точное определение речи Шульгина:

— Правда Шульгина такая: мы, в Думе, мы владем словом, могучим словом, и словом будем бить по ненавистному правительству, и это патриотизм, это священный долг гражданина. А когда рабочие, фабричные рабочие, поверив вашему слову, забастуют, то это государственная измена. Вот шульгинская правда, и я боюсь, что эту правду рабочие назовут провокацией и, пожалуй, что это будет действительно правда... Знайте, что народ и рабочие — люди дела, они не болтуны и словам вашим верят, и если вы говорите эти слова: будем бороться с государственной властью во время ужасной войны,— понимаете, что это значит, понимаете, что это значит то, чтобы рабочие бастовали, чтобы рабочие принимали знамя восстания, и не закрывайтесь, что вы только словами хотели ограничиться; нет, знайте, что ваши слова ведут к восстанию, к народному возмущению... Речи депутатов Милюкова, Керенского, Чхеидзе и ласковое изречение г. Шульгина разнятся только в тоне, в манере, в технике, но суть их одна, и все они ведут к одному — к революции.

В книге «Дни» уже есть это 3 ноября 1916 года. Есть приблизительное изложение речи Шульгина. Нет ответа Маркова 2-го, который предрекал Февральскую революцию, а когда она случилась, ушел в подполье. Шульгин же был удостоен избрания во Временный комитет Государственной думы, как со злорадством подчеркивал в своей книге Д. Заславский.

Книга «Дни» была впервые опубликована в журнале «Русская мысль» в 1922 году, когда еще не остыла память оказавшегося в эмиграции Шульгина, но даже имея прекрасную память, трудно воспроизводить буквально, что говорил сам и другие.

Не этим хороша книга.

В предисловии к очередному ее изданию в Советском Союзе в 1927 году профессор С. Пионтковский утверждал, что помещик Шульгин, создавая и организовывая силы для защиты буржуазных позиций от разлагающегося самодержавия, обнаруживал при этом «недурные таланты стратега». Он хотел перехватить власть, чтобы в конце концов спасти монархию.

Пионтковский сомневался в полной исторической достоверности воспоминаний, поскольку Шульгин путал подробности и ход событий. Но...

«Дни» Шульгина не безыскусный рассказ, это не записки, набросанные в момент совершения события, это не просто воспоминания о пережитом — это, как указывает само название, как указывает содержание,— описание отдельных моментов—дней,— произведение

с определенным планом, с продуманной конструкцией. «Дни» — это цельное, проникнутое одной мыслью, одним настроением литературное произведение».

С этим нельзя не согласиться, как и с тем, что в книге события изображены ярче, образнее, резче, чем в уже появившихся ранее мемуарах Родзянко, Милюкова и других.

«Записки Шульгина нельзя, невозможно пересказать. Их надо прочесть и перечесть, чтобы понять, как правы были те, кто провозглашал в период Февральской революции — «никакой поддержки Временному правительству», кто в самом факте создания Временного правительства видел открытое существование центра заговора буржуазии против революции и против рабочего класса».

Я не историк, но мне кажется, что для советских историков такая оценка книги Шульгина приемлема и сегодня. А для нынешнего просвещенного читателя, с его оживившимся интересом к истории, «Дни» и другие книги Шульгина не менее интересны, чем шестьдесят лет тому назад...

Известна теория В. И. Ленина. Война ускорит революцию. Капитализму наступит конец во всем мире. Россия, «самое слабое звено» в цепи обреченного империализма, может стать первой, и тогда появятся предпосылки перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Запад последует русскому примеру.

И все-таки за месяц до февраля в одном из своих докладов в Цюрихе он заявил:

— Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. (Поли. собр. соч. Т. 30. С. 328).

Родзянко в феврале телеграфировал царю: «Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт продовольствия и топлива пришел в полное расстройство. Растет общественное недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всяческое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца».

Николай II только и сказал:

— Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему даже не буду отвечать!

Все ждали революции, говорили о ней, а когда она разразилась, не знали, как быть. Кроме Ленина. Но он был за границей.

Таврический дворец забил до отказа Его Величество Народ. Шульгин в воображении судорожно нажимал гашетку пулемета. Народная стихия царяла на улицах Петрограда...

Царь Николай II окончательно поверил в революцию, когда в его вагоне во Пскове появился Гучков вместе с Шульгиным, небритым, с воспаленными глазами, в кургузом запыленном пиджачке. Монархист столкнул монарха. И это приемлемо было и для революционеров, поскольку Шульгин выделялся, по словам Давида Заславского, как человек «яркий, интересный, талантливый и в некоторых отношениях привлекательный. Это не заурядный черносотенец и погромщик. Это рыцарь «белой идеи», рыцарь без страха, но не без упрека».

Вот так! Постепенно Шульгин становится приемлемым для всех...

Книга «Дни» кончается на событиях 3 марта 1917 года, когда Временный комитет Государственной думы объявил о создании Временного правительства.

Шульгин был активен, ездил в полки, подписывал удостоверения...

Что Шульгин! Члены бывшей царской династии стали клясться в верности революции, давали интервью, вскрывая подноготную разложение царизма...

26 апреля он уже признавал:

«Не скажу, чтобы вся Дума целиком желала революции; это было бы неправдой... Но даже не желая этого, мы революцию творили... Нам от этой революции не отречься, мы с ней связались, мы с ней спаялись и несем за это моральную ответственность».

Возник новый еженедельник «Русская свобода». На обложке было написано, что издается он П. Б. Струве, при участии Н. Н. Львова, В. А. Маклакова и В. В. Шульгина. Струве провозглашал, что революция — «соблюдение и выявление добра». Шульгин в статьях требовал сильной республиканской власти, тоже поддерживал революцию, но к радикалам относился подозрительно. Впрочем, пока для него вершина радикализма — Керенский. Но тут у него была своя стратегия. «Надо вырвать у революции ее главарей», — говорил он в свое время Шингареву, предлагая позвать Керенского в качестве министра юстиции, сам отказавшись от этого поста.

Но в апреле приехал Ленин, призвал в своих тезисах покончить с войной, перейти ко второму этапу революции — терпеливо бороться за массы, благо есть возможность («Россия сейчас самая свободная страна в мире...»). А потом покончить с парламентской республикой, выборным чиновникам платить не больше, чем хорошему рабочему, землю отдать крестьянам...

Любопытно, что Шульгин тоже против парламентаризма (хотя именно на этом он сделал свою карьеру). Но совсем из иных соображений...

Ленин отдавал должное значительности шульгинских выступлений, отвечал ему. К июню большевики уже имеют громадную поддержку в массах, уже зреет лозунг «Вся власть Советам»... Но есть и реакция. Ленин тогда писал:

«Штаб контрреволюции находится в стенах совещания IV Государственной думы, где верховодят Милоков, Родзянко, Шульгин, Гучков, А. Шингарев, Мануйлов и К⁰...» (цит. по «Годы». С. 11).

Шульгин назван третьим.

В июле выступление большевиков подавлено. Ленин обвиняется в получении немецких денег для разложения русской армии и заключения сепаратного мира. Он скрывается, и большевики берут курс на вооруженное восстание. А Керенский образует коалиционное правительство.

В. В. Шульгин в 1922 году писал П. Н. Милокову: «Мы все проталкивали Керенского к власти... своей пляской на гребне волны он дал нам передышку на несколько месяцев... Он изображал всероссийского диктатора. Надо быть поистине талантливым актером, чтобы играть эту роль...»

Керенский играл в Бонапарта, а сила сосредоточивалась в руках генерала Лавра Георгиевича Корнилова (тоже из простых), назначенного на пост Верховного главнокомандующего при поддержке знаменитого в прошлом эсеровского террориста Бориса Савинкова, который хотел играть при будущем диктаторе роль главного политического советника.

Закулисные переговоры Керенского и Корнилова увенчались Государственным совещанием в московском Большом театре, начавшемся 12 августа. Большевики были против совещания, тем более что «визитки, сюртуки и крахмальные сорочки доминировали над косоворотками», — как писал корреспондент «Известий».

Корнилов приехал в Москву 13 августа. Небольшого роста, сухощавый, с татарскими глазами и рыжеватой бородкой, генерал был встречен восторженно промышленниками и офицерами. Юнкера вынесли его на руках к построенному на привокзальной площади казачьему полку.

Милоков ездил к Корнилову и договорился о дне разрыва с Керенским — 27 августа. Ездил ли Шульгин — неизвестно.

Но он выступил в Большом театре в один день с Корниловым (14 августа), который говорил об анархии в армии, убийстве командиров, требовал поднятия дисциплины.

А что же говорил Шульгин? Он явно отвечал на вступительную речь Керенского и прикрывал Корнилова.

— Кем-то было упомянуто здесь знаменитое столыпинское «Не запугаете». А зачем оно здесь приведено? Так во второй Государственной думе пугали. Кто и кого пугает здесь? Почему все время говорят о том, что надо спасать революцию, когда никакой угрозы нет. По крайней мере, она здесь не раздается. Почему говорят, что откуда-то грозит пока невидимая контрреволюция? Надо дать себе в этом отчет.

— Пять месяцев тому назад каждого, кто осмелился бы что-нибудь

сказать против революции, растерзали бы на части. Почему же теперь настроение у всех изменилось? Причина тут в ошибках правительства. Ошибки бывают трех родов...

Отдадим должное ораторскому искусству Шульгина. Первой ошибкой он считал отмену смертной казни. Он, убежденный монархист, которому по злой иронии судьбы пришлось присутствовать при отречении двух императоров (вторым он считал отказ стать монархом великого князя Михаила Александровича в присутствии Керенского, Львова, Родзянко, Милокова, Гучкова и других), сочувствует Керенскому, сказавшему: «Я душу свою погублю, но родину спасу». Но если тот будет нерешителен, то правительство может и душу погубить, но родину не спасти...

Второй ошибкой он считал невыполнение условий военного времени, допущение в армии выборных комитетов. Прозревал силу Ленина и требовал сильной власти.

Третья ошибка рождает тезис, разрушающий «единую и неделимую Россию». Некоторые хотят быть равноапостольными. Как когда-то Владимир Святой крестил в Киеве Русь в христианство, так теперь хотят крестить Русь в украинство. Часть интеллигенции Южной России оскорбляется, когда их называют украинцами, а часть — русскими. Так вот он от имени Киева заявляет о желании держать с Москвой «союз нерушимый», установленный Богданом Хмельницким с московским послом Бутурлиным.

Контрреволюционное выступление Шульгина было заявкой на роль идеолога белого движения...

Керенский знал о намерении Корнилова перебросить под Петроград корпус Крымова с целью разгона Советов и разгрома большевиков и разделял его. Недаром Ленин называл его «корниловцем».

«Мы,— вспоминал промышленник А. И. Путилов,— не сомневались до самого конца в согласии Керенского с Корниловым. Корнилов шел против Смольного, только против Смольного... Я и сейчас не даю себе отчета в том, что заставило Керенского объявить Корнилова изменником и этим окончательно все погубить».

Большевицкий Смольный стал на защиту республики, а потом последовала Октябрьская революция...

Но еще в сентябре Временное правительство производило аресты старорежимных деятелей, даже у Гучкова был произведен обыск и обнаружено письмо о деятельности Пуришкевича, который вел контрреволюционную агитацию среди офицеров, желая установить диктатуру и не только ликвидировать лидеров Советов, но и некоторых деятелей дофевральской оппозиции, и среди них — самого Гучкова, Милокова, Шульгина, Родзянко.

Шульгина в это время не было в Петрограде. Из Москвы он уехал в Киев, где уже в ноябре создал секретную организацию под названием «Азбука». Сам он в ней руководил под буквой «Веди». Его единомышленники (и штатские, и офицеры) были весьма влиятельны и исповедовали борьбу с большевизмом, верность союзникам и монархии.

Легально же Шульгин боролся в «Киевлянина» с украинским движением, парламентаризмом, Учредительным собранием. Даже написал заявление:

«Я, нижеподписавшийся, если буду избран в Учредительное собрание... буду считать решения этого Учредительного собрания для себя необязательными. В. Шульгин».

Большевики тоже писали, что решения Учредительного собрания могут быть необязательными для новой власти. И даже разогнали его.

И тогда же была объявлена в Киеве «Украинская народная республика» Центральной радой, в которой объединились украинские социалисты-федералисты и социал-демократы. Недаром говорил о «союзе нерушимом» Шульгин на Государственном совещании. Националисты организовались еще в марте, а теперь возникло новое государство и свое правительство: генеральный секретарь — В. К. Винниченко, военный министр — С. В. Петлюра, а министр иностранных дел — А. В. Шульгин, племянник В. В. Шульгина.

Получалось так: один Шульгин — русский, другой — украинец. А столица, Киев,— мать городов русских. Долго еще В. В. Шульгин будет негодовать на, как он говорил, «украинствующих»...

Тут он тоже был солидарен с большевиками, объявившими новое государство вне закона. В январе восемнадцатого Раду вышибли из Киева советские войска, а в феврале пришли немцы...

Разобраться во всех перипетиях на Украине во время гражданской войны весьма непросто... Немцы сперва не разбирались — согнали пятьдесят женщин с ведрами и тряпками и велели хорошенько помыть пол на вокзале, запущенный в связи с междоусобицами. На чистый перрон ступили генералы фон Линзинген и Гофман.

В знак протеста В. В. Шульгин гордо отказался издавать газету и в последнем номере «Киевлянина» (от 10/23 марта) писал:

«...Так как мы немцев не звали, то мы не хотим пользоваться благами относительного спокойствия и некоторой политической свободы, которые немцы нам принесли. Мы на это не имеем права...

Мы были всегда честными противниками. И своим принципам не изменим. Пришедшим в наш город немцам мы это говорим открыто и прямо.

Мы — ваши враги. Мы можем быть вашими военнопленными, но вашими друзьями мы не будем до тех пор, пока идет война.

«. У нас есть только одно слово. Мы дали его французам и англичанам, и пока они проливают свою кровь в борьбе с вами за себя и за нас, мы можем быть только вашими врагами, а не издавать газету под вашим крылышком».

Есть сведения, что еще в ноябре — декабре 1917 года Шульгин побывал на Дону в Новочеркасске, где генерал М. В. Алексеев приступил к формированию Добровольческой армии. Туда бежали из заключения в Быхове генералы Л. Г. Корнилов и А. И. Деникин со своим окружением, там оказались Родзянко, Струве, Львов, Половцев, генералы Лукомский, Романовский... Посовещавшись, решили создать вооруженную силу «для водворения порядка в России». Алексеев выдал гражданским управлением, Корнилов — военными делами, Каледин — областью Войска Донского.

На Дон пробирались со всех сторон монархисты. Встречая ново-прибывших, Корнилов с досадой спрашивал:

— Это все офицеры, а где солдаты?

Он не поладил с Калединым и увел свою армию (2 тысячи человек) в Ростов, а потом его и остатки календинцев красные вынудили отступить в Сальские степи, где и начался Ледяной поход, в стуже, через кубанские станицы, не торопившиеся давать казаков для «белого дела». Но в Екатеринодаре тоже уже была власть Советов, изгнавших «Кубанское правительство». В марте 1918 года Корнилов был убит под Екатеринодаром разорвавшимся в его штабе снарядом. И армия, теперь под началом Деникина, совершила вторую часть Ледяного похода, на Дон, где разразилось казачье восстание...

В городах Советской России начался голод. В деревню двинулись рабочие продовольственные отряды. Они изымали хлеб, создавали комитеты бедноты, помогали осуществлять передел помещичьих и кулацких земель, а заодно прижимали и середняков. Крестьяне отвечали мятежами. Диктатура пролетариата с ними не церемонилась. Для классово опасных лиц — дворянства, духовенства, кулаков и части интеллигенции — готовились концентрационные лагеря...

Социальную борьбу Шульгин воспринимал, как говорится, с классовых позиций и на правах одного из основателей белого движения поучал в апреле 1918 года генерала Алексеева:

«Самое важное, чтобы революция дошла до самого конца; нужнее всего действительное осуществление социализации земли в деревнях для того, чтобы вся толща крестьянского населения получила стихийное отвращение к лозунгу «земля и воля», погубившему государство. Процессу этому отнюдь не следует мешать, каких бы жертв это ни стоило».

Шульгин и к лету 1918 года не осознал, что произошла народная

революция, что «похабный», по выражению Ленина, мир с немцами был заключен не от хорошей жизни, что немцы пришли не по воле большевиков и не командуют ими, что большая часть офицеров, прошедших горнило мировой войны, служит в Красной Армии по своей воле, увлеченная идеей будущего народоправства. И потому странно так сейчас читать его письмо к генералу Алексееву:

«Добровольческая армия должна покончить со всякими колебаниями, оставить мысль об Учредительном собрании и народоправстве, которым из мыслящих людей уже никто не верит, и сконцентрировать все силы на одной задаче — вырвать русский императорский дом из физического обладания немцев и поставить его в такое положение, чтобы, опираясь на наступающую Японию, от имени вступившего на престол государя объявить священную войну против немцев, завладевших родиной».

В июне, когда в Добровольческой армии уже было 12 тысяч штыков и сабель, и не одни офицеры, генерал Алексей отвечал Шульгину:

«Относительно нашего лозунга — Учредительное собрание — необходимо иметь в виду, что выставили мы его лишь в силу необходимости... Наши симпатии должны быть для вас ясны, но проявить их здесь было бы ошибкой, т. к. населением это было бы встречено враждебно...»

Большинство офицеров Добровольческой армии было за поднятие монархического флага, но...

Деникин вспоминал: «Для Шульгина и его единомышленников монархизм был не формой государственного строя, а религией. В порыве увлечения идеей они принимали свою веру за знание, свои желания за реальные факты, свои настроения за народные. На Юг шли послания, доклады, сводки, в которых яркими красками изображался рост монархического движения в стране».

В Шульгине литератор подчинял себе политика даже в конспиративной деятельности, требовавшей точности, фактов, а не творческого воображения...

В 1708 году стародубский полковник Скоропадский не послушался уговоров Мазепы перекинуться к шведскому королю и поехал в стан московского боярина Долгорукого, а потом и сам стал гетманом. Его потомок генерал П. П. Скоропадский входил в Центральную раду как глава военных формирований, но немцы сделали на него ставку, и он перекинулся к ним. 5 апреля 1918 года он заключил договор с фельдмаршалом Эйхгорном и бароном Муммом «о направлении будущей украинской политики». Пока это было тайной, но «Азбука» знала все и даже — о телеграмме германского императора, давшего согласие на избрание Скоропадского гетманом, которую и переправила Алексееву. Немцы разо-

гнали Центральную раду, а 29 апреля «съезд хлеборобов» избрал гетмана, что давало основание начальнику штаба восточного фронта немцев генералу Гофману похваляться впоследствии, что Украина — дело его рук.

«Самостийность» прикрывала далеко идущие планы немцев о захвате Москвы и реставрации монархии под их эгидой. В трех дивизиях гетмана офицеры были сплошь русские. Им приходилось учить «галицийскую мову». Офицер писал приказ, а писарь переводил его с помощью словаря Толпыго, заменял слова на украинские, оставляя русские обороты.

«Веди» сообщал на Юг, что не может «произвести над собой ломки, т. е. работать над восстановлением России с немцами...». Он видел в соглашении с немцами окончательное закрепление России, «монархия и династия будут тогда окончательно скомпрометированы». Он предлагал пробовать провозглашать кандидатом на трон того или иного члена династии, те будут добровольно отказываться, пока не выявится лицо, приемлемое для населения. И делать все ради поддержания своих монархических иллюзий...

Он даже поддержал попытку гвардейского капитана П. Булыгина освободить семью Романовых, доживавших свои дни в Екатеринбурге. Шульгин дал ему пароль, который позволял войти в контакт с руководителями подпольного Правого центра в Москве. А тогда, из-за угрозы захвата Екатеринбурга белочехами, царя с семьей собирались переправить в Котельнич. Туда и пробрался Булыгин с офицерами под видом мешочников, собираясь отбить царя и увезти на катерах в Архангельск. Не дождались...

Шульгин знал, что Правый центр с бывшим царским министром земледелия А. В. Кривошеиным во главе имел в Москве тайную монархическую организацию, насчитывавшую до тысячи офицеров, но не знал, что она тоже отчасти содержится на немецкие деньги. В мае часть Правого центра раскусила это, стала ориентироваться на Антанту, откололась и образовала Национальный центр со своей военной организацией. Теперь Шульгин сотрудничал с ним.

Впрочем, при Скоропадском все, что было против Советской власти — от монархистов до кадетов и эсеров, — хлынуло в Киев.

Тут уж «Азбука» развернулась — она занималась не только политической разведкой и поучала добровольческое командование. Происходила вербовка офицеров и отправка их в белую армию, подготовка антисоветских вооруженных выступлений... Деньги Шульгин получал через Национальный центр от союзников.

В июне — июле Шульгин хотел перебросить своих офицеров в Архангельск, потом — на Волгу, писал Колчаку, предлагая свою организацию и 25—30 тысяч офицеров для борьбы против немцев и большевиков, но только «с открытым монархическим знаменем». Однако откровенный мо-

нархизм для тогдашних руководителей белых был неприемлем. Колчак был не против «демократического правительства».

В конце июля в штабе Добровольческой армии была получена телеграмма о переезде организации Шульгина на Дон, в распоряжение генерала Алексеева, «вследствие невозможности пробиться в другие районы, стеснений, чинимых на Украине, и требования немцев гетманскому правительству образовать на Украине концентрационные лагеря...».

Офицерство твердо делилось на две части. Одна, как уже говорилось, пошла в Красную Армию, считая «морально допустимым служение народу при всяком правительстве». Другая мыкалась на распутье. Ей предлагался широкий выбор антисоветчины — от монархической до демократической.

На Дону сидел после майского мятежа генерал П. Краснов, выбранный атаманом Всевеликого войска Донского, которое придерживалось старой казацкой поговорки: «Здравствуй, царь, в кременной Москве, а мы, казаки, на тихом Дону». Но Краснов исподволь вел переговоры с самим германским императором, просил и получал деньги, обещая перейти в наступление, поскольку немцы в конце лета собирались оккупировать Москву.

На немецкие-то деньги Краснов и поставил в Воронежской губернии заслон Дону, так называемую Южную армию в 3,5 тысячи штыков и сабель, но для командования ею не могли найти популярного генерала. К ней и обратился Шульгин, призывая офицеров переходить в Добровольческую армию, и его призывы действовали. У добровольцев с офицерами Донского войска отношения были тяжелые, драки и поединки не прекращались...

Шульгин приехал в деникинскую армию в августе, когда в ней было уже более 10 тысяч человек и ею был захвачен Екатеринодар.

Появилась территория, которой надо было управлять. Шульгин разработал «Положение об Особом совещании при Верховном руководителе Добровольческой армии», составил список Совещания, предложив председателем генерала Алексеева, а заместителями генералов Деникина, Драгомирова, Лукомского. Это было своеобразное «совещательное» правительство со своими министерствами, отделами. В сентябре Алексеев умер, и Верховным стал Деникин, поручивший своим людям подправить шульгинский проект в либеральную сторону.

Шульгин тотчас же стал издавать газету «Россия», воспевать монархические и националистические принципы, проповедовать чистоту «белой идеи», мечтал об ордене, патриотическом, рыцарском, святом и чистом. Шульгинские статьи использовало для пропаганды деникинское Осведомительное агентство (Осваг). Ему виделся такой орден в основном им Южно-русском национальном центре, который уже хотел возвращения конституционной монархии (кандидат на престол — великий князь Николай Николаевич) и Думы, состоящей из одних националистов. Думские

времена казались едва ли не райскими, по сравнению с тем, что творилось на территории, занятой Добровольческой армией, с грызней между деятелями всех оттенков — от Милокова до садистов из контрразведки. Еще не было пессимизма, который у него появится к 1920 году. Он поминал Ледяной поход, в котором не участвовал, как подвиг, но именно в этом походе усматривал уже причины будущего развала — отсутствие поддержки мирного населения из-за непопулярных идей и реквизиций, похожих на грабеж...

Была у него и еще одна тема, связанная с его давней ненавистью к революционному террору. 30 августа молодой человек в кожаной куртке в самом здании Петроградской чрезвычайной комиссии подошел к ее председателю Моисею Соломоновичу Урицкому и в упор убил его несколькими выстрелами из револьвера. Пойманный, он назвал себя Леонидом Каннегисером, социалистом. В тот же день в Москве в 7 часов вечера на бывш. заводе Михельсона у ожидавшего его автомобиля был тяжело ранен двумя пулями Владимир Ильич Ленин. Покушавшуюся задержали. Она назвала себя Фаней Ефимовной Каплан, социалисткой. 2 сентября Яков Михайлович Свердлов сделал сообщение об этом на заседании ВЦИК, который принял резолюцию: «На белый террор врагов рабоче-крестьянской власти рабочие и крестьяне ответят массовым красным террором против буржуазии и ее агентов». Отдан приказ о взятии заложников из бывших дворян, буржуа и офицеров. Каннегисер и Каплан, не выдав сообщников, были, согласно официальному сообщению, расстреляны 3 сентября. Уже 2 сентября республика объявлена военным лагерем. По всей стране ликвидированы сотни тысяч людей, не имевших никакого отношения ни к Каплан и Каннегисеру, ни к социалистам вообще, как подчеркивал в своей газете Шульгин, лишившийся многих своих дореволюционных знакомых. Советской власти надо было покончить «с расхлябанностью и миндальничанием» и «известить под корень классового врага». Шульгин считал убийство и покушение провокацией. 6 сентября был создан Реввоенсовет Республики во главе со Львом Троцким-Бронштейном, которого Шульгин ненавидел особенно...

Вскоре Шульгин познакомился с превратностями гражданской войны на Украине воочию.

6 октября он получил письмо от французского офицера, консула в Киеве Э. Энно из Ясс, где союзники хотели провести совещание. Энно обещал самую широкую помощь контрреволюции и заверял Шульгина, что «единственная программа Согласия сводится к нижеследующему: воссоздать единую и неделимую Россию и помочь восстановлению в России монархии».

Из Екатеринодара Шульгин не доехал до Ясс, заболел в пути и слег в больницу, а на совещании в начале ноября в присутствии представите-

лей Англии, Франции и США шумно спорили буржуа (за диктатуру) с социалистами (за директорию), а монархисты были в меньшинстве.

На Деникина посыпались союзнические благоденствия, ему подчинился Дон, а сам он готовился стать главнокомандующим вооруженными силами Юга России. К началу 1919 года у него было 40 тысяч активных штыков и сабель при 193 орудиях и 7 бронепоездах.

В. И. Ленин еще в октябре выдвинул требование о создании трехмиллионной Красной Армии. Враги наседали со всех сторон, уже высаживались интервенты. Они и белые имели больший военный опыт, чем мобилизованные красноармейцы. К тому же для экипировки и оснащения трех миллионов у Советов не хватало около двух миллионов винтовок, почти двух с половиной миллионов шинелей и сапог...

Обстановка существенно менялась. В Германии разразилась революция, немецкие войска удалались, прихватив награбленное и гетмана Скоропадского; Винниченко и Петлюра создали Директорию и вошли в Киев*. И не только в Киев...

Выздоровевший Шульгин, по возвращении из Ясс, заехал в Одессу, застал там генералов Гришина-Алмазова и Эрдели, адмирала Ненюкова и решил остаться. Во главе отряда Добровольческой армии, захватившего Одессу, он поставил военным губернатором Гришина-Алмазова, который, как обидчиво сообщал Деникин, «правил почти независимо от Особого совещания, находясь под влиянием Шульгина». Кстати, здесь оказалось много членов Южно-русского национального центра, созданного Шульгиным. Он оправдывался, что централистская политика Екатеринодара «необходима, как принцип, но вредна, как система текущей политики».

27 ноября в Одессе появились французские квартирьеры. 28 ноября без боя в Одессу вошли петлюровцы. Адмирал Ненюков посадил добровольческий отряд на пароход «Саратов» и вышел на рейд. Потом отряд вернулся и выбил петлюровцев из части города. Никольский бульвар стал «нейтральной зоной», над которой был поднят французский флаг. Ее охраняли польский отряд и французский экипаж. Расположился там и Шульгин...

4 декабря подошли транспорты французских интервентов. Добровольцы осмелели и после десятичасового боя очистили Одессу от петлюровцев, которые окружили город. Дальше двигаться добровольцам французы не разрешили.

У Шульгина было время подумать над судьбами белого движения. Как идеолог, он ухватился за главный вопрос и 12 декабря написал Деникину:

«Я думаю, что без решения аграрного вопроса ничего не будет.

* Защищая город, в одной из студенческих дружин 1 декабря 1918 года погиб старший сын Шульгина — Василид. (Прим. авт.)

Наш мужик, при всем своем варварстве, здоров душой и телом, невероятно настойчив в своих требованиях. Наши помещики дряблы и телом и духом, и здоровый эгоизм собственника, столь сильный у англичанина и француза, в значительной мере ими утрачен. У меня появилось внутреннее убеждение, что бороться в этом отношении бесполезно. Но если землю все равно надо отдать, то возникает вопрос, правильно ли мы делаем, откладывая этот вопрос до воссоздания России? Ведь главное препятствие этого воссоздания и есть эта проклятая земля».

Что верно, то верно. Крестьяне захватывали землю, образовывали собственные отряды и банды, били деникинцев, оказывали сопротивление красным. На этом играли Махно и другие батьки атаманы.

В январе 1919 года в Одессу прибыло французское командование во главе с генералом д'Ансельмом. Деникинцам он не доверял и сказал Шульгину:

— Мы должны поддерживать у вас все элементы порядка, а до партийных различий — до того, кто стоит за монархию, кто за единство России, кто против России,— нам дела нет.

В Одессе тогда собрались представители буржуазных партий всех оттенков, авантюристы, спекулянты... Одесса лихорадочно «жила», торговала, грабила, делала все, что так красочно живописали в своих произведениях советские литераторы «южнорусской школы». Французы вели переговоры с петлюровской Директорией, что особенно возмущало Шульгина, уже начавшего выпускать свою газету «Россия». Французское командование закрыло газету на восемь дней. В знак протеста Шульгин отказался возобновить издание. Выходила самостийная «Нови шляхи».

Французские войска все прибывали. Уже тут было полторы французских дивизии, две греческих бригады и одна польская. Да и деникинцев тысяч пять, в основном офицеров.

Французские «паулу» не хотели воевать. Наибольшим успехом пользовалась подпольная газета «Одесский коммунист», выходившая на русском и французском языках.

В феврале 1919 года Красная Армия разбила Петлюру, и атаман Григорьев перекинулся на ее сторону, повел наступление на Херсон и Одессу. Французы паниковали, пытались создавать «правительства» из различных партийных группировок. А 20 марта генерал д'Ансельм объявил, что получен приказ Антанты об эвакуации Одессы. Он хотел разоружить деникинскую бригаду, но она ушла к Днестру, в Бессарабию...

В предисловии к книге «1920» Шульгин написал, что выбрал этот год, как ближайший. «Если из этого что-нибудь выйдет, вероятно, перейду к временам, более отдаленным». Видимо, есть где-то его записки, и такие же колоритные, но у меня их нет. Остается только пожалеть об

этом и пользоваться материалами косвенными, в которых Шульгин мелькает то тут, то там на территории «Деникин», или в государстве «царя Антона», как шутливо называли Антона Ивановича Деникина в Особом совещании, непременным членом которого оставался Василий Витальевич Шульгин.

А Деникин продвинулся далеко на север — Царицын, Воронеж, Курск, на очереди стоял Киев, а потом Москва. В. И. Ленин написал письмо «Все на борьбу с Деникиным!»

Бравый генерал Врангель, одногодок Шульгина, считал, однако что Деникин бездарен, растягивает фронт, вместо того чтобы собрать силы в кулак и ударить на Москву. И действительно, в ноябре 1919 года «фронт» рухнул и начался драп. К тому времени красные научились воевать, у них было вдесятеро больше тачанок, прекрасная кавалерия... А Добрармию уже называли не иначе как «грабьярмия».

Но до этого Шульгин побывал в родном Киеве, который в феврале 1919 года освободила Красная Армия. Шульгин прибыл в город 18 августа вместе с захватившими его деникинцами и, дружа с генералом А. М. Драгомировым, сперва председателем Особого совещания, а потом главным начальствующим Киевской области, уже 21 августа возобновил издание «Киевлянина», в котором печатал синодик расстрелянных ЧК, возглавлявшейся Блувштейном. Когда-то Шульгин создал в Киеве «Клуб русских националистов», в 1917 году превратившийся в «Блок русских избирателей», основную его политическую опору. Шульгин узнал, что ЧК раздобыла печатный список членов клуба 1911 года и расстреляла всех, кто еще не умер и не бежал. Он считал это намеренным уничтожением русской интеллигенции евреями, потому что в ЧК их было 75 процентов. Ему рассказали, что летом в Киев приезжал Троцкий и выступил с речью, призвав уничтожить врагов. Еще летом 1918 года Шульгин познакомился с Хрустальевым-Носарем, который был председателем Петербургского Совета рабочих депутатов в 1905 году, а заместителем его — Троцкий. Носарь был тогда арестован, сослан, бежал за границу, вернулся, снова арестован, выпущен из тюрьмы революцией, уехал к себе в Переяславский уезд и стал председателем уездной земской управы, презирал Радугу. Шульгину он говорил, что Троцкий, будучи его заместителем в 1905 году, одновременно был секретным сотрудником департамента полиции, о чем он и поведал в брошюре «Как Лейба Троцкий-Бронштейн расстрогивал Россию». Носаря расстреляли, и, по версии, которую Шульгин считал легендой, заспиртованная голова Носаря была отправлена Троцко-

му в Москву.

Но было бы несправедливым считать Шульгина «маховым» юдофобом. Он всегда выступал против погромов, которые затевали садисты из офицеров. Мало того, он считал это бунтом против командования армии и сам требовал расстрелов за такие дела, поскольку насилие развращало, губило «белое дело».

С приходом деникинцев в Киев начались грабежи. Насильники входили в еврейские квартиры, издевались... Восьмого октября Шульгин выступил в «Киевлянине» со статьей «Пытка страхом», в которой назвал происходящее «средневековой жутью». Завидев людей со штыками, евреи целыми кварталами начинали кричать от страха. Шульгин призывал власти бороться с насилием, а евреев — покаяться в своей роковой поддержке большевиков и создавать не «Лиги по борьбе с антисемитизмом», а «Еврейскую лигу по борьбе с социализмом».

Реакционер Шульгин оставался верен себе.

Во имя «белого дела» он критиковал белых. А во имя чего он критиковал и красных?

«Все иступленные вопли о том, что будто старый режим кому-то не давал ходу... оказались по меньшей мере ошибочными. Революция на наших глазах вывернула, так сказать, народ наизнанку. И на «дне», как и следовало ожидать, оказались одни подонки. В военном мире мы видим все тех же лиц, выдвинувшихся еще при старом режиме... В гражданском управлении... «революционная демократия» и здесь не выдвинула ни одного работника, пригодного для государственной машины. Пришлось обращаться к старым «бюрократам» и «деятелям» («Киевлянин», 1919, 1 сентября).

Вскоре от вооруженных сил Юга России останется лишь Добровольческий корпус Кутепова в 10 тысяч штыков и сабель. Врангель, высланный Деникиным, будет попивать турецкий кофе в Константинополе. Но и сам Деникин с бывшим начальником штаба генералом Романовским тайком покинут Феодосию, не случайно боясь своих же офицеров-монархистов, ибо Романовского все равно убил один из них в русском консульстве в Константинополе. А Деникин проследует дальше, в Лондон, в своем непромокаемом плаще и дорожном кепи... Тайком-то тайком, но багаж с ним был основательный, и там — богатейший архив, включавший все письма Шульгина, что позволило основательному генералу тотчас засесть за многотомные «Очерки русской смуты»...

Особое совещание упразднено 16 декабря 1919 года.

Недооценивал Шульгин противника!

Новый, 1920 год застал его в поезде генерала А. М. Драгомирова, стоявшем в одесском порту. Дальше было море, на севере — красные. И было время подумать, почему проиграно некогда «благородное белое дело». Джентльмены превратились в бандитов, ненавидимых всеми... Осталось уповать на Врангеля, Он предупреждал, что все кончится этим. И у него железная рука...

7 февраля кавалерийская бригада Григория Котовского первой ворвалась в Одессу. Шульгин с женой и двумя сыновьями ушел с полковником Стесселем и его отрядом к Тирасполю, но там на Днестре

румыны, отхватившие под шумок гражданской войны Бессарабию, не пускали пулеметами на правый берег ни красных, ни белых. Белые шли по льду Днестра, замерзая и теряя товарищей, пока благородный Котовский не сжалился и не пропустил их в красную Одессу...

Врангель вернулся в Крым к апрелю, когда там собрались остатки вооруженных сил Юга России, и преобразовал их в «Русскую армию». Крым держал кокаинист генерал Слащев, любивший то ходить замурзанным, то пышно одеваться и злой как бешеная собака. Врангель сказал по этому поводу:

— Вам какое дело? Если даже воткнет перо себе в задницу, но будет хорошо драться, это безразлично.

Книга Шульгина «1920» посвящена впечатлениям от большевистской Одессы и врангелевского Крыма, где издавалась газета «Великая Россия», которую Шульгин основал вместо закрытой в свое время «России». Но основатель к журналистике остыл. Он пытается выручить своего племянника и друга Эфема, Филиппа Михайловича Могилевского. В ноябре бежит вместе с Врангелем в Константинополь, где подбивает итго, настраивает себя на оптимистичный лад.

Красные восстановили русскую армию — значит, сделали «белое дело». Ленин отстоял «единую и неделимую».

Остается ждать — придет Некто, большевик по энергии и националист по убеждениям. «У него нижняя челюсть одинокого вепря... И «человеческие глаза»... И лоб мыслителя...»

И победит Белая Мысль.

Он пережил Сталина, а все мечтал об этом...

За границей оказалось более двух миллионов русских эмигрантов. Судьба их сложилась по-разному, но почти все тосковали по родине. Некоторые сперва были настроены очень воинственно. И в том числе Шульгин.

Из Крыма набитые до отказа суда вывезли 70 тысяч врангелевцев и столько же беженцев. Среди них были Шульгин с младшим сыном Димой. Старший сын погиб. Среднего, которого в «1920»-ом он называл детской кличкой Ляля, а на самом деле звали Вениамином, Шульгин видел в последний раз на Приморском бульваре в Севастополе в августе 1920 года. Потом он слышал, что сын поступил в Марковский полк, и больше о нем известий не было.

В Константинополь Шульгин добрался «после разных приключений», и среди них было одно, никогда не фигурировавшее ни в его рассказах, ни в его книгах. На пароходе он познакомился с молоденькой Марией Дмитриевной, дочерью генерала Седельникова, ставшей его «гражданской», а потом и законной женой. Шульгину в то время было сорок два года.

24 декабря он оказался на полуострове Галлиполи, где расположился лагерь 1-й корпус Кутепова из 25 тысяч человек. Врангель приказал поддерживать среди них жесточайшую дисциплину. Свиристельствовали военно-полевые суды... Часть войск прозябала на острове Лемнос.

Поручик Марковского полка, в пулеметной команде которого состоял Вениамин, рассказал Шульгину, что последний раз видел его в бою южнее Джанкоя 29 октября. Буденновцы шли лавой на пулеметы. Одна из лошадей Вениамина пала. Удиравший на другой тачанке поручик оглянулся и увидел, что буденновцы совсем близко, а пулеметная прислуга разбегается...

Шульгин не знал, что и думать — убили Вениамина, ранили, в плену он, расстрелян?

Он предпринял не одну попытку узнать о судьбе своего сына. В январе 1921 года он намеревался отправиться к берегам Крыма на шхуне, но ее сорвало с якоря и разбило штормом еще в Босфоре. В сентябре — новая попытка. Отправившись на шхуне из Варны, провели в море 17 дней. Высадились в Гурзуфе, искали всюду, из десяти участников экспедиции пятерых потеряли...

В Галлиполи собрались люди отпетые — уцелевшие корниловцы, дроздовцы, марковцы, алексеевцы. Когда французские власти предложили расформировать корпус и прекратили выдачу продовольствия, они решили пробиваться на север и даже захватить Константинополь. Кроме этого были и другие лагеря, подчинявшиеся Врангелю, и потому он решил создать что-то вроде правительства — «Русский совет», который бы координировал «борьбу против большевиков». Пригласили туда и Шульгина. Но союзники все-таки настояли на своем: разоружили врангелевцев, которые, как и прочая эмиграция, разбились на группировки. «Русский совет» эвакуировал войска в Болгарию и Югославию и осенью 1922 года был распущен.

За границей возобновились старые споры, поминали Столыпина и Прогрессивный блок... Милоков в 1921 году объединил левых кадетов с правыми эсерами, а выступал перед ними Керенский. Проводили съезды. Милоков стоял за «массовые бунты в России», а Шульгин ему возражал:

«Может быть, вы увлеклись планами эсеров и эсдеков по взрыву большевиков «изнутри»? Быть может, вы верите в спасительность этих восстаний, по поводу которых вновь заболевший манией величия Александр Федорович (Керенский), как говорят, «принимал поздравления» в Париже. Не увлекайтесь, Павел Николаевич, этими восстаниями. Во-первых, бабушка еще надвое сказала, чем эти восстания кончатся, а вторых, если бы они и кончились благополучно для восставших, что дадут они вконец измученной России?»

А Милоков тоже укорял:

«Вы сами не представляете себе то, что сделали вы с этой русской

армией... Понимаете ли вы, что если она лила свою кровь и несла свои жертвы напрасно; что если она в результате своих трудов оказалась не в Москве и Петрограде, а на Лемносе и в Галлиполи, то виноваты в этом вы, Василий Витальевич. Не один, но вы первый».

В том же 1921 году в Сремских Карловцах в Югославии состоялся церковный собор, который осудил Октябрьскую революцию и призвал вести борьбу с Советской властью во имя возвращения на престол «законного православного царя из дома Романовых». Последствия Карловацкого собора и посейчас раскалывают православную церковь...

Страсти были великие. В апреле 1922 года в Берлине состоялась конференция Русского народно-монархического союза. Там был гостем Милоков. В него стреляли белогвардейские офицеры, а убит был другой кадет — В. Д. Набоков. Главными претендентами на престол считались великий князь Николай Николаевич и великий князь Кирилл Владимирович, который первого марта 1917 года присягал вместе со своим Гвардейским экипажем на верность Временному правительству. Кирилл требовал от Врангеля подчинения, а тот стоял за Николая Николаевича. В сентябре 1924 года Врангель издал приказ об образовании Российского общевоинского союза (РОВС) и оставался его начальником до своей смерти в 1928 году, после чего его сменил генерал Кутепов... Когда в том же, 1924 году Кирилл поторопился объявить себя «императором всероссийским», Шульгин высказался в том духе, что «императорский титул сейчас не помощь, а препятствие для эмиграции»...

К этому времени Шульгин успел побывать и пожить в Румынии, Турции, Болгарии, Югославии, Франции, Польше, успел написать несколько книг. Еще в Галлиполи у него созрел замысел «1920»-го, потом были «Дни», «Нечто фантастическое».

Шульгин фантазирует — как бы он преобразил «Страну Советов». В первый период децентрализовал бы администрацию на основе широкой местной автономии и демократических выборов. Но...

«В борьбе страстей (во время выборной лихорадки.— Д. Ж-) партии порочат друг друга, возводят на порядочных людей неслыханные обвинения и сплошь и рядом выбрасывают за борт тех, кого в спокойном состоянии нельзя не признать в высшей степени полезными и почтенными деятелями».

Так что надо треть потом «кооптировать» в местные думы.

Он бы призвал варягов, пригласил иностранных капиталистов. Немцы все хотят первенствовать в экономике при помощи штыков, так пусть уж приходят мирно и приносят пользу как организаторы. Французы — народ влюбленный в себя, не умеют ладить с другими национальностями. «Насильно мил не будешь» Финляндии, Грузии, Армении, Литве и другим. Федерация с ними не нужна, сами потом попросятся...

Шульгина ободряла позиция В. И. Ленина, провозгласившего нэп. Он считал это большим рубежом и шутил, что в музеях всегда показывают череп Наполеона в молодости и череп Наполеона в старости. Надеялся, что собственность будет восстановлена и объявлена священной и неприкосновенной во веки веков.

Но капиталистов он призывал подпускать к собственности «с умом». Пусть поработают сперва на государство. Рабочим — полное обеспечение. Потом свои капиталисты справятся с иностранными. Шульгин был за большие заводы, обеспечивающие дешевизну товара.

И еще он был против большой армии. «В былые годы ежегодный контингент новобранцев давал свыше 800 тысяч человек. Если считать срок службы трехлетней, то выходило, что два с половиной миллиона людей в цветущем возрасте отрывались от производительного труда. Вы подумайте чудовищность этих цифр и представьте себе, что половина времени этих людей была бы возвращена стране».

Вопрос с продовольствием мог бы решиться, если бы крестьянин был уверен, что «эта земля — его». Он убеждал, чтобы крестьянину дали «синюю казенную бумажку с печатью», навек закрепив за ним землю. Помещикам земли не возвращать, а создать миллион хуторов. Старая, ступинская, мечта! Он вспоминает, как вывозили до 700 миллионов пудов хлеба. «Дайте собственнику бесплодную скалу,— и он превратит ее в цветущий сад».

Авангардом революции реакционер Шульгин считал не рабочих, а студентов, из которых выходили учителя, говорившие детям:

«Хорошо вам будет, когда последнего короля повесят на кишке последнего попа. А пока что, братцы, подождем-ка помещицкую усадьбу, вырежем языки кровным их кобылам, затопим хаты фруктовыми их садами, скрутим на папироски их книги, проломим голову помещику и его барыне-то, а приплод ихний утопим,— во, тогда будет у нас Земля и Воля-то!..»

Безобразие, что народному учителю платили нищенское жалованье.

Студенты бунтовали, а юнкера — нет. И он предлагает то, что впоследствии получило название военной хунты. Из офицеров делать учителей, администраторов, коммерсантов... Держать во всех крупных городах гарнизоны из военных училищ.

Под занавес вымышленный глава правительства объявляет у него в книге «максимум свободы при максимуме порядка».

Как же это выглядит:

«Максимальная свобода печати: пишите, что хотите... Точно так же проповедуйте в закрытых собраниях и на митингах под открытым небом все, что вам взбретет в голову. Можете составлять какие угодно сообщества, товарищества и союзы всех сортов и видов. Можете ходить по улицам с какими угодно флагами и надписями, можете делать манифестации, можете кричать: «Долой правительство!» — и все это вам пре-

доставляется в полной мере, под одним только условием, конечно, чтобы вы не мешали движению трамваев и экипажей! Но если вам придет в голову выступить с оружием в руках и поднять открытый мятеж, знайте, что через пять минут после этого вас окружат грузовики с пулеметами,— и улицы будут устланы трупами... А кто остался в живых,— пользуйтесь жизнью. Никаких стеснений, никаких преследований...»

Шульгин был за свободу забастовок, но призывал расправляться с теми, кто мешает желающим работать. Он говорил, что ЧК ищет и убивает, а контрразведка должна лишь искать и предупреждать правительство о готовящихся акциях...

В Кремле внимательно читали книгу Шульгина «Нечто фантастическое».

На наших глазах прошла целая эпоха, с тех пор как Шульгин написал свою книгу. Многие его рецепты испробованы в разных странах, хотя там и не читали его книг. Результаты тоже нам известны...

А вскоре Шульгин и сам побывает тайно в Советской России. После смерти Ленина. В самый разгар нэпа. И то, что он увидит, отобьет у него охоту «пулеметствовать» и заставит написать новую книгу — «Три столицы».

Я уже начал рассказывать историю написания этой книги, когда упомянул о том, как Шульгин разыскивал своего сына Лялю — Вениамина. Об этом говорится и в «Трех столицах», но там, в целях конспирации, о многом повествуется туманно — факты, лица, явки сокрыты. Когда будут изданы «Три столицы», мы познакомимся и с вымыслом Шульгина, и с его чрезвычайно любопытными наблюдениями и рассуждениями, а пока я в своем рассказе буду придерживаться той правды, какая доступна на сей день.

По рассказам Василия Витальевича Шульгина, все определил мистический случай. Он в Париже от своей старой знакомой — гадалки Анжелины получил «верное известие» о сыне. Эта ясновидящая дала ему возможность увидеть сына, взглядываясь в большой хрустальный шар. Ляля был в комнате с окном, забранным решеткой. Но комната не была похожа на тюремную камеру, потому что сын сидел на постели с подушкой, простыней и одеялом. Шульгину даже стало известно приблизительно, где находится сын. Как он говорил мне, ему потом рассказали, что сын скончался в больнице для умалишенных в Виннице еще до того, как Василий Витальевич отправился разыскивать его в Советскую Россию на исходе 1925 года.

Шульгин тогда жил в югославском городе Сремские Карловцы, оплоте сербской православной церкви и резиденции генерала Врангеля. Шульгин тщательно «заметал следы» в своей книге, чтобы не обнаружили

каналов его проникновения в Россию. Для этого он будто бы связался с контрабандистами, а Врангель не знал, поедет ли Шульгин сам или пошлет на розыски сына другое лицо...

А на самом деле он через начальника врангелевской контрразведки генерала Е. К. Климовича связался письменно с руководителем подпольной антисоветской организации «Трест» А. А. Якушевым, который обещал помочь разыскать сына, но не гарантировал безопасности. Шульгин выехал в Польшу, отрастил бороду и перешел советскую границу через «окно» в районе Столбцов. Спутником его был «Иван Иванович» (сотрудник ОГПУ М. А. Криницкий). 23 декабря 1925 года Шульгин отправился в Киев с паспортом на имя Иосифа Карловича Шварца (в «Трех столицах» — Эдуарда Эмильевича Шмитта)... Можно сколько угодно называть подлинные имена, места явок, сказать, что Шульгин остановился в Киеве в гостинице «Бельгия», но не приблизиться к выводу, который он сделал: «Когда я шел туда, у меня не было родины. Сейчас она у меня есть».

Но сперва он был сплошное жадное любопытство.

Какова она, Россия? Он покинул ее в 1920 году, умытью кровью, а был еще 1921 год, «когда умерли миллионы, когда матери поедали собственных детей, погибших часами ранее их самих...».

Он еще не видел страны, в которой цвел нэп, но уже настроен против... неважно против чего, но все равно против... Он не верит, что земля может плодоносить, если принадлежит кому-то... Кто будет стараться на чужой земле? «Иван Иванович» ему подыгрывает (а может, и не подыгрывает), говоря: «Твоя земля? Моя-то сегодня. А завтра, может, уже и не моя... Ну какое ж тут хозяйство? Ведь хозяйство же не на один день. «Интенсификация», «удобрения», «корнеплоды»... Олухи! Кто ж будет интенсифицировать поле, чтобы оно другому досталось? Реформаторы! А душу человеческую реформировали, сволочь?! Душа-то все та же, мерзавцы!»

Эпоха военного коммунизма прошла, есть гостиницы, рестораны. Россия отъедается и кажется довольной... Все складывалось настолько гладко, что у Шульгина все-таки мелькала мысль: «А не попал ли я в руки ловких агентов ГПУ?!» Все-таки мелькала. Но он гнал ее. «Контрабандисты» обещают помочь найти сына.

Шульгин был уверен, что ЧК следит за ним пристально еще с Константинополя, что к нему приставлен агент, что его бумаги крадут... Он даже писал нарочитые письма друзьям, в надежде, что они попадут к самому Ленину. Самонадеянность его смешна и в своей наивности — даже трогательна:

«В этих письмах я преимущественно давал советы Владимиру Ильичу Ленину под видом рассуждений на тему, как бы я поступил на его месте. Так что, если покойник сделал что-нибудь путное в последние дни жизни, то это, очевидно, под моим влиянием...»

Что же такое все-таки «Трест», организовавший поездку Шульгина? Говорить об этом Василий Витальевич не любил, недовольно морщился, когда его расспрашивали. На это были свои причины... Но однажды он вручил мне рукопись, из которой я приведу несколько страниц:

«Покровительствовала мне подпольная антисоветская организация под названием «Трест». История этого «Треста» до сего дня так же «темна и непонятна», как история мидян.

Органы Советской власти разноречат. Одни считают, что это была настоящая контрреволюционная и очень сильная организация, имевшая свой центр в Москве, другие полагают, что «Трест» был так называемая «легенда», т. е. организация, устроенная агентами власти в целях провокационных».

Далее перескажу рукопись выборочно, цитируя лишь «ударные» места.

Бывший действительный статский советник Александр Александрович Якушев после революции служил Советской власти «по внутренним водам», но оставался убежденным монархистом. Его вызвал Троцкий, но он отказался идти, и тогда его привели под конвоем. Троцкий угостил его обедом (времена были голодные) и сказал, что знает о его патриотических убеждениях, обещал финансировать дореволюционные проекты Якушева относительно оздоровления русских рек, поймав его тем на крючок, и разрешилграничную командировку. Якушев дал согласие на сотрудничество, но на самом деле делал ставку на великого князя Николая Николаевича и ставил во главу угла земельный вопрос, намереваясь столыпинскими методами за пятьдесят лет обогнать Европу по урожайности зерновых на каждый гектар.

«Тайно проникнув в Россию...— говорил Шульгин,— я не проявил себя явно и не стал работать с Советской властью, а стал работать с заговорщицкой дружиной под эгидой Якушева. Мы хотели трансформировать Россию по примеру Запада и не верили в творческую силу насильственного коммунизма. Бросающееся в глаза возрождение России под дуновением нэпа укрепляло нас в этих мыслях.

Когда я уезжал из России (это было в начале февраля 1926 года), Якушев пригласил меня на прощальный обед, на котором присутствовали еще два лица из состава «Треста», а именно — описанный впоследствии в книге «Три столицы» Антон Антонович и неизвестный мне господин средних лет, который, кажется, был Оперпуп».

Далее в разговоре было обещание найти сына Шульгина и просьба написать книгу о России. Шульгин сказал, что боится подвести Якушева, и просил, чтобы после написания книги ее переправили в Москву и прочли.

«И это было сделано. Весь текст книги «Три столицы» побывал в Москве и потом вернулся ко мне в эмиграцию. Якушев вычеркнул только две строки».

Вот одно из соображений Шульгина относительно «Треста».

«Шла тайная, но жестокая борьба между двумя претендентами на власть — Троцким и Сталиным. Тогда еще не было известно, кто победит. Под крылышком Троцкого собирались самые различные антисоветские и антисталинские группировки. Якушев определенно опасался Сталина. Быть может, ему было известно завещание Ленина, предупреждавшего партию в отношении Сталина.

Якушев был несомненным троцкистом в том смысле, что считал его умным и деловитым. Нерешенная в то время борьба между Троцким и Сталиным должна была влиять на тогдашних чекистов...

Однажды Якушев сказал мне:

— Что вы думаете о «Тресте»?»

— Я думаю, что «Трест» есть антисоветская организация, и притом очень сильная, так как она не боится всесильной руки ГПУ.

На это он сказал:

— «Трест» — это измена, поднышавшая в такие верхи, о которых вы даже не можете и помыслить».

После предположений о том, какие это были «верхи», Шульгин говорил:

«А что произошло бы, если бы я остался в Советском Союзе? Тогда я до дна испил бы горькую чашу страдания, разделив судьбу миллионов несчастных русских людей, ставших рабами Сталина. Из них я считаю героями тех, кто сделали это сознательно, думая, что России нужен самодержавный деспот при тогдашних обстоятельствах. Если же они знали и предпочитовали, что только кровавадный Сталин может отразить еще более кровавадного Гитлера, и потому, сжав зубы, покораились воскресшему Чингисхану, то они и герои и мудрецы.

Я не герой и не мудрец. Я уехал потому, что мне было не по плечу это героическое унижение. Кроме того, как показали дальнейшие события, остаться в России значило идти на верную смерть. Очень много людей погибло тогда под кличкой «подползающего гада», как тогда выражались. Каким образом мне удалось бы избежать такого конца, если бы я не дал реальных доказательств своей верности Сталину? А «реальные доказательства» — это значило обгадить свои руки кровью своих единомышленников...

Я не мог и не должен был остаться в России в 1926 году. Я шел путем, предначертанным мне судьбою. Я должен был написать книгу «Три столицы».

Оставим критику Шульгина до тех времен, когда раскроются архивы. Но о «Тресте» уже писали в исторических трудах о русской эмиграции, причем на основании косвенных данных и ссылок на детективные романы Л. Никулина и В. Ардаматского (?), как созданные на основе «невьдуманных фактов».

Никулин действительно встречался с Шульгиным, но толковал разговоры с ним в соответствии с замыслом собственной книги.

Оказавшись в России, Шульгин осознает, что эмиграцию, как врага Советской власти, можно сбросить со счетов. Она занята мелкими интригами. Что же касается стодесятиллионного русского народа, живущего у себя на родине, то Шульгин даже приходит к грешной мысли, что это народ никчемный, позволяющий власти делать с собой что угодно...

Но...

Скажем, англичане, немцы, французы — «суть продукт долголетнего самоуправления, привычка к ответственности за свою родину, за свои государственные и политические дела. У нас же население совершенно не было к этому приучено, все делалось в верхах. А потому, как требовать от масс гражданственности? Она не является в течение нескольких лет, а воспитывается веками».

Мысли и вопросы, не устаревшие и по сей день!

Но если внимательно прислушаться к разговору Шульгина с «контрабандистом Антоном Антоновичем» (С. В. Дорожинским), то вдруг возникает ощущение, что Шульгина провели в Россию, потому что он умен и способен правдиво рассказать о том, что видел. Другого сочли бы провокатором, человеком, завербованным ГПУ, а Шульгину поверят. Собеседник его превосходно осведомлен о нравах эмиграции. И хотя Шульгин хорохорился, упирал на то, что белые проиграли в борьбе с оружием, но не проиграли в борьбе идей, что их эманацией стал фашизм, противник коммунизма в мировом масштабе... для современного читателя все ясно, и эта его карта бита. От подобных мыслей и сам Шульгин отречется еще в канун мировой войны, когда агрессивный германский нацизм отодвинет в тень опереточный итальянский фашизм. Вспомним, что книга писалась в середине двадцатых годов.

Собеседник Шульгина говорит едва ли не парадоксами. И слишком умно для агента ОГПУ. Революцию, мол, делают сытые, если им не дать два дня поесть, как было в феврале семнадцатого... А вот заботы о самом необходимом, «то есть об элементарной безопасности от набегов Чека и о том, чтобы не умереть с голоду, поглощали всю психику». И тот же военный коммунизм — до бунта ли обессиленным скелетам, которые, протягивая руки, молят о хлебе? Чтобы прекратилось физическое и моральное уничтожение русского народа, был создан нэп. Заработало все — мужик, фабрики, железные дороги. Не только Ленин и коммунисты, огромные миллионы людей «бросились выжимать из нэпа спасение своей страны!». И это с решимостью, волей, силой, свойственной большевизму.

Когда Шульгин писал об этом, никто и предполагать не мог, что грянет рубеж двадцатых и тридцатых годов, разорение крестьянства, голод

и смерть от него семи миллионов человек, расширение концентрационных лагерей, расстрелы, всеобщий страх и торжество тирании... Что можно предположить за словами собеседника Шульгина — нечаянное пророчество или продуманную систему физического и морального унижения и уничтожения русского народа?

А пока он скрупулезно записывает цены, благо при нэпе есть чего есть. За границей он соскучился по икре, борщу и телятине... Отмечает, кто во что одет...

Оказавшись в родном Киеве, он видит реставрированные церкви и переименованные улицы — Крещатик и тот стал улицей Воровского. Удивляется «апокалипсическим» названиям учреждений: Укрнархарч, Укрнарпит, Винторг, Бумтрест... Он видит строй красноармейцев, и по захватской песне, по внешнему их виду узнает армейскую преемственность. В правящей элите, в высшем классе он видит множество евреев, занявших место вырезанных образованных русских бюрократов и интеллигентов.

Для него самое страшное — взбунтовавшийся народ, пугачевщина. Так стоит ли его будить?

«Чтобы он разнес последние остатки культуры, которые с таким великим трудом восстановили неокommунисты при помощи нэпа? Для того, чтобы, разгромив «жидов», он вырезал всех «жидовствующих», то есть более или менее культурных людей, ибо все они на Советской, то есть на «жидовской» службе?

Нет, не надо черного бунта...»

Он готов примириться с любым правлением, с любыми «панями», лишь бы не было разрушений и крови, не предполагая, что вскоре храмы будут взрываться, а новый класс начнет сводить счеты друг с другом, вовлекая в кровавую мясорубку миллионы тех, кому не до бунта. Он позволяет себе весьма некорректные высказывания о Ленине, чтобы потом раскаяться в этом.

А сейчас он видит густое движение на улице, извозчиков, трамваи, автомобили. Кругом обилие сластей, торгуют абсолютно всем, даже книгами с двуглавым орлом на обложке, за что в 1920-м расстреляли бы. Уж не есть ли это смирение ортодоксального коммунизма?

Волнуясь и озираясь, Шульгин покупает книгу Шульгина «Дни», выпущенную ленинградским издательством «Прибой».

И еще. «Я как-то читал в одной иностранной газете, что на вопрос одного иностранного корреспондента, что он делает во время «отпуска», Ленин ответил:

— Внимательно изучаю «1920 год» Шульгина...»

И он тешит себя мыслью, что Ленин обратил внимание на его фразу: «Белая Мысль победит во всяком случае...» И считает доказательством этого расслоение советского общества, неравенство, неофициальное деление на богатых и бедных. «В этом большом городе нет сейчас двух людей

равного положения». Он не силен в марксистских догмах, в принципе социализма: «От каждого по способностям, каждому по его труду». Уже в самом этом принципе заключено неравенство, ибо нет двух людей, равных по способностям. Важно лишь найти способы осуществления этого принципа в рамках социализма... Шульгин был твердо убежден, что без права (хотя бы для крестьянина) частной собственности на землю толку не будет.

Впрочем, это не ново... Шульгин и ему подобные были властителями в мире частной собственности, но слишком много пили, ели и вели пустопорожние разговоры. Коммунисты прогнали их с помощью лозунга «Грабь награбленное», коммунизм сдали в музей (Музей революции) и подчинились новым властителям «из жидов».

И он пророчесствует. Жизнь возьмет свое. «Их, конечно, скоро ликвидируют. Но не раньше, чем под жидами образуется дружина, прошедшая суровую школу. Эта должна уметь властвовать...» Но мы спросим — лучше ли новая многомиллионная бюрократия, в которой национальные различия не играют роли? И что значит фраза Шульгина о ней: «Они из уголовной сволочи превращаются в фашистов»?

Однако тогда он еще верил в фашизм, но с оговоркой:

«Опасность хамства, соблазн измывательства над бесправным (перед силой) населением — это есть та подводная скала, на которую сядет фашизм в той стране, где им не будет руководить человек исключительного благородства и неодолимой властности».

Далеко ли ушел Шульгин от крестьянина, бунтовавшего в XVII веке с надеждой посадить «доброе царя»? Государственные преступления творились и творятся «волей масс». Надежда на настоящего вождя — та же игра в лотерею. Шульгин в свое время разочаровался в парламентаризме. Впрочем, он мечтал о законах, непререкаемых и священных, прочно защищающих право личности, обязательных и для вождя, и для парламента. Но все в этом мире течет и перерождается. Вожди и парламента могут любые законы толковать в свою пользу и выдавать эгоистическое своеволие за «волю масс».

И вот уже поезд несет Шульгина в Москву...

В пути узнается много из разговоров. Во всяком случае, так было еще на моей памяти. Сейчас мы сдержаннее англичан. Шульгина интересует купец-нэпман, которого ценят, потому что дело большое и его надо знать. Только вот бумажек и разрешений появилось много. Прежде купец дал слово, и семьдесят вагонов мануфактуры отправили, а нынче верят не словам — бумагам. Когда никто никому не верит, — нет кредита, а нет кредита — нет торговли и промышленности.

С августа 1917 года Шульгин в Москве не был. Тогда воздух был пропитан дешевыми и крепкими духами проституток. Происходило социаль-

ное догнивание. «Это был какой-то кабак на кладбище», — как выразился Шульгин. Теперь все успокоилось. Рабочие по-прежнему живут на окраинах и добиваются на производстве «довоенных норм», «бесконечное число чиновников» заняло квартиры в центре.

Шульгин, не очень ловкий в политической экономии, пытался в длинных рассуждениях выяснить причину нехваток, дороговизны, очередей в Советской России, хотя то, что он описывает, не идет ни в какое сравнение с нынешней экономической обстановкой. Ленинский кооперативный план в книге Шульгина видится в действии, и вряд ли где он представлен нагляднее (с точки зрения постороннего наблюдателя). Но он усматривает и другое, что может быть оценено нами в полной мере:

«В чиновничьем хозяйстве всегда есть склонность застыть в установившихся рамках, в нем всегда обнаруживается недостаток инициативы, такая некоторая степенность чиновничья, которая весьма недалеко от китайской неподвижности».

Шульгин надеялся, что небольшой слой частных, хоть немного конкурируя, подстегнет и огосударственную промышленность. Надеялся на то, что окрепший крестьянин потребует своей доли в правительстве. Надеялся на завоевание Россией мировых рынков...

Важно еще и другое — Шульгин осознает, что Россия жива... Мало того, его увлекает эта новая жизнь. Он регулярно читает «Красную газету», пишет по поводу одной из статей письмо в редакцию и с некоторой даже гордостью находит «отзвуки» своего письма в одном из материалов газеты. В «Правде» спорят с каким-то местом из его «Дней», и это тоже наполняет его чувством причастности к тому, что происходит на родине. В эмигрантских кругах все здешнее мажут одной гадкой краской, а он начинает вместе со всеми гражданами страны радоваться ее достижениям, огорчаться неудачами. Жизнь есть жизнь, неизбежное — неизбежно...

После этого многословные выпады Шульгина против Советской власти и Ленина уже кажутся досадно повторяющимися и больше интересуют вопрос самой поездки...

Вернемся к тому, что осталось за страницами книги. Встреча с Якушевым состоялась в Москве 13 января 1926 года. Шульгин говорил, что его имение на Вольни теперь находится в двух верстах от границы на польской стороне, и предлагал устроить там базу для встреч врангелевцев с представителями «Треста». Просился в Винницу, где, по его сведениям, одно время находился в больнице сын, унаследовавший от матери приступы расстройств психики. Якушев обещал послать в Винницу своего человека. Шульгин написал записку с намеками, понятными только для Вениамина:

«Дорогой Ляля! Я тебя ищу. Доверься предьявителю этого письма.

Лиз жива, Димка тоже. Чтобы тебя узнать наверное, расскажи что-нибудь предьявителю письма из Свальнокотских сказок. Храни тебя Господь. Твой Биб»¹.

В Петербурге — Петрограде — Ленинграде Шульгин жадно ловил историческое прежнее, сохраненное по сию пору в зданиях, музеях так щедро, что даже не верится, а в глаза ему бросалось новое... Он следил за тем, как грызется с большинством партии Зиновьев, как Бухарин старается подойти к новой экономической политике расширительно, потому что возврата к военному коммунизму нет. И Шульгин уверен, что всем страшно будущее. «Нарастает и нарастает грозное». А мы, читая, знаем, что грядет Сталин, и не один, но именно на него повалятся все шишки, хотя система сама запрограммировала появление его у власти... Да, «новые буржуи почище старых: грубее, жесточе, беззастенчивее...» Идейные рядовые недовольны. Шульгину кажется, что они «им» покажут. Он ошибался — именно на них и будет опираться Сталин при очищении партии от «оппортунистов»...

Ну, а пока нэп. Сверкают витрины ювелирных магазинов. Круглые сутки вращаются колеса рулетки в игорных домах, давая средства на... народное просвещение. А в Зимнем дворце покои отведены Музею революции.

«Перед одним портретом я простоял довольно долго. Это был господин средних лет, с большими усами и еще с большими воротничками. Лицо такое, какое бывает у еще молодых мужчин, когда у них уже чуть начинает сдавать сердце.

В 1988 году я побывал в Соединенных Штатах и вдруг узнал, что «Димка» — Димитрий Васильевич Шульгин жив, и нашел его телефон в справочнике штата Алабама. Удалось позвонить ему и сказать, что его отца помнят у нас и даже собираются переиздать его книги. Он выразил сожаление, что престарелого отца в свое время не отпустили к нему. Я предложил встретиться в Нью-Йорке. Он засмеялся: «Мне уже за восемьдесят». И обещал написать... Пока набиралось это предисловие, появилась возможность поработать над фондами В. В. Шульгина в различных архивах, над письмами, записками, имеющими отношение к Гражданской войне и первым годам эмиграции. В частности, выяснилось, что «Свальнокотские сказки» были игрой сыновей Шульгина, придумавших фантастическую страну. Мать они называли «Лиз», отца — «Биб». Кроме двух сыновей, В. В. Шульгин потерял во время Гражданской войны всех родных братьев, большое число родственников, ставших жертвами террора, эпидемий... Дневники Шульгина еще не найдены, но обнаружилось более сотни тетрадей с записями снов, которые он делал во Владимирской тюрьме в пятидесятые годы. В пояснениях к снам талантливо описаны встречи с Буниным, Северяниным, Волошиным, Шалайпиным, громадным числом политических и иных деятелей, широко известных в нашей истории, нашей культуре. Двухмесячные переговоры с Прессбюро КГБ, затеянные с целью выяснения, что же такое «Трест», не дали ничего... (Прим. авт.)

Этот господин был мне скорее несимпатичен и во всяком случае очень далек от меня. Между тем это был я собственной персоной».

О сыне пока известий не было. Пришла пора возвращаться. И тем же «контрабандистским» каналом.

Книга «Три столицы» шокировала эмигрантов. Одни называли Шульгина в печати «предателем белой идеи», а другие обещали расправиться с ним за то, что он якобы раскрыл контрреволюционную организацию. Это было в 1927 году. И вдруг, как гром с ясного неба, грянула в журнале «Иллюстрированная Россия» статья усердного В. Л. Бурцева, в прошлом «грозы провокаторов», разоблачившего Азефа. Он усомнился в благоприятном стечении обстоятельств, благодаря которым Шульгин едва ли не свободно дважды пересек границу и путешествовал по России. Вывод: Шульгина опекали агенты ГПУ.

Что же касается «Треста», то в апреле 1927 года ОГПУ арестовало большинство его членов. Сталинский каток начал действовать. Расстреляны те, которые расстреливали, а потом и те и те... Многие поколения в органах безопасности перестали существовать за то, что много знали. Стауниц-Оперпуг и Мария Захарченко, у которой Шульгин жил под Москвой и замаскировал ее в «Трех столицах» под невинную мешанку, убиты в перестрелке. Артузов, непосредственно руководивший «Трестом» от ГПУ, расстрелян в 1937-м. Якушев — в начале тридцатых. Теперь уже трудно судить, что такое на самом деле был «Трест». То ли это действительно была «подсадная утка», то ли монархическая организация, то ли троцкистская?

После опубликования «Трех столиц» Шульгин накрепко поселился в Югославии, наезжая порой в Париж, но постепенно отходя от эмигрантской политической деятельности. Однако его еще до конца тридцатых годов интересовал национальный вопрос. Евреи. Украина.

В 1930 году он опубликовал в Париже весьма поверхностную книгу «Что нам в них не нравится...» с подзаголовком «Об антисемитизме в России».

Поводом для написания этой книги была статья еврейского публициста С. Литовцева «Диспут об антисемитизме», напечатанная в эмигрантской газете «Последние новости» 29 мая 1928 года. В ней было предложено «без лукавства», без «проекции юдаистского мессианизма» высказаться «честным» русским антисемитам, почему «мне не нравится в евреях то-то и то-то...». А «не менее искренним евреям»: «А в вас мне не нравится то-то и то-то...» В результате — «честный и открытый обмен мнений, при доброй воле к взаимному пониманию, принес бы действительную пользу и евреям, и русским — России...».

В книге Шульгин повторил все о евреях, что писал ранее в своих других книгах. Но и напомнил о своих заслугах перед евреями — защиту от погромов, дело Бейлиса, участие в Прогрессивном блоке... Но возражал против самого термина «антисемит», поскольку арабы тоже семиты. Впрочем, за последние шестьдесят лет, после появления книги, усилилось невероятно государство Израиль и появилось слово «арабофобы», но по-прежнему остается оскорбительным употребление, как писал Шульгин, национального имени, упоминаемого на каждой странице Библии. Слово «жид звучит, как удар хлыста, от которого содрогается самый умный и самый кроткий еврей».

Он дает такой ответ на то, что вынесено в название книги:

«Не нравится нам в вас то, что вы приняли слишком выдающееся участие в революции, которая оказалась величайшим **обманом и подлогом**. Не нравится нам то, что вы явились **спиным хребтом и костяком коммунистической партии**. Не нравится нам то, что своей организованностью и сцепкой, своей настойчивостью и волей вы консолидировали и укрепили на долгие годы **самое безумное и самое кровавое** предприятие, которое человечество знало от сотворения мира. Не нравится нам то, что этот опыт был сделан во **исполнение учения еврея — Карла Маркса**. Не нравится нам то, что эта ужасная история разыгралась на **русской спине** и что она стоила нам, русским, всем сообща и каждому в отдельности, потерь неизречаемых. Не нравится нам то, что вы, евреи, будучи сравнительно малочисленной группой в составе российского населения, приняли в вышеописанном гнусном деянии **участие совершенно несоответственное**. Не нравится нам то, что вы фактически стали **нашими владыками**. Не нравится нам то, что, став нашими владыками, вы оказались господами далеко не милостивыми; если вспомнить, какими мы были относительно вас, когда власть была в наших руках; сравнить с тем, каковы теперь вы, евреи, относительно нас, то **разница получается потрясающая**. Под вашей властью Россия стала **страной безгласных рабов**; они не имеют даже силы грызть свои цепи. Вы жаловались, что во время правления «русской исторической власти» бывали еврейские погромы, детскими игрушками кажутся эти погромы, перед **всероссийским разгромом**, который учинен за одиннадцать лет вашего властвования! И вы спрашиваете, что нам в вас не нравится!!!»

Шульгин еще не знал дальних последствий — русских допускали в высшие учебные заведения в строго ограниченном количестве, как властителей «тюрьмы народов». В результате у русских самый малый процент, образованных людей. 20 на тысячу. У грузин — 40 на тысячу. У евреев — 700 на тысячу. Пьянство от безысходности, отвычка от труда в результате притеснений — все это приводит к вымиранию нации. Менделеев в 1904 году предсказывал, что русских в 1950 году будет 350 миллионов. Где они?

Но Шульгин винит в этом не одних евреев. Сами русские тоже хоро-

ши, раз позволили сотворить с собой такое... Не количеством выпитой водки надо гордиться, а образованными людьми, талантами. Шульгин считал, что нужны богатые и сильные русские, а именно этого хотел Столыпин... Русские несут в себе серьезное внутреннее противоречие. «Мы... не лишены патриотизма; мы любим Россию и русскость. Но мы не любим друг друга...» Русский страдает на чужбине, но и там грызется. И еще Шульгин считал, что русским нужен «видимый и осязаемый вожак». Такой вожак извбавляет русских от необходимости сноситься со своими согражданами. На этом будто бы всегда зижделась организация русских, о которых иностранцы говорят: «Где один русский, там талант и гений; где двое — там обессиливающий обоих спор; где много русских — общественный скандал».

Еврейство в России Шульгин оценивал как несколько миллионов людей весьма энергичных, выносливых, трудолюбивых, приученных к невотрепкам. К тому же оно спаяно солидарностью, организованностью и дисциплиной. Но подтверждения, что имеется тайное всемирное еврейское правительство, Шульгин не имел. Массонство он считал «грандиозным союзом взаимопомощи и протекции» и солидной школой «уметь держать язык за зубами». Но кто руководит масонами? Каковы их цели? «Об истинных целях масонства до поры до времени не стоит говорить: масоны задавят одинокие лучи, даже если они несут чистую истину».

И вот что он еще заметил: «Масоны имеют свободу думать каждый по-своему по многим вопросам. Но в одном вопросе, мне кажется, они не имеют свободы: это в вопросе еврейском. В этом отношении у них крылья связаны. Самые умные люди неожиданно и безнадежно тупеют, когда затрагивается этот вопрос; они вдруг слепнут на оба глаза, отказываются видеть совершенно очевидные факты...»

У евреев видимого вожака нет. К Палестине они в основном равнодушны. Любой еврей в России не скажет: «Я еврей», а всегда говорит: «Я русский». За границей их считают русскими и приписывают русским такие свойства, которые русские не имеют. Они меняют фамилии. Собственной внешней культуры не имеют. Они имеют лишь внутренние особенности. Не дорожа «еврейскостью», они дорожат... «живыми евреями». «Он из наших», — говорят они, легко понимая друг друга без слов и действуя согласно.

Интересно наблюдение Шульгина по поводу «коллективной души» у евреев:

«Утверждают, будто бы у некоторых животных есть «коллективная душа». Будто, например, был сделан такой опыт. Загипнотизировали одну лошадь. Лошадь весьма кровную... Сей лошади, пребывающей в гипнотическом сне, внушено было проделать определенные конские эволюции, т. е. движения тем или иным аллюром в различных направлениях. И вот произошло нечто фантастическое. Все другие лошади того клана оказались тоже загипнотизированными; по крайней мере они

одновременно с той лошадей, непосредственно усыпленной, проделали с видом автоматов все эволюции, ей приказанные. И это, несмотря на то, что Атлантический океан разделял непосредственно усыпленную коняку от ее родичей, связанных с ней сугубо таинственными нитями.

Но ради чего написана вся книга?

Шульгин боялся еврейских погромов.

Ход его рассуждений таков.

Еврейское мещанство вытеснило во время революции русскую аристократию и интеллигенцию. Антисемитизм загнан вглубь. Но потомки русских обывателей все же пробилась наверх. Они изображают из себя послушных слуг еврейства. До поры... Придет время, когда они свалят все беды на евреев, и тогда пострадает и русская интеллигенция.

Кого уничтожили в революцию?

Императорскую фамилию, офицеров, чиновников, духовенство, дворян, купцов, промышленников, интеллигенцию, зажиточных крестьян, квалифицированных рабочих, казачество... Отрубили русскую голову и приставили к немощному телу еврейскую. Теперь ее ненавидят.

«Погром есть массовое истребление жизней или имущества». Первый известный в истории погром описан в книге Эсфири, гл. 9, давший начало празднику еврейского народа. Это Пурим. Мардохеевы дни...

Шульгин считал, что евреи сами родят погромы, поскольку страстно мечтают о кровавых расправах со своими врагами, а это заражает окружающих...

Евреи сделали русских злыми, заключили эту злобу в некий сосуд, постоянно открывают его и натравливают, на кого им надо... «Кровь родит кровь. Не построятся будущая Россия на еврейских погромах, как не построятся еврейское благосостояние на русской крови». Шульгин не хотел «кровавого идиотства», он призывал к мирному сожительству. Уничтожили предпринимателя, хозяина, а стали жить хуже и вдруг поняли: «Люди, способные вести дела, редки и ценны». Все-таки Форд лучше ничтожества, пьяницы и ворюги, хотя бы и из рабочих. Он загребет миллионы, но все-таки организует труд и снабжение.

Итого Шульгина:

«Антисемитизм сам по себе ничего не стоит. Что толку поносить между собой жидов!

Может быть, пробил час заявить о себе сплоченностью. Развенчать ложь, что «Россия — тюрьма народов».

Если евреи сильны волей, то пусть сеют не злобу, а добро и любовь. И тогда мы сами попросим еврейского правления, «мудрого, благостного, ведущего к Добру».

Книга Шульгина вызвала негодование и у евреев, и у русских, живших за границей. Для нас же он остается националистом, монархистом, классово ограниченным человеком. И ни от одного из этих «званий» он никогда не отказывался...

Живя в Сремских Карловцах, Шульгин наезжал в Белград, где все увеличивалось русское эмигрантское кладбище, а в часовне по-прежнему стояли часовые у семидесяти знамен царских полков. Бездельничать он не мог и большую часть времени проводил у письменного стола, писал труды, доказывающие исторически, что украинцы сами лишили себя русского первородства, назвав себя украинцами. Боролся с украинскими националистами в эмиграции, среди которых был его племянник.

Человек умный, Шульгин повторял глупую выдумку о связи большевиков с немецким генеральным штабом, будто бы придумавшим Украину, об удобстве прецедента, чтобы потом создать Польскую республику, Литовскую, Латвийскую, Эстонскую, Чешскую, Венгерскую, Австрийскую, Болгарскую, Сербскую, Хорватскую и так вплоть до Американской.

«Все эти пышные расчеты рухнули: но тут «Украинской республике» на помощь пришло некое весьма занимательное психическое состояние диктаторствующего Сталина. Оперетка с переодеванием в национальные костюмы понравилась и нравится до сих пор первобытному тщеславию, к которому весьма склонен Джугашвили. Приятно быть неограниченным повелителем одной страны, но куда величественнее стоять во главе двадцати государств...» — писал он в брошюре «Украинствующие и мы», изданной в Белграде в 1939 году.

Там же в 1934 году была издана вторая часть «Приключений князя Воронцовского» под названием «В стране неволи». Действие ее происходило в Турции, и Югославия, пять веков пробывшая под гнетом турок, давала богатый материал. Он и потом писал том за томом, но не издавал.

Писал мемуары.

Времена были тяжкие. Гитлер рвался к мировому господству. Одобривший было аншлюс с Австрией, Шульгин вдруг испугался за Россию, возненавидел Гитлера. И когда немцы захватили Югославию, замкнулся, за всю войну не сказал ни слова ни одному немцу, в то время когда генералы Краснов и Шкуро пошли к оккупантам на службу, да еще в каратели.

Схваченные в одно время с Шульгиным в конце войны, они были казнены, а его самого судили. Прокурор суммировал его деятельность так:

— Ну, это «дела давно минувших дней».

Он сидел во Владимирской тюрьме, пока в 1956 году его не освободили, не дали возможности снова писать, ездить в дома творчества и даже присутствовать в качестве гостя на одном из съездов КПСС.

Я обещал рассказать, как продолжилось наше знакомство с Шульгиными. Вот только часть того, что я услышал от Василия Витальевича

25 октября 1966 года. Причем говорил он едва слышным голосом, конспиративная привычка, что ли, действовала:

— Да, я был националистом. Теперь я многое пересмотрел. От национализма до шовинизма — один шаг. И опять польется кровь, кровь... Что есть национальное? Мне все равно, кто шьет туфли, лишь бы они были отличного качества...

— Я понимаю, почему ко мне льнут евреи. Они помнят, как я вступился за Бейлиса... Для них это романтическое воспоминание. Но почему же другие?..

— Я не раз говорил евреям: «Стоит вам добиться каких-нибудь успехов, как вы тотчас наглее. И за наглость потом расплачиваетесь». Наиболее умные из них соглашались со мной...

— Евреи процветают там, где нация слабее их. А вы возьмите англичан... Они не боятся евреев, у них сильны традиции... И потом хитрая политика: наследник английского престола — всегда масон, а становится королем, выходит из масонства. Они понимают силу евреев и знают, что за ними нужен глаз да глаз...

(Я рассказал Василию Витальевичу, как слышал проповедь настоятеля православной церкви в Лондоне. Барственный, какой-то вкусный голос говорил в ночь под рождество: «Человек и в окружении людей одинок. Порой ему не с кем поделиться своими горестями. И вот родился Христос. И у каждого человека появился друг и собеседник, и горе не стало тяжким, ибо разделенное горе...»).

— А, это Родзянко, потомок того... Его хотели арестовать в Югославии, потом он перебрался в Лондон...

— Когда я сидел в тюрьме, у нас там были люди, которых сидевшие же немецкие генералы называли «наши святые». Двое. Они молились целыми днями. Когда их волокли в карцер, они не сопротивлялись и возвращались осунувшиеся, но с просветленными лицами. Они говорили: «Уже пошли, идут по земле апостолы. Через несколько лет вы узнаете их. Вся неправда рухнет, и призваны править будут добрые». Когда им показывали на сидевших тут же бандитов, они отвечали, что все это истребится, исчезнет в один миг. Откуда берется такая вера?

(Я сказал, что где религия, там и ненависть, что всякий бог национален.)

— Да, но это мелкие, подсобные боги. А есть бог единый... Я не верю, что неправдой можно победить. Неправда так или иначе мстит за себя. Бог!

Спросил у Марии Дмитриевны, почему Василий Витальевич вегетарианец. Она сказала, что по убеждению — если все люди перестанут есть убитых

животных, они перестанут убивать друг друга. Мясо, мол, поддерживает кровожадные инстинкты.

Я сказал, что вне России жизни не представляю, а Мария Дмитриевна возразила — она здесь задыхается. Какой-то мутный поток выносит на поверхность всякую нечисть. Разрушение продолжается.

— У нас во Владимире рабочие — это все крестьяне, вырвавшиеся из деревни, простые, хорошие мужики,— вошел в разговор Василий Витальевич.— Город быстро выбивает из-под них устои. Пьют. Почему? «Жизнь беспросветна, а выпьешь, весь свет с его людишками становится мил»,— говорил мне один... Возьмите этих уборщиц и прочих работающих. Они злы на новую буржуазию...

Я завидовал Шульгину, который в его 88 лет казался мне образцом несокрушимости духа, неизменной любезности, бодрости, собранности, ясности ума. А мне не было и сорока...

Пришла пора расставаться. Шульгиным купили дорогие билеты в СВ, первый класс. Василий Витальевич отвернулся и отошел к окну. Великий знаток человеческих душ, вечный директор Дома творчества, Гугуша Тарасович сразу понял все и сказал, что есть специальный фонд на покупку билетов писателям.

Нет такого фонда. У стариков было очень мало денег... Гугуша Тарасович потом говорил мне, что ровно через месяц пришел перевод. Василий Витальевич тоже был великим знатоком человеческих душ...

Я поехал провожать стариков на вокзал. Ткнулся носом в пушистую бороду Василия Витальевича, поцеловал Марию Дмитриевну, и поезд тронулся, оставив на перроне меня и... Вторника. Каким образом оказалась здесь собака?

Мистика!

А потом была переписка. Василий Витальевич крупным старческим почерком сообщал мне о своих вещих снах, о бывших с ним таинственных случаях... Много писем, десятки. Они лежат до времени.

В промежутках между письмами я ездил во Владимир. Старики были ужасно одиноки в своей однокомнатной квартире, где единственной, бросающейся в глаза вещью была скрипка, на которой Василий Витальевич иногда играл. На лестнице у них было темно — лампочки воровали в тот же день, когда их ввертывали. В первый же приезд Василий Витальевич встретил меня в черной паре и при галстукке, а на столе стояла бутылка сладкого вина. Ждали...

Василий Васильевич начал со своей главной теперь мысли — грянет эпидемия добра, вот так — будут заражаться люди добром друг от друга, и это спасет мир. Он вообще любил говорить о психических эпидемиях... Мы пришли к мнению, что в вере нет логики, и психология веры тоже не существует. Вера дает толчок, заражает определенным настроением окружающих, и это расходится, как круги на воде...

Как пример странной эпидемии Василий Витальевич привел случай в лагере, когда мужики поспорили, в какую сторону смотрят зубчики у серпа, разделились на две толпы — дошло до кровопролития и смертоубийств. Потом Василий Витальевич перешел на воспоминания, и я подумал, что эпидемия добра эпидемией, а о бурных и жестоких годах своей жизни он повествует с трогательной нежностью. Вот так же после войны некоторые храбрые вояки с тоской мечтали о... войне, которая избавила бы их от монотонного серенького существования...

Весной следующего года я получил послание:

ПРЕДЪЯВИВ НАСТОЯЩУЮ ТЕЛЕГРАММУ ПОПЫТАЙТЕСЬ УЗНАТЬ ВОЗМОЖНО ЛИ ПЕРЕСЛАТЬ ЯЩИК МОИМИ РУКОПИСЯМИ КНИГАМИ ПОРТРЕТАМИ НАХОДИВШИЙСЯ СОХРАНЕНИИ ПОКОЙНОЙ ЛОГИНОВОЙ ГОРОДЕ СРЕМСКИЕ КАРЛОВЦЫ СУДЬБЕ ЯЩИКА МОЖЕТ ЗНАТЬ СОКОЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДРУГ ПОКОЙНОЙ БУДУ ВАМ КРАЙНЕ ПРИЗНАТЕЛЕН СЧАСТЛИВОГО ПУТИ ШУЛЬГИН ВАСИЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ.

В Югославии я первым делом попросил знакомых отвезти меня в Сремские Карловцы. Я радовался, что первым возьму в руки то, что уже стало историческими документами.

Сремские Карловцы — городок небольшой, населенный мещанами из крестьян. На Железничкой улице я нашел дом № 8 и спросил вышедшую к калитке сербку, жила ли здесь Анна Степановна Логинова?

— Жила, — ответили мне.

— А оставался среди ее вещей ящик с бумагами?

— Оставался.

— А где он?

— Спалили.

И по-русски и по-сербски это слово значит одно и то же.

Мария Дмитриевна потом недоумевала, зачем было жечь и портреты в рамках. А что поделаешь! Чужие письма, чужая жизнь — зачем они нужны тамошним жителям?

Память, как я уже говорил, у Василия Витальевича была замечательная. Он диктовал свою большую книгу «Годы», о думской деятельности

за десять лет, предшествовавших Февральской революции, И. А. Корнееву, который рассчитывал на небольшой заработок. Не помню подробностей, хотя у меня имеется копия письма к Василию Витальевичу о моем посещении Корнеева. И там, среди прочего, говорится:

«Вы, конечно, знаете, в каких условиях живет Иван Алексеевич, знаете его супругу, которая говорит, что они «наняли аблоката», и очень беспокоится о судьбе доходов, которые может принести будущее издание книги. Обстановка очень тяжелая, прямо удушливая какая-то. Сам Корнеев от болезней высох совершенно, он едва передвигает ноги, так что ожидать от него бойкости в устройстве ваших общих дел не следует. Чувствуется великая нищета. Возможно, этим объясняется задержка в перепечатке экземпляра книги для Вас. Я предложил ему деньги на перепечатку и свою машинистку, но он постеснялся взять у меня что-либо и сказал, что месяца через полтора вышлет Вам полный текст. Сейчас у него есть три экземпляра, но они нужны ему для представления в издательство. То есть два — в издательство, один — себе, рабочий...»

Все прежние «друзья», типа Владимиров, от него отступились. Владимиров занял у него 50 рублей и не появляется больше полугода. Обстановка сейчас для издания книги не очень благоприятная, но я надеюсь на лучшее. АПН любит издавать литературу такого рода. Книга им Должна понравиться, тем более что она написана блестяще, а стилистической изысканностью их не балуют...»

В. П. Владимиров числится автором сценария фильма «Перед судом истории». Шульгин умер 15 февраля 1976 года во Владимире на девяносто девятом году жизни. Книга «Годы» вышла в издательстве АПН в 1979 году с посвящением В. П. Владимирову, признательностью за участие в создании книги и его же предисловием. И. А. Корнеев не упомянут нигде.

У меня есть рукопись книги Шульгина «Неопубликованная публицистика». Ее записал за Шульгиным покойный Корнеев, когда шла работа над фильмом «Перед судом истории». Первый машинописный экземпляр я получил из рук самого Василия Витальевича и храню как документ, потому что при вручении было сказано:

— Все верно, и это мое нынешнее мнение.

Последняя глава книги называется

РАЗБОЙНИКИ И СВЯТЫЕ

Вот часть ее:

«В своей книге «1920 год» я писал: «Белое движение было начато почти что святыми, а кончили его почти что разбойники». Утверждение это исторгнуто жестокой душевной болью, но оно брошено на алтарь богини Правды. Мне кажется, что эта же богиня требует от меня, чтобы

и о красных я высказал суровое суждение, не останавливаясь перед его болезненностью. И вот он,— мой суровый приговор: красные, начав почти что разбойниками, с некоторого времени стремятся к святости.

Почти что разбойниками были матросы — «краса и гордость революции», которые сожгли офицеров в пылающих топках своих кораблей и палили из орудий по Зимнему дворцу... Почти что разбойниками были агитаторы, провозглашавшие «смерть буржуйам» и «грабь награбленное». Почти что разбойниками были безумные реформаторы, которые уничтожили лучших крестьян под названием «кулаков», хлеборобов, которые меньше пили, а больше работали, чем остальные, почему сколотили себе некоторый достаток. Сколько их было? Если их было только миллион, то надо считать, что погибло 5 миллионов человек, потому что кулацкую семью, как всякую семью, надо считать в 5 человек: кроме самого «кулака», его жена и трое детей по скромному счету. Жены кулаков, заморенные на всяческих лесоповалах и каналах, погибли от горя и нищеты, а дети, что уцелели, стали ворами и пополнили ряды шпаны и малолетних проституток.

Почти что разбойниками были те, которые в чекистских застенках расстреливали людей или совершенно ни в чем не повинных, или повинных только в том, что принадлежали к исторически сложившимся классам — дворянству и интеллигенции, или же не разделяли мнения людей, захвативших власть.

Почти что разбойниками были те, что в январе 1918 года одиннадцать суток долбили Киев снарядами всех калибров. Войдя в город, они расстреляли на улицах несколько тысяч людей из-за френчей, сапог и «галифе».

В эту же ночь арестовали и меня и под escortом двух вооруженных автомобилей доставили в императорский дворец, где до этого жила вдовствующая императрица Мария, а теперь находился штаб революционной армии. Когда мы подъехали ко дворцу, вокруг него венчиком лежали тела расстрелянных. Я уцелел потому, что за меня заступился известный большевик Пятаков. Этот последний, еще будучи студентом, за революционную деятельность был сослан в Сибирь, «в места не столь отдаленные». Через некоторое время он был возвращен в Киев по ходатайству моего отца, члена Государственного совета и профессора Киевского университета Д. И. Пихно.

Георгий Пятаков, очевидно, почувствовал желание заплатить ему посмертный долг благодарности и отстоял меня. Через некоторое время он стал министром (наркомом) в Советском правительстве. Но в ту эпоху, когда Сталин расправлялся с так называемой «старой гвардией большевиков», он был расстрелян. Ему приписали какую-то измену, которой, вероятно, не было. Он был человеком честным. Я уцелел, но не уцелел сын Михаила Владимировича Родзянко, который в это время был в Киеве вместе с тысячами других. Не уцелел и митрополит Владимир,

расстрелянный в Киево-Печерской лавре. Однако его смерть послужила на пользу предавшим его монахам — их пощадили.

Почти что разбойниками были те люди, которые под предводительством Белобородова постановили расстрелять царя с его семьей.

Почти что разбойниками были те, кто благодаря нелепому насаждению коллективизации вызвали голод, унесший неисчислимые жертвы. Один врач, выехав в 1932 году из Ахтарско-Приморской станицы, что на Азовском море, в течение многих часов ехал в автомобиле, направляясь к северу. Машина шла по дороге, заросшей высокой травой, потому что давно уж никто тут не ездил. Улицы сел и деревень заросли бурьяном в рост человека. Проезжие не обнаружили в селах ни одного живого существа: в хатах лежали скелеты и черепа, нигде ни людей, ни животных, ни птиц, ни кошки, ни собаки. Все погибло от интегрального голода.

Никакое перо не описало и не опишет невообразимых ужасов, совершенных во славу коммунизма в первой половине XX века. Воистину, красные начали почти как разбойники, хотя и стремились к святости. Эту мысль выразил в 1918 году Александр Блок в поэме «Двенадцать».

...Так идут державным шагом—
позади — голодный пёс.
Впереди — с кровавым флагом,
и за вьюгой невидим,
и от пули невредим,
нежной поступью надвьюжной,
снежной россыпью жемчужной,
в белом венчике из роз —
впереди — Иисус Христос.

Я помню, как я возмущался в 1921 году, что у Блока рифмуются слова «Христос» и «пёс». Но теперь я думаю иначе: Блок был прав. В идеалистических мечтах «Двенадцати», отражавших тучу, которая надвинулась на Россию, было и блистание любви к ближнему, и зловещее завывание шакалов, пожиравших человеческие трупы...

Но пройдя через все эти испытания и отразив под водительством Сталина зверя еще более лютого, т. е. Гитлера, люди одумались.

Рука бойцов колоть устала...

С начала второй половины XX века, т. е. после смерти Сталина, обозначилось дуновение гуманитарного духа. Он был и раньше, но заглушался смерчами, поднятыми вселенской бурей.

Во второй половине XX века коммунисты стали меньше казнить, тысячами выпускали заключенных из тюрем и всю свою неукротимую энергию направили на созидание материальных ценностей. Кроме того, они осознали и высказали открыто, что все успехи техники будут ни к чему,

если им не удастся «создать» нового человека. Только он, с сердцем, развитым так же, как и ум, сумеет направить грозные силы раскрепощенной природы на созидание, а не на разрушение. Коммунисты вынесли это из своего тридцатилетнего опыта, залитого морями крови и океаном слёз. Они приобрели неоценимое сокровище в этом понимании. Значение этого события не понял мир. Но он стоит на пороге понимания...»

Да исполнятся слова мудрого старца!



ДНИ



Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России -
Забывать не в силах ничего...

А. Блок

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В жизни каждого человека есть дни, которые следовало бы записать. Это такие «дни», которые могут представлять интерес не для него одного, а и для других.

Таких дней набралось некоторое число и в моей жизни. Так, по крайней мере, кажется мне, хотя я сознаю, что не легко угадать общий интерес из-за сбивающейся сетки собственных переживаний. Если я ошибся, буду утешать себя тем, чем льстят себя все мемуаристы: плохие записки современников — хороши для потомков.

Автор

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ «КОНСТИТУЦИИ»

(18-ое октября 1905 года)

Мы пили утренний чай. Ночью пришел ошарашивающий манифест. Газеты вышли с сенсационными заголовками: «Конституция».

Кроме обычных членов семьи, за чаем был еще один поручик. Он был начальником караула, поставленного в нашей усадьбе.

Караул стоял уже несколько дней. «Киевлянин»¹ шел резко против «освободительного движения»... Его редактор, профессор Дмитрий Иванович Пихно², принадлежал к тем немногим людям, которые сразу, по «альфе» (1905 г.), определили «омегу» (1917 г.) русской революции...

Резкая борьба «Киевлянина» с революцией удержала значительное число киевлян в контрреволюционных чувствах. Но, с другой стороны, вызвала бешенство революционеров. В виду этого, по приказанию высшей военной власти, «Киевлянин» охранялся.

Поручик, начальник караула, который пил с нами чай, был очень взволнован.

— Конституция, конституция, — восклицал он беспомощно. — Вчера я знал, что мне делать... Ну, придут, — я их должен не пустить. Сначала уговорами, а потом, если не послушают, — оружием. Ну, а теперь? Теперь что? Можно ли при конституции стрелять? Существуют ли старые законы? Или, быть может, меня за это под суд отдадут?

Он нервно мешал сахар в стакане. Потом вдруг, как бы найдя решение, быстро допил.

— Разрешите встать...

И отвечая на свои мысли:

— А все-таки, если они придут и будут безобразить, —

я не позволю. Что такое конституция, я не знаю, а вот гарнизонный устав знаю... Пусть приходят...

Поручик вышел. Д. И. (Пихно) нервно ходил по комнате. Потом заговорил, прерывая себя, задумываясь, опять принимаясь говорить.

— Безумие было так бросить этот манифест³, без всякой подготовки, без всякого предупреждения... Сколько таких поручиков теперь, которые не знают, что делать... которые гадают, как им быть «при конституции»... этот нашел свой выход... Дай бог, чтобы это был прообраз... чтобы армия поняла...

Но как им трудно, как им трудно будет... Как трудно будет всем. Офицерам, чиновникам, полиции, губернаторам и всем властям... Всегда такие акты готовились... О них сообщалось заранее властям на места, и давались указания, как понимать и как действовать... А тут бухнули... Как молотом по голове... и разбирайся каждый молодец на свой образец.

Будет каша, будет отчаянная каша... Там, в Петербурге, потеряли голову от страха... или ничего, ничего не понимают... Я буду телеграфировать Витте⁴, это бог знает что они делают, они сами делают революцию. Революция делается оттого, что в Петербурге трясутся. Один раз хорошенько прикрикнуть, и все станут на места... Это ведь все трусы, они только потому бунтуют, что их боятся. А если бы увидели твердость — сейчас спрячутся... Но в Петербурге не смеют, там сами боятся. Там настоящая причина революции — боязнь, слабость...

Теперь бухнули этот манифест. Конституция! Думают этим успокоить. Сумасшедшие люди! Разве можно успокоить явным выражением страха. Кого успокоить? Мечтательных конституционалистов. Эти и так на рожон не пойдут, а динамитчиков этим не успокоишь. Наоборот, теперь-то они и окрылятся, теперь-то они и поведут штурм.

Я уже не говорю по существу. Дело сделано. Назад не вернуться. Но долго ли продержится Россия без самодержавия — кто знает. Выдержит ли «конституционная Россия» какое-нибудь грозное испытание... «За веру, царя и отечество» — умирали, и этим создалась Россия. Но, чтобы пошли умирать «за Государственную думу», — вздор.

Но это впереди. Теперь отбить штурм. Потому что будет штурм. Теперь-то они и полезут. Манифест, как керосином, их польет. И надежды теперь только на поручиков. Да,

вот на таких поручиков, как наш. Если поручики поймут свой долг, — они отобьют...

Но кто меня поражает — это евреи. Безумные, совершенно безумные люди. Своими руками себе могилу роют... и спешат, торопятся — как бы не опоздать... Не понимают, что в России всякая революция пройдет по еврейским трупам. Не понимают... Не понимают, с чем играют. А ведь близко, близко...

* * *

В доме произошло какое-то тревожное движение. Все бросились к окнам.

Мы жили в одноэтажном особнячке, занимавшем угол Караваяевской и Кузнечной. Из угловой комнаты было хорошо видно. Сверху по Караваяевской, от университета, надвигалась толпа. Синие студенческие фуражки перемешивались со всякими иными.

— Смотрите, смотрите... У них красные... красные значки...

Действительно, почти у всех было нацеплено что-то красное. Были и какие-то красные флаги с надписями, на которых трепалось слово «долой». Они все что-то кричали. Через закрытые окна из разинутых ртов вырывался рев, жуткий рев толпы.

— Ну, штурм начинается...

* * *

Рядом с нашим особнячком стоит трехэтажный дом: в нем помещались редакция и типография. Там, перед этой дразнящей вывеской «Киевлянин», должно было разыграться что-нибудь. Я бросился туда через двор. Во дворе я столкнулся с нашим поручиком. Он кричал на бегу:

— Караул — вон!!.

Солдаты по этому крику выбегали из своего помещения. Выстроились.

— На-пра...во! Шагом марш! За мной!

Он беглым шагом повел взвод через ворота, а я прошел напрямик, через вестибюль.

Два часовых, взяв ружья наперевес, охраняли входную дверь. Толпа ревела, подзуживаемая студентами... Часовые иногда оглядывались быстренько назад, сквозь стекло

дверей, ожидая помощи. Толпа смелела, надвигалась, студенты были уже на тротуаре.

— Отойди, солдаты! Теперь свобода, конституция.

Часовые, не опуская штыков, уговаривали ближайших:

— Говорят же вам, господа, нельзя сюда! Проходите! Если вам свобода, так идите себе дальше. Ах ты, господи, а еще и образованные!

Но «образованные» не слушали уговоров «несознательных». Им нужно было добраться до ненавистной редакции «Киевлянина».

Наступил момент, когда часовым нужно было или стрелять, или у них вырвут винтовки. Они побледнели и стали жаться к дверям.

В это время подоспел поручик. Обогнув угол, поручик расчищал себе дорогу с револьвером в руках.

Через мгновение серый живой частокол, выстроившись у дверей, закрыл собой побледневших часовых.

— Назад! Осадите! Стрелять буду!

У поручика голос был звонкий и уверенный. Но студенты, как интеллигенты, не могли сдаться так просто...

— Господин офицер! Вы должны понимать! Теперь свобода! Теперь конституция!

— Конституция! Ура!

Электризуя самое себя, толпа ринулась...

Раздалась команда:

— По наступающей толпе — пальба — взводом!!!

Серый частокол выбросил левые ноги и винтовки вперед, и раздался характерный, не громкий, но ужасно четкий стук затворов...

* * *

Да, Д. И. был прав... Достаточно было строгого окрика, за которым «чувствуется твердая воля»...

Увидев, что с ними не шутят, толпа съезжилась и, отругиваясь, осадила.

И в наступившей тишине раздалась негромкая команда, которую всегда почему-то произносят презрительным баском:

— Отставить!..

* * *

Я вышел пройтись. В городе творилось нечто небывалое. Кажется, все, кто мог ходить, были на улицах. Во всяком

случае, все евреи. Но их казалось еще больше, чем их было, благодаря их вызывающему поведению. Они не скрывали своего ликования. Толпа расцвятилась на все краски. Откуда-то появились дамы и барышни в красных юбках. С ними соперничали красные банты, кокарды, перевязки. Все это кричало, галдело, перекрикивалось, перемигивалось.

Но и русских было много. Никто хорошенько ничего не понимал. Почти все надели красные розетки. Русская толпа в Киеве, в значительной мере по старине монархическая, думала, что раз государь дал манифест, то, значит, так и надо,— значит, надо радоваться. Подозрителен был, конечно, красный маскарад. Но ведь теперь у нас конституция. Может быть, так и полагается.

Потоки людей со всех улиц имели направление на главную — на Крещатик. Здесь творилось нечто грандиозное.

Толпа затопила широкую улицу от края до края. Среди этого моря голов стояли какие-то огромные ящики, также увешанные людьми. Я не сразу понял, что это остановившиеся трамваи. С крыш этих трамваев какие-то люди говорили речи, размахивая руками, но, за гулом толпы, ничего нельзя было разобрать. Они разевали рты, как рыбы, брошенные на песок. Все балконы и окна были полны народа.

С балконов также силились что-то выкричать, а из-под ног у них свешивались ковры, которые побагровее, и длинные красные полосы, очевидно содранные с трехцветных национальных флагов.

Толпа была возбужденная, в общем радостная, причем радовалась — кто как: иные назойливо, другие «тихой радостью», а все вообще дурели и пьянели от собственного множества. В толпе очень гонялись за офицерами, селясь нацепить им красные розетки. Некоторые согласились, не понимая, в чем дело, не зная, как быть,— раз «конституция». Тогда их хватили за руки, качали, несли на себе... Кое-где были видны беспомощные фигуры этих едущих на толпе...

Начиная от Николаевской, толпа стояла, как в церкви. Вокруг городской думы, залив площадь и прилегающие улицы, а особенно Институтскую, человеческая гуща еще более сгрудилась...

Старались расслышать ораторов, говоривших с думского балкона. Что они говорили, трудно было разобрать...

Несколько в стороне от думы неподвижно стояла какая-то часть в конном строю.

* * *

Я вернулся домой.

Там сцены, вроде утрешней, повторялись уже много раз. Много раз подходила толпа, вопила, угрожала, стремилась ворваться. Они требовали во имя чего-то, чтобы все газеты, а в особенности «Киевлянин», забастовали.

Но киевлянинские наборщики пока держались. Они нервничали, правда, да и нельзя было не нервничать, потому что этот рев толпы наводил жуть на душу. Что может быть ужаснее, страшнее, отвратительнее толпы? Из всех зверей она — зверь самый низкий и ужасный, ибо для глаза имеет тысячу человеческих голов, а на самом деле одно косматое, звериное сердце, жаждущее крови...

С киевлянинскими наборщиками у нас были своеобразные отношения. Многие из них работали на «Киевлянине» так долго, что стали как бы продолжением редакционной семьи. Д. И. был человек строгий, совершенно чуждый сентиментальностей, но очень добрый, — как-то справедливо, разумно добрый. Его всегда беспокоила мысль, что наборщики отравляются свинцом, и, вообще, он находил, что это тяжелый труд. Поэтому киевлянинские наборщики ежегодно проводили один месяц у нас в имении — на отдыхе. По-видимому, они это ценили. Как бы там ни было, но Д. И. твердо им объявил, что «Киевлянин» должен выйти во что бы ни стало. И пока они держались — набирали...

* * *

Между тем около городской думы атмосфера нагревалась. Речи ораторов становились все наглее, по мере того как выяснилось, что высшая власть в крае растерялась, не зная, что делать. Манифест застал ее врасплох, никаких указаний из Петербурга не было, а сами они боялись на что-нибудь решиться.

И вот с думского балкона стали смело призывать «к свержению» и к «восстанию». Некоторые из близстоящих начали уже понимать, к чему идет дело, но дальнейшие ничего не слышали и ничего не понимали. Революционеры приветствовали революционные лозунги, кричали «ура» и

«долой», а огромная толпа, стоявшая вокруг, подхватывала...

Конная часть, что стояла несколько в стороне от думы, по-прежнему присутствовала, неподвижная и бездействующая.

Офицеры тоже еще ничего не понимали. Ведь конституция!..

* * *

И вдруг многие поняли...

Случилось это случайно или нарочно — никто никогда не узнал... Но во время разгара речей о «свержении» царская корона, укрепленная на думском балконе, вдруг сорвалась или была сорвана и на глазах у десятитысячной толпы грохнулась о грязную мостовую. Металл жалобно зазвенел о камни...

И толпа ахнула.

По ней зловещим шепотом пробежали слова:

— Жиды сбросили царскую корону...

* * *

Это многим раскрыло глаза. Некоторые стали уходить с площади. Но в догонку им бежали рассказы о том, что делается в самом здании думы.

А в думе делалось вот что.

Толпа, среди которой наиболее выделялись евреи, ворвалась в зал заседаний и в революционном неистовстве изорвала все царские портреты, висевшие в зале. Некоторым императорам выкалывали глаза, другим чинили всякие другие издевательства. Какой-то рыжий студент-еврей, пробив головой портрет царствующего императора, носил на себе пробитое полотно, исступленно крича:

— Теперь я — царь!

* * *

Но конная часть в стороне от думы все еще стояла неподвижная и безучастная. Офицеры все еще не поняли.

Но и они поняли, когда по ним открыли огонь из окон думы и с ее подъездов.

Тогда наконец до той поры неподвижные серые встре-

пенулись. Дав несколько залпов по зданию думы, они ринулись вперед.

Толпа в ужасе бежала. Все перепуталось — революционеры и мирные жители, русские и евреи. Все бежали в панике, и через полчаса Крещатик был очищен от всяких демонстраций. «Поручики», разбуженные выстрелами из летаргии, в которую погрузил их манифест с «конституцией», исполняли свои обязанности...

* * *

Приблизительно такие сцены разыгрались в некоторых других частях города. Все это можно свести в следующий бюллетень:

Утром: праздничное настроение — буйное у евреев, по «высочайшему повелению» — у русских; войска — в недоумении.

Днем: революционные выступления: речи, призывы, символические действия, уничтожение царских портретов, войска — в бездействии.

К сумеркам: нападение революционеров на войска, пробуждение войск, залпы и бегство.

* * *

У нас, на Караваевской, с наступлением темноты стало жутче. Наборщики еще набирали, но очень тряслись. Они делали теперь так: тушили электричество, когда подходила толпа, и высылали сказать, что работа прекращена. Когда толпа уходила, они зажигали снова и работали до нового нашествия. Но становилось все трудней.

* * *

Я время от времени выходил на улицу. Было темно, тепло и влажно. Как будто улицы опустели, но чувствовался большой, встревоженный пульс города.

* * *

Однажды, когда я вернулся, меня встретила во дворе группа наборщиков.

Они, видимо, были взволнованы. Я понял, что они только что вышли от Д. И.

— Невозможно, Василий Витальевич, мы бы сами хотели, да никак. Эти проклятые у нас были.

— Кто?

— Да от забастовщиков, от «комитета». Грозятся: «Вы тут под охраной работаете, так мы ваши семьи вырежем!» Ну, что же тут делать?! Мы сказали Дмитрию Ивановичу: хотим работать и никаких этих «требований» не предъявляем, — но боимся...

— А он что?

— А он так нам сказал, что, верите, Василий Витальевич, сердце перевернулось. Никаких сердитых слов, а только сказал: «Прошу вас не для себя, а для нас самих и для России... Нельзя уступать!.. Если им сейчас уступить, они все погубят, и будете сами без куска хлеба, и Россия будет такая же!..» И правда, так будет... И знаем и понимаем... Но не смеем, — боимся... за семьи... Что делать?..

Мне странно было видеть эти с детства совершенно по-иному знакомые лица такими разволнованными и такими душевными.

Все они толпились вокруг меня в полутьме плохо освещенного двора и рассказывали мне перебивающимися голосами. Я понял, что эти люди искренно хотели бы «не уступить», но... страшно...

И вправду, есть ли что-нибудь страшнее толпы?..

* * *

Они ушли, двое осталось. Это был Ш...0 и еще другой — самые старые наборщики «Киевлянина».

Ш...0 схватил меня за руки.

— Василий Витальевич! Мы наберем!.. Вот нас двое... Один лист наберем — две страницы... Ведь тут не то важно, чтоб много, а чтоб не уступить... И чтобы статья Дмитрия Ивановича вышла... Мы все знаем, все понимаем...

Он тряс мне руки.

— Сорок лет я над этими станками работал — пусть над ними и кровь пролью... Василий Витальевич, дайте рублик... на водку!.. Не обижайтесь — для храбрости... Страшно!.. Пусть кровь пролью — наберу «Киевлянин»...

Он был уже чуточку пьян и заплакал. Я поцеловал старика и сунул ему деньги, он побежал в темноту улицы за водкой...

* * *

— Ваше благородие! Опять идут.

Это было уже много раз в этот день.

— Караул, вон! — крикнул поручик.

Взвод строился. Но в это время солдат прибежал вторично.

— Ваше благородие! Это какие-то другие.

Я прошел через вестибюль. Часовой разговаривал с какой-то группой людей. Их было человек тридцать. Я вошел в кучку.

— Что вы хотите, господа?

Они стали говорить все вместе.

— Господин офицер... Мы желали... мы хотели... редактора «Киевлянина»... профессора... то есть господина Пихно... мы к нему... да... потому что... господин офицер... разве так возможно?! что они делают!., какое они имеют право?! корону сбросили... портреты царские порвали... как они смеют!., мы хотели сказать профессору...

— Вы хотели его видеть?

— Да, да... Господин офицер... нас много шло... сотни, тысячи... Нас полиция не пустила... А так как мы, то есть не против полиции, так мы вот разбились на кучки... вот нам сказали, чтобы мы непременно дошли до «Киевлянина», чтобы рассказать профессору... Дмитрию Ивановичу...

Д. И. был в этот день страшно утомлен. Его целый день терзали. Нельзя перечислить, сколько народа перебывало в нашем маленьком особнячке. Все это жалось к нему, ничего не понимая в происходящем, требуя указания, объяснений, совета и поддержки. Он давал эту поддержку, не считая своих сил. Но я чувствовал, что и этим людям отказать нельзя. Мы были на переломе. Эти пробившиеся сюда — это пена обратной волны...

— Вот что... всем нельзя. Выберите четырех... Я провожу вас к редактору.

* * *

В вестибюле редакции.

— Я редактор «Киевлянина». Что вам угодно?

Их было четверо: три в манишках и в ботинках, четвертый в блузе и сапогах.

— Мы вот... вот я, например, парикмахер... а вот они...

— Я — чиновник: служу в акцизе... по канцелярии.

— А я — торговец... Бакалейную лавку имею... А это — рабочий.

— Да, я — рабочий... Слесарь... эти жида ев...

— Подождите,— перебил его парикмахер,— так вот мы, г. редактор, люди, так сказать, разные, т. е. разных занятий...

— Ваши подписчики,— сказал чиновник.

— Спасибо вам, г. редактор, что пишете правду,— вдруг, взволновавшись, сказал лавочник.

— А почему?.. Потому, что не жидовская ваша газета,— пробасил слесарь.

— Подождите,— остановил его парикмахер,— мы, так сказать, т. е. нам сказали: «Идите к редактору «Киевлянина», господину профессору, и скажите ему, что мы так не можем, что мы так не согласны... что мы так не позволим...»

— Какое они имеют право! — вдруг страшно рассердился лавочник.— Ты красной тряпке поклоняешься,— ну и черт с тобой! А я трехцветной поклоняюсь. И отцы и деды поклонялись. Какое ты имеешь право мне запрещать?..

— Бей жидов,— зазвенел рабочий, как будто ударил молотом по наковальне.

— Подождите,— еще раз остановил парикмахер,— мы пришли, так сказать, чтобы тоже... Нет, бить не надо,— обратился он к рабочему.— Нет, не бить, а, так сказать, мирно. Но чтобы всем показать, что мы, так сказать, не хотим... так не согласны... так не позволим...

— Господин редактор, мы хотим тоже, как они, демонстрацию, манифестацию... Только они с красными, а мы с трехцветными...

— Возьмем портрет государя императора и пойдем по всему городу... Вот что мы хотим...— заговорил лавочник.— Отслужим молебен и крестным ходом пойдем...

— Они с красными флагами, а мы с хоругвями...

— Они портреты царские рвут, а мы их, так сказать, всенародно восстановим...

— Корону сорвали,— загудел рабочий.— Бей их, бей жинову, сволочь проклятую!..

— Вот что мы хотим... за этим шли... чтобы узнать... хорошо ли?.. Ваше, так сказать, согласие...

Все четверо замолчали, ожидая ответа. По хорошо мне знакомому лицу Д. И. я видел, что с ним происходит. Это лицо, такое в обычное время незначительное, теперь... серые, добрые глаза из-под сильных бровей и эта глубокая складка воли между ними.

— Вот что я вам скажу. Вам больно, вас жжет?.. И меня жжет. Может быть, больше, чем вас... Но есть больше того, чем то, что у нас с вами болит... Есть Россия... Думать надо только об одном: как ей помочь... Как помочь этому государю, против которого они повели штурм... Как ему помочь. Ему помочь можно только одним: поддержать власти, им поставленные. Поддержать этого генерал-губернатора, полицию, войска, офицеров, армию... Как же их поддержать? Только одним: соблюдайте порядок. Вы хотите «по примеру их» манифестацию, патриотическую манифестацию... Очень хорошие чувства ваши, святые чувства,— только одно плохо,— что «по примеру их» вы хотите это делать. Какой же их пример? Начали с манифестации, а кончили залпами. Так и вы кончите... Начнете крестным ходом, а кончите такими делами, что по вас же властям стрелять придется... И не в помощь вы будете, а еще страшно затрудните положение власти... потому что придется властям на два фронта, на две стороны бороться... И с ними и с вами. Если хотите помочь, есть только один способ, один только.

— Какой, какой? Скажите. За тем и шли...

— Способ простой, хотя и трудный: «все по местам». Все по местам. Вот вы парикмахер — за бритву. Вы торговец — за прилавок. Вы чиновник — за службу. Вы рабочий — за молот. Не жидов бить, а молотом — по наковальне. Вы должны стать «за труд», за ежедневный честный труд,— против манифестации и против забастовки. Если мы хотим помочь власти, дадим ей исполнить свой долг. Это ее долг усмирить бунтовщиков. И власть это делает, если мы от нее отхлынем, потому что их на самом деле немного. И они хоть наглецы, но подлые трусы...

— Правильно,— заключил рабочий.— Бей их, сволочь паршивую!!!

* * *

Они ушли, снаружи как будто согласившись, но внутри неудовлетворенные. Когда дверь закрылась, Д. И. как-то съезжился, потом махнул рукой, и в глазах его было выражение, с которым смотрят на нечто неизбежное:

— Будет погром...

* * *

Через полчаса из разных полицейских участков позвонили в редакцию, что начался еврейский погром.

Один очевидец рассказывает, как это было в одном месте:

— Из бани гурьбой вышли банщики. Один из них взлез на телефонный столб. Сейчас же около собралась толпа. Тогда тот со столба начал кричать:

— Жиды царскую корону сбросили!.. Какое они имеют право? Что же, так им и позволим? Так и оставим? Нет, братцы, врешь!

Он слез со столба, выхватил у первого попавшегося человека палку, перекрестился и, размахнувшись, со всей силы бахнул в ближайшую зеркальную витрину. Стекла посыпались, толпа заулюлюкала и бросилась сквозь разбитое стекло в магазин...

И пошло...

* * *

Так кончился первый день «конституции»...

ВТОРОЙ ДЕНЬ «КОНСТИТУЦИИ»

19 октября 1905 года «Киевлянин» все-таки вышел. Старый наборщик выполнил свое обещание и набрал две страницы. Больше в Киеве не вышло ни одной газеты. Все они ознаменовали рождение нового политического строя тем, что сами себе заткнули рот. Впрочем, если не ошибаюсь, это же произошло во всех других городах России.

* * *

Еще в сентябре я был призван (по последней мобилизации) в качестве «прапорщика запаса полевых инженерных войск». Но на войну я не попал, так как «граф полусахалинский», как в насмешку называли Сергея Юльевича Витте (он отдал японцам пол-Сахалина), заключил мир. Но домой меня пока не отпускали. И я служил младшим офицером в 14-м саперном батальоне в Киеве. Накануне у меня был «выходной день», но 19 октября я должен был явиться в казармы.

— Рота напра...во!!!

Длинный ряд серых истуканчиков сделал — «раз», то есть каждый повернулся на правой ноге, и сделал — «два», то есть каждый пристукнул левой. От этого все стали друг другу «в затылок».

— Шагом!..— закричал ротный протяжно... И тихонько — фельдфебелю:

— Обед пришлешь в походной кухне.

— Слушаю, выше высокоблагородие.

— Марш!!! — рявкнул ротный, точно во рту у него лопнул какой-то сильно напряженный шар, рассыпавший во все стороны энергическое «рр».

Истуканчики твердо, «всей левой ступней», приладонили пол, делая первый шаг... И затем мерно закачались, двумя серыми змейками выливаясь через открытые двери казармы

* * *

— Куда мы идем?

— На Димиевку.

Димиевка — это предместье Киева. Ротный, в свою очередь, спросил:

— Не знаете, что там? Беспорядки?

Я ответил тихонько, потому что знал.

— Еврейский погром.

— Ах, погром...

По его лицу прошло что-то неуловимое, что я тем не менее очень хорошо уловил...

* * *

— Возьмите четвертый взвод и идите с этим... надзирателем. Ну, и там действуйте...— приказал мне ротный.

Кажется, первый раз в жизни мне приходилось «действовать»...

— Четвертый взвод, слушай мою команду! Шагом... марш!..

Я с удивлением слушал свой голос. Я старался рассыпать «рр», как ротный, но ничего не вышло. А, впрочем, ничего. Они послушались — это самое главное.

Пошли. Полицейский надзиратель ведет...

Грязь. Маленькие домишки. Беднота. Кривые улицы. Но пока — ничего. Где-то что-то кричат. Толпа... Да. Но где?

Здесь тихо. Людей мало. Как будто даже слишком мало. Это что?

Да — там в переулке. Я подошел ближе.

Старый еврей в полосатом белье лежал, раскинув руки, на спине. Иногда он судорожно поводил ногами.

Надзиратель наклонился:

— Кончается...

Я смотрел на него, не зная, что делать.

— Отчего его убили?

— Стреляли, должно быть... Тут только тех убивали, что стреляли...

— Разве они стреляют?

— Стреляют... «Самооборона»...

Не зная, что делать, я поставил на этом перекрестке четырех человек. Дал им приказание в случае чего бежать за помощью. Пересчитал остальных. У меня осталось тринадцать... Не много...

Мы пошли дальше и за одним поворотом наткнулись...

* * *

Это была улица, по которой прошелся «погром».

— Что это? Почему она белая?..

— Пух... Пух из перин,— объяснил надзиратель.

— Без зимы снег! — сострил кто-то из солдат.

Страшная улица... Обезображенные жалкие еврейские халупы... Все окна выбиты... Местами выбиты и рамы... Точно ослепшие, все эти грязные лачуги. Между ними, безглазыми, в пуху и в грязи — вся жалкая рухлядь этих домов, перекалеченная, переломанная... Нелепо раскорячившийся стол, шкаф с проломанным днищем, словно желтая рана, комод с вываливающимися внутренностями... Стулья, диваны, матрацы, кровати, занавески, тряпье... полувдавленные в грязь, разбитые тарелки, полуразломанные лампы, осколки посуды, остатки жалких картин, смятые стенные часы — все, что было в этих хибарках, искромсанное, затоптанное ногами... Но страшнее всего эти слепые дома. Они все же смотрят своими безглазыми впадинами,— таратают их на весь этот нелепый и убогий ужас...

* * *

Мы прошли эту улицу. Это что?

Двухэтажный каменный дом. Он весь набит кишачим народом. Вся лестница полна, и сквозь открытые окна видно, что толпа залила все квартиры.

Я перестроил людей и во главе двух серых струек втиснулся в дом... И все совершилось невероятно быстро. Нескольким ударам прикладами — и нижний этаж очищен. Во втором этаже произошла паника. Некоторые, в ужасе перед вдруг с неба свалившимися солдатами, бросаются в окна. Остальные мгновенно очищают помещение. Вот уже больше никого. Только в одной комнате солдат бьет какого-то упрямящегося человека. Ко мне бросается откуда-то взвзвывая еврейка:

— Ваше благородие, что вы делаете! Это же наш спаситель...

Я останавливаю солдата. Еврейка причитает:

— Это же наш дворник... Он же наш единственный защитник...

Passage...*

* * *

Этот дом выходил на очень большую площадь. В окна я увидел, что там собралась толпа — не менее тысячи человек. Я сошел вниз и занял выжидательную позицию.

Площадь была так велика, что эта большая толпа занимала только кусочек ее. Они стояли поодаль и, видимо, интересовались нами. Но не проявляли никаких враждебных действий или поползновений грабить. Стоят. Тем не менее я решил их «разогнать»: пока я здесь, они — ничего, как только уйду — бросятся на дома. Иначе — для чего им тут стоять.

Я развернул взвод фронтом и пошел на них. В эту минуту я вдруг почувствовал, что мои люди совершенно в моей власти. Мне вовсе не нужно было вспоминать «уставные команды», они понимали каждое указание руки. Когда это случилось, — ни они, ни я не заметили, но они вдруг сделались «продолжением моих пальцев», что ли. Это незнакомое до сих пор ощущение наполняло меня какой-то бодростью.

* Пассаж (фр.).

Подходя к толпе, я на ходу приказал им «разойтись». Они не шевельнулись.

— На руку...

Взвод взял штыки наперевес. Толпа побежала.

Побежала с криком, визгом и смехом. Среди них было много женщин — хохлушек и мешанок предместья.

Они оборачивались на бегу и смеялись нам в лицо.

— Господин офицер, зачем вы нас гоните?! Мы ведь — за вас.

— Мы — за вас, ваше благородие. Ей-богу, за вас!..

Я посмотрел на своих солдат. Они делали страшные лица и шли с винтовками наперевес, но дело было ясно.

Эта толпа — «за нас», а мы — «за них»...

* * *

Я провозился здесь довольно долго. Только я их разгону — как через несколько минут они соберутся у того края пустыря. В конце концов это обращалось в какую-то игру. Им положительно нравились эти маневры горсточки солдат, покорных каждому моему движению. При нашем приближении поднимался хохот, визг, заигрывание с солдатами и аффектированное бегство. Ясно, что они нас несколько не боятся. Чтобы внушить им, что с ними не шутят, надо было бы побить их или выпалить...

Но это невозможно. За что?.. Они ничего не делали. Никаких поползновений к грабежу. Наоборот, демонстративное подчинение моему приказанию «разойтись». Правда, разбегаются, чтобы собраться опять...

Запахавшись, я наконец понял, что гоняться за ними глупо. Надо занять выжидательную позицию.

* * *

Мы стоим около какого-то дома. Я рассматриваю эту толпу. Кроме женщин, которых, должно быть, половина, тут самые разнообразные элементы: русское население предместья и крестьяне пригородных деревень. Рабочие, лавочники-бакалейщики, мастеровые, мелкие чиновники, кондуктора трамваев, железнодорожники, дворники, хохлы разного рода — все, что угодно.

Понемногу они пододвигаются ближе. Некоторые совсем подошли и пытаются вступить в разговор. Кто-то просил разрешения угостить солдат папиросами. Другие принесли

белого хлеба. Да, положительно, эти люди — «за нас». Они это всячески подчеркивают и трогательно выражают. И этому дыханию толпы трудно не поддаваться.

Ведь идет грозная борьба, борьба не на жизнь, а на смерть. Вчера начался штурм исторической России. Сегодня... сегодня это ее ответ. Это ответ русского простонародного Киева — Киева, сразу по «альфе» понявшего «омегу»... Этот ответ принял безобразные формы еврейского погрома, но ведь рвать на клочки царские портреты было тоже не очень красиво... А ведь народ только и говорил об этом.;. Только и на языке:

— Жиды сбросили царскую корону.

И они очень чувствовали, что войска, армия, солдаты, и в особенности офицеры, неразрывно связаны с этой царской короной, оскорбленной и сброшенной. И поэтому-то и словами и без слов они стремились выразить:

— Мы — за вас, мы — за вас...

* * *

Пришел полицейский надзиратель и сказал, что на такой-то улице идет «свежий» погром и что туда надо спешить.

Мы сначала сорвались бегом, но выходились на каком-то глинистом подъеме. В это время из-за угла на нас хлынул поток людей.

Это была как бы огромная толпа носильщиков. Они тащили на себе все, что может вмещать человеческое жилье... Некоторые, в особенности женщины, успели сделать огромные узлы. Но это были не погромщики. Это была толпа, такая же, как там на площади, толпа пассивная, «присоединяющаяся»...

Я понял, что нам нужно спешить туда, где громят. Но вместе с тем я не мог же хладнокровно видеть эти подлые узлы.

— Бросить сейчас!

Мужчины покорно бросали. Женщины пробовали протестовать. Я приказал людям на ходу отбирать награбленное. А сам спешил вперед, чувствуя, что там нужно быть. Оттуда доносились временами дикое и жуткое улюлюканье, глухие удары и жалобный звон стекла.

Вдруг я почувствовал, что солдаты от меня отстали. Обернулся.

Боже мой!

Они шли нагруженные, как верблюды. Чего на них только не было! Мне особенно бросились в глаза: самовар, сулея наливки, мешок с мукой, огромная люстра, половая щетка.

— Да бросьте, черт вас возьми!

* * *

Вот разгромленная улица. Это отсюда поток людей. Сквозь разбитые окна видно, как они там грабят, тащат, срываю... Я хотел было заняться выбрасыванием их из домов, но вдруг как-то сразу понял «механизм погрома»...

Это не они — не эти. Эти только тащат... Там дальше, там должна быть «голова погрома», — те, кто бросается на целые еще дома. Там надо остановить... Здесь уже все кончено...

* * *

Вот...

Их было человек тридцать. Взрослые (по-видимому, рабочие) и мальчишки-подростки... Все они были вооружены какими-то палками. Когда я их увидел, они только что атаковали «свежий дом» — какую-то одноэтажную лачугу. Они сразу подбежали было к дому, но потом отступили на три-четыре шага... Отступили с особенной ухваткой, которая бывает у профессиональных мордобоев, когда они собираются «здорово» дать в ухо... И действительно, изловчившись и взявши разбег, они изо всех сил, со всего размаха «вдарили» в окна... Точно дали несчастной халупе ужасающе звонкую оплеуху... От этих страшных пощечин разлетелись на куски оконные рамы... А стекла звоном зазвенели, брызнув во все стороны. Хибарка сразу ослепла на все глаза, толпа за моей спиной взвыла и заулюлюкала, а банда громил бросилась на соседнюю лачугу.

* * *

Тут мы их настигли... Я схватил какого-то мальчишку за шиворот, но он так ловко покотился кубарем, что выскользнул у меня из рук... Другого солдат сильно ударил прикладом в спину между лопатками... Он как-то вроде как бы икнул, — грудью вперед... Я думал, что он свалится... но он справился и убежал... Несколько других эпизодов,

таких же, произошло одновременно... Удары прикладами, не знаю уж, действительные или симулированные,— и бегство...

И все...

* * *

Мы на каком-то углу. Влево от меня разгромленная улица, которую мы только что прошли, вправо — целая, которую мы «спасли». Погром прекратился... Громилы убежали, оставив несколько штук своего оружия, которое мне показалось палками... На самом деле это были куски железных, должно быть, водопроводных труб.

Толпа же, сама по себе, без «инициативной группы», не способна грабить. В нашем присутствии она даже не пробует громить... Евреев не видно совсем. Они или перебежали в соседний квартал, или прячутся где-то здесь — в русских домах... Но их не видно... Не видно ни убитых, ни раненых. Нет их, по-видимому, и в разбитых домах. У меня такое впечатление, что здесь обошлось без человеческих жертв. Мне вспоминаются слова полицейского надзирателя:

— Убивают тех, кто стреляет...

* * *

Толпа собирается вокруг нас, жметя к нам. Чего им нужно?

Им хочется поговорить. У них какое-то желание оправдаться, объяснить, почему они это делают,— если не громят, то грабят, если не грабят, то допускают грабить... И они заговаривают на все лады...

И все одно и то же...

— Жиды сбросили корону, жиды порвали царские портреты, как они смеют, мы не желаем, мы не позволим!..

И они горячились, и они накалялись.

Вокруг меня толпа сомкнулась. Она запрудила перекресток с четырех сторон... Тогда я взлез на тумбу и сказал им речь. Едва ли это не была моя первая политическая речь. Вокруг меня было русское простонародье, глубоко оскорбленное... Их чувства были мне понятны... но их действия были мне отвратительны. Так я и сказал:

— Вчера в городской думе жиды порвали царские пор-

треты... За это мы в них стреляли... Мы — армия... И если это еще когда-нибудь случится,— опять стрелять будем. И не вы им «не позволяете», а мы не позволим. Потому что для того мы и состоим на службе у его императорского величества... чтобы честь государя и государства русского защищать. И этой нашей службы мы никому, кроме себя, исполнять не позволим. И вам не позволим. Это наше дело, а не ваше. А почему? А потому хотя бы, что вы и разобравшись толком не можете и зря, неправильно, несправедливо, незаслуженно поступаете. Кого бьете, кого громите?.. Тех разве, кто царские портреты порвал вчера в думе? Нет — это мы по ним стреляли, а вы даже знать не ведали, когда вчера дело было... А вот теперь, сегодня, задним числом разыгрались. И кого же бьете? Вот этих ваших жидков демиевских, что в этих халупах паршивых живут? Янкеля и Мошку, что керосином торгуют на рубль в день,— что же, он портреты царские рвал,— он, да?.. Или жена его, Хайка,— она корону сбросила?

В толпе произошло движение. В задних рядах кто-то сказал:

— Это правильно их благородие говорит.

Я воспользовался этим.

— Ну, так вот... И говорю вам еще раз: вчера мы в жидов стреляли за дело, а сегодня... сегодня вы хотите царским именем прикрыться и ради царя вот то делать, что вы делаете... Ради царя хотите узлы чужим добром набивать!.. Возьмете портреты и пойдете — впереди царь, а за царем — грабители и воры... Этого хотите?.. Так вот заявляю вам: видит бог, запалю в вас, если не прекратите гадости...

Опять сильное движение в толпе. Вдруг как бы что-то прорвало. Какой-то сильный рыжий мужчина без шапки, с голыми руками и в белом фартуке закричал:

— Ваше благородие! Да мы их не трогаем! У нас вот смотрите, руки голые!

Он тряс в воздухе своими голыми руками.

— А они зачем в нас стреляют с револьверов?

— Верно, правильно,— подхватили в разных местах.— Зачем они в нас стреляют?

Я хотел что-то возразить и поднял руку.

На мгновение опять стало тихо... Но вдруг, как будто в подтверждение, в наступившую тишину резко ворвался треск браунинга.

Толпа взъелась.

— А что!.. Вот вам... Ваше благородие, это что же?!
Вы говорите...

Я хотел что-то прокричать, но звонкий тенор в задних рядах зазвенел, покрывая все:

— Бей их, жилову, сволочь проклятую...

И к небу взмылось дикое, улюлюкающее:

— Бей!!!

Толпа ринулась по направлению выстрела. Рассуждать было некогда.

— Взвод, ко мне!!!

* * *

Мне удалось все же опередить толпу. Теперь мы двигались так.

Передо мною была узкая кривая улочка. За моей спиной цепочка взвода, от стенки до стенки... За солдатами сплошная масса толпы, сдерживаемая каемкой тринадцати серых шинелей.

Впереди раздалось несколько выстрелов. Толпа взвыла

Я велел зарядить винтовки. Люди волновались, и дело не ладилось. Наконец справились. Двинулись дальше. Завернули за угол. Это что?..

* * *

Улочка выводила на небольшую площадь. И вот из двухэтажного дома, напротив, выбежало шесть или семь фигур — еврейские мальчишки не старше двадцати лет... Выстроились в ряд. Что они будут делать... В то же мгновение я понял: они выхватили револьверы и, нелепые и дрожащие, дали залп по мне и по моим солдатам... Выстрелили и убежали.

Я успел охватить взглядом цепочку и убедиться, что никто не ранен. Но вслед за этим произошло нечто необычно быстрое... Толпа, которая была за моей спиной, убежала другим переулком, очутилась как-то сбоку и впереди меня — словом, на свободе — и бросилась по направлению к злосчастному двухэтажному дому...

* * *

— Взвод, ко мне!..

Я успел добежать до дома раньше толпы и стоял спиной

к нему, раскинувши руки. Это был жест — приказ, по которому взвод очень быстро выстроился за мной. Толпа остановилась.

В это время — выстрелы с верхнего этажа.

— Ваше благородие, в спину стреляют.

Я сообразил, что надо что-то сделать.

— Вторая шеренга, кругом...

Шесть серых повернулось. Но толпа пришла в бешенство от выстрелов и, видя перед собой только семь солдат (первая шеренга), подавала все признаки, что сейчас выйдет из повиновения.

— Стреляют, сволочь... Как они смеют?.. У нас руки голые... Бей их, бей жилову! Трам-тарарам их, перетрам-тарарам...

Они завыли и заулюлюкали так, что стало жутко. И бросились.

Я решил на последнее:

— По наступающей толпе... и по дому... пальба... взводом!!!

Серые выбросили левые ноги и винтовки вперед, и взвод ошетинился штыками в обе стороны, приготовившись...

Наступила критическая минута. Если бы они двинулись, я бы запалил. Непонятным образом они это поняли.

И остановились.

Я воспользовался этим и прокричал:

— Если вы мне обещаете, что не тронетесь с места, я войду в дом и арестую того, кто стрелял. А если двинетесь, палить буду.

Среди них произошел какой-то летучий обмен, и выделась новая фигура, я его не видел раньше.

Это был, что называется, «босяк» — одна нога в туфле, другая в калоше. Он подошел ко мне, приложил руку к сломанному козырьку и с совершенно непередаваемой ухваткой доложил:

— Так что мы, ваше благородие, увсе согласны.

«Согласие народа», выраженное через «босяка», меня устраивало, но не совсем. Я пойду «арестовывать», кого я оставлю здесь? Как только я уйду, — они бросятся.

В это время, на мое счастье, я увидел далеко, в конце улицы, движение серых шинелей. Я узнал офицера. Это был другой взвод нашей роты. Я подозвал их, попросил встать на мое место около дома. Сам же со своим взводом обошел угол, так как ворота были с другой стороны.

Но ворота оказались на запоре. Пришлось ломать замок. Замок был основательный, и дело не клеилось.

* * *

Боже мой! Это что такое?!

Какая-то новая, несравненно более многочисленная, словом, огромная толпа залила выходящие сюда улицы. Это, очевидно, из города. Та демонстрация, о которой вчера говорилось. Да, да... Патриотическая манифестация.

Хоругви, кресты... Затем торжественно несомые на груди портреты государя, государыни, наследника... Важное, как бы церковное, шествие... Вроде как крестный ход. Поют? Да — гимн.

— Взвод, смирно!!! Слушай — на караул!!!

Процессия медленно протекает, сопутствуемая огромными толпами. Гимн сменяется — «Спаси господи...». Прошли.

Мы должны продолжать свое дело. Наша толпа, демиевская, сначала совершенно затопленная процессией, теперь отсеялась. Она осталась и ждет финала — ареста «тех, кто стрелял».

Я приказываю:

— Ломай замок!

Но солдаты не умеют. В это время подходит фигура, кажется, тот самый, который докладывал, что они «увсе согласны».

— Дозвольте мне, ваше благородие.

В руках у него маленький ломик. Замок взлетает сразу...

* * *

Во внутренности двора, сбившись в кучу, смертельно бледные, прижались друг к другу — кучка евреев. Их было человек сорок: несколько подозрительных мальчишек, остальные старики, женщины, дети...

— Кто тут стрелял?

Они ответили перебивающим хором:

— Их нема... они вже убили...

Старик, седой, трясущийся, говорил, подымая дрожащие, худые руки:

— Ваше благородие... Те, что стреляли, их вже нет... Они убили... Стрелили и убили... Мальчишки... Стреляли и убили...

Я почувствовал, что он говорит правду. Но сказал сурово:

— Я обыщу вас... Отдайте револьверы.

Солдаты пощупали некоторых. Конечно, у них не было револьверов. Но мое положение было плохо.

Там, за стеной,— огромная толпа, которая ждет «правосудия». И для ее успокоения, и для авторитета войск, и для спасения и этих евреев и многих других весьма важно, чтобы «стрелявшие» были арестованы. Как быть? Внезапно я решился...

— Из этого дома стреляли. Я арестую десять человек. Выберите сами...

Получился неожиданный ответ:

— Ваше благородие... арестуйте нас всех... просим вас — сделайте милость,— всех, всех заберите...

Я понял. За стеной ждет толпа. Ее рев минутами переплескивает сюда. Что может быть страшнее толпы? Не в тысячу ли раз лучше под защитой штыков, хотя бы и в качестве арестованных?

Я приказываю все-таки выбрать десять и вывожу их, окруженных кольцом серых. Дикое улюлюкание встречает наше появление. Но никаких попыток отбить или вырвать. Чувство «правосудия» удовлетворено. Они довольны, что офицер исполнил свое обещание. Я пишу записку: «Арестованы в доме, из которого стреляли». С этой запиской отправляю их в участок под охраной половины взвода. (Они были доставлены благополучно — я получил записку из полиции; дальнейшая судьба: через два дня выпущены на свободу. На это я и рассчитывал.)

* * *

Желтые звуки трубы режут воздух. Трубят общий сбор. Мы бросились на эти сигналы. Что это?

Грабят базар...

* * *

На базар обрушилась многотысячная толпа. Когда мы прибежали, в сущности, все было кончено. Мы вытеснили толпу с базара, но рундуки были уже разграблены, все захвачено, перебито. Больше всего было женщин. Они тащили, со смехом, шутками и визгом. Иные, сорвав с себя платки, вязали огромные узлы.

— Брось, бесстыжая...
Она улыбалась мне виноватой улыбкой:
— Ваше благородие, пропадет ведь...
Запалить бы в них надо по-настоящему, но не хватает духу. Психологически это невозможно.

* * *

Не помню уже, как в третьем часу дня ко мне собралась вся рота. Куда девались остальные офицеры,— не знаю. Зато появился понтонный капитан с ротой понтонеров. Наш фельдфебель разыскал нас, и теперь мы все пообедали, усевшись среди разбитых рундуков.

Пошел дождик, чуть темнело. Подошел фельдфебель.
— Ваше благородие. Тут народ стал болтать.
У него сделалось таинственное лицо.
— Ну что?
— Насчет голосеевского леса...
— Ну?..
— Что там, то есть как бы неблагоприятно...
— Что такое?..
— Жиды, ваше благородие...
— Какие жиды?
— Всякие, с города... С браунингами и бомбами...
Десять тысяч их там. Ночью придут сюда.
— Зачем?
— Русских резать...
— Какой вздор!..
— Так точно — вздор, ваше благородие.
Но по его глазам я вижу, что он этого не думает.

* * *

Я должен был бы послать донесение об этом в батальон. Но я не послал, не желая попадать в дурацкое положение. Я только поставил пост на краю предместья, на всякий случай. Но сенсационное известие каким-то путем добежало и, по-видимому, в самые высокие сферы.

* * *

Вечерело... Я стоял на обезлюдевшей улице. Все куда-то попряталось. Где же все эти толпы? Новая какая-то жуть нависла над предместьем.

Из города приближается кавалерийский разъезд. Во главе вахмистр. Я подзываю его:

— Куда?
— В голосеевский лес, ваше благородие.
— Что там?
— Жиды, ваше благородие...

Значит, уже знали где-то там. Прислали кавалерийский разъезд. Ну, и прекрасно.

— Ну, езжай...

Прошло несколько минут. Оттуда же появляется опять кавалерия. Но уже больше: пол-эскадрона, должно быть. Во главе корнет.

— Позвольте вас спросить, куда вы?

Он остановил лошадь и посмотрел на меня сверху вниз:

— В голосеевский лес.
— А что там такое?
— Там... Жиды...

Он сказал это таким тоном, как будто было даже странно с моей стороны это спрашивать. Что может быть в голосеевском лесу?

— И много?..

Он ответил стальным тоном:

— Восемь тысяч...

И тронул лошадь.

Через несколько минут — опять группа всадников, то есть, собственно, только двое. Первый — полковник, другой, очевидно, адъютант. Полковник подзывает меня:

— Какие у вас сведения о голосеевском лесе?
— Кроме непроверенных слухов — никаких...

Полковник смотрит на меня с таким выражением, как будто хочет сказать:

— Ничего другого я и не ожидал от прапорщика...

Проехали...

Батюшки, это что же такое?..

Неистово гремя, показывается артиллерия. Протягивают одно, другое, третье... Полубатарейя. Ну-ну...

За артиллерией, шлепая по грязи, тянутся две роты пехоты. Ну, теперь все в порядке: «отряд из трех родов оружия». Можно не беспокоиться за Голосеев.

* * *

Ночь черная, как могила... Не только уличных фонарей — ни одного освещенного окна. Ни одного огня в предместье. С совершенно глухого неба моросит мельчайший дождик.

Я патрулирую во главе взвода. Обхожу улицы, переулки, базар...

Домишки и дома стоят мрачными и глухими массивами. Еще чернее, чем все остальное, дыры выбитых окон и дверей. Под ногами на тротуарах трещит стекло. Иногда спотыкаешься о что-нибудь брошенное.

Там, в этих полуруинах, иногда чувствуется какое-то шевеление. Очевидно, дограблывают какие-то гиены. Наконец, мне это надоело.

— Кто там, вылезай...

Затихло. Я повторил приказание. Никакого ответа. Я выстрелил из револьвера в разбитое окно.

— Не стреляйте, — мы вылезем...

Из-под исковерканного висящего дверного жалюзи вылезло двое.

Это были солдаты — запасные.

— Ах, так!.. Наши!.. Мы тут разоряемся, из сил выбиваемся, ночи не спим, грабителей ловим, — а грабители вот кто! Наши же... Арестовать! Под суд пойдете...

Их окружают. Пошли дальше.

* * *

Слышны приближающиеся голоса, шаги, из-за угла вдруг появляется плохо различаемая гурьба людей.

— Кто вы?.. Что тут делаете?

В темноте не разберешь, что за люди. Те перепугались.

— Мы... Мы — ничего... Мы — вот...

Они суют мне что-то в руки, что оказывается национальными флагами.

— Чего же вы ночью с флагами шляетесь?.. Марш домой!

Отбирают флаги и гонят их. Убегают...

* * *

На одном углу спотыкаемся о какую-то мягкую и рассыпающуюся горку.

— Чай, ваше благородие.

Да, это чай. Симпатичные и душистые кубики в золотом украшенных обертках. И я чувствую, что делается в крестьянских бережливых сердцах моих солдат.

Чай... Драгоценное, солдатское зелье, их роскошь, вот так валяется в грязи, пропадает...

Они не выдерживают:

— Ваше благородие, дозвоьте взять... По штучке... Пропадет зря...

В моей душе борьба. Чувствую, что солдатам этого никак не понять, если я откажу. Они честно работали со мною весь день. Старались, как могли, спасая «жидовское добро». Но ведь этот чай — уже ничей. Он все равно пропадет. Как же его не спасти? Принципиально. Но ведь донкихотство непонятно им.

И я уступаю.

* * *

Кто скажет «а», тот скажет «б»...

Унтер-офицер подходит ко мне.

— Ваше благородие...

— Ну?..

— Ребята наши просят — отпустить бы... тех...

У него в голосе что-то подкупающее. Я понимаю, — он просит, чтобы я отпустил тех двух солдат, что мы арестовали.

— Пропадут, ваше благородие... Они уже уволенные со службы. Завтра домой имели ехать... А тут такое дело вышло... Жалко... Ребята очень просят.

Опять коротенькая душевная борьба, и опять я капитулирую.

— Ваше благородие, мы их сами накажем... А под суд...

Он не доканчивает, но я знаю, что, если бы он был интеллигентом, он сказал бы: «А под суд — бесчеловечно».

Но я стараюсь отступить с соблюдением приличий.

— Ну, ладно... Но помните, только — ради вашей службы.

— Покорнейше благодарим, ваше благородие...

Я слышу возню в темноте, удары: их «наказывают» Потом они выныривают передо мной:

— Покорнейше благодарим, ваше благородие..

Я все еще стараюсь сохранить конвенансы*.

* От фр. *convenances* — условность, приличия. (Прим. ред.)

— Не ради вас, мерзавцы... Ради моих сапер.
Как бы там ни было, инцидент исчерпан.

* * *

На одной из улиц (неразгромленной) я почувствовал нечто необычайное.

Полная темнота. Но в подъездах, в воротах, в дверях, в палисадниках и садиках какая-то возня, шепот, заглушенные голоса. Если они не спят, почему не зажигают света? Почему в полной темноте они перебегают, перешептываются? Что-то встревоженное, волнующееся, напряженное. Что такое?

По обрывкам долетающих слов ясно, что это русская улица. Почему они прячутся? На мостовую выйти как бы боятся?

Я остановился и выстроил взвод поперек улицы.

Поняв, что мы — солдаты, люди начинают поодиночке подбираться к нам.

Я вступаю в разговор с ними.

— Что тут такое, чего вы шепчетесь?

— Боимся.

— Чего боитесь?

— Жидов боимся... Идут резать...

— Да откуда это вы взяли?

— Все говорят, ваше благородие...

В это время прямо в строй бросается какая-то женщина. Метнулась от страха.

— Ой, ратуйте, ратуйте!..

— Чего ты кричишь, что с тобой?

— Ой, ой, там на Совской... Детки мои... ой, ратуйте!..

— На какой Совской?

Несколько голосов вмешивается:

— Там, ваше благородие, там... Там Совская.

Они показывают руками куда-то в черноту, куда, по видимому, улица уходит в гору.

Баба продолжает кричать истерически: что там на Совской режут ее детей, но что она не пойдет все равно туда и молит о помощи.

— Ратуйте, кто в бога вируе!..

Вокруг взволнованная, — чувствую, как они перепуганы, — собирается толпа и жметя к моему взводу.

И вдруг я чувствую, что это паническое состояние передается солдатам. Истерический вопль женщины, эта чер-

ная темнота, психический ток этой перепуганной толпы — действует на них. А в особенности эта проклятая цифра: «десять тысяч». Эта шепчущаяся толпа только и говорит о десяти тысячах жидов, которые где-то засели, но сейчас вот-вот придут по этой черной улице, вон оттуда, с горки, с этой самой Совской, где уже режут детей этой голосящей бабы. А ведь нас только горсточка — взвод...

Я говорю солдатам несколько успокаивающих слов, они как будто приободрились, но все же я решаю пройти на эту дурацкую Совскую, чтобы выяснить...

Развернутым строем, от стенки до стенки, вернее, от палисадника до палисадника, мы поднимаемся вверх по этой чернеющей улице. Двигаемся вперед осторожно, потому что темно, как в погребу. Пройдя несколько, я вдруг угадываю впереди толпу.

Их не видно, но по приглушенному говору и шуму чувствуется человеческая масса, которая не то стоит, не то идет поперек улицы.

Я останавливаю взвод. Кричу в темноту:

— Кто идет? Что за люди?..

Говор вдруг замолкает. Наступает тишина, но ответа нет. Темная масса, которая уже чуть-чуть различается глазами, стоит неподвижно.

Повторяю вопрос.

— Да отвечайте же. Кто такие?

Ответа нет.

Кричу еще раз:

— Отвечайте, не то стрелять буду.

Ответа нет.

Я приказываю горнисту:

— Сигнал.

Замершую — черную, как демиевская грязь, — темноту вдруг прорезает желтый хрипло-резкий звук трубного сигнала: «Слушайте все»... Сигнал звучит зловеще, но вместе с тем внушительно, торжественно.

После его резкого четырехстонья опять наступает мертвая черная тишина. И тогда наконец из темноты раздается голос. Великолепный голос и на чистейшем киевско-демиевском диалекте. Но боже мой, что он говорит:

— Стрелять хатишь?.. Стреляй... Стреляй... Я с портретом государя моего на груди стою, а ты стрелять хатишь?.. А генерала знаешь... Я министру самому на тебя жалобу подам... Стреляй, стреляй...

Я не стал дожидаться продолжений.

— Взвод, вперед!

* * *

Они облепили нас, как пчелы матку.

— Господи, ваше благородие... Уж как мы боялись... Целый день говорят, что жида придут — десять тысяч.. Вот мы подумали: уже идут... А это вы... Господи, вот же не poznали...

— Чего же вы тут собрались все?

— А так, ваше благородие, порешили, что так же нельзя даваться... Вот собрались все вместе, чтобы друг другу помощь подать... Один до одного жметя... Все равно не спим... боимся...

В задних рядах ясно слышу тот самый голос, который читал мне только что ектенью* с «портретом моего государя на груди». Через несколько времени он попадает в орбиту моей руки. Я схватываю его за шиворот.

— Это ты на меня хотел министру жаловаться?..

— Я...

— А где же портрет?..

— А вот...

Действительно, держит в руках портрет из календаря

— Будешь жаловаться?..

— Да нет... Это я... так...

— То-то — так.

Кругом хохочут...

Я приказываю разойтись по домам, объясняю им, что все это вздор. Расходятся...

Приходит приказание от ротного командира: «Пришла смена, можно вести людей на отдых».

Идем по совершенно черным, но успокоившимся улицам. Единственный огонь в полицейском участке. Захожу на всякий случай.

Вижу того полковника, который тогда меня подарил презрительным взглядом за то, что я не мог ему сообщить ничего о голосеевском лесе. Я не удержался:

* От греч. ekteneia, букв, усердие — часть православного богослужения. В данном случае употребляется в переносном смысле. (Прим. ред)

— Разрешите спросить, господин полковник. Как в голосеевском лесу?

Он посмотрел на меня, понял и улыбнулся.

— Неприятель обнаружен не был...

* * *

Вот дом для отдыха. Во дворе нас встречает еврейская семья, которая не знает, как забежать и что сделать, чтобы нам угодить. Это понятно: наше присутствие обеспечивает им безопасность.

— Гаспадин солдат, вот сюда, сюда пожалуйте.

Они ведут моего унтер-офицера куда-то, и я слышу его голос, который бурчит из темноты:

— Вчера был «москаль паршивый», а сегодня «гашпадин солдат»... Эх, вы!..

* * *

Нам, офицерам, хозяева отвели свою спальню.

Устали мы сверхъестественно. Раздеваться нельзя, потому что бог знает что может случиться. Но надо же отдохнуть. Дразнят «великолепные постели» с красными атласными стегаными одеялами. Ротный говорит:

— Ну куда же мы тут ляжем?.. Вот с этикими сапожищами на такое одеяло...

Но хозяйка возмущается:

— Что вы, ваше благородие. Как же, вы устали! Ложитесь, отдыхайте себе на здоровечко. Ведь это же в ваше полное распоряжение...

* * *

Мы ложимся и отдыхаем среди «еврейских шелков». Так кончается для меня второй день «конституции»...

ТРЕТИЙ ДЕНЬ «КОНСТИТУЦИИ»

Уже давно мы так сидели вдвоем. Это было в один из послепогромных дней. Там же на Демиевке,— в одном из домов.

Я читал книгу, подобравшись ближе к печке. Изредка

похлебывал чай. А он сидел в углу на неудобном стуле, сгорбившись — неподвижно. Он внимательно смотрел вниз в другой угол — напротив. Я думал, что он следит за мышью, которая там шуршала обоями. Это был старик еврей, седой, худой, с длинной бородой. Мы не обращали друг на друга никакого внимания и сидели так, может быть, часа два. Печка приятно трещала, в окно понемножку входили голубоватые сумерки.

Караул помещался внизу. А мне отвели помещение здесь — в комнате, которая служила и столовой и гостиной в этой еврейской семье. Старик этот был хозяин.

Наш батальон в это время охранял Демиевку и каждые сутки выставлял караул. Мы помещались в разных домах, где придется. В противоположность дням допогромным, каждый еврейский дом добивался, чтобы караул поставили у него. Принимали всегда в высшей степени радушно, но я старался держаться «гаиде»*. В качестве войск мы обязаны были сохранять «нейтралитет» и, спасая евреев, держаться так, чтобы русское население не имело бы поводов выдумывать всякие гадости вроде: «Жида купили офицеров».

Поэтому я читал, не заговаривая с хозяином. Он молчал, этот старик, и о чем-то думал. И вдруг неожиданно разразился...

- Ваше благородие... сколько их может быть?
- Кого?
- Этих сволочей, этих мальчишек паршивых...
- Каких мальчишек?
- Таких, что бомбы бросают... Десять тысяч их есть? Я посмотрел на него с любопытством.
- Нет... конечно, нет...
- Ну, так что же!.. Так на что же министры смотрят... Отчего же их не вывешать всех!

Он тряс перед собой своими худыми руками. Мне показалось, что он искретен, этот старик.

— А отчего вы сами, евреи,— старшие, не удержите их? Ведь вы же знаете, сколько ваших там?

Он вскочил от этих слов.

— Ваше благородие! И что же мы можем сделать? Разве они хотят нас слушать? Ваше благородие! Вы знаете, это чистое несчастье. Приходят ко мне в дом... Кто? Маль-

чишки. Говорят: «Давай»... И я мушу* дать... Они говорят — «самооборона». И мы даем на самооборона. Так вы знаете, ваше благородие, что они сделали, эти сволочи на Демиевке? Эта «самооборона»? Бомбы так бросать они могут. Это они таки умеют, да... А когда пришел погром до нас, так что эта самооборона? Штрелили эти паршивые мальчишки, штрелили и убили... Они таки убили, а мы таки остались... Они стрелили, а нас бьют... Мальчишки паршивые! «Самооборона»!!!

— Все-таки надо удерживать вашу молодежь.

— Ваше благородие, как их можно удерживать!.. Я — старый еврей. Я себе хожу в синагогу. Я знаю свой закон... Я имею бога в сердце. А эти мальчишки! Он себе хватает бомбу, идет — убивает... На тебе — он тебе революцию делает... Ваше благородие... И вы поверьте мне, старому еврею: вы говорите — их нет десять тысяч. Так что же, в чем дело?! Всех их, сволочей паршивых, всех их, как собак, перевешивать надо. И больше ничего, ваше благородие.

С тех пор когда меня спрашивают: «Кого вы считаете наибольшим черносотенцем в России?» — я всегда вспоминаю этого еврея... И еще я иногда думаю: ах, если бы «мальчишки», еврейские и русские, вовремя послушались своих стариков — тех, по крайней мере, из них, кто имели или имеют «бога в сердце»!..

ПРЕДПОСЛЕДНИЕ ДНИ «КОНСТИТУЦИИ»

(3-е ноября 1916 года)

Было так тихо, как бывало в этом Таврическом дворце после бурного дня... Было тихо и полутемно. Самый воздух, казалось, отдыхал, стараясь забыть громкие волнующие слова, оглушительные рукоплескания, яркий нервующий свет — все, что тут было...

Я любил иногда по вечерам оставаться здесь совершенно один. Нервы успокаиваются... И так хорошо думается... Думается совсем по-иному... Можно посмотреть на себя со стороны... Так, как разглядывают из темноты освещенную комнату...

* прямо (фр.).

* вынужден (укр.)

* * *

Вот кресло... Удобное кожаное кресло.

Передо мною огромный зал... Длинный ряд массивных белых колонн... Нет, они сейчас не белые... Полуосвященные, они сейчас загадочного цвета — оттенка неизвестности. О чем они думают... Они видели Екатерину, теперь созерцают «его величество, желтый блок»⁶... Что они еще увидят?..

* * *

Сегодня я сказал речь... Ах, эти речи.

— Вы так свободно говорите... Вам, вероятно, это никакого труда не составляет.

Знали бы они, что это такое... Чего стоят эти полчаса, проведенные на «Голгофе», на этой «высокой кафедре», как неизменно ее называют наши батюшки?.. Какое неумолимое напряжение мысли, воли, нервов...

Я как-то был в бою,— страшно? Нет... Страшно говорить в Государственной думе... Почему? Не знаю... Может быть, потому, что слушает вся Россия.

Впрочем, находятся утешители:

— Зато вам очень хорошо платят... Вы говорите раза три-четыре в год... И получаете четыре тысячи рублей... Тысячу — за выход. Это почти шаляпинский гонорар.

* * *

Кстати, сегодня Шаляпин был на хорах. Кого только не было. Сегодня «большой думский день». А это все равно, что премьеры в Мариинском. Маклаков⁷ нас познакомил.

Шаляпин сделал мне комплимент по поводу моей речи:

— Так редко удается услышать чистую русскую речь.

Это замечание в высшей степени мне польстило. Для нас, «киевлян», «чистая русская речь» наше слабое место...

Мы говорим плохо, с южным акцентом... И вдруг...

* * *

Это пустяки... Но каким образом я, природный киевлянин, а значит, чистой воды черносотенец, дошел до нижеследующего: мне только что сообщили, что моя речь не пойдется в провинции, так как не пропущена цензурой...

Что это значит? Это значит, что через несколько дней ее будут стучать на машинках барышни всей российской державы и в рукописном виде распространять как «нелегальщину»... Я — «и подпольная литература». Нечто чудовищное... Каким образом это произошло!..

* * *

Эти белые колонны, вероятно, не заметили меня, когда, десять лет тому назад, робким провинциалом я пробирался сквозь злобные кулуары II Государственной думы, — «Думы народного гнева»⁸. Пробирался для того, чтобы с всероссийской кафедры, украшенной двуглавым орлом, высказать слова истинно киевского презрения к их «гневу» и к их «народу»... Народу, который во время войны предал свою родину, который шептал гнусные змеиные слова: «Чем хуже, тем лучше», который ради «свободы» жаждал разгрома своей армии, ради «равноправия» — гибели своих эскадр, ради «земли и воли» — унижения и поражения своего отечества... Мы ненавидели такой народ и смеялись над его презренным гневом... Не свободы «они» были достойны, а залпов и казней...

* * *

Залпы и казни и привели их в чувство... И белые колонны Таврического дворца увидели III Государственную думу — эпоху Столыпина⁹... Эпоху реформ¹⁰... *quand me —** — эпоху под лозунгом: «Все для народа — вопреки народу»... Мы, провинциалы, твердо стали вокруг Столыпина и дали ему возможность вбивать в крепкие мужицкие головы сознание, что земли «через волю» они не получают, что грабить землю нельзя — глупо и грешно, что земельный коммунизм непременно приведет к голоду и нищете, что спасение России в собственном, честно полученном куске земли — в «отрубках», в «хуторах», как тогда говорили, и, наконец, что «волю» народ получит только «через землю», т. е. не прежде, чем он научится ее, землю, чтить, любить и добросовестно обрабатывать, ибо только тогда из вечного Стеньки Разина он станет гражданином...

И сколько раз эти белые колонны видели нас, спешащих туда, в этот зал, чтобы там, — с трибуны, неизменно державшей двуглавого орла, — «глаголом жечь сердца лю-

* все-таки, тем не менее (*фр.*)

дей», людей, гораздо более крепкоголовых, чем саратовские мужики, людей, хотя и высокообразованных, но тупо не понимавших величия совершавшегося на их глазах и не ценивших самоотверженного подвига Столыпина”...

* * *

Столыпин заплатил жизнью за то, что он раздавил революцию, и, главным образом, за то, что он указал путь для эволюции. Нашел выход, объяснил, что надо делать... Выстрел из револьвера в Киеве — увы, нашем Киеве, всегда бывшем его лучшей опорой,— закончил столыпинскую эпоху... Печерская лавра приняла пробитые пулей Богрова тела, а новый председатель Совета министров взял на себя тяжесть правления...

И скоро мне пришлось сказать:

— Будет беда. Россия безнадежно отстает. Рядом с нами страны высокой культуры, высокого напряжения воли. Нельзя жить в таком неравенстве. Такое соседство опасно. Надо употребить какие-то большие усилия. Необходим размах, изобретательность, творческий талант. Нам надо изобретателя в государственном деле... нам надо «социального Эдиссона»...

И колонны слышали ответ:

— От меня требуют, чтобы я был каким-то государственным Эдиссоном... Очень был бы рад... Но чем я виноват, что я не Эдиссон¹², а только Владимир Николаевич Ковцев¹³.

* * *

Конечно, В. Н. не был виноват. Как не был виноват весь класс, до сих пор поставлявший властителей, что он их больше не поставляет... Был класс, да съездился...

* * *

Меж тем перед Россией вставали огромные трудности. Германия искала выхода для своего населения, нарастающего, как прилив, и для своей энергии, усиливающейся, как буря. Естественно, что глаза немцев жадно устремлялись в ленивую пустоту Востока.

Как?! Эти ничтожные русские получают 35 пудов зерна с десятины?.. Это просто стыдно. О, мы научим их, как

обращаться с такой драгоценностью, как русский чернозем! К тому же, если мы объявим им войну, у них сейчас же будет революция. Ведь их культурный класс может только петь, танцевать, писать стихи... и бросать бомбы.

И над Германией неумолчно звучал воинствующий крик — «Drang nach Osten»* — и раздавались глухие удары молота Круппа¹⁴...

* * *

И произошло то, что должно было произойти: немецкие профессора¹⁵ бросили германскую армию на Россию...

* * *

Тут случилось чудо... Та самая русская интеллигенция, которая во время японской войны насквозь пропиталась лозунгом «Чем хуже, тем лучше» и только в поражении родины видела возможность осуществления своих снов «о свободе»,— вдруг словно переродилась.

* * *

И белые колонны увидели, как 26 июля 1914 года на кафедру в этот день, горделиво подпираемую двуглавым орлом, один за другим всходили представители еще недавно пораженческих групп и в патетических словах обещали всеми силами поддержать русскую государственную власть в ее борьбе с Германией...

* * *

Успех не долго сопутствовал нашему оружию. Не хватало снарядов, и разразилось грозное отступление в 1915 году¹⁷. Я был на фронте и видел все... Неравную борьбу безоружных русских против «ураганного» огня немцев... И когда снова была создана Государственная дума, я принес с собой, как и многие другие, горечь бесконечных дорог отступления и закипающее негодование армии против тыла.

* Путь на Восток (нем.).

* * *

Я приехал в Петроград, уже не чувствуя себя представителем одной из южных провинций. Я чувствовал себя представителем армии, которая умирала так безропотно, так задаром, и в ушах у меня звучало:

— Пришлите нам снарядов!

* * *

Как это сделать?

Мне казалось ясным одно: нужно прежде всего и во что бы то ни стало сохранить патриотическое настроение интеллигенции. Нужно сохранить «волю к победе», готовность к дальнейшим жертвам. Если интеллигенция под влиянием неудач обратится на путь 1905 года, т. е. вновь усвоит психологию пораженчества,— дело пропало... Мы не только не подадим снарядов, но будет кое-что похуже, будет революция.

И я, едва приехав, позвонил к Милюкову¹⁸.

* * *

Милюков меня сразу не узнал: я был в военной форме. Впрочем, и вправду, я стал какой-то другой. Война ведь все переворачивает.

С Милюковым мы были ни в каких личных отношениях. Между нами лежала долголетняя политическая вражда. Но ведь 26 июля как бы все стерло... «все для войны»...

Но все же он был несколько ошеломлен моей фразой:

— Павел Николаевич... Я пришел вас спросить напрямик: мы — друзья?

Он ответил не сразу, но все же ответил:

— Да... кажется... Я думаю... что мы — друзья.

* * *

Из дальнейшего разговора выяснилось, что кадеты не собираются менять курса, что они по-прежнему будут стоять за войну «до победного конца», но...

— Но подъем прошел... Неудачи сделали свое дело... В особенности повлияла причина отступления... И против власти... неумелой... не поднявшейся на высоту задачи... сильнейшее раздражение...

— Вы считаете дело серьезным?

— Считаю положение серьезным... и прежде всего надо дать выход этому раздражению... От Думы ждут, что она заклемит виновников национальной катастрофы... И если не открыть этого клапана в Государственной думе, раздражение вырвется другими путями... Дума должна резко оценить те ошибки, а может быть, преступления, благодаря которым мы отдали не только завоеванную потоками крови Галицию, но и кто знает, что еще отдадим... Польшу.

— Я еще не говорил со своими... Но весьма возможно, что в этом вопросе мы будем единомышленниками... Мы, приехавшие с фронта, не намерены щадить правительство... Слишком много ужасов мы видели... Но это одна сторона, — так сказать, необходим «суровый окрик»... Но ведь нельзя угашать духа, надо дать нечто положительное... как-то оживить мечту первых дней...

— Да... Чтобы оживить мечту, чтобы поднять дух, надо дать уверенность, что все эти жертвы, уже принесенные, и все будущие не пропадут даром... Это надо сделать двумя путями.

— Именно?

— С одной стороны, надо, чтобы те люди, которых страна считает виновниками, ушли... Надо, чтобы они были заменены другими, достойными, способными,— людьми, которые пользуются общественным весом, пользуются, как это сказать, ну, общественным доверием, что ли...

— Вы хотите ответственного министерства?

— Нет... Я бы затруднился формулировать эти требования выражением «ответственное министерство»... Пожалуй, для этого мы еще не готовы. Но нечто вроде этого... Не может же в самом деле совершенно крамольный Горемыкин¹⁹ быть главою правительства во время мировой войны... Не может, потому что он органически, и по старости своей и по заскорузлости, не может стать в уровень с необходимыми требованиями... Западные демократы выдвинули цвет нации на министерские посты!..

— А второе?

— Второе вот что. Чтобы поднять дух, как вы сказали, оживить мечту, надо дать возможность мечтать... Я хочу сказать, что в исходе войны, в случае нашей победы, мечтают о перемене курса... ждут другой политики... ждут свободы...

— В награду за жертвы.

— Не в награду, а как естественное следствие победы. Если Россия победит, то, очевидно, не правительство. Побе-

дит вся нация. А если нация умеет побеждать, то как можно отказать ей в праве свободно дышать?.. Свободно думать, свободно управляться... Поэтому необходимо, чтобы власть доказала, что она, обращаясь к нации за жертвами, в свою очередь готова жертвовать частью своей власти... и своих предрассудков.

— Какие же доказательства?

— Доказательства должны заключаться в известных шагах... Конечно, война не время для коренных реформ, но кое-что можно сделать и теперь... Должно быть как бы вступление на путь свободы... Будем ли мы и в этом согласны?..

Теперь уже я ответил не сразу. Но все же ответил:

— Лично я думаю, как Алексей Толстой²⁰: «Есть мужик и мужик. Коль мужик не пропьет урожаю, я того мужика уважаю».

— Что это значит?

— Это значит: насколько народ 1905 г., усвоивший пораженческую психологию, с моей точки зрения, не заслуживал ничего, кроме репрессий, настолько Россия 1915 года, о которой можно сказать словами того же Толстого — «иже кровь в непрестанных боях за тя, аки воду, лях и лях», — заслуживает вступления на путь свободы.

* * *

Этот разговор мог бы служить прологом к тому, что впоследствии получило название Прогрессивный блок, который его враги прозвали «желтый блок»...

* * *

Шесть фракций (кадеты, прогрессисты, левые октябристы, октябристы-земцы, центр и националисты-прогрессисты) Государственной думы²¹ и часть Государственного совета объединились на весьма скромных «реформах», которые могли бы рассматриваться как «вступление на путь»...

Этими словами и был выражен в «великой хартии блока»²² (письменное соглашение фракций) абзац, имевший серьезное политическое значение:

«Вступление на путь отмены ограничительных в отношении евреев законов»...

* * *

Однако этот пункт, даже в таком виде, был тяжел для правого крыла блока. И сколько раз эти белые колонны видели наши лица, сугубо озабоченные из-за «еврейского вопроса»...

Мы понимали, что кадеты не могут не сказать что-нибудь на эту тему. Мы даже ценили это «вступление на путь», которое звучало так мягко... С другой стороны, и по существу нельзя было не видеть разницу в теперешнем поведении руководящего еврейства сравнительно с 1905 годом.

Тогда они поставили свою ставку на пораженчество и революцию... И проиграли. Результатом этой политики были погромы и обновленная суровость административной практики. Теперь же руководящее еврейство поставило ставку на «патриотизм»... Вся русская печать (а ведь она на три четверти была еврейская) требовала войны «до победного конца»... Этого нельзя было не заметить и на это следовало ответить обнадеживающим жестом.

Но, боже мой, как это было трудно. На фронте развивалась сумасшедшая «шпиономания», от которой мутились головы и в Государственной думе. Люди не понимали, что «фронтные жида» не перестанут шпионить, если крепче поприжать «тыловых». Не понимали и того, что эти тыловые держат в своих руках грозное оружие — прессу, которой в момент напряжения всех сил государства меньше всего можно пренебрегать.

* * *

Остальное в «великой хартии блока» было просто безобидным: «уравнение крестьян в правах» — вопрос, предрешенный еще Столыпиным; «пересмотр земского положения» — тоже давно назревший за «оскудением» дворянства; вполне вегетарианское «волостное земство»; прекращение репрессий против «малороссийской печати», которую никто не преследовал; «автономия Польши» — нечто совершенно уже академическое в то время ввиду того, что Польшу заняла Германия... Вот и все. Но было еще нечто, из-за чего все и пошло...

* * *

Это нечто заключалось в требовании, чтобы к власти были призваны люди, «облеченные общественным довери-

ем». На этом все и разыгралось... Все «реформы» Прогрессивного блока в сущности для мирного времени... Кого интересует сейчас «волостное земство»? Все это пустяки. Единственное, что важно: кто будет правительством?

* * *

Вскоре после образования Прогрессивного блока была попытка сговориться.

В один неудачный вечер мы, блокисты, сидели за одним столом с правительством...

Ничего не вышло. Правда, несколько министров явственно были с нами: они склонны были уступить.

Что, собственно, уступить?

Дело ясно: надо позвать кадет и предоставить им сформировать кабинет. Собственно говоря, почему этого не сделать? В 1905 году кадеты были поражены и шли по одной дороге с террористами, — тогда их позвать нельзя было. Но раз они теперь — патриоты, то пусть бы составили кабинет. Боятся, что они будут слишком либеральны? Пустяки: on a vu des radicaux ministres, on n'a jamais vu des ministres radicaux*...

Сего не поняли, кадетов отвергли, и вот уже больше года тянется «это»... И бог один знает, к чему приведет...

* * *

Да, год с лишним...

Что сделано за это время?

Присылали ли мы им снарядов, по крайней мере?..

* * *

Зала в Мариинском дворце. Она вся темно-красная. До полу бархатом укрыты столы, — красиво выгнутые подковой... Красный бархат и на удобных креслах... Мягкие ковры, совершенно глушащие шаги, тоже красные.

Посередине стола сидит военный министр²³. Он выделяется серебром погон среди черных «сюртучных» крыльев. Справа от него седой и желтый председатель Государственного совета, слева председатель Государственной думы — огромный Родзянко. Рядом с председателем Госу-

* известны радикалы-министры, однако никогда не видели министров-радикалов... (фр.)

дарственного совета — члены этого же совета — числом девять: Тимашев²⁵, Стишинский²⁶, Стахович²⁷, Шебеко²⁸, Гурко²⁹, граф Толь³⁰, Иванов³¹ и еще кто-то. Рядом с председателем Государственной думы — члены этой же Думы — также числом девять: Дмитриуков³², Марков 2-ой³³, Шингарев³⁴, Милуков, Чихачев³⁵, Львов³⁶, Крупенский³⁷, я, еще кто-то...

Против председателя — представители всевозможных ведомств. Среди них несколько генералов и самый замечательный — Маниковский³⁸, начальник главного артиллерийского управления.

Заседания сильно дисциплинированы, почти торжественны. Говорят негромко и обыкновенно немного. Иногда бывает так тихо, что слышно, как великолепная хрустальная люстра чуть звенит своими искрящимися привесками. Идеальной важности лакеи разносят кофе в приятных чашках.

Что это такое?

Это — Особое совещание по государственной обороне³⁹. В 1915 г., под давлением Государственной думы, были образованы эти так называемые Особые совещания. Их было четыре: «Особое совещание по государственной обороне» (председатель — военный министр); «Особое совещание по транспорту» (председатель — министр путей сообщения); «Особое совещание по топливу» (председатель — министр торговли и промышленности); «Особое совещание по продовольствию» (председатель — министр земледелия).

Эти Особые совещания сделаны, если так можно выразиться, вроде как кузня... Кузнец — министр всего министерства. А роль тех, кто работает мехом, т. е. роль «раздувальщиков», исполняем мы, члены законодательных палат.

Военный министр докладывает...

— В последнее время в Ставке шли подсчеты количества снарядов, необходимого для всего фронта. В настоящее время эти подсчеты закончены. Письмом на мое имя начальник штаба Ставки просит Особое совещание по государственной обороне довести производство снарядов до 50 «парков» в месяц.

Среди членов Совещания происходит движение. Это ведь самый важный вопрос. Сейчас решится масштаб дела, а, следовательно, и масштаб войны, 50 «парков», если считать на «полевые парки», которые включают в себе 30 000 снарядов, — это выходит полтора миллиона в месяц. Это много. Но достаточно ли?..

Курчава голова «медного всадника» (как в насмешку называют Маркова второго за его сходство с Петром Великим) приходит в движение. Он просит слова.

— Относясь со всем уважением к произведенным в Ставке Верховного Главнокомандующего подсчетам, я тем не менее должен заявить, — не в обиду будь им сказано, — что настоящая война совершенно доказала нижеследующее. Со всякими вообще «подсчетами»⁴⁰ специалистов» нужно поступать так, как поступил восточный мудрец со своей женой: нужно выслушать эти подсчеты... и поступить «наоборот». Я убежден, что к тому времени, когда мы сможем довести наше производство до 50 «парков», мы получим новое заявление, в котором будет сказано, что «в силу изменившихся условий техники» все прежние подсчеты оказались недостаточными и требуется увеличить норму вдвое. Я предлагаю не дожидаться этого неизбежного заявления, а сразу, теперь же увеличить расчет Ставки вдвое и поручить Главному артиллерийскому управлению довести производство снарядов не до 50 «парков», а до 100 «парков» в месяц.

Это заявление вызвало продолжительный обмен мнений. Часть членов Государственного совета, привыкших к старой бюрократической дисциплине, находила совершенно невозможным в чем-либо изменять предложения Ставки Верховного Главнокомандующего. Но на сторону Маркова весьма энергично стал монументальный Михаил Владимирович Родзянко, самой природой предназначенный для сокрушения министерских джунглей. Родзянко несет свой авторитет председателя Государственной думы с неподражаемым весом. Это его — достоинство и недостаток. «Цукать» министров с некоторого времени сделалось его потребностью. Впрочем, правду сказать, и было за что разниться, принимая во внимание, сколько народу уложили и сколько губерний отдали. Маркова поддержал и пламенный Шингарев, который и на этот раз тронул всех почти до слез. Шингарев очень переменялся за время войны. Я помню, как раньше, когда он говорил с кафедры, у него иногда бывали такие злые глаза... Теперь эти «злые глаза» так часто подергиваются подозрительной влагой... И становятся удивительными, когда он говорит о России... Остальные члены Государственной думы — и Николай Николаевич Львов, с бесконечно доброй улыбкой и глазами фанатика, и Милюков, истинно русский кадет, по какой-то игре природы имеющий некоторое обличье немецкого генерала, и Дмитрий Ни-

колаевич Чихачев, такой высокомерный на вид, что про него его друзья говорили, будто у него не хватает одного шейного позвонка, а на самом деле только обостренно порядочный человек, и другие — все поддерживали «100 парков». К нам присоединились и некоторые члены Государственного совета... Великолепный Михаил Стахович, изящный Щебе-ко, умный и злой Гурко, Александр Семенович Стишинский, несмотря на многодесятилетнюю добросовестную службу бюрократическому режиму, более других проявлявший понимание новых условий, в которые бросила Россию мировая война, и др....

Наконец, председатель артиллерийской комиссии, бывший министр торговли и промышленности, Тимашев, сказал:

— Все это очень хорошо, но мало желать и мало постанавлять. Надо, чтобы это постановление вообще могло быть выполнено... Я просил бы, чтобы начальник Главного артиллерийского управления, которого это ближе всех касается, высказал наконец свое мнение: возможно ли довести производство снарядов до 100 «парков» в месяц.

Генерал Алексей Алексеевич Маниковский был талантливый человек. Что он делал со своим «Главным артиллерийским управлением», я хорошо не знаю, но в его руках казенные заводы, да и частные (например, мы отобрали у владельцев огромный Путиловский завод и отдали его в лен Маниковскому) — делают чудеса. У него запорожская голова, соединение смелости и хитрости. Говорит громким, но чуть хриплым голосом, говорит великолепно, хотя представляется, что он солдат и говорить не умеет. Он встал и попросил военного министра:

— Разрешите доложить.

Генерал Поливанов, военный министр, человек умный, вдумчивый и большой дипломат. Когда он говорит, он всегда ежится плечами и нервно поводит головой — это «тики» — верный признак угасания индивидуума или рода.

Он разрешил Маниковскому говорить.

— Господа члены Особого совещания... Я — солдат, — много говорить не умею. Вы уж меня простите. Дело обстоит так... Невозможного на свете нет. Вы хотите 100 «парков» в месяц... Трудно... Очень трудно, но на то и война, чтобы преодолевать трудности. Ваше дело приказывать... Мое дело исполнить... Прикажете 100 парков — будет 100 парков...

«Мы приказали»...

* * *

Однако Марков ошибся... Но только в другую сторону. Когда мы довели производство до 100 парков — вместо потребованных Ставкой 50,— тогда получилось новое предписание: довести производство не до 100, а до 150 парков. Конечно, «L'appetit vient en mangeant*»...

Но мы доведем и до 150 и почти уже довели. Но только потому, что тогда имели смелость «свое суждение иметь». Имели же мы эту смелость потому, что Особое совещание состояло из генералов, окруженных самыми влиятельными членами законодательных палат, для которых, как известно, закон не писан...

Вообще, размах у нас есть. Например, мы дали заказ на 40 000 000 сапог. Еще «немножко», и мы осуществим социалистический идеал, по крайней мере, в отношении ног: вся нация будет одеваться, обуваться государством... по приказам Особого совещания по государственной обороне.

* * *

С этой стороны наша совесть чиста. Мы сделали все, что возможно... Свою обязанность «раздувальщиков священного огня» военного творчества исполняли не за страх, а за совесть.

Но вот другая сторона... Бывают минуты, когда я начинаю сомневаться... В другом отношении, где мы условились быть не раздувальщиками огня, а как раз наоборот — гасителями пожара,— исполняем ли мы свое намерение? Тушим ли мы революцию?..

* * *

Правда, больше года уже прошло. Революция до сих пор еще не разыгралась. Раздражение России, вызванное страшным отступлением 1915 года, действительно удалось направить в одушину, именуемую Государственной думой. Удалось перевести накупавшую революционную энергию и слова в пламенные речи и в искусные звонко-звонящие «переходы к очередным делам». Удалось подменить «революцию», т. е. кровь и разрушение, «революцией», т. е. словесным выговором правительству...

* Appetit приходит во время еды (лат.)

Удавалось и другое: удавалось на базе этих публичных «строгих выговоров» сохранить единство с ним, с правительством, в самом важном — в отношении войны. Удавалось все время твердо держать над куполом Таврического дворца яркий плакат — «все для войны»... Сколько бы «медный всадник» ни называл Прогрессивный блок — «желтым блоком» — это неправда, потому что блок трехцветный: он бело-сине-красный, он национальный, он русский!

Но...

Но не начинает ли красная полоса этой трехцветной эмблемы расширяться не «по чину» и заливать остальные цвета?

В минуту сомнений мне иногда начинает казаться, что из пожарных, задавшихся целью тушить революцию, мы невольно становимся ее поджигателями.

Мы слишком красноречивы... мы слишком талантливы в наших словесных упражнениях. Нам слишком верят, что правительство никуда не годно...

* * *

Ах, боже мой... Да ведь ужас и состоит в том, что это действительно так: оно действительно никуда не годно.

В техническом отношении еще куда ни шло. Конечно, нам далеко до Англии и Франции. Благодаря нашей отсталости огромная русская армия держит против себя гораздо меньше сил противника, чем это полагалось бы ей по численной разверстке. Нам недавно докладывали в Особом совещании, что во Франции на двух бойцов приходится один солдат в тылу. А у нас наоборот, на одного бойца приходится два солдата в тылу, т. е. вчетверо более. Благодаря этому число бойцов, выставленных Россией с населением в 170 000 000, немногим превышает число бойцов Франции с 40 000 000 населения. Это не мешает нам нести жесточайшие потери. По исчислению немцев, Россия по сегодняшний день потеряла 8 миллионов убитыми, ранеными и пленными. Этой ценой мы вывели из строя 4 миллиона противника.

Этот ужасный счет, по которому каждый выведенный из строя противник обходится в два русских, показывает, как щедро расходуется русское пушечное мясо. Один этот счет — приговор правительству. Приговор в настоящем и прошлом. Приговор над всем... Всему правящему и неправящему классу, всей интеллигенции, которая жила бес-

печно, не обращая внимания на то, как безнадежно, в смысле материальной культуры, Россия отстает от соседей...

То, что мы умели только «петь, танцевать, писать стихи и бросать бомбы», теперь окупается миллионами русских жизней — лишних русских жизней...

Мы не хотели и не могли быть эдиссонами, мы презирали материальную культуру. Гораздо веселее было создавать «мировую» литературу, трансцендентальный балет и анархические теории. Но зато теперь пришла расплата.

Ты все пела...
Так поди же — попляши...

И вот мы пляшем... «последнее танго»... на гребне окопов, забитых трупами...

* * *

По счастью, «страна» не знает этого ужасного баланса смерти: два русских за одного немца, и поэтому эта самая тяжкая вина исторической России пока не ставится правительству на вид... Те, кто знает баланс, молчат. Ибо здесь пришлось бы коснуться и армии. А армия пока забронирована от нападков.

Об ошибках Ставки и бездарности иных генералов «политические вожди» молчат.

* * *

Но, может быть, так следовало поступить и относительно правительства? Закрыть глаза на все — лишь бы оно довело войну до конца...

Если так и следовало поступить, то это было невозможно. Когда мы съехались в 1915 году в Петроград, выбора не было. Все были так накалены, что «заклеймить виновников национальной катастрофы» было необходимо Государственной думе, если она желала, чтобы ее призыв — новых жертв и нового подъема — был воспринят армией и страной. Между Думой и армией как бы сделалось немое соглашение:

Дума. Мы «их» ругаем, а вы уже не ругайтесь, а деритесь с немцами...

Армия. Мы и будем драться, если вы «их» как следует «нащукаете»...

* * *

И вот мы «щукаем».

Не довольно ли?

Беда в том, что никак остановиться нельзя.

Военные неудачи, напряжение, которое становится не под силу, утомление масс, явственно переходящее в отказ воевать, — все это требует особо искусной внутренней политики.

А внутренняя политика?..

Зачем это делается — одному богу известно...

Нельзя же в самом деле требовать от страны бесконечных жертв и в то же время ни на грош с ней не считаться... Можно не считаться, когда побеждаешь: победителей не судят... Но «побеждаемых» судят, и судят не только строго, а в высшей степени несправедливо, ибо сказано: «*Vae victis!*»*

Надо признать этот несправедливый закон — «горе побежденным», надо признать неизбежность этой несправедливости и сообразно с этой неизбежностью поступать. Надо поступать так, чтобы откупиться не только от суда праведного, но и от несправедливого. Надо дать взятку тем, кто обличает... Ибо они имеют власть обличать, так как на каждого обличающего — миллионы жадно слушающих, миллионы думающих так же, нет, не так же, а гораздо хуже. Да, их миллионы, потому что военные неудачи принадлежат к тем фактам, которые не нуждаются в пропаганде... «Добрая слава за печкой лежит, а худая по миру бежит»... За поражения надо платить.

Чем?..

Той валютой, которая принимается в уплату: надо расплачиваться уступкой власти... хотя бы кажущейся, хотя бы временной...

* * *

Интеллигенция кричит устами Думы:

— Вы нас губите... Вы проигрываете войну... Ваши министры — или бездарности, или изменники... Страна вам не верит... Армия вам не верит... пустите нас... Мы попробуем...

Допустим, что все это неправда, за исключением одного: немцы нас бьют — этого ведь нельзя отрицать... А если так,

* Горе побежденным! (*лат.*)

то этого совершенно достаточно, чтобы дать России вразумительный ответ...

* * *

Можно поступить разное:

1) Позвать Прогрессивный блок, т. е., другими словами, кадет, и предоставить им составить кабинет: попробуйте, управляйте.

Что из этого вышло бы — бог его знает. Разумеется, кадеты чуда бы не сделали, но, вероятно, они все же выиграли бы время. Пока разобрались бы в том, что кадеты не чудотворцы, прошло бы несколько месяцев, — а там весна и наступление, которое все равно решит дело: при удаче выплывем, при неудаче все равно потонем.

2) Если же не уступать власти, то надо найти Столыпина второго... Надо найти человека, который блеснул бы перед страной умом и волей... Надо сказать второе «не запугаете», эффектно разогнать Думу и править самим, — не на словах, а на самом деле — самодержавно...

3) Если кадет не призывать, Столыпина второго не находить, остается одно: кончать войну.

Вне этих трех комбинаций нет пути, т. е. разумного пути. Что же делают вместо этого?

Кадет не зовут, Думы не гонят. Столыпина не ищут. Мира не заключают, а делают — что?..

Назначают «заместо Столыпина» — Штюмерера⁴¹, о котором Петербург выражается так:

— Абсолютно беспринципный человек и полное ничтожество...

За внешность его называют «святочным дедом»... Но этот «дед» не только не «принесет» порядка России, а «унесет» последний престиж власти...

К тому же этот «святочный дед» с немецкой фамилией...

* * *

Разумеется, шпиономания — это отвратительная и неизменно глупая зараза. Я лично не верю ни в какие «измены», а «борьбу с немецким засильем» считаю дурацко-опасным занятием. Я пробовал бороться с этим и даже в печати указал, что, «поджигая бикфордов шнур, надо помнить, что у тебя на другом конце»... Я хотел этим сказать, что нельзя всякого немца в России считать шпионом только

потому, что он немец, памятуя о принцессе Алисе Гессенской, которая у нас государыней... Меня прекрасно поняли и тем не менее изругали с «Новым временем»⁴² во главе.

Все это так, но все же нельзя с этим не считаться, когда все помешались на этом, когда последние неудачи на фронте приписывают тому, что некоторые генералы носят немецкие фамилии. Это нестерпимо глупо, но ведь все революции во все века двигались какими-нибудь круглодиотскими соображениями.

* * *

Измена...

Это ужасное слово бродит в армии и в тылу... Началось это еще с Мясоедова⁴³ в 1914 году, а теперь кого только не обвиняют? Вплоть до самых верхов бежит это слово, и рышут даже вокруг Двора добровольные ищейки. Как будто недостаточно зла причинено России бессознательно чтобы обвинять еще кого-то в измене...

И это, положительно, как зараза. Люди, которые, казалось, могли бы соображать, и те шалают...

На этой почве едва не треснул блок... Во всяком случае, издал неприятный скрип...

* * *

Это было несколько дней тому назад... Мы готовили «переход к очередным делам» по случаю нового созыва Государственной думы. Это вошло уже в обычай. В обычай вошло и то, что переходы эти заключают три части: привет союзникам, призыв к армии — твердо продолжать войну, резкая критика правительства...

Как всегда, мы собрались в комнате № 11. Пасмурное петербургское утро с электричеством. Над бархатными зелеными столами уютно горят лампы под темными абажурами...

Милюков, Шингарев, Шидловский⁴⁴, Капнист второй⁴⁵, Скоропадский⁴⁶, Львов второй⁴⁷, Половцев второй⁴⁸, я.

Председательствовал Шидловский.

Был прочитан проект перехода. В нем было роковое слово:

Правительство обвинялось в «измене»...

Резко обозначалось два мнения...

Мнение № 1. Обращаю внимание на слово «измена»...

Это страшное оружие. Включением его в резолюцию Дума нанесет смертельный удар правительству. Конечно, если измена действительно есть, нет такой резкой резолюции, которая могла бы достаточно выразить наше к такому факту отношение. Но для этого нужно быть убежденным в наличии измены. Все то, что болтают по этому поводу, в конце концов, только болтовня. Если у кого есть факты, то я попрошу их огласить. На такие обвинения идти с закрытыми глазами мы не можем.

Мнение № 2. Надо ясно дать себе отчет, что мы вступаем в новую полосу... Власть не послушалась наших предостережений. Она продолжает вести свою безумную политику... Политику раздражения всей страны... страны, от которой продолжают требовать неслыханных жертв... Мало того: назначением Штюмера власть бросила новый вызов России... Эта политика, в связи с неудачами на фронте, заставляет предполагать самое худшее... Если это не предательство, то что же это такое? Как назвать это сведение на нет всех усилий армии путем систематического разрушения того, что важнее пушек и снарядов — разрушения духа, разрушения воли к победе?.. Если это не предательство, то это, во всяком случае, цепь таких действий, что истинные предатели не выдумали бы ничего лучше, чтобы помочь немцам...

Мнение № 1. Все это так, но все же это не измена. Если этими соображениями исчерпываются доводы в пользу включения этого слова в нашу резолюцию, то для меня ясно: измены нет, а, следовательно, нужно тщательно избегать этого слова.

Мнение № 2. Это слово повторяет вся страна. Если мы откажемся от него, мы не скажем того, что нужно, того, что от нас ждут... Но это будет политикой страуса: если этого слова не скажет Государственная дума, то оно все же не перестанет повторяться всюду и везде, в армии и в тылу... Но если в чрезмерной добросовестности мы спрячем голову под крыло и промолчим, то прибавится еще другое: скажут — Дума испугалась, Дума не посмела сказать правду, Дума покрыла измену, Дума сама изменила... Мы ничего не переменим в настроении масс, но только вдобавок к разрушению всех креп государства похороним еще и себя... Рухнет последний авторитет, которому еще верят... Рухнет доверие к Государственной думе. Когда это случится, а это непременно случится, если мы хотя бы в смягченном виде не выскажем того, чем кипит вся Россия,—

тогда это настроение и рассуждение найдут себе другой выход... Тогда оно выйдет на улицу, на площадь... Мы должны это сказать, если бы и не хотели... Мы должны понимать, что мы сейчас в положении человеческой цепочки, которая сдерживает толпу... Да,— мы сдерживаем ее, но все имеет свой предел... Не наша вина, что это невыносимое положение продолжается так долго. Толпа нас толкает в спину... Нас толкают, и мы должны двигаться, хотя и упираясь, сколько хватает наших сил, но все же должны двигаться... Если мы перестанем двигаться, нас сомнут, прорвут, и толпа ринется на тот предмет, который мы все же охраняем,— охраняем, бичуя, порицая, упрекая, но все же охраняем... Этот предмет — власть... Не носители власти, а сама власть... Пока мы говорим, ее ненавидят, но не трогают... Когда мы замолчим, на нее бросятся.

Мнение № 1. Наши мнения совершенно определенные: нельзя обвинять кого бы то ни было в измене, не имея на это фактов. Никакие убеждения, хотя бы самые красноречивые, нас с этого не собьют. К тому же на все эти доводы можно привести контрдоводы, не менее убедительные. Например, что касается авторитета Государственной думы, то мы потеряем его именно тогда, когда позволим себе обвинять людей в предательстве, не имея на это данных. Авторитет, основанный на лжи, на обмане или даже на легкомысленной терминологии, не долго продержится. Мы на это не пойдем. Играть в эту игру мы согласны только при одном условии — карты на стол. Сообщите нам «факты измены» или вычеркните это слово.

Мнение № 2. В нашем распоряжении факты есть, но мы не можем сейчас ими поделиться по слишком веским соображениями.

Мнение № 1. В таком случае мы остаемся при своем убеждении.

* * *

Мы разошлись завтракать при зловещем скрипе блока. Но за завтраком разговор продолжался.

Мнение № 1. Если вы хотите повторить приемы 1905 года, то мы на это не пойдем.

Мнение № 2. Что вы называете приемами 1905 года?

Мнение № 1. А когда вы приписывали правительству устройство еврейских погромов, хотя вы отлично знали, что погромы — стихийны и существуют столько же времени,

сколько существуют евреи и что никогда русское правительство еврейских погромов не устраивало.

Мнение № 2. Во-первых, Плевле⁴⁹ устроил кишиневский погром, а во-вторых, в чем вы видите аналогию?

Мнение № 1. В том, что, увлекшись борьбой, вы хотите нанести удар правительству побольней и обвинить его в измене⁵⁰, не имея на то доказательств.

Мнение № 2. Доказательства есть.

Мнение № 1. Так предъявите их.

Мнение № 2. Мы и предъявим их в наших речах с кафедры Думы.

* * *

В конце концов победило компромиссное решение. В резолюцию все же было включено слово «измена», но без приписывания измены правительству со стороны Думы. Было сказано, что действия правительства нецелесообразные, нелепые и какие-то еще привели наконец к тому, что «роковое слово измена ходит из уст»...

Это — правда... Действительно ходит...

* * *

Позавчера, 1 ноября, Милоков сказал свою речь, которая уже стала знаменитой... И сама по себе и в особенности потому, что она запрещена цензурой.

Он предъявил «факты измены».

Факты были не очень убедительны. Чувствуется, что Штюмер окружен какими-то подозрительными личностями, но не более. Но разве дело в этом? Дело в том, что Штюмер маленький, ничтожный человек, а Россия ведет мировую войну. Дело в том, что все державы мобилизовали свои лучшие силы, а у нас «святочный дед» премьером. Вот где ужас... И вот отчего страна в бешенстве.

И кому охота, кому это нужно доводить людей до иступления?! Что это, нарочно, наконец, делается?!

* * *

Есть такой генерал Шуваев⁵¹ — военный министр. Старик безусловно хороший и честный... На месте главного интенданта он был бы безусловно «на месте», но как военный министр... Словом, с ним будто бы произошло вот что. Как-то он узнал, что и его кто-то считает изменником (хотя на самом деле никто этого никогда не думал). Старик

страшно обиделся и, как говорят, все ходил и повторял:

— Я, может быть, — дурак, но я не изменник!..

Милоков взял эту фразу главной осью своей речи. Приводя разные примеры той или иной нелепости, он каждый раз спрашивал: «А это что же — измена или глупость?» И каждый раз этот злой вопрос покрывался громом аплодисментов...

Речь Милокова была грубовата, но сильная. А главное, она совершенно соответствует настроению России. Если бы каким-нибудь чудом можно было вставить в этот белый зал Таврического дворца всю страну и Милоков повторил бы перед этим многомиллионным морем свою речь, то рукоплескания, которыми его приветствовали бы, заглушили бы ураганный огонь «150 парков снарядов», изготовленных генералом Маниковским по «приказу» Особого совещания.

Министерские скамьи пустовали...

* * *

Они были пусты и сегодня, когда мне пришлось идти «на Голгофу».

Зато вся Дума переполнена... Все фракции в необычном сборе, хоры — в густой бахrome людей.

Я посмотрел на пустые скамьи министров.

— Господа члены Государственной думы. Вы были свидетелями, как в течение многих часов с этой кафедры раздавались тяжелые обвинения против правительства, — такие тяжелые, что можно было бы ужаснуться, слушая их... и все же ужас — не в обвинениях... Обвинения бывали и раньше... Ужас в том, что на эти обвинения нет ответа... Ужас в том, что эти скамьи пусты... Ужас в том, что это правительство даже не находит в себе силы защищаться... Ужас в том, что это правительство даже не пришло в этот зал... где открыто, перед лицом всей России, его обвиняют в измене... Ужас в том, что на такие обвинения — такой ответ...

Я показал на скамью министров...

* * *

Разве это неправда? Латинская юридическая поговорка гласит: «Кто молчит — еще не соглашается; но если кто молчит, когда он обязан говорить, — тогда он соглашается...»

Здесь именно этот случай. Правительство обязано говорить, раз дело зашло так далеко, и даже не говорить, а ответить. Ответ же в данном случае не может быть словесным... Есть обвинения, на которые отвечают только действием...

И действие это должно быть: либо уход правительства, либо разгон Думы.

* * *

Но раз Думы не разгоняют, и в то же время обесчещенное правительство, с пятном измены на щеке, продолжает оставаться у власти, то нам остается только жечь его словами, пока оно не уйдет, потому что, если мы замолчим, заговорит улица.

Так я и сказал...

— И мы будем бороться с этим правительством, пока оно не уйдет. Мы будем говорить все «здесь» до конца, чтобы страна «там» молчала... Мы будем говорить для того, чтобы рабочие у станков могли спокойно работать... Пусть льют фронту снаряды, не оборачиваясь назад, зная, что Государственная дума скажет за них все, что надо. Мы будем говорить для того, чтобы армия в окопах могла стоять на фронте лицом к врагу... не озираясь на тыл... В тылу — Государственная дума... Она видит, слышит, знает и, когда нужно, скажет свое слово...

* * *

Да, и вот... И вот мою речь будут стучать бесчисленные барышни как «запрещенную литературу»... Государственная дума сделала то, чего от нее ждали... Она грозно накричала на правительство, требуя, чтобы оно ушло.

Расписаны были кулисы пестро...
Я так декламировал страстно...

* * *

Господи, неужели же никто не в силах вразумить!.. Ведь нельзя же так, нельзя же раздражать людей, страну, народ, льющий свою кровь без края, без счета. Неужели эта кровь не имеет своих прав? Неужели эти безгласные жертвы не дают никакого голоса?..

Не все ли равно — изменит ли Штюмер или нет. Допустим, что он самый честный из честных. Но если, правильно

или нет, страна помешалась на «людях, заслуживающих доверия», почему их не попробовать?.. Отчего их не назначить?.. Допустим, что эти люди доверия — плохи... Но ведь «Столыпина» нет же сейчас на горизонте. Допустим, Милюков — ничтожество... Но ведь не ничтожнее же он Штюмера... Откуда такое упрямство? Какое разумное основание здесь — какое?..

В том-то и дело, что совершается что-то трансцендентально-иррациональное...

А кроме того, есть нечто, перед чем бессильно опускаются руки...

Кто хочет себя погубить, тот погубит.

Есть страшный червь, который точит, словно шашель, ствол России. Уже всю сердцевину изъел, быть может, уже и нет ствола, а только одна трехсотлетняя кора еще держится...

И тут лекарства нет...

Здесь нельзя бороться... Это то, что убивает...

Имя этому смертельному: Распутин!!!⁵²

ПРЕДПОСЛЕДНИЕ ДНИ «КОНСТИТУЦИИ»

(Продолжение)

(Год — 1916. Месяцы — ноябрь, декабрь)

Петроград жужжит все о том же. Чтобы понять о чем, надо прочесть се qui suit*.

Место действия — «у камина». Пьют кофе — чистое «мокко». Действующие лица: «она» и «он». Она — немолодая дама, он — пожилой господин. Оба в высшей степени порядочные люди в кавычках и без них. Так как они порядочные люди и без кавычек, то образ их мысли возвышается над вульгарной Россией; так как они порядочные люди

* то, что следует дальше, (фр.)

в кавычках, то они говорят только о том, о чем сейчас в Петрограде говорить «принято».

Она. Я знаю это от... (тут следует длинная ариаднина нить из кузин и belles-soeurs*). И вот что я вам скажу: она очень умна... Она гораздо выше всего окружающего. Все, кто пробовал с ней говорить, были поражены...

Он. Чем?

Она. Да вот ее умом, уменьем спорить... она всех разбивает... Ей ничего нельзя доказать... В особенности она с пренебрежением относится именно к нам... ну, словом, к Петербургу... Как-то с ней заговорили на эти темы... Попробовали высказать взгляды... Я там не знаю, о русском народе, словом... Она иронически спросила: «Вы что же, это во время бриджа узнали? Вам сказал ваш cousin? Или ваша belle-soeur?» Она презирует мнение петербургских дам, считает, что они русского народа совершенно не знают...

Он. А императрица знает?

Она. Да, она считает, что знает...

Он. Через Распутина?

Она. Да, через Распутина... но и кроме того... Она ведь ведет обширнейшую переписку с разными лицами. Получает массу писем от, так сказать, самых простых людей... И по этим письмам судит о народе... Она уверена, что простой народ ее обожает... А то, что иногда решаются докладывать государю,— это все ложь, по ее мнению... Вы знаете, конечно, про княгиню В.?

Он. В. написала письмо государыне. Очень откровенное... И ей приказано выехать из Петрограда. Это верно?

Она. Да, ей и ему... Он? Вы его знаете — это бывший министр земледелия. Но В. написала это не от себя... Она там в письме говорит, что это мнение целого ряда русских женщин... Словом, это, так сказать, протест...

Он. В письме говорится про Распутина?

Она. Да, конечно... Между прочим, я хотела вас спросить, что вы думаете об этом... словом, о Распутине?

Он. Что я думаю?... Во-первых, я должен сказать, что я не верю в то, что говорят и что повторять неприятно.

Она. Не верите? У вас есть данные?

Он. Данные? Как вам сказать... Это, во-первых, до такой степени чудовишно, что именно те, кто в это верят, должны бы были иметь данные.

* свояченица (фр.).

Она. Но репутация Распутина?

Он. Ну что же репутация?... Все это не мешает ему быть мужиком умным и хитрым... Он держит себя в границах там, где нужно... Кроме того, если бы это было... Ведь императрицу так много людей ненавидят... Неужели бы не нашлось лиц, которые бы раскрыли глаза государю?

Она. Но если государь знает, но не хочет?

Он. Если государь «знает, но не хочет», — то революции не миновать. Такого безволия монархам не прощают... Но я не верю — нет, я не верю. Не знаю, быть может, это покажется вам слишком самоуверенным — судить на основании такого непродолжительного впечатления, но у меня составилось личное мнение о ней самой, которое совершенно не вмещается, — нет, не вмещается.

Она. Вы говорили с ней?

Он. Да, один раз.

Она. Что она вам сказала?

Он. Меня кто-то представил, объяснив, что я от такой-то губернии. Она протянула мне руку... Затем я увидел довольно беспомощные глаза и улыбку — принужденную улыбку, от которой, если позволено мне будет так выразиться, ее английское лицо вдруг стало немецким... Затем она сказала как бы с некоторым отчаянием.

Она. По-русски?

Он. По-русски, но с акцентом... Она спросила: «Какая она, ваша губерния?..» Этот вопрос застал меня врасплох, я меньше всего его ожидал...

Она. Что же вы ответили?

Он. Что я ответил? Банальность... Ведь трудно же так охарактеризовать губернию без подготовки... Я ответил: «Ваше величество, наша губерния отличается мягкостью. Мягкий климат, мягкая природа... Может быть, поэтому и население отличается мягким характером... У нас народ сравнительно мирный». Тут я замолчал. Но по выражению ее лица понял, что еще надо что-то сказать... Тогда я сделал то, чего ни в коем случае нельзя было делать... ибо ведь нельзя задавать вопросов... а само собой, разумеется, нельзя задавать глупых вопросов, а я именно такой и задал...

Она. Ну, что вы?

Он. Да, потому что я спросил: «Ваше величество не изволили быть в нашей губернии?»... Казалось бы, я должен бы знать, была ли государыня в нашей губернии или нет.

Она. Что же она сказала?

Он. Ответ получился довольно неожиданный... У нее как бы вырвалось: «Да нет, я нигде не была. Я десять лет тут в Царском, как в тюрьме».

Она. Даже так? А вы?

Он. После этого мне осталось только сказать: «Мы все надеемся, что когда-нибудь ваше величество удостоит нас своим посещением»... Она ответила: «Я приеду непременно»...

Она. И приехала?

Он. Не доехала... Она должна была приехать из Киева, но убили Столыпина, и это отпало... О чем мы говорили?..

Она. Вы говорили, что у вас личное впечатление...

Он. Да... Вот личное впечатление, что она и англичанка и немка, вместе взятые... Она и Распутин — нет, это невозможно... Что угодно, но не это...

Она. Но что же? Я тоже не верю,— но что в таком случае? Мистицизм?

Он. Конечно... У сестры ее, Елизаветы Федоровны, то же самое мистическое настроение, которое не приобрело таких ужасных для России форм только потому, что у Елизаветы Федоровны другой характер, менее властный и настойчивый.

Она. Как так? Почему?

Он. Потому что, если бы императрица была мягкая и покорная...

Она. Как полагается быть женщинам, не правда ли?..

Он. Во всяком случае государыне...

Она. Государыне меньше, чем другим.

Он. Нет, во сто тысяч раз больше...

Она. Почему?

Он. Потому что из всех мужчин на свете самый несчастный государь. Ни у кого нет столько забот и такой ответственности... таких тяжелых переживаний. Его душевный покой должен оберегаться, как святыня... Потому что от его спокойствия зависит судьба России. Поэтому государыня должна быть кротчайшая из кротчайших — женщина без шипов...

Она. К сожалению, этого нельзя сказать про Александру Федоровну... Она, прежде всего, большая насмешница...

Он. Да, говорят...

Она. Она очень хорошо рисует карикатуры... И вы знаете — какая любимая тема?..

Он. Нет...

Она. Она рисует государя в виде «baby»* на руках у матери... Это обозначает, что государь — маленький мальчик, которым руководит маман.

Он. Ах, это нехорошо.

Она. Ее любимое выражение: «Ах, если бы я была мужчиной». По-английски это звучит несколько иначе... Это она говорит каждый раз, когда не делают того или другого, что, по ее мнению, следовало бы сделать... Она упрекает царя за его слабость...

Он. Да, я это знаю. Об этом говорилось еще во времена Столыпина... Говорят, в это время в ходу была фраза: «Etes-vous souverain enfin?»** Из этой эпохи мне вспоминался эпизод. Будто бы Ольга Борисовна Столыпина устраивала у себя обеды, так сказать, «не по чину»... Т. е. у нее обедали «в лентах», а военные не снимали шашек... Это будто бы полагается только за царским столом... Об этом немедленно донесли государыне, а государыня сказала государю, прибавив: «Ну что ж, было две императрицы, теперь будет три...»

Она. Это зло...

Он. Да, к сожалению, это зло... это хуже, чем зло... это остроумно...

Она. ??

Он. Да, потому что из остроумия королев всегда вытекает какая-нибудь беда для королевства...

Она. Но королевам разрешается быть просто умными, надеюсь?..

Он. Только тем женским умом, который, впрочем, самый высший, который угадывает во всяком положении, как облегчить суровый труд мужа... Облегчить — это вовсе не значит — вмешиваться в дела управления. Наоборот, из этого «вмешивания» рождаются только новые затруднения. Облегчить — это значит устранить те заботы, которые устранить можно... И первый долг царицы — это абсолютное повиновение царю... Ибо хотя она и царица, но все же только первая из подданных государя...

Она. Кажется, вы по «Домострою»...

Он. Весьма возможно... Но подумайте сами... Вот говорят, наша императрица большая «абсолютистка»... очень стоит за самодержавие... Но кто же больше, чем она, это самодержавие подрывает? Кто оказывает царю явное непо-

* младенца (англ.).

** Государь же вы в конце концов? (фр.).

виновение перед лицом всей страны? По крайней мере, так твердят все... Кто не знает этой фразы: «Лучше один Распутин, чем десять истерик в день»? Не знаю, была ли произнесена эта фраза в действительности, но, в конце концов, это безразлично, потому что ее произносит вся Россия.

Она. Ну и что же? Вывод?

Он. Вывод: дело не в мистицизме, а в характере императрицы. Мистицизм сам по себе был бы неопасен, если бы императрица была «женщина без шипов». Она пожертвовала бы Распутиным, хотя бы и считала его святым старцем. Поплакала бы и рассталась бы сейчас же, в тот же день, когда «подозрение коснулось жены цезаря». А если бы не в первый, так во второй день, когда бы увидела хотя тень неудовольствия на лице государя, ибо его душевный покой — самое важное — в нем судьба России... Вместо этого — «десять истерик в день». Явное неповиновение, открытый бунт против самодержца и страшный соблазн для всех... «Какой же он самодержец»... И невольно в самые преданные... самые верноподданные сердца, у которых почитание престола — шестое чувство, невольно и неизбежно... проникает отравка... Вытраивается монархическое чувство, остается только монархизм по убеждению... холодный, расщудочный... Но это хорошо для натур совершенно исключительных... Все остальные люди живут гораздо больше сердцем, чем умом.

Она. Да, еще бы.

Он. Это ужасно... это просто ужасно...

Она. Но если она действительно подчинилась влиянию Распутина? Ведь утверждают же, что он сильнейший гипнотизер. Если она верит в то, что он спасает и наследника, и государя, и Россию, наконец...

Он. В старину было хорошее для этих случаев слово. Сказали бы, что Гришка «околдовал» царицу. А колдовство изгоняется молитвой. А молиться лучше всего в монастыре...

Она. Монастырь? Да, такие проекты есть... Но если... сам государь... им околдован?

Он. Если так, то нечего делать: мы погибли... Но я не верю в это... У меня нет этого ощущения... Нет, государь не околдован. Все эти рассказы про «тибетские настойки» — вздор... Он если околдован, то из себя самого, изнутри...

Она. Как?

Он. Он не может не знать, что делается... Ему все сказа-

но Его глаза раскрыты... Но он околдован каким-то внутренним бессилием. Ведь подумайте, что бы ему стоило только один раз рассердиться?.. И от этого Распутина ничего бы не осталось... Государыня бы билась в истерике... Хуже будет, когда в истерике забьется Россия... И тогда будет поздно. А теперь... Ах, если бы он рассердился!.. Если бы он один раз ударил кулаком по столу... Чтобы задрожало все кругом, а главное, чтобы задрожала царица...

Она. Нет, вы положительно неравнодушны к «Домострою».

Он. Положительно. И я убежден, что сама царица этого жаждет в глубине души.

Она. Почему вы так думаете?

Он. Потому, что все женщины жаждут самодержца... Я знаю, вы скажете, что это «пошлость»... Но заповеди «не убий» и «не укради» — тоже «пошлость»... Однако пошлости этого рода обладают таким свойством, что стоит только от них уклониться и начать «оригинальничать», как мир летит вверх тормашками. И Россия скоро полетит... Потому что, только подумайте об этом ужасе — какая страшная драма происходит на этой почве... Ведь ради слабости «одного мужа по отношению к одной жене» ежедневно, ежечасно государь оскорбляет свой народ, а народ оскорбляет своего государя...

Она. Как?

Он. Да так... Разве это не оскорбление всех нас, не величайшее пренебрежение ко всей нации и в особенности к нам, монархистам, — это «прятие Распутина». Я верю совершенно, как это сказать... ну, словом, что императрица совершенно чиста... Но ведь тем не менее Распутин грязный развратник... И как же его пускать во дворец, когда это беспокоит, волнует всю страну, когда это дает возможность забрасывать грязью династию ее врагам, а нам, ее защитникам, не дает возможности отбивать эти нападения... Неужели нельзя принять во внимание, так сказать, «уважить» лучшие чувства своих верноподданных? Неужели необходимо топтать их в грязь, неужели нужно заставлять нас краснеть за своего государя?.. И перед врагами внутренними... и перед врагами внешними... а главное... перед солдатами. Это во время самой грозной войны, которую когда-либо вела Россия, это когда от психологии этих солдат зависит все... И подумайте, какое бессилие наше в этом вопросе. Ведь заговорить об этом нельзя... Ведь офицер не может позвать свою роту и начать так:

«Вот говорят то, другое про Распутина—так это вздор»... Не может, потому что уже заговорить об этом — величайшее оскорбление. Ну, словом, это невозможно. И тем более невозможно, что может оказаться такой наивный или представляющийся наивным солдат, который скажет: «Разрешите спросить, ваше благородие, а что говорят про Распутина? Так что это нам неизвестно». Офицеру придется рассказывать, что ли?.. Ужас, ужас — безвыходное положение. А сколько офицеров верят в это?..

Она. Да что офицеры... Весь Петербург в это верит. Люди, которые объясняют это вот так, как мы с вами, их очень немного... Большинство принимает самое простое, самое грязное объяснение...

Он. Да, я знаю... И вот это и есть другая сторона драмы... Это ежедневное, ежеминутное оскорбление государя его народом... Ибо эти чудовищные рассказы — то, что народ поверил в эти гадости,— это тяжкое и длящееся оскорбление всеми нами государя... Оскорбление такое безвыходное, безысходное... Он не может объяснить, что ничего подобного нет, потому что он не может об этом заговорить... Он не может вызвать на дуэль, потому что цари не дерутся на дуэлях... Да и кого бы он вызвал?.. Всю страну?.. Удивительно, конечно, что никто никогда не заступился за честь государыни... Но это происходит, вероятно, потому, что всякий сознает, что она сама создает обстановку, рождающую эти слухи... И вот этот страшный узел... Государь оскорбляет страну тем, что пускает во дворец, куда доступ так труден и самым лучшим, уличенного развратника. А страна оскорбляет государя ужасными подозрениями... И рушатся столетние связи, которыми держалась Россия... И все из-за чего?.. Из-за слабости одного мужа к одной жене... Ах, боже мой!..

Она. Что?.. Ну что?..

Он. Вот что... Как ужасно самодержавие без самодержавца...

* * *

Вот о чем денно и ночью жужжит Петроград. Однако, несмотря на эту непрерывную болтовню, в сущности, мы очень мало знаем достоверного об этом человеке, который несет нам смерть.

Немцы в нашем положении основали бы бесчисленное число обществ, ферейнов, посвященных изучению Распу-

ина У нас нет не только ученых обществ, занимающихся «распутиноведением», у нас попросту ничего хорошенько о нём не знают...

К тому же считается в высшей степени неприличным иметь с ним какие бы то ни было сношения. Поэтому, например, я в глаза его никогда не видел. Личного впечатления не имею.

Между тем было бы полезно его иметь. Потому что в этом человеке, несомненно, есть две стороны.

Вот, впрочем, то немногое, что я о нем знаю.

* * *

Вот рассказ некоего Р., киевлянина, которого Киев хорошо знает. Так как он был руководителем одной демократическо-монархической организации, то о нем говорят всякие гадости, но, по-моему, он старик честный, неглупый, хотя и не очень интеллигентный. Вот что он рассказывал:

— Перед тем, как государь император и государыня императрица и Петр Аркадьевич Столыпин должны были приехать в Киев, за несколько дней получаю я телеграмму: «Григорий Ефимович у вас будет жить на квартире»... Я с Распутиным до этого времени не был знаком и не очень был рад, скажу вам по правде. Во-первых, и так много лишнего беспокойства, а у меня забот, вы сами знаете, было много... Потому что я, как председатель, при проезде государя, должен был со своими молодцами распорядиться, чтобы все было как надо... А тут еще Распутин... А кроме того, сами вы изволите знать, что про него рассказывают, а у меня жена, вы знаете... Но, думаю, делать нечего: нельзя не принять... Приехал... Ничего... хорошо себя держит, прилично. Простой человек, всех на «ты» называет... Я его принял, как мог, он мне сейчас говорит: «Ты, милый человек, мне сейчас хлопочи самое как есть первое место, чтобы при проезде государя быть». Я сейчас побежал к господину Курлову... Так да так, вот Распутин изволит требовать... Дали мне билет для него, только сказали, чтобы я смотрел, чего бы не было...

Ну, вот... Поставили меня с моими молодцами на Александровской, около музея, в первом ряду... Среди них я Григория Ефимовича поставил. И молодцам моим сказал, чтобы смотреть за ним, как есть... А я хорошо знал, что

уж кого-кого, а нас государь заметит. Потому мои молодцы так уже были выучены, как крикнут «ура», так уже невозможно не оглянуться... От сердца кричали — и все разом... Так оно и было. Вот едет коляска, и как мои молодцы гаркнули, государь и государыня оба обернулись... И тут государыня Григория Ефимовича узнала: поклонилась... А он, Григорий Ефимович, как только царский экипаж стал подъезжать, так стал в воздухе руками водить...

— Благословлять?..

— Да, вроде как благословлять... Стоит во весь рост в первом ряду, руками водит, водит... Но ничего, проехали... В тот же день явился ко мне на квартиру какой-то офицер от государыни к Григорию Ефимовичу: просят, мол, их величество Григория Ефимовича пожаловать. А он спрашивает: «А дежурный кто?» Тот сказал. Тогда Григорий Ефимович рассердился: «Скажи матушке-царице — не пойду сегодня... Этот дежурный — собака. А завтра приду — скажи»... Ну вот, ничего больше вам рассказать не могу... Жил у меня прилично... потом, как все кончилось, очень благодарил и поехал себе... Простой человек, и ничего в нем замечательного не нахожу...

* * *

А вот рассказ о том же событии, но совсем в других тонах.

Осенью 1913 года ко мне в Киев пришел один человек, которого я совершенно не знал. Он называл себя почтово-телеграфным чиновником. Бывало у меня в то время очень много народа. Я пригласил его сесть и уставил на него довольно утомленный взгляд. Он был чиновник как чиновник, только в глазах у него было что-то неприятное. Он начал так:

— Все это я читаю, читаю газеты и часто о вас думаю... Тяжело вам, должно быть?

Мне действительно было несладко в это время, но все же я не понял, о чем он собственно говорит, и ждал, что будет дальше.

— Вот ваши друзья на вас пошли... Господин Меньшиков⁵³ в «Новом времени» очень нападает... Да и другие... Это самое трудное, когда друзья... И знаете вы, что вы правы, а доказать не можете... Через это они все нападают на вас... А если бы могли «доказать», то ничего этого бы не было, всех этих неприятностей...

Я теперь догадался, в чем дело. Он говорил о той травле, которая поднялась против меня в правой печати по поводу того, что «Киевлянин» не одобрил затеи Замысловского⁵⁴ и Чаплинского⁵⁵ заставить русский судебный аппарат служит политической игре в еврейском вопросе. Словом, о той кампании, которую мои единомышленники по многим другим вопросам повели против меня по поводу знаменитого дела Бейлиса⁵⁶. Он продолжал:

— Надо вам «доказать» правду... Я тоже знаю, что не Бейлис убил... Но кто?.. Надо вам узнать, кто же убил Андриюшу Ющинского?..

Он смотрел на меня, и я чувствовал, что его взгляд тяжел и настойчив. Но он был прав. Я ответил:

— Разумеется, для меня, и да разве только для меня, было бы важно узнать, кто убил Ющинского?.. Но как это сделать?

Он ответил не сразу. Он смотрел на меня, точно стараясь проникнуть мне в мозг. Я подумал: «Экий неприятный взгляд»...

А он сказал:

— Есть такой человек...

— Какой человек?..

— Такой человек, что все знает... И это знает...

Я подумал, что он назовет мне какую-нибудь гадалку-хиромантку. Но он сказал:

— Григорий Ефимович...

Сказал таинственно, понизив голос, но я его сразу не понял. Потом вдруг понял, и у меня вырвалось:

— Распутин?..

Он сделал лицо снисходительного сожаления.

— И вот и вы, как и все... Испугались... Распутин... А ведь он все знает. Я знаю — вы не верите... А вот вы послушайте... Вот я раз шел с ним тут в Киеве, когда он был, по улице на Печерске... Идет баба пьяная-распьяная... А он ей пять рублей дал. Я ему:

— Григорий Ефимович. За что?

А он мне:

— Она бедная, бедная... Она не знает... не знает... У нее сейчас ребенок умер... Придет домой — узнает... Она — бедная... бедная, — говорю...

— Что ж, действительно умер ребенок?

— Умер... Я проверил... Нарочно проверил, спросил ее адрес... А вот когда государь император был в Киеве, по

Александровской улице ехали... Я тогда вместе с ним стоял...

— Где?

— На тротуаре... в первом ряду... Все мне было видно, очень хорошо... Вот, значит, коляска государя ехала... Государыня Григория Ефимовича узнала, кивнула ему. А он ее перекрестил... А второй экипаж — Петр Аркадьевич Столыпин ехал... Так он, Григорий Ефимович, вдруг затрясся весь... «Смерть за ним!.. Смерть за ним едет!.. За Петром... за ним!..» Вы мне не верите?..

Его взгляд был тяжел... Он давил мне на веки. Я не могу сказать, чтобы мне казалось, что он лжет. Я сказал:

— Я не имею права вам не верить... я вас не знаю...

— Верьте мне, верьте... А всю ночь я вместе с ним ночевал, это значит перед театром... Он в соседней комнате через тоненькую стеночку спал... Так всю ночь заснуть мне не дал... крихтел, ворочался, стонал... «Ох, беда будет, ох, беда». Я его спрашиваю: «Что такое с вами, Григорий Ефимович?» А он все свое: «Ох, беда, смерть идет». И так до самого света... А на следующий день — сами знаете... в театре... Убили Петра Аркадьевича... Он все знает, все...

Его взгляд стал так тяжело давить мне на веки, что мне захотелось спать... Он продолжал:

— К нему вам надо... к Григорию Ефимовичу... Он все знает. Он вам скажет, кто убил Юшинского, — скажет... Поверьте мне... вам же польза будет... Пойдите к Григорию Ефимовичу, поезжайте к нему...

Нет, что это со мной такое?.. Взгляд его глаз «точно свинцом» давит мне на веки... Хочется спать. И вдруг мысль как-то ослепительно сверкнула во мне: уж не гипнотизирует ли он меня?..

Я сделал усилие, встрепенулся и сбросил с себя что-то. В то же мгновение он схватил меня за руку...

— Ну, и нервный же вы человек, Василий Витальевич!.. Я встал.

— Да, я нервный человек... И потому мне лучше не видаться с Григорием Ефимовичем, который такой же нервный, должно быть, как и я и как вы... До свидания...

Он ушел и больше ко мне не являлся. Но у меня надолго осталось какое-то странное чувство: точно ко мне прикоснулся фрагмент чего-то таинственного, что я бы мог узнать больше, если бы захотел...

Но можно ли свести рассказ этого человека с рассказом Р.? Можно: этот чиновник мог быть одним из «молодцев»

Р., мог жить у него на квартире эти дни, мог стоять за Распутиным во время проезда государя...

* * *

Вот еще один рассказ. Рассказ некоего Г., петербуржца, не имевшего, по-видимому, никаких причин пропагандировать Распутина. Он рассказал мне нижеследующее:

— Мы потеряли двух детей почти одновременно. Старшей девочке было шестнадцать, младшей — четырнадцать. Моя жена была в ужасном состоянии. Ее отчаяние граничило с сумасшествием. Ей ничем нельзя было помочь. Она совершенно не спала. Доктора ничего не могли сделать. Я страшно за нее боялся. Кто-то мне посоветовал позвать Распутина. Я позвал. И можете себе представить, он поговорил с ней полчаса, и она совершенно успокоилась. Просветлела и вернулась к жизни. Пусть говорят все, что угодно, все это может быть правда, но и это правда — то, что я вам рассказываю: он спас мою жену.

Таких рассказов я слышал несколько. К сожалению, имена мною забыты, почему я их не привожу, за исключением рассказа Г., который помню точно.

* * *

Вот еще рассказ, в котором заметно нечто мистическое.

У баронессы, на Кирочной, где вообще полагалось бывать всему «замечательному», сидел Гришка. Это было за чайным столом. Сидел и разговоры разговаривал. Вдруг что-то заволновался...

— Не могу, мать моя, не могу...

— Что с вами, Григорий Ефимович?..

Он заерзал, привстал, хотел уйти.

— Куда вы?

— Уйти надо нам... враг идет... сюда идет... Сейчас здесь будет...

Позвонили. И в комнату вошла Машенька Х.

Она сама мне это рассказывала со слов баронессы и прибавила:

— Я Гришку действительно ненавижу...

* * *

— Скажите, что правда во всем этом... о Распутине? Что он действительно имеет влияние?.. Неужели это верно,

он пишет «каракули» и эти каракули имеют силу наравне... с высочайшим рескриптом?

У В. изящно-грубоватая речь, мало подходящая к посту товарища министра внутренних дел.

— Правда вот в чем... Распутин прохвост и «каракули» пишет прохвостам... Есть всякая сволочь, которая его «каракули» принимает всерьез... Он тем и пишет... Он прекрасно знает, кому можно написать. Отчего он мне не пишет? Оттого, что он отлично знает, что я его последними словами изругаю. И с лестницы он у меня заиграет, если придет. Нет Распутина, а есть распутство. Дрянь мы, вот и все. А на порядочных людей никакого влияния не имеет. Все же, что говорят, будто он влияет на назначения министров,— вздор: дело совсем не в этом... Дело в том, что наследник смертельно болен... Вечная боязнь заставляет императрицу бросаться к этому человеку. Она верит, что наследник только им живет... А вокруг этого и разыгрывается весь этот кабак... Я вам говорю, Шульгин, сволочь — мы... И левые и правые. Левые потому, что они пользуются Распутиным, чтобы клеветать, правые, т. е. прохвосты из правых, потому что они, надеясь, что он что-то может сделать, принимают его «каракули»... А в общем плохо... Нельзя так... Хотя наследник и болен, а все-таки этого господина нельзя во дворец пускать. Но это безнадежно... Говорили сто раз... Ничего не помогает...

* * *

Вот рассказ в другом стиле.

— Я вчера познакомился с Распутиным...— сказал мне один мой молодой друг, журналист.

— Как это было?

— Да вот как... Он на меня посмотрел, рассмеялся и хлопнул по плечу. И сказал: «Жулик ты, брат»...

Надо сказать, что мой молодой друг, конечно, не жулик. Но ловкий парень из донских казаков с университетским образованием.

— А вы что?

— А я ему говорю: «Все мы жулики. И вы, Григорий Ефимович,— жулик»... А он рассмеялся и говорит: «Ну, пойдем водку пить».

— И пили?

— Пили. Он не дурак выпить...

— Что же это за человек?

— Да знаете, просто хитрый, умный мужик, и больше ничего... Пил, смеялся...

— Кто ж там был?

— Да масса народа... Говорили речи. Все, конечно, в честь его. Он ничего, слушал... Только раз, когда мой патрон, вы его знаете, начал говорить, что вот земля русская была темна и беспросветна, а, наконец, взошло солнце — Григорий Ефимович,— он его вдруг остановил: «Ври, брат, ври, да не слишком»...

* * *

Член Государственной думы К., очевидно, не страдает теми предрассудками, которыми опутаны мы все. Вчера он пьянствовал с Гришкой.

То, что он рассказывает, определено — водка и бабы...

— Кто же эти «бабы»?

Увы, это не демимонденки*.

Распутин есть функция распутности некоторых дам, ищущих... «ощущений». Ощущений, утраченных вместе с вырождением.

* * *

Вырождающиеся женщины часто страдают от того, что они ничего не чувствуют. Нередко они объясняют это тем, что муж — «обыкновенный, серый человек». Иногда это действительно так. У некоторых женщин чувственность просыпается только тогда, когда к ней прикоснется «герой». Герой нашего времени, разумеется. Ибо для каждой эпохи — свои герои. Это, вероятно, те, кто дают для данной эпохи наиболее нужное потомство. В этих случаях инстинкт женщины иногда на правильном пути. Она бессознательно стремится спасти вырождающуюся расу.

Героя не всегда бывает легко найти. Любовники, которые на первых порах берутся из своего круга, нередко оказываются такими же серыми людьми, как и собственный муж... Тогда начинают искать в других слоях, выше или ниже себя... Те, что пониже, могут искать выше и ожидают своего «принца». Но те, кто окружены принцами, должны искать ниже, потому что люди своего круга уже испыта-

* От франц. *demi-monde* — «полусвет» — кокетки, содержанки богатей, стремящихся подражать аристократии и буржуазной верхушке (*Прим. ред.*).

ны,— они оказались слишком серыми, вернее, слишком блестящими, т. е. вылощенными.

Во всяком случае, в поисках «за истинным счастьем», о котором женщины слышат от своих более удачливых подруг, «мятежные души» мнутся в стиле Вербицкой⁵⁷. Каждый новый «интересный» дает надежду, что это, быть может, «он»... Его берут, но увы,— опять ошибка... «Ключи счастья» не найдены... Мятежные души мнутся дальше и становятся все смелее. Они начинают презирать условности, классовую рознь, наследственные предрассудки и даже требования эстетики и чистоплотности...

И доходят до Распутина.

Разумеется, к этому времени они уже глубоко развращены, пройдя длинный путь великосветской проституции...

* * *

— Была мама — очень красивая... Наташа — прелесть, хорошенькая, я... конечно, не хорошенькая...

— Прикажете противоречить?

— Не надо... Словом, нас было трое и Гришка...

— Где ж это было?

— Это было у отца протоиерея... Он очень хорошо служил, вроде как отец Кронштадтский... Нервно так, искренно... И вообще он был очень хороший человек... Ему часто говорили: «Отчего вы не позовете к себе Григория Ефимовича?» А он все не хотел и говорил, что им не о чем разговаривать... Наконец позвал... И вот мы тогда тоже были...

— И вы его видели?..

— Ну да, как же... за одним столом сидела...

— Какой же он?

— Он такой широкоплечий, рыжий, волосы жирные... лицо тоже широкое... Но глаза!.. они маленькие, маленькие, но какие!

— Неприятные?

— Ужасно неприятные... Неизвестно какие, не то коричневые, не то зеленые, но когда посмотришь — так неприятно, что даже сказать нельзя. И Наташа то же самое говорила... Она его еще раз видела в Александро-Невской лавре, он на нее так посмотрел, что она во второй раз побежала прикладываться... чтобы «очиститься»... А одет он шикарно, шелковая рубашка и все такое... На нем вроде как поддевка, и все особенное...

— Что же, он себя прилично держал?

— Вполне прилично. Он все разговаривал с батюшкой, все какие-то духовные разговоры... Но я вам вот что скажу... Есть такая М-анна...

— Русская?

— Ну да, русская...

— Почему же она М-анна...

— Потому что она просто Мария... это она сама себя так называла... Она дочь графини П. Вы знаете, кто графиня П.?

— Знаю.

— Ну, так вот... Эта М-анна носила красную юбку — вот до сих пор, задирала ноги выше головы, короткие волосы — цвета перекиси, лицо не без косметики, и вообще была совершенно, совершенно неприличная женщина. Была она, как это говорится: «развратная до мозга костей», и в лице это у нее даже было... И, подумайте, она бывала при Дворе и все такое... Сходилась, расходилась то с тем, то с другим; в конце концов, добралась до Распутина... И другая есть — Г. — она дочь сенатора... Эта немножко лучше, но тоже очень низко опускалась... Все-таки с ней можно было разговаривать... И вот она мне рассказывала про Распутина, что он совершенно особенный человек, что он дает ей такие ощущения...

— Что же она... была с ним... как это сказать... в распутинских отношениях?..

— Ну да, конечно... И вот она говорила, что все наши мужчины ничего не стоят...

— А она что же, всех «наших мужчин» испытала?

— О, почти что... И она говорила, что Распутин — это нечто такое несравнимое... Я ее тогда спросила: «Значит, вы его очень любите, Григория Ефимовича. Как же вы его тогда не ревнуете? Он ведь и с М-анной, и с другими, и со всеми»... Конечно, я была дура... Она ужасно много смеялась надо мной, говорила мне, что я совсем глупенькая и «восторженная»... И говорила, что много таких есть, которые совершенно погрузились в мистицизм и ничего не понимают и не подозревают даже, что такое на самом деле Распутин.

* * *

Итак — вот...

Хоровод «мятежных душ», не удовлетворенных жизнью, любовью. В поисках за «ключами счастья» одни из них ударяются в мистицизм, другие в разврат... Некоторые и в

то и в другое... Увы, они танцуют на вершинах нации... свой ужасный *danse macabre**. Это своеобразный «журавль» начала века — *grand gond*** или, лучше сказать, *cercle vicieux****—вьется круговым рейсом через столицу: от дворцов к соборам, от соборов к притонам и обратно. Этот столичный хоровод, естественно, притягивает к себе из глубины России — с низов — родственные души... Там, на низах, издревле, с незапамятных времен ведутся эти дьявольские игрища, где мистика переплетается с похотью, лживая вера с истинным развратом... Что же удивительного, что Санкт-Петербургская гирлянда — мистически-распутная — протянула к себе Гришку Распутина, типичного русского «хлыста»!.. Вот на какой почве произошло давножданное слияние интеллигенции с народом!.. Гришка включился в цепь и, держа в одной руке истеричку-мистичку, а в другой — истеричку-нимфоманку, украсил балет Петрограда своим двуликим фасом — кудесника и сатира...

Ужас в том, что хоровод этот пляшет слишком близко к престолу... можно сказать, у подножия трона... Благодаря этому Гришка получил возможность оказать свое странное влияние на некоторых великих княгинь... Эти последние ввели его к императрице...

«Хлыст» не обязан быть идиотом... «Хлыст» может быть и хитрым мужиком... Гришка прекрасно знал, где каким фасом своего духовного обличил поворачиваться...

Во дворце его принимали как святого старца, чудодейственного человека, предсказателя.

Скажи мне, кудесник, любимец богов...

Императрица во всякое время дня и ночи дрожала над жизнью единственного сына.

Кудесник очень хорошо все понял и ответил:

— Отрок Алексей жив моей грешной молитвой... Я, смиренный Гришка, послан богом охранять его и всю царскую семью: доколе я с вами, не будет вам ничего худого...

Грядущие годы таятся во мгле,

Но... вижу твой жребий на светлом челе.

И никто не понял, когда этот человек переступил порог царского дворца, что пришел тот, кто убивает...

* пляска смерти (*фр*).

** жуткий хоровод (*фр*).

*** порочный круг (*фр*)-

Он убивает потому, что он двуликий...

Царской семье он обернул свое лицо «старца», глядя в которое царице кажется, что дух божий почивает на святом человеке... А России он повернул свою развратную рожу, пьяную и похотливую, рожу лешего-сатира из тобольской тайги... И из этого — все...

Ропот идет по всей стране, негодующий на то, что Распутин в покоях царицы...

А в покоях царя и царицы — недоумение и горькая обида... Чего это люди беснуются?.. Что этот святой человек молится о несчастном наследнике?.. О тяжелобольном ребенке, которому каждое неосторожное движение грозит смертью — это их возмущает. За что?.. Почему?..

Так этот посланец смерти стал между тронном и Россией... Он убивает, потому что он двуликий... Из-за двуличия его обе стороны не могут понять друг друга... Царь и Россия с каждым часом нарастающей обиды в сердце ведут друг друга за руку в пропасть...

* * *

Это было во дворце великого князя Николая Михайловича на набережной... Большая, светлая комната, не имевшая определенного назначения, служившая одновременно и кабинетом и приемной... Иногда тут даже завтракали совершенно интимно — за круглым столиком...

Так было и на этот раз. За кофе великий князь заговорил о том, для чего он нас, собственно, позвал — Н. Н. Львова и меня:

— Дело обстоит так... Я только что был в Киеве... И говорил с вдовствующей императрицей... Она ужасно обеспокоена... Она знает все, что происходит, и отчасти после разговора с ней я решил... Я решил написать письмо государю... Но совершенно откровенно... до конца... Все-таки я значительно старше, кроме того, мне ничего не нужно, я ничего не ишу, но не могу же я равнодушно смотреть... как мы сами себя губим... Мы ведь идем к гибели... В этом не может быть никакого сомнения... Я написал все это... Но письмо не пришлось послать... Я поехал в Ставку и говорил с ним лично. Но, так сказать, чтобы это было более определенно... к тому же я лучше пишу, чем говорю... я просил разрешения прочесть это письмо вслух... И я прочел... Это было первого ноября...

Великий князь стал читать нам это письмо.

Что было в этом письме?.. Оно было написано в сердечных родственных тонах — на «ты»... В нем излагалось общее положение и серьезная опасность, угрожающая трону и России. Много места было уделено императрице. Была такая фраза: «Конечно, она не виновна во всем том, в чем ее обвиняют, и, конечно, она тебя любит»... Но... но страна ее не понимает, не любит, приписывает ей влияние на дела, словом, видит в ней источник всех бед...

Государь выслушал все до конца. И сказал:

— Странно... Я только что вернулся из Киева... Никогда, кажется, меня не принимали, как в этот раз...

На это великий князь ответил:

— Это, быть может, было потому, что вы были одни с наследником... императрицы не было...

Великий князь стал рассказывать еще... Много ушло из памяти — боюсь быть неточным.

В конце концов Львов спросил:

— Как вы думаете, ваше высочество, произвели впечатление ваши слова?

Великий князь сделал характерное для него движение.

— Не знаю... может быть... боюсь, что нет... Но все равно... Я сделал... я должен был это сделать...

* * *

— Вы уезжаете?

Я уезжал в Киев. Пуришкевич⁵⁸ остановил меня в Екатерининском зале Таврического дворца. Я ответил:

— Уезжаю.

— Ну, всего хорошего.

Мы разошлись, но вдруг он остановил меня снова.

— Послушайте, Шульгин. Вы уезжаете, но я хочу, чтобы вы знали... Запомните 16 декабря...

Я посмотрел на него. У него было такое лицо, какое у него уже раз было, когда он мне сказал одну тайну.

— Запомните 16 декабря...

— Зачем?

— Увидите, прощайте...

Но он вернулся еще раз.

— Я вам скажу... Вам можно... 16-го мы его убьем...

— Кого?

— Гришку.

Он заторопился и стал мне объяснять, как это будет. Затем:

— Как вы на это смотрите?

Я знал, что он меня не послушает. Но все же сказал:

— Не делайте...

— Как? Почему?

— Не знаю... Противно...

— Вы белоручка, Шульгин.

— Может быть... Но, может быть, и другое... Я не верю во влияние Распутина.

— Как?

— Да так... Все это вздор. Он просто молится за наследника. На назначения министров он не влияет. Он хитрый мужик...

— Так, по-вашему, Распутин не причиняет зла монархии?

— Не только причиняет, но он ее убивает.

— Тогда я вас не понимаю...

— Но ведь это ясно. Убив его, вы ничему не поможете...

Тут две стороны. Первая — это то, что вы сами назвали «чехардой министров». Чехарда происходит или потому, что некого назначать, или кого ни назначишь, все равно никому не угодишь, потому что страна помешалась на людях «общественного доверия», а государь как раз с ним доверия не имеет... Распутин тут ни при чем... Убьете его — ничто не изменится...

— Как не изменится?..

— Да так... Будет все по-старому... Та же «чехарда министров». А другая сторона — это то, чем Распутин убивает: этого вы не можете убить, убив его... Поздно...

— Как не могу! Извините, пожалуйста... А что же, вот так сидеть?.. Терпеть этот позор. Ведь вы же понимаете, что это значит? Не мне говорить — не вам слушать. Монархия гибнет... Вы знаете, я не из трусливых... Меня не запугаешь... Помните Вторую Государственную думу... Как тогда ни было скверно, а я знал, что мы выплывем... Но теперь я вам говорю, что монархия гибнет, а с ней мы все, а с нами — Россия... Вы знаете, что происходит? В кинематографах запретили давать фильму, где показывалось, как государь возлагает на себя Георгиевский крест. Почему?.. Потому что, как только начнут показывать, — из темноты голос: «Царь-батюшка с Егорием, а царица-матушка с Григорием...»

Я хотел что-то сказать. Он не дал:

— Подождите. Я знаю, что вы скажете... Вы скажете, что все это неправда про царицу и Распутина... Знаю,

знаю, знаю... Неправда, неправда, но не все ли равно? Я вас спрашиваю. Пойдите — доказывайте... Кто вам поверит? Вы знаете, Кай Юлий был не дурак: «И подозрение не должно касаться жены Цезаря»... А тут не подозрение... тут...

Он вскочил:

— Так сидеть нельзя. Все равно. Мы идем к концу. Хуже не будет. Убью его, как собаку... Прощайте...

* * *

Когда наступило 16 декабря, они его действительно убили...

Это была попытка спасти монархию старорусским способом: тайным насилием...

Весь XVIII век и начало XIX прошли под знаком дворцовых переворотов. Когда «случайности рождения» (выражение Ключевского) подвергали опасности «самую совершенную форму правления — единодержавие», какие-то люди, окружавшие престол, исправляли «случайности рождения» тайным насильственным способом... При этом иногда обходилось без убийств, иногда нет...

В начале XX века эти люди стали мельче... На дворцовый переворот их не хватило... вместо этого они убили Распутину...

Цели это, конечно, не достигло. Монархию это не могло спасти, потому что распутинский яд уже сделал свое дело... Что толку убивать змею, когда она уже ужалила...

Но при всей его бесцельности, убийство Распутина было актом глубоко-монархическим...

Так его и поняли...

Когда известие о происшедшем дошло до Москвы (это было вечером) и проникло в театры, публика потребовала исполнения гимна.

И раздалось, может быть, в последний раз в Москве:

Боже, царя храни...

Никогда эта молитва не имела такого глубокого смысла...

ПРЕДПОСЛЕДНИЕ ДНИ «КОНСТИТУЦИИ»

(Продолжение)

(Год—1917. Месяцы — январь, февраль.

Чисел не помню)

Я получил в Киеве тревожную телеграмму Шингарева: он просил меня немедленно вернуться в Петроград.

Кажется, я приехал 8 января. В этот же день вечером Шингарев пришел ко мне.

— В чем дело, Андрей Иванович?

— Да вот плохо. Положение ухудшается с каждым днем... Мы идем к пропасти... Революция — это гибель, а мы идем к революции... Да и без революции все расклеивается с чрезвычайной быстротой... С железными дорогами опять катастрофически плохо... Они еще кое-как держались, но с этими морозами... Морозы всегда понижают движение, — а тут как на грех — хватило!.. График падает. В Петрограде уже серьезные заминки с продовольствием... Не сегодня-завтра не станет хлеба совсем... В войсках недовольство. Петроградский гарнизон ненадежен. Меж тем, как вы знаете, наше военное могущество, техническое, выросло, как никогда... Наше весеннее наступление будет поддержано невиданным количеством снарядов... Надо бы дотянуть до весны... Но я боюсь, что не дотянем...

— Надо дотянуть...

— Но как? Зашло так далеко, пропущены все сроки, я боюсь, что если наша безумная власть даже пойдет на уступки, если даже будет составлено правительство из этих самых людей доверия, то это не удовлетворит... Настроение уже перемахнуло через нашу голову, оно уже левой Прогрессивного блока... Придется считаться с этим... Мы уже не удовлетворим... Уже не сможем удержать... Страна уже слушает тех, кто левой, а не нас... Поздно...

— Чтобы додержаться, придется взять разгон... Знаете, на яхте... когда идешь, скажем, левым галсом, перед поворотом на правый галс надо взять еще левой, чтобы забрать ход... Если наступление будет удачно, мы сделаем поворот и пойдем правым галсом... Чтобы иметь возможность сделать этот поворот, надо забрать ход. Для этого, если власть на нас свалится, придется искать поддержки расширением Прогрессивного блока налево...

— Как вы себе это представляете?

- Я бы позвал Керенского⁵⁹.

— Керенского? В качестве кого?

— В качестве министра юстиции, допустим... Сейчас пост этот не имеет никакого значения, но надо вырвать у революции ее главарей... Из них Керенский — все же единственный... Гораздо выгоднее иметь его с собой, чем против себя... Но ведь это только гадание на кофейной гуще... Реально ведь никаких нет признаков, что правительство собирается, говоря попросту, позвать нас?

— Реально — никаких. Но напуганы все сильно... Там большое смятение... Надо быть ко всему готовым.

* * *

Ко мне пришел один офицер.

— Зная вас, я хочу вас предупредить.

— О чем?

— О настроении Петроградского гарнизона... Вы не смотрите на то, что на каждой площади и улице они «печатают» на снегу... С этой стороны за них взялись... Но этим их не переделаешь... Вы знаете, что это за публика? Это маманькины сынки!.. Это — все те, кто бесконечно уклонялись под всякими предлогами и всякими средствами... Им все равно, лишь бы не идти на войну... Поэтому вести среди них революционную пропаганду — одно удовольствие... Они готовы к восприятию всякой идеи, если за ней стоит мир. А кроме того, и объективные причины есть для неудовольствия. Люди страшно скучены. Койки помещаются в три ряда, одна над другой, как в вагоне третьего класса. А ведь все они имеют удобные квартиры здесь. И вот беснуются. Пойдет к себе домой и приходит совершенно красный. Для чего их тут держат? Это самый опасный элемент. Чуть что — они взбунтуются. Вот помяните мое слово. Гнать их надо отсюда как можно скорей.

Был морозный, ясный день. Едучи в Думу, я действительно чуть ли не на каждой улице видел эти печатающие шеренги. Под руководством унтер-офицеров они маршировали взад и вперед, приладонивая снег деревянными, автоматическими движениями.

Теперь я смотрел на них с иным чувством.

И вспомнилось мне, как еще в 1915 году жаловались мне на одну дивизию, набранную в Петрограде. Ее иначе не называли, как «С.-Петербургское беговое общество». Куда ни пошлют ее в бой, она непременно убежит.

* * *

Я не помню хорошенько, когда это было. Кажется, в конце января. Где? Тоже не помню... Где-то на Песках. Это была большая комната. Тут были все. Во-первых, члены бюро Прогрессивного блока и другие видные члены Думы: Милуков, Шингарев, Ефремов⁶⁰, кажется, Львов, Шидловский, кажется, Некрасов ... Кроме того, были деятели Земгора. Был и Гучков⁶², кажется, князь Львов, Д. Щепкин⁶³ и еще разные, которых я знал и не знал.

Сначала разговаривали — «так», потом сели за стол... Чувствовалось что-то необычайное, что-то таинственное и важное. Разговор начался на ту тему, что положение ухудшается с каждым днем и что так дальше нельзя... Что что-то надо сделать... Необходимо сейчас же... Необходимо иметь смелость, чтобы принять большие решения... серьезные шаги...

Но гора родила мышь... Так никто не решился сказать... Что они хотели? Что думали предложить?

Я не понял в точности... Но можно было догадываться... Может быть, инициаторы хотели говорить о перевороте сверху, чтобы не было переворота снизу. А может быть, что-нибудь совсем другое.

Во всяком случае — не решились... И, поговорив, разъехались... У меня было смутное ощущение, что грозное близко... А эти попытки отбить это огромное — были жалки... Бессилие людей, меня окружавших, и свое собственное в первый раз заглянуло мне в глаза. И был этот взгляд презрителен и страшен...

* * *

Н. сказал мне, что он хотел бы поговорить со мной наедине, доверительно... Я пригласил его к себе.

Он пришел. У него на молодежавом лице всегда были большие розовые пятна, — не знаю, от чахотки или от здоровья.

Он начал издали и, так сказать, а mots couverts...* Но я его понял. Он зондировал меня насчет того, о чем воробьи чирикали за кофе в каждой гостиной, — то есть о дворцовом перевороте⁶⁴... Я знал, что бесформенный план существует, но не знал ни участников, ни подробностей.

* обиньяком, намеками... (фр)

Впрочем, слышал я о так называемом «морском» плане. План этот состоял в том, чтобы пригласить государыню на броненосец под каким-нибудь предлогом и увезти ее в Англию как будто по ее собственному желанию. По другой версии — уехать должен был и государь, а наследник должен был быть объявлен императором. Я считал все эти разговоры болтовней.

Н. говорил о том, что государственный корабль в опасности и, можно сказать, гибнет и что поэтому требуются особые, исключительные меры для спасения экипажа и драгоценного груза.

— Если бы вам были предложены такие исключительные, из ряда вон выходящие меры для спасения экипажа и груза, а ведь вместе они составляют русский народ,— пошли бы вы на эти совершенно не вмещающиеся в обычные рамки, совершенно экстренные меры, пошли бы вы на них для спасения родины?

Я ответил не сразу, потому что понял сразу. Мне вдруг вспомнилось, как однажды Столыпин произнес свою знаменитую фразу: «Никто не может отнять у русского государя священное право и обязанность спасать в дни тяжелых испытаний богом врученную ему державу»... Я вспомнил, как бешено обрушились на Столыпина тогда кадеты за эту «неконституционную фразу». Теперь они же, кадеты, или один из них, предлагают для спасения этой же державы меры, настолько менее конституционные сравнительно с третьим июня, насколько шлюпка меньше броненосца.

Наконец я ответил вопросом:

— Вы читали Жюль Верна?

— Читал, конечно, но что именно?..

— Это не важно, потому что я не уверен, что это из Жюль Верна... Во всяком случае, это теория моряков.

— Какая теория?

— Две теории. Или, вернее, две школы. Одна школа — это «суденщики», а другая — «шлюпочники»...

— Объясните...

— Это касается морских бедствий... кораблекрушений... «Шлюпочники» утверждают, что, когда корабль терпит так называемое «кораблекрушение», то надо пересаживаться на шлюпки и этим путем искать спасения.

— Это понятно... А «суденщики»?..

— А «суденщики» говорят, что надо оставаться на судне...

— Да ведь оно гибнет!..

— Все равно... Они говорят, что из десяти случаев в девяти шлюпки гибнут в море...

— Но один шанс все же остается.

— Они говорят, что один шанс остается и у гибнущего корабля, потому не стоит беспокоиться...

— А вывод?

— Вывод тот, что я принадлежу к школе «суденщиков», а потому останусь на судне и в шлюпки пересаживаться не хочу...

Он помолчал.

— В таком случае забудем этот разговор.

— Забудем...

* * *

Однажды, это было, кажется, в феврале, рано утром ко мне пришли неожиданные посетители: один был бывший министр, другой товарищ министра.

П. Н. был единственным из министров, который одинаково был любезен и «двору» и «общественности». Он был умен, ловок, очень тактичен, по убеждениям — консерватор, но понимал мудрость латинской поговорки: «*Bis dat, qui cito dat*»*. Сделав в сущности пустяковые уступки по своему министерству, он стал весьма популярен и мог претендовать на то, что пользуется «общественным доверием»... Если бы его несколько месяцев тому назад назначили Премьером, быть может, ему удалось бы поладить с Государственной думой.

— Вы знаете,— начал он,— мои воззрения: конечно, я не либерал... Те, что так думают, очень ошибаются. Но есть вещи и вещи... Есть положения, когда просто невыгодно упрячиться. Программа Государственной думы, т. е. Прогрессивного блока, ведь она в сущности очень приемлема...

— Вздор! Пустяки! — сказал товарищ министра.— Все это, конечно, можно дать без всякого колебания государству Российского...

— За исключением одного пункта,— сказал министр.— Это о власти. Вы понимаете,— тут заупрямились... Я сказал государю все... Я объяснил, что мы все, наша семья, традиционно преданы престолу. Но что мы всегда были — земщина⁶⁵. Что я отнюдь не либерал, но считаю, что с «земщиной» нужно считаться. В особенности теперь, во время вой-

* Вдвойне дает тот, кто дает быстро (*лат.*).

ны. И что Дума, олицетворяющая «земщину», стоит на строго патриотической позиции. Что она взяла на свои плечи всю тяжесть лозунга — «война до победного конца»... И что правительству надо идти с Думой, и что поэтому я прошу отставки... Словом, все, что можно было сказать... Со мной лично были в высшей степени милостивы... Но... но это безнадежно... то есть безнадежно — насчет власти...

— Поймите, Шульгин, что в этом все, — сказал товарищ министра. — Все в этом пункте, все в том, что вы хотите, чтобы правительство было из лиц общественного доверия, другими словами, от «блока». Здесь вся загвоздка! А что касается остальной вашей программы, так только проведите ее через Думу, все будет принято правительством...

— В той же части вашей программы, — сказал министр, — которая может быть проведена правительством собственной властью, то она, например, по ведомству народного просвещения уже осуществлена. Впрочем, вы очень деликатно выразились об этом вопросе...

— «Вступление на путь постепенного ослабления». Кто это выдумал? Это почти гениально, — сказал товарищ министра.

— Но что касается вопроса о власти, — сказал министр, — увы! здесь стенка!.. И вот смысл нашего посещения нижеследующий... Мы, В. М. и я, достаточно вас знаем... Если Милоков и другие могут иметь какие-то мотивы, старые навыки борьбы с властью *quand tème**, то вы, конечно, преследуете одну цель — благо родины... А это значит в данную минуту: как-нибудь довести войну до конца, потому что иначе...

— Иначе России — конец, — сказал товарищ министра.

— И вот, если дело не выходит, — продолжал министр, — если стенка, — как быть? Мы хотели вам сказать: не обостряйте отношений... Ведь все равно — в лоб не возьмете...

— Шульгин, вы знаете! — как дети, когда «играют», вдруг заупрямятся все... и вот зашли в тупик: ни тот ни другой не уступают. Вдруг один кричит: «Я умнее!», — и уступает... И разрешен тупик, и продолжается игра... Крикните — «я умнее» и уступите... Вернее — отступите... на время хотя бы... Вы правы, вы совсем правы... Мы с вами согласны во всем... Но если нельзя...

Они сидели против меня честные и встревоженные... сильно встревоженные.

* наконец (*фр.*)

— Положение плохое, — сказал министр. — До чего мы дойдем?

— Доиграемся! — сказал товарищ министра.

Я отвечал:

— Вы знаете, я состою в «Совещании по государственной обороне». У нас сейчас столько снарядов, сколько никогда не было. Маниковский недавно объяснил: если взять расчет по Вердену (ту норму, сколько в течение пяти месяцев верденское орудие выпускало снарядов в сутки) и начать наступление по всему фронту, т. е. от Балтийского моря до Персии, то мы можем по всему фронту из всех наших орудий поддерживать верденский огонь в течение месяца... У нас сейчас на складах тридцать миллионов полевых...

— Великолечно, — сказал товарищ министра.

— Весной, по-видимому, начнется всеобщее наступление... Есть все шансы, что оно будет удачно... Если это будет так, то тогда вообще все спасено, — можно хоть прогнать Государственную думу...

— И прогонять не придется, потому что на радостях все забудется.

— Значит, весь вопрос — продержаться два-три месяца... Не допустить взрыва... Потому что, если наступление будет неудачное, взрыв все равно будет.

— Будет, — сказал товарищ министра.

— Весьма возможно... — сказал министр.

— Непременно будет. Я недавно из Киева... Люди с ума сошли. Вы знаете, Киев достаточно черносотенный... И вот меня ловили за рукава люди самые благонамеренные: «Когда же, наконец, вы их прогоните?». Это они о правительстве... И вы знаете, еще хуже стало, когда Распутин убили... Раньше все валили на него... А теперь поняли, что дело вовсе не в Распутине. Его убили, а ничего не изменилось. И теперь все стрелы летят прямо, не застревая в Распутине... Итак, надо выиграть время... Два-три месяца...

— Это так, — сказал министр, — но как же это сделать?

— Вот тут-то и начинается вопрос. Было два пути... Первый путь — это Думу свести на нет. Правительство могло это сделать, не созывая ее. Может быть, и сама Дума могла это сделать, так сказать, отступив: предоставив правительству самому стать лицом к лицу с нарастающим неудовольствием России.

— Нет, — сказал товарищ министра, — этого Дума не могла сделать. Если большинство так бы и сделало, левые

и кадеты подняли бы крик, только в гораздо более резкой форме.

— Вот в том-то и дело... В 1915 году во время великого отступления, когда созвали Думу, для нас, правого крыла, стал вопрос: или стать на сторону правительства, конечно, виноватого в непредусмотрительности и в бездарности, или же, признав справедливым нарастающее недовольствие, попытаться ввести его в наименее резкие, в самые приемлемые формы... Другими словами, недовольство масс, которое легко могло бы перейти в революцию, подменить недовольством Думы... Наша цель была, чтобы массы оставались покойными, так как за них говорит Дума... Таким образом и создался Прогрессивный блок. Этим шагом мы приковали кадет к минимальной программе... Так сказать, оторвали их от революционной идеологии, свели дело к пустякам. Но кадеты, с другой стороны, вовлекли нас в борьбу за власть... Мы хотели стать между улицей и, я бы сказал,— между армией, в которой сильнейшее недовольство на «тыл», то есть на правительство,— и властью... Мы хотели успокоить армию, что ее никто не предаст и что о ней позаботятся, так как на страже ее интересов стоит Дума. Когда я уезжал с фронта в 1915 году, это был всеобщий голос: «Поезжайте и позаботьтесь, чтобы не было Мясоедовых и Сухомлиновых, а были снаряды... Мы не хотим умирать с палками в руках». Все это я говорю к тому, чтобы объяснить, почему мы избрали этот путь... Путь, так сказать: «суда», вместо «самосуда». Путь парламентской борьбы вместо баррикад...

— А вы не думаете, что так вы скорее дойдете до баррикад?

— Вот в этом-то и вопрос. Что мы — сдерживаем или разжигаем?.. Мне всегда казалось, что сдерживаем. Мне казалось, что мы такая цепь, знаете, когда солдаты берутся за руки. Конечно, нас толкают в спину и заставляют двигаться вперед. Но мы упираемся. Держим друг друга за руки и не позволяем толпе прорваться... Так мы идем, упираясь, а нас давят в спину уже полтора года... Бог его знает, если бы мы не сделали этой цепи, может быть, уже давно толпа прорвалась бы... Не забудьте, что цепь все время кричит: «Все для войны»... И этот наш вопль обращен одинаково к обеим сторонам: от армии мы требуем «всех жертв», а от правительства «хоть немного жертвы»... Успокаивает ли это или разжигает? Кто знает? Мне кажется— все-таки успокаивает. Ведь смотрите... до сих пор

ни одного покушения. А помните 1905 год? Тогда дождило бомбами... Теперь ни одного бунта — пока... А помните, тогда?.. Теперь наиболее бунтарским образом повели себя те, кто убил Распутина: они совершили первый и единственный пока акт террора. Значит, можно предполагать, что буйный элемент до известной степени считается с Думой и не делает, пока она говорит. Додержимся ли! Будем надеяться, что додержимся. А если не додержимся?.. А если не додержимся, тогда...

— Тогда — конец! А потому, даже принимая вашу схему,— не обостряйте...

— Да, конечно... Не думаю, чтобы и в планы кадет входило бы обострять. Ведь они знают: головы жирондистов⁶⁶ оказались в одной корзине с монархистами...

— Они дают себе отчет в этом?

— Вполне... Они боятся революции. Ведь они три года кричали: «Все для войны». А следовательно, в случае революции это им припомнится. Жребий был брошен в 1915 году. А теперь что бог даст. Впрочем, разумеется, я буду, насколько могу, умерять блок, но если вы можете, действуйте там...

* * *

Я не могу сказать, чтобы это было заседание, хотя позвали меня, собственно, на заседание. Я не могу также вспомнить, где это было. Но было это в каком-то беспорядочном учреждении, которое не могло не иметь отношения к Земгору, ибо здесь были налицо все земгорские элементы: горы ящиков, горы барышень, стучащих на машинках, и какие-то господа в очках, представлявшие доклады, пересыпанные цифрами, через которые все же ясно чувствовалось, что докладчики проводят одну заранее и сверху приказанную тенденцию, ничего общего с цифрами не имеющую...

Дело шло о ценах на хлеб. Тут были кадетствующие элементы, которые питали ко мне некоторое доверие; поэтому-то меня и позвали. Господин в очках, человек третьего элемента, левее кадет, бормотал свой доклад, который был только предлогом, чтобы начать обмен мнений. И обменивались. Все больше насчет того, что хлеб крестьяне не везут потому в достаточном количестве, что при «этом режиме», вообще ничего не может быть.

Я живо представлял себе своих волынских Бизюков и

Сопрунцов, как они не повезут хлеб из-за того, что председатель Совета министров — князь Голицын⁶⁸, а не Милюков. Я понимал, что это чепуха. Заминка с хлебом происходила, по моему мнению, потому, что не повышали цену в то время, когда уже пришел срок ее повысить. Это я высказал.

Кто-то из господ левее кадетов не преминул мне возражить. Я не слушал его слов, потому что по его глазам я прекрасно видел, в чем дело. У этих высосанных злостью людей — «левее кадетов» — неистребимая ненависть, бессмысленная и жгучая... к помещикам. И так как от повышения цен на хлеб могли бы в некоторой мере выиграть и помещики (хотя подавляющее большинство хлеба — крестьянское), то эти озлобленные существа готовы были на что угодно, но только не на повышение цен. И мои возражения эти узенькие, конечно, рассматривали только как мнение «агрария». Впрочем, это общеизвестно...

Но меня поразил Шингарев.

Он встал и с влажными от вдохновения глазами произнес великолепную речь, горячую, прочувствованную, которую, право, не стоило метать перед девятым, и так убежденными, и десятым, не убедимым никаким красноречием... Но он говорил, и голос его, то мягкий, задушевный, то раскатистый, звенел о том, что неужели я не чувствую, что нужно одно: нужен порыв, нужен подъем, подъем, который будет, когда сбудется мечта, когда, наконец, у власти появятся другие, светлые люди, разумные, любящие свою родину и уважающие свободу великого народа, и что тогда в этот день хлеб неудержимыми реками потечет туда, куда ему следует. А иначе, т. е. «рублем», ничего не сделаешь...

Шингарев был очень хорош в этом своем «контррублевом» вдохновении, он был подкупающе мягок и увлекательно темпераментен.

По окончании его удивительной речи я сказал коротко:

— Я остаюсь при своем мнении. Надо назначить три рубля за пуд хлеба вместо двух пятидесяти...

Увы, прошло всего несколько дней, совершилась революция, и министр Шингарев первым делом назначил три рубля за пуд хлеба вместо двух пятидесяти... Ибо, несмотря на «сбывшуюся мечту», хлеб не двинулся.

* * *

Государственная дума должна была возобновить свою сессию в начале февраля. Ко дню ее открытия ожидали

выступлений. Главным образом опасались рабочих. Кажется, 10 февраля появилось открытое письмо⁶⁹ П. Н. Милюкова к рабочим Петрограда. В этот день, а может быть, днем раньше или позже, появился «приказ» генерала Хабалова, градоначальника Петрограда. Станным образом оба эти документа оказались не так далеко один от другого. Аргументация местами совпадала («во имя родины»), и оба они, лидер оппозиции и градоначальник, требовали от рабочих сохранения спокойствия.

Но, по-видимому, тут было нечто более глубокое, чем то, что могло зависеть от коллективной воли рабочих или даже индивидуальных замыслов их вожakov. Что-то подпочвенное падало, и то, что падало, чувствовалось сильнее подточенность и неизбежность падения, — чем те рабочие, которые должны были быть последним порывом ветра, свалившим трехсотлетнее дерево. Милюков и Хабалов махали на них руками, приказывая — *noni tangere**, — очевидно чувствуя, что они могут свалить власть, хотя, по-видимому, сами рабочие были менее уверены в своих силах.

К этому времени относился совещание, о котором поведал впоследствии Н. Д. Соколов — человек, не то меньшевик, не то большевик, — но поведал при такой обстановке, что ему не имело смысла исказить истину. Слышал я это лично. Соколов⁷⁰ сказал следующее:

— Перед тем, как должна была собраться Государственная дума, произошло совещание революционных организаций Петрограда, как рабочих, так и солдатских. Представители рабочих предложили организовать уличные демонстрации. Солдатские же представители ответили: «Для чего вы нас зовете? Если для революции, то мы выйдем на улицу, но если для манифестации, — то не выйдем. Потому что вы, рабочие, после уличных манифестаций можете вернуться к себе на фабрики, а мы, солдаты, не можем — нас будут расстреливать!» Представители рабочих признали эти соображения правильными и заявили, что для революции они не готовы...

Они — революционеры — не были готовы, но она — революция — была готова. Ибо революция только наполовину создается из революционного напора революционеров. Другая ее половина, а может быть три четверти, состоит в ошущении властью своего собственного бессилия.

У нас, у многих, это ощущение было вполне. Ибо все в

* не трогать, не прикасаться (*лат.*).

России делалось «по приказу его императорского величества». Это был электрический ток, приводящий в жизнь все провода. И именно этот ток обессиливался и замирал, уничтоженный безволием. На почве этого последнего выросло три грозных болезни: Распутин, Штюмер и Милюков. Последний мог организовать оппозицию Государственной думы. Думы 4-го созыва, законопослушной и монархической, только благодаря *concours bienveillant** двух первых. Государственная дума считала своим долгом для спасения армии и России — явно бороться со Штюмером и тайно с Распутиным.

Результат: Штюмер ушел, Распутин убит.

Но вместе с тем разрушен основной нерв России: сознание необходимости повиноваться «указу его императорского величества».

* * *

Это ощущение близости революции было так страшно, что кадеты в последнюю минуту стали как-то мягче.

Перед открытием Думы, по обыкновению, составляли формулу перехода. Написать ее сначала поручили мне. Я написал сразу, так сказать, не исправляя, и было это не столько формула перехода, сколько вылилось на бумагу то, что я чувствовал. Это было стенание на тему «до чего мы дошли»... И помню была такая фраза: «В то время, как акты террора совершаются принципами императорской крови»... Заключение было, что требуются героические усилия, чтобы спасти страну. Формула показалась всем слишком резкой. Милюков сказал, что она написана прекрасно, но признал, наравне с другими, что в настоящую минуту такая формула нежелательна. Я, разумеется, не настаивал. Приняли формулу Милюкова, более скромную...

* * *

Дума открылась сравнительно спокойно, но при очень скромном внутреннем самочувствии всех.

Затем центр тяжести перешел в бюджетную комиссию.

Там шел вопрос о хлебе. Я не помню хорошенько, в чем было дело, но помню, что сильно насильствовали наши убеждения. Если не ошибаюсь, вопрос шел о «твердых ценах».

* благосклонному содействию (фр.).

Мы считали твердые цены источником расстройств государства. Это вообще была киевская точка зрения, которую с особенным упорством отстаивал А. И. Савенко⁷¹. О том, как Киев боролся спокон веков с социалистическими замашками, будет когда-нибудь, надеюсь, отмечено. Но в данном случае мы, в конце концов, должны были уступить, чтобы не расстраивать блока и не уменьшать поступательной силы решения, которое было бы все равно принято. Я, помню, употребил тогда такое сравнение:

— Если человек хочет прыгнуть в пропасть — надо всеми силами удерживать его. Но если ясно, что он все равно прыгнет, — надо подтолкнуть его, потому что, может быть, в этом случае он допрыгнет до другого края.

* * *

Это было, быть может, последнее заседание Государственной думы. Шел все тот же вопрос о хлебе. На этом деле блок раскололся. Правая сторона поддерживала правительство, считая его план разверстки правильным. Левое крыло, очевидно полагая, что не может быть «ничего доброго из Назарета», отвергало предложение правительства. Милюков сказал речь — против, Шульгин — за. Товарищ министра А. А. Риттих говорил убедительно, горячо, только очень нервно, слишком нервно. Он умолял не губить дела.

С внешней стороны было все, как всегда. Но на самом деле было иначе.

Тревога и грусть были разлиты в воздухе. Во время речи Милюкова, возражений Шульгина и убеждений Риттиха и во время других речей чувствовалось, что все это не нужно, запоздало, неважно...

Из-за белых колонн зала выглядывала безнадежность... Она шептала:

— К чему? Зачем? Не все ли равно?

В кулуарах Думы говорили в этот день, что А. А. Риттих после речи разрыдался...

* * *

26 февраля.

В этот день, утром, неожиданно, ко мне пришел Петр Бернгардович Струве⁷². Он был взволнован и полубольной, но предложил мне двигаться к Маклакову.

— У Василия Алексеевича мы узнаем. И Дума рядом...

В воздухе уже была разлита такая степень тревоги, что невозможно было сидеть дома: надо было быть там. Это я чувствовал и раньше, и в особенности почувствовал, когда пришел Петр Бернгардович.

Мы пошли... Был морозный день, ясный... Ни одного трамвая, — трамваи стали, и ни одного извозчика. Нам надо было идти пешком к Таврическому дворцу — это верст пять. Петр Бернгардович еле шел, я вел его под руку.

На улицах было совершенно спокойно, но очень пусто. И было это спокойствие неприятно, ибо мы отлично знали, отчего стали трамваи, отчего нет извозчиков. Вот уже три дня в Петрограде не стало хлеба. И этот светлый день был «затишьем перед бурей», которая где-то пряталась за этими удивительными мостами и дворцами, таилась и накоплялась... Накоплялась не то на Невском, невидимом отсюда, не то вон там, на Выборгской стороне, около Финляндского вокзала...

Нева была особенно красива в этот день... Мы остановились передохнуть, опершись на парапет Троицкого моста... Расцвеченная солнцем перспектива набережных говорила о том, «что сделано», но от этого становилось только жутче, потому что, законченная в своей красоте, она ничего не могла ответить на вопрос: «Что делается»...

* * *

Василий Алексеевич спешил: его вызывали к Покровскому. Н. И. Покровский, министр иностранных дел, разумный и честный, был человек наиболее приемлемый для «думских сфер». Маклаков же был самый умеренный из кадетов и самый умный. Он наиболее приемлем для «правительственных сфер». Вместе с тем он не был «патриотом прогрессивного блока», вследствие своей всегдашней оппозиции Милюкову. Маклаков был тот человек, который мог стать связующим звеном между Думой и правительством. Его приглашение к Покровскому могло обозначать многое. В ожидании его возвращения мы пошли в Таврический дворец.

В комнате № 11, как всегда, заседал блок, вернее, бюро Прогрессивного блока. Председателем был Шидловский Сергей Илиодорович. От кадет — Милюков и Шангарев,

прогрессисты в это время уже ушли, от левых октябристов — Шидловский, от октябристов-земцев — граф Капнист (маленький, т. е. Дмитрий Павлович), а от центра, кажется, Владимир Львов, от националистов-прогрессистов — Половцев 2-й и я.

Хотя окна большие, но в 3 часа уже темно. За столом, крытым зеленым бархатом, мы сидели при свете настольных ламп, с темными абажурами. Сколько раз уже так сидели.

Я не помню, что обсуждалось... Но я чувствовал, что делается что-то не то... Я много раз уже это чувствовал.

Мы все критиковали власть... Но совершенно неясно было, что мы будем отвечать, если нас спросят: «Ну хорошо, *la critique est aisee** — довольно критики, теперь пожалуйте сами! Итак, что надо делать?»... Мы имели «великую хартию блока», в которой значилось, что необходимо произвести некоторые реформы, но все это совершенно не затрагивало центрального вопроса: «Что надо сделать, чтобы лучше вести войну?»

Я неоднократно с самого основания блока добивался ясной практической программы. Сам я ее придумать не мог, а потому пытал своих «друзей слева», но они отделялись от меня разными способами, а когда я бывал слишком настойчив, отвечали, что практическая программа состоит в том, чтобы добиться «власти, облеченной народным доверием». Ибо эти люди будут толковыми и знающими и поведут дело. Дать же какой-нибудь рецепт для практического управления невозможно — «залог хорошего управления — достойные министры» — это и на Западе так делается.

Тогда я стал добиваться, кто эти достойные министры. Мне отвечали, что пока об этом неудобно говорить, что выйдут всякие интриги и сплетни и что это надо решать тогда, когда вопрос станет, так сказать, вплотную.

Но сегодня мне казалось, что вопрос уже стал «вплотную». Явственно чувствовалась растерянность правительства. Нас еще не спрашивали: кто? Но чувствовалось, что каждую минуту могут спросить. Между тем были ли мы готовы? Знали ли мы, хотя бы между собой, — кто? Ни малейшим образом.

Поэтому я сделал следующее предложение, приблизительно в таких словах:

— Хотя это может показаться неловким, неудобным и так далее, но наступило время, когда с этим нельзя счи-

критиковать удобно (*фр.*).

таться. На нас лежит слишком большая ответственность. Мы вот уже полтора года твердим, что правительство никуда не годно. А что, если «станется по слову нашему»? Если с нами, наконец, согласятся и скажут: «Давайте ваших людей». Разве мы готовы? Разве мы можем назвать, не отделяясь общей формулой, «людей, доверием общества облеченных», конкретных, живых людей?.. Я полагаю, что нам необходимо теперь уже, что это своевременно сейчас,— составить для себя, для бюро блока, список имен, т. е. людей, которые могли бы быть правительством.

Последовала некоторая пауза. Я видел, что все почувствовали себя неудобно. Слово попросил Шингарев и выразил, очевидно, мнение всех, что пока это еще невозможно. Я настаивал, утверждая, что время уже пришло, но ничего не вышло, никто меня не поддержал, и списка не составили. Всем было — «неловко»... И мне тоже.

Таковы мы... русские политики. Переворачивая власть, мы не имели смелости или, вернее, спасительной трусости подумать о зияющей пустоте... Бессилие свое и чужое снова взглянуло мне в глаза насмешливо и жутко!..

По окончании заседания мы вышли в Екатерининский зал. В дверях я столкнулся с Маклаковым. Мы шли вместе, разговаривая о том, что с Покровским ничего особенного не вышло.

В это время в другом конце зала показался Керенский. Он, по обыкновению, куда-то мчался, наклонив голову и неистово размахивая руками. За ним, догоняя, старался Скобелев⁷³.

Керенский вдруг увидел нас и, круто изменив направление, пошел к нам, протянув вперед худую руку... для выразительности.

— Ну, что же, господа, блок? Надо что-то делать! Ведь положение-то... плохо. Вы собираетесь что-нибудь сделать?

Он говорил громко, подходя. Мы сошлись на середине зала.

Кажется, до этого дня я не был официально знаком с Керенским. По крайней мере, я никогда с ним не разговаривал. Мы все же были в слишком далеких и враждебных лагерях. Поэтому для меня этот его «налет» был неожиданным. Но я решил им воспользоваться.

— Ну, если вы так спрашиваете, то позвольте, в свою очередь, спросить вас: по вашему-то мнению, что нужно? Что вас удовлетворило бы?

На изборожденном лице Керенского промелькнуло вдруг веселое, почти мальчишеское выражение.

— Что?.. Да в сущности немного... Важно одно: чтобы власть перешла в другие руки.

— Чьи? — спросил Маклаков.

— Это безразлично. Только не бюрократические.

— Почему не бюрократические? — возразил Маклаков.— Я именно думаю, что бюрократические... только в другие, толковее и чище... Словом, хороших бюрократов. А эти «облеченные доверием» — ничего не сделают.

— Почему?

— Потому, что мы ничего не понимаем в этом деле. Техники не знаем. А учиться теперь некогда...

— Пустяки. Вам дадут аппарат. Для чего же существуют все эти bureaux и sous-secretaires*?!

— Как вы не понимаете,— вмешался Скобелев, обращаясь преимущественно ко мне,— что вы имеете д... д... д... доверие н... н... н... народа...

— Он немножко заикался.

— Ну, а еще что надо? — спросил я Керенского.

— Ну, еще там,— он мальчишески, легкомысленно и весело махнул рукой,— свобод немножко. Ну там печати, собраний и прочее такое...

— И это все?

— Все пока... Но спешите... спешите...

Он помчался, за ним — Скобелев...

Куда спешить?

Я чувствовал их, моих товарищей по блоку, и себя...

Мы были рождены и воспитаны, чтобы под крылышком власти хвалить ее или порицать... Мы способны были, в крайнем случае, безболезненно пересест с депутатских кресел на министерские скамьи... под условием, чтобы императорский караул охранял нас...

Но перед возможным падением власти, перед бездонной пропастью этого обвала — у нас кружилась голова и немело сердце...

Бессилие смотрело на меня из-за белых колонн Таврического дворца. И был этот взгляд презрителен до ужаса...

* канцелярии и помощники секретарей?! (фр.)

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ «КОНСТИТУЦИИ»

(Продолжение)

(27 февраля 1917 года)

«Я шел один где-то у нас на Волыни... Подходил к какому-то селу. Было ни день ни ночь — светлые ровные сумерки, но все было как бы без красок... И дорога и село были какие-то самые обычные... Вот первая хата... Она немножко поодаль от других. Когда я поравнялся с нею, вдруг из деревянной черной трубы вспыхнуло большое синее пламя... Я хотел броситься в хату предупредить... Но не успел: вся соломенная крыша вспыхнула разом... Вся загорелась до последней соломинки... Громадным ярко-красно-желтым пламенем зарокотало, загудело... Я закричал от ужаса... Из хаты, не торопясь, вышла женщина...

Я бросился к ней...

— Диток, ратуй диток! (спасай детей!) — закричал я ей по-хохлацки.

Она ничего не ответила, но смотрела на меня сурово. Я понял, что она мать и хозяйка... Но отчего она так разодета?... Как в церковь... Важная, красивая и такая суровая...

— Диток! — закричал я еще раз...

Она только сдвинула брови... Я бросился в хату.

Но в это мгновение разом вся рухнула крыша... Хаты не стало... Бешено пылал и ревел огромный пожар... Этот звук делался все сильнее и переходил в настойчивый резкий звон»...

Я проснулся...

* * *

Было девять часов утра... Неистово звонил телефон...

— Алло!

— Вы, Василий Витальевич?... Говорит Шингарев... Надо ехать в Думу... Началось...

— Что такое?

— Началось... Получен указ о роспуске Думы⁷⁴... В городе волнение... Надо спешить... Занимают мосты... мы можем не добраться... Мне прислали автомобиль. Приходите сейчас ко мне... Поедем вместе...

— Иду...

* * *

Это было 27 февраля 1917 года. Уже несколько дней мы жили на вулкане... В Петрограде не стало хлеба — транспорт сильно разладился из-за необычайных снегов, морозов и, главное, конечно, из-за напряжения войны... Произошли уличные беспорядки... Но дело было, конечно, не в хлебе... Это была последняя капля... Дело было в том, что во всем этом огромном городе нельзя было найти несколько сотен людей, которые бы сочувствовали власти... И даже не в этом... Дело было в том, что власть сама себе не сочувствовала...

Не было, в сущности, ни одного министра, который верил бы в себя и в то, что он делает...

Класс бывших властителей сходил на нет... Никто из них не способен был стукнуть кулаком по столу... Куда ушло знаменитое стольпинское «не запугаете»?.. Последнее время министры совершенно перестали даже приходить в Думу... Только А. А. Риттих самоотверженно отстаивал свою «хлебную разверстку».

Но, придя в павильон министров после своей последней речи, он разрыдался.

* * *

Мы жили с А. И. Шингаревым в одном доме на Большой Монетной № 22, на Петроградской стороне... Это далеко от Таврического дворца... Надо переехать Неву... Последнее время жизнь уже так расхлябалась в Петрограде, что вопрос о сообщениях стал серьезным для тех, кто, как Шингарев и я, не имел своей машины...

* * *

Мы поехали... Шингарев говорил:

— Вот ответ... До последней минуты я все-таки надеялся — ну, вдруг просветит господь-бог — уступят... Так нет... Не осенило — распустили Думу... А ведь это был последний срок... И согласие с Думой, какая она ни на есть, — последняя возможность... избежать революции...

— Вы думаете, началась революция?

— Похоже на то...

— Так ведь это конец?

— Может быть, и конец... а, может быть, и начало...

— Нет, вот в это я не верю. Если началась революция,— это конец.

— Может быть... Если не верить в чудо... А вдруг будет чудо!.. Во всяком случае, Дума стояла между властью и революцией... Если нас по шапке, то придется стать лицом к лицу с улицей... А ведь... А ведь в сущности надо было продержаться еще два месяца...

— До наступления?

— Конечно. Если бы наступление было неудачно — все равно революции не избежать... Но при удаче...

— Да, при удаче — все бы забылось.

* * *

Мы выехали на Каменноостровский... Несмотря на ранний для Петрограда час, на улицах была масса народу... Откуда он взялся? Это производило такое впечатление, что фабрики забастовали... А может быть, и гимназии... а может быть, и университеты...

Толпа усиливалась по мере приближения к Неве... За памятником «Стережущему», не помещаясь на широких тротуарах, она движущимся месивом запрудила проспект... Автомобиль стал...

Какие-то мальчишки, рабочие, должно быть, под предводительством студентов, распорядились:

— Назад мотор! Проходу нет!

Шингарев высунулся в окошко.

— Послушайте. Мы члены Государственной думы. Пропустите нас — нам необходимо в Думу.

Студент подбежал к окошку.

— Вы, кажется, господин Шингарев?

— Да, да, я Шингарев... пропустите нас.

— Сейчас.

Он вскочил на подножку.

— Товарищи — пропустите! Это члены Государственной думы — т. Шингарев.

Бурлящее месиво раздвинулось — мы поехали... со студентом на подножке. Он кричал, что это едет «товарищ Шингарев», и нас пропускали. Иногда отвечали:

— Ура т. Шингареву!

Впрочем, ехать студенту было недолго. Автомобиль опять стал. Мы были уже у Троицкого моста. Поперек его стояла рота солдат.

— Вы им скажите, что вы в Думу,— сказал студент.

И исчез... Вместо него около автомобиля появился офицер. Узнав, кто мы, он очень вежливо извинился, что задержал.

— Пропустить. Это члены Государственной думы...

Мы помчались по совершенно пустынному Троицкому мосту. Шингарев сказал:

— Дума еще стоит между «народом» и «властью»... Ее признают оба... берега... пока...

На том берегу было пока спокойно... Мы мчались по набережной, но все это, давно знакомое, казалось жутким... Что будет?

На Шпалерной мы встретились с похоронной процессией... Хоронили члена Государственной думы М. М. Алексеенко⁷⁵... Жалеть или завидовать?

* * *

Выражение «лица Думы», этого знакомого фасада с колоннами, было странное... Такой она была в 1907 году, когда я в первый раз увидел ее... В ней и тогда было что-то... угрожающее...

Но швейцары раздели нас, как всегда... Залы были темноваты. Паркет поблескивал, чуть отражая белые колонны...

* * *

Стали съезжаться... Делились вестями — что происходит... Рабочие собрались на Выборгской стороне... Их штаб — вокзал, по-видимому... Кажется, там идут какие-то выборы, летучие выборы, поднятием рук... Взбунтовался полк какой-то... Кажется, Волынский... Убили командира... Казаки отказались стрелять... братаются с народом... На Невском баррикады...

О министрах ничего не известно... Говорят, что убивают городовых... Их почему-то называют «фараонами»...

* * *

Стало известно, что огромная толпа народу — рабочих, солдат и «всяких» — идет в Государственную думу... Их тысяч тридцать.

* * *

С. И. Шидловский созвал бюро Прогрессивного блока... И вот мы опять собрались в той самой комнате № 11, где собирались всегда, где принимались решения... Решения, которые привели к этому концу, вернее, не сумели предупредить этого конца.

Шидловский, Шингарев, Милоков, Капнист 2-й, Львов В. Н., Половцев, я... еще некоторые... Ефремов, Ржевский, еще кто-то... Все те, кто вели Думу последние годы... И довели...

Заседание открылось... Открылось под знаком того, что надвигается тридцатитысячная толпа... Что делать?..

Я не помню, что говорилось. Но помню, что никто не предложил ничего заслуживающего внимания... Да и могли ли предложить? Разве эти люди способны были управлять революционной толпой, овладеть ею? Мы могли под защитой ее же штыков говорить власти всякие горькие и дерзкие слова и, ведя «конституционную», т. е. словесную борьбу, удерживать массу от борьбы действием...

— Мы будем бороться с властью, чтобы армия, зная, что Государственная дума на страже,— могла спокойно делать свое дело на фронте, а рабочие у станков могли спокойно подавать фронту снаряды... Мы будем говорить, чтобы страна молчала...

Этими словами я сам изложил смысл борьбы в своей речи 3 ноября 1916 года...

Но теперь словесная борьба кончилась... Она не привела к цели... Она не предотвратила революции... А может быть, даже ее ускорила... Ускорила или задержала?

Роковой вопрос повис над всеми нами, собравшимися в комнате № 11... Но не все его ощущали.. Не все понимали свое бессилие... Некоторые думали, что и теперь еще мы можем что-то сделать, когда масса перешла «к действиям»... И что-то предлагали... Сидя за торжественно-уютными, крытыми зеленым бархатом столами, они думали, что «бюро» Прогрессивного блока» так же может управлять возбунтовавшейся Россией, как оно управляло фракциями Государственной думы.

Впрочем, я сказал, когда до меня дошла очередь:

— По-моему, наша роль кончилась... Весь смысл прогрессивного блока был предупредить революцию и тем дать власти возможность довести войну до конца... Но раз цель не удалась... А она не удалась, потому что эта тридца-

тысячная толпа — это революция... Нам остается одно... думать о том, как кончить с честью...

Мы, конечно, ничего не решили в комнате № 11...

* * *

Потом было заседание в кабинете председателя Думы... Это было заседание старейшин... Тут были представители всех фракций, а не только фракций Прогрессивного блока...

Председательствовал Родзянко...

Шел вопрос, как быть... С одной стороны, императорский указ о роспуске (прекращение сессии), а с другой — надвигающаяся стихия...

В огромное, во всю стену кабинета, зеркало отражался этот взволнованный стол... Мощный затылок Родзянко и все остальные... Чхеидзе, Керенский, Милоков, Шингарев, Некрасов, Ржевский⁷⁶, Ефремов, Шидловский, Капнист, Львов, князь Шаховской ... Еще другие...

Вопрос стоял так: не подчиниться указу государя императора, т. е. продолжать заседания Думы,— значит стать на революционный путь... Оказав неповиновение монарху, Государственная дума тем самым подняла бы знамя восстания и должна была бы стать во главе этого восстания со всеми его последствиями...

* * *

На это ни Родзянко, ни подавляющее большинство из нас, вплоть до кадет, были совершенно неспособны... Мы были, прежде всего, лояльным элементом... В нас уважение к престолу переплелось с протестом против того пути, которым шел государь, ибо мы знали, что это путь к пропасти... Поэтому вся работа Думы прошла под этим знаком... При докладах царю все, кто зависели или были вдохновляемы Думой, всегда твердили одно и то же: этот путь ведет династию к гибели... Открыто же в своих речах в Думе — мы бранили министров... При этой травле, однако, не переходили конституционной грани и не затрагивали монарха... Это было основное требование Родзянко и большинства Думы, которому должны были подчиниться все... Только раз Милоков прочел какую-то цитату из газеты по-немецки, в которой говорилось о «кружке молодой государыни»... Но это был выплеск, отклонение от основного пути...

* * *

Я не помню, что говорилось. Но помню решение: «Императорскому указу о роспуске подчиниться — считать Государственную думу не функционирующей, но членам Думы не разъезжаться и немедленно собраться на «частное совещание» .

Чтобы подчеркнуть, что это частное совещание членов Думы, а не заседание Государственной думы, как таковой, решено было собраться не в большом Белом зале, а в «полуциркульном»...

* * *

Он едва впустил нас: вся Дума была налицо. За столом были Родзянко и старейшины. Кругом сидели и стояли, столпившись, стеснившись, остальные... Встревоженные, взволнованные, как-то душевно прижавшиеся друг к другу... Даже люди, много лет враждовавшие, почувствовали вдруг, что есть нечто, что всем одинаково опасно, грозно, отвратительно... Это нечто — была улица... уличная толпа... Ее приближавшееся дыхание уже чувствовалось... С улицей шествовала та, о которой очень немногие подумали тогда, но очень многие, наверное, ощутили ее бессознательно, потому что они были бледные, с сжимающимися сердцами... По улице, окруженная многотысячной толпой, шла смерть...

* * *

Этой трепещущей, сгрудившейся около стола старейшин человеческой гуще, втиснутой в «полуциркульную» рамку зала, Родзянко доложил, что произошло... И поставил вопрос: «Что делать?»

В ответ на это то там, то здесь, то справа, то слева проносились слова взволнованные люди и что-то предлагали... Что?

Я не знаю. Не помню. «Что-то»... Кажется, кто-то предложил Государственной думе объявить себя властью... Объявить, что она не разойдется, не подчинится указу... Объявить себя Учредительным собранием... Это не встретило, не могло встретить поддержки... Кажется, отвечал Милуков... Во всяком случае, Милуков говорил, рекомендуя осторожность, рекомендуя не принимать слишком поспешных решений, в особенности когда мы еще не знаем, что происходит и так ли это, как говорят, что старая власть пала, что ее

больше нет, когда мы вообще еще не разобрались в обстановке и не знаем, насколько серьезно, насколько прочно начавшееся народное движение.

Кто-то говорил и требовал, чтобы Дума сказала, с кем она: со старой властью или с народом? С тем народом, который идет сюда, который сейчас будет здесь и которому надо дать ответ.

В эту минуту около дверей заволновались, затолпились, раздался какой-то повышенный разговор, потом расступились, и в зал вбежал офицер...

Он перебил заседание громким заскакивающим голосом:

— Господа члены Думы, я прошу защиты!.. Я — начальник караула, вашего караула, охранявшего Государственную думу... Ворвались какие-то солдаты... Моего помощника тяжело ранили... Хотели убить меня... Я едва спасся... Что же это такое? — помогите...

Это бросило в взволнованную человеческую ткань еще больше тревоги.

Кажется, Родзянко ответил ему, что он в безопасности — может успокоиться...

В эту минуту заговорил Керенский:

— Происшедшее подтверждает, что медлить нельзя!.. Я постоянно получаю сведения, что войска волнуются!.. Они выйдут на улицу... Я сейчас еду по полкам... Необходимо, чтобы я знал, что я могу им сказать. Могу ли я сказать, что Государственная дума с ними, что она берет на себя ответственность, что она становится во главе движения?..

Не помню, получил ли ответ Керенский... Кажется, нет... Но его фигура вдруг выросла в «значительность» в эту минуту... Он говорил решительно, властно, как бы не растерявшись... Слова и жесты были резки, отчеканены, глаза горели...

— Я сейчас еду по полкам...

Казалось, что это говорил «власть имеющий»...

— Он у них — диктатор... — прошептал кто-то около меня.

Кажется, в эту минуту, а может быть и раньше, я попросил слова...

У меня было ощущение, что мы падаем в пропасть. Бессознательно я приготовился к смерти. И мне, очевидно, хотелось сказать нам всем эпитафию, сказать, что мы умираем такими, как жили:

— Когда говорят о тех, кто идет сюда, то надо прежде

всего знать—кто они? Враги или друзья?.. Если они идут сюда, чтобы продолжать наше дело — дело Государственной думы, дело России, если они идут сюда, чтобы еще раз с новой силой провозгласить наш девиз: «Все для войны», то тогда они наши друзья, тогда мы с ними... Но если они идут с другими мыслями, то они друзья немцев... И нам нужно сказать им прямо и твердо: «Вы — враги, мы не только не с вами, мы против вас!»

Кажется, это заявление произвело некоторое впечатление, но не имело последствий... Керенский еще что-то говорил... Он стоял, готовый к отъезду, решительный, бросающий резкие слова, чуть презрительный...

Он рос... Рос на начавшемся революционном болоте, по которому он привык бегать и прыгать, в то время как мы не умели даже ходить.

* * *

Кто-то предложил в горячей речи, что всем членам Думы в это начавшееся тяжелое время нужно сохранить полное единство — всем, без различия партий, для того, чтобы препятствовать развалу. А для того, чтобы руководить членами Думы, необходимо избрать комитет, которому вручить «диктаторскую власть». Все члены Думы обязаны беспрекословно повиноваться комитету...

Это предложение в этой взволнованной, напуганной атмосфере встретило всеобщую поддержку... Диктатура есть функция опасности: так было — так будет...

С большим единодушием, подавляющим числом голосов были избраны слева направо:

Чхеидзе — социал-демократ.

Керенский — трудовик.

Ефремов — прогрессист.

Ржевский — прогрессист.

Милуков — кадет.

Некрасов — кадет.

Шидловский Сергей — левый октябрист.

Родзянко — октябрист-земец.

Львов Владимир — центр.

Шульгин — националист (прогрессист)⁷⁹.

В сущности, это было бюро Прогрессивного блока с прибавлением Керенского и Чхеидзе⁸⁰. Это было расширение блока налево, о котором я когда-то говорил с Шингаревым,— но, увы, при какой обстановке произошло это расширение...

Страх перед улицей загнал в одну «коллегию» Шульгина и Чхеидзе.

* * *

А улица надвигалась и вдруг обрушилась...

Эта тридцатитысячная толпа⁸¹, которую грозили с утра, оказалась не мифом, не выдумкой от страха...

И это случилось именно как обвал, как наводнение... Говорят (я не присутствовал при этом), что Керенский из первой толпы солдат, поползших на крыльцо Таврического дворца, попытался создать «первый революционный караул»:

— Граждане солдаты, великая честь выпадает на вашу долю — охранять Государственную думу... Объявляю вас первым революционным караулом...

Но этот «первый революционный караул» не продержался и первой минуты... Он сейчас же был смят толпой...

* * *

Я не знаю, как это случилось... Я не могу припомнить. Я помню уже то мгновение, когда черно-серая гуща, прес-суясь в дверях, непрерывным врывающимся потоком затопляла Думу...

Солдаты, рабочие, студенты, интеллигенты, просто люди... Живым, вязким человеческим повидлом они залили растерянный Таврический дворец, залепили зал за залом, комнату за комнатой, помещением за помещением...

* * *

С первого же мгновения этого потопа отвращение залило мою душу, и с тех пор оно не оставляло меня во всю длительность «великой» русской революции.

Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водопровода бросала в Думу все новые и новые лица... Но сколько их ни было — у всех было одно лицо: гнусно-животно-тупое или гнусно-дьявольски-злое...

Боже, как это было гадко!.. Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство...

Пулеметов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что

только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя...

Увы — этот зверь был... его величество русский народ...

То, чего мы так боялись, чего во что бы то ни стало хотели избежать, уже было фактом. Революция началась.

* * *

С этой минуты Государственная дума, собственно говоря, перестала существовать. Перестала существовать даже физически, если так можно выразиться. Ибо эта ужасная человеческая эссенция, эта вечно снующая, все заливающая до последнего угла толпа солдат, рабочих и всякого сброда — заняла все помещения, все залы, все комнаты, не оставляя возможности не только работать, но просто передвигаться... своим бессмысленным присутствием, непрерывным гамом тысяч людей она парализовала бы нас даже в том случае, если бы мы способны были что-нибудь делать... Ведь и найти друг друга в этом море людей было почти невозможно...

* * *

Впрочем, еще некоторое время продержался так называемый «кабинет Родзянко». Все остальные комнаты и залы, в том числе, конечно, огромный Екатерининский зал, были залиты народом... Кабинет Родзянко еще пока удавалось отстаивать, и там собирались мы — «Комитет Государственной думы».

* * *

Комитет Государственной думы был создан первоначально для руководства членами Государственной думы, которые обязались ему повиноваться.

Но сейчас же стало ясно, что его обязанности будут шире... Со всех сторон доходили вести, что власти больше нет, что войска взбунтовались, но что все они за «Государственную думу»... Что вообще «революционная» столица за Государственную думу... Это давало надежды как-нибудь, быть может, овладеть движением, стать во главе его, не дать разыграться анархии.

Поэтому в первый же набросок о задачах Комитета⁸² было включено, что Комитет образовался для поддержания порядка в столице и для «сношений с учреждениями и лицами».

Меня лично в эти минуты больно мучил вопрос: что будет с фабриками и заводами? Не разрушит ли «революционный народ» все те приспособления, машины, станки и оборудования, которые с такой энергией возвал к жизни генерал Маниковский по приказанию «Особого совещания по государственной обороне»? Поэтому, по моему предложению, первое обращение, которое выпустил Комитет,— был призыв беречь фабрики, заводы и все прочее...

* * *

Затем обсуждалось положение...

* * *

Положение!..

Покрывая непрерывный рев человеческого моря, в кабинет Родзянко ворвались крикливые звуки меди...

«Марсельеза»...

Вот мы где. Вот каково «положение»!

Contre nous de la tyrannie
L'etendart sanglant est eleve!

Доигрались. Революция по всей «французской форме»!

Aux armes, citoyens!
Fermes vos bataillons!
Marchons, marchons qu' un sang impur
Abreuve nos sillons*.

Чья «нечистая кровь» должна пролиться? Чья?

«Ура» такое, что, казалось, нет ему ни конца ни края, залило воздух какою-то темною дурманною жидкостью...

Стихло...

Долетают какие-то выкрики...

Это речь?.. да...

И опять... Опять это ни с чем не соизмеримое «ура». И на фоне его резкая медь выкрикивает свои фанфарные слова:

Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces ferores soldats:
Ils viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fils, vos compagnes.

Я помню во весь этот день и следующие — ощущение близости смерти и готовности к ней...

* Текст «Марсельезы». (Прим. ред.)

Умереть. Пусть.

Лишь бы не видеть отвратительное лицо этой гнусной толпы, не слышать этих мерзостных речей, не слышать воя этого подлого сброда.

Ах, пулеметов сюда, пулеметов!..

* * *

Но пулеметов у нас не было. Не могло быть.

Величайшей ошибкой, непоправимой глупостью всех нас было то, что мы не обеспечили себе никакой реальной силы. Если бы у нас был хоть один полк, на который мы могли бы твердо опереться, и один решительный генерал — дело могло бы обернуться иначе.

Но у нас ни полка, ни генерала не было... И более того — не могло быть...

В то время в Петрограде «верной» воинской части уже — или еще — не существовало...

* * *

Офицеры. О них речь впереди. Да и никому в то время «опереться на офицерские роты» в голову не приходило...

Кроме того...

Кроме того, хотя я, конечно, был не один, который так чувствовал, т. е. чувствовал, что это конец... чувствовал острую ненависть к революции с первого же дня ее появления... я ведь имел хорошую подготовку... я ненавидел ее смертельно еще с 1905 года... Хотя я, конечно, был не один, но все же нас было не много... Почти все еще не понимали, еще находились в... дурмане...

Нет, полка у нас не могло быть...

Полиция?

Да, пожалуй...

Но ведь разве мы-то сами к чему-нибудь такому годны? Разве мы понимали?.. Разве мы были способны в то время «молниеносно» оценить положение, предвидеть будущее, принять решение и выполнить за свой страх и риск?..

Тот между нами, кто это сделал бы, был бы Наполеоном, Бисмарком⁸⁵ или Столыпиным... Но между нами таких не было...

Да, под прикрытием ее штыков мы красноречиво угрожали власти, которая нас же охраняла...

Но говорить со штыками лицом к лицу... Да еще с взбунтовавшимися штыками...

Нет, на это мы были неспособны.

Беспомощные — мы даже не знали, как к этому приступить... Как заставить себе повиноваться? Кого? Против кого? И во имя чего?

* * *

Меж тем в сущности в этом был вопрос... Надо было заставить кого-то повиноваться себе, чтобы посредством повинующихся раздавить не желающих повиноваться...

Не медля ни одной минуты...

Но этого почти никто не понимал... И еще менее мог кто-нибудь выполнить...

* * *

На революционной трясине, привычный к этому делу, танцевал один Керенский...

Он вырастал с каждой минутой...

* * *

Революционное человеческое болото, залившее нас, все же имело какие-то кочки... Эти «кочки опоры», на которых нельзя было стоять, но по которым можно было перебежать — были те революционные связи, которые Керенский имел: это были люди, отчасти связанные в какую-то организацию, отчасти не связанные, но признавшие его авторитет. Вот почему на первых порах революции (помимо его личных качеств, как первоклассного актера) Керенский сыграл такую роль... Были люди, которые его слушались... Но тут требуется некоторое уточнение: я хочу сказать, были вооруженные люди, которые его слушались. Ибо в революционное время люди только те, кто держит в руках винтовку. Остальные — это мразь, пыль, по которой ступают эти — «винтовочные».

* * *

Правда, «вооруженные люди Керенского» не были ни полком, ни какой-либо «частью», вообще — ничем прочным.

Это были какие-то случайно сколотившиеся группы... Это были только «кочки опоры»... Но все же они у него были, и это было настолько больше личности, имевшейся у нас, всех остальных, насколько нечто больше нуля...

* * *

Кому я, например, мог что-нибудь приказать? Своим же членам Государственной думы? Но ведь они не были вооружены. А если бы были? Неужели можно было составить батальон из дряхлых законодателей?

По психологии, наступившей через год (время Корниловской⁸⁴ эпопеи), может быть, и можно бы было. Тогда председатель Государственной думы и несколько ее членов сделали корниловский поход. Но 27 февраля 1917 года? Я убежден, что, если бы сам Корнилов был членом Государственной думы, ему это не пришлось бы в голову.

Впрочем, нечто в этом роде пришло в голову через несколько дней члену Государственной думы казаку Караулову⁸⁵. Он задумал «арестовать всех» и объявить себя диктатором. Но когда он повел такие речи в одном наиболее «надежном полку», он увидел, что если он не перестанет, то ему самому несдобровать... Такой же прием ожидал каждого из нас... Кому мог приказать Милюков? Своим «кадетам»? Это народ не винтовочный...

* * *

А у Керенского были какие-то маленькие зацепки... Они не годились ни для чего крупного. Но они давали какую-то иллюзию власти. Это для актерской, легко воспламеняющейся, самой себе импонирующей природы Керенского было достаточно... Какие-то группы вооруженных людей пробились к нему сквозь человеческое месиво, залившее Думу, искали его, спрашивали, что делать, как «защищать свободу», кого схватить... Керенский вдруг почувствовал себя «тем, кто приказывает»... Вся внешность его изменилась... Тон стал отрывист и повелителен...

«Движения быстры»...

* * *

Я не знаю, по его ли приказанию или по принципу «самозарождения», но по всей столице побежали добровольные

жандармы «арестовывать»... Во главе какой-нибудь студент, вместо офицера, и группа «винтовщиков» — солдат или рабочих, чаще тех и других... Они врываются в квартиры, хватали «прислужников старого режима» и волокли их в Думу.

Одним из первых был доставлен Щегловитов, председатель Государственного совета, бывший министр юстиции, тот министр, при котором был процесс Бейлиса (не потому ли он был схвачен первым?). Тут в первый раз Керенский «развернулся»...

Группка, тащившая высокого седого Щегловитова, пробивалась сквозь месиво людей, и ей уступали дорогу, ибо поняли, что схватили кого-то важного... Керенский, извещенный об этом, резал толпу с другой стороны... Они сошлись...

Керенский остановился против «бывшего сановника» с видом вдохновенным:

— Иван Григорьевич Щегловитов — вы арестованы!

Властные, грозные слова... «Лик его ужасен».

— Иван Григорьевич Щегловитов... ваша жизнь в безопасности... Знайте: Государственная дума не проливает крови.

Какое великодушие!.. «Он прекрасен»...

В этом сказался весь Керенский: актер до мозга костей, но человек с искренним отвращением к крови в крови.

Так говорили отцы инквизиторы, сжигая свои жертвы...

Так и Керенский: сжигая Россию на костре «свободы», провозглашал:

— Дума не проливает крови...

* * *

Но, как бы там ни было, лозунг был дан. Лозунг был дан и дан в форме декоративно-драматической, повлиявшей на умы и сердца...

Скольким это спасло тогда жизнь...

* * *

Комитет Государственной думы все заседал, что-то выработывал. Было уже поздно... Мне ужасно захотелось есть. И притом надо было посмотреть, что делается... Я стал пробиваться к буфету.

Все было забито народом. В большом Белом зале (зал заседаний Государственной думы) шел непрерывный митинг... В огромном Екатерининском стояли, как в церкви... В Круглом, около входа, непрерывный водоворот. Из вестибюля еще и еще лила струя людей... Казалось, им не может быть конца.

Чтобы пробиться, куда мне было нужно, надо было включиться в благоприятный человеческий поток... Иначе никак нельзя было... Так должны были мы передвигаться, мы, хозяева, члены Государственной думы. Я толкался среди этой бессмысленной толпы, своим нелепым присутствием парализовавшей всякую возможность что-нибудь делать... Тоска и бешенство бессилия терзали меня...

Наконец, поток вынес меня в длинный коридор, который через весь корпус Думы ведет к ресторану. Я двигался медленно; в одном месте застрял... Чтобы не видеть хоть минуту всех этих гнусных лиц,— я отвернулся к окну... Увы, там,— там еще хуже... Сплошная толпа серо-рыжей солдатни и черноватого штатско-рабочеподобного народа залила весь огромный двор и толкалась там... Минутами толпу прорезали кошмарные огромные животные, ошестиненные и оглушительно-рычащие... Это были автомобили-грузовики, набитые до отказа революционными борцами... Штыки торчали во все стороны, огромные красные флаги вились над ними. Какое отвращение... Вдруг кто-то, стоявший рядом со мной, сказал что-то. Я посмотрел на него. Это был солдат. Хмурый, как и я, он смотрел в окно. Потом повернулся ко мне. Лицо у него было какое-то «не в себе». Встретившись со мной глазами и, очевидно, что-то сообразив, он сказал, как бы продолжая то, что он бормотал:

— А у вас тут нет? В Государственной думе?

Сначала я подумал, что он, наверное, просит папирос... но вдруг понял, что это другое...

— Чего нет? Что вы хотите?

Он смотрел в окно... Мазал пальцем по стеклу... Потом сказал нехотя:

— Да офицеров...

— Каких офицеров?

— Да каких-нибудь... Чтоб были подходящие...

Я удивился. А он продолжал, чуть оживившись:

— Потому как я нашим ребятам говорил: не будет так ладно, чтоб совсем без офицеров... Они, конечно, серчают на наших... Действительно бывает... Ну, а как же так совсем без них? Нельзя так... Для порядка надо бы, чтоб тебе был офицер... Может, у вас в Государственной думе найдутся какие — подходящие?..

* * *

На всю жизнь остались у меня в памяти слова этого солдата. Они искали в Думе «подходящих офицеров». Не нашли... И не могли найти... У Думы «своего офицерства» не было... Ах, если бы оно было!.. Если бы оно было, хотя бы настолько подготовленных, насколько была мобилизована «противоположная сторона»... Тогда борьба была бы возможна...

* * *

А «противоположная сторона» не дремала. Во всем городе, во всех казармах и заводах шли «летучие выборы»... От каждой тысячи по одному. Поднятием рук... Выбирали солдатских и рабочих депутатов. «Организовывали» массу... То есть, другими словами, работали над тем, чтобы подчинить ее себе.

А мы? Мы весьма плохо подозревали, что это делается, и во всяком случае не имели понятия о том, как это делается, и безусловно не имели никакого плана и мысли, как с этим бороться...

* * *

В буфете, переполненном, как и все комнаты, я не нашел ничего: все съедено и выпито до последнего стакана чая. Огорченный ресторатор сообщил мне, что у него раскрасили все серебряные ложки...

Это было начало: так «революционный народ» ознаменовал зарю своего «освобождения». А я понял, отчего вся эта многотысячная толпа имела одно общее неизреченно-гнусное лицо: ведь это были воры — в прошлом, грабители — в будущем... Мы как раз были на переломе, когда они меняли фазу... Революция и состояла в том, что воришки перешли в следующий класс: стали грабителями.

* * *

Я пошел обратно. Во входные двери все продолжала хлестать струя человеческого прилива. Я смотрел на них и думал: «Опоздали, голубчики, серебро уже раскрали»... Как я их ненавидел! Старая ненависть, ненависть 1905 года, бросилась мне в голову...

* * *

В одной проходной небольшой комнате был клубок людей, чего-то особенно волновавшихся. Центром этого кружка был человек в зимнем пальто и кашне, несколько растрепанный, седой, но еще молодой. Он что-то кричал, а к нему приставали. Вдруг он увидел как бы якорь спасения: очевидно, узнал кого-то. Этот кто-то был Милюков, пробиравшийся через толпу куда-то, белый как лунь, но чисто выбритый и «с достоинством». Человек, слегка растрепанный, бросился к сохранившемуся Милюкову:

— Павел Николаевич, что они от меня хотят? Я полгода был в тюрьме, меня вот оттуда вытащили, притащили сюда и требуют, чтобы я стал «во главе движения». Какого движения? Что происходит? Я ведь ничего не знаю... Что такое? Что от меня нужно?

Я не слышал, что ответил ему Милюков... Но когда последний проплывал мимо меня, освободившись, я спросил его — кто этот человек?

— Разве вы не знаете? Это Хрусталеv-Носарь⁸⁷.

В это же мгновение какой-то удивительно противный, сухой, маленький, бритый, с лицом, как бывает у куплетистов скверных шантанов, протискивался к Милюкову:

— Позвольте вам представиться, Павел Николаевич, ваш злейший враг...

Он сказал свою фамилию и исчез, а Милюков сказал мне:

— Этого вы, наверно, не знаете... Это Суханов-Гиммер⁸⁸, журналист...

— Почему он ваш «злейший враг»?

— Он — «пораженец»... Злостный «пораженец»⁸⁹...

* * *

Я не помню. Может быть, кто-нибудь помнит... В газетах того времени, вероятно, есть подробности... У меня от

этого дня осталась в памяти только эта толпа, залившая Таврический дворец каким-то серым движущимся кошмаром, кошмаром, говорящим, кричащим, штыками торчащим, порой извергающим из желтых труб марсельезу...

* * *

В этой толпе, незнакомой и совершенно чужой, мы себя чувствовали, как будто нас перенесли вдруг совсем в какое-то новое государство и иную страну. Если иногда попадалось знакомое лицо, то его приветствовали так, как люди встречают соотечественников на чужбине, и притом на враждебной чужбине...

* * *

К вечеру, кажется, стало известно, что старого правительства нет... Оно попросту разбежалось по квартирам... Не было оказано никакого сопротивления... В этот день, если не ошибаюсь, никого не арестовали из министров... Правительство ушло как будто даже раньше, чем кто-либо этого потребовал.

* * *

Не стало и войск... Т. е. весь гарнизон перешел на сторону «восставшего народа»... Но вместе с тем войска как будто стояли «за Государственную думу»... Здесь началось смешение... Выходило так, что и Государственная дума «восстала» и что она «центр движения»... Это было невероятно... Государственная дума не восставала... Но это паломничество солдат на «поклонение» Государственной думе создавало двусмысленное положение...

Родзянко то и дело вызывали на крыльцо, потому что та или иная «часть» пришла приветствовать Государственную думу... Родзянко выходил, говорил о верности родине и о спасении России. Его слова пропускали мимо ушей, но в Думе видели новую власть — это было ясно...

* * *

И ужас был в том, что этот ток симпатий к Государственной думе, принимавший порой трогательные формы, нельзя было использовать, нельзя было на него опереться... Во-первых, потому, что мы не умели этого сделать... Во-вторых, потому, что эти приветствовавшие — при-

ветствовали Думу как символ революции, а вовсе не из уважения к ней самой...

В-третьих, потому, что всю работала враждебная рука, которая отнюдь не желала укреплять власть Государственной думы, стоявшей на патриотической почве. Это была рука будущих большевиков, несомненно и тогда руководимых немцами...

В-четвертых, потому что эти войска были уже не войска, а банды вооруженных людей, без дисциплины и почти без офицеров... И тем не менее...

И тем не менее когда стало очевидно, что правительства больше нет, стало ясно и другое, что без правительства нельзя быть и часу. И что поэтому...

И что поэтому «Комитету Государственной думы», к которому начали бросаться со всех сторон за указаниями, приходится взвалить на себя шапку Мономаха...

Родзянко долго не решался. Он все допытывался, что это будет — бунт или не бунт?

— Я не желаю бунтоваться. Я не бунтовщик, никакой революции я не делал и не хочу делать. Если она сделалась, то именно потому, что нас не слушались... Но я не революционер. Против верховной власти я не пойду, не хочу идти. Но, с другой стороны, ведь правительства нет. Ко мне рвутся со всех сторон... Все телефоны обрывают. Спрашивают, что делать? Как же быть? Отойти в сторону? Умыть руки? Оставить Россию без правительства? Ведь это Россия же наконец!.. Есть же у нас долг перед родиной?.. Как же быть? Как же быть?

Спрашивал он и у меня.

Я ответил совершенно неожиданно для самого себя, совершенно решительно:

— Берите, Михаил Владимирович. Никакого в этом нет бунта. Берите, как верноподданный... Берите, потому что держава Российская не может быть без власти... И если министры сбежали, то должен же кто-то их заменить... Ведь сбежали? Да или нет?

— Сбежали... Где находится председатель Совета Министров — неизвестно. Его нельзя разыскать... Точно так же и министр внутренних дел... Никого нет... Кончено!..

— Ну, если кончено, так и берите. Положение ясно. Может быть два выхода: все обойдется — государь назначит новое правительство, мы ему и сдадим власть... А не обойдется, так если мы не подберем власть, то подберут другие, те, которые выбрали уже каких-то мерзавцев на

заводах... Берите, ведь наконец, черт их возьми, что же нам делать, если императорское правительство сбежало так, что с собаками их не сыщешь!..

Я вдруг разозлился. И в самом деле. Хороши мы, но хороши и наши министры... Упрямылись, упрямылись, довели до черт знает чего и тогда сбежали, предоставив нам разделяться с взбунтовавшимся сотысячным гарнизоном, не считая всего остального сброда, который залепил нас по самые уши... Называется, правительство великой державы. Слизь, а не люди...

* * *

С этой минуты во мне произошел какой-то внутренний перелом... Я стал искать выхода... какого-нибудь выхода...

* * *

До поздней ночи продолжалось все то же самое. Митинг в Думе и хлещущая толпа через все залы. Прибывающие части с марсельезой. Звонки телефонов. Десятки, сотни растерянных людей, требовавших ответа, что делать... Кучки вооруженных, приводивших арестованных... К этому надо прибавить писание «воззваний» от комитета Государственной думы и отчаянные вопли Родзянко по прямому проводу в Ставку с требованием немедленно на что-нибудь решиться, что-то сделать, действовать.

Увы! Как потом стало известно, в этот день государыня Александра Федоровна телеграфировала государю, что «уступки необходимы»⁹⁰.

Эта телеграмма опоздала на полтора года. Этот совет должен был быть подан осенью 1915 года. «Уступками» надо было расплатиться тогда — за великое отступление «без снарядов». Уплатить по этому счету и предлагало большинство Четвертой Государственной думы. Но тогда уплатить за потерю двадцати губерний отказались... Теперь же... Теперь же, кажется, было поздно... Цена «уступкам» стремительно падала... Какими уступками можно было бы удовлетворить это взбунтовавшееся море?..

* * *

Кажется, этой ночью Дума вроде как бы вооружилась... Толпа схлынула... Но какой-то солдатский табор ночевал в Думе... В сенях стояли пулеметы... Учреждена была, ка-

жется, должность коменданта Государственной думы. Под утро, выбившись из сил, мы дремали в креслах в полукруглой комнате, примыкающей к кабинету Родзянко — в «кабинете Волконского»... Просыпаясь от времени от времени, я думал о том, что можно сделать... Где выход, где выход?..

* * *

Я отчетливо понимал и тогда, как и теперь, как и всегда, сколько я себя помню, что без монархии не быть России. И мысль вертелась: как спасти монархию... Монархию, которая по тысячам причин, и, может быть, больше всего собственными руками, приготовила себе гибель. И должно быть, в эту бессонную ночь пришла мысль, которая, правильная или нет — об этом будет судить история, — свелась к следующему...

— Быть может, пожертвовав монархом, удастся спасти монархию...

Так, бесформенная, еще сама себя не сознающая, родилась мысль об отречении императора Николая II в пользу малолетнего наследника... Разумеется, родилась не у одного меня...

* * *

В эту же ночь, если не ошибаюсь, одну из комнат (бюджетной комиссии) занял «Исполком Совдепа»... Это дикое в то время название обозначало: «Исполнительный комитет Совета солдатских и рабочих депутатов»...

Кошмарная ночь... Где мы? Что, собственно, происходит? До какой степени развала уже дошли? Что с Россией? Что с армией? Знают ли уже?.. Если не знают, то завтра узнают... Как примут? Что произойдет?

Нужен центр. Нужен во что бы то ни стало какой-то фокус... Не то все разбредется... Все разлетится... Будет небывалая анархия... И главное — армия, армия. Все пропало, если развал начнется в армии. А он непременно начнется, если сейчас, сейчас же не будет кому повиноваться... Нельзя допустить, чтобы там произошло как здесь — взбунтовавшиеся солдаты без офицеров... Надо, чтобы туда дошло готовое решение... Пусть думают, что власть взята Государственной думой... Они сразу не разберутся, что Государственная дума сама по себе не может быть властью — для них это будет звучать... Для них это лозунг — «Госу-

дарственная дума»... И для России тоже... Это звучит в провинции... Они будут верить несколько дней... Здесь будет некоторое время распоряжаться Комитет Государственной думы... Пока решится вопрос о государе...

* * *

О государе. Да, вот это главное, самое важное... Может он царствовать? Может ли? О, как это узнать, как? Нет... не может... Все это, что было... Кто станет за него? у него — никого, никого... Распутин всех съел, всех друзей, все чувства... нет больше верноподданных... Есть скверноподданные и открытые мятежники... Последние пойдут против него, первые спрячутся... Он один... Хуже, чем один... Он с тенью Распутина... Проклятый мужик!.. Говорил Пуришкевичу — не убивайте, вот он теперь мертвый — хуже живого... Если бы он был жив, теперь бы его убили, хоть какая-нибудь отдушина. А то — кого убивать? Кого? Ведь этому проклятому сброду надо убивать, он будет убивать — кого же?

Кого?.. Ясно...

Нет, этого нельзя. Надо спасти, надо?

* * *

Чтобы спасти... чтобы спасти... надо или разогнать всю эту сволочь (и нас вместе с ними) залпами, или...

Или надо отречься от престола...

Ценой отречения спасти жизнь государю... и спасти монархию...

* * *

Если подавить бунт можно, то и слава богу. Это делают не только без нас, но и против нас...

Николай I повесил пять декабристов, но если Николай II расстреляет 50 000 «февралистов», то это будет за дешево купленное спасение России.

Это будет значить, что у нас есть государь, что у нас есть власть... Но если не удастся? Если для этого ни полков, ни полковников не найдется?..

Тогда... тогда — отречение... Царствовать будет малолетний царь... значит — регент. Регент? Кто? Михаил Александрович? Да, кажется... Потом Верховный Главнокоман-

дующий... Ну, великий князь Николай Николаевич, конечно...

Затем... Затем — правительство... Но кто?

* * *

Кто? В сущности... В сущности — никого... Ломали, ломали копыя, а для кого — неизвестно... Ну, Милюков, Шингарев, конечно... затем Керенский... да, Керенского необходимо... Он самый деятельный... сейчас... актер? Да, кажется... все равно... талантливый актер. На первых порах — это главное... Его одного слушают... да и нужно для левых. Родзянко? Родзянко пойдет только в премьеры, а в премьеры нельзя, не согласится левые и даже кадеты... Пусть остается председателем Думы... А будет Дума? Что-то не похоже... В сущности, мы в плену... Ах, проклятая гуща... Неужели завтра возобновится весь этот кошмар?.. Надо вздремнуть... Хоть минутку покоя, пока их нет... Их... Кого? Революционного сброда, то есть я хотел сказать — народа... Да, его величества народа... О, как я его ненавижу!..

* * *

28-е февраля

Наступил день второй, еще более кошмарный... «Революционный народ» опять залил Думу... Не протиснуться... Вопли ораторов, зверское «ура», отвратительная марсельеза... И при этом еще бедствие — депутатии... Неистовое количество людей от неисчислимого количества каких-то учреждений, организаций, обществ, союзов, я не знаю чего, желающих видеть Родзянко и в его лице приветствовать Государственную думу и новую власть. Все они говорили какие-то речи, склоняя «народ и свобода»... Родзянко отвечает, склоняя «родина и армия»... Одно не особенно клеится с другим, но кричат «ура» неистово. Однако кричат «ура» и речам левых... А левые склоняют другие слова: «темные силы реакции, царизм, старый режим, революция, демократия, власть народа, диктатура пролетариата, социалистическая республика, земля трудящимся» и опять — свобода, свобода, свобода — до одури, до рвоты... Всем кричат «ура». Некоторые начинают уже приветствовать и «Совет солдатских и рабочих депутатов». Его исполнительный комитет сидит у нас под боком... Мы ясно чувствуем, что это вторая власть... Впрочем, Керенский и Чхеидзе

избраны и там — они вошли в исполком... Они служат мостом между этими двумя головами. Да, получается нечто двуглавое, но отнюдь не орел. Одна голова кадетская, а другая еще детская, но по всем признакам «от вундеркинда», т. е. наглая и сильно горбоносая. Впрочем, и от «кавказской обезьяны» есть там доля порядочная...

Полки по-прежнему прибывают, чтобы поклониться. Все они требуют Родзянко... Родзянко идет, ему командуют «на караул»; тогда он произносит речь громовым голосом... крики «ура!»... Играют марсельезу, которая режет нервы... Михаил Владимирович очень приспособлен для этих выходов: и фигура, и голос, и апломб, и горячность... При всех его недостатках, он любит Россию и делает, что может, т. е. кричит изо всех сил, чтобы защищали родину... И люди загораются, и вот оглушительные «ура»... Но сейчас же вслед за этим выползает какая-нибудь кавказская обезьяна, или еще похуже, и говорит пораженческие мерзости, разжигая злобу и жадность... У них через каждое слово «помешики, царская клика, Распутин, крепостники, опричники, жандармы»... И им тоже кричат «ура», да, да — кричат... и напрасно Михаил Владимирович себя обольщает, что Государственная дума взяла власть. Вздор. Болото — кругом. Ни на что нельзя опереться. Это оглушительное «ура» — это мираж. Ведь я знаю, чему они так рады... Потому что надеются не пойти на фронт. Почти все части без офицеров... Где офицеры?..

* * *

Тем не менее Комитет Государственной думы работает в этот день вовсю... Правительства нет, все брошено... Весь огромный механизм остановлен на полном ходу, остановлен и обезглавлен... Всеобщий развал неминуем, если не принять самых экстренных мер... Положение таково, что многих старых бюрократов нельзя оставить... Часть их даже арестована добровольными сыщиками и притащена сюда... Часть бежала... Часть надо заменить, потому что... Ну, потому что их не удержать. Кем заменить? Кто имеет авторитет — реальной силы ведь нет... Кто?

И решили послать членов Государственной думы... «комиссарами»⁹¹... То есть временно «исполняющими должность сановников». Никто не смел отказаться... Ведь все обещали беспрекословное повиновение Комитету Государственной думы... И не было случая отказа... Мы назначали

такого-то туда-то — Родзянко подписывал, и человек ехал. Из крупных назначений и удачных было назначение члена Думы инженера Бубликова комиссаром в «Пути сообщения». Он сразу овладел железными дорогами. Может быть, он и сделал кое-какие ошибки, но благодаря ему железные дороги не стали. Не помню остальных — их много было... Ведь всюду, всюду требовалось, все учреждения умоляли «прислать члена Государственной думы». Авторитет их был высок еще... Чем дальше от Таврического дворца — тем обаяние Государственной думы было сильнее и воспринималось пока как власть...

* * *

Но здесь... Здесь росло противодействие... Противодействие этого проклятого исполкома, который опирался на всю эту толпу, залепившую Государственную думу... Ах, если бы у нас был хоть один верный полк, чтобы вымести отсюда всю эту банду и занять караулы...

Но полка нет... И офицеров нет...

* * *

Еще одним бедствием были — аресты... Целый ряд членов Думы занят исключительно тем, чтобы освобождать арестованных... Еще слава богу, что дан лозунг: «Тащи в Думу — там разберут»... Дума обратилась в громадный участок... С тою только разницей, что раньше в участок таскали городские, а теперь тащат городских... Их по преимуществу... Многих убили — «фараонов»... Большинство приволокли сюда, остальные прибежали сами, спасаясь, прослышав, что «Государственная дума не проливает крови»... За это Керенскому спасибо. Пусть ему зачтут это когда-нибудь. Жалкие эти городские — сил нет на них смотреть! В штатском, переодетые, испуганные, приниженные, похожие на мелких лавочников, которых обидели, стоят громадной очередью, которая из дверей выходит во внутренний двор Думы и так закручивается... Они ждут очереди быть арестованными... Но, говорят, некоторые герои до сих пор сражаются... Отдельные сидят по крышам с механическими ружьями и отстреливаются. Или это все вздор — эти пулеметы на крышах... Не разберешь, кто их туда послал и даже были ли они там... Во всяком случае, какая невероятная ошибка правительства была разбросать

полицию по всему городу... Надо было всех собрать в кулак и выждать... Когда все части взбунтовались бы, потеряли дисциплину — стройному кулаку их легко было бы раздавить... Но кто это мог сообразить? Протопопов?⁹² Александр Дмитриевич? Министр внутренних дел с прогрессивным параличом. А ведь мы же сами его и подсунули... Ведь он был товарищем председателя Государственной думы... Это положение ведь и был тот трамплин, с которого он прыгнул в министры...

Как все это ужасно!

Арестованных масса. Арестовали и некоторых членов Думы... Кабинет Родзянко мы еще удерживаем... Сюда мы стараемся сконцентрировать арестованных, которых можно немедленно освободить...

* * *

Я не помню точно, когда это было. Но это было в кабинете Родзянко. Я сидел против того большого зеркала, что занимает почти всю стену. Вся большая комната была сплошь набита народом. Беспомощные, жалкие — по ступенькам примостились на, уже сильно за эти дни потрепанные, креслах и красных шелковых скамейках — арестованные. Их без конца тащили в Думу. Целый ряд членов Государственной думы только тем и занимался, что разбирался в этих арестованных. Как известно, Керенский дал лозунг: «Государственная дума не проливает крови». Поэтому Таврический дворец был прибежищем всех тех, кому угрожала расправа революционной демократии. Тех, кого нельзя было выпустить хотя бы из соображений их собственной безопасности, направляли в так называемый «павильон министров», который гримасничающая судьба сделала «павильоном арестованных министров». В этом отношении между Керенским, который, главным образом, «ведет» арестным домом, и нами установилось некое соглашение. Мы видели, что он играет комедию перед революционным сбродом, и понимали цель этой комедии. Он хотел спасти всех этих людей. А для того, чтобы спасти, надо было сделать вид, что, хотя Государственная дума не проливает крови, она «расправится с виновными»...

Остальных арестованных (таковых было большинство), которых можно было выпустить, мы передерживали вот тут, в кабинете Родзянко. Они обыкновенно сидели несколь-

ко часов, пока для них изготавливались соответственные «документы». Кого тут только не было...

Исполняя тысячу одно поручение, как и все члены Комитета, я как-то, наконец, выбившись из сил, опустился в кресле кабинета Родзянко против того большого зеркала... В нем мне была видна не только эта комната, набитая толкающимися и шныряющими во все стороны разными людьми, но видна была и соседняя, «кабинет Волконского», где творилось такое же столпотворение. В зеркале все это отражалось несколько туманно и несколько картинно...

Вдруг я почувствовал, что из кабинета Волконского побежало особенное волнение, причину которого мне сейчас же шепнули:

— Протопопов арестован!..

И в то же мгновение я увидел в зеркале, как бурно распахнулась дверь в кабинете Волконского и ворвался Керенский. Он был бледен, глаза горели, рука поднята... Этой протянутой рукой он как бы резал толпу... Все его узнали и расступились на обе стороны, просто испугавшись его вида. И тогда в зеркале я увидел за Керенским солдат с винтовками, а между штыками тщедушную фигурку с совершенно затурканным, страшно съезжившимся лицом... Я с трудом узнал Протопопова...

— Не смей прикасаться к этому человеку!..

Это кричал Керенский, стремительно приближаясь, бледный, с невероятными глазами, одной поднятой рукой разрезал толпу, а другой, трагически опущенной, указывая на «этого человека»...

Этот человек был «великий преступник против революции» — «бывший» министр внутренних дел.

— Не смей прикасаться к этому человеку!..

Все замерли. Казалось, он его ведет на казнь, на что-то ужасное. И толпа расступилась... Керенский пробежал мимо, как горящий факел революционного правосудия, а за ним влекли тщедушную фигурку в помятом пальто, окруженную штыками... Мрачное зрелище...

Прорезав кабинет Родзянко, Керенский с этими же словами ворвался в Екатерининский зал, битком набитый солдатами, будущими большевиками и всяким сбродом...

Здесь началась реальная опасность для Протопопова. Здесь могли наброситься на эту тщедушную фигурку, вырвать ее у часовых, убить, растерзать — настроение было накалено против Протопопова до последней степени.

Но этого не случилось. Пораженная этим странным зре-

лищем — бледным Керенским, влекущим свою жертву, — толпа раздалась перед ними.

— Не смей прикасаться к этому человеку!..

И казалось, что «этот человек» вовсе уже и не человек...

И пропустили. Он прорезал толпу в Екатерининском зале и в прилегающих помещениях и довел до павильона министров... А когда дверь павильона захлопнулась за ними — дверь охраняли самые надежные часовые, — комедия, требовавшая сильного напряжения нервов, кончилась. Керенский бухнулся в кресло и пригласил «этого человека»:

— Садитесь, Александр Дмитриевич!..

* * *

Протопопов пришел сам. Он знал, что ему угрожает, но он не выдержал «пытки страхом». Он предпочел скрыванию, беганию по разным квартирам отдаться под покровительство Государственной думы.

Он вошел в Таврический дворец и сказал первому попавшемуся студенту:

— Я — Протопопов.

Ошарашенный студент бросился к Керенскому, но по дороге разболтал всем, и к той минуте, когда Керенский успел явиться, вокруг Протопопова уже была толпа, от которой нельзя было ждать ничего хорошего. И тут Керенский нашелся. Он схватил первых попавшихся солдат с винтовками и приказал им вести за собой «этого человека».

* * *

В этот же день Керенский спас и другого человека, против которого было столько же злобы. Привели Сухомлинова⁹³. Его привели прямо в Екатерининский зал, набитый сбродом. Расправа уже началась. Солдаты уже набросились на него и стали срывать погоны. В эту минуту подоспел Керенский. Он вырвал старика из рук солдата и, закрывая собой, провел его в спасительный павильон министров. Но в ту же минуту, когда он его спихивал за дверь, наиболее буйные солдаты бросились со штыками... Тогда Керенский со всем актерством, на какое он был способен, вырос перед ними:

— Вы переступите через мой труп!!

И они отступили...

* * *

Выражение «великая, бескровная» теперь справедливо заплевано, ибо оно стало не только смешным, но кощунственным после тех потоков крови, которые пришли позже... Но Керенский, по крайней мере, свою «бескровную» точку зрения, свою «бескровную» тактику защищал со всей энергией, со всей актерской повелительностью, на которую был способен. Он не только не пролил крови сам, но он употребил все силы своего «драматического таланта», чтобы кровь «при нем» не была пролита.

Многие ли могут похвалиться, что они в известную минуту не закрывали глаз и не умывали рук?..

* * *

В этот день дела испортились в полках. Хотя почти все части, которые являлись в Государственную думу, были без офицеров, но все же до сих пор открытых враждебных действий против офицерства, как такового, не наблюдалось. А сегодня это началось. И по телефону и личные делегации из разных петроградских полков стали просить, чтобы приехать повлиять на солдат, которые вышли из повиновения и стали угрожать. Комитет Государственной думы немедленно занялся этим. Сначала послали желающих, независимо от их левизны. Поехали те, кто чувствовал себя в силах говорить с толпой, — главным образом, звонкий голос... Они поехали, вернулись через некоторое время в очень хорошем настроении. Так, помню, в один из полков послали одного правого националиста, человека искреннего и с убедительными нотками в его несколько бочковатом басы. Он вернулся.

— Да ничего... Хорошо. Я им сказал, — кричат «ура». Сказал, что без офицеров ничего не будет, что родина в опасности. Они кричали «ура». Обещали, что все будет хорошо, они верят Государственной думе...

— Ну, слава богу...

Только вдруг зазвенел телефон...

— Откуда? Алло?

— Как? Да ведь только что у вас были... все же кончилось очень хорошо... Что, опять волнуются? Кого? Кого-нибудь полевее? Хорошо, сейчас придем.

Посылаем Милокова. Милоков вернулся через час — очень довольный.

— Да вот... Они немного волнуются. Мне кажется, что с ними говорили не на тех струнах... Я говорил в казарме с какого-то эшафота. Был весь полк, и из других частей... Ну, настроение очень хорошее. Меня вынесли на руках...

Но через некоторое время телефон зазвонил снова и отчаянно.

— Алло! Слушаю! Такой-то полк? Как, опять? А Милоков?.. Да они его на руках вынесли... Как? Что им надо? Еще левей?.. Ну хорошо. Мы пришлем трудовика...

Мы послали, кажется, Скобелева. Он на время успокоил... Затем, кажется, посылали кого-то из эс-деков... Затем?

Затем офицерство стало разбегаться. Их жизни угрожала опасность. Часть покинула казармы, часть со страха сбежала в Государственную думу...

* * *

День прошел, как проходит кошмар. Ни начала, ни конца, ни середины — все перемешалось в одном водовороте. Депутации каких-то полков; непрерывный звон телефона; бесконечные вопросы, бесконечное недоумение — «что делать»; непрерывное посылание членов Думы в различные места; совещания между собой; разговоры Родзянко по прямому проводу⁹⁴; нарастающая борьба с исполкомом совдепа, засевающим в одной из комнат; непрерывно повышающаяся температура враждебности революционной мешанины, залепившей Думу; жалобные лица арестованных; хвосты городских, ищущих приюта в Таврическом дворце; усиливающаяся тревога офицерства — все это переплелось в нечто, чему нельзя дать названия по его нервности, мучительности...

В конце концов, что мы смогли сделать? Трехсотлетняя власть вдруг обвалилась, и в ту же минуту тридцатитысячная толпа обрушилась на голову тех нескольких человек, которые могли бы что-нибудь скомбинировать. Представьте себе, что человека опускают в густую, густую, липкую мешанину. Она обессиливает каждое его движение, не дает возможности даже плыть, она слишком для этого вязкая... Приблизительно в таком мы были положении, и потому все наши усилия были бесполезны — это были движения человека, погибающего в трясине... По этой трясине, прыгая с кочки на кочку, мог более или менее двигаться — только Керенский...

* * *

Ночью толпа понемногу схлынула. Это не значило, что она ушла совсем. Какие-то военные части ночевали у нас в большом Екатерининском зале.

В полутемноте ряд совершенно посеревших колонн с ужасом рассматривает, что происходит. Они, видевшие Екатерину, они, видевшие «Думу народного гнева», эпоху Столыпина, наконец, неудачные попытки пресловутого «блока» спасти положение, — видят теперь его величество народ во всей его красе. Блестящие паркетные покрылись толстым слоем грязи. Колонны обшарпаны и побиты, стены засалены, мебелировка испорчена, — в манеж превращен знаменитый Екатерининский зал.

Все, что можно было испакостить, испакощено — и это символ. Я ясно понял, что революция делает с Россией: все залепит грязью, а поверх грязи положит валяющуюся солдатню...

* * *

Я вернулся в кабинет Родзянко, который был еще прибежищем. Там все-таки было немного лучше, еще не допустили улицу, еще сохранилось кое-что. На ночь осталось ночевать несколько человек — членов Государственной думы.

Я улегся на какой-то кушетке. Рядом со мной поместился Некрасов. Он, после Керенского, оказался человеком, наиболее приспособленным для скакания по революционному болоту. Он проявлял энергию.

Укладываясь, он сказал мне:

— Вы знаете, что в городе еще происходят бои?

— Как?

— Да... еще кто-то там держится в Адмиралтействе. На Адмиралтейство идут штурмом. Там, кажется, Хабалов еще сидит... Их можно бы разогнать, если бы запалить из Петропавловской крепости...

— Т.е. как запалить? Ведь мы же, слава богу, не делаем революции.

— Ну да... Но видите... Ведь это же невозможно... Ведь власть все равно сбежала... Правительство сейчас — это Комитет Государственной думы... Он взял власть в свои руки... Какой же смысл в этом Адмиралтействе?.. Кто там

засел и для чего?.. Вот поэтому и неприятно, что Петропавловка не в наших руках...

— Как так?

— Да так... Гарнизон Петропавловской крепости сидит там, и комендант говорит, что он не может, что ему поручено охранять крепость... Ну, словом, они не с нами...

— Т.е. как не с нами?.. Да ведь с кем же мы? Что же мы в самом деле, с этой... ну, словом, словом — «с нами»?

— Нет, конечно... Но все же необходимо делать вид... Ведь если нас хоть немного слушаются, то потому, что мы против старой власти...

— Позвольте!.. Мы были против министров... Но когда же мы были против военной власти? Вы же говорите, что там Хабалов — командующий войсками?

— Ну да, конечно, происходит путаница... Ведь надо же, чтобы одному кому-нибудь повиновались... Ну, Дума — так Дума... Ну, словом, кому-нибудь из нас надо поехать в Петропавловскую крепость, чтобы все это уладить. Надо поговорить с комендантом... Вы не поехали бы?..

Я соображал...

Пустить несколько снарядов из Петропавловской крепости в Адмиралтейство — до чего додумался Некрасов!.. Этого именно как раз ни в коем случае нельзя допустить... Стрелять «по Хабалову»... В то время когда мы употребляем все усилия, чтобы сохранить авторитет офицеров? Что за галиматья?..

И я решил сам поехать в Петропавловскую крепость...

* * *

Но пришлось ждать утра... Потому что не были готовы воззвания от Комитета Государственной думы, которые где-то печатались и которые мне надо было отвезти. Я иногда засыпал на несколько минут, потом просыпался и в полутемноте видел родзянковский кабинет и несколько фигур, свалившихся от усталости... Они лежали там и сям в неудобных позах, истомленные, изведенные... Это были современные «властители России»...

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ «КОНСТИТУЦИИ»

(Продолжение)

(1 марта 1917 года)

Рано утром принесли свежеспавшие типографской краской листки. Их принес кто-то — видимо, офицер, но без погон. Откуда он взялся — не знаю. Некрасов рекомендовал мне его взять с собой, так сказать, для сопровождения... Кроме того, мне дали не то простыню, не то наволоку — это должно было изображать белый флаг... Я вышел на крыльцо, — было холодно и сыро, чуть туманно, но день, кажется, собирался быть солнечным... Несмотря на ранний час, уже было достаточно народу на дворе. Все больше солдаты.

Мне подали автомобиль... Боже мой, неужели мне придется!..

Над автомобилем был красный флаг, и штыки торчали во все стороны... Мой офицер отворил мне дверцу... Ничего не поделаешь...

Стали мелькать знакомые, казавшиеся незнакомыми, улицы... Вот только двое суток прошло, а все кажется новым, как будто прошли годы... Шпалерная... Навстречу нам идут какие-то части с музыкой, очевидно, «на поклон» Государственной думе... Набережная... Неужели это та самая Нева?.. Бродят какие-то беспорядочные толпы вооруженных людей, рычат и проносятся ошестиненные штыками грузовики... Зачем они несутся?.. Сами не знают, конечно... «За свободу...»

Вот Троицкий мост... Толпа увеличивается по мере приближения к крепости...

На Каменноостровском, против длинных мостков, которые ведут через канал к крепости, — митинг... Откуда взялись эти люди так рано?

Подъехали к мосткам... Толпа все же не смеет еще проникнуть «туда». Она еще уважает часового... Мой спутник говорит, что надо «махать белым флагом».

Но я отлично вижу в том конце офицера, который явно нас ожидает... Я перед отъездом приказал позвонить из Государственной думы...

Я иду по мосткам. Он радостно срывается нам навстречу.

— Мы вас так ждали... Ах, как хорошо, что вы приехали... Пожалуйста — комендант вас ждет...

* * *

Пройдя по бесконечным коридорам, мне до той поры незнакомым, я нашел коменданта, почтенного генерала. С ним было несколько офицеров.

Я сказал коменданту:

— Я прислан сюда для переговоров... от имени Комитета Государственной думы... Как вы смотрите на положение вещей, ваше превосходительство?

Старый генерал заволновался:

— Да вот, видите... Ведь вы должны нас понимать... Пожалуйста, не думайте, что мы против Государственной думы... Наоборот, мы понимаем, мы очень рады... что в такое время какая-нибудь власть... Мы всецело подчиняемся Государственной думе, вот я и гг. офицеры... Но ведь, я думаю, для каждой власти, для всякого правительства необходимо сохранить то, что у нас под охраной?.. У нас, вы знаете, во-первых, — царские могилы, потом Монетный двор, наконец Арсенал... Ведь вы же подумайте... Это же невозможно, чтоб толпа сюда ворвалась! Это же необходимо охранять для всех, для каждого правительства... Мы не можем то, что нам поручили... мы не можем... Мы должны охранять... Это наш долг... присяги...

Я перебил старика:

— Ваше превосходительство, не трудитесь доказывать то, что совершенно ясно для каждого... здравомыслящего человека... Так как вы изволили сказать, что признаете власть Государственной думы, то я от имени Государственной думы — прошу вас и настаиваю... Очень рад, что могу это сделать в присутствии гг. офицеров... Крепость со всем тем, что в ней есть, должна быть охранена во что бы то ни стало...

Генерал просветлел...

— Ну, вот... Теперь все ясно... Теперь мы спокойны... Теперь мы знаем, чего держаться. Но вы не согласны были бы оставить письменный приказ?

Я написал от имени Комитета Государственной думы приказ коменданту Петропавловской крепости — охранять ее всеми имеющимися в его распоряжении силами и ни в коем случае не пускать толпу на территорию крепости.

Но меня беспокоила одна мысль... Ведь почему Басти-

лию сожгли? Думали, что в ней политические арестованные, хотя ни одного арестованного в Бастилии тогда уже не было. Как бы не «повторилась история».

— Скажите, пожалуйста, у вас есть арестованные — политические?

— Нет... есть только одиннадцать солдат, арестованных уже за эти беспорядки...

— Этим вам придется выпустить...

— Сейчас будет сделано.

— Но я не этим интересуюсь... есть ли политические... которых освобождения могут «требовать»? Вы понимаете меня?

— Понимаю... Нет ни одного... Последний был генерал Сухомлинов... Но и он освобожден несколько времени тому назад...

— Неужели все камеры пусты?

— Все... Если желаете, можете убедиться...

— Нет, мне убеждаться не надо... Но вот те — там на Каменноостровском — могут не поверить... И потому сделаем так: если от меня приедут члены Государственной думы и предьявят мою записку,— предоставьте им взять несколько человек из толпы и покажите им все камеры... Пусть убедятся сами...

— Слушаюсь, но только по вашей записке...

— Да, до свидания...

Мы стали уходить, но ко мне обратились с просьбой несколько офицеров — сказать речь гарнизону, который волнуется...

— Поддержите нас... офицеров... чтобы они знали, что Государственная дума требует дисциплины...

Во дворе был выстроен гарнизон... Раздалась команда: «Смирно!»...

Я сказал им речь... Я говорил о том, что в то время, когда происходят такие большие события, нужно помнить об одном,— что идет война, что все мы находимся под взглядом врага, который сторожит, чтобы на нас броситься, и, если чуточку ослабеем,— сметет нас... И все пойдет прахом... И вместо свободы, о которой мы мечтаем,— получим немца на шею... А всякий военный служащий знает, что армия держится только одним — дисциплиной... Нравится начальник или не нравится, это не имеет никакого значения... об этом про себя рассуждай, у себя в душе, а повинуйся ему не как человеку, а как начальнику... В этом и есть разумная свобода... «Повинуюсь потому, что люблю

родину, и не позволю, чтобы враг ее раздавил». Господа офицеры, с которыми я только что говорил, находятся в полном согласии с Государственной думой; Государственная дума в моем лице отдает приказ защищать крепость во что бы то ни стало!..

И так далее в этом роде...

Слушали, по-видимому, понимали и даже сочувствовали...

Когда я кончил, кто-то крикнул:

— «Ура» товарищу Шульгину...

Но, уходя под это «ура», я очень ясно чувствовал, что дело скверно...

* * *

Перейдя мостки, я видел, что толпа на Каменноостровском страшно увеличилась и возбуждена... Но тут сопровождавший меня офицер оказался как раз у места. Он вскочил на автомобиль и, стоя, разразился своеобразной речью, из которой можно было понять, что Петропавловская крепость «за свободу» и все вообще благополучно... Толпа кричала «ура!» и почему-то пришла в благодушное настроение...

В это время я увидел, что через Троицкий мост несутся к нам несколько грузовиков, угрожающе разукрашенных красными флагами и торчащими штыками... Бешено рыча моторами, они остановились перед мостками, рядом с нашей машиной... Люди были в большом возбуждении, щелкали затворами и кричали:

— Почему она (крепость) красного флага не подняла? Открыть военные действия!..

Мой офицер перескочил с сиденья нашего автомобиля на мотор грузовика и завопил оглушительно:

— Дурачье набитое! Открыть ему «военные действия»! А какого черта тебе «действия»... когда она бездействует!.. Вот член Государственной думы!.. Все уже там сделал. Крепость — за свободу, за народ... а ему — «военные действия»... Повоевать захотелось?! Не навоевались?!

Он сделал смешную, презрительную рожу. Толпа стала на его сторону...

— Ну, проваливай, «военные действия»! Тоже!

Те смутились. Мой офицер не дал им опомниться...

— Заворачивай...

Завернули и поехали...

Так я «взял» Петропавловскую крепость... Некрасов мог быть доволен.

* * *

Возвращаюсь в Государственную думу. Толпа стоит огромная, заняв не только двор полностью, но и Шпалерную... Наш автомобиль с трудом пробивает себе дорогу... Мой офицер кричит:

— Пропустите члена Государственной думы...

И пропускают. Теснятся... Мы продираемся сквозь это живое мясо. Я сидел прямо, глядя перед собой... Мне противно было смотреть на них... Бог его знает как — они это почувствовали... Когда автомобиль застрял в воротах, я разобрал насмешливое замечание:

— Какая величественность во взгляде...
Я предпочел «не услышать».

* * *

Все пространство между крыльями Таврического дворца набито людьми. Рыжевато-серо-черная масса, изукрашенная штыками. Солдаты, рабочие, интеллигенты... Революционный народ...

Господи, чего им надо? Моя машина под протекторатом красного флага пробивается через эту кашу...

Слава богу, наконец я опять в Таврическом дворце... Слава богу? Да... да — там, в «кабинете Родзянко», есть еще близкие люди. Да, близкие потому, что они жили на одной со мной планете. А эти? Эти — из другого царства, из другого века... Эти — это страшное нашествие неоварваров, столько раз предчувствуемое и наконец сбывшееся... Это — скифы. Правда, они с атрибутами XX века — с пулеметами, с дикорычащими автомобилями... Но это внешне... В их груди косматое, звериное, истинно скифское сердце...

* * *

Вышел из автомобиля... Пробиваюсь через залы Таврического дворца...

Все то же.

Все та же толпа, все тот же митинг, все то же завывание марсельезы...

Но есть новое...

За столиками, примостившись где-нибудь между обшарпанных, когда-то белых колонн, сидят барышни-еврейки, с виду — дантистки, акушерки, фармацевтки, и торгуют «литературой»...

Это маркитантки революции...

* * *

В разных комнатах на дверях бумажки с надписями... Какие-то «бюро», «учреждения» с дикими названиями... Очевидно, они прочно оседают... они завоевывают Таврический дворец шаг за шагом...

* * *

Пробиваюсь в кабинет Родзянко. Но что же это такое? И тут «они»!

Где же — «мы»?

— Пожалуйста, Василий Витальевич, — Комитет Государственной думы перешел в другое помещение...

Вот оно — это «другое помещение». Две крохотные комнатки в конце коридора, против библиотеки... где у нас были самые какие-то неведомые канцелярии...

Вот откуда будут управлять отныне Россией...

* * *

Но здесь я нашел всех своих. Они сидели за столом, покрытым зеленым бархатом... Посередине — Родзянко, вокруг — остальные... Керенского не было... Но не успел я рассказать, что было в Петропавловке, как дверь «драматически» распахнулась. Вошел Керенский... за ним двое солдат с винтовками. Между винтовками какой-то человек с пакетами.

Трагически-«повелительно» Керенский взял пакет из рук человека...

— Можете идти...

Солдаты повернулись по-военному, а чиновник — просто. Вышли...

Тогда Керенский уронил нам, бросив пакет на стол:

— Наши секретные договоры с державами... Спрячьте...
И исчез так же драматически...

— Господи, что же мы будем с ними делать? — сказал Шидловский. — Ведь даже шкафа у нас нет...

— Что за безобразие, — сказал Родзянко. — Откуда он их таскает?

Он не успел разразиться: его собственный секретарь вошел поспешно.

— Разрешите доложить... Пришли матросы... Весь гвардейский экипаж... Желают видеть председателя Государственной думы...

— А черт их возьми совсем! Когда же я займусь делами? Будет этому конец?

Секретарь невозмутимо переждал бутаду.

— С ними и великий князь Кирилл Владимирович⁹⁵...

— Надо идти, — сказал кто-то.

Родзянко, ворча, пошел. Был он огромный и внушительный. Нес он в эти дни «свое положение» самоотверженно. С утра до вечера и даже ночью ходил он на крыльцо или на улицу и принимал «поклонение частей». Солдаты считали каким-то своим долгом явиться в Государственную думу, словно принять новую присягу. Родзянко шел, говорил своим запорожским басом колокольные речи, кричал о родине, о том, что «не позволим врагу, проклятому немцу, погубить нашу матушку-Русь»... — и все такое говорил и вызывал у растроганных (на минуту) людей громовое «ура»... Это было хорошо — один раз, два, три... Но без конца и без счета — это была тяжкая обязанность, каторжный труд, который совершенно отрывал от какой бы то ни было возможности работать... А ведь Комитет Государственной думы пока заменял все... Власть и закон и исполнителей... Родзянко был на положении председателя Совета министров... И вот «положение». Премьер, вместо того чтобы работать, каждую минуту должен бегать на улицу и кричать «ура», а члены правительства: одни — «берут крепости», другие — ездят по полкам, третьи — освобождают арестованных, четвертые — просто теряют голову, заталкиваемые лавиной людей, которые все требуют, просят, молят руководства...

Я видел, что так не может продолжаться: надо правительство. Надо как можно скорее правительство...

Куда же деть эти секретные договоры? Это ведь самые важные государственные документы, какие есть... Откуда Керенский их добыл?

Этот человек был из Министерства иностранных дел... Очевидно, видя, что делается, он бросился к Керенскому, так как боялся, что не в состоянии будет их сохранить... А Керенский приволок сюда...

Что за чепуха!.. Так же нельзя! Ну, спасли эти договоры, — но все остальное могут растащить... Мало ли по всем министерствам государственно важных документов?... Неужели же всех их сюда свалить?

И куда? Нет не только шкафа, но даже ящика нет в столе... Что с ними делать?

Но кто-то нашелся:

— Знаете что — бросим их под стол... Под скатертью ведь совершенно не видно... Никому в голову не придет искать их там... Смотрите...

И пакет отправился под стол... Зеленая бархатная скатерть опустилась до самого пола... Великолепно. Как раз самое подходящее место для хранения важнейших актов Державы Российской...

Полно! Есть ли еще эта держава? Государство ли это или сплошной, огромный, колоссальный сумасшедший дом?

Опять Керенский... Опять с солдатами. Что еще они таскают?

— Можете идти...

Вышли...

— Тут два миллиона рублей. Из какого-то министерства притащили... Так больше нельзя... Надо скорее назначить комиссаров... Где Михаил Владимирович?

— На улице...

— Кричит «ура»? Довольно кричать «ура». Надо делом заняться... Господа члены Комитета!..

Он исчез. Исчез трагически-повелительный...

* * *

Мы бросили два миллиона к секретным договорам, т. е. под стол, — не «под сукно», а под бархат...

Я подошел к Милюкову, который что-то писал на уголке стола.

— Павел Николаевич...

Он поднял на меня глаза.

— Павел Николаевич, довольно этого кабака. Мы не можем управлять Россией из-под стола... Надо правительство...

Он подумал.

— Да, конечно, надо... Но события так бегут...
— Это все равно... Надо правительство, и надо, чтобы вы его составили... Только вы можете это сделать... Давайте подумаем, кто да кто...

Подумать не дали.

Взволнованные голоса в соседней комнате... Несколько членов Государственной думы — нечленов Комитета — вошли, так сказать, штурмом...

— Господа, простите, но так нельзя... Надо сделать что-нибудь... В полках бог знает что происходит. Там скоро будут убивать, если не убивают... Надо спасти...

— Кого убивают? Что такое?..
— Офицеров... Надо помочь... надо!..

* * *

Конечно, надо помочь... Несколько офицеров было тут же... Растерянные, бледные... Мы спешно послали несколько человек... Поехал и Милуков... Остальные... остальные остались, так сказать, дежурить, ибо было постановлено, что Комитет заседает всегда — не расходится до выяснения положения...

* * *

Опять? Что еще такое?

— В Екатерининском зале огромная депутация... Надо, чтобы кто-нибудь к ним вышел... их там обрабатывают левые... Ради бога, господа...

Мы переглянулись...

— Сергей Илиодорович, пойдите...

Шидловский поморщился, но сказал:

— Иду...

* * *

В сотый раз вернулся Родзянко... Он был возбужденный, более того — разъяренный... Опустился в кресло...

— Ну, что? Как?

— Как? Ну и мерзавцы же эти...

Он вдруг оглянулся.

— Говорите, их нет...

«Они» — это был Чхеидзе и еще кто-то, словом, левые...

— Какая сволочь! Ну, все было очень хорошо... Я им

214

сказал речь... Встретили меня как нельзя лучше... Я сказал им патриотическую речь, — как-то я стал вдруг в ударе... Кричат «ура». Вижу — настроение самое лучшее. Но только я кончил, кто-то из них начинает...

— Из кого?..

— Да из этих... как их... собачьих депутатов... От исполкома, что ли, — ну, словом, от этих мерзавцев...

— Что же они?

— Да вот именно, что же?.. «Вот председатель Государственной думы все требует от вас, чтобы вы, товарищи, русскую землю спасли... Так ведь, товарищи, это понятно... У господина Родзянко есть что спасти... не малый кусочек у него этой самой русской земли в Екатеринославской губернии, да какой земли!.. А может быть, и еще в какой-нибудь есть?.. Например, в Новгородской?.. Там, говорят, едешь лесом, что ни спросишь: чей лес? — отвечают: родзянковский... Так вот, Родзянкам и другим помещикам Государственной думы есть что спасти... Эти свои владения, княжеские, графские и баронские... они и называют русской землей... Ее и предлагают вам спасти, товарищи... А вот вы спросите председателя Государственной думы, будет ли он так же заботиться о спасении русской земли, если эта русская земля... из помещичьей... станет вашей, товарищи?» Понимаете, вот скотина!

— Что же вы ответили?

— Что я ответил? Я уже не помню, что и ответил... Мерзавцы!..

Он так стукнул кулаком по столу, что запрыгали под скатертью секретные документы.

— Мерзавцы! Мы жизнь сыновей отдаем своих, а это хамье думает, что земли пожалеет. Да будет она проклята, эта земля, на что она мне, если России не будет? Сволочь подлая. Хоть рубашку снимите, но Россию спасите. Вот что я им сказал.

Его голос начинал переходить пределы...

— Успокойтесь, Михаил Владимирович.

* * *

Но он долго не мог успокоиться... Потом...

Потом поставил нас в «курс дела»... Он все время ведет переговоры со Ставкой и с Рузским⁹⁶... Он, Родзянко, все время по прямому проводу сообщает, что происходит здесь, сообщает, что положение вещей с каждой минутой ухуд-

215

шается; что правительство сбежало; что временно власть принята Государственной думой, в лице ее Комитета, но что положение ее очень шаткое, во-первых, потому, что войска взбунтовались — не повинуются офицерам, а, наоборот, угрожают им, во-вторых, потому, что рядом с Комитетом Государственной думы вырастает новое учреждение — именно «исполком», который, стремясь захватить власть для себя,— всячески подрывает власть Государственной думы, в-третьих, вследствие всеобщего развала и с каждым часом увеличивающейся анархии; что нужно принять какие-нибудь экстренные, спешные меры; что вначале казалось, что достаточно будет ответственного министерства, но, с каждым часом промедления — становится хуже; что требования растут... Вчера уже стало ясно, что опасность угрожает самой монархии... возникла мысль, что все сроки прошли и что, может быть, только отречение государя императора в пользу наследника может спасти династию... Генерал Алексеев примкнул к этому мнению...

— Сегодня утром,— прибавил Родзянко,— я должен был ехать в Ставку для свидания с государем императором, доложить его величеству, что, может быть, единственный исход — отречение... Но эти мерзавцы узнали... и, когда я собирался ехать, сообщили мне, что ими дано приказание не выпускать поезда... Не пустят поезда! Ну, как вам это нравится? Они заявили, что одного меня они не пустят, а что должен ехать со мной Чхеидзе и еще какие-то... Ну, слуга покорный,— я с ними к государю не поеду... Чхеидзе должен был сопровождать батальон «революционных солдат». Что они там учинили бы?.. Я с этим скот...

Меня вызвали по совершенно неотложному делу...

* * *

Это был тот офицер, который ездил со мной «братъ Петропавловку».

— Там неблагополучно... Собралась огромная толпа... тысяч пять... Требуют, чтобы выпустили арестованных...

— Да ведь их нет!..

— Не верят... Я только что оттуда... Гарнизон еле держится... Каждую минуту могут ворваться... Я их успокоил на минутку, сказал, что сейчас еду в Государственную думу и что кто-нибудь придет... Но надо спешить...

— Сейчас...

Я сел к столу и стал писать ту записку, о которой условился с комендантом...

Потом,— не знаю уже, как и почему,— передо мной очутились члены Государственной думы Волков⁹⁸ (кадет) и Скобелев (социалист).

— Господа, поезжайте... Помните Бастилию: она была сожжена только потому, что не поверили, что нет заключенных... Надо, чтоб вам поверили!..

Волков, с живыми глазами, сильно воспринимал... Скобелев, немножко заикающийся, тоже хорошо чувствовал — я видел.

Я сказал ему:

— Ведь они вас знают... Вы популярны... Скажите им речь.

Они поехали...

* * *

Я застал Комитет в большом волнении... Родзянко бушевал...

— Кто это написал? Это они, конечно, мерзавцы. Это прямо для немцев... Предатели... Что теперь будет?

— Что случилось?..

— Вот, прочтите.

Я взял бумажку, думая, что это прокламация... Стал читать... и в глазах у меня помутилось... Это был знаменитый впоследствии «приказ № 1⁹⁹».

— Откуда это?

— Расклеено по всему городу... на всех стенках...

Я почувствовал, как чья-то коричневая рука сжала мое сердце.

Это был конец армии...

* * *

Последствия немедленно сказались... Со всех сторон стали доходить слухи, что офицеров изгоняют, арестовывают... Офицерство стало метаться... Многие, боясь, пробивались в Государственную думу... помня лозунг: «Государственная дума не проливает крови». Другие стали по чьему-то приглашению собираться в зал Армии и Флота, на углу Литейного и Кирочной... Стало известно, что около 2 000 офицеров собралось там и что идет заседание... Настроение большинства за «Государственную думу» и «за по-

рядок». Третьи увеличили число людей, осаждавших Комитет Государственной думы, прося указаний...

С каждым часом настроение ухудшалось... Из различных мест сообщалось о насилии над офицерами...

* * *

Это были решающие минуты... Если бы можно было вооружить собравшихся в зале Армии и Флота офицеров, а главное, если бы можно было на них рассчитывать, т. е. если бы это были люди, пережившие все то, что они пережили впоследствии, скажем, корниловского закала, если бы кто-нибудь понял значение военных училищ и, главное, если бы был человек калибра Петра I или Николая I,— эта минута могла спасти все... Можно было раздавить бунт, ибо весь этот «революционный народ» думал только об одном — как бы не идти на фронт... Сражаться он бы не стал... Надо было бы сказать ему, что Петроградский гарнизон распускается по домам... Надо было бы мерами исключительной жестокости привести солдат к повиновению, выбросить весь сброд из Таврического дворца, восстановить обычный порядок жизни и поставить правительство, не «доверием страны обремененное», а опирающееся на настоящую гвардию... Да, на настоящую гвардию...

Гвардии у нас не было... Были гвардейские полки... Но чем они отличались от негвардейских?.. Тем, что гвардейские офицеры принадлежали к аристократическим фамилиям? Но аристократия далеко не всегда была опорой престола... Начиная с Иоанна Грозного и даже гораздо раньше, часть знати вела борьбу с монархией... Особенно резко это выразилось в выступлении декабристов, но и вообще было так: знатное происхождение совершенно не обеспечивало «политической благонадежности». Стоит только просмотреть списки кадет и «примыкающих», чтобы понять, где была знать...

Так было вообще. Что же касается государя Николая II, то здесь был еще специальный разрыв, вследствие личных качеств императора и императрицы. Поэтому гвардейские офицеры вовсе не были тем элементом, на который можно было опереться в ту минуту, когда даже династия переделалась...

Но главное не в этом... Главное состояло в том, что давно уже было утрачено, а может быть, его никогда и не было,— утрачено истинное понимание, что такое гвардия...

Лейб-гвардия, собственно, должна быть «телохранительницей верховной власти». Понимая это более широко — гвардия должна быть тем кулаком, который принудит к повиновению всякого, не подчиняющегося власти... Другими словами: назначение гвардии — повиноваться и действовать именно тогда, когда все остальное не хочет повиноваться, т. е. во время народных движений, волнений, бунтов, восстаний...

Достаточно ли, чтобы такой корпус имел только одних офицеров, на которых можно положиться? Это нелепость... Разве офицеры могут что-нибудь сделать во время солдатских бунтов? Опыт показал, что в гвардейских частях солдаты раньше, чем в других, бунтовались.

Что ж это за гвардия? Гвардия должна состоять из солдат, не менее офицеров настроенных гвардейски... Поэтому в гвардии должны служить люди не по набору, а добровольно и за хорошее жалованье... И притом это должны быть люди с известной закваской — каждый персонально известный, а не вербоваться по росту: кто выше всех ростом — тот гвардеец. Как будто преданность верховной власти есть функция роста: все большие — монархисты, а все маленькие — республиканцы!..

И притом — нельзя пускать гвардию на войну... Пусть поклонники принципа «*Pereat patria, fiat justitia*»* говорят что угодно... Пусть сколько угодно возмущаются «сытими краснощеками гвардейцами», которые сидят в тылу, — пусть называют их бездельниками и трусами — но на это не следует обращать внимания... Полиция тоже дородная и краснощекая, а посылать ее на войну нельзя, сколько бы ни возмущался этим А. И. Шингарев... Одно из двух: или гвардия нужна, или нет... Если не нужна, то ее вообще не должно быть, а если нужна, то больше всего, нужнее всего она во время тяжелой войны, когда можно ожидать бунтов, революций и всякой мерзости. Гвардия должна остаться в полной неприкосновенности, и назначение ее не против врагов внешних, а против врагов внутренних... Сражаться с врагом внешним можно до последнего солдата армии и до первого солдата гвардии. Гвардия должна быть на случай проигранной войны... Тогда она вступает в действие, одной рукой приводит в христианский вид деморализованную поражением армию, другой — удерживает в границах повиновения бунтующее население...

Пусть погибнет Родина, но восторжествует справедливость (лат.).

Проигранная война всегда грозит революцией... Но революция неизмеримо хуже проигранной войны. Поэтому гвардию нужно беречь для единственной и почетной обязанности — бороться с революцией...

Представим себе, что в 1917 году мы бы имели нетронутую и совершенно надежную в политическом смысле гвардию. Никакой революции не произошло бы. Самое большое, что случилось бы,— это отречение императора Николая II. Затем, допустим, что разложившаяся армия бросила бы фронт. Новый император или регент заключил бы мир —, пусть невыгодный, но что же делать?.. Затем при помощи гвардии восстановил бы порядок повсюду, ибо мы отлично знаем, что взбунтовавшиеся войска не способны бороться с полками, сохранившими дисциплину.... Пусть беспорядки продолжались бы год, два, три...— все равно власть, опирающаяся на твердую силу, восторжествовала бы, тем более что с каждым днем анархия надоедала бы...

Итак, быть может, главный грех старого режима был тот, что он не сумел создать настоящей гвардии... Пусть это будет наукой будущим властителям...

* * *

Я отвлекся. Продолжаю. Вернулись Волков и Скобелев. Они были возбуждены и довольны.

— Ну, удалось?

— Удалось... Кажется, теперь уже успокоятся...

— Расскажите...

— Мы застали толпу в сильнейшем возбуждении...

— Большая толпа?..

— Огромная... Весь Каменноостровский сплошь — много тысячч...

— Чего же они хотели?

— Выдачи арестованных... Рвались в крепость... Вы недаром упомянули о Бастилии... Так оно и было...

— Гарнизон?

— Гарнизон еще держался... Но они были страшно перепуганы... не знали, что делать... пустить оружие в ход?! Боялись... Да и не знали, будут ли солдаты действовать...

— Что вы сделали?

— Мы, во-первых, заявили, что мы члены Государственной думы... Нас приняли хорошо, кричали «ура». Тогда мы объявили, что пойдем осматривать камеры... И предложили... Словом, захватили с собой, так сказать, понятих...

— Ну?

— Предъявили ваш пропуск... Нас очень любезно приняли и водили повсюду...

— Никого нет?

— Никого решительно... Мы тогда вышли к ним... Объяснили, что никого нет... Очень помогал этот офицер ваш — молодец! И потом, понятно, конечно, они тоже говорили и объясняли... Были, конечно, сомневающиеся... Но громадное большинство поняло, что дело чистое... Благодарили, кричали «ура». Мы им сказали речь. Просили их разойтись по домам... не затруднять, так сказать, «дела свободы»... Скобелев очень хорошо говорил.

* * *

Это, кажется, единственное дело, которым я до известной степени могу гордиться... Петропавловскую крепость с могилами императоров удалось спасти таким маневром. Уцелела «русская Бастилия», в которой в течение двух веков консервировались «борцы за свободу», те, которые столько времени сеяли «разумное, доброе, вечное» и, наконец, дождались всхода своих посевов...

О, скажет вам спасибо сердечное, скажет — русский народ...

Подождите только...

* * *

Я не помню. Тут начинается в моих воспоминаниях кошмарная каша, в которой перепутываются: бледные офицеры; депутаты, ура, марсельеза; молящий о спасении звон телефонов; бесконечная вереница арестованных; хвосты несчетных городских; роковые ленты с прямого провода; бушующий Родзянко; внезапно появляющийся, трагически исчезающий Керенский; спокойно обреченный Шидловский; двусмысленный Чхеидзе; что-то делающий Энгельгардт¹⁰⁰;

весьма странный Некрасов; раздражительный Ржевский... Минутные вспышки не то просветления, не то головокружения, когда доходят вести, что делается в армии и в России... Отклики уже начали поступать: телеграммы, в которых в восторженных выражениях приветствовалась «власть Государственной думы»...

Да, так им казалось издали... Слава богу, что так казалось... На самом деле — никакой власти не было. Была,

с одной стороны, кучка людей, членов Государственной думы, совершенно задавленных или, вернее, раздавленных тяжестью того, что на них свалилось. С другой стороны, была горсточка негодяев и маньяков, которые твердо знали, чего они хотели, но то, чего они хотели, было ужасно: это было — в будущем разрушение мира, сейчас — гибель России... Приказ № 1, который валялся у нас на столе, был этому доказательством...

Но все-таки что-то надо было делать и во что бы то ни стало надо было ввести какой-нибудь порядок в надвигающуюся анархию. Для этого прежде всего и во что бы то ни стало надо образовать правительство. Я повторно и настойчиво просил Милюкова, чтобы он наконец занялся списком министров. В конце концов он «занялся».

* * *

Между бесконечными разговорами с тысячьо людей, хватающих его за рукава, принятием депутатий, речами на нескончаемых митингах в Екатерининском зале; сумасшедшей ездой по полкам; обсуждением прямопроводных телеграмм из Ставки; грызней с возрастающей наглостью «исполкома» — Милюков, присевший на минутку где-то на уголке стола, — писал список министров...

И несколько месяцев тому назад и перед самой революцией я пытался хоть сколько-нибудь выяснить этот несчастный список. Но мне отвечали, что «еще рано». А вот теперь... теперь, кажется, было поздно...

* * *

— Министр финансов?.. Да вот видите... это трудно...
Все остальные как-то выходят, а вот министр финансов...
— А Шингарев?
— Да нет, Шингарев попадает в земледелие...
— А Алексеенко умер...

Счастливый Алексеенко. Его тело везли в торжественном катафалке навстречу революционному народу, стремившемуся в Таврический дворец...

— Кого же?

Мы стали думать. Но думать было некогда. Ибо звонки по телефону трещали из полков, где начались всякие насилия над офицерами... А терявшая голову человеческая гуща зажимала нас все теснее липким повидлом, в кото-

ром нельзя было сделать ни одного свободного движения.

Надо было спешить... Мысленно несколько раз пробежав по расхлябанному морю знаменитой «общественности», пришлось убедиться, что в общем плохо...

Князь Львов, о котором я лично не имел никакого понятия, «общественность» твердила, что он замечательный, потому что управлял «Земгором», непрерываемо въехал в милокувском списке на пьедестал премьера...

А кого мы, не кадеты, могли бы предложить?

Родзянко?

Я бы лично стоял за Родзянко, он, может быть, наделал бы неуклюжестей, но, по крайней мере, он не боялся и декламировал «родину-матушку» от сердца и таким зычным голосом, что полки каждый раз кричали за ним «ура»...

Правда, были уже и такие случаи, что после речей левых тот самый полк, который только что кричал: «Ура Родзянко!», неистово вопил: «Долой Родзянко!» То была работа «этих мерзавцев»... Но, может быть, именно Родзянко скорее других способен был с ними бороться, а впрочем — нет, Родзянко мог бы бороться, если бы у него было два-три совершенно надежных полка. А так как в этой проклятой каше у нас не было и трех человек надежных, то Родзянко ничего бы не сделал. И это было совершенно ясно хотя бы потому, что, когда об этом заикались, все немедленно кричали, что Родзянко «не позволяет левые».

То есть как это «не позволяют»? Да так. В их руках все же была кой-какая сила, хоть и в полуанархическом состоянии... У них были какие-то штыки, которые они могли натравить на нас. И вот эти «относительно владеющие штыками» соглашались на Львова, соглашались потому, что кадеты все же имели в их глазах известный ореол. Родзянко же был для них только «помещик» екатеринославский и новгородский, чью землю надо прежде всего отнять...

Итак, Львов — премьер... Затем министр иностранных дел — Милюков, это не вызывало сомнений. Действительно, Милюков был головой выше других и умом и характером. Гучков — военный министр. Гучков издавна интересовался военным делом, за ним числились несомненные заслуги. Будучи руководителем III Государственной Думы, он очень много сделал для армии. Он настоял на увеличении вдвое нашего артиллерийского запаса. Он старался продвинуть в армию все наиболее талантливое. Он первый дешифровал Мясоедова...

Шингарев, как министр земледелия, тоже был признанным авторитетом. Неизвестно, собственно говоря, почему, ибо придирчивая критика реформы Столыпина была не плюс, а минус... Но это в наших глазах. А в глазах кадетских — совсем наоборот.

Прокурор святейшего Синода? Ну, конечно, Владимир Николаевич Львов. Он такой «церковник» и так много что-то «обличал» с кафедры Государственной думы...

С министром путей сообщения было несколько хуже, но все-таки оказалось, что инженер Бубликов, он же член Государственной думы, он же решительный человек, он же приемлемый для левых, «яко прогрессист» — подходит.

Но вот министр финансов не давался, как клад...

И вдруг каким-то образом в список вскочил Терещенко.

* * *

Михаил Иванович Терещенко¹⁰¹ был очень мил, получил европейское образование, великолепно «лидировал» автомобиль и вообще производил впечатление денди гораздо более, чем присяжные аристократы. Последнее время очень «интересовался революцией», делая что-то в военно-промышленном комитете¹⁰². Кроме того, был весьма богат.

Но почему, с какой благодати он должен был стать министром финансов?

А вот потому, что бог наказал нас за наше бессмысленное упрямство. Если старая власть была обречена благодаря тому, что упрячилась, цепляясь за своих Штюрмеров, то так же обречены были и мы, ибо сами сошли с ума и свели с ума всю страну мифом о каких-то гениальных людях, — «общественным доверием облеченных», которых на самом деле вовсе не было...

Очень милый и симпатичный Михаил Иванович, которому, кажется, было года 32, — каким общественным доверием он был облечен на роль министра финансов огромной страны, ведущей мировую войну, в разгаре революции?..

Так, на кончике стола, в этом диком водовороте полусумасшедших людей, родился этот список из головы Милюкова, причем и голову эту пришлось сжимать обеими руками, чтобы она хоть что-нибудь могла сообразить. Историки в будущем, да и сам Милюков, вероятно, изобразят это совершенно не так: изобразят как плод глубочайших соображений и результат «соотношения реальных сил». Я же рассказываю, как было. Тургенев утверждал, что у русско-

го народа «мозги — набекрень». Все наше революционное движение ясно обнаружило эту мозгобекренность, результатом которой и был этот список полуникчемных людей, как приз за сто лет «борьбы с исторической властью»...

* * *

Тяжелее и глупее всего было в этой истории положение наше — консервативного лагеря. Ненависть к революции мы всосали если не с молоком матери, то с японской войной. Мы боролись с революцией, сколько хватало наших сил, всю жизнь. В 1905-м мы ее задавили. Но вот в 1915-м, главным образом, потому, что кадеты стали полупатриотами, нам, патриотам, пришлось стать полукадетами. С этого все и пошло. «Мы будем твердить: все для войны, — если вы будете бранить власть»... И вот мы стали ругаться, чтобы воевали. И в результате оказались в одном мешке с революционерами, в одной коллегии с Керенским и Чхеидзе...

* * *

Нерассказываемый и непередаваемый бежал день... зарываясь в безумие... и грозя кровью...

* * *

Вечером додумались пригласить в Комитет Государственной думы делегатов от «исполкома», чтобы договориться до чего-нибудь. Всем было ясно, что вырастающее двоевластие представляет грозную опасность. В сущности, вопрос стоял — или мы, или они. Но «мы» не имели никакой реальной силы. Ее заменял дождь телеграмм, выражавших сочувствие Государственной думе. «Они» же не имели еще достаточно силы. Хотя в их руках была бесформенная масса взбунтовавшегося петроградского гарнизона, но в глазах России происшедшее сотворилось «силою Государственной думы». Надо было сначала этот престиж подорвать, чтобы можно было нас ликвидировать. Поэтому мы их позвали, а они — пришли...

* * *

Пришло трое... Николай Дмитриевич Соколов, присяжный поверенный, человек очень левый и очень глупый, о

котором говорили, что он автор приказа № 1. Если он его писал, то под чью-то диктовку. Кроме Соколова, пришло двое,— двое евреев¹⁰³. Один — впоследствии столь знаменитый Стеклов-Нахамкес¹⁰⁴, другой — менее знаменитый Суханов-Гиммер, но еще более, может быть, омерзительный...

* * *

Я не помню, с чего началось. Очевидно, их упрекали в том, что они ведут подкоп против Комитета Государственной думы, что этим путем они подрывают единственную власть, которая имеет авторитет в России и может сдерживать анархию. Я не помню, что они отвечали, но явственно почему-то помню свою фразу:

— Одно из двух: или арестуйте всех нас, посадите в Петропавловку и правьте сами. Или уходите и дайте править нам.

И помню ответ Стеклова:

— Мы не собираемся вас арестовывать...

Стеклов был похож на красивых местечковых евреев, какими бывают содержатели гостиниц, когда их сыновья получают высшее образование... Впрочем, это все равно. Разве иные русские, кончившие два факультета, были умнее и лучше его?.. Во всяком случае, это был весьма здоровенный человек, с большой окладистой бородой, так что на первый взгляд он мог сойти за московского «русака»...

Гиммер — худой, тшедушный, бритый, с холодной жестокостью в лице, до того злобном, что оно даже иногда переставало казаться актерским... У дьявола мог бы быть такой секретарь...

За этих людей взялся Милюков. С упорством, ему одному свойственным, он требовал от них: написать воззвание, чтобы не делали насилий над офицерами.

Сама постановка дела ясно показывала, куда мы докатились. Чтобы спасти офицеров, мы должны были чуть ли не на коленях умолять двух мерзавцев «из жидов» и одного «русского дурака», никому не известных, абсолютно ничего из себя не представляющих.

Кто это — мы? Сам Милюков, прославленный российской общественности вождь, сверхчеловек народного доверия!

И мы — вся остальная дружина, которые, как-никак, могли себя считать «всероссийскими именами».

И вот со всем нашим всероссийством мы были бессильны. Нахамкес и Гиммер, неизвестно откуда взявшиеся, — они были властны решить, будут ли этой ночью убивать офицеров или пока помилуют...

* * *

Каким образом это произошло, даже трудно понять, но это так.

И Милюков убеждал, умолял, заклинал...

* * *

Это продолжалось долго, бесконечно... Это не было уже заседание. Было так... Несколько человек, совершенно изнеможенных, лежали в креслах, а эти три пришельца сидели за столиком вместе с седовласым Милюковым. Они, собственно, вчетвером вели дебаты, мы изредка подавали реплики из глубины прострации...

Керенский то входил, то выходил, как всегда, — молниеносно и драматически. Он бросал какую-нибудь трагическую фразу и исчезал. Но в конце концов, совершенно изнеможенный, и он упал в одно из кресел...

Милюков продолжал торговаться...

* * *

Неподалеку от меня, в таком же рамольном кресле, маленький, худой, заросший, лежал Чхеидзе.

Не помогло и кавказское упрямство. И его сломило...

В это время Милюков с этими тремя вел бесконечный спор насчет «выборного офицерства». В этот спор иногда припутывался Энгельгардт, который, как полковник генерального штаба, считался специалистом военного дела. Милюков доказывал, что выборное офицерство невозможно, что его нет нигде в мире и что армия развалится.

Те трое говорили наоборот, что только та армия хороша, в которой офицеры пользуются доверием солдат. В сущности, они говорили совершенно то, что мы твердили последние полтора года, когда утверждали: то правительство крепко, которое пользуется доверием народа. Но все думали при этом, что гражданское управление — это одно,

а военное — другое. Милюкову это было ясно, но Гиммер не понимал...

Не знаю почему, меня потянуло к Чхеидзе. Я подошел и, наклонившись над распростертой маленькой фигуркой, спросил шепотом:

— Неужели вы в самом деле думаете, что выборное офицерство — это хорошо?

Он поднял на меня совершенно усталые глаза, заворочал белками и шепотом же ответил, со своим кавказским акцентом, который придавал странную выразительность тому, что он сказал:

— И вообще все пропало... Чтобы спасти... чтобы спасти — надо чудо... Может быть, выборное офицерство будет чудо... Может, не будет... Надо пробовать... хуже не будет... Потому что я вам говорю: все пропало...

Я не успел достаточно оценить этот ответ одного из самых видных представителей «революционного народа», который на третий день революции пришел к выводу, что «все пропало», не успел потому, что их светлости Нахамкес и Гиммер милостиво изволили соизволить написание воззвания, «чтобы не убивали офицеров»...

* * *

Пошли писать. В это время меня вызвали.

В соседней комнате было полным-полно всякого народа. Явственно чувствовалось, как измученная человеческая стихия в качестве последнего оплота бьется в убогие двери Комитета Государственной думы.

Кто-то из членов Думы, кажется Можайский, схватил меня за рукава:

— Вот, ради бога. Поговорите с этими офицерами. Они вас добиваются.

Взволнованная группа в форме.

— Мы из «Армии и Флота»¹⁰⁵ ...

— Что там такое?

— Там собрались офицеры... Несколько тысяч... Настраение такое — наше, словом, «за Государственную думу»... Вот мы составили резолюцию... Хотим посоветоваться... Еще можно изменить...

Я прочел резолюцию. В общем все было более или менее возможно, принимая во внимание сумасшествие момента. Но были вещи, которые, с моей точки зрения, и сейчас нельзя было провозглашать. Было сказано, не помню точно

что,, но в том смысле, что необходимо добиваться Всероссийского Учредительного Собрания, избранного «всеобщим, тайным, равным» — словом, по четыреххвостке. Я кратко объяснил, что говорить об Учредительном Собрании не нужно, что это еще вовсе не решено.

— А мы думали, что это уже кончено... Если нет, тем лучше, еще бы! Черт с ним...

Они обещали Учредительное Собрание вычеркнуть и провести это в собрании.

— Мы имеем большинство... Как скажем — так и будет...

* * *

Но они не смогли... Перепрыгнуло ли настроение или что другое помешало, но, словом, когда я прочел эту резолюцию позже в печатном виде, в ней уже стояло требование Учредительного Собрания.

Это надо запомнить. 1 марта вечером, т. е. на третий день революции, самая «реакционная» и самая действенная часть офицерства в столице, ибо таковы были собравшиеся в зале «Армии и Флота», все же находилась под таким гипнозом или страхом, что должна была «требовать» Учредительного Собрания...

* * *

Гиммер, Соколов и Нахамкес написали воззвание. «Заседание» как бы возобновилось. Чхеидзе и Керенский в разных углах комнаты лежали в креслах... Милюков с теми тремя — у столика... Остальные более или менее — в беспорядке.

Началось чтение этого документа...

Он был длинный. Девять десятых его было посвящено тому, какие мерзавцы офицеры, какие они крепостники, реакционеры, приспешники старого режима, гасители свободы, прислужники реакции и помещиков. Однако в трех последних строках было сказано, что все-таки их убивать не следует...

Все возмутились... В один голос все сказали, что эта прокламация не поведет к успокоению, а наоборот, к сильнейшему разжиганию. Гиммер и Нахамкес ответили, что иначе они не могут. Кто-то из нас вспылал, но Милюков вцепился в них мертвой хваткой. Очевидно, он надеялся на

свое, всем известное, упрямство, перед которым ни один кадет еще не устоял. Он взял бумажку в руки и стал странно говорить о каждой фразе, почему она немислима. Те так же пространно отвечали, почему они не могут ее изменить...

* * *

Чхеидзе лежал. Керенский иногда вскакивал и убегал куда-то, потом опять появлялся. К нему вечно рвались какие-то темные личности, явно оттуда — из исполкома. Очевидно, он имел там серьезное влияние... Может быть, шла торговля из-за списка министров.

* * *

Я не помню, сколько часов все это продолжалось. Я совершенно извелся и перестал помогать Милюкову, что сначала пытался делать. Направо от меня лежал Керенский, прибежавший откуда-то, по-видимому, в состоянии полного изнеможения. Остальные тоже уже совершенно выдохлись.

Один Милюков сидел упрямый и свежий. С карандашом в руках он продолжал грызть совершенно безнадежный документ. Против него эти трое сидели неумолимо, утверждая, что они должны квалифицировать социальное значение офицеров, иначе революционная армия их не поймет. Мне ясно запомнились они — около освещенного столика и остальная комната — в полутьме. Этот их турнир был символичен: кадет, уламывающий социалистов. Так ведь было несколько месяцев, пока мы, лежавшие, не взялись за ум, т. е. за винтовку.

* * *

Мне показалось, что я слышу слабый запах эфира. В это время Керенский, лежавший пластом, вскочил, как на пружинах...

— Я желал бы поговорить с вами...

Это он сказал тем трем. Резко, тем безапелляционно-шекспировским тоном, который он усвоил в последние дни...

— Только наедине... Идите за мною...

Они пошли... На пороге он обернулся:

— Пусть никто не входит в эту комнату.

Никто и не собирался. У него был такой вид, точно он будет пытаться их в «этой комнате».

Через четверть часа дверь «драматически» распахнулась. Керенский, бледный, с горящими глазами:

— Представители Исполнительного Комитета согласны на уступки...

Те тоже были бледны. Или так мне показалось. Керенский снова свалился в кресло, а трое снова стали добычей Милюкова.

На этот раз он быстро выработал удовлетворительный текст: трое, действительно, соглашались...

* * *

Бросились в типографию. Но было уже поздно: революционные наборщики прекратили уже работу. Было два или три часа ночи.

Гиммер, Нахамкес и Соколов ушли. Родзянко опять вызвали на улицу. Пришел какой-то полк, который хотел засвидетельствовать свою верность Государственной думе. На дворе была вьюга, они шли верст сорок пешком. И в три часа ночи пришли поклониться Государственной думе. Родзянко пошел с ними разговаривать, и скоро обычный рев донесся оттуда. Очевидно, «родина-матушка» подействовала еще раз, — кричали «ура»...

* * *

В это время приехал Гучков. Он был в очень мрачном состоянии.

— Настроение в полках ужасное... Я не убежден, не происходит ли сейчас убийств офицеров. Я объезжал лично и видел... Надо на что-нибудь решиться... И надо скорее... Каждая минута промедления будет стоить крови... будет хуже, будет хуже...

Он уехал.

* * *

Вернувшись, Родзянко без конца читал нам бесконечные ленты с прямого провода. Это были телеграммы от Алексеева из Ставки и Рузского из Пскова. Алексеев находил необходимым отречение государя императора.

* * *

Эта мысль об отречении государя была у всех, но как-то об этом мало говорили. Вообще же было только несколько человек, которые в этом ужасном сумбуре думали об основных линиях. Все остальные, потрясенные ближайшим, занимались тем, чем занимаются на пожарах: качают воду, спасают погибающих и пожитки, суетятся и бегают.

Мысль об отречении созревала в умах и сердцах как-то сама по себе. Она росла из ненависти к монарху, не говоря о всех прочих чувствах, которыми день и ночь хлестала нам в лицо революционная толпа. На третий день революции вопрос о том, может ли царствовать дальше государь, которому безнаказанно брошены в лицо все оскорбления, был уже, очевидно, решен в глубине души каждого из нас.

Обрывчатые разговоры были то с тем, то с другим. Но я не помню, чтобы этот вопрос обсуждался Комитетом Государственной думы, как таковым. Он был решен в последнюю минуту.

В эту ночь он вспыхивал несколько раз по поводу этих узеньких ленточек, которые сворачивал в руках Родзянко, читая. Ужасные ленточки! Эти ленточки были нитью, связывавшей нас с армией, с той армией, о которой мы столько заботились, для которой мы пошли на все... Весь смысл похода на правительство с 1915 года был один: чтобы армия сохранилась, чтобы армия дралась... И вот теперь по этим ленточкам надо было решить, как поступить... Что для нее сделать?..

* * *

Кажется, в четвертом часу ночи вторично приехал Гучков. Он был сильно расстроен. Только что рядом с ним в автомобиле убили князя Вяземского. Из каких-то казарм обстреляли «офицера».

* * *

И тут собственно это и решилось. Нас было в это время неполный состав. Были Родзянко, Милюков, я, — остальных не помню... Но помню, что ни Керенского, ни Чхеидзе не было. Мы были в своем кругу. И потому Гучков говорил совершенно свободно. Он сказал приблизительно следующее:

— Надо принять какое-нибудь решение. Положение ухудшается с каждой минутой. Вяземского убили только потому, что он офицер... То же самое происходит, конечно, и в других местах... А если не происходит этой ночью, то произойдет завтра... Идучи сюда, я видел много офицеров в разных комнатах Государственной думы: они просто спрятались сюда... Они боятся за свою жизнь... Они умоляют спасти их... Надо на что-нибудь решиться... На что-то большое, что могло бы произвести впечатление... что дало бы исход... что могло бы вывести из ужасного положения с наименьшими потерями... В этом хаосе, во всем, что делается, надо прежде всего думать о том, чтобы спасти монархию... Без монархии Россия не может жить... Но, видимо, нынешнему государю царствовать больше нельзя... Высочайшее повеление от его лица — уже не повеление: его не исполнят... Если это так, то можем ли мы спокойно и безучастно дожидаться той минуты, когда весь этот революционный сброд начнет сам искать выхода... И сам расправится с монархией... Меж тем это неизбежно будет, если мы выпустим инициативу из наших рук.

Родзянко сказал:

— Я должен был сегодня утром ехать к государю... Но меня не пустили... Они объявили мне, что не пустят поезда, и требовали, чтобы я ехал с Чхеидзе и батальоном солдат...

— Я это знаю, — сказал Гучков. — Поэтому действовать надо иначе... Надо действовать тайно и быстро, никого не спрашивая... ни с кем не советуясь... Если мы сделаем по соглашению с «ними», то это непременно будет наименее выгодно для нас... Надо поставить их перед свершившимся фактом... Надо дать России нового государя... Надо под этим новым знаменем собрать то, что можно собрать... для отпора... Для этого надо действовать быстро и решительно...

— То есть — точнее? Что вы предполагаете сделать?

— Я предлагаю немедленно ехать к государю и привезти отречение в пользу наследника...

Родзянко сказал:

— Русский телеграфировал мне, что он уже говорил об этом с государем... Алексеев запросил главнокомандующих фронтами о том же. Ответы ожидаются...

— Я думаю, надо ехать, — сказал Гучков. — Если вы согласны и если вы меня уполномочиваете, я поеду... Но мне бы хотелось, чтобы поехал еще кто-нибудь...

Мы переглянулись. Произошла продолжительная пауза, после которой я сказал:

— Я поеду с вами...

* * *

Мы обменялись еще всего несколькими словами. Я постарался уточнить: Комитет Государственной думы признает единственным выходом в данном положении отречение государя императора, поручает нам двоим доложить об этом его величеству и, в случае его согласия, поручает привезти текст отречения в Петроград. Отречение должно произойти в пользу наследника цесаревича Алексея Николаевича. Мы должны ехать вдвоем, в полной тайне.

* * *

Я отлично понимал, почему я еду. Я чувствовал, что отречение случится неизбежно, и чувствовал, что невозможно поставить государя лицом к лицу с Чхеидзе... Отречение должно быть передано в руки монархистов и ради спасения монархии.

Кроме того, было еще другое соображение. Я знал, что офицеров будут убивать именно за то, что они монархисты, за то, что они захотят исполнить свой долг присяги царствующему императору до конца. Это, конечно, относится к лучшим офицерам. Худшие приспособятся. И вот для этих лучших надо было, чтобы сам государь освободил их от присяги, от обязанности повиноваться ему. Он только один мог спасти настоящих офицеров, которые нужны были как никогда. Я знал, что в случае отречения... революции как бы не будет. Государь отречется от престола по собственному желанию, власть перейдет к регенту, который назначит новое правительство. Государственная дума, подчинившаяся указу о роспуске и подхватившая власть только потому, что старые министры разбежались,— передаст эту власть новому правительству. Юридически революции не будет.

Я не знал, удастся ли этот план при наличии Гиммеров, Нахамкесов и приказа № 1. Но, во всяком случае, он представлялся мне единственным. Для всякого иного нужна была реальная сила. Нужны были немедленно повинующиеся нам штыки, а таковых-то именно и не было...

* * *

В пятом часу ночи мы сели с Гучковым в автомобиль, который по мрачной Шпалерной, где нас останавливали какие-то посты и заставы, и по неузнаваемой, чужой Сергиевской довез нас до квартиры Гучкова. Там А. И. набросал несколько слов. Этот текст был составлен слабо, а я совершенно был неспособен его улучшить, ибо все силы были на исходе.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ «КОНСТИТУЦИИ»

(Продолжение)

(2 марта 1917 года)

Чуть серело, когда мы подъехали к вокзалу. Очевидно, революционный народ, утомленный подвигами вчерашнего дня, еще спал. На вокзале было пусто.

Мы прошли к начальнику станции. Александр Иванович сказал ему:

— Я — Гучков... Нам совершенно необходимо по важнейшему государственному делу ехать в Псков... Прикажете подать нам поезд...

Начальник станции сказал: «Слушаюсь», и через двадцать минут поезд был подан.

* * *

Это был паровоз и один вагон с салоном и со спальными. В окна замелькал серый день. Мы, наконец, были одни, вырвавшись из этого ужасного человеческого круговорота, который держал нас в своем липком веществе в течение трех суток. И впервые значение того, что мы делаем, стало передо мной если не во всей своей колоссальной огромности, которую в то время не мог охватить никакой человеческий ум, то, по крайней мере, в рамках доступности...

* * *

Тот роковой путь, который привел меня и таких, как я, к этому дню 2 марта, бежал в моих мыслях так же, как эта унылая лента железнодорожных пейзажей, там, за

окнами вагона... День за днем наматывался этот клубок,.. В нем были этапы, как здесь — станции... Но были эти «станции» моего пути далеко не так безрадостны, как вот эти, мимо которых мы сейчас пронеслись...

* * *

В первый раз в своей жизни я видел государя в 1907 году, в мае месяце. Это было во время Второй Государственной думы.

Вторая Государственная дума, как известно, была Думой «народного гнева» и невежества,— антинациональная, антимонархическая, словом — революционная. Она так живо вспоминалась мне теперь! Ведь все эти гнусные лица, которые залили Таврический дворец,— я их видел когда-то... не их именно, но такие же. Это именно было тогда, когда 1907 год выбросил на кресла Таврического дворца самых махровых представителей «демократической России».

Нас было сравнительно немного тогда — членов Государственной думы умеренных воззрений. Отбор был сделан в первый же день «провокационным» с нашей стороны способом. Когда Голубев читал указ об открытии Думы, при словах «по указу его императорского величества» — все «порядочные» люди встали. Все «мерзавцы» остались сидеть. «Порядочных» оказалось, кажется, 101, и сто первым был П. Б. Струве.

Сто человек удостоились высочайшего приема, причем мы были приняты небольшими группами в три раза.

Это был чудный весенний день, и все было так внове. И специальный поезд, поданный для членов Государственной думы из Царского Села, и придворные экипажи, и лакеи, более важные, чем самые могущественные вельможи, и товарищи по Думе во фраках, разряженные, как на бал, и, вообще, вся эта атмосфера, которую испытывают, так сказать, монархисты по крови — да еще провинциальные, когда они приближаются к тому, кому после бога одному повинуются...

* * *

Это было в одном из небольших флигелей дворца. В большом зале мы стояли овальным полукругом. Поставили нас какие-то придворные чины, в том числе князь Путятин, который, помню, сказал мне: «Вы из Острожского уезда?

Значит, мы земляки». Он хотел сказать этим, что они ведут свой род от князей Острожских¹⁰⁶.

Прием был назначен в два часа. Ровно в два, соблюдая французскую поговорку: «L'exactitude c'est la politesse des rois»*, — кто-то вошел в зал, сказав:

— Государь император...

Полуовальный кружок затих, и в зал вошел офицер средних лет, в котором нельзя было не узнать государя (в форме стрелков — малиновая шелковая рубашка у ворота), и дама высокого роста — вся в белом, в большой белой шляпе, которая держала за руку прелестного мальчика, совершенно такого, каким мы знали его по последним портретам,— в белой рубашонке и большой белой папаше.

Государыню узнать было труднее. Она не похожа была на свои портреты.

Государь начал обход. Не помню, кто там был в начале... Рядом со мной стоял профессор Г. Е. Рейн¹⁰⁷, а потом — Пуришкевич. Я следил за государем, как он переходил от одного к другому, но говорил он тихо, и ответы были такие же тихие,— я их не слышал. Но я ясно слышал разговор с Пуришкевичем. Нервно дергаясь, как было ему свойственно, Пуришкевич — я видел — накалялся.

Государь подвинулся к нему, так как он имел, видимо, привычку это делать, так сказать, скользя вбок по паркету.

Кто-то назвал Владимира Митрофановича. Впрочем, государь его, наверное, знал в лицо, ибо обладал, как говорили, удивительной памятью на лица.

Нас всех живейшим образом интересовало — скоро ли распустят Государственную думу, ибо Думу «народного гнева и невежества» мы ненавидели так же страстно, как она ненавидела правительство. Этим настроением Пуришкевич был проникнут более, чем кто-либо другой, и поэтому, когда государь приблизился к нему и спросил его что-то,— он не выдержал:

— Ваше величество, мы все ждем не дождемся, когда окончится это позорище! Это собрание изменников и предателей... которые революционизируют страну... Это гнездо разбойников, засевавшее в Таврическом дворце. Мы страстно ожидаем приказа вашего императорского величества о роспуске Государственной думы...

Пуришкевич весь задержался, делая величайшие усилия, чтобы не пустить в ход жестикуляцию рук, что ему уда-

* Точность — вежливость королей (*фр.*).

лось, но браслетка, которую он всегда носил на руке, все же зазвенела.

На лице государя появилась как бы четверть улыбки. Последовала маленькая пауза, после которой государь ответил весьма отчетливо, не громким, но уверенным, низким голосом, которого трудно было ожидать от общей его внешности:

— Благодарю вас за вашу всегдашнюю преданность престолу и родине. Но этот вопрос предоставьте мне...

Государь перешел к следующему — профессору Г. Е. Рейну и говорил с ним некоторое время. Георгий Ермолаевич отвечал браво, весело и как-то приятно. После этого государь подошел ко мне.

Наследник в это время стал рассматривать фуражку Г. Е. Рейна, которую он держал в опущенной руке, как раз на высоте глаз ребенка. Он, видимо, сравнивал ее со своей белой папайкой. Рейн наклонился, что-то объясняя ему. Государыня просветлела и улыбнулась, как улыбаются матери.

Государь обратился ко мне.

Я в первый раз в жизни увидел его взгляд. Взгляд был хороший и спокойный. Но большая нервность чувствовалась в его манере подергивать плечом, очевидно, ему свойственной. И было в нем что-то женственное и застенчивое.

Кто-то, кто нас представлял, — назвал меня, сказав, что я от Волынской губ [ернии]. Государь подал мне руку и спросил:

- Кажется, вы, от Волынской губернии, — все правые?
- Так точно, ваше императорское величество.
- Как это вам удалось?

При этих словах он почти весело улыбнулся. Я ответил:

— Нас, ваше величество, спаяли национальные чувства. У нас русское землевладение, и духовенство, и крестьянство шли вместе, как русские. На окраинах, ваше величество, национальные чувства сильнее, чем в центре...

Государю эта мысль, видимо, понравилась. И он ответил тоном, как будто бы мы запросто разговаривали, что меня поразило:

— Но ведь оно и понятно. Ведь у вас много национальностей... кипят. Тут и поляки и евреи. Оттого русские национальные чувства на Западе России — сильнее... Будем надеяться, что они передадутся и на Восток...

Как известно, впоследствии эти же слова высказал в

своей знаменитой телеграмме Киеву (киевскому клубу русских националистов) и П. А. Столыпин*.

Государь спросил еще что-то, личное, и, очень милостиво простившись со мною, пошел дальше. Государыня сказала мне несколько слов.

Меня поразила сцена с одним из наших священников. Он при приближении государя стал на колени и страшно растроганным басом говорил какие-то нескладные слова.

Государь, видимо сконфуженный, поднял его и, приняв от него благословение, поцеловал ему руку.

Был среди представившихся членов Думы — Лукашевич¹⁰⁸, от Полтавской губернии, очень немолодой, очень симпатичный, но хитрый, как настоящий хохол. Нам всем, как я уже говорил, очень хотелось узнать, когда распустят Государственную думу. Но пример Пуришкевича показал, что государь не разрешает об этом говорить. Лукашевич же сумел так повернуть дело, что мы все поняли.

Государь спросил Лукашевича, где он служил. Он ответил:

— Во флоте вашего императорского величества. Потом вышел в отставку и долго был председателем земской управы. А теперь вот выбрали в Государственную думу. И очень мне неудобно, потому что сижу в Петербурге и дела земские запускаю. Если это долго продолжится, я должен подать в отставку из земства. Так вот и не знаю...

И он остановился, смотря государю прямо в глаза с самым невинным видом...

Государь улыбнулся и перешел к следующему, но, видимо, ему понравилась эта своеобразная хитрость. Он еще раз повернулся к Лукашевичу и, улыбаясь, сказал ему:

— Погодите подавать в отставку...

В эту минуту мы все поняли, что дни Государственной думы сочтены. И обрадовались этому до чрезвычайности. Ни у кого из нас не было сомнений, что Думу «народного гнева и невежества» надо гнать беспощадно.

Обойдя всех, государь вышел на середину полукруга и сказал короткую речь.

Я не помню ее всю, но ясно помню ее конец:

— Благодарю вас за то, что вы мужественно отстаиваете те устои, при которых Россия росла и крепла...

Государь говорил негромко, но очень явственно и четко. Голос у него был низкий, довольно густой, а выговор чуть-

* «Твердо верю, что загоревшийся на Западе России свет русской национальной идеи не погаснет и скоро озарит всю Россию...» (Прим. авт.).

чуть с налетом иностранных языков. Он мало выговаривал «б», почему последнее слово звучало не как «крѣпла», а почти как «крепла».

Этот гвардейский акцент — единственное, что показалось мне, провинциалу, чужим. А остальное было близкое, но не величественное, а, наоборот, симпатичное своей застенчивостью.

Странно, что и государыня производила то же впечатление застенчивости. В ней чувствовалось, что за долгие годы она все же не привыкла к этим «приемам». И неуверенность ее была большая, чем робость ее собеседников.

Но кто был совершенно в себе уверен и в ком одном было больше «величественности», чем в его обоих царственных родителях, — это был маленький мальчик — цесаревич. В белой рубашечке, с белой папачой в руках, ребенок был необычайно красив.

После речи государя мы усердно кричали «ура». Он простился с нами общим поклоном — «одной головой» — и вышел из маленького зала, который в этот день был весь пронизан светом.

Хороший был день! Веселый, теплый. Все вышли радостные...

Несмотря на застенчивость государя, мы все почувствовали, что он в хорошем настроении. Уверен в себе, значит, и в судьбе России.

Под мягкий рокот колес придворных экипажей, по удивительным аллеям Царского Села, мы, радостно возбужденные, говорили о том, что безобразному кабаку, именовавшемуся II Государственной думой, скоро конец. И действительно, недели через две, а именно 2 июня, она была распущена, и «гнев народа» не выразился абсолютно ни в чем. В этот день один из полков несколько раз под музыку прошел по Невскому в полном порядке, и 3 июня совершало свое победоносное вступление над Россией¹⁰⁹.

Я целый день ходил по городу, чтобы определить, как я сказал своим друзьям, — есть ли у нас самодержавие?

И вечером, обедая у Донона, чокнулся с Крупенским¹¹⁰, сказав ему:

— Дорогой друг, самодержавие есть...

* * *

С тех пор прошло года полтора. Это было в начале 1909 года. III Государственная дума приступила под дуум-

виратом Столыпин — Гучков к своим большим задачам.

Оппозиция, по крайней своей ограниченности, не понимая, какое большое дело происходит перед ее глазами, всячески мешала реформационным работам. Одной из очередных пакостей был ни к селу ни к городу внесенный законопроект «Об отмене смертной казни». Моя фракция («правых») поручила мне говорить «против».

Но когда на следующее утро это дело стало разбираться, возник обычный вопрос о «желательности» передачи этого законопроекта в комиссию.

По тогдашнему наказу, против желательности передачи в комиссию мог говорить только один оратор. Случилось так, что двое подали записки одновременно. Это были Гегечкори¹¹¹ и я. Гегечкори — потому, что он хотел «отменить» смертную казнь немедленно, без комиссий, а я — потому, что я хотел точно так же без комиссии ее «утвердить».

Пришлось тянуть жребий. Я его вытащил. Помню, как Крупенский с места своим характерным басом воскликнул: — Есть бог!

Я сказал свою речь...

* * *

А на следующий день (это было случайно) мы должны были представляться государю — все члены от Волынской губернии, по следующему поводу:

Из Волынской губернии приехала депутация, во главе с архиепископом Антонием¹¹² и знаменитым архимандритом Виталием*, монахом Почаевской лавры. Остальные члены депутации были крестьяне, по одному от каждого из двенадцати уездов Волынской губернии.

Архимандрит Виталий, вопреки всему тому, что о нем писали некоторые газеты, был человек, достойный всяческого уважения. Это был «народник» в истинном значении этого слова. Аскет-бессребреник, неутомимый работник, он день и ночь проводил с простым народом, с волынскими землеробами, и, действительно, любил его, народ, таким, каков он есть... И пользовался он истинной «взаимностью». Волынские мужики слушали его беспрекословно — верили ему... Верили, во-первых, что он — «за них», а во-вторых, что он учит хорошему, божескому.

И действительно, архимандриту Виталию удалось сделать большое дело... Быть может, ему единственному удалось тогда перебросить мост между высшим, культурным

классом, то есть «помещиками», и черным народом, «хлеборобами»... В его лице духовенство стало между землевладельцами и крестьянами. Оно подало правую руку одним, левую — другим и повело за собой обоих, объединяя их, как «русских и православных»...

При этом архимандрит Виталий умел держаться на грани демагогии. Он утверждал, что крестьяне получат землю, но не грабежом, не революцией, не всякими безобразиями, а только волей государя и «по справедливости», т. е. чтобы «никого не обижать».

Точно так же умел он направить волынских крестьян и в еврейском вопросе. Он призывал к борьбе с еврейством и не мог не призывать, так как революцию 1905 года вело еврейство «объединенным фронтом» — без различия классов и партий. Но, помня и свой пастырский долг и все остальное, что надо помнить, архимандрит Виталий призывал к противодействию еврейству путем экономической борьбы, а также национальной организованности. Характерен для него был лозунг, который оглушительно повторяли толпы народа, шедшие за ним. Этот лозунг был не «бей жидов», а — «Русь идет!».

Ни одного еврейского погрома, несмотря на все его горячие речи, призывавшие к борьбе с революцией, на совести у архимандрита Виталия не было, как не было и ни одной помещичьей «иллюминации», как вообще не было ни одного насилия.

Разумеется, его не поняли, разумеется, его оклеветали, но кого не изругивали в те дни! Разве эти безумные люди понимали хоть что-нибудь? Разве они не смешали с грязью Столыпина?

* * *

Свою работу архимандрит Виталий вел посредством образования почти в каждом селе так называемого «Союза русского народа»¹¹⁴. Говорят, что в других местах этот союз был не то подставным, не то хулиганским. Но на Волыни дело было иначе. Села совершенно добровольно делали «приговоры» о том, что хотят образовать «союз», и образовывали: такой союз был и в нашей деревне, и я был его почетным председателем.

Между прочим, в последнее время архимандрит Виталий занялся следующей мыслью.

Он, как и другие правые, был озабочен тем, чтобы

«историческая русская власть», иначе «самодержавие», не получила ущерба. *Ne quid detrimentum capiat**...

...Всем нам было страшно, как бы не пошатнулась эта власть. Мы считали, что Государственная дума — Государственной думой, но всецело принимали лозунг Столыпина: «Никто не может отнять у русского государя право и обязанность спасти богом врученную ему державу».

С этой целью архимандрит Виталий составил верноподанный адрес, в котором было выражено желание, чтобы царь был самодержцем, как и раньше было.

Под этим адресом стали собирать подписи по всей Волыни и, когда собрали 1 000 000 подписей (все население Волыни — 3½ миллиона, считая женщин и детей), решили поднести его государю императору.

* * *

Дворец. Один из небольших зал. Мы собрались за четверть часа до назначенного времени. Оглядев нас, я подумал, что эта группа и красива и знаменательна.

Посередине, в великолепной лилово-белой шелковой мантии — архиепископ Антоний, опираясь на посох. Рядом с ним, в черной рясе (его уговорили надеть шелковую на этот день), аскет-монах, страшно худой, с выразительными глазами — архимандрит Виталий... Налево от владыки — член Думы, князь В. В. Волконский, в мундире председателя дворянства. За ним фраки, сияющие белой грудью, — члены Думы — русские помещики — культурный класс. Направо от владыки — около двадцати «свиток». Настоящие волынские свитки, темно-коричневые и светло-серые, обшитые красной тесьмой. Они пришли сюда, во дворец, точно такими же, какими ходят в свою церковь в воскресенье... Лица были торжественные, серьезные, но не рабские... Нет, не рабские!

Мне казалось тогда, что это день глубокого мистического значения.

Государь в этот день увидел лоскуток своей державы в ее идеальном представлении; такой, какой она должна была быть; такой, какой она, увы! за исключением этого клочка — Волыни — не была...

Почти повсюду (натравленные друг против друга «работой» города над «вопросом о земле») — дворянство и крестьянство, помещики и землеробы — были враждующи-

* Дабы правосудие не понесло ущерба (*лат.*).

ми лагерями... Железом Столыпина едва удалось образумить низы... да и верхи...

Здесь же церковь, протянув одну руку помещикам и дворянам, золотошитым и «фрачным», а другую огромному, черному, землеробному крестьянству, этим коричневым и серым свиткам,— подвела их к престолу царя, как братьев...

Господи, да ведь и правда же мы — братья!.. Разве не ясно, что не жить нам одним без других, что, если натравят на нас, панов, эти «свитки», — мы погибнем в их руках, но и они, «свитки», погубивши нас, скоро погибнут сами, ибо наше место займут новые «паны» — такие «паны из города», от которых стон и смерть пойдут по всей черной, хлебородной, земляной земле...

Церковь это знает, знает, может быть, не индивидуальным разумом этих вот ее слуг, а знает потому, что голос веков звучит под ее сводами. Церковь это знает и знает, где искать примирение, где найти утишающее слово...

Здесь... У престола...

Церковь взяла нас и привела сюда, чтобы мы сказали вместе с нею:

— Помазанник божий! Верим тебе. Суди нас, мири нас. Хотим быть братьями... потому что мы одной крови, одной веры, одной земли...

* * *

Разве не это хотят сказать эти огромные книги, что торжественно лежат вокруг иконы божьей матери, Почаевской, которую владыка Антоний подносит царю?

Эти книги в грубых кожаных переплетах, числом двенадцать,— это адрес государю... Каждая книга от каждого уезда Волыни... Адрес — за «самодержавие», т. е. чтобы царь был самодержавен... Подносят его волынцы, объединившиеся в «Союз русского народа». Поэтому же на свитках и фраках маленькие серебряные кружки — значок «Союза русского народа».

* * *

Беру одну из этих тяжелых книг в руки... Мелькают знакомые деревни, мелькают знакомые имена... «Бизюки, Сопрунцы, Ткачуки, Климуси, Романчуки»... Вместо неграмотных стоят кресты...

Все это подлинное... Подписи настоящие... Сколько их? Миллион...

* * *

Миллион! Миллион подписей при населении в три с половиной миллиона, считая женщин и детей.

Миллион волынцев сказали в этот день царю, что они не «украинцы», а русские, ибо зачислились в «Союз русского народа»... Миллион сказали, что верят в бога, потому что пришли сюда по зову царя... Миллион сказали, что любят родину... Миллион сказали, что они не грабители и не социалисты, потому что хотят земельный вопрос решить не силой, а по царской воле... Миллион сказали, что на земле превыше всего верят царю и просят его по-старому править Русскою землею...

...Царствуй на славу нам...
Царствуй на страх врагам...

* * *

Время приближалось...

Нас поставили в порядок. Все замолкло. Стало очень тихо. На часах ударило два... В это же мгновение отворилась дверь, арап, сверкнув белой чалмой над черным лицом, колыхнул широкими шароварами... Он сказал негромко, но картаво:

— Государь император...

* * *

Государь вышел один... Все поклонились...

Государь принял благословение от владыки...

Владыка начал свою речь.

Архиепископ Антоний говорил, как всегда, умно и красиво. Опираясь на посох, он сказал все, что было можно и нужно... Больше говорить было нечего... Так и было условлено... Было решено, что никто не будет говорить ни из «панов», ни из «хрестьян».

Но тут произошло неожиданное...

* * *

На самом правом крыле стоял невзрачный мужичок, желтоватой масти, полещук из одного болотного уезда. Из тех, что люди, ненавидящие мужиков, называют иногда

«гадюка»... Но он не был гадюка... Его фамилия была Бугай¹¹⁵... «Бугай» называют у нас птицу «выпь»... За то, что она вопит, конечно... Засядет в болото и вопит...

Неожиданно Бугай оправдал свою фамилию и «завопил»:

— Ваше императорское величество!..

Государь повернул к нему голову... Архимандрит Виталий хотел остановиться, «цыкнуть» на неожиданного, но удержался, заметив, что государь приготовился слушать.

И Полещук развернулся...

* * *

Я всегда удивлялся красноречию простого народа. В то время как средний интеллигент ищет, подбирает слова, говорит с трудом, с напряжением,— простой человек, если начнет говорить, то «зальется»...

Серенада полесской выпи продолжалась минут десять. Он говорил тем языком, который так блестяще опровергает все украинские теории. Он говорил малорусской речью,— но такой, что его нельзя было не понять даже человеку, который никогда в хохландии не был.

Что он говорил?

Он, не останавливаясь, бранил Государственную думу... За что про что — понять нельзя было совсем или можно было слишком понять. Вот так, как птица «бугай»... Заберется в камыш и кричит...

Он кричал о том, что наш народ волынский не хочет, чтобы Дума была «старшей», а чтобы царь был старший... И как царь с землей решит, пусть так и будет... А Дума «пусть себе не думает»; потому мы только царю верим, а на Думу сдаваться не желаем... И еще и еще...

Государь выслушал его до конца. Но когда он кончил, после этих его криков наступила напряженная тишина... Мы понимали, что речь Бугая была неожиданной, и потому — почти скандал, нам было очень неловко и неприятно, и больно ждалось сознание, как государь выйдет из этого положения...

* * *

Выход был тоже очень неожиданный.

Государь сделал несколько раз подергивание плечом, которое было ему свойственно... Потом кивнул Бугаю, полу-

улыбнувшись... Но не сказал ему ни слова... Наоборот, он повернулся к нам, членам Думы, и прошел глазами по нас... И вдруг спросил немного как бы застенчиво:

— Кто из вас — Шульгин?

Больше всего это, конечно, поразило меня... До такой степени, что, не очень отдавая себе отчет в том, что я делаю, я сделал большой шаг вперед, «по-солдатски».

— Я, ваше императорское величество...

Государь посмотрел на меня и сказал, довольно застенчиво, улыбаясь, но так, чтобы все слышали:

— Мы только что... за завтраком... прочли с императрицей вашу вчерашнюю речь в Государственной думе... Благодарю вас. Вы говорили так, как должен говорить человек истинно русский...

Я пробормотал несколько довольно бессвязных слов. И отступил на свое место...

Потом?.. Потом государь сказал несколько слов с другими и всем... Затем?.. Затем все было как всегда... При криках «ура» государь удалился...

* * *

Потом произошла довольно смешная сцена.

Матрос Деревенько, который был дядькой у наследника цесаревича и который услышал, что волынские крестьяне представляются, захотел повидать своих...

И вот он тоже — «вышел»...

Красивый, совсем как первый любовник из малорусской труппы (воронова крыла волосы, а лицо белое, как будто он употреблял семе Симон*), — он, скользя по паркету, вышел, протянув руки — «милостиво»:

— Здравствуйте, земляки!.. Ну, как же вы там?..

Очень было смешно...

Нам был предложен завтрак. Меня поздравляли с «царской благодарностью»... и было очень радостно...

Уезжая, мы, по обычаю, разобрали «на память» цветы, которыми украшен был стол...

Эти цветы, «царские цветы», сохраненные заботливой рукой, и сейчас на моем письменном столе под стеклом царского портрета там, в Петрограде...

А я мчусь в Псков?.. Как? Отчего?

* крем Симон (фр.).

* * *

Трон был спасен в 1905 году, потому что часть народа еще понимала своего монарха... Во время той войны, также неудачной, эти, понимавшие, столпились вокруг престола и спасли Россию...

Спасли те «поручики», которые командовали «по наступающей толпе — пальба», спасли те, кто зажглись взрывом оскорбленного патриотизма,— взрывом, который вылился в «еврейский погром», спасли те «прапорщики», которые этот погром остановили, спасли те правители и вельможи, которые дали лозунг «не запутаете», спасли те политические деятели, которые, испросив благословение церкви,— громили словом лицемеров и безумцев...

А теперь?

Теперь не нашлось никого...

Никого... потому что мы перестали понимать своего государя...

И вот...

И вот... Псков...

* * *

И еще раз...

Это было 26 июля 1914 года... В тот день, когда на один день была созвана Государственная дума после объявления войны.

В Петербург с разных концов России пробивались сквозь мобилизационную страду поезда с членами Государственной думы... Поезду, который пробивался из Киева, было особенно трудно, почему он опоздал... С вокзала я колотил извозчика в спину, чтобы попасть в Зимний дворец... Я объяснял ему, что «сам государь меня ждет»... Извозчик колотил свою шведку, но все же я вбежал в зал, когда уже началось... Государь уже вышел...

И вот тут было совсем по-иному, чем всегда, во время больших выходов. Величие и трудность минуты сломили лед векового каркаса. Была толпа людей, мятущаяся чувством, восторженная, прорвавшая ритуал... Эта восторженная гроздь законодателей окружала одного человека, и этот человек был наш государь...

Я не мог протолкаться к нему, да этого и не нужно было... Ведь я и такие, как я, всегда были с ним душой и сердцем, но бесконечно радостно было для нас, что эти другие люди, вчера еще равнодушные, нет, мало сказать

равнодушные,— враждебные, что они, подхваченные неодолимым стремлением сплотиться воедино, в эту страшную минуту бросились к вековому фокусу России — к престолу... Эти другие люди были — кадеты, т. е. властители умов и сердец русской интеллигенции... О, как охотно мы уступили бы им наши места на ступенях трона, если бы это означало единство России!..

В мой потрясенный мозг стучались три слова, вылившиеся в статье под заглавием:

«Веди нас, государь!..»

* * *

А вот теперь — Псков... Вот куда «привел» нас государь... Он ли — нас, или мы — его, кто это рассудит? На земле — история, на небе — бог...

* * *

Станции проносились мимо нас... Иногда мы останавливались... Помню, что А. И. Гучков иногда говорил краткие речи с площадки вагона... это потому, что иначе нельзя было... На перронах стояла толпа, которая все знала... То есть она знала, что мы едем к царю... И с ней надо было говорить...

* * *

Не помню, на какой станции нас соединили прямым проводом с генерал-адъютантом Николаем Иудовичем Ивановым. Он был, кажется, в Гатчине. Он сообщил нам, что по приказанию государя накануне, или еще 28-го числа, выехал по направлению к Петрограду... Ему было приказано усмирить бунт... Для этого, не входя в Петроград, он должен был подождать две дивизии, которые были сняты с фронта и направлялись в его распоряжение... В качестве, так сказать, верного кулака ему было дано два батальона георгиевцев, составивших личную охрану государя. С ними он шел до Гатчины... И ждал... В это время кто-то успел разобрать рельсы, так что он, в сущности, отрезан от Петрограда... Он ничего не может сделать, потому что явились «агитаторы», и георгиевцы уже разложились... На них нельзя положиться... Они больше не повинуются... Старик стремился повидаться с нами, чтобы решить, что делать...

Но надо было спешить... Мы ограничились этим телеграфным разговором...

* * *

Все же мы ехали очень долго... Мы мало говорили с А. И. Усталость брала свое... Мы ехали, как обреченные... Как все самые большие вещи в жизни человека, и это совершалось не при полном блеске сознания... Так надо было... Мы бросились на этот путь, потому что всюду была глухая стена... Здесь, казалось, просвет... Здесь было «может быть»... А всюду кругом было — «оставь надежду»...

* * *

Разве переходы монаршей власти из рук одного монарха к другому не спасали Россию?

Сколько раз это было...

* * *

В 10 часов вечера мы приехали. Поезд стал. Вышли на площадку. Голубоватые фонари освещали рельсы. Через несколько путей стоял освещенный поезд... Мы поняли, что это императорский...

Сейчас же кто-то подошел...

— Государь ждет вас...

И повел нас через рельсы. Значит, сейчас все это произойдет. И нельзя отвратить?

Нет, нельзя... Так надо... Нет выхода... Мы пошли, как идут люди на все самое страшное,— не совсем понимая... Иначе не пошли бы...

Но меня мучила еще одна мысль, совсем глупая...

Мне было неприятно, что я являюсь к государю небритый, в смятом воротничке, в пиджаке...

* * *

С нас сняли верхнее платье. Мы вошли в вагон.

Это был большой вагон-гостиная. Зеленый шелк по стенкам... Несколько столов... Старый, худой, высокий, желтовато-седой генерал с аксельбантами...

Это был барон Фредерике...

— Государь император сейчас выйдет... Его величество в другом вагоне...

Стало еще безотраднее и тяжелее...

В дверях появился государь... Он был в серой черкеске... Я не ожидал его увидеть таким...

Лицо?

Оно было спокойно...

Мы поклонились. Государь поздоровался с нами, подав руку. Движение это было скорее дружелюбно...

— А Николай Владимирович?

Кто-то сказал, что генерал Рузский просил доложить, что он немного опоздает.

— Так мы начнем без него.

Жестом государь пригласил нас сесть... Государь занял место по одну сторону маленького четырехугольного столика, придвинутого к зеленой шелковой стене. По другую сторону столика сел Гучков. Я — рядом с Гучковым, наискось от государя. Против царя был барон Фредерике...

Говорил Гучков. И очень волновался. Он говорил, очевидно, хорошо продуманные слова, но с трудом справлялся с волнением. Он говорил негладко... и глухо.

Государь сидел, опершись слегка о шелковую стену, и смотрел перед собой. Лицо его было совершенно спокойно и непроницаемо.

Я не спускал с него глаз. Он изменился сильно с тех пор... Похудел... Но не в этом было дело... А дело было в том, что вокруг голубых глаз кожа была коричневая и вся разрисованная белыми черточками морщин. И в это мгновение я почувствовал, что эта коричневая кожа с морщинками, что эта маска, что это не настоящее лицо государя и что настоящее, может быть, редко кто видел, может быть, иные никогда ни разу не видели... А я видел тогда, в тот первый день, когда я видел его в первый раз, когда он сказал мне:

«Оно и понятно... Национальные чувства на Западе России сильнее... Будем надеяться, что они передадутся и на Восток»...

Да, они передались. Западная Россия заразила Восточную национальными чувствами. Но Восток заразил Запад... властеборством.

И вот результат... Гучков — депутат Москвы, и я, представитель Киева — мы здесь... Спасаем монархию через отречение... А Петроград?

Гучков говорил о том, что происходит в Петрограде.

Он немного овладел собой... Он говорил (у него была эта привычка), слегка прикрывая лоб рукой, как бы для того, чтобы сосредоточиться. Он не смотрел на государя, а говорил, как бы обращаясь к какому-то внутреннему лицу, в нем же, Гучкове, сидящему. Как будто бы совести своей говорил.

Он говорил правду, ничего не преувеличивая и ничего не утаивая. Он говорил то, что мы все видели в Петрограде. Другого он не мог сказать. Что делалось в России, мы не знали. Нас раздавил Петроград, а не Россия...

Государь смотрел прямо перед собой, спокойно, совершенно непроницаемо. Единственное, что, мне казалось, можно было угадать в его лице: «Эта длинная речь — лишняя...»

В это время вошел генерал Рузский. Он поклонился государю и, не прерывая речи Гучкова, занял место между бароном Фредериксом и мною... В эту же минуту, кажется, я заметил, что в углу комнаты сидит еще один генерал, волосами черный, с белыми погонами... Это был генерал Данилов.

Гучков снова заволновался. Он подошел к тому, что, может быть, единственным выходом из положения было бы отречение от престола¹¹⁶.

Генерал Рузский наклонился ко мне и стал шептать:

— По шоссе из Петрограда движутся сюда вооруженные грузовики... Неужели же ваши? Из Государственной думы.

Меня это предположение оскорбило. Я ответил шепотом, но резко:

— Как это вам могло прийти в голову?

Он понял.

— Ну, слава богу, простите... Я приказал их задерживать.

Гучков продолжал говорить об отречении...

Генерал Рузский прошептал мне:

— Это дело решенное... Вчера был трудный день... Буря была...

— ...И, помолясь богу... — говорил Гучков...

При этих словах по лицу государя впервые пробежало что-то... Он повернул голову и посмотрел на Гучкова с таким видом, который как бы выражал: «Этого можно было бы и не говорить...»

* * *

Гучков окончил. Государь ответил. После взволнованных слов А. И. голос его звучал спокойно, просто и точно. Только акцент был немножко чужой — гвардейский:

— Я принял решение отречься от престола... До трех часов сегодняшнего дня я думал, что могу отречься в пользу сына, Алексея... Но к этому времени я переменил решение в пользу брата Михаила... Надеюсь, вы поймете чувства отца...

Последнюю фразу он сказал тише...

* * *

К этому мы не были готовы. Кажется, А. И. пробовал представить некоторые возражения... Кажется, я просил четверть часа — посоветоваться с Гучковым... Но это почему-то не вышло... И мы согласились, если это можно назвать согласием, тут же... Но за это время столько мыслей пронеслось, обгоняя одна другую...

Во-первых, как мы могли «не согласиться»?.. Мы приехали сказать царю мнение Комитета Государственной думы... Это мнение совпало с решением его собственным... а если бы не совпало? Что мы могли бы сделать? Мы уехали бы обратно, если бы нас отпустили... Ибо мы ведь не вступили на путь «тайного насилия», которое практиковалось в XVIII веке и в начале XIX...

Решение царя совпало в главном... Но разошлось в частностях... Алексей или Михаил перед основным фактом — отречением — все же была частность... Допустим, на эту частность мы бы «не согласились»... Каков результат? Прибавился бы только один лишний повод к неудовольствию. Государь передал престол «вопреки желанию Государственной думы»... И положение нового государя было бы подорвано.

Кроме того, каждый миг был дорог. И не только потому, что по шоссе движутся вооруженные грузовики, которых мы достаточно насмотрелись в Петрограде и знали, что это такое, и которые генерал Рузский приказал остановить (но остановят ли?), но еще и вот почему: с каждой минутой революционный сброд в Петрограде становится наглее, и, следовательно, требования его будут расти. Может быть, сейчас еще можно спасти монархию, но надо думать и о том, чтобы спасти хотя бы жизнь членам династии.

Если придется отречься и следующему,— то ведь Михаил может отречься от престола...

Но малолетний наследник не может отречься — его отречение недействительно.

И тогда что они сделают, эти вооруженные грузовики, движущиеся по всем дорогам?

Наверное, и в Царское Село летят — проклятые...

И сделались у меня:

«Мальчики кровавые в глазах»...

* * *

А кроме того...

Если что может еще утишить волны,— это если новый государь воцарится, присягнув конституции...

Михаил может присягнуть.

Малолетний Алексей — нет...

* * *

А кроме того...

Если здесь есть юридическая неправильность... Если государь не может отречься в пользу брата... Пусть будет неправильность!.. Может быть, этим выигрывается время... Некоторое время будет править Михаил, а потом, когда все уговорится, выяснится, что он не может царствовать, и престол перейдет к Алексею Николаевичу...

* * *

Все это, перебивая одно другое, пронеслось, как бывает в такие минуты... Как будто не я думал, а кто-то другой за меня, более быстро соображающий...

* * *

И мы «согласились»...

* * *

Государь встал... Все поднялись...

Гучков передал государю «набросок». Государь взял его и вышел.

* * *

Когда государь вышел, генерал, который сидел в углу и который оказался Юрием Даниловым, подошел к Гучкову. Они были раньше знакомы.

— Не вызовет ли отречение в пользу Михаила Александровича впоследствии крупных осложнений, в виду того что такой порядок не предусмотрен законом о престолонаследии?

Гучков, занятый разговором с бароном Фредериксом, познакомил генерала Данилова со мною, и я ответил на этот вопрос. И тут мне пришло в голову еще одно соображение, говорящее за отречение в пользу Михаила Александровича.

— Отречение в пользу Михаила Александровича не соответствует закону о престолонаследии. Но нельзя не видеть, что этот выход имеет при данных обстоятельствах серьезные удобства. Ибо если на престол взойдет малолетний Алексей, то придется решать очень трудный вопрос: останутся ли родители при нем или им придется разлучиться. В первом случае, т. е. если родители останутся в России, отречение будет в глазах тех, кого оно интересует, как бы фиктивным... В особенности это касается императрицы... Будут говорить, что она так же правит при сыне, как при муже... При том отношении, какое сейчас к ней,— это привело бы к самым невозможным затруднениям. Если же разлучить малолетнего государя с родителями, то, не говоря о трудности этого дела, это может очень вредно отразиться на нем. На троне будет подрастать юноша, ненавидящий все окружающее, как тюремщиков, отнявших у него отца и мать... При болезненности ребенка это будет чувствоваться особенно остро...

* * *

Барон Фредерике был очень огорчен, узнав, что его дом в Петрограде горит. Он беспокоился о баронессе, но мы сказали, что баронесса в безопасности...

* * *

Через некоторое время государь вошел снова. Он протянул Гучкову бумагу, сказав:

— Вот текст...

Это были две или три четвертушки — такие, какие, очевидно, употреблялись в Ставке для телеграфных бланков. Но текст был написан на пишущей машинке.

Я стал пробегать его глазами, и волнение, и боль, и еще что-то сжало сердце, которое, казалось, за эти дни уже лишилось способности что-нибудь чувствовать... Текст был написан теми удивительными словами, которые теперь все знают...

«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, господу богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной думой признали мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие нашему брату, нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства Российского. Заповедуем брату нашему править делами государственным в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены. Во имя горячо любимой родины, призываем всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний, помочь ему, вместе с представителями народа, вывести государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет господь бог России.

Николай».

* * *

Каким жалким показался мне набросок, который мы привезли. Государь принес и его и положил на стол.

* * *

К тексту отречения нечего было прибавить... Во всем этом ужасе на мгновение пробился один светлый луч... Я вдруг почувствовал, что с этой минуты жизнь государя в безопасности... Половина шипов, вонзившихся в сердце его подданных, вырывались этим лоскутком бумаги. Так благородны были эти прощальные слова... И так почувствовалось, что он так же, как и мы, а, может быть, гораздо больше, любит Россию...

* * *

Почувствовал ли государь, что мы растроганы, но обращение его с этой минуты стало как-то теплее...

* * *

Но надо было делать дело до конца... Был один пункт, который меня тревожил... Я все думал о том, что, может быть, если Михаил Александрович прямо и до конца объявит «конституционный образ правления», ему легче будет удержаться на троне... Я сказал это государю... И просил его в том месте, где сказано: «...с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены...», приписать: «принеся в том всенародную присягу».

Государь сейчас же согласился.

— Вы думаете, это нужно?

И, присев к столу, приписал карандашом: «принеся в том ненарушимую присягу».

Он написал не «всенародную», а «ненарушимую», что, конечно, было стилистически гораздо правильнее.

Это единственное изменение, которое было внесено...

* * *

Затем я просил государя:

— Ваше величество... Вы изволили сказать, что пришли

к мысли об отречении в пользу великого князя Михаила Александровича сегодня в 3 часа дня. Было бы желательнее, чтобы именно это время было обозначено здесь, ибо в эту минуту вы приняли решение...

Я не хотел, чтобы когда-нибудь кто-нибудь мог сказать, что манифест «вырван»... Я видел, что государь меня понял, и, по-видимому, это совершенно совпало с его желанием, потому что он сейчас же согласился и написал: «2 марта, 15 часов», то есть 3 часа дня... Часы показывали в это время начало двенадцатого ночи...

* * *

Потом мы, не помню по чьей инициативе, начали говорить о верховном главнокомандующем и о председателе Совета Министров.

Тут память мне изменяет. Я не помню, было ли написано назначение великого князя Николая Николаевича верховным главнокомандующим при нас или же нам было сказано, что это уже сделано...

Но я ясно помню, как государь написал при нас указ Правительствующему Сенату о назначении председателя Совета Министров...

Это государь писал у другого столика и спросил:

— Кого вы думаете?..

Мы сказали:

— Князя Львова...

Государь сказал как-то особой интонацией,— я не могу этого передать:

— Ах, Львов? Хорошо — Львова...

Он написал и подписал...

Время по моей же просьбе было поставлено для действительности акта двумя часами раньше отречения, т. е. 13 часов.

* * *

Когда государь так легко согласился на назначение Львова,— я думал: «Господи, господа, ну не все ли равно,— вот теперь пришлось это сделать — назначить этого человека «общественного доверия», когда все пропало... Отчего же нельзя это было сделать несколько раньше... Может быть, этого тогда бы и не было»...

* * *

Государь встал... Мы как-то в эту минуту были с ним вдвоем в глубине вагона, а остальные были там — ближе к выходу... Государь посмотрел на меня и, может быть, прочел в моих глазах чувства, меня волновавшие, потому что взгляд его стал каким-то приглашающим высказаться... И у меня вырвалось:

— Ах, ваше величество... Если бы вы это сделали раньше, ну хоть до последнего созыва Думы, может быть, всего этого...

Я недоговорил...

Государь посмотрел на меня как-то просто и сказал еще проще:

— Вы думаете — обошлось бы?

* * *

Обошлось бы? Теперь я этого не думаю... Было поздно, в особенности после убийства Распутина. Но если бы это было сделано осенью 1915 года, то есть после нашего великого отступления, может быть, и обошлось бы...

* * *

Государь смотрел на меня, как будто бы ожидая, что я еще что-нибудь скажу. Я спросил:

— Разрешите узнать, ваше величество, ваши личные планы? Ваше величество поедете в Царское?

Государь ответил:

— Нет... Я хочу сначала проехать в Ставку... проститься... А потом я хотел бы повидать матушку... Поэтому я думаю или проехать в Киев, или просить ее приехать ко мне... А потом — в Царское...

* * *

Теперь, кажется, было уже все сделано. Часы показывали без двадцати минут двенадцать. Государь отпустил нас. Он подал нам руку с тем характерным коротким движением головы, которое ему было свойственно. И было это движение, может быть, даже чуточку теплее, чем то, когда он нас встретил...

Мы вышли из вагона. На путях, освещенных голубыми фонарями, стояла толпа людей. Они все знали и все понимали... Когда мы вышли, нас окружили, и эти люди наперебой старались пробиться к нам и спрашивали: «Что? Как?» Меня поразило то, что они были такие тихие, шепчущие... Они говорили, как будто в комнате тяжелобольного, умирающего...

Им надо было дать ответ. Ответ дал Гучков. Очень волнуясь, он сказал:

— Русские люди... Обнажите головы, перекреститесь, помолитесь богу... Государь император ради спасения России снял с себя... свое царское служение... Царь подписал отречение от престола. Россия вступает на новый путь... Будем просить бога, чтобы он был милостив к нам...

Толпа снимала шапки и крестилась... И было страшно тихо...

Мы пошли в вагон генерала Рузского, по путям — сквозь эту расступавшуюся толпу.

Когда мы пришли к генералу Рузскому, через некоторое время, кажется, был подан ужин. Но с этой минуты я уже очень плохо помню, потому что силы мои кончились и сделалась такая жестокая мигрень, что все было как в тумане. Я не помню поэтому, что происходило за этим ужином, но, очевидно, генерал Рузский рассказывал, как произошли события.

Вот, вкратце, что произошло до нашего приезда.

28 февраля был отдан приказ двум бригадам, одной снятой с Северного фронта, другой — с Западного, двинуться на умирение Петрограда. Генерал-адъютанту Иванову было приказано принять командование над этими частями. Он должен был оставаться в окрестностях Петрограда, но не предпринимать решительных действий до особого распоряжения. Для непосредственного окружения ему были даны два батальона георгиевских кавалеров, составивших личную охрану государя в Ставке. С Северного фронта двинулись два полка 38-й пехотной дивизии, которые считались лучшими на фронте. Но где-то между Лугой и Гатчиной эти полки взбунтовались и отказались идти на Петроград. Бригада, взятая с Западного фронта, тоже не

дошла. Наконец, и два батальона георгиевцев тоже вышли из повиновения.

Первого марта генерал Алексеев запросил телеграммой всех главнокомандующих фронтами. Телеграммы эти запрашивали у главнокомандующих их мнение о желательности при данных обстоятельствах отречения государя императора от престола в пользу сына. К часу дня второго марта все ответы главнокомандующих были получены и сосредоточились в руках генерала Рузского. Ответы эти были:

1) От великого князя Николая Николаевича — главнокомандующего Кавказским фронтом.

2) От генерала Сахарова — фактического главнокомандующего Румынским фронтом (собственно главнокомандующим был король Румынии, а Сахаров был его начальником штаба).

3) От генерала Брусилова — главнокомандующего Юго-Западным фронтом.

4) От генерала Эверта — главнокомандующего Западным фронтом.

5) От самого Рузского — главнокомандующего Северным фронтом.

Все пять главнокомандующих фронтами и генерал Алексеев (ген. Алексеев был начальником штаба при государе) высказались за отречение государя императора от престола.

В час дня второго марта генерал Рузский, сопровождаемый своим начальником штаба генералом Даниловым и Савичем — генерал-квартирмейстером, был принят государем. Государь принял их в том же самом вагоне, в котором через несколько часов было отречение.

Генерал Рузский доложил государю мнение генерала Алексеева и главнокомандующих фронтами, в том числе свое собственное. Кроме того, генерал Рузский просил еще выслушать генералов Данилова и Савича. Государь приказал Данилову говорить.

Генерал Данилов сказал приблизительно следующее:

— Положение очень трудное... Думаю, что главнокомандующие фронтами правы. Зная ваше императорское величество, я не сомневаюсь, что, если благоугодно будет разделить наше мнение, ваше величество принесете и эту жертву родине...

Савич кратко сказал, что он присоединяется к мнению генерала Данилова.

На это государь ответил очень взволнованно и очень

прочувственно, в том смысле, что нет такой жертвы, которой он не принес бы для России.

После этого была составлена краткая телеграмма, извещавшая генерала Алексеева о том, что государь принял решение отречься от престола. Генерал Рузский взял телеграмму и удалился, но несколько медлил с отправкой ее, так как он знал, что Гучков и Шульгин утром выехали из Петрограда: он хотел посоветоваться с ними особенно по вопросу о том, кто станет во главе правительства. Генерал Рузский не доверял Львову и предпочитал Родзянко.

Гучкова и Шульгина ожидали с часу на час.

Но уже в три часа дня от государя пришел кто-то с приказанием вернуть телеграмму. Тогда же генерал Рузский узнал, что государь передумал в том смысле, что отречение должно быть не в пользу Алексея Николаевича, а в пользу Михаила Александровича. После повторного приказания вернуть телеграмму, телеграмма была возвращена и, таким образом, послана не была. День прошел в ожидании Гучкова и Шульгина.

* * *

Все это, должно быть, тогда же рассказал нам генерал Рузский. Во всяком случае, события этого дня можно считать точно установленными в таком виде, как я их изложил. Позднее это подтвердил мне генерал Данилов, который лично был свидетелем вышеизложенного.

* * *

Около часу ночи, а может быть двух, принесли второй экземпляр отречения. Оба экземпляра были подписаны государем. Их судьба, насколько я знаю, такова. Один экземпляр мы с Гучковым тогда же оставили генералу Рузскому. Этот экземпляр хранился у его начальника штаба, генерала Данилова. В апреле месяце 1917 года этот экземпляр был доставлен генералом Даниловым главе Временного правительства князю Львову.

Другой экземпляр мы повезли с Гучковым в Петроград. Впрочем, обгоняя нас, текст отречения побежал по прямому проводу и был известен в Петрограде ночью же...

* * *

Мы выехали. В вагоне я заснул свинцовым сном. Ранним утром мы были в Петрограде...

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ «КОНСТИТУЦИИ»

(Продолжение)

(3 марта 1917 года)

Не помню, как и почему, когда мы приехали в Петроград, на вокзале какие-то люди, которых уже было много, что-то нам говорили и куда-то нас тащили... И из этой кутерьмы вышло такое решение, что Гучкова куда-то потянули, я уже хорошенько не знаю — куда. А мне выпало на долю объявить о происшедшем «войскам и народу». Какие-то люди суетились вокруг меня, торопили и говорили, что войска уже ждут — выстроены в вестибюле вокзала.

Сопровождаемый этой волнующейся группой, я пошел с ними. Они привели меня в то помещение, где продаются билеты, — словом, во входной зал.

Здесь действительно стоял полк, или большой батальон, выстроившись на три стороны — «покоем». Четвертую сторону составляла толпа.

Я вошел в это каре, и в ту же минуту раздалась команда. Роты взяли на караул, и стало совершенно тихо...

* * *

Стало так тихо, как, кажется, никогда еще... У меня очень слабый голос... Но я чувствовал, что каждое слово летит над строем и дальше в толпу, и слышно им было все ясно.

Я читал им «отречение»...

* * *

Слова падали... И сами по себе они были — как это сказать? — вековым волнением волнующие... А тут — в этой обстановке... Перед строем, замершим в торжественном жесте, перед этой толпой, испуганной, благоговейно затихшей, они звучали неповторяемо... И я чувствовал, что слова

падают во что-то горячее, что могло быть только человеческим сердцем...

* * *

...Да поможет господь бог России.

* * *

Я поднял глаза от бумаги. И увидел, как дрогнули штывы, как будто ветер дохнул по колосьям... Прямо против меня молодой солдат плакал. Слезы двумя струйками бежали по румяным щекам...

Тогда я стал говорить... Хорошо ли, плохо,— не знаю... Это кто-то другой говорил — кто больше, сильнее, горячее меня...

— Вы слышали слова государя?.. Последние слова... императора Николая II? Он подал нам всем пример... нам всем — русским... как нужно... уметь забывать... себя для России. Сумеет ли мы так поступить? Мы... люди разные... разных званий, состояний... занятий... офицеры и солдаты... дворяне и крестьяне... Инженеры и рабочие... Богатые и бедные... Сумеет ли мы все забыть для того, что у нас у всех есть единое... общее?.. А что у нас — общее?.. Вы все это знаете... это общее — родина... Россия... Ее надо спасти... О ней думать... Идет война... Враг стоит на фронте... Враг неумолимый, который раздавит нас... раздавит, если не будем все вместе... Если не будем едины... Как быть единими?.. Только один путь... Всем собраться вокруг... нового царя... Всем оказать ему повиновение... Он поведет нас... Государю императору... Михаилу... Второму... провозглашаю — «ура!»

И оно взмыло — горячее, искреннее, растроганное...

И под эти крики я пошел прямо перед собой, прошел через строй, который распался, и через толпу, которая расступилась, пошел, не зная куда...

* * *

И показалось мне на одно короткое мгновение, что монархия спасена...

* * *

Я очнулся в каком-то коридоре вокзала... Кто-то из железнодорожных служащих твердил мне что-то, и наконец я понял, что Милоков уже много раз добивается меня по телефону...

* * *

Я услышал голос, который я с трудом узнал, до такой степени он был хриплый и надорванный...

— Да, это я, Милоков... Не объявляйте манифеста... Произошли серьезные изменения...

— Но как же?.. Я уже объявил...

— Кому?

— Да всем, кто здесь есть... какому-то полку, народу... Я провозгласил императором Михаила...

— Этого не надо было делать... Настроение сильно ухудшилось с того времени, как вы уехали... Нам передали текст... Этот текст совершенно не удовлетворяет... совершенно... необходимо упоминание об Учредительном Собрании... Не делайте никаких дальнейших шагов, могут быть большие несчастья...

— Единственное, что я могу сделать,— это отыскать Гучкова и предупредить его... Он тоже где-то, очевидно, объявляет...

— Да, да... Найдите его и немедленно приезжайте оба на Миллионную, 12. В квартиру князя Путятина...

— Зачем?

— Там великий князь Михаил Александрович... и все мы едем туда... пожалуйста, поспешите...

* * *

Я спросил кого-то из тех, кто меня почему-то окружили:

— Где Гучков?

— Александр Иваныч в железнодорожных мастерских на митинге рабочих,— ответили голоса.

На митинге рабочих... Значит, мне надо сейчас обратиться туда к нему и вытащить его оттуда... Но как же быть с текстом отречения?.. Вот я его чувствую под рукой в боковом кармане... И с таким документом на митинг к рабочим?.. Войти-то войдешь,— но выйдешь ли?.. Могут отнять, уничтожить... И бог его знает, что еще может быть¹¹⁷...

Как быть? Вокруг меня, ни на секунду не оставляя была толпа людей, следившая за каждым моим движением... Но ни одного — не то что верного, но просто знакомого лица... Кому передать документ? В это время меня опять позвали к телефону.

— Это я, Бубликов... Я, знаете, на всякий случай послал человека вам... один инженер... совершенно верный... он найдет вас на вокзале... скажет, что от меня... Можете ему все доверить... Понимаете?

— Понимаю.

* * *

Через несколько минут из толпы, меня окружавшей, какой-то господин протискался, сказав, что он от Бубликова... Я сказал ему.

— Вас никто не знает... За вами не будут следить... Идите пешком совершенно спокойно... и донесите... Понимаете?

— Понимаю.

Я незаметно передал ему конверт. Он исчез...

Теперь я мог идти на митинг...

* * *

Я насилу втиснулся...

Это была огромная мастерская с железно-стеклянным потолком. Густая толпа рабочих стояла стеной, а там вдали, в глубине, был высокий эшафот, то есть не эшафот, а помост, на котором стоял Гучков и еще какие-то люди...

Я стал пробиваться сквозь толпу, заявляя, что у меня «срочное поручение». С трудом я пробился к подножию «эшафота». На помост вела приставная лестница... Я вскарабкался по этой лестнице после целого ряда ссор и объяснений, что у меня «срочное поручение». Когда я вскарабкался, председатель этого собрания, рабочий, который стоял рядом с Гучковым, говорил речь такого содержания:

— Вот, к примеру, они образовали правительство... кто же такие в этом правительстве? Вы думаете, товарищи, от народа кто-нибудь?.. Так сказать, от того народа, кто свободу себе добывал? Как бы не так... Вот читайте... князь Львов... Князь...

По толпе пошел рокот... Председатель продолжал:

— Ну, да, князь Львов... Князь... Так вот для чего мы, товарищи, революцию делали... От этих самых князей и графов все и терпели... Вот освободились — и на тебе... Князь Львов...

Толпа забурилась... Он продолжал:

— Дальше... Например, товарищи, кто у нас будет министром финансов?.. Как бы вы думали? Может быть, кто-нибудь из тех, кто на своей шкуре испытал... как бедному народу живется... и что такое есть финансы... так вот, что я вам скажу... Теперь министром финансов будет у нас господин Терещенко... Кто такой господин Терещенко? Я вам скажу, товарищи... Сахарных заводов штук десять... Земли — десятин тысяч сто... Да деньжонками — миллионов тридцать наберется...

Толпа заволновалась...

Я добрался до Александра Ивановича и тихонько передал ему свой разговор с Милуковым.

— Нам надо уходить отсюда...

— Да, но это не так просто... Они меня пригласили, — я должен им сказать...

— Я попробую добиться от этого председателя, чтобы он дал мне слово вне очереди и заявлю, что у нас очень срочное дело...

В это время председатель уже окончил свою речь под оглушительные рукоплескания... И передал слово кому-то другому, такому же, как и он...

Я пристал к нему, объясняя, что мне надо. Он нетерпеливо от меня отбояривался и твердил: «Подождите».

В это время другой оратор распространялся:

— Я тоже скажу, товарищи!.. Вот они поехали... Привезли... Кто их знает, что они привезли... Может быть, такое, что совсем для революционной демократии — неподходящее... Кто их просил?.. От кого поехали? От народа?.. От Совета Солдатских и Рабочих Депутатов? Нет... От Государственной думы... А кто такие — Государственная дума? Помещики... Я бы так советовал, товарищи, что и не следовало бы, может быть, Александра Ивановича даже отсюда и выпустить... Вот бы вы там, товарищи, двери и поприкрыли бы...

Толпа задвигалась, затрепетала и стала кричать:

— Закрывать двери...

Двери закрылись... Это становилось совсем неприятным.

В это время председатель сказал тихонько Гучкову, стоявшему с ним рядом:

— Александр Иванович.. А вы очень оскорбитесь... если мы документик-то у вас — того...

Гучков ответил:

— Очень оскорблюсь и этого не позволю... А вы вот дайте мне слово...

А я подумал: «Опоздали, голубчики... Документик-то — «того», отослан, куда надо...»

В это время неожиданно нам протянули руки помощи. Какой-то человек, по виду рабочий, но с интеллигентным лицом, должно быть, инженер, стал говорить:

— Вот вы кричите: «Закреть двери!», товарищи... А я вам скажу — неправильно вы поступаете... потому что вот смотрите, как с ними — вот с Александром Ивановичем — старый режим поступил... Они как к нему поехали? С оружием? Со штыками? Нет... Вот как стоят теперь перед вами,— так и поехали — в пиджачках-с... И старый режим их уважил... Что с ними мог сделать старый режим? Арестовать. Расстрелять... Вот — они приехали. В самую пасть. Но старый режим, обращая внимание... как приехали, ничего им не сделал — отпустил... И вот они — здесь... Мы же сами их пригласили... Они доверились — и пришли к нам... А за это, за то, что они нам поверили... и пришли так, как к старому режиму вчера ездили, за это — вы — что?.. «Двери на запор»? Угрожаете?.. Так я вам скажу, товарищи, что вы хуже старого режима...

* * *

Ах — толпа... В особенности — русская толпа... Подлые и благородные порывы ей одинаково доступны и приходят мгновенно друг другу на смену...

* * *

Слова инженера родили обратную волну. Закричали там и здесь:

— Верно, верно говорит. Что там... Открыть двери!

Но двери некоторое время сопротивлялись.

Тогда взвыли сотни голосов — уже грозных:

— Открыть двери!!!

Двери открылись.

Стал говорить Гучков. Я не помню что — какие-то успокаивающие слова. Во время его речи мне удалось добиться от председателя обещания дать мне слово вне оче-

реди. Он наконец понял, почему это нужно, и когда Гучков кончил, дал мне слово. Я сказал им:

— Вот мы тут рассуждаем о том, о другом: хорош ли князь Львов и сколько миллионов у Терещенко. Может быть — рано. Я прислан сюда со срочным поручением: сейчас в Государственной думе между Комитетом Думы и Советом Рабочих Депутатов идет важнейшее совещание. На этом совещании все решится. Может быть, так решится, что всем понравится. Так, может быть, и это все, что здесь говорится,— зря говорится... Во всяком случае, нам с Александром Ивановичем надо немедленно ехать.

— Ну и езжайте... Кто вас держит?

Как раз было время. Мы слезли с Гучковым с эшафота по приставной лестнице и стали пробиваться к выходу. Толпа расступилась скорее дружелюбно, как бы заглаживая, что хотела «закреть двери».

Мы вышли на залитый солнцем и морозом день. Когда мы прошли несколько шагов, к нам бросилось несколько офицеров:

— Ну, слава богу...

Они были мне незнакомы. Но один из них прошептал мне на ухо:

— Нам сказали, что вас арестовали, там, в мастерских... Так вот мы приготовились...

Он показал рукой. На некотором расстоянии обращенный лицом к дверям мастерских притаился приземистый, зеленый, толстоватый, бесхвостый ящер на колесиках,— то есть пулемет...

* * *

Эти офицеры, должно быть, были саперы. Это потому я так подумал, что Гучкова сейчас же окружили и просили зайти «на минутку» в саперные казармы, которые «тут же». А. И. пошел.

Он быстро вернулся. В это время откуда-то появился приземистый человек — весь в коже, но не черный, а желтый, как будто бы интеллигентный рабочий. У него висел револьвер на поясе. Кто он был, я не знаю, но, словом, он объявил, что автомобиль подан. Мы пошли, неизменно сопровождаемые откуда-то берущейся толпой. Пошли через вокзал на площадь... На площади перед вокзалом была масса народу... У ступеней перрона стоял автомобиль под огромным красным флагом. Из окон торчали штыки. Кроме

того, два солдата лежали на двух крыльях автомобиля, на животе, штыками вперед.

Мы полезли в автомобиль. Человек в желтой коже тоже втиснулся. Он сел против меня, вынул револьвер и сказал шоферу, чтобы ехал. Машина взяла ход, тогда он спросил:

— Куда ехать?

Я ответил:

— На Миллионную, 12.

Он сказал шоферу и прибавил как бы в объяснение:

— Чтобы там не слышали... куда едем...

Я понял, что он наш... Я его больше никогда не видел. Он чего-то боялся. По-видимому, боялся, не преследует ли нас какая-нибудь машина.

* * *

Мы неслись бешено. День был морозный, солнечный... Город был совсем странный — сумасшедший, хотя и тихим помешательством... пока.

Трамваи стали, экипажей, извозчиков не было совсем... Изредка неистово пронеслись грузовики с ошетиенными штыками. Куда? Зачем? С одним из них мы имели «объяснение»... Он отстал после ругани нашего «желтокожего».

Все магазины закрыты... Но самое странное то, что никто не ходит по тротуарам. Все почему-то выбрались на мостовую. И ходят толпами. Главным образом — толпы солдат. С винтовками за плечами, не в строю, без офицеров — ходят толпами без смысла... На лицах не то радостное, не то растерянное недоумение... Чего они хотят? Ничего... Они сами не знают... Празднуют «слободу»... И «что, значит, на фронт уже, товарищи, не пойдем»... Вот это в их глазах твердо написано.

И вот это — ужас... Стотысячный гарнизон — на улицах. Без офицеров. Толпами... Значит — конец... Значит — дисциплина окончательно потеряна... Армии — нет... Опереться не на что...

* * *

Машина резала эту бессмысленную толпу... Для чего-то мы крутили по каким-то улицам... Это, должно быть, знал «желтокожий». Два «архангела» лежали на брюхах, на крыльях автомобиля, и их выдвинутые вперед штыки пронзали воздух... Мне все казалось, что они кому-то выколют

глаза. На одном углу я заметил единственный открытый магазин: продавали... «цветы»!.. Как глупо...

* * *

Вот Миллионная... Вот знакомый дом с колоннами... И тут бродит какая-то солдатня. Автомобиль останавливается где-то, не доезжая... Не хотят «обращать внимания».

Мы идем несколько шагов пешком. Вот двенадцатый номер. Вошли. Внутри — два часовых... Значит, есть какая-то охрана¹¹⁸.

Поднялись... квартира Пулятина... В передней ходынка платя. И несколько шепчущихся. Спрашиваю:

— Кто здесь?

— Здесь все члены правительства.

— Когда образовалось правительство?

— Вчера...

— Еще кто?

— Все члены Комитета Государственной думы... Идите — ждали вас...

— Великий князь здесь?

— Да...

Посередине между ними в большом кресле сидел офицер — молодежавый, с длинным худым лицом... Это был великий князь Михаил Александрович, которого я никогда раньше не видел. Вправо и влево от него на диванах и креслах — полукругом, как два крыла только что провозглашенного мною монарха, были все, кто должны были быть его окружением: вправо — Родзянко, Милюков и другие, влево — князь Львов, Керенский, Некрасов и другие. Эти другие были: Ефремов, Ржевский, Бубликов, Шидловский, Владимир Львов, Терешенко, кто еще, не помню¹¹⁹.

Гучков и я сидели напротив, потому что пришли последними...

* * *

Это было вроде как заседание... Великий князь как бы давал слово, обращаясь то к тому, то к другому:

— Вы, кажется, хотели сказать?

Тот, к кому он обращался, — говорил.

Говорили о том: следует ли великому князю принять престол или нет...

Я не помню всех речей. Но я помню, что только двое высказались за принятие престола. Эти двое были: Милюков и Гучков...

Направо от великого князя стоял диван, на котором ближе к великому князю сидел Родзянко, а за ним Милюков.

Пять суток нечеловеческого напряжения сказались... Ведь и Наполеон выдерживал только четыре... И железный Милюков, прячась за огромным Родзянко, засыпал сидя... Вздрагивал, открывал глаза и опять засыпал...

— Вы, кажется, хотели сказать?..

Это великий князь к нему обратился.

Милюков встрепенулся и стал говорить.

Эта речь его, если можно назвать речью, была потрясающая...

Головой — белый как лунь, сизый лицом (от бессонницы), совершенно сиплый от речей в казармах и на митингах, он не говорил, а каркал хрипло...

— Если вы откажетесь... Ваше высочество... будет гибель. Потому что Россия... Россия теряет... свою ось... Монарх... это — ось... Единственная ось страны... Масса, русская масса, вокруг чего... вокруг чего она соберется? Если вы откажетесь... будет анархия... хаос... кровавое месиво... Монарх — это единственный центр... Единственное, что все знают... Единственное общее... Единственное понятие о власти... пока... в России... Если вы откажетесь... будет ужас... полная неизвестность... ужасная неизвестность... потому что... не будет... не будет присяги... а присяга — это ответ... единственный ответ... единственный ответ, который может дать народ... нам всем... на то, что случилось... Это его — санкция... его одобрение... его согласие... без которого... нельзя... ничего... без которого не будет... государства... России... ничего не будет...

Белый как лунь, он каркал, как ворон... Он каркал мудрые, вещие слова... самые большие слова его жизни...

И все же...

И все же он оставался тем, чем он был... Милюковым...

Великий князь слушал его, чуть наклонив голову... Тонкий, с длинным, почти еще юношеским лицом, он весь был олицетворением хрупкости¹²⁰...

Этому человеку говорил Милюков свои вещие слова. Ему он предлагал совершить: подвиг силы беспримерной...

Что значит совет принять престол в эту минуту?

Я только что прорезал Петербург. Стотысячный гарнизон был на улицах. Солдаты с винтовками, но без офицеров, шлялись по улицам, беспорядочными толпами...

А за этой штыковой стихией — кто? — Совет Рабочих Депутатов и «германский штаб — злейшие враги»: социалисты и немцы.

Совет принять престол обозначал в эту минуту:

— На коня! На площадь!

Принять престол сейчас — значило во главе верного полка броситься на социалистов и раздавить их пулеметами.

Терещенко делал мне какие-то знаки. Я понял, что он просит меня выскользнуть в соседнюю комнату на минуту.

Я сделал это.

— Что такое?

— Василий Витальевич! Я больше не могу... Я застрелюсь... Что делать, что делать?..

- Да, что делать... С ума можно сойти.

* * *

— Бросьте... Успеете... Скажите, есть ли какие-нибудь части... на которые можно положиться?..

— Нет... ни одной...

— А вот внизу я видел часовых...

— Это несколько человек... Керенский дрожит... Он боится... каждую минуту могут сюда ворваться... Он боится, чтобы не убили великого князя... Какие-то банды бродят... боже мой!..

* * *

Мы вернулись...

Керенский говорил:

— Ваше высочество... Мои убеждения — республиканские. Я против монархии... Но я сейчас не хочу, не буду... Разрешите нам сказать совсем иначе... Разрешите вам сказать... как русский...— русскому... Павел Николаевич Милюков ошибается. Приняв престол, вы не спасете России... Наоборот... Я знаю настроение массы... рабочих и солдат... Сейчас резкое недовольство направлено именно против монархии... Именно этот вопрос будет причиной кровавого развала... И это в то время... когда России нужно полное единство... Пред лицом внешнего врага... начнется гражданская, внутренняя война... И поэтому я обращаюсь к вашему высочеству... как русский к русскому. Умоляю вас во имя России принести эту жертву!.. Если это жертва... Потому что с другой стороны... я не вправе скрыть здесь, каким опасностям вы лично подвергаетесь в случае решения принять престол... Во всяком случае... я не ручаюсь за жизнь вашего высочества...

Он сделал трагический жест и резко отодвинул свое кресло.

* * *

Много лет тому назад, 14 декабря 1825 года, были, как и теперь,— Николай и Михаил...

Николай был государь. Михаил — его брат...

Как и теперь...

Как и теперь, разразился военный бунт...

Бунт декабристов...

Что сделал Николай?

Николай сказал:

— Завтра я или мертв, или император...

Завтра он вскочил на коня, бросился на площадь и картечью усмирил бунт...

Что сделал Михаил?

Он последовал за старшим братом...

Как и теперь...

Да, как и теперь, потому что и теперь Михаил пошел за братом Николаем...

* * *

За принятие престола говорил еще Гучков.

* * *

Я, кажется, говорил последним. Я сказал:

— Обращаю внимание вашего высочества на то, что те, кто должны были быть вашей опорой в случае принятия престола, то есть почти все члены нового правительства, этой опоры вам не оказали... Можно ли опереться на других? Если нет, то у меня не хватит мужества при этих условиях советовать вашему высочеству принять престол...

* * *

Великий князь встал... Тут стало еще виднее, какой он высокий, тонкий и хрупкий... Все поднялись.

— Я хочу подумать полчаса...

Подскочил Керенский.

— Ваше высочество, мы просим вас... чтобы вы приняли решение наедине с вашей совестью... не выслушивая кого-либо из нас... отдельно...

Великий князь кивнул ему головой и вышел в соседнюю комнату...

Образовались группы... Я был у окна. Подошел Милюков и что-то стал мне говорить.

Вдруг Керенский с трагическим жестом схватил меня за руку.

— Я не позволю... мы условились... Никаких сепаратных разговоров. Все сообща.

Глаза у него сверкали. Лицо — повелительное...

Я немного рассердился:

— Александр Федорович! Нельзя ли другим тоном?..

Он вдруг деформировался совершенно... Лицо стало ласковое, умоляющее...

— Ну, дорогой мой, ну, золотой, ну, серебряный, ну, не расстраивайте!.. ну, не расстраивайте же!..

И побежал к другим...

Он был, должно быть, не «в себе»... Мы пожали плечами и продолжили разговор.

* * *

Великий князь позвал к себе Родзянко¹²¹. Против этого почему-то Керенский не протестовал. Родзянко пошел.

* * *

Кто-то подошел ко мне и сказал:

— Не грустите... существует легенда: будет царствовать Михаил и при нем буд...

* * *

Великий князь вышел... Это было около двенадцати часов дня... Мы поняли, что настала минута.

Он дошел до середины комнаты.

Мы столпились вокруг него.

Он сказал:

— При этих условиях я не могу принять престола, потому что...

Он не договорил, потому что... потому что заплакал...

* * *

Керенский рванулся:

— Ваше императорское высочество... Я принадлежу к партии, которая запрещает мне... соприкосновение с лицами императорской крови... Но я берусь... и буду это утверждать... перед всеми... да, перед всеми... что я... глубоко уважаю... великого князя Михаила Александровича...

* * *

Он сорвался и, наскоро одевшись, умчался... Кто-то объяснил мне, что он все время дрожал, что ворвутся... что напряжение очень сильно...

* * *

Великий князь ушел к себе. Стали говорить о том, как написать отречение.

* * *

Некрасов показал мне набросок, им составленный¹²². Он был очень плох. Кажется, поручили Некрасову, Керенскому и мне его улучшить¹²³. Милюков объяснил мне, что накануне Комитет Государственной думы признал необходимым под давлением слева в той или иной форме упомянуть об Учредительном Собрании.

* * *

Княгиня Путятина попросила всех завтракать.

Узкую часть стола занимала сама хозяйка. По правую ее руку — великий князь. По левую — посадили меня. Рядом с великим князем был, кажется, князь Львов. Рядом со мной, кажется, Некрасов или Терещенко. Напротив княгини — Керенский. Остальных не помню.

За завтраком великий князь спросил меня:

— Как держал себя мой брат?

Я ответил:

— Его величество был совершенно спокоен... Удивительно спокоен...

Затем я рассказал все, как было...

* * *

После завтрака мы, т. е. те, кто должен был редактировать акт, перешли в другую комнату. Это была детская. Стояли кровати, игрушки и маленькие парты...

На этих школьных партах и писалось...

Скоро вызвали Набокова и Нольде.

Они, собственно, и обработали более или менее записку Некрасова, потому что Некрасов и Керенский то уходили, то приходили.

Керенский все торопил, утверждая, что положение очень трудное.

Однако он же и затевал споры.

Особенно долго спорили о том, кто поставил Временное правительство: Государственная ли дума или «воля наро-

да»? Керенский потребовал от имени Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, чтобы была включена воля народа. Ему указывали, что это неверно, потому что правительство образовалось по почину Комитета Государственной думы.

Я при этом удобном случае заявил, что князь Львов назначен государем императором Николаем II, приказом Правительствующему Сенату, помеченным двумя часами раньше отречения. Мне объяснили, что они это знают, но что это надо тщательнейшим образом скрывать, чтобы не подорвать положение князя Львова, которого левые и так еле-еле выносят.

Наконец примирились на том, что было «волею народа, по почину Государственной думы», но в окончательном тексте «воля народа» куда-то исчезла. Как это случилось, не помню.

* * *

Наконец составили и передали великому князю. В это время в детской оставались Набоков, Нольде и я. Через некоторое время секретарь великого князя, не помню его фамилии, высокий, плотный блондин, молодой, в земгусарской форме, принес текст обратно. Он передал, что великий князь всюду пресит употреблять от его лица местоимение «я», а не «мы» (у нас всюду было «мы»), потому что великий князь считает, что он престола не принял, императором не был, а потому не должен говорить — «мы». Во-вторых, по этой же причине, вместо слова «повелеваем», как мы написали, — употребить слово «прошу». И наконец, великий князь обратил внимание на то, что нигде в тексте нет слова «бог», а таких актов без упоминания имени Божия не бывает.

Все эти указания были выполнены, и текст переделан. Снова передали великому князю, и на этот раз он его одобрил.

Набоков сел на детскую парту переписывать набело.

* * *

«Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне императорский всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народных. Одушевленный единой со всем народом мыслью, что выше всего благо родины нашей, принял я твердое решение в том лишь

случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием через представителей своих в Учредительном Собрании установить образ правления и новые основные законы Государства Российского. Посему, призывая благословение божие, прошу всех граждан Державы Российской подчиниться Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всею полнотою власти, впредь до того, как созданное возможно в кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное Собрание своим решением об образе правления выразит волю народа».

* * *

За это время все разъехались. Великий князь несколько раз говорил со мной. Говорил, так сказать, попросту. Хотя он не знал меня раньше, но, видимо, инстинктивно чувствовал, что мне династия дорога не только разумом, но и чувством. Великий князь, кроме того, внушал мне личную симпатию. Он был хрупкий, нежный, рожденный не для таких ужасных минут, но он был искренний и человечный. На нем совсем не было маски. И мне думалось:

«Каким хорошим конституционным монархом он был бы...»

Увы... Там, в соседней комнате, писали отречение династии.

* * *

Великий князь так и понимал. Он сказал мне:

— Мне очень тяжело... Меня мучает, что я не мог посоветоваться со своими. Ведь брат отрекся за себя... А я, выходит так, отрекаюсь за всех...

* * *

Это было часов около четырех дня — у окна в той комнате, где много ковров и мягких кресел...

* * *

К сожалению, от меня совершенно ускользает самая минута подписания отречения... Я не помню, как это было.

Помню только почему-то, что Набоков взял себе на память перо, которым подписал Михаил Александрович. И помню, что появившийся к этому времени Керенский умчался стремглав в типографию (кто-то еще раз сказал, что могут каждую минуту «ворваться»).

Через полчаса по всему городу клеили плакаты:

«Николай отрекся в пользу Михаила. Михаил отрекся в пользу народа».

Я вспоминаю опять все ясно с той минуты, когда я шел домой через Троицкий мост.

Я пять суток не был дома.

За это время...

За это время я присутствовал при отречении двух государей... Когда, пять дней тому назад, я шел через этот же мост,— Россия была империей... Теперь что она?

* * *

И не республика и не монархия... Государственное образование без названия.

Впрочем...

* * *

Впрочем, разве уже не одиннадцать с лишним лет мы «без названия»?

«Empire constitutionnelle sous un Tsar autocrate».

«Конституционная Империя под Самодержавным Царем».

Так назвал Россию международный альманах Гота с 1906 г.

«Scheinkonstitutionalismus»,— говорили немцы...

«Никакой закон не может воспринять силы без одобрения Государственной думы»,— говорили Основные Законы.

«Самодержавие мое остается при мне, как и встарь»,— говорил создавший этот строй государь.

* * *

Последний государь...

Вот она — «Русская Конституция»... Началась еврейским погромом и кончилась разгромом династии.

* * *

Я оперся на парапет. Закат вычертил за Петропавловской кровавые плакаты... Я вспомнил...

* * *

Я вспомнил, как в 1905 году, после Манифеста 17 октября, за то, что не было в нем равноправия, жида сбросили царскую корону.

И как жалобно зазвенел трехстолетний металл, ударившись о грязную мостовую.

И как десятки, сотни, миллионы русских вдруг почувствовали смертельную обиду и страх, бросились, подняли царскую корону и коленопреклоненно вернули ее царю:

Царствуй на страх врагам...

Царствуй на славу нам...

* * *

И царь царствовал...

* * *

Увы...

Прошло одиннадцать лет...

И вот уж не «жидовскими происками» стала вновь падать корона.

Государственная дума бросилась подхватить ее из ослабших рук императора Николая...

И поднесла Михаилу...

Но Михаил не мог принять ее из рук Государственной думы... Ибо и Дума была уже — ничто...

И корона покатилась...

* * *

Жалобно звонит она о гранит мостовых.

Но на этот раз никого не будит этот звон.

Народ не бежит взволнованный и ужасный, как тогда...

И казаки на зов Палия

Не налетят со всех сторон...

* * *

И пройдут месяцы, может быть, годы, вернее — долгие
годы...

Пока...

Пока зазвучит набат.

Какой это будет год?

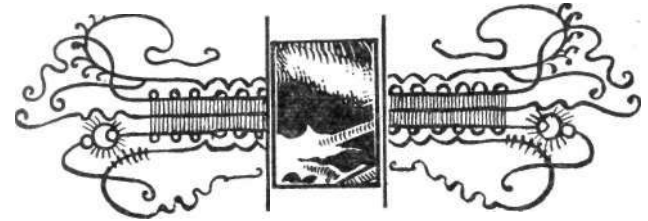
* * *

Петропавловский собор резал небо острой иглой. Зарево
было кроваво...

Да поможет господь бог России...



1920



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Бесполезно, конечно, напоминать, что мы живем в эпоху, которой будут весьма интересоваться наши потомки. Но, может быть, следует подумать о том, что о Русской революции будет написано столько же лжи, сколько о Французской.

Из этой лжи вытечет опять какая-нибудь новая беда. Для нас это ясно. Мы, современники Русской революции (начавшейся в 1917 году), прекрасно знаем, какую роль в этом несчастье сыграло лживое изображение революции Французской. Поэтому в высшей степени важно для нашего будущего правдивое изображение того, что сейчас происходит перед нашими глазами.

Разумеется, время для изображения нашей трагедии во всем ее объеме, так сказать, с журавлиной высоты, еще не наступило. Невозможно, с другой стороны, пока и интимное изображение нашей жизни, т. е. как мы любили, ненавидели, страдали и радовались — ключ, без которого, конечно, будущие историки ничего не поймут. Или поймут вкривь и вкось, как это они всегда и делают...

Но можно и должно записывать то, что каждый из нас видел воочию. И можно рассказать свои переживания постольку, поскольку индивидуальность автора терпит публичное раздевание.

Настоящий очерк и представляет опыт записать в этих пределах «кусочки жизни», пробежавшие перед моими глазами. Я выбрал 1920 год, как ближайший... Если из этого что-нибудь выйдет, вероятно, перейду к временам, более отдаленным.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Вечером 31 декабря 1919 года я был у А. М. Драгомирова¹. Мы сидели с ним вдвоем в его вагоне, в его поезде. Поезд стоял в порту, в Одессе. Днем из окон видно было море. Дальше поезду некуда было идти.

Он сказал:

— Я все-таки убежден, что сопротивление начнется... Сейчас есть еще кое-что... Но когда останется только смерть в бою или смерть в воде — будет вспышка энергии... Сейчас вся масса хочет одного — уходить... Но куда некуда будет уходить? Неужели же не проснется решимость? Вы как думаете?

— Я все надеюсь, что еще здесь начнется... Потому что и здесь ведь уже некуда уходить. Ведь вся эта масса, что сюда отступает, она же не сядет на пароходы и в Крым не попадет. Следовательно, и ей придется выбирать между боем и морем. Беда только в том, что здесь совсем не то делается, что нужно.

— Вы думали, когда мы вышли из Киева, что будем сидеть с вами в порту в Одессе?

— Нет, я почему-то думал, что мы задержимся около Казатина... Но я понял положение, когда мы получили в Якутском полку приказ — это было, кажется, где-то около Фастова... Я тогда же развил своим молодым друзьям так называемую «крымскую теорию»...

— Это что?

— Крымская теория — это реставрация доекатерининских времен... Сидел же хан столетия в Крыму. Благодаря Перекопу взять его нельзя было, а жил он набегами... Он добывал себе набегами «ясырь», то есть живой товар —

пленных, а мы, засев в Крыму, будем делать набеги за хлебом. Впрочем, и «ясырь» будем брать... для «пополнений»... Вы уезжаете в Севастополь?

— Я каждый день «уезжаю», но пока что еще не уехал, потому что пароход все задерживается. Здесь я ничем не могу помочь. Скорее я только мешаю... Я легко могу прослыть центром каких-нибудь интриг... чего я вовсе не желаю. «Главначальствующий областью» без «области» — фигура неудобная... Ну, а скажите, очень ругают?

— Вас? Ругают, конечно... При этих обстоятельствах это неизбежно. Одни бранят вас за то, что «допустили» погромы, а другие за то, что вы не позволили «бить жидов»... Конечно, вы взяли миллионы за последнее...

— Неужели и это говорят?

— Говорят... Вас это удивляет? А я привык... Меня столько раз «покупали» — жида, немцы, масоны, англичане, — что это меня не волнует... Но больше всего, конечно, зла гвардия...

— За что? За мой приказ? Вам он известен?

— Да... Вы, покидая «область» и сдавая командование, благодарите войска и затем кончаете, приблизительно, так: «Не объявляю благодарности»... первое — волчанцам, за всякие безобразия, а на втором месте стоит в приказе гвардия, которая «покрыла позором свои славные знамена грабежами и насилиями над мирным населением». Что-то в этом роде...

А. М. Драгомиров человек очень добрый. Но у него бывают припадки гнева. Так было и сейчас.

— Я об этом не могу спокойно говорить... Я с очень близкими людьми перессорился из-за этого. Я пробовал собрать командиров полков, уговаривал, взывал к их совести. Но я чувствую, что не понимают... А я не могу с этим помириться. Я к этой гражданской войне никак не могу приладиться...

— Да, я помню. Вы, может быть, забыли, но я помню... Вы мне говорили больше года тому назад, еще в Екатерино-даре, что вы тяготитесь «гражданской» вашей деятельностью, что вы хотели бы делать свое прямое дело, то есть воевать... но что условия войны таковы... Словом, вы сказали тогда, в октябре 1918 года: «Мне иногда кажется, что нужно расстрелять половину армии, чтобы спасти остальную»...

— Половину не половину... Но я и сейчас так думаю. Но как за это взяться?.. Я отдавал самые строгие приказы...

Но ничего не помогает... потому что покрывают друг друга.. Какие-нибудь особые суды завести? И это пробовал, но все это не то...

— Мое мнение такое. Вслед за войсками должны двигаться отряды, скажем, «особого назначения»... Тысяча человек на уезд отборных людей или, по крайней мере, в «отборных руках». Они должны занимать уезд: начальник отряда становится начальником уезда... При нем военно-полевой суд... Но трагедия в том, откуда набрать этих «отборных»...

— В том-то и дело... Нет, я часто думаю, что без какого-то внутреннего большого процесса все равно ничего не будет. Хоть бы орден какой-нибудь народился... Какое-нибудь рыцарское сообщество, которое бы возродило понятие о чести, долге — ну, словом, основные вещи, ну, что хоть грабить — стыдно. Или религиозное это должно быть движение... Словом, это должно быть массовое, большое, психологическое...

— И будет... «покаяния отверзи ми двери»... Этим мы отличаемся от Польши... Я убежден, что, если на этой равнине, что называется Восточной Европой, если устояли мы, а не поляки, то только благодаря нашей способности «каяться»... Поляки — нераскаянные... Они не могут каяться... Ведь, в сущности говоря, у поляков было больше шансов на гегемонию... Они раньше вышли к культуре, потому что ближе к Западу... но они нераскаянные... Мы говорили «земля наша... но порядка в ней нет, — приходите володеть и княжить нами»... А они говорили: «Polska stoi nierzadem»...

— Что это значит?

— Это старинная польская поговорка, которая употреблялась еще в XVI веке и значит: «Польша стоит беспорядком»... То есть они не только не хотели каяться во всех своих безобразиях, в вечной своей легкомысленной «мазурке», но, так сказать, «канонизировали» свою анархию... Были отдельные голоса, которые кричали: «Братья! Что вы делаете! Губите себя»... На одно мгновение «карнавал» останавливается... но потом кто-нибудь вспоминал: ведь Polska stoi nierzdem!.. И традара... та... традара... та... tempo di mazurka... И все продолжалось по-старому, пока не «промазурили» свою «королевскую республику»... А мы каялись... Набезобразим во всю «ширину русской природы» и потом каемся... «Придите володеть и княжить»... и приходят и княжат... И тогда опрашиваемся, укрепляемся,

возвеличиваемся — пока опять не расхулиганимся... Волна... То «сарынь на кичку», то «волим под царя восточного православного»... Так и живем... И будем жить.

Принесли бутылку красного вина.

И мы, «главноначальствующий областью» — без области и «редактор «Киевлянина» — без Киева, чокнулись...

В данную минуту мы равно были «бывшие люди»... И с одинаковым основанием могли пожелать друг другу «нового счастья», ибо «старое» изменило...

* * *

Как-то случилось, что в эту новогоднюю ночь я был совершенно один... От А. М. я пришел рано,— до «нового года» было еще далеко... Я пришел к себе и никуда не пошел.

«Встречать новый год»... При этих обстоятельствах это было бы слишком печально... И я предпочел «встрече» — «проводы». Я уселся у изголовья умирающего старого года и читал ему отходную...

Где-то, на каком-то горном перевале, стоит заиндевевший придорожный столб... К этому столбу всегда пробивается умирать старый год... На столбе сидит «крук» — одинокая птица... Воет вьюга, и крук каркает умирающему его дела — добрые и злые...

Я чувствовал себя в этом роде: в роли крука.

* * *

Личное перемешивалось с общим в эту новогоднюю одинокую ночь.

Отчего не удалось дело Деникина? Отчего мы здесь, в Одессе? Ведь в сентябре мы были в Орле... Отчего этот страшный тысячеверстный поход, великое отступление «орлов» от Орла?..

Орлов ли?..

«Взвейтесь, соколы, орлами»... (солдатская песня).

Я вспомнил свою статью в «Киевлянине» в двухлетнюю годовщину основания Добровольческой армии... два месяца тому назад...

«Орлы, бойтесь стать коршунами. Орлы победят, но коршуны погибнут».

Увы, орлы не удержались на «орлиной» высоте. И коршунами летят они на юг, вслед за неизмеримыми обозами с добром, взятым... у «благодарного населения».

«Взвейтесь, соколы... ворами» («единая, неделимая» в кривом зеркале действительности).

* * *

Красные — грабители, убийцы, насильники. Они бесчеловечны, они жестоки. Для них нет ничего священного... Они отвергли мораль, традиции, заповеди господни. Они презирают русский народ. Они озверелые горожане, которые хотят бездельничать, грабить и убивать, но чтобы деревня кормила их. Они, чтобы жить, должны пить кровь и ненавидеть. И они истребляют «буржуев» сотнями тысяч. Ведь разве это люди? Это «буржуи»... Они убивают, они пыгают... Разве это люди? Это звери...

* * *

Значит, белые, которые ведут войну с красными именно за то, что они красные,— совсем иные... совсем «обратные»...

Белые — честные до донкихотства. Грабеж у них — несмываемый позор. Офицер, который видел, что солдат грабит, и не остановил его,— конченный человек. Он лишился чести. Он больше не «белый» — он «грязный»... Белые не могут грабить.

Белые убивают только в бою. Кто приколол раненого, кто расстрелял пленного — тот лишен чести. Он не белый, он — палач. Белые не убийцы: они воины.

Белые рыцарски вежливы с мирным населением. Кто совершил насилие над безоружным человеком,— все равно, что обидел женщину или ребенка. Он лишился чести, он больше не белый — он запачкан. Белые не апаши — они джентльмены.

Белые тверды, как алмаз, но так же чисты. Они строги, но не жестоки. Карающий меч в белых руках неумолим, как судьба, но ни единый волос не спадет с головы человека безвинно. Ни единая капля крови не прольется — лишняя... Кто хочет мстить, тот больше не белый... Он заболел «красной падучей» — его надо лечить, если можно, и «извергнуть» из своей среды, если болезнь неизбывна...

Белые имеют бога в сердце. Они обнажают голову перед святыней... И не только в своих собственных златоглавых храмах. Нет, везде, где есть бог, белый преклонит — душу, и, если в сердце врага увидит вдруг бога, увидит святое,

он поклонится святыне. Белые не могут кощунствовать: они носят бога в сердце.

Белые твердо блюдут правила порядочности и чести. Если кто поскользнулся, товарищи и друзья поддержат его. Если он упал, поднимут. Но если он желает валяться в грязи, его больше не пустят в «Белый Дом»: белые не белоручки, но они опрятны.

Белые дружелюбно вежливы между собой. Старшие строгие и ласковые, младшие почтительны и преданны, но сгибают только голову при поклоне... (спина у белых не гнется).

Белых тошнит от рыгательного пьянства, от плеванья и от матерщины... Белые умирают, стараясь улыбнуться друзьям. Они верны себе, родине и товарищам до последнего вздоха.

Белые не презирают русский народ... Ведь если его не любить, за что же умирать и так горько страдать? Не проще ли раствориться в остальном мире? Ведь свет широк... Но белые не уходят, они льют свою кровь за Россию... Белые не интернационалисты, они — русские...

Белые не горожане и не селяне — они русские, они хотят добра и тем и другим. Они хотели бы, чтобы мирно работали молотки и перья в городах, плуги и косы в деревнях. Им же, белым, ничего не нужно. Они не горожане и не селяне, не купцы и не помещики, не чиновники и не учителя, не рабочие и не хлеборобы. Они русские, которые взяли за винтовку только для того, чтобы власть, такая же белая, как они сами, дала возможность всем мирно трудиться, прекратив ненависть.

Белые питают отвращение к ненужному пролитию крови и никого не ненавидят. Если нужно сразиться с врагом, они не осыпают его ругательствами и пеной ярости. Они рассматривают наступающего врага холодными, бесстрастными глазами... и ищут сердце... И если нужно, убивают его сразу... чтобы было легче для них и для него...

Белые не мечтают об истреблении целых классов или народов. Они знают, что это невозможно, и им противна мысль об этом. Ведь они белые воины, а не красные палачи.

Белые хотят быть сильными только для того, чтобы быть добрыми...

Разве это люди?.. Это почти что святые²...

* * *

«Почти что святые» и начали это белое дело...
Но что из него вышло? Боже мой!

* * *

Я помню, какое сильное впечатление произвело на меня, когда я в первый раз услышал знаменитое выражение:

«От благодарного населения»...

Это был хорошенький мальчик, лет семнадцати-восемнадцати. На нем был новенький полушубок.

Кто-то спросил его:

• — Петрик, откуда это у вас?

Он ответил:

— Откуда? «От благодарного населения», конечно.

И все засмеялись.

* * *

Петрик из очень хорошей семьи. У него изящный, тонкокостный рост и красивое, старокультурное, чуть тронутое рукою вырождения, лицо. Он говорит на трех европейских языках безупречно и потому по-русски выговаривает немножко как метис, с примесью всевозможных акцентов. В нем была еще недавно гибко-твердая выправка хорошего аристократического воспитания...

«Была», потому что теперь ее нет, вернее, ее как будто подменили. Приятная ловкость мальчика, который, несмотря на свою молодость, знает, как себя держать, перековалась в какие-то... вызывающие, наглые манеры. Чуть намечавшиеся черты вырождения страшно усилились. В них сквозит что-то хорошо знакомое... Что это такое? Ах, да, он напоминает французский кабачок... Это «апах»... Апахизмом тронуты... этот обострившийся взгляд, обнаглевшая улыбка... А говор. Этот метисный акцент в соединении с отборнейшими русскими «в бога, в мать, в веру и Христа» — дают диковинный меланж «сиятельнейшего хулигана»...

Когда он сказал: «От благодарного населения», все рассмеялись. Кто это «все»?

Такие же, как он. Метисно-изящные люди русско-европейского изделия. «Вольноперы»³, как Петрик, и постарше — гвардейские офицеры, молоденькие дамы «смольного» воспитания...

Ах, они не понимают, какая горькая ирония в этих словах. Они — «смолянки». Но почему? Потому ли, что кончили Смольный под руководством княгини НН, или потому, что Ленин-Ульянов, захватив Смольный, незаметно для них самих привил им «ново-смольные» взгляды...

— Грабь награбленное!

Разве не это звучит в словах этого большевизированного Юриковича, когда он небрежно-нагло роняет:

— От благодарного населения.

Они смеются. Чему?

Тому ли, что, быть может, последний отпрыск тысячелетнего русского рода прежде, чем бестрепетно умереть за русский народ, стал вором? Тому ли, что, вытащив из мужицкой скрыни под рыдания Марусек и Гапок этот полушубок, он доказал насупившемуся Грицьку, что паны только потому не крали, что были богаты, а как обеднели, то сразу узнали дорогу к сундукам, как настоящие «злодии», — этому смеются? «Смешной» ли моде грабить мужиков, которые «нас ограбили», — смеются?

Нет, хуже... Они смеются над тем, что это население, ради которого семьи, давшие в свое время Пушкиных, Толстых и Столыпиных, укладывают под пулеметами всех своих сыновей и дочерей в сыпно-тифозных палатах, что это население «благодарно» им...

«Благодарно» — т. е. ненавидит...

Вот над чем смеются. Смеются над горьким крушением своего «белого» дела, над своим собственным падением, над собственной «отвратностью», смеются — ужасным апашеским смехом, смехом «бывших» принцев, «заделавшихся» разбойниками.

* * *

Да, я многое тогда понял.

Я понял, что не только не стыдно и не зазорно грабить, а, наоборот, модно, шикарно.

У нас ненавидели гвардию и всегда ей тайком подражали. Может быть, за это и ненавидели...

И потому, когда я увидел, что и «голубая кровь» пошла по этой дорожке, я понял, что бедствие всеобщее.

«Белое дело» погибло.

Начатое «почти святыми», оно попало в руки «почти бандитов».

* * *

Я не гвардеец... Я так же мало аристократ, как и демократ. Я принадлежу к тому среднему классу, который «жнет там, где не сеял». Все — наше. Пушкин — наш, и Шевченко — наш. (Слышу гогот «украинцев». Успокойтесь, друзья: Шевченко в роли «украинского большевика» я оставляю вам, себе я беру — Шевченко-бандуриста, «его же и Гоголь приемлет».)

Все русское — наше. Аристократия и демократия нам одинаково близки, поскольку они русские, поскольку они талантливы и прекрасны, поскольку они наше прошлое и будущее. Аристократия и демократия нам одинаково далеки, поскольку они узкоклассовы, поскольку они изящно, надменно или грубо фамильярны.

Я скорблю над угасающими, «сходящими на нет» старинными родами, я радуюсь народжению новых, «входящих», которые «сами себе предки».

Я жну там, где не сеял. Все высокое, красивое и сильное русское — мое, и я ношу мое право на них на острие моей любви к родине... Я люблю ее всю, с аристократами и демократами, дворцами и хатами, богатыми и бедными, знатыми и простыми.

Ибо все нужны. Как нужны корни, ствол, листья... и цветы...

Я не гвардеец... Но если я особенно больно чувствую падение аристократии, то это потому, что все же *noblesse oblige**... Как русский, я несравненно более оскорблен метаморфозой «Петрика» в апаша, чем «Петьки» в хулигана. Ведь, в сущности, вся белая идея была основана на том, что «аристократическая» честь нации удержится среди кабацкого моря, удержится именно белой, несокрушимой скалой... Удержится и победит своей белизной. Под аристократической честью нации надо подразумевать все лучшее, все действительно культурное и моральное, порядочное без кавычек. Но среди этой аристократии в широком смысле слова, аристократии доблести, мужества и ума, конечно, центральное место, нерушимую цитадель должна была бы занять родовая аристократия, ибо у нее в крови, в виде наследственного инстинкта, должно было бы быть отвращение ко всяким мерзостям...

* аристократизм обязывает... (фр.)

И вдруг...

«От благодарного населения»...

«Tout est perdu sauf l'honneur»*, — говорили французские дворяне.

«L'honneur a été perdu avant tout»**, — можем сказать мы...

Но белое дело не может быть выиграно, если потеряна честь и мораль.

Без чести, именно отрицанием чести и морали — временно побеждают красные.

Для белых же потерять честь — это потерять все.

C'est tout perdre...

* * *

И я видел...

Я видел, как зло стало всеобщим.

Насмешливый термин «от благодарного населения» все покрыл, все извинил, из трагедии сделал кровавый водевиль в m'en fich'истском*** стиле.

* * *

Я видел...

Я видел, как почтенный полковой батюшка в больших калошах и с зонтиком в руках, увязая в грязи, бегал по деревне за грабящими солдатами:

— Не тронь!.. Зачем!.. Не тронь, говорю... Оставь! Грех, говорю... Брось!

Куры, утки и белые гуси разлетались во все стороны, за ними бежали «белые» солдаты, за солдатами батюшка с белой бородой.

Но по дороге равнодушно тянулся полк, вернее, пятисотподводный обоз. Ни один из «белых» офицеров не шевельнул пальцем, чтобы помочь священнику... единственному, кто почувствовал боль и стыд за поругание «христороубивого» воинства.

Зато на стоянке офицеры говорили друг другу:

— Хороший наш батюшка, право, но комик... Помнишь, как это он в деревне... за гусями... в калошах... с зонтиком.. Комик!

* Все потеряно, кроме чести... (фр.).

** Честь ты потерял прежде всего (фр.).

*** наплевательском (фр.).

Я видел, как артиллерия выехала «на позицию». Позиция была тут же в деревне — на огороде. Приказано было ждать до одиннадцати часов. Пятисотподводный обоз стоял готовый, растянувшись по всей деревне. Ждали...

Я зашел в одну хату. Здесь было, как в других... Половина семьи лежала в сыпном тифу. Другие ожидали своей очереди. Третьи, только что вставшие, бродили, пошатываясь, с лицами снятых с креста.

— Хоть бы какую помощь подали... Бросили народ совсем... Прежде хоть хвельшара пришлют... лекарства... а теперь... качает... всех переберет... Бросили народ совсем, бросили... пропадем... хоть бы малую помощь...

Дом вздрогнул от резкого, безобразно-резкого нашего трехдюймового... Женщина вскрикнула...

— Это что?

Это было одиннадцать часов. Это мы подавали «помощь» такой же «брошенной», вымирающей от сыпного тифа деревне, за четыре версты отсюда...

Там случилось вот что. Убили нашего фуражира. При каких обстоятельствах — неизвестно. Может быть, фуражиры грабили, может быть, нет... В каждой деревне есть теперь рядом с тихими, мирными, умирающими от тифа хохлами — бандиты, гайдамаки, ведущие войну со всеми на свете. С большевиками столько же, сколько с нами. Они ли убили? Или просто большевики? Неизвестно. Никто этим и не интересовался. Убили в такой-то деревне — значит, наказывать...

— Ведь как большевики действуют — они ведь не церемонятся, батенька... Это мы миндальничаем... Что там с этими бандитами разговаривать?

— Да не все же бандиты.

— Не все? Ерунда. Сплошь бандиты — знаем мы их! А немцы как действовали?

— Да ведь немцы оставались, а мы уходим.

— Вздор! Мы придем — пусть помнят, сволочь!..

Деревне за убийство приказано было доставить к одиннадцати часам утра «контрибуцию» — столько-то коров и т. д.

Контрибуция не явилась, и ровно в одиннадцать открылась бомбардировка.

— Мы, — как немцы, — сказано, сделано... Огонь!

Безобразный, резкий удар, долгий, жутко удаляющийся,

затаихающий вой снаряда и, наконец, чуть слышный разрыв.

Кого убило? Какую Маруську, Евдоху, Гапку, Приску, Оксану? Чью хату зажгло? Чьих сирот сделало навеки непримиримыми, жаждающими мщения... «бандитами»?

— Они все, батенька, бандиты — все. Огонь!

Трехдюймовки работают точно, отчетливо. Но отчего так долго?

Приказано семьдесят снарядов.

— Зачем так много?

— А куда их деть? Все равно дальше не повезем...

Мулы падают...

Значит, для облегчения мулов. По всей деревне. По русскому народу, за который мы же умираем...

Я сильно захромал на одном переходе. Растянул жилы.... Примостился где-то, в самом конце обоза, на самой сухой клячонке, только что «реквизированной»... Обоз — пятьсот повозок, но примоститься трудно, все везут что-то. Что угодно. Даже щегольские городские сани везут на повозке.

Скоро клячонка упала. Я заковылял пешком. Обоз обтекал меня медленно, но верно... Вот последняя повозка. Прошла... Хочу прибавить шагу, не могу. Обоз уходит. Надвигается конный арьергардный разъезд — это последние. За ними никого. Мы с сыном одни — бредем в поле...

Увы, «освободителям русского народа» нельзя оставаться в одиночку... Убивают.

Сколько ужасной горечи в этом сознании... Убивают! Кто? Те, за спасение которых отдаем все...

Я сказал сыну, чтобы шел вперед и попросил кого-нибудь из офицеров прислать мне лошадь.

Он ушел. Впереди деревня. Когда я добрал до нее, — вижу впереди хвост обоза.

Но что это такое? Плач навзрыд, причитания, крики. Я заковылял в этот двор...

Лежит павшая лошадь. С нее казак снимает седло и перекладывает на другую, свежую. Крестьянская семья — старик, женщины и дети — хватается за нее... это их лошадь.

— Что ты делаешь? Брось!..

— Я же им оставлю коня — он отойдет. Я же не могу пеший, что же мне делать?

Баба бросается ко мне.

— Помилуйте... змилуйтесь! Одна у нас — последняя. Ой, змилуйтесь! Сердце, золотко, не обижайте, — бедные

мы, самые бедные. Земли нема у нас. Только и живем с коня, — змилуйтесь! От жеж есть, которые богатый, — от старосту спросить, змилуйтесь, господин!

Но тем временем казак, вскочив на коня, скачет.

— Стой, я тебе говорю, стой!

Он не обращает внимания. Что я офицер, не производит на него никакого впечатления. Я думаю о том, что надо бы выстрелить ему вслед, но, подумав, ковыляю дальше. Надо сказать там.

Когда я подхожу, наконец, я вижу странное... Все вдруг стали «белыми». В белых новых кожухах. Очевидно, тут же ограбили — эту же деревню. А кто-то из старших офицеров спрашивает:

— Это ты здесь, Аршак, себе этого серого достал? Хороший конь!

— Так точно, господин полковник. Добрый конь.

Смотрю — это мой казак. Безнадежно...

И это «белые»? Разве потому, что в краденых кожухах... белых...

* * *

Хоронили нашего квартирьера. Опять убили в деревне. Нельзя в одиночку. Он сунулся ночью в деревню. Устроили засаду — убили. Кто — неизвестно. Выбросили тело на огород, собаки стали есть труп. Ужасно...

Опускают в могилу. Тут несколько офицеров, командир полка.

Могилу засыпают местные мужики. Первые попавшиеся в первой хате. Один из них в новых сапогах. Тут же солдат в старых.

— А вы, мерзавцы, убивать умеете... А в новых сапогах ходите... Снимай сейчас — отдай ему!

— Господин полковник, да разве я убивал? Я бы их, проклятых, сам перевешал...

— Снимай, не разговаривай, а не то...

Снимает. Раз командир полка приказывает, да еще при таком случае — не поговоришь...

— А на деревню наложить контрибуцию!

Весело вскакивает на лошадей конвой командира полка — лихие «лабинцы»... Мгновение, и рассыпались по деревне. И в ту же минуту со всех сторон подымается стон, рыдания, крики, жалобы, мольбы... Какая-то старуха бежит через дорогу, бросается в ноги... Целая семья воет вокруг уводимой коровы.

А это еще что? Черный дым взвился к небу. Неужели зажгли?

Да... Кто-то отказался дать корову, лошадь... И вот...

Могилу квартирьера засыпают... Завтра в следующей деревне убьют нового... Там ведь уже будут знать и о сапогах и о контрибуции... А если не будут знать о нас, то ведь впереди идут части, перед которыми мы младенцы... Мы ведь «один из лучших полков»...

* * *

В одном местечке мальчишка лет восемнадцати, с винтовкой в руках, бежит между развалин, разгромленных кем-то (нами? большевиками? петлюровцами? «бандитами»? — кто это знает) кварталов.

— Что вы там делаете?

— Жида ищу, господин поручик.

— Какого жида?

— А тут ходил, я видел.

— Ну, ходил... А что он сделал?

— Ничего не сделал... жид!

Я смотрю на него, в это молодое, явно «кокаинное» лицо, на котором все пороки...

— Какой части?

Отвечает...

— Марш в свою часть!..

Пошел.

Ищет жида с винтовкой в руках среди белого дня. Что он сделал? Ничего — жид.

— Что сделал этот человек, которого вы поставили «к стенке»?..

— Как что! Он «буржуй»!

— А, буржуй... Ну, валяй!

Какая разница? Мы так же относимся к «жидам», как они к «буржуям».

Они кричат: «Смерть буржуям», а мы отвечаем: «Бей жидов».

Но где же «белые»?..

* * *

— Да, что вы, батенька... Все они бандиты... Я вам говорю — не суйтесь, будьте осторожны... А это село — известное. В каждом доме — большевики — я вам говорю. Будьте осторожны — поближе к штабу... Все бандиты!

Но мы «сунулись»... Нас была небольшая «стайка» — мои молодые друзья и я... Сунулись в хатку на самой окраине сверх-«бандитской» деревни...

Результат. Полчаса были хмурыми, явно скрыто-враждебными. Полчаса присматривались. Еще через полчаса стали растаивать. К концу вечера стали ласковыми и угостили превосходным ужином. На ночь устроили как только могли получше. А утром, когда мы уходили, провожали нас, как лучших друзей. Улыбались на прощанье так, как только умеют улыбаться хохлашки...

— Як вам бог поможе, може ще побачемось... Заходите до нас... Счастливо!

И так было почти в каждой деревне на расстоянии трехсот верст...

...«Батенька — не суйтесь!»... Мы все же «совались» и утром уходили, провожаемые ласково звенящим:

— Счастливо!..

* * *

За это или за другое нас в полку за глаза насмешливо называли «джентльмены».

Я понимаю эту насмешку и эту скрытую враждебность. Мы шли триста верст, они — может быть, три тысячи. Мы имели при себе свои деньги (заработок «Киевлянина» за последние дни), и притом «керенки» — у них денег не было... Мы шли добровольно, только что променяв перья на винтовки, — они тянули уже бесконечно эту безотрадную ламку.

Поход, бой, вши... Бой, вши, поход... Вши, поход, бой...

Этими тремя элементами ведь исчерпываются все комбинации войны а la longue*... Легко быть «джентльменами» неделю, месяц, два... На год, три, шесть лет. Ведь некоторые воюют непрерывно с 1914 года.

Еще хорошо, пока лето, солнце, тепло, есть речки, где выкупаться. Но осенью, зимою... В эти безотрадно-грязные, серые дни или безжалостно-белые, морозные... Какая тоска нападает, наконец, отвращение к этому «роду занятий», жгучая потребность, непреодолимая жажда культурного центра, электричества, театра, нарядной толпы, музыки, книги, газеты... Все это локализуется в одной мечте:

«Выпить кофе у Фанкони... Настоящий кофе... с сладкими булочками, чисто поданный... и прочитать газету»...

* в конечном счете (фр.)

Об этом мечтают на всех бесконечных «отступательных» дорогах... Воевать надоело, противно...

Прежде всего, конечно, этой до конца утомленной армии надо отдохнуть. Она больше не может — ведь они работают без конца...

«Вечно без смены»...

Вечно без смены! Но почему нет смены?

Ах, я никого не осуждаю, не имею права осуждать. Быть может, если бы я воевал столько, сколько они, я сам бы опустился. Но пока, пока все же мне так приятно наблюдать своих молодых друзей, крещенных «джентльменами»...

Мне приятно, что на тридцатой версте дневного перехода они такие же, как на первой. Ледянящий душу мороз, крайняя усталость, разваливающаяся обувь, растертые ноги не способны вырвать у них ни одного грубого слова. Мне приятна их неподчеркнутая, но настоящая военная и невоенная вежливость, их строгое разграничение «службы» и «дружбы». Беспрекословное исполнение «приказаний», братские отношения между собой и трогательная заботливость обо мне, во внимание к моей «старческой слабости».

Но в особенности меня радует, как они умеют ладить с тем «русским народом», ради которого и ведется борьба. Когда они за несколько часов «шармируют» неизбалованную лаской семью «бандитов», я горд, как будто бы выиграл сражение.

Я, конечно, не выиграл сражения, но я выиграл «пополнение», я выиграл «смену».

Потому что, я убежден в этом, как в том, что миром правит добро, а не зло, если бы армия не смеялась над «джентльменами», у нее была бы смена...

Мы «отвоевали» пространство больше Франции. Мы «владели» народом в сорок миллионов с лишком... И не было «смены»?

Да, не было. Не было потому, что измученные, усталые, опустившиеся мы почти что ненавидели тот народ... за который гибли. Мы, бездомные, бесхатные, голодные, нищие, вечно бродящие, бесконечно разлученные с дорогими и близкими,— мы ненавидели всех. Мы ненавидели крестьянина за то, что у него теплая хата, сытный, хоть и простой стол, кусок земли и семья его тут же около него в хате...

— Ишь, сволочь, бандиты — как живут!

Мы ненавидели горожан за то, что они пьют кофе, читают газеты, ходят в кинематограф, танцуют, веселятся...

— Буржуи проклятые! За нашими спинами кофе жрут!

Это отношение рождало свои последствия, выразившиеся в известных «действиях»⁴... А эти действия вызывали «противодействие»... выразившееся в отказе дать... «смену»-

Можно смеяться над «джентльменами», но тогда приходится воевать без «смены».

Конечно, большевики — те добывают «смену» просто — террором. Но ведь мы боремся с большевиками. Из-за чего? Неужели только для того, чтобы сесть на их место и делать все так же, как они? Но к чему же тогда все «жалкие слова»?..

* * *

В одном месте, в одной хате, куда мы зашли погреться и отдохнуть, старик сидел на лавке и долго молчал. Но я чувствовал, что он за нами наблюдает. Вслушивается, старается понять...

Наконец он неожиданно спросил:

— Кто вы, господа, такие?

Он это так сказал, что нас всех поразило. Кто-то ответил ему:

— Мы?.. Мы — деникинцы.

Но он хитро покачал головой:

— Ни, господа. Вы не деникинцы...

Я не знаю, почему я его вдруг понял. Бывает так, что поймешь вдруг., не умом... скорее концами пальцев, словом, я понял его.

И сказал:

— Кто мы, диду?.. Мы те... что за царя. Только молчать, диду, никому не говорить... Бо ще не время...

Но ему трудно было молчать.

— От жеж бачу, что вы не деникинцы. Хоба такие деникинцы!

Хоть мы и темны люди, а все ж свит бачимо. Видно по вас, яки вы люди. Так буде нам свит? Буде государь?

— Мовчить, диду. Об этом не можно ще. Буде царь, буде! Только мовчить. Прийде время, будут вас усих пытать, чи хочете царя, чи ни. О тоди кажить,— не ховайтесь. Кажить,— хочемо!

— Та хочемо! Як не хочемо! От що зробылось без Царя! А доживу ж я, старый?

— Доживете... Только тихо. Не время ще, диду,— мовчить!

И мы ушли, таинственно прикладывая палец к губам.

Каким образом старик учуял, кто мы!.. Вероятно, в его представлении «те, что за царя» и должны быть такие... Ведь государь старческой душе рисуется, как в старых сказках. И «его люди» не могут же не быть несколько иными... Они не могут безобразить или ругаться в бога, в мать, в веру и Христа... как большевики, как петлюровцы, махновцы... деникинцы...

Ах, в этом и трагедия, что народ не делает между всеми ними особого различия...

Шведы ль, наши шли здесь утром,
Кто их знает — ото всех
Нынче пахнет табачищем,
Ходит в мире, ходит грех...

Если бы хоть мы, монархисты, следовали примеру первого русского императора и, вместо грабежа, насилия и матерщины, старались исправлять репутацию деникинской армии...

Тогда, может быть:

И развел старик руками,
Шапку снял и смотрит в лес...
Смотрит долго в ту сторону,
Где чудесный гость исчез.

Я хочу думать, что это ложь. Но мне говорили люди, которым надо верить.

В одной хате за руки подвесили... «комиссара»... Под ним разложили костер. И медленно жарили... человека...

А кругом пьяная банда «монархистов»... выла «боже, царя храни».

Если это правда, если они есть еще на свете, если рука Немезиды не поразила их достойной их смертью, пусть совершится над ними страшное проклятие, которое мы творим им, им и таким, как они, — растлителям белой армии... предателям белого дела... убийцам белой мечты...

* * *

Так думалось в одинокую новогоднюю ночь...

* * *

Конечно, в этих мыслях был перехват... И одиночество и горечь... ретушируют больше, чем нужно... Бессонная

ночь — плохой советник... Не так уж безнадежно. Выход есть, выход где-то есть...

* * *

Ведь вот везде, и в том полку, где я был, — есть люди. Есть «комик» батюшка, есть и другие... «комики». Вот тот полковник, например, — разве не золотой полковник... Шесть лет воюет, а все еще полон огня. Есть же такие бесносные люди. И у него не грабят в батальоне. Памятник при жизни таким ставить.

Есть они, есть всюду. Только разрозненно все это. Если бы как-нибудь объединиться — подать друг другу... пере-кликнуться...

Да, перекликнуться. Подать друг о друге голос. Чтобы человек, который борется за белое дело не только против красных, но и против серых и грязных, знал, что он не одинок. Что есть и другие, такие же, как он, которые где-то там, в своих углах, в своих батальонах и ротах «гребут против течения»:

...Други, гребите!
С верою в наше святое значение,
Дружно гребите
Во имя прекрасного — против течения...
(Алексей Толстой)

АНГЕЛ СМЕРТИ

Я пробовал зажигать фонарь и в роли Диогена искал «человека». В Одессе его не было.

И это стало особенно ясно, когда в Одессу приехал В. А. Степанов⁵.

С В. А. Степановым мне пришлось сделать «кусочек-политической жизни», несколько верст пути, рука об руку. Он обладал счастливейшим и ценнейшим свойством возбуждать в других людях энергию мысли. Как-то с ним всегда все «пересматривалось» по существу, так сказать, сначала. Он был отнюдь не революционер, но мозг его был всегда счастливо открыт для новой мысли. Он никогда не застывал и все время эволюционировал в лучшем смысле этого слова. Очень твердый в основном стремлении, он обнаруживал большую гибкость в способах. И отнюдь не в том смысле, что «цель оправдывает средства», а в том, что «суббота для человека, а не человек для субботы»...

А. М. Драгомиров еще не уехал в то время из Одессы. Мы собрались втроем. И...

Слушали:

Мнение присутствующих о том, что генерал Деникин⁶ находится в опасности. «Такое» отступление, по всей вероятности, не может обойтись без «личных перемен». Это закон истории. Может быть три случая. Генерала Деникина убьют, он застрелится, он совершит «отречение». Необходимо подготовиться к каждой возможности.

Постановили:

Поддерживать генерала Деникина до последней возможности и повиноваться ему до самого конца. Преемником ему почитать генерала Врангеля⁷. Как передать власть генералу Врангелю в случае трагического конца — сейчас установить невозможно. Если же будет «отречение», то употребить усилия в том направлении, чтобы перед отречением произошло «назначение» нового главнокомандующего.

Слушали:

В Одессе может организоваться отпор в том случае, если будет найден «человек».

Постановили:

Зажечь Диогенов фонарь и искать «человека».

Слушали:

Кроме Врангеля другого человека не найдено.

Постановили:

Принять зависящие меры, чтобы генерал Врангель стал пока во главе Одессы.

Эти зависящие меры были приняты. В точности мне неизвестно, привели ли они к какому-нибудь результату. Но думаю, что генерал Врангель опоздал бы.

Ангел смерти витал над Одессой.

* * *

Надо было «зарегистрироваться».

Большое здание. Два этажа сплошь набиты офицерами. Очередь совершенно безнадежная. Здесь надо стоять часы.

Это все «регистрирующиеся». Здесь всякие. Явные старики и инвалиды. Всякого рода «категористы», потом бесконечное количество служащих в тыловых учреждениях. Здешние — одесские и эвакуировавшиеся из самых разных губерний... «Командировщики», получившие всякие поручения. Часть из них действительно что-то здесь делает, а

остальные — «ловчицы». Наконец... наконец, просто «дезертиры»... Хотя все они, конечно, имеют удостоверения.

Я потолкался некоторое время среди этой толпы и ушел в «отвратном» настроении.

Толпа... Толпа офицеров. Не знаю почему, на меня всегда офицеры производят самое тяжелое впечатление, когда они собираются «толпами»... Офицер по существу «одиночка»... Он должен быть окружен солдатами. Тогда понятно, почему он «офицер»...

Но офицерство «толпами»... Тут есть какое-то внутреннее противоречие, которое создает тяжелую атмосферу... Такое же тяжелое впечатление на меня производят «офицерские роты»... некоторые, по крайней мере... В них чувствуется какая-то внутренняя горькая насмешка...

И это впечатление особенно ярко, если сравнить «офицерские роты» с «юнкерами»... Казалось бы, «офицерские роты» самые совершенные части... А вот нет... В них какой-то надлом, нет здоровья, нет душевного здоровья... И как это ни странно — не чувствуется дисциплины. А юнкера всегда производят какое-то бодрящее душу впечатление: сжатой пружины, готовой каждую минуту развернуться по знаку своего начальника.

Душевной упругости, пружинчатости я совершенно не почувствовал в этой офицерской регистрирующейся толпе... Плохая психика, ужасная психика.

Такое учреждение, где регистрируются, не единственное вот это. По всему городу, в разных участках, происходит то же самое. Везде стоят такие же толпы офицеров, понурые, хмурые, озлобленно подавленные и требовательные...

Сколько их?

Никто не знает толком, называют самые фантастические цифры... Кто говорит, что уже «зарегистрировалось» восемьдесят тысяч... Но это явно преувеличено... Но не меньше двадцати пяти тысяч, наверное...

Целая армия. И казалось бы, какая армия. Отборная...

Да это только так кажется...

На самом деле эти выдохшиеся люди, потерявшие веру, ничего не способны делать. Чтобы их «встряхнуть», надо железную руку и огненный дух... Где это?

* * *

Принцип регистрации нелеп. Офицеров «заносят» куда-то, и этим ограничивается все.

Меж тем...

Меж тем настроение этого города, самого города, начинается портиться...

Явственно чувствуется какая-то подземная работа. Хорошо бы держать самый город «под прицелом»... И это было бы легко, может быть. Каждый регистрирующийся офицер должен был бы тут же получать приказ, «в какую часть он зачислен на случай тревоги и куда должен явиться, кто его начальник». Так однажды было сделано в Екатеринодаре. И дало прекрасные результаты.

А так — эти списки? Для чего они? Для облегчения работы большевиков, когда займут город, по отысканию офицеров?

Ангел смерти реет над Одессой-мамой...

* * *

Ко мне пришел один офицер.

Молодой, энергичный... С наклонностью к необузданному фантазерству. Он мне казался белым по мыслям и чувствам, но испорченным доктриной «цель оправдывает средства». Он стал во главе группы офицеров, поднимавших большой «бум»... Они были решительны, смелы. Достаточно смелы для «бумных» историй, недостаточно отважны, чтобы быть беспощадными к своим...

Теперь он пришел ко мне продемонстрировать, так сказать, свое «беспристрастие»...

— Вот прочтите.

Читаю. Это собственноручное признание начальника одной из очень крупных «контрразведок» в том, что он, будучи больным, был соблазнен своим помощником присвоить и разделить между собой (четырьмя соучастниками) крупную сумму в иностранной валюте. «Будучи почти в беспамятстве», «он поддался на уговоры». Теперь он принесил чистосердечное раскаяние и просил предать его суду.

Я знал этого человека. Он приходил ко мне, приносил стихи, иногда недурные, был «мистиком», рассказывал, как он борется с злоупотреблениями «нашей чрезвычайки», И вообще казался мне честным человеком.

И вдруг...

— Этого мы помилуем... С ним это в первый раз... Кроме того...

Он рассказал мне на ухо историю, которую я по этой причине не рассказываю.

— А остальных расстреляем...

— По суду, надеюсь.

— Ну, конечно... Но вот будет другое дело — это уже не по суду...

* * *

Оба «дела» были сделаны...

Начальник той контрразведки, «мистик и поэт», был помилован... каким-то способом. Его соучастники расстреляны.

А через несколько дней был убит начальник одесской контрразведки полковник Кирпичников.

Он ехал поздней ночью. Автомобиль был остановлен офицерским патрулем. Кирпичников назвал себя. Его попросили предъявить документ. Когда он вытаскивал «удостоверение» из кармана, раздался залп из винтовок...

Всю сцену рассказал шофер, которому удалось тихонько исчезнуть...

* * *

Это было дело «без суда»...

Участники его, вероятно, гордились этим подвигом. С точки зрения «брави», он действительно был сделан чисто. Но с точки зрения нашего «белого дела», это был грозный призрак, свидетельствовавший о полном помутнении, если не покраснении умов.

Кто был убит? Начальник контрразведки, т. е. офицер или чиновник, назначенный генералом Деникиным.

Кем убит? Офицерами генерала Деникина же.

Акт убийства Кирпичникова является, прежде всего, «актом величайшего порицания и недоверия» тому, кому повинуешься... Это весьма плохо прикрытый «бунт»... Отсюда только один шаг до убийства ближайших помощников главнокомандующего, вроде генерала Шиллинга⁸ или генерала Романовского⁹... Генерал Шиллинг уцелел, а генерал Романовский погиб, как известно...

Когда я узнал об убийстве полковника Кирпичникова, и вспомнил свою речь, которую я говорил когда-то во Второй Государственной думе по поводу террористических актов. Левые нападали на полевые суды, введенные тогда П. А. Столыпиным. Они особенно возмущались юридической безграмотностью судей, первых попавшихся офицеров, а также тем, что у подсудимых не было защитников. Отвечая им, я спрашивал:

— Скажите мне, а кто эти темные юристы, которые, выносят смертные приговоры в ваших подпольях? Кто назначил и кто избрал этих судей? Кто уполномочил их произносить смерть людям? И есть ли защитники в этих подпольных судилищах, по приговорам которых растерзывают бомбами министров и городских на улицах и площадях?

Эти слова мне хотелось тогда сказать убийцам полковника Кирпичникова. Кто уполномочил их судить его, и выслушали ли они если не его защитников, то его самого?

Но дело даже не в этом, а дело в том, что производить самосуд — значит отрицать суд. Отрицать суд — значит отрицать власть. Отрицать власть — значит отрицать самих себя.

Так оно, конечно, и было. Этим убийством белые пошли против белых понятий.

Красный ангел веял над городом.

* * *

Громадная зала кафе Робина была набита народом. Сквозь табачный дым:

Оркестр вздыхал, как чья-то грудь больная.

Впрочем, не совсем так, а гораздо хуже. С трудом я нашел столик. Сейчас же и меня нашли. Нашлось неопределенное количество знакомых, которые подсаживались и, по русскому обычаю, начинали изливаться свои горести.

По странному совпадению — это иногда бывает — у моего столика периодически сменялись Монтекки и Капулетти. Впрочем, это не совсем точно. Здесь было больше враждующих родов: столько, сколько штабов. А штабов... имена их, ты, господи, веси...

— Он? Вы не можете себе представить! Это злой гений. Это удивительно. Непременно должен быть злой гений! Вот у генерала Деникина — Романовский, а здесь этот. Пока его не уберут, ничего не будет! Про Кирпичникова слышали? Вот и его бы туда же...

Смылся.

— Ах, это вы! Слышали про убийство Кирпичникова? Конечно, это безобразия, но, в конце концов... Я видел, с вами был только что офицер... Вы будьте с ним осторожнее. Их штаб, я вам скажу, такая лавочка... Еще вопрос, кто лучше, они или Кирпичников...

После моего неопределенного отношения к делу и этот

уходит. Первые два были из враждующих штабов. Они грызутся и обвиняют друг друга приблизительно в одном и том же: в безделье, пьянстве, воровстве. Подсаживается третий.

— Я очень рад, что с вами встретился. Надо поделиться с вами некоторыми фактами, быть может, вам неизвестными. Вы, конечно, слышали про эту... певицу. Вот чрез нее идет открытое и грандиозное взяточничество.. А генерал у нее пропадает. Что там делается! И потом... если бы только это одно, а ведь дело гораздо хуже.

Он наклоняется ко мне ближе и шепчет что-то про одну высокопоставленную даму. В его рассказах перемежаются жида, контрразведка, масоны, Осваг, спекулянты, штабы, большевики, Вера Холодная, галичане, Иза Кремер, городская дума, Анна Степовая...

Дикий кавардак. Оркестр вздыхает, «как чья-то грудь больная», неизвестно только, какую болезнью. Дыму столько же, сколько чада в этих рассказах...

И все это пустяки, а самое важное, главное и смертельное, это то, что весь этот огромный зал, все это энное количество столиков занято офицерами.

— Что они здесь делают?

— Пьют кофе. Читают газеты. Слушают шемящие душу терпко-сладкие звуки скрипок.

Мечта всех «отступательных» дорог, морозных и грязных, исполнилась.

Они пьют кофе у Робина.

— А большевики опять продвинулись. Наши драпанули в два счета! Придется играть в ящик! Ну и прекрасно! Черт с ним!

А пока...

А пока мы все-таки будем пить кофе со сладкими булочками, читать газеты и слушать скрипки.

* * *

Для освежения мысли я вынул из кармана записку, составленную моими друзьями. Эта записка если не была совсем точна, то, во всяком случае, рисовала то, что считалось установленным в городе.

Передо мной замелькали описания всевозможных штабов и учреждений с одной и той же убийственной характеристикой. А это еще что?

«Все высшее начальство уверяет население, что опас-

ности со стороны большевиков для Одессы нет, но вместе с тем во второй половине декабря семьи многих высших лиц были отправлены в Варну. Это стало известным всему городу и вызвало панику. Вообще (?) большинство стоящих во главе ведомств должностных лиц заняты одной целью — набрать возможно больше денег, потому взяточничество процветает. Лица, заведывающие эвакуацией, берут взятки за предоставление мест на пароходах; комендатура порта — за освобождение судов от мобилизации; управление начальника военных сообщений — за распределение тоннажа в Черном море. Описать хищения, которые происходят на железных дорогах, нет возможности — там пропадают целые составы поездов с казенным грузом. Началась пляска миллионов...»

И так далее и так далее, все в этом же роде.

Даже если бы все это была неправда, то всеобщее убеждение, что это так, означало гибель дела.

Ангел смерти витал над самым собой заклеившей Одессой.

* * *

Улицы Одессы были неприятны по вечерам. Освещение догорающих «огарков». На Дерибасовской еще кое-как, на остальных темень. Магазины закрываются рано. «Сверкающих» витрин не замечается... Среди этой жуткой полутемноты снует толпа, сталкиваясь на углу Дерибасовской и Преображенской. В ней чувствуется что-то нездоровое, какой-то разврат, quand t'eme,— без всякой эстетики... Окончательно перекокаинившиеся проститутки, полупьяные офицеры...

«Остатки культуры» чувствуются около кинотеатров. Здесь все-таки свет. Здесь собирается толпа, менее жуткая, чем та, что ищет друг друга в полумраке. Конечно, пришли смотреть Веру Холодную. После своего трагического конца она стала «посмертным произведением», тем, чего уж нет...

Меня потянуло взглянуть на то, чего уж нет,— на живущую покойницу. Я вошел в один из освещенных входов.

Что это такое? Офицерское собрание или штаб военного округа? Фойе было сплошь залито, как сказали бы раньше, «серой шинелью» и, как правильной сказать теперь,— «английской»...

Нельзя сказать, чтобы Верочка Холодная все же не доставила мне удовольствия. Как жадно стремимся мы все насладиться хотя бы в последний раз тем, чего уже нет,

и много ли нас осталось бороться за то, чего еще нет...

Ангел смерти витал над «поставленным к стенке» городом...

«ОТРЯДОМАНИЯ»

Все чувствовали тогда в Одессе, что так дальше нельзя. Разложение армии по тысяча и одной причине было ясно. Ясно было, что именно потому она и отступает, что наступила осень и зима не только в природе...

В душе моей зима парила,
Уснули светлые мечты...

(Романс барона Врангеля).

Что делать?

Прямой путь был ясен. Надо было встряхнуть полки железной рукой. Но для этого надо было, во-первых, где-то их собрать. На бесконечных «отступательных» дорогах этого нельзя было сделать. Ибо можно было писать сколько угодно приказов, и они писались, но исполнять их было некому. Командиры частей частью сами «заболели», частью были бессильны. Надо было иметь возможность, опершись на какую-нибудь дисциплинированную часть, привести остальных «в христианскую веру»...

Таких «мест», центров, куда стекала отступающая стихия, было собственно три: Кубань¹⁰, Крым и район Одессы.

В каждом из этих центров было одно несомненное данное: дальше было море. Дойдя до моря, надо было или сдаваться или «драться»... Но был еще третий выход — корабли... Конечно, ясно было, что всем не сесть на пароходы, но каждый думал про себя, что он-то сядет, а остальные... ну что остальные — *chacun pour soi, dieu pour tous!**

Однако, конечно, везде были элементы, которые не желали садиться на пароходы. Они готовы были драться и уже поняли, что спасение в покаянии и в дисциплине. Были такие элементы и в Одессе.

Если бы в Одессе оказался «человек», сопротивление было бы... Но человек этот непременно должен был быть получен «иерархическим» путем, т. е. сверху. Короче говоря, это должен был бы быть назначенный главнокомандующим Деникиным генерал. Естественным генералом был бы, ко-

* каждый сам за себя, один бог за всех! (фр.)

нечно, главно-начальствующий Новороссийской областью генерал Шиллинг.

Но генерал Шиллинг ни в какой мере нужным «человеком» быть не мог.

Я совершенно не касаюсь всего этого дурного, что о генерале Шиллинге говорили. Все это я слышал, все это я впускал в одно ухо и выпускал в другое, твердо памятуя, что человеческая гуща вообще легкомысленно-лжива, «отступающая» стихия непременно озлобленно-несправедлива, а «Одесса-мама», сверх того, всегда была виртуозно изобретательна в смысле сочинения всяких мерзостей... Этому мутному потоку вообще не следует поддаваться.

Но что генерал Шиллинг не был «человеком» в нужном смысле, человеком момента,— это для меня совершенно ясно. Он не мог решиться на то, что должен был сделать: расстрелять нескольких командиров полков для того, чтобы привести остальных в сознание действительности. Не мог он и собрать около себя дисциплинированного кулака, который сумел бы внушить расхлябавшейся массе, что главноначальствующий имеет возможность заставить себе повиноваться

Раз генерал Шиллинг, т. е. естественный «человек», человек «сверху», не мог ничего сделать, а революционный путь, т. е. путь нахождения «неестественного» человека «снизу» или «сбоку», был исключен, то мысль заработала еще в каком-то третьем направлении.

Это «еще какое-то» направление действительно было «какое-то», т. е. несуразное.

Возникла мысль почти у всех одновременно такая: если старые части разложились, значит надо формировать новые.

В сущности говоря, это было повторение пройденного: ведь когда погибла старая русская армия, генерал Алексеев сейчас же взялся за формирование новой — добровольческой армии. Но существенная разница состояла в том, что тогда во главе стал бывший верховный главнокомандующий, старый техник, хорошо знавший свое ремесло. Теперь же, здесь, в Одессе, за негодностью «генералов», за дела схватились кто как мог, и получилась эпоха одесской «отрядомании».

Кто только не формировал отряды! И «Союз Возрождения», и «немцы-колонисты», и владыка митрополит высокопреосвященнейший Платон, и экс-редактор «Киевлянина»...

Генерал Шиллинг помогал этим начинаниям так, как

говорят хохлы: «Як мокре горыть»... Шаг вперед, два назад, а в это время большевики делали три шага к Одессе.

* * *

Я пошел к митрополиту Платону.

Я люблю бывать у владыки иногда.

Во-первых, уже самое настроение этих митрополичьих покоев действует как-то утешающе... Ну, что же такое, что придут большевики! Они уже были и ушли. Еще придут и еще уйдут. А митрополичьи покои стоят и будут стоять. И так же в них будет, как было. Государства валяются, троны рушатся, а церковь устоит... Устоит русская церковь, устоит русский язык... Эти две силы создадут третью: единого двуглавого орла... Одной головой он будет смотреть на наше Великое (да, великое, безумцы) Прошлое, другой зорко искать путей к Великому (верю, господи, помоги моему неверью) Будущему...

Владыка митрополит был очень увлечен своим «священным отрядом». И митрополит Платон, как тогда в Одессе было обязательно, тоже «формировал» что-то... Но до меня уже дошли кое-какие сведения о том, что там делалось. Увы, в «священный отряд» вошли каким-то образом... «уголовные элементы». Я в осторожной форме предупредил владыку, как легко погубить дело и как особенно на виду отряд, создаваемый под покровительством митрополита.

Все-таки стало легче на душе, когда я ушел оттуда. Я почти был убежден, что из священного отряда ничего не выйдет священного. Я получил достаточные сведения о «священных людях», которые туда пошли... И все же...

И все-таки соприкосновение с «духовным» миром всегда освежает. Я вовсе ничего не идеализирую... Я знаю и вижу нашу русскую церковь... И все-таки среди этого расцвета зла, когда поля и нивы заросли махровыми, буйными, красными будяками, церковь уже потому утешает, что она молится...

Молитва богу всегда белая. Белая — вековечно... А бог — сама Вечность.

* * *

Очень большой какой-то дом. Не помню, где это.

Тут формируется «самый важный» отряд. Этот отряд,

кажется, находится под «сильным покровительством»... Но чьим? Хорошенько не разберу.

Кажется, он называется... впрочем, оставим это.

* * *

Словом, это должен быть «полк»... Первый батальон такой-то организации, второй — такой-то общины, третий — такого-то учреждения... четвертый — мог бы быть наш «отряд особого назначения»...

Я добираюсь до командира полка. Двигаюсь постепенно из этажа в этаж, из комнаты в комнату. Внизу меня слегка коснулся запах спирта. Затем этот запах все усиливался, по мере того как я двигался выше, по всяким «отросткам» мгновенно сформировавшегося штаба... Вообще мы двигались беспрепятственно. Мой спутник называл меня. И тогда пьяные и полупьяные лица, перед этим скользившие по моим «подпоручицким» погонам полупрезрительным взглядом, делались любезными и милыми, поскольку они могли быть милыми. Потому что... ведь так много разрушено за это время. Разрушалось и искусство быть любезным...

Запах спирта достиг наивысшего напряжения, когда я достиг командира полка.

Этот полковник был пьян. Он был молод, и лицо у него было тонкое. Бритое, худошавое, оно носило отпечаток энергии. Но какой «энергии»? Это было почти очевидно.

Полковник принял меня в высшей степени любезно. Но из его «повышенных» объяснений я понял, что денег ему еще не дано — раз и что полк его еще не «утвержден» — два. Что кто-то (кто, неизвестно, но какие-то люди или «силы») мешает... Что генерал Шиллинг сочувствует, но...

— Впрочем, мы их зажем! В два счета! Церемониться не станем... Нет, уж не до церемоний... Куда же дальше... ведь штабы будут на пароходе... а мы? Нас, как цыплят, угробят? Нет! Довольно!

Запах спирта усилился, потому что пришел кто-то с докладом...

— Господин полковник, разрешите доложить...

Офицер тянулся, хотя был пьян...

Полковник, приняв доклад, продолжал громить... кого-то.

Я его плохо слушал. -Я понял.

Все пьяны, денег нет, разрешения нет... и это при сильном «покровительстве».

А большевики в этот день опять сделали большой скачок.

Мы «драпанули» — «в два счета»...

* * *

Опять задание. Опять этажи. Но спирта что-то не слышно.

Добираюсь еще до одного формирующего полковника. Молодой очень, но энергичный, производит симпатичное впечатление. Из «осважников» Переменил перо на винтовку. Тут «что-то слышится родное».

— Деньги получили?

— Нет — какое там...

— Как же?

— Да как-то наскребаем пока.

— Утверждение?

— Да вот хлопочем.

— Много у вас...

— Пока около ста человек...

— А ведь большевики движутся...

— Конечно, движутся...

— А знаете что, будем связь держать...

— Хорошо... а зачем?

— Да мало ли что может случиться... драпанут в два счета... теперь не на кого надеяться... только на себя... в случае чего... перебирайтесь к нам...

Мы уславливаемся.

В городе по самому скромному счету двадцать пять тысяч одних офицеров. А тут два отряда, общей численностью не превышающие двести человек, «договариваются» о «совместных действиях».

* * *

Еще какое-то формирование. Та же картина. Здание, этажи.

Штаб. Денег пока нет. Разрешение — «хлопочут»...

* * *

И еще., и еще...

Есть еще немцы-колониисты. У них свой «генерал». У них свой комитет — какой-то немецко-русский совдеп, где

одерживаются бескровными победами на внутреннем фронте.

Деньги? Кажется, есть.

Люди? Говорят, были. Но разошлись... И вообще они желают защищать только каждый свою колонию, а другой не желают. Кроме того, немцы говорят: «Мы пойдем, если русские (крестьяне) пойдут». А русские крестьяне будто бы говорят: «Мобилизуйте нас — тогда пойдем, а добровольно не пойдем — страшно»...

* * *

Есть еще «Союз Возрождения». У него дело чуть лучше. Они получили и деньги и разрешение. В благодарность за явное покровительство «белых» генералов «розовенькой общестственности» эта последняя умеренно политиканствует. Создают какой-то совдеп. Как он называется? «Комитет защиты Одессы», кажется... Чуть ли не «Комитет Спасения». Они никак без этого не могут обойтись. Большевики уже давно поняли, что в совдепе несть спасения, а у этих все еще к ним «влечение — род недуга».

* * *

Городская дума. Она отнюдь не розовенькая... Наоборот. Мы победили в Одессе на городских выборах в декабре 1919 г [ода]. Казалось, это было невероятно. В Одессе победить нам — русским... А вот победили.

Выборы вели мои друзья, сгруппированные в организацию, привыкшую к дисциплине. Победу дало изобретенное ими в высшей степени удачное название. Как все «гениальное», это было в высшей степени просто: «христианский блок». Никаких программ, никаких угроз и никаких обещаний. Но все, кому нужно было, поняли друг друга.

Однако «наша» дума, как всякий совдеп, не избежала общего закона совдепов: она собирается делать «скопом» дело, которое делается только «в одиночку», т. е. защищать город.

Она тоже что-то «формирует».

* * *

У генерала графа Х. Крайне любезен. Он получил специальную задачу и имеет свой штаб. Он должен «объединить» все формирования. Для этого он разбил весь район

Одессы на «секторы». Каждый сектор предполагается отдать примерно какому-нибудь отряду, так сказать, «в лен». Но все-таки не совсем так. В каждый сектор будет послан полковник без отряда. Потом придет отряд и поступит в распоряжение полковника.

— А что же будут делать полковники, формирующие отряды?

— Да, это надо уладить...

Уладить этого никак нельзя. Ведь если люди при этой агонии еще идут в какие-то формирования, то они идут к офицерам, которых они знают или авторитет которых высок. К «каким-то полковникам» они не пойдут, ибо авторитет «погон» потерян в развале отступления — ищут людей...

Но генерал граф Х. не понимает, какую смесь «французского с нижегородским» он устраивает. Или «партизанщина» — отрядомания, или «все по уставу». Но эта смесь митрополитов, редакторов, «атаманов» всякого сорта и совдепов всякого рода с старорежимными генералами дает нечто несуразное...

Да и вообще...

Нет, общий сумбур не уменьшится от того, что избрал новый штаб генерала графа Х.

* * *

Куда еще?

Да вот еще есть отряд инженера Кирсты. Это рабочие, которых он вывел из Киева. Их называют «кирстовцы», еще «крестовцы»... В Киеве они назывались «рабоче-офицерская рота».

Утверждение есть — киевское... Денег, конечно, нет. Ни киевских, ни одесских... Отряд, если не ошибаюсь, сидит безвыездно в каком-то этаже какого-то здания... за «босьтью».

Вхожу с ними в контакт.

* * *

Есть еще атаман — Струк — «малороссийский отряд». Он бывал у меня в Киеве. Тут он тоже что-то формирует. И, говорят, у него много народу.

Разрешение — киевское. Деньги?

Денег нет, но, очевидно, он им что-то обещает.

Но что?..

* * *

Довольно. Пойду к себе в «свой» отряд.

* * *

«Отряд особого назначения» был попыткой создать кадр «просвещенных исполнителей» хотя бы для одного уезда.

Разумеется, теперь ясно, что это был кустарный дилетантизм, *kinder-spiel**, покушение с негодными средствами... как и вся одесская «отрядомания», впрочем. Однако нельзя не сказать, что это обычный путь человеческой мысли: когда теряют надежду спасти целое, пытаются начинать с атомов...

Мой «атом» формировался почти исключительно из учащейся молодежи. Денег мы пока не получали — содержали отряд всяческими ухищрениями, «утверждение» самого отряда бесконечно тормозилось в разных штабах. И то и другое было получено накануне занятия Одессы большевиками.

* * *

Я вошел в гимнастический зал.

— Смирно! Равнение налево! Господа офицеры!

Это командовал полковник А., «назначенный» начальником отряда.

Кем он назначен? Пока никем. Мною. А я кто такой?

Да, вот тут-то и начинается «часть неофициальная».

Передо мной, вытянувшись, как полагается, замерла горсточка. Мой «атом». Это были почти сплошь гимназисты. Им нелепо было сказать «здорово ребята, молодцы, орлы» или что-нибудь подобное. Я сказал им:

— Здравствуйте, господа.

— Здравия желаем...

И смешались. Одни сказали: «господин подпоручик», другие: «господин полковник», третьи: «ваше превосходительство»...

Так и должно было быть. Кто же я был в самом деле?

Если бы они были искренни, они бы ответили:

— Здравия желаем, господин редактор «Киевлянина».

* детская игра (нем.).

Но этого, конечно, нельзя ответить. Почему? Да потому, что «редакторы» не формируют отрядов. По крайней мере, там, где все обстоит благополучно. И если произошел такой случай, что не только редактор, но и митрополит делаются «начальниками отрядов», то, значит, все пошло шиворот-навыворот...

Так оно, конечно, и было.

Но *le vin est tire, il faut le boire**.

ИСХОД

Дело становилось окончательно ясным: Одессу сдадут. Я, кстати, заболел и, лежа в постели, подписывал бесконечное количество «удостоверений» на английские пароходы. На этих удостоверениях английские власти ставили визу, и это служило пропуском на пароход. Но приходилось выдерживать характер. Добивались удостоверений и те, кому, по моим понятиям, надо было бы сесть на пароходы «последними», т. е. совсем не садиться, ибо на всех места хватить не могло...

Итак, все строилось на «драп». В ушах у меня все время звучала фраза из модернизированного романса, которая стала с некоторого времени канонической.

Das war ein Drap...

Впрочем, это, вероятно, было потому, что у меня начинался легкий жар.

* * *

В городе шла эвакуационная лихорадка.

Ко мне постоянно забегали разные люди со всякими сенсациями. Большевики там, большевики здесь... Такой-то генерал уже сел на пароход. Такой-то штаб укладывается, и такая-то дама сунула им столько-то чемоданов со столько-то платьями.

Генерал Шиллинг еще был на берегу. Он будто бы сердится, когда ему говорят об эвакуации, и обещает еще держаться десять дней, но, между прочим, уложено все до последнего ящика.

* вино откупорено, и нужно его пить (фр.).

* * *

Итак, я подписывал удостоверения. Для моего развлечения, очевидно, прибежал кто-то «в паническом» и сообщил, что «атаман» Струк сегодня ночью собирается меня арестовать. Это был, конечно, вздор, но на всякий случай я написал Струку письмо, в котором я предупреждал его, что к нему, вероятно, прибегут сообщить, что я собираюсь его убить, так чтобы он не пугался. Однако я чувствовал, по некоторым другим признакам, что нечто украинообразное выскочит в последнюю минуту. Среди «кофейного» офицерства внезапно наступило успокоение: они вдруг возложили все свои надежды на какого-то генерала Сокиро-Яхонтова, выплывавшего «из-за острова на стрежень».

Это было совсем нелепо, но...

Впрочем, об этом дальше.

С каждым часом атмосфера уплотнялась. Положительно всем, кто хотел попасть на пароходы, надо было укладываться.

Самая грустная вещь в этих эвакуациях это, кажется, та минута, когда приходится решать, что спасти из... «архивов».

В Киеве мне пришлось сжечь интереснейшие вещи. Но многое я вывез. Для чего? Для того, чтобы утопить в одесской воде то, что не сжег в киевском огне.

В общем от всего, что было написано или записано в течение всей жизни, не осталось ни строчки...

* * *

24 января, вечером, я решил, что довольно болеть. Ясно было, что каждую минуту можно было ожидать «перемены обстановки».

Надо было переходить на «военное положение», т. е. идти в «отряд».

Я оделся. Мы вышли. На улицах было «соответственно». Обозы, часть артиллерии — вошли в город. Напротив моей квартиры происходила какая-то каша из англичан и «Союза Возрождения». На Екатерининской площади выростали горы чемоданов и ящиков, среди которых сновали автомобили. На Дерibasовской был кой-какой свет. Сновали люди. В полутемноте была жуть, но город еще жил. Вдруг неожиданно и тяжело по улицам прошелся звук очень большого орудия, очевидно, с английского дредноута. Это должно

было обозначать, что большевики заняли такой-то «квадрат», доступный обстрелу с моря. И сразу все изменилось. Все огни потухли. Толпа куда-то смылась, и только мальчишка на углу, который перед этим продавал папиросы за сто рублей коробка, стал требовать триста.

Образовалась плотная темнота, которую от времени до времени буравили выстрелы винтовок, где и по ком, впрочем, неизвестно. Темнота эта была совершенно пустынная, улицы вымерли.

* * *

Но в эту ночь мне еще пришлось вернуться к «источнику осведомления». В это время командование уже перешло в руки полковника Стесселя, «начальника обороны города Одессы». Его штаб был в английском клубе. Я пробрался туда через зловеще-пустынный город. Тяжелые английские орудия еще два или три раза всколыхнули темноту, такую густую, как повидло. В клубе масса народу, толпа. Очевидно, сюда жмутся. Светят какие-то жалкие огарки. Мрачно. В этой мрачности непрерывно снуют, входят и выходят, и чувствуется, что происходит какая-то пертурбация. Какие-то украинские офицеры приезжали и уезжали в автомобиле. Раза два раздалась «балакающая» «мова». Конечно, это было так, а не иначе: происходила сдача командования «господину нашему» генералу Сокире-Яхонтову.

Зачем генерал Шиллинг, сев на пароход, передал командование неизвестно откуда взявшемуся и не имевшему никаких сил (триста галичан, да и то лежавших в госпиталях) и явно внушавшему всем недоверие генералу Сокире-Яхонтову,— это секрет изобретателя. Однако это было проделано. Полковник Стессель получил от генерала Шиллинга письмо с приказанием подчиниться украинскому спасителю.

Эта передача власти, несомненно, ускорила сдачу Одессы дня на два, ибо кто-то стал надеяться на кого-то, и даже те немногие, что могли что-нибудь сделать, были сбиты с толку.

Узнав, что «такое-то отношение», т. е. что генерал Шиллинг украинизировал нас с парохода, я отправился обратно в свой отряд со смутной мыслью распустить его по домам. Ибо если можно еще донкихотствовать под трехцветным флагом, то под «живто-блакитным»¹²... покорнейше благодарю... «Довольно колбасы», как говорили в таких случаях на доброармейском жаргоне.

Но распустить отряд не пришлось. События пошли таким темпом, что пришлось не распускаться, а, наоборот «всем збираться до купы»...

Рано утром 25 января я был в порту. В порту в это время было еще сравнительно прилично. Правда, люди бегали по всем направлениям, усаживаясь на всякие суда, но особых инцидентов не происходило. Поддерживали порядок юнкера. Им было обещано, что их возьмут на пароход после окончания погрузки. Было чуть морозно, но ярко светило солнце.

Я пришел на нашу «собственную» баржу. Тут мне стало жутко. Баржу должен был тащить наш «собственный» пароход. И пароходик и баржа внушали невольную мысль, что они никак не выйдут в море, а если выйдут — погибнут. А между тем все было уже битком набито народом. Среди них у меня столько было близких и друзей. Я никак не мог решить, прощаясь с ними, кто подвергается большей опасности. Они провожали меня слезами, считая, что я «обрекаюсь» на верную гибель, оставаясь на суше, а я, конечно, не сказал им, что думаю то же о них, «плавающих, путешествующих»... Ужасны эти разлуки при такой обстановке...

На обратном пути из порта я имел благоразумие зайти в штаб Стесселя. Не знаю, какова была бы судьба всех нас, собравшихся в «мой» отряд, если б я этого не сделал. Начальник штаба, полковник Мамонтов, дал мне приказание немедленно привести отряд к штабу, ибо, как он выразился, «надо сжаться в кулак».

— Неужели город очищается? А Сокиро-Яхонтов?

Мамонтов махнул рукой.

— Принял командование ночью, а утром прислал сказать, что снял с себя командование. «Кончилось счастье»...

— Ну, а районные коменданты? Есть же что-нибудь? Он посмотрел на меня выразительно.

— Отжимайтесь к штабу. И немедленно...

К своему удовольствию, я застал отряд весьма готовым выступлению. Большевики были где-то неподалеку. На соседних улицах что-то уже происходило. Что именно, в то время узнать нельзя было.

Мы вышли. «Отряд особого назначения», выведенный на улицу, представлял из себя приблизительно следующее.

Первая рота: человек тридцать офицеров самого разнообразного происхождения. Несколько из них, испытанных друзей, другие — прибежавшие в последнюю минуту, не зная, куда деться.

Вторая рота: около пятидесяти человек молодежи, преимущественно гимназистов.

Сверх того, около десяти дам, несколько мужчин штатского вида, способных и неспособных носить винтовку, двенадцатилетняя Оля и четырнадцатилетний Димка, мой младший сын.

Хозяйственная часть: одна подвода неизвестного происхождения, но переполненная вещами.

Мы шли по городу. Пулеметы трещали на соседних улицах, но пока мы двигались благополучно. Кто с кем там дерется, никак нельзя было сообразить. По тротуарам бежали люди с чемоданчиками и узелками. Очевидно, в порт.

«Нормальной», обычной публики не было.

Без особых приключений мы дошли до английского клуба — на углу Пушкинской и Ланжероновской. Тут мы увидели «главные силы».

Полковник Стессель со своим штабом стоял уже на улице. За штабом находились какие-то части в таком количестве, что прибытие нашего отряда, в котором не было ста человек, оказало заметное влияние.

Итак, это было все. Я понял, что мы подошли последними. В критическую минуту от двадцатипяти тысячной «кофейной армии», которая толкалась по всем «притонам» города, и от всех частей, вновь сформированных и старых, прибывшихся в Одессу, — в распоряжении полковника Стесселя, «начальника обороны», оказалось человек триста, считая с нами.

Трескотня усиливалась. Стессель приказал сделать разведку по Ришельевской и Пушкинской. Я пошел с несколь-

кими офицерами и молодежью по Пушкинской. Развернулись в цепь. Мальчики несколько путали, но держались смело. С Дерибасовской стали долетать пули. Тут поднялся крик:

— Из окон стреляют!

Я приказал им укрыться и стал присматриваться.

У окон действительно появились какие-то дымки—в верхних этажах. Я начал соображать: почему дымки при бездымном порохе? И почему дымки там, где окна закрыты? И скоро понял, в чем дело.

Эти дымки производили пули, ударявшиеся о штукатурку. По Дерибасовской из-за горки кто-то палил. Попадая в дома под острыми углами, пули рикошетировали, рождая эти желто-серые дымочки из пыли известкового камня. Ларчик открывался просто, а меж тем сколько раз в гражданской войне оба противника обвиняли мирное население в стрельбе из окон. Это в некоторых случаях, конечно, бывало, но по большей части это были, вероятно, только «штукатурные» дымки.

Мы не успели «вступить в бой», как пришло приказание оттянуться.

Вернувшись к Ланжероновскому спуску, мы увидели, что уже никого нет.

«Главные силы» отступили в порт.

На что, собственно, рассчитывали, мы хорошенько не знали: должно быть, на посадку на пароходы. Словом, мы отошли вместе с прочими.

* * *

В порту была каша. Куда-то тянулись части, повозки, отдельные люди, публика в нелепой смеси

имен и лиц, племен, наречий, состояний.

Где-то, кого-то, куда-то, почему-то не пускали юнкера. Потом пустили.

В общем мы очутились на том молу, который ведет к маяку. Другими словами, больше деваться было некуда: с трех сторон вода, с четвертой мятущаяся каша людей, повозок, лошадей, орудий, броневиков, автомобилей.

Мы расположились чего-то ждать около каменных сараев. Так выжидательно бессмысленно продолжалось некоторое время. Очевидно, столько времени, сколько большеви-

кам понадобилось, чтобы установить пулеметы в Александровском парке и вообще на высотах, окружающих порт. Мы поняли, что это сделано, когда они стали обстреливать нас. Люди бросились за каменные сараи. Какой-то броневик поднял трескотню с нашей стороны. Эта наша трескотня была в высшей степени неприятная: сознаюсь, мои нервы не созданы для такого шума. Большевики стреляли плохо. Они могли бы, выражаясь по-старозаветному, «залить нас свинцом», но в общем ранили несколько человек. Однако этого было совершенно достаточно, чтобы все пароходы «драпанули в два счета» в море.

В это время среди горсточки людей, дошедших до последнего предела и жавшихся к каменным сараям на молу, родилось наконец то, чего столько времени ожидали,—инстинкт сопротивления.

Вдруг вырвались какие-то люди, насколько помню, это были даже не офицеры, а солдаты-драгуны. Они, неистово жестикулируя, стали кричать, яростно кого-то упрекая:

— Ну что же, господа! Еще долго так будет? Куда еще? Море кругом! Дальше не пойдете, нет! Так что, вот так и пропадем? Пойдем, трам-тарарам, выбьем их, трам-тарарам, с их пулеметами к трам-тарарамной матери!.. Идем!

Хотя эта речь была брошена к толпе, почти наполовину состоявшей из женщин, детей и никчемников, однако она произвела впечатление. Была подана мысль — пробиться. Был найден исход. Первоначально ругнулись, по обычаю, жестко друг с другом. Помню, я ругал какого-то офицера, чтобы он не расстраивал частей и чтобы действовали по какому-нибудь плану... Но все же эта вспышка энергии произвела желаемое действие, и штаб зашевелился. Получено было приказание нашему «отряду особого назначения» выгнать всех, способных носить оружие, из-под сараев для атаки высот.

Я пошел «выгонять». Это было дело скучное и противное. Приходилось торговаться и спорить с офицерами всяких чинов, утверждавшими, что они «больны» или что-нибудь в этом роде.

* * *

Скоро мне надоели эти обязанности «особого назначения», и вместе с теми, кого удалось вытащить, я двинулся по молу по направлению высот.

По дороге к нам присоединялись еще какие-то люди, а во главе всех очутился полковник Мамонтов¹³. Он неистово кого-то ругал и показывал кулак Одессе. Удивительно, что это не было смешно, а, наоборот, производило впечатление чего-то подбадривающего.

Большевицкие пулеметы в это время замолчали, точно испугались того решительного вида, с которым наша горсточка быстро двигалась по молу. На самом деле это было не так. Драгуны, побежавшие раньше нас, уже были на высотах, — большевики отступили еще перед ними. Но там что-то еще происходило, потому что навстречу нам бежали люди, которые неистово нас торопили, требуя помощи. Мы пустились бегом и стали подниматься по какой-то лестнице. Я помню, что у меня была только одна мысль — не задохнуться к концу ступеней...

Наверху, в парке, среди его редких деревьев двигались какие-то цепи, по-видимому, без всякого руководства. Я со своей горсточкой взял почему-то вправо, но мог с тем же успехом взять и влево. Мы прошли парк, причем нас все время уверяли, что большевики «идут», но увидеть их я никак не мог. Таким образом, мы вышли на Маразлиевскую, с ее большими домами и шикарными подъездами. Из какой-то поперечной улицы будто бы стреляли. По крайней мере, на углу столпилась горсточка наших и не решалась перейти улицу. Кто-то упорно утверждал, что «они» засели в таких-то окнах и оттуда палят. Это всегда бывает в таких случаях. Основное правило — не верить очевидцам в бою, ибо людям мерещится бог знает что. На самом деле никого в переулке не оказалось, и, когда это стало ясным, все двинулись гурьбой за нами. Однако еще через поворот, наконец, мы «вошли в соприкосновение с противником». Оттуда действительно постреливали. В это время около меня образовалась горсточка людей, которые почти все были мне незнакомы, но почему-то исполняли мои приказания. Я поставил одного из них на самом углу, а остальных спрятал вдоль стенки. Этому одному передавали заряженные винтовки, и он открыл пальбу. С колена, спокойно, на мушку. Это возымело действие. Какие-то черные фигуры, которые копошились через несколько кварталов, побежали и исчезли в боковых улицах. Мы двинулись дальше гуськом, под стенами. Доходя до углов, осматривались вправо и влево и двигались дальше. Несколько трупов оказалось на тротуарах...

Прошли еще несколько улиц. Постреляли еще. Меня на-

чало брать сомнение, не стреляем ли мы в прохожих. За газетным тамбурином, через два квартала, ютилась кучка людей. Я начинал думать, что это не большевики, а случайные прохожие, которых зажали — ни туда ни сюда. Я приказал прекратить пальбу. Но какой-то пришедший в азарт продолжал расстреливать тамбурин. Взглянув ему в лицо, я увидел, что это «восточный человек». Я снова приказал ему перестать. Он не послушался: черномастные восточные глазки горели неистово; он был в трансе. Я вынул револьвер. Это привело его в чувство; он заявил мне, что он офицер, адъютант такого-то полковника, но стал слушаться.

Вперед больше не приходилось идти. Мы потеряли связь со штабом, планы которого были мне совершенно неизвестны. Но в общем я думал, что взять весь город не входит в нашу задачу, а достаточно освободить порт от обстрела. Кроме того, нас могли обойти. Мы стали отходить. По дороге поймали какого-то мальчишку лет двадцати, который сказал, что он «не жид», но на требование «восточного человека» «перекреститься» — перекрестился неправильно. И я опять должен был употребить угрозу, чтобы этого еврейчика отпустили, ибо восточный адъютант был совершенно убежден, что это большевик, только что бросивший винтовку, тогда как для меня было совершенно ясно, что вздор.

На Маразлиевской мы встретили еще другие группки. Всем страшно хотелось пить. Какие-то дамы поили нас водой, но с большой опаской, боясь мести большевиков.

* * *

Пришло приказание оттянуться на гребень Александровского парка и держать его. Мы отошли, заняв позицию неподалеку от Александровской колонны.

Я пошел посмотреть, что делается в парке. Сверху все было видно. Все пароходы ушли из порта. На молах копошились люди и обозы. Как-никак, мы чувствовали себя победителями, ибо заняли вершину и защитили порт, где у каждого из нас были близкие и родные.

Ужасно хотелось есть. И вдруг, как бывает в сказках, появились добрые феи. Это были три молоденькие барышни-мещаночки, путешествовавшие по гребню с огромным чайником и с белым хлебом. Мы сначала даже не поверили,

что они вышли специально кормить нас. Но это было так. Я сказал им:

— Вы очень рискуете.

На что они ответили:

— Умирать один раз... И ничего нам не будет...

Этот чай был замечательно вкусным. Уже не в первый раз я делал наблюдение, что средний слой гораздо более отвычив и смелее, чем высший. То-то большевики и боятся больше «мелких буржуев», чем крупных⁴.

Так в общем дело дотянулось до вечера. Я очень успокоился, что нигде не вижу своих сыновей. Становилось холодно. Мы тщетно разводили какие-то костры, проявляя при этом обычную интеллигентскую никчемность.

Через долгое томительное время пришло сообщение из штаба, что, если до десяти часов вечера нас не заберут на пароходы, мы выйдем из города в направлении на Румынию. Вместе с тем стало известно, что полковнику Стесселю лично было неоднократно предложено сесть на пароход, на что он ответил:

— Что, вы меня подлецом считаете!..

Это произвело хорошее впечатление.

До десяти часов еще было время, почему я решил обойти порт. Меня беспокоила баржа, где было столько моих друзей. Я знал, что она отойти не могла, и думал вытащить их и взять в отряд. В темноте мы долго бродили по молам. В одном месте, где было темно и пусто, мы услышали какие-то стоны.

— Кто это?

— Помогите... Замерзаем..

— Кто вы?

— Мы жены офицеров. Я еще ничего... Мама совсем замерзла...

Это были две женщины. Они лежали у стенки, на молу.

— Помогите... Нас бросили...

Мы с трудом подняли их и повели. Куда — мы сами не знали хорошенько. На счастье мы наткнулись на какую-то большую толпу, которая в темноте рвалась к какому-то только что пришвартованному судну. Я понял, что это одно «специальное» судно, о котором я уже что-то слышал. Покрывая крики и шум, с судна неистово вопил голос, показавшийся мне знакомым:

— Поручик Б.! Поручик Б.!

Я понял. Это была компания... словом, теплая компания... Та самая, что «гробила» полковника Кирпичникова...

Они и здесь проявили свои качества, захватив судно в свое распоряжение. Но на этот раз — *fiat justitia**—они делали благое дело: принимали на борт, кроме своей «шпаны», женщин, больных и раненых. Английские солдаты составили цепь и пропускали по указанию. Но в общем был кавардак. Толпа напирала и жаловалась на все голоса в темноте. Нам удалось протиснуть замерзших женщин. Тут же мы увидели несколько человек близких друзей, офицеров, шатающихся после всяких тифов и воспалений. Они тоже пробивались на пароход. Ужасно было оставить их такими беспомощными и слабыми, но немыслимо взять их в поход. Мы простились тяжело. Некоторых из них я видел в последний раз. Не выдержали дальнейшего.

Баржи я не нашел.

* * *

Около десяти часов мы тронулись. Наш «отряд особого назначения» вошел в колонну полковника Стесселя. Не пойму хорошенько, откуда и как образовался колоссальный обоз. Тут была и артиллерия, и броневики, и автомобили, и невероятное количество повозок. Все это сначала никак не могло найти своего места, шло не по той дороге, поворачивало обратно, причем автомобили неистово рычали, слепили глаза, повозки приходили в беспорядок: словом, происходил обычный в этих случаях кавардак... Я не могу сказать, чтобы настроение было жуткое или подавленное. Наоборот, как будто бы найден какой-то исход. В воздухе было морозно, но мягко. Меня лично очень беспокоила мысль о семье, которой я нигде не находил.

Мы стали подниматься бесконечным обозом по Военному спуску. Около моста я вдруг увидел характерную фигуру старшего сына Ляли (имя не очень подходящее для «юнкера флота» восемнадцати лет, но что же я поделаю, если его так все называют «от века»). Он стоял с винтовкой в своей знаменитой папаше «халды-балды», которая придавала ему вид османлиса. Оказалось, что он сторожит меня. Тут же оказались и остальные: другой сын, жена, племянник — Филя Могилевский. Все были в бою, все были живы, что и требовалось. Они были в какой-то вновь образовавшейся роте полковника Н. Н. Рота стояла тут же, у парапета. Они мне рассказали все, как было.

* Да восторжествует справедливость (*лат.*).

— Страшно интересно... Полковник, правда, симпатичнейший человек...

Ляля моментально производит людей в «симпатичнейшие» и в свои «личные друзья» — счастливое свойство молодости. Димка, младший, более замкнутый и питается переживаниями старшего. В общем первый бой, в котором он участвовал, произвел на него самое лучшее впечатление. Жена рассказывает о том, как перевязывала какого-то большевика в какой-то чайной. Филя дошел до самого собора. Странно видеть его сугубо-штатскую фигуру с винтовкой. Он как-то мало понимает, что с ним происходит, какой-то рассеянный. Пуля оцарапала ему руку.

Пошли.

По-видимому, большевики были основательно отжаты. Наше отступление решительно никем не было потревожено. Наш отряд шел в арьергарде, последним. В арьергарде отряда шли мы вдвоем с Лялей.

Было совершенно тихо. Улицы были абсолютно пусты, но и не очень темны. Кое-где что-то горело — не то фонари, не то окна. Мы двигались шагов на сто позади колонны, в качестве дозора. Все было мирно. Единственным происшествием была кем-то брошенная повозка. В ней мешок сахара-рафинада. Это было страшно приятно. Удивительно, как сахар поддерживает расположение духа. Ляля набил полные карманы, перемешав его с патронами, которыми он всегда нагружен. Он держался молодцом, что меня удивляло, так как он был болен — температура поднялась. Обычный припадок малярии, имеющий обыкновение присасываться к нему во всяких подходящих и неподходящих случаях.

* * *

Постепенно колонна вытянулась за город, и пошли бесконечные «фонтаны». Утомление целого дня, к тому же без пищи, сказывалось. Но в общем все держались. Держались и дамы, которых было много в колонне. Бодро двигалась маленькая Оля, напоминавшая Фрикетту из романов Буссе — нара. На какой-то «станции», под каким-то забором, Ляля свалился. Я положил его как можно ниже головой, и обморок прошел. Боясь, что причитания матери его расслабят, я взял его под руку, и он пошел бодро. К счастью, мы натолкнулись на какое-то учреждение — какая-то больница, — где несмотря на поздний час (два или три часа ночи),

почему-то давали чай. Комната набилась народом. Откровенно говоря, это было приятно. Сестры очень заботились, чтобы не стащили кружек, что, по-видимому, было в моде. Тут было тепло, силы восстановились.

Когда мы вышли, мы вдруг заметили, как стало холодно и что снег уже запорошил дорогу. Пошли. Шли до рассвета. Шли часть следующего дня. Пришли в какую-то немецкую колонию, где назначен был отдых. Разместились в школе. Отдыхали на партах, закусывали хлебом и салом. Проходили какие-то немцы-колонисты, что-то обещали, о чем-то совещались, но ничего не сделали. В три часа вышли опять.

Спускаясь с пригорка, почему-то пришли в хорошее расположение духа. Запели.

Взвейтесь, соколы, орлами...

Удивительно, как эти песни действуют. Физиологическое действие музыки требует более вдумчивого и тщательного изучения. Повеселели, и кстати, ибо идти было трудно. В особенности трудно было дамам с и неприспособленной обувью.

К ночи пришли в колонию, где было недурно. Долго выбирали свободную хату, где бы не было тифа. Поели и крепко заснули.

На следующий день с утра поход возобновился. В следующем селе было некоторое развлечение. Над нами разорвалось несколько шрапнелей, и наш броневик «Россия» открыл ответную стрельбу. Куда и в чем было дело, — кажется, никто не знал. Во всяком случае, мы пошли дальше. К вечеру добрались до каких-то хуторов, где втиснулись в какую-то хатку обогреться. Шли дальше. Через некоторое время на горизонте очень красиво засверкали огни. Этот город казался совершенно сказочным, так, как рисуют на картинках. Мы думали, что это Овидиополь. Но когда ночью вошли, наконец, в этот последний, крайне замерзшие и усталые, то сказочный город был все так же далеко, где-то на краю земли. На самом деле он был не на краю земли, а на краю воды, или, вернее, льда, ибо это был Аккерман. Между ним и нами был замерзший лиман девять верст шириной.

Какая мука искать квартиры глухой ночью, когда человек уже на пределе усталости и замерзания. Но мы искали. Я разослал самых энергичных своих молодых друзей в разные стороны. Долго ничего не удавалось, но наконец, поручик Л. явился с радостной вестью, что квартира найдена.

* * *

Удивительно, как люди нелепо эгоистичны. В хатке было трое. Они заявили, что никого не могут выпустить, потому что их собственно не трое, а пятнадцать. На это изведенный поручик Л. сказал:

— Я подожду полчаса здесь. И если те двенадцать не придут, то я вас расстреляю...

Это фантастическое заявление имело то следствие, что и эти трое куда-то скрылись. Разумеется, никаких двенадцати не оказалось.

О, род людской!..

* * *

Льду почти столько, сколько хватает глаз. Почти — потому, что на той стороне замерзшего лимана виден город. Это — Аккерман.

По этому льду в одну колонну движется бесконечный обоз. Туда, к Аккерману, к городу спасения, румынскому городу Аккерману, куда не придут большевики. Бесконечный обоз движется в порядке. Задолго до назначенного времени выступили все части, проявив редкую аккуратность.

Теперь они идут осторожно, соблюдая дистанцию, чтобы не провалился лед, почти торжественно. Идут с белыми флагами, которые несут, как знамена.

Печальные знамена... Здесь на льду — часть одесской отрядомании — то, что от нее осталось. Главного отряда, который должен был быть полком, того отряда, где неистово пахло спиртом, «под чьим-то высоким покровительством», — этого нет. Он «не состоялся». Нет и «священного отряда» митрополита Платона. Не видно никаких следов немецких колонистов. Ни Кирсты, ни Струка.

Зато торжественно выступает «Союз Возрождения России», тут же отважное начинание и отряд экс-редактора «Киевлянина» и другие. Кроме того, какие-то отдельные части, прибывшие сюда, артиллерийские парки и дивизионы, без пушек, но с подводами, с сахаром, учреждения, уездная полиция и еще разные. Затем просто гражданские беженцы. Но главным образом ничем не объяснимые подводы... Подводы, очевидно, обладают свойством саморазмножения. Голова обоза уже прошла пять верст, а хвост еще на берегу.

Я смотрю на этот почти величественный «исход», и в ушах у меня неотвязно звучит знакомая фраза:

Das war ein Duap.. *

СТЕССЕЛИАДА

Почему все эти люди и повозки были убеждены, что их примут на той стороне с распростертыми объятиями? Потому, очевидно, что был отдан точный и ясный приказ выступить на лед в восемь часов утра. Но несомненно также и то, что на шестой версте на льду стоял столик. У столика сидели румынские офицеры, за столиком стояли румынские солдаты. И совершенно достоверно, что этот столик приказал всем этим людям и повозкам возвращаться обратно. Румыны не пустили никого.

Впрочем, нет. Пропустили «польских подданных». В числе их оказался комендант города Одессы, полковник Маглевский, очень мило семенивший вдоль обоза в весьма приличном штатском платье и с изящным чемоданчиком в руках.

Впереди всего шествия шли маленькие кадеты. Они начинались с десяти лет. Жалко было смотреть на эту детвору, замерзавшую на льду.

И начался «Анабазис». Великое отступление от Аккермана. Надо, впрочем, сказать, что это торжественное шествие с белыми флагами имело в себе нечто настолько унижительное, что обратный путь был как-то веселее. Остаток гордости, впоследствии вытравленный лишениями, еще таился тогда в некоторых сердцах.

* * *

Совершенно неинтересно, что на другой день было проделано то же самое и с тем же результатом. Кажется, было еще холоднее на льду. Было меньше порядка и больше усталости.

* * *

У полковника Стесселя. Совещание командиров частей. Полковник Стессель говорит:

* Это был побег... (нем.)

— Во-первых, к черту эти повозки... С ними пропадем.
— Совершенно правильно, господин полковник. Оставить только самое необходимое,— говорит один из командиров частей.

— Да ведь у нас, господин полковник, ничего нет. Пусть и другие бросят,— говорит другой.

— Все бросим,— продолжает Стессель.— Это, во-первых. Во-вторых, переформироваться. Довольно балагана. Отряды называются... На самом деле роты нет. Согласны, господа? Вот вы — первая рота, вы — вторая...

Все согласны.

— Затем, вот мой план: пробиться. Раз румыны не пускают, надо пробиваться на север, вернее, на северо-запад, вдоль Днестра... на соединение с Бредовым, а если нет,— в Польшу. Я уверен, что если захотим, то пройдем. Вы согласны, господа?

Мы согласны.

Нам даются сутки на приведение себя в порядок, главным образом на уничтожение подвод.

Легче всего это было сделать моему отряду. У нас была одна подвода, которая, несмотря на все наши усилия, не размножалась.

* * *

Рассвет. На пригорке начальник штаба Мамонтов. Делает как бы смотр в том смысле, сколько изничтожили подвод.

Я остановился около Мамонтова.

Печально. Эти подводы бессмертны. На мой взгляд число их не уменьшилось, а увеличилось. Бесконечной цепью они продвигаются в полутемноте. Ни конца им ни края. Между ними редко, редко проходит часть. Жалкие горсточки. А за ними все то же.

Так было, так будет.

* * *

Солнце заходит. Шли целый день. В общем благополучно. Откуда-то издалека большевики обстреляли из трехдюймовых, но обошлось без потерь.

Пора отдохнуть. Удивительно, как держатся все эти женщины, дети, которых много. Они не теряют даже хорошего расположения духа. А маленькая Оля даже совсем

нарядна. Детское лицо остается свежим среди осунувшихся взрослых и веселит глаз. Но страшно смотреть на ротмистра Ч. Он только что встал с постели после сыпного тифа. Идет, пошатываясь то вправо, то влево, но твердо держит свою кавалерийскую саблю. Глаза опущены, на изможденном лице какая-то внутренняя сосредоточенность, как будто бы он решает трудную задачу. Он идет напряжением воли. Другой бы не смог идти.

* * *

Немецкая колония. Какие они характерные, тоску наводящие необычайной одинаковостью всех домов. Богатые дома, каменные, массивные, с явным отпечатком вековой традиции. Если бы наши крестьяне так жили! Но, боже мой,— отчего от них такая скука?

Вздор, сентиментализм. Остатки вековой потребности «садоочка, ставочка, вишенки»...

Ой сказала мени маты, тай приказывала...
Штоб я хлопив до садоочку не приваживала...

Тут этого не услышишь.

* * *

Ночь. Опять идем. Темно. Впереди идет какой-то автомобиль с прожектором, который часто останавливается, берет куда-то вбок, что-то ищет. Эти его похождения в темноте, с этим бродящим лучом, вызывают какое-то жуткое чувство. Что ему надо? Чего он бродит? Когда он останавливается,— вся колонна останавливается. Усталость уже очень большая. Как только станут, люди ложатся там, где стоят. Прямо на дорогу. Я помешаю наших дам между двумя ротами, ставшими после «переформирования», слава богу, взводами. Если нам трудно, то каково им? Но они держатся. Ложатся на дорогу, как и мы, тотчас же засыпая. Я временами отыскиваю глазами белый полушубок ротмистра Ч. Боюсь, что он не встанет.

Чудовище там впереди заревело, поводило своим страшным взглядом и пошло.

— Встать! Шагом марш...

И все поднимаются. Мальчишки, женщины, дети.

Каша. Оboзы стоят. Образовалась какая-то толпа. Она всего гуще у высокого, тонкого здания, которое неясным черным пальцем торчит в небе. Это водокачка, которая снабжает водой Одессу.

Что такое происходит?

Пролезаю между перепутавшимися возами, переступая через спящих вповалку людей. Я пробиваюсь к митингу, что около башни.

Нет, это не митинг, это толпа, окружающая и жадно прислушивающаяся к «совещанию» генералов и полковников.

Прижавшись к стенке башни, при свете какого-то огарка, они рассматривают карту.

Что произошло?

Прислушавшись, я понимаю следующее. Впереди деревня, где засели большевики. Надо их выбить. Часть совещающихся за то, чтобы выбить. Но генерал Васильев¹⁵, командующий всей колонной, не решается. Кто-то возражает, по-видимому, после чего генерал Васильев впадает в обиду и хочет совершить отречение.

— Если я, быть может, не умею руководить или не угоден, то могу отказаться. И прошу выбрать вместо меня начальника.

Его убеждают, что, наоборот, он очень хорош.

К такому поучительному разговору жадно прислушивается окружающая толпа. Обычная картина. Уступательные книксены там, где надо взять на себя ответственность и приказывать. Наконец принимают решение.

Двигаться куда-то без дорог, прямо через поля, по компасу, чтобы обойти деревню.

Печальная мысль.

Расходятся. Оboзы начинают распутываться и устремляются двумя параллельными колоннами в поля, покрытые снегом.

Рассвет. Привал. Ясно, что мы сбились с направления. Какие-то обещанные хутора, которые должны были быть недалеко от башни, словно заколдованные. Шли всю ночь — никуда не пришли. Бесконечная белая степь. Все изнемогли.

Наша семья собралась вместе. Лежим на снегу. Нас тут восемь человек родственников. Сильно устали. Мучает жажда, кроме голода. В виде лакомства преподносят друг другу кусочки чистого снега. Лица очень осунулись. У Ляли

начинают становиться глаза страдающей газели. У него опять припадок малярии, хотя его и пичкают хиной. Но в общем держится.

Добрались до каких-то хуторов. Домик. Боже, какая теснота. Ни сесть ни стать. Но хоть тепло. Среди этой «бисовой тесноты» Ната, мать Оли, самоотверженно печет какие-то оладьи. Голодные люди смотрят на них жадными глазами и получают по мере того, как они жариваются. Смрад дикий. Но хоть малый отдых.

Впрочем, не все отдыхают. Часть послали в сторожевое охранение, ибо где-то поблизости большевики.

Иду в штаб, к полковнику Стесселю. Он спит, совершенно выбившийся из сил. Я рад, что Раиса Васильевна Стессель приютила Олю. Она уютно примостилась где-то в уголочке, кажется, ее тут немножко подкармливают. Удивительно, что дети выносят эти невзгоды легче, чем взрослые.

За окном полупомешанный есаул А. стреляет из револьвера кур. Он сегодня расстрелял какого-то старика. За что про что — неизвестно. Так, потому что азиатские руки чешутся убивать. Если есть — убивают стариков. Если нет — бивают кур.

Узнаю, что отдых будет короткий. Ночью опять пойдем.

Опять ночь. Опять поход. Как мы держимся? Идем уже двое суток. Ели что-то неуловимое.

Двигаемся все-таки. Все та же картина. На остановках люди ложатся в снег и моментально засыпают. Холодно. Но в этих суровых скитаниях проявляется характер. Твердо держатся несколько офицеров, на которых все это не производит влияния. Конечно, им холодно и они устали, но это не отражается на их расположении. Алеша Т. все так же жизнерадостен и так же мил. Я назначил его командиром роты. Его звонкий молодой голос иногда приятно звучит в темноте.

Владимир Германович непоколебим. Надо сказать, что он и был настоящей душой и создателем нашего отряда. Человек, полный неукротимой энергии, он променял свою муниципальную деятельность на газетную и почти создал четыре газеты — «Голос Киева» и три «России» — екатери-

нодарскую, одесскую и курскую. Теперь же, после сдачи Киева, он променял перо на винтовку и вот, имея полсотни лет за плечами, бродит по дорогам. Но его не сломишь. Он все так же оптимистично настроен, он в восторге от нашего отряда. И действительно, эти мальчишки хорошо держатся: ни жалоб, ни недовольства... И Вл. Г. находит, что все к лучшему. Правда, все его немножко ругают, потому что хотят есть, а он обязан кормить, а кормить трудно...

Ляля больше сгорбился и сильнее тянет свои декадентские ноги. Но по-прежнему внезапно начинает хохотать без всякой причины, и так заразительно, что все хохочут кругом. Алеша называет его за это *plusquamperfectum*. Это потому, что он вспоминает вдруг что-то смешное, что случилось бог знает когда, и закатывается без всякого предупреждения.

Я чувствую твердую опору в поручике Л. Он самую малость сноб. В сущности говоря, ему гораздо более нравится следующее: взять ванну, сесть за стол, накрытый чистой скатертью; выпив кофе, он покурил бы и написал бы небольшую статью; потом бы сел за рояль и сыграл *valse triste** Сибелиуса.

Но за неимением всего этого, он сохраняет только неизменную любезность ко всем и ласковость к некоторым. И этим держится. Это защитный цвет своего рода, выработанный «драпом».

«Кошмарическая» корчма. Я не знаю, сколько сот людей в нее втиснулось. Часа два провели мы в ней, засыпая сидя, стоя, кто как может. Состояние полубессознательное. Но после ледяного холода на дороге — это блаженство. Курят до сумасшествия. Дышать нечем. Тем скорее впадаешь в летаргию. По привычке окидываешь взглядом — все ли тут, не пропал ли кто-нибудь. И погружаешься в небытие.

Приказывают выйти. Никто не двигается. Вторично и в третий раз приказывают, но ничего не помогает. Наконец, угрожают, что все уже прошли и ушли, обоз уже черт знает где. Начинают выползать. Надо идти.

Опять день, опять солнце, опять идем. Многие слабеют. Жена упорно держится, но я вижу, что приходит конец ее

* грустный вальс (фр.).

силам. Я отвожу ее в сторону, помогаю ей переобуть израненные ноги. Ужасно жалко смотреть, как она надевает эти мужские казенные башмаки, которые подарил ей какой-то из наших гимназистов. Переобувшись, она упрямится еще некоторое время и потом соглашается сделать то, что надо было сделать с самого начала. Я устраиваю ее на какую-то подводу.

Снова идем. Бесконечная степь, бесконечный обоз. Когда же мы наконец остановимся? Надо хоть где-нибудь хоть что-нибудь съесть и отдохнуть несколько часов.

Ну вот, кажется, какое-то село — немецкая колония. Обоз втянулся. По-видимому, здесь будет отдых. Я иду селом, разыскиваю своих, от которых отстал. Большое село, массивные немецкие дома с треугольными фасадами. Тут, наверное, масса белого хлеба. И наверное, можно что-нибудь сварить. И наверное, наши отыскали уже хорошее, теплое, просторное помещение. Квартирьером послан поручик Л., который немножко любит комфорт. Как знать — может быть, в какой-нибудь культурной немецкой семье отыщется и рояль. Тогда будет и *valse triste* Сибелиуса.

Так-так-так-так-так-так-так-так... вот тебе и вальс Сибелиуса!..

Кто-то «занимается» по нас пулеметом — вдоль улицы. Неужели большевики в конце села? Я не успел сообразить этого, как шрапнель разорвалась над домом, где помещился штаб. В ту же минуту высыпали оттуда и стали кричать, сзывать всех, кто под рукой. Я бросился через какие-то ворота в поле. Со мной несколько человек, в том числе Алеша. С других сторон тоже бежали люди. Сейчас же на огородах образовалась беспорядочная цепь. Это было нечто скифское. Все вопили, стреляли куда-то в пространство. Никаких организованных звеньев не было. Вообще, ничего не было. Ни командиров, ни подчиненных. Все командовали, т. е. все вопили и в общем стихийно двигались вперед. Кажется, нас обстреливали, даже наверное. Несколько пулеметов трещало. Но это не производило никакого впечатления. Бежали, останавливались. Ложились, опять бежали. Наконец, отошли довольно далеко от деревни. Кто-то и к нам притащил пулемет. В это время я увидел Лялю. Он был правее меня, видимо, в большом одушевлении. Османлиская папаха, худой сгорбленный, волочащийся ноги. Скоро мы оказались рядом. Я почувствовал, что он в каком-то особом состоянии. На его лице, всегда немножко напоминавшем девочку, выражение какого-то забавного

фанфаронства. В это время неприятельский пулемет нас нащупывает. Все ложатся. Но Ляля набит «традициями» Он торчит османлиской кривулькой во весь рост и думает, что это совершенно необходимо. Я приказываю ему лечь, что он исполняет с видом «если вам угодно, то пожалуйста».

С нашей стороны беспорядочная пальба не прекращается. Но она достигает апогея, когда появляется большевистская кавалерия на горизонте. Некоторые теряют головы. Престарелые полковники командуют:

— Пришел три тысячи!.. По наступающей кавалерии!..

И дают залпы на три тысячи шагов. По наступающей кавалерии, которая вовсе не наступает, по-моему, а движется шагом. Я понимаю, что это бессмыслица, у нас мало патронов, но ничего не могу сделать в этом дьявольском шуме,— голоса не хватает. Подзываю Алешу, приказываю ему взять командование над ближайшими, прекратить пальбу и сохранить патроны на случай действительной атаки кавалерии. Его металлический голос начинает звенеть в этом смысле. Кто-то протестует, возмущается, кричит, что кавалерия нас обходит.

Обходящая кавалерия на самом деле оказывается нашей кавалерией. Она выезжает справа, имея, по-видимому, желание атаковать неприятельскую. Но почему-то это не происходит. В это время за нашими спинами начинают работать наши орудия. Неприятельская кавалерия явственно отходит, вытягивается гуськом на дороге вдоль фронта. Удачная шрапнель заставляет их прибавить ходу. Они уходят вскачь.

Мы победили. В это время справа что-то происходит Там начинают кричать ура, и потом это ура перекачивается по всем цепям, доходит до нас, мы тоже кричим ура и перебрасываем его следующим цепям влево. Затем приходит и объяснение. Начальник штаба объявил, что мы вошли в соприкосновение с войсками ген. Бредова. Хотя войска генерала Бредова были в это время не ближе ста верст, но все этому поверили.

Итак, победа. Но, боже, как хочется есть... В это время появляется спаситель — поручик Л., нагруженный белым, вкусным, чудным хлебом.

И все это повторилось снова. Через два часа большевики опять напали на нас. И мы снова защищались. Те же

цепи, те же крики, тот же беспорядок. Но на этот раз было хуже. Сильно крыли гранатами. Сверкнет ярким желтым пламенем, а затем густой взрыв дыма. Граната имеет в себе что-то оперное. Так проваливается Мефистофель сквозь землю. Пулеметы хуже. Когда они начинают навистывать в воздухе свой узор, тогда гораздо опаснее. Знаешь, что они могут сейчас же вычертить кровавую надпись по земле, т. е. по нас.

Трепещущую песню поет пулемет
И строчки кровавые пишет;
Кто грамоту смерти нежданно прочтет —
Тот песни уж больше не слышит...

Я накричал на Димку, чтобы он не поднимал головы, когда «строчки кровавые пишут». Моя группа, т. е. те, кто меня слушались, была налево от меня. На том конце был поручик Л. Я помню его внимательное лицо, часто поворачивающееся ко мне. Он делал то же, что и я, и тогда я почувствовал, что «ячейка» взята в невод и повинуется. Рядом со мной был Димка. На него гранаты как будто производили впечатление своим шумом, но опасности пулеметов он не понимал. Он перебежал за мной, держа в руках мой карабин, от которого я рад был избавиться,— терпеть не могу этих вещей в бою. За ним в штатском пальто и в барашковой шапке перебежала маленькая, худенькая фигурка. Это отец Оли, мирный податной инспектор.

Как странно... Когда мы были мальчиками, мы были очень близки. Затем долгие годы шли врозь. И вот пришлось на старости лет плечо о плечо перебежать под гранатами.

Дальше Владимир Германович, тоже в штатском. Перебегает с винтовкой в руках, ложится и опять перебегает. Думали ли когда-нибудь мирные киевляне, избравшие его городским гласным, что, вместо мостовых и канализаций, он будет изучать преимущества гранат перед пулеметами...

Перебегая, мы сближались с цепями противника. Впереди меня был домик, брошенная хижина. Я знал, что надо добраться туда. Несколько перебежек, и мы с Димкой под защитой. Тут удобно. Он заряжает мне карабин, а я из-за угла дома «беру на мушку». Цепи сблизились шагов на двести. Но чувствуется, что мы не сдадим. Я выпустил несколько обойм, когда они побежали. Мы скифски их преследовали, вопили, размахивали винтовками. Они поспешно отходили по почерневшим полям — снег стоял в этот день.

Штаб. Совещание. Дело плохо. Противника отогнали, но патронов нет. Пальба на три тысячи шагов залпами сказала... Броневики «Россия», на котором наше единственное орудие, надо бросить — нет бензина. В сущности мы безоружны. Идем вот уже несколько суток без отдыха, почти без пищи.

Решено пробиваться еще раз в Румынию хотя бы силой. В значительной мере этот результат есть следствие роковой ошибки под водокачкой. Сколько мы потеряли времени и сил, шатаясь где-то по компасу без дорог. Быть может, если бы этого не было, мы бы успели уже пробиться...

Но где же все наши? Иду искать. Уже ночь. Улица невозможно черна. Несколько раз натыкаюсь на умирающую лошадь. Она тут валяется с утра. Кричим в темноту. Спрашиваем встречных. Хоть бы съесть что-нибудь... вот, кажется, свет в доме. Зашли. Неужели покормят? Да, собираются дать что-то...

* * *

Нашли своих. Собрались с разных концов. Но Ляли нет. Алеша ранен. Поручик Р. убит. Еще несколько человек ранены в нашем отряде; остальные, слава богу, целы. Вообще же потери в этом бою насчитывают около четырехсот человек.

Из штаба приходит приказание бросить все вещи. В маленькой хате битком набито. Кошмар. Кто спит, обессиленный до конца, кто хлебает какой-то чай. У кого есть, перерывают чемоданы, отыскивая, что можно взять в руки. У большинства ничего нет. Это гораздо спокойнее.

Приходит полковник А. и сообщает зловещую новость. Открыт какой-то заговор. Хотят убить полковника Стесселя и на его место поставить какого-то другого полковника. Выступить через полчаса.

Но где Ляля?...

* * *

Захожу в каждую хату.

— Здесь юнкер такой-то?

И всюду один ответ после некоторого молчания:

— Такого нет...

И холодная рука тревоги сжимает сердце...

* * *

Вышли. Очень темно. Спускаемся куда-то вниз, очевидно к реке. Вдруг мысль: «Да, мне сказали, что Алешу и других раненых вывезли. Но ведь это всегда говорят. А вывезли ли?»

Выскальзываю из дружеских рук, убеждающих, что вывезли. Возвращаюсь. Но очень устал. В темноте попадаетея верховой. Прицепляюсь к его стремени. Он тащит меня в горку, что уж значительное облегчение. Ищу долго, безуспешно, отчаиваясь и опять надеясь, и окончательно прихожу в отчаяние. Не могу найти. В деревне как будто и нет никого. Очевидно, все ушли. Ухожу и я.

На душе так скверно, как только может быть...

* * *

Ужасная ночь. Силы на исходе. Слава богу, удалось пристроить на подводу женщин, детей и ослабевших. Я еще иду. Я не особенно понимаю, как я это делаю. Все горы и горы. Я все иду по обочине дороги. Я ясно понимаю, что все меня обгоняют. Но, в конце концов, я оказываюсь впереди всех. Почему? Они останавливаются, а я нет. Они лежат на снегу каждый раз, когда обоз станет, а я боюсь лечь. Мне кажется, что я не встану. Минутами снег озаряется каким-то зеленоватым светом. Мне кажется, что всходит луна. Но скоро я понимаю, что нет луны, а что это мгновениями я впадаю в забытье на ходу и мне мерещится этот свет. Вот, наконец, голова обоза. Перекресток. Стали. Куда идти? Тут надо лечь. Это что? Экипаж, тесно окруженный кучкой людей, держащихся за крылья. На козлах полковник в лохматой шапке. Кто-то говорит:

— Это раненую сестру везут...

А я слышу, как из глубины экипажа знакомый бас ругается:

— Куда вас черт несет?.. Рессоры поломаете!..

Я понимаю, в чем дело. Это близкие к полковнику Стесселю офицеры охраняют его по случаю «заговора»...

А он страшно зол на все это и потому ругается.

* * *

Рассвет. Какая-то деревня. Здесь краткий отдых. Ищу, куда приткнуться со своими. Очень трудно. Все переполне-

но. С величайшим трудом что-то нахожу и прячу полузамерзших в хату. На перекрестке сталкиваюсь вдруг с поручиком Л.

— Я привез Алешу...

Слава богу. Он таки нашел его. Когда он узнал, что я ушел тогда за Алешей, он пошел за мной. Меня он не нашел, но он нашел Алешу, которого я не мог разыскать. И все было так, как это бывает... Меня уверяли, что «вывезли всех раненых»... Этому никогда не надо верить. И Алешу не вывезли... Он лежал вместе с другими ранеными в какой-то хате на самом краю села. Вокруг них беспомощно метался врач. Все ушли — что делать? Сами раненые не знали, что деревня оставлена... Три сестры, совершенно выбившиеся из сил, спали. Вот как было...

Поручику Л. удалось вместе с врачом где-то добыть несколько подвод. Они ловили брошенных бродячих лошадей, запрягали... С величайшим трудом вывезли эту хату.

Вывезли и Алешу...

Вот он.

Подвода — на ней двое... Алеша и какой-то другой. Алеша — желтый — стонет. Другой не шевелится. Неужели?..

Да, умер...

Надо снять, прежде всего, этого незнакомого мертвеца... Похоронить? Но как?

Нет, просто положим в садике. Похоронят, может быть, добрые люди.

— Алеша, больно вам?

— Больно... Это вы?.. Спасибо... Больно... Холодно... Холодно...

Надо внести его в хату. Согреть и перевязать. И потом... мы переложим его на рессорную площадку — у нас есть. А главное — доктор... быть может, нужна операция немедленно.

Разыскиваю доктора. Спрашиваю, прошу...

— Да я рад все сделать... Конечно, нужно операцию... и немедленно. У него контузия в спинной хребет. Но главное сейчас не это. Осколок в легком... Надо удалить немедленно. Но инструменты? Нет инструментов... Надо вынуть два ребра... Как без инструментов?.. Что я сделаю!

Вот где ужас...

Переносим Алешу. Трудно. Ему все так больно. А мы ослабели до такой степени, что падаем и сами. Сквозь кадку так трудно пронести.

Внесли. Хата полным-полна. Все так замерзли и устали. Куда его положить, беднягу? На скамейку?

— Ах больно... Пожалуйста, не надо... на пол лучше.. Василий Витальевич... спасибо... Вам тяжело... не беспокойтесь... ах, больно... так... да... хорошо... спасибо...

Перевязывают. Кругом стеснились. Маленькие хозяйские дети смотрят со страхом и любопытством. Сестра делает свое дело внимательно, несмотря на предел утомления

Сделано. Чаю теперь — хоть полстакана. Выпил. Ему легче немножко. Согрелся... перестал стонать... благодарит...

Да он все такой же... лицо у него желтое... он очень плох Но благодарит. Все так же внимателен и ласковотверд как раньше, как всегда, как тогда в походе... Как часто он вел меня, когда по «старчеству» своему я изнемогал Он не такой, как почти все. Это у него не внешнее, а в крови. Вот он умирает. И все тот же. Он, значит... настоящий такой... это его настоящая природа. Он никогда себе не изменит... никогда... Да и когда уже? Уже - некогда...

Кругом стоят, сидят, лежат. Как все страшно устали. Засыпают сейчас же... Хоть на мгновение.

Почему я держусь? Не знаю: что-то меня держит изнутри.

Но где же Ляля? Убит? Где-то брошен раненый, как Алеша? Мать плачет тихонько, засыпает, опять плачет... Нет, я не верю. Найдется...

Но надо двигаться. Бедный Алеша, опять его надо мучить.

Переносим. Уложили на площадку, укрыли тепло... Здесь все же будет ему легче.

- Спасибо, Василий Витальевич... спасибо, Вовка...

Неужели нельзя его спасти? Лицо все так же красиво, и выразительны правильные губы. Брови только свелись над закрытыми глазами. Но эта желтизна... восковое лицо.

Нет инструментов... из-за этого надо, чтобы он умер.

--- Ляля!...

Да это "был он. Худой, сторбленный,-декадентская кривулька больше, чем когда-либо, но все с той же заражающей детской улыбкой.

— Где же ты был?.., глупый!.. Отчего не нашел меня? Дайте ему что-нибудь... ел?

— Ел... Ах, очень интересно!.. Знаешь, полковник Н.—

симпатичнейший человек! и, кроме того, он — мой личный друг!..

— Уже?., говори по порядку!

Рассказывает. Он был вместе с Алешей сначала. Там было тяжело. Когда Алешу ранили гранатой, он бросился к нему. Сначала думал, что убило; лицо было в крови; он был в беспамятстве. Потом пришел в себя.

— И он, когда пришел в себя, увидел меня, сказал: «Ляля, передайте Василию Витальевичу... что я умираю за Россию»... И потом дал мне портрет... один... Еще сказал... чтобы я передал и чтобы... Словом... он завещал мне... нам... Это «боевое завещание», правда?..

Да, это было «боевое завещание»... И это завещание... В жизни больше мистического, чем думают... Но это потом... Ляля рассказывает дальше:

— Потом я его относил...

— Куда?

— В деревню... Я очень беспокоился, где ты и Дима. Но нельзя было искать... Я опять вернулся...

— Куда?

— В цепь... Но уже никого не было из наших... Я попал в «Союз Возрождения». Там был один полковник... очень симпатичный... он мой личный друг.

— Где же вы были?..

— Там, в этой другой деревне... Мы их далеко загнали. Наконец, ночь уже... Знаешь, я там заснул... очень хорошо... два часа... и поел... Они были в том конце деревни, а мы в этом...

— Когда же вы вышли?

— Мы — поздно... Позже всех... только что пришли...

— Я так боялся, где ты...

Итак, он жив, Ляля... На этот раз...

Но в следующий?..

* * *

Есть хочется до нестерпимости. Отчего ничего нельзя достать? Денег не берут. Мы с Владимиром Германовичем шарим по избам и, наконец, находим несколько фунтов кукурузной муки. Баба уступает ее за чашку какую-то, что нашлась у меня. Насыпаем в ладошку, и такая «поношка» уже блаженство. В сущности говоря, человек может есть удивительно мало. И все же днем легче.

И опять идем. Бесконечно идем. Даже непонятно, откуда

берутся силы. Ведь вот ночью я шел почти в полубессознательном состоянии, а сейчас иду почти бодрый. Впрочем, так много значит, что Алешу не бросили и Ляля нашелся.

* * *

Плавни. Что такое плавни? Это вот что. Очень много камыша, лозы и достаточно старых верб. Между этими растениями большие лужайки из льда. На этих лужайках мы.

Кто это мы? Собственно говоря, это движется колонна под командой генерала Васильева. У него помощник — еще какой-то генерал. Генералу Васильеву подчинены наш отряд, т. е. полковника Стесселя. «Союз Возрождения» и еще что-то. Отряд Стесселя состоит из превращенных в роты отрядов полковника Н., полковника Л., полковника А., т. е. моего, гвардейских сапер и еще чего-то. А в общем — одни обозы.

В этих плавнях мы чего-то ждем. Ждем долго. Развлечение состоит в том, что вода временами проступает сквозь лед и делает озера. Тогда приходится перебираться поближе к вербам.

Алеша лежит тихо. Но лицо его сильно пожелтело и становится восковым. Неужели он умрет? Я иногда подхожу и говорю с ним несколько слов. Он отвечает, как всегда, т. е. совсем не как всегда, потому что он умирает, но я ясно чувствую, что его сущность душа его — та же.

Приходит приказание бросить все подводы. Мы готовы ко всему, но как же быть с Алешей? Я приказываю делать носилки. От нашей платформы отпиливают оглобли и делают носилки из брезента. И это была ошибка. Конечно, надо исполнять приказания, но иногда, когда поторопишься...

Двинулись. Тропиночками, сквозь камыши выходят на Днестр. Алешу несут на носилках и выбиваются из сил. За чем я приказал отпилить эти оглобли! Это приказание бросить подводы было исполнено немногими. Обозы движутся и, хотя с трудом, соскальзывают по обрывистым берегам на лед реки.

* * *

Итак, мы в Румынии, т. е. в Бессарабии. Перешли лед беспрепятственно. Румынской охраны нет, или она ушла. Все какие-то сады, совершенно пустынные. В садах летние брошенные шалаши. Движемся, вышли на какую-то лужайку.

Что такое? Неужели по нас?!

Да, по-видимому. Пулеметы высвистывают мелодии над нашими головами, и пули начинают цокать в землю. Укрываемся в ложбине. Удивительно, что дамы совсем не боятся.

Очевидно, эти румыны таким способом заявляют нам: «Не ходите дальше». Мы и не идем. Люди разбились по садам, пережидают. Обозы тоже где-то стали.

Я иду на разведку, т. е. по дороге, которая, по-видимому, идет в деревню. А деревня эта, очевидно, у подножия этих обрывистых гор, с которых нас и поливают из пулеметов. Меня нагоняет экипаж полковника Стесселя. Он приглашает меня сесть... Раиса Васильевна говорит мне несколько любезных слов. Мы едем для переговоров с румынами.

* * *

Домик в деревне. Румынские офицеры, с одной стороны, с другой — генерал Васильев, Стессель и еще кто-то...

Генерал Васильев говорит переводчику:

— Скажите им, что мы совершенно замерзли и умираем от голода... Что мы безоружны, потому что у нас нет патронов... Что мы просим оказать нам приют, ибо мы погибаем... И что я заявляю им, что если мы не будем приняты, то мне ничего больше не остается, как застрелиться тут же...

Румынские офицеры что-то отвечают. Это продолжается долго. Мы говорим жалкие слова, румыны отказывают, но, в конце концов, как будто соглашаются на то, чтобы мы заняли нижнюю часть деревни до утра. Иду к своим. Уже в совершенной темноте привожу их в деревню, отыскиваем какие-то хатки...

* * *

Крохотная молдавская хатка. Человек тридцать. Умиравшего Алешу устроили, как могли. Остальные вповалку. Почти все спят. Но хозяйка готовят у круглого низенького столика мамалыгу для нас. Когда это готово, я бужу всех, кого могу разбудить. Лялю и Димку добудился. Хочу поднять Олю. Спит так глубоко, что нет возможности. Я подымаю ее за руки, ставлю в вертикальное положение и трясу, что есть силы. Но бедная девочка не просыпается. Я выпускаю ее, и она бесчувственным телом сваливается на солому. Это сильнее всякого хлороформа.

Ужинаем при каганце. Мамалыга, кислые огурцы... Су-масшедшая роскошь..

Что сделать для Алеши? Ничего нельзя сделать. Он умирает оттого, что у него осколок гранаты в легких. Надо немедленно сделать операцию, причем придется вынимать два ребра. А эту операцию нельзя сделать, потому что нет инструментов. Завтра будем упрашивать румын отвезти его в соседнее местечко, где есть больница. Но доживет ли он до утра?

Все уже спят. Многих так и не добудились. Хозяева сбились все на кровать. Там старуха, молодые женщины, дети... Весь пол густо, густо уложен телами. Алеша на скамье. Мы устроили его на подушках, как могли. Моя жена легла около него на полу. Она спит чутко, чтобы помочь... Хата чуть освещена каганцом...

Я укладываюсь рядом с сыновьями. Усталость сильнее всего... Засыпаю — проваливаюсь в пропасть...

Но ненадолго... Алеша стонет... И просит воздуха. В хате действительно душно так, что и здоровым нечем дышать...

Я говорю, чтобы отворили дверь.

Струя свежего воздуха входит в эту юдоль земную...

— Ах, хорошо... хорошо... так вот... спасибо... хорошо...

Но и здесь, даже здесь, неизбежна «разность интересов». Умиравшему Алеше нужна эта струя кислорода, а живым, и в особенности тем, что около дверей, она, эта струя холода, мучительна и опасна. Они ропшут...

Они тоже правы... Я лавирую между ними... Когда Алеша начинает просить и задыхаться, я приказываю отворить дверь... И он тогда говорит порывисто, убежденно, благодарно:

— Ах, хорошо... хорошо... спасибо....

Через несколько минут я тихонько передаю, чтобы дверь затворили...

Наконец, один раз открыто заворчали. Я рассердился и повторил, чтобы открыли...

Тогда откуда-то из груди лежащих раздался голос:

— Что ж, Василий Витальевич, ведь он... уходит... а мы остаемся...

Жестокие слова!.. К счастью, Алеша их не слышал... Он минутами забывается. Я сказал жене, чтобы она перешла на мое место, и лег около Алеши...

Он иногда просит воды... Чаше воздуху... Иногда я пере-кладываю его...

— Спасибо, Василий Витальевич... Спасибо... Ах, больно, больно. Вот так... да, так... спасибо... вам тяжело?.., не беспокойтесь... да, да... спасибо...

Минутами он забывается. Но остальное время в сознании...

— Мне надо операцию... операцию... я знаю... надо сделать...

— Сделаем... вот только придет утро — сейчас отвезем вас, Алеша, в соседнюю деревню... Там есть больница... хирурги...

— Разрешат?.. румыны... разрешат?..

— Конечно, разрешат... Они уже говорили.

Вдруг он делает такое движение, что я понимаю: он хочет мне сказать так, чтобы никто не слышал.

— Василий Витальевич... правду... скажите только правду... я ранен в спину... в позвоночник... если я буду калеккой... не буду ходить... не хочу жить... не хочу... дайте мне револьвер... умоляю вас... я знаю, вы мне скажете правду... я вам верю... только правду!

Бедняжка, я знаю, о чем он думает...

— Слушайте, Алеша... Я вам скажу, как есть... Если бы" вы были ранены в позвоночник, это было бы так... но вы не ранены — вы контужены... от этого вылечиваются почти всегда... электричеством... это в этих случаях удивительно действует... это — пустяки, об этом не думайте... это обойдется...

— Ну, хорошо... спасибо... Только душно мне... Кислорода бы мне... Василий Витальевич... подушку бы, если бы с кислородом подушку...

Я чувствую, как сквозь эту мертвящую усталость, которая туманом покрыла всю мою восприимчивость, все-таки пробивается какое-то отчаяние... Господи, ну как ему помочь!..

Он затихает... Кажется, уснул... Слава богу... меньше страданий... я тоже не могу... прилягу...

Я заснул, может быть, на несколько минут... И вдруг проснулся сразу... вскочил...

Прямо против меня на кровати сидела старуха... она кивала мне и рукой указывала на Алешу...

Он умирал... Началась агония... Он хрипел... Кто-то проснулся, что-то сказал... Старуха замахала на него руками, чтобы было тихо...

Я стоял на коленях около Алеши... Это было недолго... Несколько минут, и он затих... Я закрыл ему глаза... -

Потом прочитал молитву, какую вспомнил... Все спали... Только старуха сидела на кровати и смотрела на нас... Окончив молитву, я тотчас же заснул... Я ему больше был не нужен... Я спал крепко, до самого утра...

* * *

Так умер Алеша... Он был... белый...

* * *

Ровно в 8 часов утра румыны начали обстреливать деревню из пулеметов: это чтоб мы ушли...

Пули цокали по заборам и стенам. Я приказал пойти за водой и больше не выходить из хаты... а сам пошел в штаб. Штаб помещался в домике, выходящем в большой пустырь. На улице никого не было — попрятались... Но у конца улицы, под забором, залегло много нашего народа. Я спросил, что это такое. Мне объяснили, что это вновь сформированный отряд какого-то полковника. Этот самый полковник хотел запретить идти мне через пустырь; румыны, мол, обстреливают «нарочно», кто показывает-ся...

— На нас навлечете..

Удивительно, почему во всех самых трагических случаях жизни бывают такие глупости. Ну, какое же решение вопроса лежать под забором в то время, как румыны стреляют именно для того, чтобы мы ушли...

Я объяснил ему, что иду в штаб по приказанию полковника Стесселя. Он отстал.

Никто, конечно, меня не обстреливал «нарочно». Стреляли вообще по деревне. Были уже раненые и убитые. Надо было принять решение.

У Стесселя были все «начальники частей»... Накануне еще мы собирались у него и почему-то (хорошенько не помню почему) «выбрали» его своим начальником... Нет, вспомнил, вот почему: общий начальник генерал Васильев был задержан румынами, и тогда отряды «Союза Возрождения», полковника Стесселя и другие решили действовать отдельно, каждый на свой страх и риск. Тут-то Стессель и захотел «проверить свои полномочия»... Мы, значит, вновь ему присягнули...

Стессель приказал: бросить все здесь — больных, раненых, стариков, по возможности женщин, все обозы — и вый-

ти с одними винтовками только тем, кто готов на все... Собраться к десяти часам к штабу... В десять часов румыны обещали начать артиллерийский обстрел, если мы не уйдем. Стессель послал им письмо, что мы уйдем в десять.

С этим я вернулся к своим... Обстрел из пулеметов временно прекратился... Алеша уже лежал в садике под плетнем... В хате пили чай...

В это время подбежали румынские солдаты... Они врывались в хаты и кричали:

— Гайда! На апой!

Это значило: «Вон! Назад!» Они требовали, чтобы все выходили из хат и уходили.

Тут наступило самое тяжелое. Жена, Ната, Оля — эти не могли больше идти... Я знал, что им нужен отдых во что бы то ни стало, и потом... Куда мы идем? Если мы и пробьемся, то ведь только самые железные. Остальные погибнут в дороге — это неминуемо... Их надо оставить здесь: неужели же эти румыны выгонят женщин и детей?

Я стараюсь объяснить румынскому сержанту, что мы уйдем, но что «домны» (дамы) должны остаться... Он понимает меня... Но и слышать не хочет:

— Все, все — гайда! На апой!

Несчастные женщины выходят тоже на улицу. Не понимая ужаса будущего, они рады не расставаться. Румыны бегут дальше по хатам — выгонять. Но к нам набегает новая партия. Я опять к ним:

— Домны должны остаться...

Этот соглашается, но торопит нас — мужчин...

И под этими непрерывными «выгоняющими» криками мы прощаемся. Делим деньги, последние наставления...

— Пробивайтесь в Сербию. Я буду искать вас в Белграде...

— Гайда, на апой! — кричат румыны...

Да подождите, проклятые! Как быть с Димой? Я беру его в сторону...

— Димка, останься с мамой... Она одна...

Я вижу его огорченное побледневшее лицо...

— Тебя убьют... И Лялю...

— Какие глупости!., выкрутимся... Ляля со мной... ты с мамой... ну, прощай...

— Гайда! На апой!

Конечно. Ушли.

* * *

Мы выступили из деревни. В руках вели какого-то вола (провиант) и были очень довольны. Эта деревня, из которой мы уходили, называлась Раскайцы.

* * *

Перешли Днестр. Опять плавни. Остановка. И долгая. Что-то здесь происходит. Почему так уменьшилась наша рота? Где кадеты, которых к нам присоединили? Мне сообщают, будто какие-то большевистские делегаты бродят кругом. Я приказываю выставить посты. Ничего не могу понять. Многих нет...

Неужели?..

Возможно... В той стороне, откуда можно «их» ждать, стоит Ляля на посту... Я не теряю его из глаз, а он меня...

* * *

Приказание двигаться...

Выходим из перелеска, из зарослей, на какие-то заледевшие пустыри. Тут можно определить, что мы такое...

Все-таки нас порядочно. Человек шестьсот. Обозов действительно никаких... Есть только экипаж полковника Стес — селя, несколько конных... У нас есть какая-то несчастная кляча, которую бородатый фельдфебель ведет в руках.

Меня беспокоит Филя... Он от голода съел какую-то мерзлую луковицу, которую он нашел на дороге. Теперь он жалуется... У него нехорошее лицо... посерело, и морщины резко легли вокруг рта... На остановках он лежит на снегу, скорчившись... Что делать, если он не сможет идти?..

Я подзываю бородатого фельдфебеля с клячей... Подсаживаю Филю на клячу без седла... Он обхватывает ее шею руками, голову кладет на гриву... Ноги в городских ботинках и гетрах беспомощно болтаются... Так его везут...

Ляля держится хорошо. Сегодня у него «не малярный» день. Сегодня меня ломает... Мы с ним на переменку. Но у меня легче. И я чувствую, что я ее переупрямлю при помощи... свежего воздуха... голода... бессонницы... и переходов...

Это был сад, занесенный снегом, как полагается в Бесарабии. Отряд полковника Стесселя как-то сбился в кучу... Где-то за деревьями что-то происходит... Какие-то крики... но выстрелов не слышно. Никто ничего хорошенько не понимает, но идут разговоры о том, что кто-то у кого-то взял пулемет. Я чувствую, что-то делается непонятное. Но не могу определить — что. Ясно, что это связано с большевиками. Но отчего нет боя?.. Отчего мы остановились?

Мои сталпливаются поближе ко мне, поглядывают на меня, а я поглядываю на Стесселя. Что это все значит?

Вдруг на лужайке появляются два всадника. Они приближаются, направляясь прямо к нам. Они без оружия. Подъехав, они останавливаются и глазами кого-то ищут.

— Де тут полковник Стесселев?

Стессель ответил своим характерным басом, чуть хриплым, как будто с одышкой.

— Это я. Что вам?

Это были по виду как будто унтер-офицеры, но без погон. Один из них начал так:

— Ну что ж, товарищ полковник... Надо кончать... Зачем вы против нас цепи выслали?... Так шо вы в таком положении, что мы с вами драться не желаем...

— Да кто вы такие?

— Мы те самые, с которыми вы позавчера бой вели... дивизии товарища Котовского... Товарищ Котовский¹⁶ нас прислал, чтобы, значит, кончать...

Тут он повернулся ко всем нам, к толпе.

— Если которые господа офицеры опасаются, что им что будет, то пусть не опасаются. Потому товарищ Котовский не приказал... и вещей отбирать тоже не будут... И ежели при господах офицерах которые дамочки есть, то тоже пусть не опасаются... Ничего им не будет... Приказал товарищ Котовский сказать, чтоб все до нас шли и чтобы не опасались.

В это время кто-то из толпы, кажется, единственная сестра милосердия, которая была с нами, спросила:

— Да кто вы такие?

— Мы? Мы — большевики!

— Так как же, если вы большевики... как же вы обещаете то, другое... а вчера кто убивал?., кто резал?., кто отнимал?

— Мы? Нет, мы не обижали!..

— Как не обижали? Вы же коммунисты?

— Какие мы коммунисты! Мы большевики, а не коммунисты!..¹⁷ Мы с коммунистами сами борьбу ведем... Вот, к примеру сказать, господа офицеры... разве среди вас все хорошие люди?.. Есть которые хорошие, а есть... сами знаете... Так и у нас — коммунисты... Сволочь коммунисты!..

В нашей толпе произошло заметное волнение. Эти слова производили впечатление. Делегаты Котовского, очевидно, это поняли.

— Вот, господа офицеры, тут наш штаб недалеко... И ваш полковник Мамонтов там. Вчера его взяли... Кто к нам — пожалуйста... Всем хорошо будет. Кто хочет к нам на службу — принимаем. А кто не хочет — так себе пусть идет домой... А не желаете, ну тогда — драться будем...

Полковник Стессель, очевидно, в эту минуту принял решение.

— Вот что. Вы себе поезжайте, а мы поговорим... Неудобно нам при вас. А что решим, — сообщим вам...

Те сейчас же согласились:

— Пожалуйста, пожалуйста...

И поехали.

Настала решительная минута. Ко мне подошел поручик Л. и спросил деловым тоном:

— Василий Витальевич! Уже пора стреляться?

Я ответил почти сейчас же, но помню, что в это мгновение я как-то сразу все взвесил или, вернее, взвесил только одно, именно, что большевики нас еще не окружили, что в одну сторону дорога еще свободна. И ответил:

— Надо немного подождать...

В это же мгновение ко мне подошел Владимир Германович.

— Мне кажется, что дальнейшее сопротивление бесполезно... Сделано все возможное; дальнейшее бесплодно...

Я ответил:

— С этой минуты я предоставляю каждому свободный выбор. Сам же я буду держаться Стесселя до конца...

Я подошел к Филе. Сказал ему, что освобождаю его от обязанности следовать за мной ввиду его болезни, советую сдать и пробыть в Одессу. Дал ему денег. Мы простились. Он слез с лошади и лег на снег.

В эту минуту Стессель своим хриплым, задыхающимся басом обратился к толпе:

— Ну, вот что... Я к ним не пойду... Кто со мной, тот за мной!..

И, повернувшись, он пошел по дороге в сторону от большевиков.

Тут произошли быстрые сценки, которых передать нельзя. Очевидно, каждый колебнулся в душе. Полковник А., что-то сказал нашему отряду не особенно определенное. Впрочем, это соответствовало моей инструкции предоставить всем свободу.

Я пошел вслед за Стесселем. За мной пошли несколько человек нашего отряда, в том числе: полковник А. с сыном, поручик Л., мирный податной инспектор, друг моего детства, и Ляля.

* * *

Лужайка в лесу. Мы сидим на снегу кружком.

— Начинается «майнридовщина», — сказал кто-то.

Действительно, мы похожи на какую-то шайку «охотников за черепами» или «искателей следов». Нас всего пятьдесят два человека, в том числе две дамы: Раиса Васильевна Стессель и та сестра милосердия, что разговаривала с большевиками. Это все, что осталось от отряда полковника Стесселя. Остальные сдались большевикам. Впрочем, есть еще две лошади. Полковник Стессель долго упрямялся и не хотел бросить экипаж. Но пришлось бросить, потому что переправа через Днестр была слишком крута. Лошади же в руках сползали по ледяному откосу и теперь служат нам под выюками.

Сейчас мы опять в Румынии. Полковник Стессель решил говорить только шепотом. Чуть темнеет. Все мы голодны, и у всех нас ничего нет. Кое-какие запасы есть только у самого полковника. Его жена делит скудные запасы между всеми: на долю каждого выпадает кусочек сала и понемножку сахара. Хлеба нет. Но и это уже кажется нам блаженством.

Затем полковник Стессель шепчет своим задыхающимся голосом:

— Будем пробиваться... Еще лучше, что нас так мало... Маленьким отрядом легче пройдем. Но вот что... У меня есть деньги... казенные... Что-то... словом, несколько миллионов... Я их больше не могу таскать... Экипаж пришлось бросить. Поэтому сейчас разделю их между вами — поровну.

Началась дележка. Долго мы считали. В конце концов вышло 140 с лишком тысяч на человека — «колокольчиками».

Кончили. Встали. Пошли.

Начиналась «майнридовщина».

* * *

Ночь. Идем лесом, гуськом, след в след, стараясь не шуметь, молча... Кажется, это называется ходить «волчьей тропой». Действительно, наша жизнь становится звериной. Сколько мы будем так бродить, не смея никуда прибиться?

Куда деться? По ту сторону Днестра — большевики, по эту — румыны. План полковника Стесселя, очевидно, — скользнуть между теми и другими, пользуясь плавнями, зарослями и лесами, вдоль Днестра. Но ведь есть-то надо. И отогреться от времени до времени тоже надо. Идти еще можно, но спать в лесу на снегу...

Не выдержим... Мороз уже больше девяти градусов, вероятно.

Неожиданно в лесу в полной темноте натываемся на кого-то. Оказывается, генерал Васильев. Каким образом он пошел сюда, невозможно понять. Он совершенно истощен. У кого-то еще находится, по счастью, кусок сала... Впрочем, не все ли равно... Дни этого человека уже были сочтены...

* * *

Трудный поход. Поминутно приходится перебираться с одного берега на другой. Берега обрывистые, крутые, обледенелые. На этих переправах скоро бросаем лошадей. Невозможно втащить их на ледяную крутизну: они остаются на льду. Последние выюки бросают. Но ординарцы полковника Стесселя навьючивают на себя два узла. У остальных ровно ничего, кроме винтовок. Впрочем, у меня, слава богу, и винтовки нет — обхожусь револьвером.

* * *

Нет, положительно изнемогаем. Как трудно идти ночью через все эти проклятые переправы, канавы, овраги, сады, заборы... Проваливаешься, скользишь, падаешь, снова подымаешься, чтобы снова провалиться...

Мы, шесть человек, держимся рядышком, цепочкой! Все-таки легче, уютнее, когда около тебя — свои.

Ох, эти переправы через Днестр. Когда они кончатся? Раиса Васильевна упала и расшибла висок. Это становится,

в общем, непереносимо. Надо во что бы то ни стало куда-нибудь зайти погреться, отдохнуть. Нет же просто сил...

Сейчас мы на большевистском берегу. Это что такое?

Домик. Кажется — пустой. Надо зайти. Решаемся. Втягиваемся.

Но не успел я еще войти — стоял в сених, набитых людьми, как около дома что-то произошло. Я смутно почувствовал, что нас окружают. Бросился из сеней на двор.

Действительно, это были какие-то люди с винтовками. Они кричали своим:

— Товарищи, в цепь!

Нам было категорически запрещено полковником Стес-селем пускать в ход оружие, но все же кто-то выстрелил из револьвера. В то же мгновение все наши высыпали из хаты, и раздалось приказание:

— К реке! На тот берег!

Мы стали поспешно драпать по глубокому снегу. «Товарищей» было, очевидно, немного: они нас не преследовали. Впрочем, раздалось несколько выстрелов.

Перебежав реку, мы опять очутились на румынском берегу. Здесь мы ждали долго, потому что нескольких человек не хватало. Из них кое-кто пришел, но не все. В том числе не пришел генерал Васильев. Позднее я узнал, что он не миновал своей судьбы и застрелился, как обещал тогда румынам. Его труп нашли на льду румыны, откуда это и стало известно.

* * *

Нечего делать. Надо устроить спальню в лесу, на снегу. Отдохнуть необходимо во что бы то ни стало, хоть два-три часа. Полковник Стессель приказывает сделать привал. Холодно, невозможно.

Мы думаем над тем, как улечься. Решаем улечься вчетвером, пробуем так: снять две шинели, постелить на снег. Улечься всем четверем рядом, крепко прижавшись друг к другу. Накрыться двумя остальными шинелями.

Улеглись. Задремали. Но через короткое время — «кончилось счастье». Нет возможности!.. Средние еще кое-как, но крайние замерзают. Вскидываем, ходим, запускаем «бег на месте». Потом опять укладываемся, уже каждый одетый в свое, но опять прижавшись друг к другу. Задремали.

Нет возможности! Определенно замерзнем...

И так до рассвета. Что за пытка!

* * *

Рассвет. Пошли. Осторожно пробираемся в румынском лесу. Вышли на какую-то полянку, за которой начинаются сады. Вот брошенный шалаш. Дождемся здесь солнца.

Вот оно вззошло. День ясный. Красиво ложатся синие тени на снегу. Ах, если бы это солнце поскорее грело. Как это Ляля выдерживает в своей несчастной английской шинели! «Страдающая газель» с каждым часом усиливается в его лице. Декадентские ноги беспомощно смотрят внутрь. Османлиская шапка плотнее наехала на брови. Что за несчастная замерзающая кривулька! Но иногда он все-таки раздражается хихиканьем...

— Ляля, что с тобой?

Алеша, если бы был жив, сказал бы:

— Ляля, plusquamperfectum?

Бедный Алеша...

* * *

Полковник Стессель все рассматривает карту. Тут где-то, неподалеку, должна быть деревня Талмазы, верстах в трех. Идти туда нельзя: румыны выгонят. Но если бы послать кого-нибудь в одиночном порядке за провизией...

Кстати, среди нас оказывается офицер, который говорит по-румынски. Он называется у нас «поручик-переводчик».

Решаем так: добраться до первой дороги и послать поручика-переводчика в Талмазы. Остальным ждать его возвращения в лесу.

Ждем. Ждем давно. Уже за полночь. Слава богу, день яркий; на солнце стало тепло. Мы четверо держим бессменный караул на лужайке, где солнце особенно греет. Прислонившись к дереву, можно и подремать. Какое это счастье, в особенности для Ляли, у которого опять припадок малярии. Счастье еще усиливается, когда поручик Л. приносит откуда-то полчашики снега, смешанного со спиртом. К тому же еще оказывается у кого-то кусочек сахара. О, блаженство...

Когда солнце заходит, становится хуже. Мороз сразу забирает ход. Он метит подобраться к пятнадцати граду-

сам. Поручика-переводчика все еще нет. Темнеет. Все холоднее. Что делать? Костра развести нельзя.

Я иду поговорить со Стесселем.

— Поручика-переводчика не будет. Он или сбежал, или его захватили. Надо двигаться... Замерзли...

— Подождем до восьми вечера.

Легко сказать... Я жалею ему, что сын замерзает.

— Давайте его сюда.

У Стесселя есть большая шуба. Он заворачивает Лялю в нее и укладывает его на снег. Из Ляли и шубы образуется соблазнительная подушка, которой немедленно пользуется человек двадцать пять.

Теперь он не замерзнет!

Мы бродим вокруг этого сосредоточия тел, жмущихся друг к другу. В полковнике Стесселе все-таки чувствуется центр и начальник.

Удивительно, как держится эта сестра. Совсем не теряет бодрости и подкармливает нас кусочками сахара, который оказался у нее в сумке. Двое вестовых жадно грызут какие-то кости. На них ничего нет, на этих костях, но все-таки многие смотрят на вестовых с завистью.

Мы пробуем с поручиком Л. улечься вдвоем. Задремали. Вскочили — замерзли. Нет, лучше попробовать там, со всеми, в общей куче. Я кладу голову на чью-то спину; кто-то, в свою очередь, наваливается на меня и, к моему удовольствию, накрывает мои ноги. Так легче. Я засыпаю.

Просыпаюсь оттого, что Раиса Васильевна будит мужа.

— Пора,— шепчет она ему тихонько.

— Еще минуточку...

Он, большой полковник с хриплым басом, в эту минуту совсем как ребенок...

Что-то теплое и человеческое проходит где-то около сердца, несмотря на пятнадцать градусов мороза...

* * *

Нечего делать. Пошли. Поручика-переводчика нет. Сгнил куда-то. С ним потеряна и надежда на провизию. Голод мучает, но надо идти.. А то замерзнем.

Куда идти? Стессель решает обойти лесом Талмазы, в которых он предчувствует румынскую стражу, и добраться до другой деревни, верстах в пяти от Талмаз.

— Но как же мы будем держать направление ночью в лесу?

— По компасу. Вот полковник пойдет вперед... А вы, пожалуйста, еще возьмите кого-нибудь и будете цепочкой между ним и остальной колонной. Мы будем идти немножко сзади, потому что передовым надо прислушиваться...

Пошли. Теперь я знаю, что значит ходить по компасу ночью в лесу, да еще зимой. Первая беда, что темно: этого самого компаса не видишь. Вторая беда, что держать прямое направление через чащу, кусты, овраги, упавшие деревья, болота и реки — совершенно невозможно. Третья беда, что постоянно проваливаешься в снег. А четвертая беда в том, что полковник генерального штаба думает, что ведет нас по компасу, а я думаю, что, наверное, мы крутим на одном месте.

Как бы то ни было, мы идем. Бесконечно идем. Бог его знает, что нас еще держит. Мороз все усиливается. Но мы становимся какими-то нерассуждающе-обреченными. Идем, и больше ничего.

И вот кончается лес, и начинается серия полузамерзших болот и речек. Кружим тут без конца. Двадцать раз переходим по тонкому льду, готовому ежеминутно провалиться. В других местах бесконечно обходим колена ручьев незамерзших, отыскивая переправу. Какой тут компас! Волчок, а не компас.

И вот еще какая-то речка. Я долго ишу более или менее надежного льда. Ну, вот нашел. Прошел. За мной прошел Ляля. Потом мой податной инспектор. За ним на лед входит поручик Л. Но в эту минуту его нагоняет полковник Стессель, спеша почему-то к голове колонны. С ним его жена. И в то же мгновение все трое проваливаются по пояс.

Через несколько минут мы находим какой-то шалаш, где супруги переодеваются; благодаря богу, у них что-то нашлось сухое. Но у поручика Л. сухого нет. Пятнадцать градусов мороза... Это грозит совсем скверной историей.

* * *

Я настаиваю, чтобы бросить этот проклятый компас, выйти на дорогу и идти в первую попавшуюся деревню. Если румыны позволят нам остаться хоть до утра, мы все-таки на этом деле выиграем, потому что в противном случае мы определенно замерзнем...

Стессель соглашается, и скоро мы выбиваемся на дорогу. Хотя трудно сказать, что это в общем, река или дорога,— сплошь лед. Нет, кажется, дорога. Вот начинаются за-

боры, сады. Хотя эти сады бесконечны, но все же будет какая-то деревня. Так и есть. Несомненно, деревня близко.

Стессель приказывает мне идти в разведку вчетвером. Мы идем. Податной инспектор, поручик Л., Ляля и я. Колонна остается на месте.

Да, вот деревня. Пора, мы еле передвигаем ноги. Положительно, это последние силы. Вот какой-то глубокий овраг. Через него мост. Мы тихонько пробираемся по мосту.

Что такое? Крик, выстрел... румыны, конечно. Надо драпать.

Мы драпаем. Но как, боже мой!.. Так, как ходят калеки или глубокие старики. Ноги не отделяются от земли. За нами бегут, стреляют. Нам не уйти. И притом, куда бежать? К своим? Но Стессель запретил наводить на колонну. Значит, что? Значит, надо «сдаваться».

Мы останавливаемся, и набежавшие румыны берут нас «в плен». Отбирают оружие и почему-то часы. Затем ведут через этот самый мост и вводят в какой-то домик, очевидно, караульное помещение...

Горячий воздух совершенно опьяняет нас блаженством. Это надо испытать, чтобы понять. Тепло после стольких бесконечных часов замерзания имеет в себе что-то чарующее. К тому же выясняется, что можно купить хлеб за десять рублей фунт царскими деньгами.

Эти люди, в общем, весьма приличны. Когда мы поели, они предложили нам спать; на полу, конечно, но что-то постелили. Сами улеглись на скамейках. Мы заснули свинцовым сном, сняв только обувь. Чистое блаженство, если бы только не, не...

Почему-то всегда, когда описываются великие вещи, вроде войн и революций, забывают об этом. Ни у одного писателя вы этого не найдете. А между тем вши, это один из факторов мировой истории, о котором не следует умалчивать. Смейтесь, смейтесь,— но все же надо твердо себе навсегда заметить, что и война и революция процессы... «вшивые».

* * *

Странно. Я проснулся и вижу все кругом знакомые лица. Вот полковник такой-то, там поручик такой-то. Как они сюда попали? Соображаю, что, очевидно, прибились ночью, когда мы спали, может быть, пошли нас искать, а то просто не выдержали мороза.

Постепенно просыпаются. Приходит румынский офицер. Мы начинаем с ним разговаривать по-французски, конечно. Он выражает нам какое-то сочувствие. Я, по просьбе остальных, начинаю писать телеграмму румынскому генералу Коанда¹⁸, с которым когда-то был знаком. В телеграмме изложена просьба ходатайствовать перед властями о разрешении временно остаться в Румынии. Я не дописал телеграммы, потому что выяснилось, что ее не пошлют.

Но где полковник Стессель? Оказывается, он лежит где-то неподалеку, совершенно больной. Его жена полузамерзла. Последние, прибывшие сюда, передали просьбу прислать подводу. Я встаю. К удивлению моему, мои ноги сравнительно благополучны. Но другие... У Ляли скверно с ногами — сильно проморожены. То же самое с поручиком Л.

Румыны выпускают меня в соседнюю хату, где я нахожу поручика-переводчика, захваченного накануне. Тут же Одинец¹⁹, киевский деятель. Он надеется, что его не выбросят отсюда, так как он бывший украинский министр. Попал он сюда вместе с отрядом «Союза Возрождения», судьба которого была, очевидно, вроде нашей.

Из его слов я понимаю, что нас ждет: по-видимому, нас отправят обратно к большевикам.

С этой веселой новостью возвращаюсь к своим. День чудный. Солнце ярко светит; часов двенадцать. В караулке битком набито; жадно едят и пьют вино, которое крестьяне приносят в флягах военного образца, кажется, рублей двенадцать за флягу царскими деньгами. Умиляемся дешевизной. Входят румынские солдаты, офицеры и что-то такое говорят в том смысле, что нас отведут в Бендеры, где есть иностранный консул, к которому мы и можем обратиться. Это в ответ на усиленные жалобы и просьбы не отправлять к большевикам.

Выстраивают на улице. Человек тридцать — все те, кого могли поднять. Часть осталась лежать или слишком истомленная, или с сильно отмороженными ногами. Румынский караул окружает нас. Пошли.

Какая же это была деревня? Оказывается, те самые Талмазы, которые мы в течение нескольких часов «обходили»... по компасу.

Идем какими-то бесконечными садами, тропинками, протоптанными в снегу (на которых лежат синие тени от фруктовых деревьев...).

Куда нас ведут? Это что-то не похоже на дорогу на Бен-деры...

ЗВЕЗДЫ

Хатка без окон и дверей. Хотя солнце ярко светит, но в общем порядочный мороз. В хатке развели костер. У Ляли сильнейший припадок малярии. Глаза, и так имеющие наклонность к стилю «страдающей газели», стали совсем умирающими. Он лежит у костра. Я варю ему чай в жестяной кружке. Я набил ее снегом за неимением воды, надел на палку и держу над костром. Румынские солдаты, которые минутами производят впечатление разбойников, умиляются, узнав, что он мой сын. Они немножко как дети — эти румыны. Их воображение, очевидно, поражает, что вот отец и сын воюют вместе и что сын тяжело заболел. По их глазам я вижу: они думают, что он умрет. Ляля, как будто инстинктивно чувствуя, что из этого может произойти что-нибудь толковое, артистически закатывает глаза; конечно, он сильно болен, но еще и притворяется на всякий случай.

* * *

Этот «всякий случай» представился. Когда наступил вечер, румыны развернули свою настоящую природу. Они приступили к нам с требованием отдать или менять то, что у нас было, т. е. попросту стали грабить. Спротивляться было бесполезно. Один толстый полковник пробовал устроить скандал, вырвался, но его схватили, побили и отняли все, что хотели. Брали все, что можно. У одних взяли сапоги, дав лапти, у других взяли штаны, у третьих френчи, не говоря о всевозможных мелочах, как-то: часы, портсигары, кошельки, деньги, кроме «колокольчиков». Разумеется, снимали кольца с рук. Словом, произошел форменный грабеж.

Вот тут-то и пригодилось Лялино закатывание глаз. Они настолько умилились нами двумя, что не позволяли друг другу нас трогать. Я отделался только тем, что с меня стащили обручальные кольца. Хотели снять и третье кольцо, особенно мне дорогое, но, когда я показал имеющееся на нем изображение божьей матери, не взяли.

* * *

Наступила темнота. Тогда румыны вывели нас из хаты и повели куда-то. Куда? Что это такое? Ясно. Это Днестр. Весьма энергичными жестами они показали нам, что мы

должны идти к себе, в Россию. К себе в Россию — значит, к большевикам.

Делать было нечего. Мы пошли. Спустились с крутого берега, вступили на лед. Чтобы мы не вздумали вернуться, очевидно, румыны пустили нам несколько выстрелов вслед.

Не скажу, чтобы самочувствие наше было сладкое. Вправо и влево от нас река, напротив — чуть виднеется большевистский берег. Там...

Ясно, что «там» может быть...

Что делать? Мы пошли так — просто, прямо перед собой по льду. Ни в каком порядке, а кто куда. Мне вдруг показалось, что идти так — это самое нелепое из всего. Я позвал их и сказал им, что хотя мы и без оружия, но все-таки мы военные и что мы должны избрать кого-нибудь своим начальником, так как в этом случае у нас все-таки больше шансов на спасение, чем если каждый будет действовать в одиночку. Все согласились и, как бывает в таких случаях с «инициаторами», заставили меня «принять бразды правления». Я принял.

И вот мы пошли. Гуськом, волчьей тропой, — вверх по Днестру. Я шел впереди. Я решил идти по реке до тех пор, пока можно. Я рассчитывал так: если появятся большевики, можно броситься на румынский берег, если румыны, на большевистский. На всякий случай я запретил кому бы то ни было с кем бы то ни было разговаривать, сказав, что все переговоры буду вести я лично.

Так мы и шли. Вдруг с правого от нас берега, т. е. с большевистского, кто-то спросил из темноты:

— А куда ж це вы так идете?..

Я ответил:

— А куда ж нам идти? С одного боку румыны в нас стреляют, с другого вы... Вот так и идем рекою...

После некоторой паузы из темноты донесся ответ:

— • Та не вси же в вас стреляют...

Я понял.

Приказав колонне остаться на месте, я подошел к человеку.

— Кто вы будете?

— Здешний. Хлебороб.

— Ваша хата далеко?

— Ни, тута...

— Нельзя ли к вам зайти погреться? Замерзли сильно...

— Та можно... Только, чтобы чего не було.

— А что?

— А вчера также до меня зайшлы... так прибигли, да роздили до рубашки...

— Кто?

— Да эти... свои., хлопцы...

— Дивизии Котовского?

— Ни, ни... Котовский хороший человек. Котовский не приказывает, чтобы раздевали... Ну, заходите ж до мене... Много вас?

Человек тридцать.

— Ну, як-нибудь... Погрейтесь...

* * *

Уютная, хотя маленькая хатка. Мы набили ее «до отказа» — все втиснулись. Молодая хозяйка смотрит на нас с печки добрыми, сочувствующими глазами. Я говорю:

— Итак, господа, вы ставите мне задачу довести вас до Котовского, чтобы вы могли сдаться ему... Это общее мнение всех?

Все «соизволяют» единогласно.

— Хорошо... Я выведу вас к Котовскому. Но предупреждаю, что лично для себя оставляю свободу действий... Ну, дорогой хозяин, как же нам пройти к Котовскому?

Оказывается, это очень трудно. Котовский находится в Тирасполе. Отсюда верст двадцать. Две серьезные опасности на пути. Во-первых, вот это ближайшее село, на окраине которого мы сейчас находимся. Здесь живет самый «раздевальный народ». Все они вооружены и, если попасться к ним, пустят нагишом по морозу. Вторая опасность — на большом шляху, что ведет в Тирасполь, — большое село Слободзея. Его непременно нужно обминуть: там такие разбойники живут, что никак не пройти. Всю ночь караул держат и грабят донага.

Я предложил ему проводить нас хоть часть пути. Он колеблется. Мы спрашиваем. У меня есть «керенки» — последняя выручка «Киевлянина». Я предлагаю вознаграждение.

— Та иди вже. Треба людям допомогти, — говорит молодичка с печки.

За тысячу «керенок» он соглашается.

Отогрелись, надо идти. Но вот еще одно дело, крайне неприятное: надо снимать погоны.

Недолго я их носил. Но все же как-то ужасно неприятно их спарывать. Ощущение полученной оплеухи...

* * *

Какими-то таинственными садами, останавливаясь, прислушиваясь, соблюдая величайшую осторожность, он ведет нас. Крадемся бесшумно. Эту деревню прошли благополучно. Вот степь. Мы спрашиваем его немного проводить нас; он немного идет, но, наконец, решительно останавливается.

— Куда ж теперь нам идти?

Перед нами бесконечная степь, покрытая снегом. Яркое звездное небо. Сильный мороз.

— А вот я вам расскажу. Все идите степом...

— Да куда ж степом?

— А вот так, на эту звезду возьмите. Город будет трошки левее. А вы — на эту звезду... Так, чтобы большак у вас всегда был с левой руки.

— Да как же так? Где же этот большак? И как же мне его не потерять?

— Вы так идите, чтобы собаки у вас завсегда брехали с левой руки. Ближе к деревне не подходите. А самое главное, чтобы вам Слободзею обминуть... Це большое село. Верст семь будет... Як не будете слышать собак, так левой берыть... А як зайдете так, що село близько, — опять правой в степ... Так и идыть, — от на цю звезду... А под самым городом выходить на большак — там вже ничего...

И пошли. Я во главе колонны, они все за мной, гуськом, держа пока на звезду. Холодно, дьявольски холодно...

* * *

Все веду. Меняю звезды, потому что они движутся — и я «делаю поправки». Кроме того, у кого-то оказывается компас. Все-таки он дает возможность ориентироваться, хотя несколько. Это не то что лес. Я помню приблизительно карту. Мы находимся на углу, образуемом большаком и железной дорогой; если мы уклонимся на запад, мы рано или поздно наткнемся на большак; если уклонимся на восток, попадем на линию железной дороги. И большак и колея ведут к Тирасполю.

Но почему так холодно? Вероятно, градусов около пятнадцати. Поручик Л. определенно начинает замерзать. Ляля идет как сомнамбула. Мой податный инспектор ничего — оказывается неожиданная выносливость в этом тще-

душном теле. Побаиваюсь за одного старого полковника, как бы не упал.

Веду. Ох, эти яркие звезды. Блестящие, лучистые. Это от них идет этот нестерпимый холод.

Где-то я видел уже все это. Да, да. Это было в Одессе. Мне приснились алмазы — огромные, сверкающие. Это вот они были...

* * *

Пересекаю какие-то сады. Понять трудно, что это такое. Но, по-видимому, это где-то в степи. Жилья нет. Впрочем, это что? Да, пустая, очевидно, летняя хатка без окон и дверей. Все равно надо зайти, все-таки согреемся. Все равно до рассвета далеко. Нам невыгодно приходиться в Тирасполь ночью. А тут все же хоть на полчаса избавишься от этой ледяной струи, которая незаметно, но неумолимо вымораживает душу, веет над степью...

Ночной зефир струит эфир...

Может ли быть еще холоднее!..

* * *

Чутьочку отогрелись в хатке. Ссоримся, конечно, по русскому обычаю. Одни хотели еще погреться, другие все время нервничали и уверяли, что мы губим себя и теряем время. Я не слушаю всех этих ламентаций и засыпаю на полчаса.

* * *

Но надо идти. Мороз стал еще резче.

Веду. Нет, эти звезды положительно нестерпимы. Они становятся такими яркими и огромными. От них тянутся невероятные лучи... Эти лучи неясным светом освещают снег вокруг меня... Отчего они светят только здесь — какое-то сияние передо мной...

Я просыпаюсь в канаве. Случай маловероятный, но факт: я вел их во сне. Спал весь организм, кроме глаз. Глаза были гипнотически прикованы к этим звездам, и я вел их верно, но сознание остальной действительности исчезало.

И я просыпался то в канаве, то в яме, то наткнувшись на что-нибудь.

Что это такое? Брешут собаки слева? Да, брешут. Ну, слава богу, значит, идем верно...

* * *

Верно, верно, а вот почему у меня выросла деревня впереди? Сначала не понимаю, а потом соображаю. Это, должно быть, поперечная улица этой самой Слободзеи. Значит, что? Значит, надо ее обмануть, взять прямо на восток, потом на север, потом на запад и снова подойти к большаку.

Обхожу. Увожу довольно далеко в сторону. Чувствую, что колонна за мной начинает нервничать. С правой стороны меня нагоняет какой-то полковник.

— Куда вы нас ведете? Собак больше не слышно...

Я поворачиваю на запад. Через некоторое время собаки начинают заливаться, и смутные очертания села вырисовываются. Слышу слева от себя торопливые шаги. Подбегает другой полковник.

— Что вы с нами сделали? Собаки под самым носом!

Беру снова больше в степь быстрым шагом. Опять бежит кто-то.

— Слушайте, не у всех же такие длинные ноги, как у вас. Не бегите так!

Замедляю шаг. Бежит кто-то слева. Четвертый полковник.

— Ради бога, идите скорее! Мы замерзаем...

С меня было довольно. Я разозлился и какой-то резкостью прекратил балаган. Но, впрочем, в одном месте — заснул ли я опять, глядя на звезды, или уже не помню отчего — но я увидел деревню перед собой только тогда, когда вспыхнул огонек трубки, которую, очевидно, кто-то курил. Положительно, я плохой вожак по волчьей тропе...

Но ведь эти звезды могут с ума свести человека...

* * *

Как бы там ни было, но перед рассветом я их вывел на большак. Впереди была какая-то деревня, очевидно, последняя перед Тирасполем. В хатках уже светились огни, что называется, «на досвитки». Мы теряли последние силы и буквально замерзали. Я решил, что бы с нами ни случи-

лось, зайти в эти хатки, так тепло зовущие огоньками. Была не была.

* * *

Зашли, и очень хорошо. Никто нас не тронул. Было тепло: пили чай и подремывали до рассвета. Хозяева спрашивали, кто мы такие. Публика усиленно называла друга друга «товарищи», что было нелепо. Ибо мужики вовсе не такие глупые, как иногда кажутся...

Наступил рассвет. Я считал свою миссию оконченной.

— Господа, вот Тирасполь. Задачу, вами мне поставленную, я выполнил... С этой минуты снимаю с себя бразды правления и советую следующее. Разбиться на мелкие группы и в таком «строю» идти к Котовскому сдаваться, кто хочет. Прошу также от меня держаться подальше, ибо у меня с большевиками счеты особые; я могу совершенно без нужды отягчить чью-нибудь участь...

Так и сделали.

У КОТОВСКОГО

Мы шли вчетвером — поручик Л., мой податной инспектор, Ляля и я. Шли по дороге, залитой солнцем. Даже нельзя себе представить, что было так невыносимо холодно ночью.

Вот идет какая-то конная часть. Очевидно, эскадрон дивизии Котовского. Очень приличный внешний вид. Хорошие лошади, седла, амуниция — все в порядке. Если бы они носили погоны, это напоминало бы старую русскую армию.

Мы бредем по дороге вдоль плетней.

— Вы кто такие?

Это спрашивает офицер не офицер, ну, словом, то, что у них заменяет офицера — «товарищ командир».

— Мы... мы пленные...

Это тут так принято отвечать. Не в первый раз нас уже спрашивают. Эта дорога в Тирасполь очень напоминает мне что-то такое. Где это было? Да, это было в Галиции, когда мы брали в плен австрийцев. Они вот так шли по дорогам, от одного этапного коменданта к другому. Никто их не трогал, шли себе. Так и мы идем. И много таких же стаяк, как наша.

— Так вы пленные... полковника Стесселя?

— Да.

— Ну, так вам к коменданту... В Тирасполь — прямо...

* * *

Вошли в предместье города.

— Товарищи, будем меняться.

Это он ко мне обращался. В воротах стоял мальчишка-красноармеец.

— Что менять?

— Вот папаху менять...

Я стараюсь сообразить, что может из этого выйти. Пожалуй, моя офицерская папаха действительно мне сейчас «без надобности».

И в то же мгновение мелькнула мысль, вернее, план — переодеться этим способом. Мальчишка как бы понял мои мысли. Он сказал:

— Вам, товарищ, в вашем положении лучше меняться.

Я согласился и выменял папаху. То, что он мне дал, было нечто сногшибательное: какая-то собачья шапка какой-то дикой формы. Моя внешность в «товарищеском» смысле от этого сразу выиграла.

Мы пошли дальше. Теперь я уже сам посматривал, нельзя ли выменять и бекешу на какое-нибудь штатское пальто. Одновременно я стал соображать, что все же тут не обойдется без какого-нибудь обыска. Во всех воротах стояли «товарищи», и в воздухе пахло заставой. Мой податной инспектор был в штатском пальтишке. Я решил, чтобы он отделился от нас и шел вперед самостоятельно, взяв с собой все деньги. Его пропустят.

Это было сделано вовремя. Действительно, к нам подошел патруль или что-то в этом роде. Во главе был молодой офицер не офицер, словом, человек весь в кожаном. Но лицо у него было симпатичное. Я почувствовал, что надо взять инициативу, и предупредил его вопрос:

— Товарищ, не хотите ли меняться на мою бекешу?

Бекеша была у меня очень недурна. Он окинул меня взглядом и ответил:

— А вам, наверное, надо штатское пальто... У меня есть, вам подойдет... черное... Идите со мной.

Мы пошли по улицам. День был теплый, и солнце ласково грело. Не помню, как начался разговор. Он сказал:

— Как мы все довольны, что товарищ Котовский прекратил это безобразие...

— Какое безобразие? Расстрелы?

— Да... Мы все этому рады. В бою, это дело другое. Вот мы несколько дней назад с вами дрались... еще вы адъютанта Котовского убили... Ну бой так бой. Ну кончили, а расстреливать пленных — это безобразие...

— Котовский хороший человек?

— Очень хороший... И он строго-настрого приказал... И грабить не разрешает... Меняться — это можно... У меня хорошее пальто, приличное.

Не знаю почему, разговор скользнул на Петлюру. Он был очень против него восстановлен.

— Отчего вы так против Петлюры?

— Да ведь он самостийник.

— А вы?

— Мы... мы за «Единую Неделимую».

Я должен сказать, что у меня, выражаясь деликатно, глаза полезли на лоб. Три дня тому назад я, с двумя сыновьями с правой и левой руки, с друзьями и родственниками, скифски-эпически дрался за «Единую Неделимую» именно с этой дивизией Котовского. И вот, оказывается, произошло легкое недоразумение: они тоже за «Единую Неделимую».

Мы подходим к караулке. Тут он, правда, пониженным голосом, стал чистить коммунистов. К этому уже я был несколько подготовлен: я вспомнил тех двух делегатов Котовского на берегу Днестра:

— Сволочь коммунисты...

Этот говорил в том же роде. Я посмотрел на него сбоку: «Не наш ли ты?» Нет, он не был офицер. Это красный командир большевистской формации.

Мы вошли в караулку. Как я и предвидел, без обыска не обошлось. Наступила решающая минута, когда дело дошло до паспортов. У меня их была целая куча. Я решил пойти напрямик. Я сказал ему:

— Товарищ, я скрываться не буду. Вот мой настоящий паспорт... А это подложные... А это совсем мне ненужный... случайный... а вот эти — женские паспорта. Их мне надо отдать... Так вы этот заберите, ненужный, а остальные мне отдайте...

Я внимательно смотрел ему в лицо, когда он просматривал мой настоящий паспорт.

— Василий Витальевич Шульгин...

Нет, он, по-видимому, не знал, ничего не слышал обо мне. Проехало...

Он сделал так, как я ему говорил. Взял паспорт, который я объявил ненужным, а остальные отдал мне. Вещей у меня, собственно, никаких не было. Несколькими фотографиями. Впрочем, тут была одна маленькая подробность, которую, я не знаю, стоит ли рассказать. У меня в круглой коробке от лепешек Вальда была целая коллекция иконок, подаренных мне в разное время. Он спросил:

— Можно взять одну на память?

— Возьмите.

Остальное он мне все вернул.

Затем началась мена. Я обменял бекешу на черное штатское пальто, не очень приличное, но возможное, самое подходящее к моему положению; обменял френч на нечто достаточно невозможное. Уже не в порядке мены, а просто потому, что «вам, товарищ, это не подходит, и все равно дальше отберут», — содрали с меня кожаные хорошие краги. Их мне было жалко.

В это же время происходила мена с поручиком Л. и с Лялей. Тут дело не обошлось без некоторых легких недоразумений. Поручик Л. отказался менять свое пальто, которое было, во-первых, штатское, во-вторых, теплое. А у «товарищей» из караулки разгорелись глаза. Они стали «примушивать» (чисто украинское слово от немецкого «mus-sen»).

Тогда «товарищ командир» вступился:

— Товарищи, нельзя принуждать... Помните, приказано только по соглашению.

У Ляли оказались «колокольчики», которых он не успел передать. Их быстро разобрали — «в карты гулять».

В общем — переодетые, мы продолжали путь. Ляля, впрочем, плохо переоделся; ему дали вместо его английской новой шинели — рваную серую.

Еще произошел маленький инцидент. У Ляли была золотая ложечка, которую ему подарила какая-то барышня на счастье, почему он ею дорожил. Один из «товарищей» отобрал ее у него в караулке. Но не прошли мы и ста шагов, как он нагнал нас.

— Возьмите вашу ложечку, товарищ. Не хочу...

Все шло благополучно. Но на каком-то перекрестке к нам прицепились субъекты мрачного вида. В лаптях, в шинелях с обтрепанными полами, худые, видимо, голодные. Они задержали нас.

- Давайте деньги!
- Какие деньги? Нас уже обыскали там...
- Один из них мрачно смотрел на меня исподлобья.
- А я вам говорю, товарищ, что у вас есть деньги.
- Почему?
- Потому, что вы казначей кадетской партии...

Почему он вообразил меня казначеем кадетской партии, вряд ли может объяснить даже Милюков. Но чем бы это кончилось, неизвестно, если бы поручик Л. вдруг не впал в злость. Он стал кричать на них и показывать какие-то случайно оказавшиеся у него доисторические документы советского происхождения. Устрашенные не то печатью, не то его криками, они оставили нас в покое.

Мы пошли дальше и вскоре встретились с податным инспектором, который благополучно пронес наши деньги сквозь все заставы.

* * *

Грязный еврейский заезжий двор в предместье Тирасполя. Комнатка крохотная, как каюта. Кипит самовар, сравнительно тепло, сладкий чай, белый хлеб.

Морозные испытания, а в особенности эти ужасные звезды, начинают казаться только кошмаром. Неужели это было?

Но живой свидетель этому — совершенно израненные ноги, с почерневшими ногтями и гноящимися пальцами. Кроме того, это ясно видно по психическому состоянию, в которое впали молодые — Ляля и поручик Л.

Как странно. Мы, двое старших, почти стариков, психически как-то меньше подались. Очевидно, все же наша впечатлительность значительно притуплена. А молодые, которые великолепно держались весь поход, попав в эти безопасные условия, впали в какое-то состояние «не в себе». Ляля совсем отсутствует. Правда, у него не прекращаются припадки малярии. Я пичкаю его хиной с знаменитой ложечки. У него уже глаза не страдающей, а полупомешанной газели. Поручик Л., которого пора уже называть Вовкой хотя бы уже потому, что в новом нашем положении он стал моим племянником, — тоже слегка помешался. Такова реакция тепла, сытости и безопасности после всех испытаний. Впрочем, есть еще одно условие: грязь и вши. Если бы помыться и надеть чистое белье, пожалуй, «сомнамбулизм» сразу прошел бы...

Но где наши? Где остальные?

В Тирасполе мы жили десять дней под чужими фамилиями. Старорежимные паспорта оказывались хорошими документами пока. Мы ходили свободно по улицам, иногда встречая кое-кого из офицеров, участников нашего совместного похода. За это время мы присмотрелись к тому, что происходит в городе.

Увы, пожалуй, сравнение (а его делали местные жители) было бы не в пользу «белых»; судя по рассказам, наши части, которые стояли здесь раньше, произвели обычный для этой эпохи дебош. А дивизия Котовского никогда не обижала — это нужно засвидетельствовать — ни еврейского, ни христианского населения.

Мы несколько раз ходили к коменданту, чтобы выяснить, что делается. У коменданта стояла, как полагается, бесконечная очередь в два хвоста. Хвосты вели к столику, где сидело два еврейчика. Субъекты эти записывали имена и фамилии солдат, а также куда они хотят ехать. Все это были наши солдаты, сдавшиеся в плен. Офицеров тут не было видно. Мы с Лялей охотно посиживали у коменданта, потому что там было тепло.

Мы отслужили панихиду по Алеше и по другим. Священник служил как-то особенно хорошо, и удивительно приятно было в церкви. Церковь среди большевизма имеет какую-то особенную, непонятную в обычное время прелесть. Если бы от всей нашей земли ничего не осталось среди враждебного, чужого моря, а остался бы только маленький островочек, на котором все по-старому, так вот это было бы то, что церковь среди красного царства.

Да, они пока не обирали, не расстреливали, не грабили. Может быть, в такой дивизии Котовского гораздо больше близкого и родного, чем мы это думаем. Но все это пока... Пока здесь работает что-то человеческое, вернее сказать, что-то общее всем нам, русским. Но ведь за этим стоит страшная изуверская сектантская сила, кровожадная, злобная, ненавидящая, которой, увы, подчинены все эти Котовские и близкие ему по духу...

Кстати, о Котовском.

Этот человек окружен легендой. Но вот что мне удалось более или менее установить.

Он родом из Бессарабии... Кажется, получил какое-то среднее агрономическое образование. Будучи еще совсем молодым человеком, он убил. Убил человека, который

оскорбил его сестру. Был сослан на каторгу. Бежал, вернулся в Бессарабию под чужим именем. Поступил управляющим к одной помещице. Образцово управляя имением, он вместе с тем производил самые дерзкие нападения и грабежи во всей округе, причем грабил только богатых будто бы и широко помогал бедным. Долгое время полиция никак не могла установить, что этот полулегендарный не то Дубровский, не то Робин Гуд и Котовский, образцовый управляющий,— один и тот же человек. Но, наконец, его выследили: подробности его ареста рассказываются со всякими украшениями; словом, он был ранен, арестован, снова судим и снова сослан. Революция 1917 г. освободила его, и он появился в Одессе. В городском театре, в фойе, одна из ограбленных им дам узнала его и упала в обморок. Он весьма галантно привел ее в чувство. Затем отправился на митинг, который шел в театре, и весьма шикарно продал с аукциона в пользу чего-то, наверное свободы, свои кандалы за 5000 рублей. Как он стал командиром дивизии, я не знаю, но могу засвидетельствовать, что он содержал ее в строгости и благочестии, бывший каторжник,— «honny soit, qui mal у pense*». В особенности замечательно его отношение к нам — «пленным». Он не только категорически приказал не обижать пленных, но и заставил себя слушать. Не только в Тирасполе, но и во всей округе рассказывали, что он собственноручно застрелил двух красноармейцев, которые ограбили наших больных офицеров и попались ему на глаза.

«Товарищ Котовский не приказал» — это было, можно сказать, лозунгом в районе Тирасполя. Скольким это спасло жизнь...

Надо отдать справедливость и врагам. Я надеюсь, что, если «товарищ Котовский» когда-нибудь попадет в наши руки, ему вспомнятся не только «зло», им сделанное, но и добро... И за добро заплатят добром.

* * *

Обедать мы ходили в одну столовую. Это куда-то в подвал; там были своды. На кровати лежала больная хозяйка, еще молодая, рыжевато-растрепанная. Она кляла весь мир, как-то забавно-жалобно ругаясь последними словами.

— Большевики, меньшевики — черт, дьявол... чтобы

* позор тому, кто плохо об этом подумает (фр.),

они все подошли, проклятые. Лазят тут... Что им надо?..

После этого начинались дальнейшие lamentации на ту тему, как было хорошо при старом режиме, когда ни большевики, ни меньшевики, ни черт, ни дьявол не лазали, и все было прекрасно.

Впрочем, кормила она нас хорошо и сравнительно довольно дешево.

Цены в это время в Тирасполе были следующие: бублик стоил полтинник фунт, фунт белого хлеба десять рублей, чулки сто рублей, сахарный песок сорок рублей, перочинный ножик сто рублей, обед из двух блюд обходился нам в 60 рублей; стакан чаю три рубля.

Но все же оставаться долго в Тирасполе не представлялось возможным. Скрываться в маленьком городке трудно. Пришлось думать о том, что с собой сделать. Решено было пробраться тем или иным способом в Одессу. Для этого прежде всего нужен был пропуск.

* * *

Вагон где-то на запасном пути... Около дверей, как всюду и везде, очередь. Топчутся на морозе часами жаждущие пропусков на выезд из Тирасполя. Впрочем, нашелся благодетель, один из «товарищей красноармейцев», роздал билетки, чтобы те, которые сегодня не достоялись, уже завтра не мерзли.

Пришли завтра. Наконец вызывают. Я был под фамилией... но к чему имена? *Nomina odiosa sunt**. Если бы этой поговорки не выдумали римляне, то ее следовало бы изобрести в Совдепии.

Купе. У столика сидит товарищ. При мне он отказывает какой-то еврейке в пропуске.

«Ну,— думаю,— если ей отказал, то что же нам?»

Еврейка ушла, товарищ вопросительно смотрит на меня. — Прошу пропуск в Одессу. Обстоятельства следующие.

Тут я ему рассказал целый роман о том, почему я пробивался в Румынию и как румыны меня выгнали.

Он выслушал всю мою тираду, не прерывая. Затем взял мой паспорт и стал меня экзаменовывать. Элементарный прием. Часто люди забывают вызубрить фальшивый паспорт и на этом попадают.

* Не будем называть имена (лат.).

По-видимому, я выдержал экзамен вполне, но дело было не в этом. Весь трюк состоял в том, что в этом фальшивом паспорте была румынская виза от ноября 1918 года. Эта виза подтверждала вполне мой рассказ о том, почему я пробивался в Румынию.

Словом, товарищ комиссар написал мне пропуск.

«Разрешается такому-то с племянником Владимиром свободное следование в Одессу».

Поставил печать и подписался.

Это был первый советский документ, который я получил в моей жизни.

ПО ШПАЛАМ

Выехать из Тирасполя было не так просто. Много раз мы приходили на станцию, ободранную, грязную, словом, революционного вида. В Тирасполе было очень много вагонов. Конечно, без окон, разбитых, исковерканных, но масса. Все это столпилось сюда, очевидно, при отступлении бредовских частей. Торчали, впрочем, кое-где и роскошные вагоны, заново отделанные; это по большей части были «кают-компания» бронепоездов. Тут же красовались каким-то чудом уцелевшие вагоны штаба гвардейской дивизии. Ни надписи, ни гвардейские андреевские звезды не были даже замазаны. И было как-то больно на это смотреть.

Вот эти всякие вагоны сгоняли в составы, к ним прицеплялась какая-нибудь калека в виде локомотива, и такой караван от времени до времени посылался куда-то по рельсам. Надо было втиснуться в один из этих, с позволения сказать, поездов. Да еще билет надо было брать, что было уже совершенно возмутительно с точки зрения социалистического строя.

Мы втискивались. Ждали несколько часов в этих нетопленных, искалеченных коробках. Потом приходили товарищи и выгоняли нас, заявляя, что поезд не пойдет. Однажды лежали мы в вагонах полночи. Было, конечно, совершенно темно, но полно народом. В одном углу шел усиленный разговор. По голосам я понимал, что это какие-то интеллигентки беседуют с военнопленными солдатами, прибывшими из Франции. Дикой ненавистью ко всему на свете были наполнены разговоры этих солдат. Я от времени до времени засыпал и просыпался и сквозь сон слышал:

— А я бы его, если бы запопал, то так бы не убил...

А мучил бы, долго мучил бы... Сначала нос бы отрезал... а потом уши... а потом глаза бы выколол...

Интеллигентки возмущались и ахали, впрочем, осторожно и в таком тоне:

— Неужели бы вы так сделали, товарищ?

А он отвечал убежденно:

— Сделал бы!

Я лежал и думал о том, что если бы его как-нибудь выманить из вагона и пойти с ним в черную ночь, то я бы его не мучил, но застрелил бы как собаку: «Хай злое не живе на свити»...

Наконец, отчаявшись в социалистическом транспорте, мы прибегли к историческому русскому передвижению «пехотой». Словом, пошли по шпалам.

Шли до вечера. Заночевали в какой-то хатке около какой-то станции. Этот день прошел без приключений. Впрочем, мы встретили два раза конных товарищей, которые двигались по пути, очевидно, в качестве патруля. Вид у нас был, скорее всего, «мелкоспекулянтский». Три субъекта в штатских «пальтах», с физиономиями достаточно небритыми. Плох был Ляля. Его какая-то страдающая шинель и лицо больного юнкера явно выдавали нечто денкинское. Но нас выручали «пропуска». Просмотрев их, товарищи пропускали.

Приключения начались утром, потому что мы проспали единственный поезд. Однако на станции был еще паровоз, который собирался в Кучурганскую, изрыгая белый пар. Я назвал машиниста «товарищем механиком», и он пустил нас на паровоз. А если бы я сказал «товарищ машинист», — отказал бы.

Паровоз очень стонал и, кажется, собирался совершить «надрыв». В этих случаях он пускал массу пара, становилось тепло — и тогда... Впрочем, об этом довольно. Я уже сказал однажды, что революция и «паразиты» неразлучны. Не следует повторяться.

Но, в общем, паровоз догнал тот поезд. Он стоял на станции среди других составов, таких же разбитых, вопиющих к небу. Мы пошли лазать из вагона в вагон, отыскивая место потеплее. Наконец нашли. К удивлению, в этом вагоне были целы все окна — и какие окна! — великолепные, толстые, зеркальные. Солнце грело сквозь них, и было совсем ничего. Но внутренность вагона, это было нечто ламен-

табельное. Это, видимо, когда-то был очень роскошный вагон, должно быть служебный, ибо здесь были и маленькие салончики и купе, в былое время снабженные всем «слипикаровским» комфортом. Сейчас ничего не было, кроме кой-где торчащих пружинок. Одно купе показалось мне целее других; тут можно было хотя сесть. Однако, осмотрев его внимательнее, я ушел. Тут, очевидно, несколько часов тому назад произошло убийство или самоубийство. Мозги и кусок черепа валялись тут же...

* * *

В этом вагоне мы доехали до Раздельной.

На этой станции мы несколько часов ждали какого-нибудь поезда. Тут стояла целая армия всяких составов, и целые воинские части жили в поездах. Кажется, это были галичане, в энный раз кого-то предавшие. Но никакого поезда не шло. Мы ходили пить чай в местечко.

И вдруг встретились. Да, это был Владимир Германович. Он тогда в саду у Днестра сдался делегатам Котовского. Солдат отпустили, офицеров, изъявивших желание поступить в Красную Армию, куда-то отправили, а отказавшихся держат на положении арестованных, заставляют что-то работать и собираются отправить в Одессу. Однако надзор слабый, что и дало возможность поговорить с ним. Здесь же целый ряд других из нашего отряда. Пока никого не расстреляли. Но вид у них был ужасный. Недоедание, тяжелая работа... Однако бесшумный Владимир Германович не терял бодрости духа.

* * *

Мы не дождалась поезда. Пошли пешком. Был дивный солнечный день. Но когда мы прошли несколько верст, я почувствовал ломоту в пальцах. Потом как будто стало немножко холодно. Идти стало гораздо труднее. И заходящее солнце с его желто-красными переливами почему-то было противно. Мы отдыхали где-то на рельсах, и против нас бродили индюки. Меня тошнило от этих индюков. Я чувствовал, что заболелаю.

Ночевали в «казарме» у какого-то «старшего рабочего» — это такой железнодорожный чин. Он просмотрел наши пропуска и принял нас очень радушно. Хозяйка сделала нам ужин и чай.

За ужином «старший рабочий» говорил много и вразумительно, ссылаясь на священное писание. Он читал Апокалипсис вслух и объяснял нам, что все, что сейчас происходит, вся эта резня, и убийства, и грабежи, и ужасы, и ненависть — все это предсказано. Потом он прочел из Библии то место, где в пророчестве Даниила говорится, что придет «Великий князь Михаил». Под этим он подразумевал великого князя Михаила Александровича. Тогда кончатся все беды. Надо сказать, что я уже не в первый раз наталкиваюсь на таких людей. Сидят где-нибудь, в какой-нибудь станционной будке и в Священном писании ищут утешения и объяснения всех тех ужасов, которые происходят.

* * *

Нет, это проклятое пятно, белое пятно на солнце среди черных полей, сведет меня с ума.

Идем по шпалам. Я болен. Чувствую жар и невероятную слабость. Иду от версты до версты. На этой прямой, как стрела, линии далеко видно верстовой столбик. Я иду только потому, что знаю: вот этот столбик с дощечкой, где написана верста, — надо дойти до него. Там я лягу на рельсы и буду лежать... Пять минут по часам... Потом дальше до следующего...

Но вот это проклятое пятно справа от дороги, там на холмах, где-то за несколько верст, — это, я знаю, немецкая колония. Я ее ненавижу всей душой. Потому что, сколько мы ни идем, она торчит тут, и кажется, что мы не двигаемся. И кажется, что от этой кучки игрушечных домиков эта болезнь и эта валящая на землю слабость... Все равно... дойти до столбика только.

Но мы дошли в этот день не только до столбика, но до станции Карповка... Тут, в ожидании какого-нибудь поезда, мы залегли в какой-то грязной комнате на станции. Комната была полна всяким народом. Какой-то безрукий, который прекрасно шьет обувь одной рукой, какая-то разбитная хохлушка с яйцами и с целым ворохом деревенских рассказов из современной жизни, больше на тему о том, что «всех этих разбойников надо вырезать». Кого она подразумевала под разбойниками, не всегда можно было определить — не то деникинцев, не то коммунистов. Вообще, она, видимо, за порядок и какое-то неосмысливаемое, но явственно ею самой понимаемое «благопристойное житие». Определенной здоровой «мещанской» моралью веет от ее «розгепанных»

манер. И еще много всякого народа. Я лежу на лавке, жар усиливается. Иногда, раза два-три в сутки, проходят поезда, в которые мы не можем влезть,— слишком набито или у нас слишком мало энергии. Не надо думать, что это обыкновенные поезда нормального типа. Это какой-то сброд вагонов с издыхающими паровозами...

* * *

Ночью мне было нехорошо. Жар все усиливался. Я не спал. Остальные все спали. Все эти однорукие, бабы и много еще каких-то людей. Я не спал и заметил, что мой податной инспектор начинает метаться. Так как я хорошо знаю его с детства, то знал и то, что он сейчас начнет разговаривать во сне, и притом на всю комнату. У меня мелькнула мысль, не сболтнул бы чего-нибудь опасного, и в то же мгновение он сделал резкое движение и совершенно ясно и отчетливо произнес:

— Да... Но я требую, чтобы все пели гимн... Все, все, и женщины... «Боже, царя храни!»

Я с ужасом растолкал его. По счастью, все спали. Но мораль сей басни такова: кто говорит во сне, пусть не спит у большевиков в публичных местах...

* * *

Пропустили еще какой-то «поезд». Потом еще прошел один... Мы лежали на станций уже третьи сутки. Почти ничего не ели. Наконец «комиссар станции» окончательно рассердился на нашу никчемность. Он нас ругал всякими скверными словами и кричал, указывая на меня:

— Ну, а если он умрет у вас тут... Что я с ним буду делать!

После этого, очевидно устыдившись докучать «товарищу комиссару», в качестве мертвого тела, я перестал капризничать и влез на какой-то «холодный» паровоз, по указанию комиссара. Этот паровоз был, очевидно, совершенно искалеченный, а тащил его полукалека. Последний доставил нас до станции Одесса-Товарная. Там мы лежали до рассвета. Было абсолютно темно, очень холодно и противно...

* * *

Одесса. Вот она, под властью красных. Изменилась? Изменилась. Толпа совсем другая. Да и нет ее почти. Уныло на улицах. А впрочем — жар усиливается,— может быть, это от жара такая тоска. Болезнь — это болезнь...

RECURRENS*

С первой квартиры, куда мы прибились с сыном, пришлось уходить через несколько часов: меня узнали. «Вся улица», т. е. некоторое количество евреев, говорили про то, что я вернулся. Мы ушли. -

Не забуду этого «перехода». У меня была температура около 41°. Мне казалось совершенно немислимым, что я пройду два квартала, которые надо было пройти. Но, пробираясь, держась за стенки домов, я увидел Владимира Германовича. Он шел мне навстречу, и вид у него был тоже нехороший. Он был не один, и по лицу его я понял, что не надо признаваться: я отвернулся к стенке, и он прошел около меня... Это был последний раз, что я его видел.

В эту же ночь он заболел сыпным тифом. И в эту же ночь его арестовали и отвезли в чрезвычайку. Там он и умер. Умер в ужасных условиях. Много дней к нему никто не входил, и когда наконец пустили близких... словом, это было ужасно...

В эту ночь случилось и другое событие. Был внезапно обыск в той квартире, где я приотился сначала. Арестовали всех, кто там был. Правда, через некоторое время выпустили. Но меня бы, вероятно, не выпустили...

Владимир Германович И. был одним из тех людей, которые так ценны в русской жизни. Происхождением немец, он был русским патриотом; давно известным типом — Штольцом среди Обломовых...

Последнее дело, в которое он вложил свою удивительную энергию, был так называемый «Отряд В. В. Шулгина», проделавший весь поход с полковником Стесселем. Весьма возможно, что все это была ошибка и этого отряда не надо было, но нельзя не отметить этой настоящей deutsche

* Возвращение (*лат.*).

Треуе*, которая побуждала В. Г. стоять до конца, сделать все возможное, исполнить свой долг до последней черты...

Все мы четверо (один из фрагментов стесселиады) переболели возвратным тифом. Об этом не стоило бы упоминать, если бы это не было так типично для нашей эпохи. Мало кто из русских времен борьбы белых с красными избежали того или иного тифа. «Abdominalis», «Erythematous», и «Recurrentis»** были истинными архангелами русской революции. Многие испытали все три тифа. Мы обошлись одним.

Может быть, читателю будет интересно знать, что моя семья, с которой я расстался где-то в румынской деревне и собирался встретиться в Белграде, очутилась... в Одессе.

Румынам неприятно будет, быть может, прочесть эти строки. «Но «сами боги не могут сделать бывшее небывшим»,— говорит греческая поговорка. На следующий день после нашего ухода румыны выгнали из своей страны оставленных нами женщин и детей. Напрасно сочинялись пламенные телеграммы королеве румынской о помощи и милосердии. Конечно, если бы ее величество получила эти телеграммы, вероятно, что милосердие было бы оказано. Но в том-то и дело, что никаких телеграмм румынские офицеры не принимали, и вот произошла эта невозможная история: доведенных до последней грани отчаяния и усталости женщин выгнали к большевикам. Некоторые не выдерживали и искали в своих сумочках яду. По счастью, у других хватило мужества перенести все до конца и удержать ослабевших.

К чести «товарища Котовского» надо сказать, что его штаб принял этих несчастных прилично. Особых издевательств не было, они получили даже возможность нанять подводу за «царские пятисотки» и приехать в Одессу.

* * *

Свет не без добрых людей. В этом я убедился...

Нас приютили всех... Когда меня раздевали, я пробормотать этим, до той поры мне незнакомым, людям:

* немецкой Трои (нем.)

** Брюшной тиф, сыпной тиф, возвратный тиф (лат.).

— Вы ведь не знаете, что у меня... Может быть, «сыпняк»...

На что хозяйка ответила:

— Это будет восьмой в моей квартире...

* * *

Recurrentis был как resurgens... Четыре приступа...

Меня лечил один врач... Он приходил каждый день и очень хорошо знал, кто я.

Это я пишу так, на всякий случай для тех, кто обуян жадной расстреливать «комиссаров»... Смотрите, не расстреляйте в припадке святой мести тех, кто, ежедневно рискуя головой, спасал жизнь вашим близким и друзьям...

Такие случаи бывали и будут. Ибо не все ведают, что творят...

* * *

Этот доктор был окном нашей больной комнаты в мире, которого я не могу назвать божьим, ибо он был большевистским.

Перевязывая сыну отмороженные ноги, он начинал говорить о политике. Разговоры эти сводились к обсуждению тех слухов, которыми питалась Одесса. Каждый день она изобретала что-нибудь новое,— без промаха лживое... Но все же все верили и надеялись.

Я обыкновенно в этих случаях светил доктору огарком свечи, который немедленно гасился, как только операция кончалась. Ибо свечи были в то время уже предметом роскоши. Тогда разговор продолжался в сумерках масляной коптилки — инструмент, бывший в эту зиму во всеобщем употреблении в Одессе.

* * *

Recurrentis длился приблизительно март месяц. Я имел время подумать. Я думал и во время приступов, и в перерывы, и во время выздоровления.

И странно... Жизнь окрашивалась то в терпимые, то в мутные, то в безысходно мрачные тона.

Все от точки зрения.

Когда я смотрел назад, в недавнее прошлое, теперешняя наша жизнь казалась чуть ли не раем... Давно ли мы

замерзали на снегу ночью, скрываясь, как волки, в зарослях и лесах... А теперь мы имеем кров и пищу... нас лечили, о нас заботились, сколько возможно...

Когда же я сравнивал с далеким прошлым, давно прошедшим, на душе становилось серо до мути.

Следующие строки я пишу только потому, что ведь так, как мы, жили все в этом большом городе... А в других больших городах жили неизмеримо хуже.

* * *

Маленькая комната, где нас трое или четверо. Не топлено... Никто не топил этой зимой в Одессе. А измученный после болезни организм просит тепла. Тепло иногда и приходит утром с солнцем. Проснешься рано и долго ждешь этого красноватого, первого луча, который, загоревшись красным пятном, желтея и теплея, двигается по стене. По его движению мы научились узнавать и время.

Часов ведь нет...

Когда немножко нагреет комнату, начинается комично мерзкое занятие. Ужасно трудно от них избавиться. Для этого надо постоянно менять белье. Если перемен нет, мыть надо. И моется, но ведь в холодной воде. Для горячей надо дров. А другие вещи, например, которыми укрываешься, разные фрагменты бывших пальто, их надо бы продезинфицировать. Но это не так просто. Конечно, в конце концов, справляются, но путем упорной борьбы. Борьба ведется: или просто охотой, или стиркой, или утюгом... Сильно горячим утюгом выгладить вещи по швам очень хорошо... Рекомендую всем впавшим в социализм...

* * *

Затем следует приготовление какого-то суррогата чая или кофе на керосинке... Ого, какая это возня!.. Фитили не горят, вечно что-то портится... Скучно и грязно... И никаких способностей.

Мы ведь были артисты, поэты и писатели и...

...рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв...

* * *

А тут...

Надо стоять в очереди за керосином несколько часов, потом бежать куда-то за хлебом, потом... Потом уборка комнаты, мытье посуды, стирка, починка, тысяча этих изводящих мелких дел. Потом надо взять обед. Опять бежать куда-то в очередь. С обедом мы устроились поразительно дешево. 18 рублей обед... Но это потому, что... словом, через кого-то мы стали семьей какого-то «спеца». Обед состоял из какого-то варева вроде супа или борща, без мяса, конечно. Кроме того, каша. Каша перемежалась: гречаная, пшенная и «шрапнель». Шрапнель многие саботировали. Другие, более смиренные, съедали. Мы брали два обеда на троих.

Общее правило после тифов: зверский голод. Надо жиров. Их и покупают. За деньги все можно достать пока. Но ведь денег хватит еще на некоторое время, а дальше что?..

Что дальше?..

Гонишь эту мысль, пока светло.

Почитаешь у окна в кресле. Окно низкое и выходит на улицу. Видишь людей, иногда они любопытно засматривают в окошко. Тогда непременно кто-нибудь обеспокоится, не выследили ли уже!..

* * *

Я читал что попало. Но больше всего мне нравился один польский роман. Действующие лица исключительно графы и князья. Описывается великосветская охота, балы и все это gettie-menage* большого света. Княжна Гальшка Збаражская правит четверкой великолепных лошадей, окруженная свитой не ниже барона. Ее брат никак не может жениться на девушке колоссального состояния, потому что она не записана в какую-то родословную книжку.

Мне доставляло искреннее удовольствие сопоставление этого мира с тем, что шмыгало у меня за окном... Для любителей контрастов это было весьма недурно...

* суета (фр.).

Сыну, Ляле, который лежит с отмороженными ногами и голодает между приступами «возвратного» тифа, тоже нравится польский роман. Но иногда он швыряет книжку и с неподражаемым выражением апострофирует:

— Буржуи проклятые...

Когда же дело осложняется какой-нибудь психологической драмой, он презрительно прибавляет:

— С «нравственного жиру» бесятся...

* * *

И действительно...

Немного смешными кажутся эти «душевные страдания», когда все «живы и здоровы» и находятся в полной безопасности.

Мы знаем только две «психологические» муки: когда близким людям грозит тяжкая болезнь или смертельная опасность...

* * *

Но они возвращаются, эти мысли о том, что будет дальше, когда стемнеет. Когда стемнеет, в комнате почти мрак. Электричества нет, керосин слишком дорог, горит коптилка на масле. Она дает столько света, сколько лампадка, но последняя — утешение сердцу, а эта наводит мрак на душу.

* * *

Что впереди? Какой выход из этого положения?

Ну, хорошо,— теперь я болен. Стесселевские деньги еще есть. Но дальше?

Служба?.. У кого? У большевиков? Нет!..

Частную найти очень трудно. Где? Все закрывается, и притом... Не сказать,— кто я,— подвести... А сказать... кто примет?..

* * *

От собственного положения мысли бегут к общему. Что делается?

Это был первый период, когда большевики покончили, как они думали, с Деникиным и пытались или симулировали попытку смягчить террор²⁰. В Москве была объявлена амнистия и даже отменена смертная казнь. Правда (и это, кажется, единственный раз, когда «Украинская Социалистическая Советская Республика» воспользовалась своей самостоятельностью), было разъяснено из Харькова²¹, что все это к Украине не относится: здесь, мол, продолжается контрреволюция и потому и террор должен продолжаться. Но все же общее настроение сказалось и в Одессе.

Конечно, чрезвычайка должна убивать кого-нибудь. Для власти, державшейся только на крови, опасно не упражнять людей в убийстве: отвыкнут, пожалуй. Поэтому убивателям нашли дело. На этот раз, впрочем, это еще была наиболее благоразумная локализация кровожадности: чрезвычайкам приказали убивать «уголовных».

Одесса с покон веков славилась как гнездо воров и налетчиков. Здесь, по-видимому, с незапамятных времен существовала сильная грабительская организация, с которой более или менее малоуспешно вели борьбу все пятнадцать (нет, их было, кажется, 14),— все четырнадцать правительств, сменившихся в Одессе за время революции. Но большевики справились весьма быстро. И надо отдать им справедливость, в уголовном отношении Одесса скоро стала совершенно безопасным городом.

* * *

Остальных пока не трогали. В отношении офицеров несколько раз объявлялись сроки, когда все бывшие белогвардейские офицеры могут заявить о себе, за что не будут подвергнуты наказаниям. Часть «объявилась», часть — нет.

Разумеется, все это не относилось к лицам, имевшим с большевиками особые счеты, вроде меня.

* * *

Однако в направлении «смягчения» были даже довольно странные факты.

В один прекрасный день пришел циркуляр из Москвы, по-видимому, от Луначарского, — предписывающий читать лекции рабочим и солдатам, с целью развития в них «гу-

манных чувств и смягчения классовой ненависти». Во исполнение этого те, кому сие ведать надлежит, обратились к целому ряду лиц с предложением читать такого рода лекции и с представлением полной свободы в выборе тем и в их развитии. Эти лекции состоялись. Одна из них имела особенно шумный успех и была повторена несколько раз. Это была лекция об Орлеанской Деве. Почему коммунистам вдруг пришла мысль поучать «рабочих и крестьян» рассказами о французской патриотке, спасавшей своего короля, объяснить трудно. Но это факт...

* * *

Что же, можно из этого делать какой-нибудь вывод?.. Неужели большевики действительно поумнели?..

Вздор! Все это на первых порах. За «эскападами» товарища Луначарского стоит власть, которую так ненавидят, что ей остается одна дорога: дорога террора. И они начнут его опять, непременно начнут.

Единственное, что могло бы «изменить курс», это если бы кто-нибудь из них, напр., Ленин, поняв, что они идут в пропасть, расстрелял бы всех своих друзей и круто повернул бы прочь от социализма... Но ведь это невозможно.

* * *

Где фронт? Существует ли он вообще? Как будто бы Крым еще держится. Но какая слабая надежда, чтобы он удержался. Что там происходит?

Слухи... Да ведь как верить этим слухам! Разве давно вся Одесса поверила тому, что украинцы где-то совсем близко? Потом их заменили румыны. Затем румын сменили какие-то союзники. После союзников была очередь сербов. Затем исправили: не сербы, а болгары. После болгар была очередь поляков. Наконец, самое последнее изобретение: столько-то полков немцев перешло румынскую границу и находится уже в немецких колониях. Все это вздор, все эти слухи плодит страстная жажда освободиться от большевиков какую угодно ценой.

Обыкновенно в бессонные ночи я додумывался до трех часов. Я знал, что это три часа, потому что в это время кто-то оглушительно среди мертвой тишины стрелял из нагана перед самым окном. Выстрел этот звучал неприятно, как-то жутко...

Иногда глубокой ночью проходили моторы, и всегда казалось, что это едут расстреливать...

Может быть, и расстреливают — только мы не знаем...

* * *

Так тянулись дни и ночи. На страстной неделе я в первый раз вышел. Как трудно было передвигать ноги! Я зашел в церковь. Служили панихиду по ком-то, а после панихиды какая-то женщина обносила «церковных старичков» кутьей и колевым, как принято. И мне дали. Я ел, во-первых, потому, что был голоден, а во-вторых, потому, что я был очень рад, что меня приняли за церковного старичка. Значит, мне нечего было опасаться: теперь меня никто не узнает. После этого я поплелся на свидание, которое было у меня назначено с моим родственником Ф. А. М.²⁷ Свидание должно было произойти в Александровском парке у колонны.

Когда я подходил, я увидел, что у колонны один человек. Это должен был быть он. Я подходил тоже совершенно один. Кроме нас двоих никого не было. Но мы долго стояли друг против друга, не решаясь подойти. Я никак не мог определить, он это или нет. А он смотрел на меня, очевидно, с той же мыслью. Наконец я решился. Да, это был он. Действительно, узнать его было невозможно. Он же, со своей стороны, утверждал, что никто в целом мире меня не узнает.

Когда я шел обратно, я хорошо рассмотрел себя в большой зеркальной витрине.

Да, действительно. На меня смотрел человек лет около шестидесяти пяти с большой седой вьющейся бородой. Согнутый, еледвигающий ногами... «Церковный старичок» — одно слово.

Это была работа рекуррэнса. Оказывается, что болезнь искусный гримировщик. Это, впрочем, было донельзя кстати...

* * *

На Пасху, которая была 29 марта, было большое торжество. Очевидно, еврейская власть²⁸ захотела сделать любезность по отношению к христианскому населению, потому что после целой зимы беспросветного мрака на три дня Пасхи дали электричество во все квартиры.

Кроме того, у нас был роскошный домашний обед. Главное блюдо составляли мидии — ракушки, которых во множестве выбросило сжалившееся над несчастными белыми доброе Черное море... Вера и Ваня (дети хозяев) целый день их собирали...

СТРАХИ

Ирина Васильевна²⁶ поступила в театр. Объявила у себя «балетную студию», что, по большевистским законам, давало ей право на лишнюю комнату: большевики покровительствуют искусствам. Вот именно эту комнату заместо балерин после Пасхи заняли бывший редактор «Киевлянина» и поручик инженерных войск В. А. Л.²⁷

Отвыкшие от всякого комфорта, мы умели ценить то, что, обыкновенно, в прежние времена даже не замечалось.

* * *

Удобная кровать... чистые простыни... одеяла... подушки... два мягких кресла... диванчик... даже маленький письменный стол... на дверях портьеры... из хорошей старорежимной серой парусины...

Я помню, сколько раз, просыпаясь по утрам, я мечтательно смотрел на эти портьеры и думал:

«Вот рубашка, вот гм... гм... а, впрочем, вышел бы и верхний, летний костюм...»

Пол был паркетный. Я тщательно выметал его по утрам и мечтал хоть один раз «ополотериться», как сказал бы Игорь Северянин, то есть натереть его воском.

И потом... ведь в этой квартире можно было прилично вымыться... Правда, при социалистическом режиме вода в водопроводе не всегда идет и никогда не идет в верхние этажи. В этом доме воду можно было получить только во дворе. И это была моя обязанность. Я отправлялся в маленький садик, где среди цветов был не фонтан, но кран, или, как говорят в Одессе, «крант», и таскал ведрами воду. Норма была восемь ведер, которые я вливал в ванну, и было всем благо.

Иногда я пилил дрова, но это, так сказать, по большим праздникам.

Но кроме всех этих благ в этой квартире оказалась еще... гитара...

Да, смейтесь...

Нужда пляшет, нужда скачет...

Я решил, что пора «песенки петь».

* * *

Дело в том, что деньги быстро таяли...

Все мое состояние заключалось в двадцати английских фунтах и остатке от тех «колокольчиков» (деникинские тысячерублевки), которые тогда в лесу были розданы Стесселем...

Кстати, должен сказать, что «колокольчики», несмотря на официальное запрещение под страхом расстрела, котировались на подпольной бирже Одессы. Стоимость их, кажется, не падала ниже трехсот советских рублей, но порою подымалась до «al pari».

Огромное количество людей в Одессе занималось спекуляцией на деньгах. Да могло ли это быть иначе? Куда же могли деваться эти «кошмарические» стада всевозможных биржевиков, которые наполняли Фанкони и Робина и густой толпой стояли на углу Дерibasовской и Екатерининской, торгуя кокаином, сахаром и валютой?

Одесская чрезвычайка вела с ними борьбу, многих расстреливала, но остальные продолжали работать. Но, разумеется, теперь работа шла в самом строгом подполье. И так, деньги таяли. Служить у большевиков я не мог и не хотел. Пристраиваться к каким-нибудь кооперативам было трудно; знакомые меня не приняли бы, а знакомые, боясь не столько за себя, сколько за меня, всячески отговаривали. Что делать?

И вот выходом из положения явилась гитара.

Старик с седой бородой... Ясно, что человек знал лучшие времена... какое-нибудь небольшое кафе... разбитый, надтреснутый голос... такой же разбитый, как и безвозвратное прошлое... старинные романсы... исключительно старинные, такие забытые и такие незабываемые... Жалобный звон струн... очень тонне...

И вот я, действительно, подготовлял себе такое местечко. Составил себе уже целый репертуар, мобилизовал голос...

Помню, мне когда-то П. Н. Милуков сделал комплимент. Я жаловался, что совсем не могу говорить в Думе из-за крайней слабости голоса. Он мне ответил:

— Да, голос у вас слабый... Но он поставлен, как у певца. Вы не поете?..

И вот на старости лет оказалось, что я пою... для развлечения пролетариата...

Нужда песенки поет...

«Кто не трудится, тот да не ест...»

* * *

Ирина Васильевна (настоящее ее имя другое) в этот день очень беспокоилась...

Ей почудилось, что кто-то следит не то за ней, не то за мной,— вообще что-то жуткое. Я кое-как ее успокоил. Но к вечеру «инцидент» всплыл снова, в форме категорического «предчувствия» у Ирины Васильевны, что ночью придет чрезвычайка, а потому мне совершенно невозможно остаться в квартире. И это предчувствие росло в такой угрожающей форме, что мы с поручиком Л. решили уйти, ибо совершенно было ясно, что все равно в эту ночь оно никому спать не даст.

* * *

И мы ушли...

Но это легко уйти, когда знаешь, куда пойти. А ведь мы отлично понимали, что во всякой квартире нам, быть может, и не откажут, но особого счастья не ощутят: ведь везде каждую ночь может быть обыск, и тогда хозяин квартиры будет отвечать за укрывательство контрреволюционеров.

Поэтому мы решили ночевать на улице. Но опять-таки это удобно можно было сделать «под игом самодержавия». Но в свободном социалистическом государстве всякого человека, который осмелится показаться на улице позже известного часа, ловят, как преступника, и тащат в участок. Почему при социализме нельзя ходить по ночам, никак не могу понять.

Мы решили ночевать где-нибудь в подъезде.

* * *

Нет, это слишком холодно. Эти камни обладают удивительной способностью быстро остывать. И притом эта ниша, куда мы залезли, плохо защищает от взоров патрулей. А сейчас патрули пойдут. На улицах уже ни одного человека. Идет тихий, мирный дождь. Удивительно, как быстро большевики покончили с грабителями, налетчиками и всякими уголовными.

Надо пройти. Ну, в конце концов, наскочим на патруль, как-нибудь вернемся. И потом — блестящая мысль: пусть патруль нас забирает. В конце концов, не расстреляют же за это, за позднее хождение, переночуем в участке, во всяком случае, теплее...

Пошли... На одном из перекрестков:

— Стой!..

Мы остановились.

— Откуда так поздно, товарищи?..

— Да разве ж поздно?.. Вот беда, часов нет!.. Что, будете забирать нас, товарищи, в район?

— А вы кто такие?.. Далеко вам?

— Да нет, не далеко нам... Тут на Канатной.

Патруль, собравшись вокруг нас кучкой, раздумывал.

— Ну, идите... домой... все равно...

Вот неудача...

* * *

Идем дальше. Дождик перестал,— работает луна. Это большое подспорье социалистическому хозяйству. При социализме, как общее правило,— электричество не горит. Совершенно тихо. Вдруг снова наткнулись на патруль.

Эти нас взяли. Мы едва успели условиться, что сочинять, как нас разделили.

Старший подошел к Вовке и о чем-то с ним беседовал на ходу. Потом подошел ко мне.

— Откуда вы идете, товарищ?

— С Ришельевской.

— А номер?

Я сказал условленный номер.

— У кого же там были?

Я сделал застенчивое лицо.

— Да это... его знакомые... он молодой... я там в первый раз и был...

— Ну да, а фамилия как?

Я сказал нарочно исковерканную фамилию, но похожую на ту, которую должен был сказать Вовка. При этом прибавил, что, может быть, и не так, потому что я этих барышень не знаю, мне, старому, неинтересно...

— Значит, выпивали, товарищ?

— А что же я пьяный, что ли?

Я дунул ему в нос.

— А чем занимаетесь?

— Артист... музыкант... Раньше на рояле и на скрипке давал уроки, а теперь на гитаре... Специальность «старые романсы»... Ученики ко мне ходят... Сам голос я уже потерял, не выступаю... После тифа...

Заинтересовавшись, подошел другой патрулист.

— Так вы, товарищ, гитарист?.. Я тоже на гитаре играю. Хорошая у вас гитара?

— Ничего себе... Только раньше я привык играть на одиннадцатиструнной, а эта обыкновенная — семиструнная... Ничего, сходит...

— А какие романсы, товарищ?

— Исключительно самые старинные. Ну вот, например, «Тигренок», «А из рощи, рощи темной», «Три создания небес» — вот тоже замечательный романс... Это не то, товарищ, что теперь пошло — Вертинский-Верединский²⁸... «Лиловый негр ей подает манто»... ну, какой смысл!.. Почему он «лиловый», когда все негры черные?

Тут я решил остановить поток своего красноречия: кажется, было довольно. Патруль явно убедился в нашей невинности и подлинности. Старший сказал дружелюбно:

— Ну, если, товарищи, у вас документы в порядке, то вам ничего не будет... Сейчас и отпустят...

* * *

Район... Темь полная. Патруль, ругаясь, поднимается по лестнице на ощупь. Вводят нас в какое-то помещение. Тут тоже абсолютно темно. В темноте старший кому-то докладывает про нас. Происходит ругань ввиду того, что нет ни света, ни спичек. Наконец с трудом находят. Зажигают какую-то коптилку, которая считается лампой. Участок. За перегородкой начальство, в виде какого-то еврея. Нотабена: патруль, как, по-видимому, вся низшая милиция, — из русских. А начальство, так, приблизительно с чина околоточного надзирателя, — еврей.

Начальство спрашивает, кто мы, где живем, документы. Предъявляем...

Комиссар занялся тем, что вызвал по телефону адресный стол: проверить, живет ли такой-то по указанному мною адресу. Но, видимо, с ответом что-то не ладилось...

— Что? Нет света в адресном столе?.. Не можете дать справки? Что? Разбили себе голову?.. Обо что?.. О шкаф?.. Что за безобразие...

В конце концов, проэкзаменовав нас еще о роде наших занятий, причем снова на сцену выплыла гитара и старинные романсы, нам объявили, что мы свободны. Но это совсем не входило в мои планы.

Прежде всего, я рассудил, что прятаться от чрезвычайки выгоднее всего в районе, ибо карающей руке Советской власти не придет в голову искать контрреволюционеров в своей собственной полиции. А во-вторых, куда же нам идти?.. Опять на улицу?.. Но первый патруль схватит нас снова.

Поэтому я попросил разрешение переночевать здесь, в районе, каковое милостиво получил.

Мы улеглись на широком подоконнике. Начальство «дормировало» на деревянных скамейках.

* * *

Утром мы были разбужены довольно странным инцидентом.

Начальство хотя и грозно, но довольно беспомощно взывало:

— Вестовой!.. Что вы не слышите, вестовой!..

Да, у них есть «вестовые»... В этом государстве социалистов, тех самых социалистов, которые чуть ли не краеугольным камнем своей программы ставили борьбу против «денщиков»...

— Вестовой!..

В ответ на последний отчаянный призыв неожиданно раскрылся... шкаф... Большой шкаф для дел... И с верхней полки раздалось:

— Чого?

Потом свесились громадные сапоги, которые вместе с нечесаной головой и прыгнули в комнату.

Посмотрев на нас, «вестовой Украинской Советской Социалистической Республики» добродушно изрек:

— Такая наша квартира...

* * *

Было уже совсем светло. Мы пошли. Но так как в пять часов утра возвращаться не приходилось, решили пройтись по базару, благо он под боком.

Какая красота, этот базар...

Правда, ничего, кроме редиски... Но зато ее-то уже вдоволь. Она собрана в большие корзины, которые напоминают огромные чудовища с сотнями усиков,— это хвостики редисок. Чудовища розовые, красные и лиловые всех оттенков, впрочем, есть желтые и белые.

Мы купили по пучку (50 рублей пучок) и лазали по базару, аппетитно закусывая... Захотелось бубликов. Торговка долго почему-то смотрела на Вовку. Наконец сказала:

— Извиняюсь, вы русский?

— Русский...

Она перекрестилась...

— Вот, поверите, первый раз, как ушли денкины, на русском человеке студенческую фуражку вижу... Ах, жида проклятые...

* * *

В это утро была суббота.

А потому, пробродив изрядное количество времени по улицам, мы сподобились увидеть «субботник»...

Субботник — это последнее слово социалистической изобретательности.

Субботник — это значит, что каждую субботу, в таком-то часу, все истинные сыны Советской Республики должны собираться на такую-то улицу... Сегодня они собрались здесь...

Впереди — колоссальный красный плакат с золотой надписью: «Кто не трудится, да не ест». За плакатом оркестр военной музыки. За оркестром — небольшая военная часть, которой командует товарищ командир, расписанный, как картинка. Красные чакчиры, гусарские сапоги, голубой доломан... Без погон, но на рукаве роскошно вышитая золотом и серебром звезда. На голове кубанка, ноги пружинят, голос звенит... Смотри на него, вспоминаешь песню:

Я возьму воровскую дубину
И разграблю я сто городов.
Разукрашу себя, как картину...

Сам же «субботник» стоит вдоль улицы, в некотором роде поротно. Вглядываюсь в лица — почти сплошь евреи... Вглядываюсь подробнее — вижу массу студентов или, во всяком случае, еврейчиков в студенческих фуражках... Стараюсь сообразить, почему бы это,— и догадываюсь: ведь это цвет нации, это «партийные коммунисты», для которых участие в субботниках — обязательно...

Впереди плакат, посредине плакат, сзади плакат...

Музыка играет марш, товарищ командир в красных штанах командует с непередаваемой интонацией наглости и презрения, и субботник дефилирует...

Куда? Зачем?

Совершать «пресловутое русское дело»... В завтрашней официальной газете в отделе известий можно прочесть, что сегодняшней субботник прошел с громадным успехом и что собравшиеся «истинные граждане Советской Республики» без всякого вознаграждения «перенесли с места на место столько-то десятков шпал, вывели столько-то квадратных аршин такого-то двора, перетолкали без помощи паровоза целых пять ужасно тяжелых нагруженных вагонов»...

* * *

Лиловый ирис стоял на балконе... Это был знак, что можно безопасно входить в квартиру.

Никого, конечно, ночью не было, все это были только призраки.

Но что такое «факт»?.. Когда он светит из прошедшего, тогда его называют воспоминанием. Когда же его луч пробивается сквозь «туман будущего»,— это предчувствие...

«Беспричинные страхи» Ирины, конечно, были предчувствием факта. Она только не могла справиться с четвертой координатой — с временем.

То, чего она боялась теперь, случилось несколько позже.

КУРЬЕР

Мы знали к концу апреля, что Крым держится, что борьба возобновилась, что во главе армии стал генерал Врангель. Однако меня удивляло, почему наши крымские друзья не подают никаких известий.

Правда, несколько раз бывало так, что по Одессе бежал слух: высадилось столько-то человек. Но это, обыкновенно,

сопровождалось через некоторое время разъяснением, что все они или часть попали в чрезвычайку и расстреляны...

* * *

Я получил приглашение от своего родственника Ф. А. М. увидеться с ним по важному делу. Я пришел к нему ночевать. Он жил далеко, на Молдаванке.

Был май месяц, на улицах было много цветов и много жизни. Правда, особенной жизни... Веселящегося, жизнерадостного русского лица здесь нельзя было встретить. Но еврейская молодежь «фетировала» весну...

Я добрался до Молдаванки. Научились мы, контрреволюционеры, ходить необычайно. Ведь лучшее средство, если существует опасность, что за вами следят,— это бешеная быстрота ходьбы. Ибо те, которые следят, тоже должны будут неистово нестись, обгоняя всех, и вам скоро это станет ясно.

* * *

У Ф. А. я застал ошарашивающую новость: курьер из Севастополя. Он был тут же в комнате, этот человек, и мало того — он был одним из тех людей... словом, Ф. М. его хорошо знал. Его инициалы Н. Л. Б.

Вот, наконец, первые, более или менее достоверные известия о Крыме.

Да, армия существует... Перешейки держат крепко и не дают уступать. Армию нельзя узнать,— дисциплина восстановлена, грабежи и всякие мерзости прекращены беспощадными, но умелыми действиями генерала Слащева²⁹.

Был бунт капитана Орлова³⁰, но он подавлен. Теперь положение прочное. Намечаются реформы — земельная, волостная... С рабочими отношения урегулировались в Севастополе. Вообще, в Крыму полны надежд...

Он приехал за информацией, просит дать ему всякие письменные сообщения обо всем, что мы знаем. На днях он едет обратно, тем же путем — через Тендру...

Было решено, что Ф. А. М. поедет с ним...

* * *

Ф. М. пришел ко мне перед отъездом проститься. Выяснилось, что Н. Л. Б. ехать еще не может. Но взамен себя

он предложил одного из своих товарищей. Они, оказывается, вчетвером приехали из Крыма. Один из этих четверых, совершенно верный человек, должен был сопровождать Ф. М.

Ф. М., или Эфем, как он иногда подписывался, был мне близким человеком. Я любил его, как младшего брата. Поэтому больно мне было, что он такой грустный и даже совсем как-то «не в себе» был при нашем расставании...

Я вышел провожать его на лестницу... Он, спускаясь, смотрел на меня своими красивыми глазами, и были они полны чего-то прощального и обреченно-смирившегося, и вся его удаляющаяся, слегка согнутая фигура жала мне сердце тоской...

* * *

Я приписывал его состояние, «не в себе», тому настроению, которое было для него характерно последнее время...

* * *

Это подготовлялось в нем давно. Но окончательно утвердилось в последнее время.

Он пришел к богу. В особенности к Христу...

Он был необычайно талантлив, но очень непостоянен. Он бросил политехникум для живописи, живопись для беллетристики, беллетристику для скульптуры, скульптуру для Красного Креста, Крест ради изобретения какого-то нового мотора и, наконец, во время революции принял участие в политической борьбе. И вот тут и сформировалось это...

Он разуверился в силе разума. Он понял, что идут верно только те, кто имеет бога в сердце. Он стал искать веры. И она пришла к нему, пережившему и передумавшему все ухищрения ума,— простая и бесхитростная...

На этой почве у него родилась мысль... Чисто христианская... Он все мечтал о создании, как он говорил, «Политического Красного Креста»... Чтобы было такое учреждение в гражданской войне, которое при красной власти имело бы право «печаловаться» о белых, а при белой — о красных... Такое учреждение, которое признавали бы обе стороны... Это учреждение он мечтал назвать «Обществом имени св. Николая Мирликийского»... Чтобы это понять, надо вспомнить картину Репина, где св. Николай останавливает меч, занесенный над головой осужденного...

* * *

На следующий день мне сообщили, что он ушел со своей квартиры,— так было условленно — вместе с приятелем Н. Л. Б. Они должны были добраться до знакомых рыбаков, которые переправят их на Тендру. На Тендре уже наши — генерал Врангель... Переход морем верст семьдесят... может быть, бог поможет...

* * *

Если бы Эфем добрался благополучно и оттуда, из Крыма, прислал бы деньги и инструкции, можно было бы кое-что сделать. Хотя из Одессы бежали все, кто мог, но все же кое-кто остался, волей или неволей. Мы могли бы работать... Этот курьер из Крыма подбодрил всех нас...

Появился просвет... Ведь этот курьер значит, что есть еще земля обетованная, клочок русской земли, где нет этих проклятых красных знамен, где не слышно гнусного «Интернационала», где люди вольно и легко дышат.

Надо работать для них, для тех, кто борется, кто идет нам на помощь...

«КОТИК»

Я помню хорошо этот день. Это было начало мая, кажется, 6-е число. Я, по обыкновению, сидел около раскрытого окна и пробовал набросать на бумагу то, что было очень давно. В окошко мне виделась часть города с садами и двориками.

В этих садиках всюду шевелились работающие на земле люди. Можно было без всякого колебания сказать, кто они. Это, конечно, были буржуи³¹, контрреволюционеры, парии советского режима. В социалистической республике почему-то устроено так, что чиновники, профессора, писатели, адвокаты, торговцы, офицеры, словом, люди интеллигентных профессий, должны работать физическим трудом. А люди мускульного труда должны работать головой.

Что же делают эти «буржуи» на хорошеньком квадратике, где зеленые узоры на желто-коричневом фоне раскалившейся одесской земли?.. Кажется, ухаживают за розами... Неужели розы есть в Советской Республике?.. Представьте себе — есть... Не только розы — масса цветов на

улице. Просто удивительно,— почему нет декретов об уничтожении всех цветочных заведений и запрещении продажи цветов на улице. Что может быть буржуазнее цветов... Есть, пить — это ведь во всяком случае и пролетарское занятие. Но цветы? Ленин и нарциссы... Троцкий и фиалка...

Глупые люди... Я бы на их месте этого не потерпел... Как они не понимают, что, пройдя по городу, в котором там и здесь на углах огромные, яркие пятна массивированных в одном месте этих чудных существ — цветов, самый жалкий, самый забитый, самый загнанный в щель буржуй вздохнет полной грудью и станет напевать:

Ще не вмерла Украина...

* * *

Итак, был чудный майский день... В окошко, кроме мыслей о буржуях, трудящихся над розами, врывались звуки военной музыки.

Удивительно, как большевики полюбили военный оркестр. Бедна все-таки человеческая изобретательность. Для того, чтобы поддерживать бодрость духа в армии, гимн которой «Отречемся от старого мира», — не нашли иного средства, кроме средства старого, как мир, — медь бряцающую.

Против моей квартиры за квадратиками с розами — большое красивое здание. То есть оно, собственно, потому кажется красивым, что оно свежо оштукатурено. В социалистическом раю не моются не только люди, но и дома. Это подлинное царство «неумытых рыл», и по весьма простым причинам... нет воды для лица, нет денег для ремонта домов. Кто будет ремонтировать?.. Частная собственность уничтожена. Дома управляются «домкомами», т. е. комиссиями, избранными населением дома. «Избранный» домком, разумеется, не может потребовать с «избирателей» такой платы за квартиру, которая дала бы возможность ремонтировать дом. И потому дома постепенно разрушаются, и уже, конечно, не до того, чтобы штукатурить фасады...

И вот посреди этих угрюмых, постаревших, покрывшихся преждевременными морщинами домов нарядненько, чуть голубоватой свежей штукатурочкой кокетничает это большое здание...

Что это такое?.. Ну, разумеется, это то, чем только интересуются в царстве «трудящихся»... Это — штаб, т. е. место,

где разрабатывают способы, как принудить 150 миллионов народа трудиться не покладая рук, для того чтобы 150 тысяч бездельников, именующих себя «пролетариатом», могли бы ничего не делать. (Это строй, как известно, называется «диктатурой пролетариата»...).

Так вот, против нарядного советского штаба, влезшего в здание, которое было построено до революции для Военного округа, всегда происходят какие-то парады.

Парадомания у большевиков ничуть не меньше, чем в эпоху Павла I³². Вот играют «встречу». Кого это встречают?.. Ах, да... наш город посетил высокий гость — товарищ Луначарский... Питомец Киевской императорской Александровской гимназии, ныне нечто вроде министра искусств Социалистической Республики. Почему ему устраивают военную встречу,— понять трудно: это пахнет Гоголем...

Музыка замолкает. Слышны какие-то отдельные нечленораздельные звуки, как испорченного, поставленного на чердаке граммофона. Очевидно, товарищ Луначарский говорит речь. Затем... ах, что это такое?! Да, это оно... Знакомое, могучее, непобедимое... Ах, глупые, глупые люди, несчастное русское стадо!.. Кричат «ура»... Волной перекачиваясь, затихая и снова взмывая, волнуемое, шемящее...

Есть ли предел русской дури...

Кому кричат «ура», заветное русское «ура», прокатившееся по всему миру, от Парижа до Пекина, от Швеции до Персии?.. Кому? Одному из тех негодяев, которые заставили русскую громаду резать друг друга и в награду за море крови подарили им голод, холод и темноту...

И кричат «ура»...

Значит, еще не конец... Значит, дурацкие головы, судьба будет еще хлестать вас по щекам до тех пор, пока не помнеете...

* * *

— Вас желает видеть какая-то дама...

Следует продолжительное совещание. Общее правило в Социалистической Республике, что каждый незнакомый человек может быть шпион. Я вдруг начинаю понимать, почему образовался этот обычай при встречах протягивать открытую руку...

Это вот почему... В век звериный, когда по мрачной земле бродили люди, видевшие за каждым стволом дерева

смертельную опасность,—люди свирепее скифов,—они все же иногда встречались... И если у них не было враждебных намерений, что бывало не часто, они показывали друг другу открытую ладонь, в доказательство того, что в руке нет камня. Затем, тихонько, с опаской подходили друг к другу, ближе и ближе и, наконец, чтобы убедиться окончательно, ощупывали друг другу руки. И с течением времени это превратилось в дружественное рукопожатие.

Так и сейчас... В этом царстве XX века, неозверинном, люди опять ощущают справедливость старинной поговорки: homo homini lupus est*.

И они не смеют прямо и просто подойти друг к другу. Подозрительно и долго по разным, неуловимым для свежего человека, но явственным для истого контрреволюционера признакам определяется — не из чрезвычайки ли этот человек, в данном случае — эта дама.

Но скоро я понял, что это просто Вера Михайловна³³.

* * *

Когда я с ней познакомился, мы очень быстро сблизилась... как это бывает только у большевиков,— на почве общей опасности и взаимопомощи. Оттенки ведь в Совдепии не в моде. Наказание, например, одно — «к стенке»... Так и в человеческих отношениях...

Вчера вы не были знакомы... сегодня у вас дружба в буквальном смысле слова не на жизнь, а на смерть... ибо завтра вы спасли ее или она вас... а послезавтра вас вместе расстреляют...

И вот она сказала мне:

— Вы знаете, что, кажется, из всех людей на свете я больше всего ненавидела вас...

— За что?

— За ваши речи в Государственной думе... Ведь я — убежденная эсерка... то есть была...

— А теперь?

— И теперь тоже... то есть нет... то есть не знаю... во всяком случае...

Я не стал расспрашивать об этом «всяком случае»... Дело было и так ясно...

Как много теперь таких на свете... сознавших... не-сознавших... и полусознавших, как Вера Михайловна...

Человек человеку—волк (*лат.*).

Вера Михайловна была очень взволнована. Вот что произошло.

В кафе, куда она случайно зашла, пришел какой-то субъект. Он обратился к прислуживающей в этом кафе даме. Известно, что революция произвела в России революцию также и в кафе. Образовался целый ряд предприятий, содержимых так называемыми «дамами из общества». Поэтому вы никогда не можете быть уверенным, что барышня, которая подает вам кофе или пирожок, не какая-нибудь звонкая русская фамилия или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, профессия, именуемая на Западе кельнершами, почти целиком перешла к интеллигентным русским женщинам.

Это кафе было в этом роде. Между столиками бродили придымленной походкой «бывшие дамы».

Этот субъект пил кофе и говорил непонятные вещи. Он, мол, приехал из Крыма и имеет важное поручение. От кого?.. От «Слова»? К кому?.. К «Веди»?.. Усталые дамы с придымленной походкой ничего не поняли в этой таинственности. Они не знают никакого «Слова» и никакого «Веди»...

Тогда субъект стал говорить прямее. Он прислан к В. В. Шульгину, и в Крыму ему сказали, что он доберется до него через это кафе...

На бледных лицах бывших дам отразилось изумление и страх. Конечно, они слышали мою фамилию и очень понимали, что вести со мною знакомство в настоящую минуту не безопасно. Но ведь они по-настоящему никакого понятия обо мне не имели. А вдруг этот человек провокатор...

Вера Михайловна слушала все это, не подавая виду. И вот прибежала сообщить мне. Субъект говорил о том, что он имеет очень важное поручение из Крыма, что ему совершенно необходимо меня повидать, что он привез деньги для меня. Он будет ожидать завтра целый день в такой-то квартире. Он называл себя «Котиком».

Вера Михайловна сидела на подоконнике. Обвивая ее с двух сторон, врывались желтые звуки медных инструментов. Какому еще великому человеку играли встречу?..

В эту минуту, несмотря на запрещение, в комнату вошла Ирина. У нее был румянец на щеках, и голубые глаза явственно доказывали, что она или скажет дерзость, или будет плакать. За ней с виноватым и хмурым видом вошел

Вовка — поручик Л. Очевидно, ему не удалось ее удержать, как ему было приказано. Я понял, что ничего не поделаешь, и познакомил этих дам.

Обсуждение положения началось вчетвером.

Ирина сразу приняла агрессивное положение.

— Ясно, что этот «Котик» провокатор... От «Слова» к «Веди»!..³⁴ Ведь это прямо очевидно... Ваши письма были озаглавлены от «Веди» к «Слову»... Естественно, что провокатор, чтобы заслужить доверие, употребит те же выражения в обратном порядке... И потом этот рассказ...

Она запнулась, потому что этот рассказ обозначал, что Эфема схватили... Рассказ был такой. Будто в день, когда он должен был уехать с товарищем того курьера, который был прислан из Крыма, его видели на улице на извозчике с какими-то вооруженными красноармейцами. Этот рассказ страшно взволновал меня, и я дал сейчас же ордер по всей линии узнать через наши связи, — не попал ли Эфем в одно из мест заключения, которых было несколько. Главное было на Маразлиевской, огромный дом, который одной стороной выходил на Канатную, 29. Потом была еще чрезвычайка на Екатерининской, потом была тюрьма и еще несколько мест... Всюду были наведены точные справки, ибо списки во всех этих местах ведутся. Но нигде его не было обнаружено. Это меня успокоило, и мы объяснили то, что его видели на извозчике с красноармейцами так, что его спутник переоделся красноармейцем для безопасности. Ирина В. утверждала, что субъект, появившийся в кафе, — провокатор... Но ведь можно было предположить и другое... Именно, что Эфем благополучно доехал и действительно передал письма «Веди» — «Слову» и что «Котик» привез ответ.

Расчет времени, правда, плохо выходил. Прошла ведь только одна неделя со дня отъезда Эфема. За это время ему доехать до Севастополя, а «Котику» приехать из Севастополя в Одессу было почти невозможно. Но «почти» не есть полная уверенность... А вдруг Эфем все же доехал, там мои друзья переполошились и в тот же день послали в Одессу мне на помощь...

Мы долго обсуждали этот вопрос. Шансы почти уравнивались. Может быть, и настоящий курьер, может быть, и провокатор.

В конце концов я решил пойти на свидание с этим «Котиком»... Благо он устроил это очень удобно — завтра он будет ждать меня целый день.

«Завтра» с утра собиралась гроза. И разразилась она тогда, когда Ирина с Вовкой ушли.

План кампании был таков. Вовке было поручено войти в ту квартиру, которая была указана, под предлогом, что он отыскивает комнату. Сделать рекогносцировку, так сказать, на взгляд, насколько квартира подозрительна, и, если возможно, не спрашивая ничего, а только «ловкостью рук» повидать этого «Котика», как он себя назвал. Сделав рекогносцировку, прийти в одну квартиру, где я его буду ждать.

Ирине было приказано (именно приказано,— она только что вступила в «организацию», и психологически душа ее жаждала приказа) неотступно следить за Вовкой, когда он будет выходить из той квартиры, и вообще на всякий случай. Самому человеку очень трудно определить, следят ли за ним. Для этого случая обязательно должен быть сопровождающий, который легко выследит следящих. Это слежка за слежкой.

Они ушли, и пошел дождь, как говорится в каком-то глупом каламбуре. Этот дождь сыграл роль во всей этой истории.

Я слушал в продолжение часа, как он барабанил по крыше, потом надел какое-то непромокаемое пальто, которое я случайно нащупал в полутемной передней, свою черную фетровую шляпу и вышел.

Люблю грозу в начале мая...

* * *

Дождь стих, и очень пахло свежестью и цветами. Я страшно люблю эту минуту, когда после пустынности разогнанной дождем улицы вновь с феерической быстротой закипает жизнь. Люди почему-то в эти минуты какие-то веселые и молодые... Я думаю, всем, даже самым старым, хочется пошлепать по лужам...

Я поднялся в эту квартиру.

Две молоденькие барышни... Они были предупреждены, что я приду. Но им не было сказано, кто я. Им было сказано, что придет господин, которому надо видаться с Вовкой. И это было для них достаточно.

Я сказал с ними несколько слов. Они были киевлянки... У них не было почти никакой мебели в комнате. Одна ле-

жала на полу и что-то учила. Другая сказала мне, что она сестра милосердия. Обе были в большой нужде, но бодрые и радостные радостью молодости. И улыбались так, как могут улыбаться только киевлянки.

Узнали ли они меня?.. Может быть, да, может быть, нет.

Говорят, что женщины болтливы... Но как бы они могли, если бы это было, так обманывать? Ни один мужчина, самый скрытный, не так скрытен, как самая откровенная женщина. Это у них в крови.

* * *

Пришел Вовка. Он вошел в квартиру и нашел, что все в порядке, спросил «Котика» и даже привел его сюда...

— Как... Где же он?..

— В передней...

Мы попросили барышень «очистить помещение», и Вовка ввел этого человека.

Это был человек маленького роста, неопределенных лет, от 25 до 40... Совершенно бритый, голова и лицо. Характерно было следующее: он производил впечатление мертвой головы с этими глубоко втянутыми щеками и запавшими глазами.

— Вы — «Веди»?.. Я прислан от «Слова» к «Веди»...

— Да, я — «Веди»... Садитесь, пожалуйста...

По классическому обычаю всех Шерлоков Холмсов, я опустился в кресло спиной к свету, чтобы мое лицо было в тени. То есть я это сделал потому, что мои глаза не выносят света, но он-то, вероятно, подумал, что я это делаю из предосторожности. Он сидел около стола, маленький, незначительный, одетый в темно-синий люстриновый костюм. Такие стали почему-то входить в моду среди советского чиновничества (очевидно, прислали какую-то партию). Это мне не понравилось. Но ведь разве он не мог переодеться здесь?..

Он начал:

— Я очень боюсь... как бы меня не выследили... Правда, я переоделся совершенно...

Вот и ответ...

— У вас есть ко мне письмо?..

— Нет, письма не успели написать. Меня спешно вызвали к капитану Александросу, то есть к моему начальнику...

— Где?..

— В Севастополе... Я служу в военной разведке... Вдруг меня зовут и приказывают спешно ехать в Одессу, найти вас... Ведь вы господин Шульгин?

— Да, я Шульгин.

— Найти вас и передать вам хоть на первое время деньги. Эти деньги лично для вас... Немного... Тут же был и «Слово»... господин Л.

«Слово» вовсе не господин Л.... Это на мгновение возобновило мои подозрения... Но, с другой стороны,— откуда бы он мог знать, кто такой «Слово»... Очень естественно, что «Слово» не оказалось в Севастополе. Л. вскрыл письмо и поспешил прислать мне прежде всего деньги... Но подозрительно было, почему нет хоть бы маленькой записки, как это у нас было принято... Но, с другой стороны, ведь деньги не имеют запаха, а записка... записка всегда может погубить курьера.

— Хотите получить куш?..

Меня это выражение «куш», под которым он подразумевал присланные деньги, покорило. Но ведь мало ли какой у них жаргон, в этих разведках!

— Пожалуйста.

Он вынул пачку денег.

— Тут немного... Лично для вас... Сейчас же после меня или я сам или другой курьер привезут вам деньги на «дело». Вы только напишите, что вы предполагаете делать, ваши планы и размер организации и сколько вам, приблизительно, нужно... А тут разными деньгами... царскими, советскими... понасобирали...

— Это же, собственно, чьи деньги?..

— Это... право, не знаю... Мне передал Александрос, но я думаю, что эти деньги господина Л... Вы мне расписку можете написать?

— Пожалуйста...

— Еще одно...

По его лицу прошло нечто, что я сразу понял... Он будет просить какое-нибудь вознаграждение.

— Если вы можете, я вам часть этих «царских» дам «советскими».

Дело было ясно... «Царские» стоили во много раз дороже, чем «советские». На этом обмене он зарабатывал порядочную сумму...

Я его сразу понял, но решил ему не отказывать,— человек сто раз рисковал своей жизнью, чтобы добраться до меня, как ему не дать?

Я дал ему расписку, сообразив, что и после этого вычета останется порядочная сумма по нашим средствам. Деньги перешли в мой карман.

Я стал расспрашивать его о Крыме...

— Как армия?.. Дисциплина восстановлена?..

— Восстановлена. В некоторых частях очень хорошо... Был бунт Орлова, но это кончилось... Земельная реформа производится. С рабочими теперь стало лучше... Дорого, но хлеб есть...

— Что же, есть какое-нибудь правительство?..

— Да... во главе стоит как... его фамилия!., он еще был при старом режиме министром...

— Кривошеин?³⁵ — подсказал Вовка.

— Да, да, Кривошеин...

— Как вы ехали?

— Через Тендру... на Тендре — там пункт... а оттуда знакомые рыбаки переправили.

— Сколько времени вы ехали?..

— Три дня... там очень просят, чтобы вы как можно скорее прислали план вашей работы... Что вы предполагаете делать и все прочее... как можно скорее... я завтра хочу ехать обратно, я бы и отвез...

Я принял решение. Мне он казался настоящим курьером. Держал он себя просто, интеллигентности был средней. Я спросил его еще.

— Вы офицер?

— Нет... я из рабочих... Ропитовец...

Значит, и в этом пункте не врет: мне ясно было, что он не офицер. Среди же ропитовцев, т. е. рабочих «Русского общества пароходства и торговли», действительно было очень много сочувствующих нам элементов.

И я решил так. То, что он от меня просит, я дам ему завтра. За сутки что-нибудь выяснится. Нужно назначить ему второе свидание. Если выяснится что-нибудь подозрительное, я не пойду.

И я сказал ему:

— Вот что... я приготовлю план. Он будет изложен коротко, но по возможности полно; я заделаю его так, чтобы вам легко было его везти. Например, вы получите завтра коробку с папиросами, и в одной из папирос будет все, что вам нужно. Вы передадите папиросы «Слову».

— Хорошо... только, пожалуйста, отметьте хотя бы точкой, какая будет папироса.

Эта фраза сильно усыпила мои подозрения. Если он

provokator, неужели он будет заботиться о какой-то точке на папиросе. Очевидно, в нем говорит добросовестность добросовестного разведчика. К тому же для провокатора он поразительно спокоен. Ведь он один в квартире, в совершенно незнакомой ему квартире, и в сущности в наших руках. Допустим, каким-нибудь образом мы узнаем, что он провокатор. Нам нечего терять, потому что мы в мышеловке, — наверное, подъезд окружен — и тогда в отчаянии из злобы и мести можем и отправить его на тот свет. Провокатор все-таки бы волновался. А этот абсолютно спокоен,

В это мгновение распахнулась дверь, и в комнату ворвалась... Ирина. Именно ворвалась. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить, что она сильно взволнована.

— Простите, что я так вошла... мне нужно поговорить с вами, Владимир Александрович.

Мы встали при ее появлении. Встал и «Котик». Она подала ему руку и по привычке и в растерянности ткнула ее ему в губы. Тут произошло мгновенное замешательство. «Котик», может быть не привыкший целовать дамам ручку, сильно покраснел, смутился...

— Владимир Александрович, можно вас на минутку...

Они ушли в коридор.

Я остался вдвоем с «Котиком» и, пытаясь сообразить, что обозначает появление Ирины, продолжал расспросы о Крыме. Но предварительно я сказал ему на всякий случай:

— Вы простите, пожалуйста... и не опасайтесь... Она ни во что не посвящена и совершенно даже не догадывается... Очевидно, какая-то история...

При этом я сделал такое выражение лица, чтобы можно было подумать, что Ирина закатывает какую-то сцену молодому студенту, т. е. Вовке.

Мы поговорили еще о Крыме. «Котик» оправился от смущения и отвечал на расспросы толково. Для меня было ясно, что он во всяком случае был в Крыму.

Вошел Вовка.

— Необходимо вам сказать два слова.

Я извинился перед «Котиком» с видом, «о, господи боже». Я чувствовал, что что-то случилось.

В темном коридоре Ирина взволнованно шептала.

— Я следила за Вовкой... он вошел в квартиру «Котика»... Был сильный дождь... никого не было на улице... А у подъезда, куда он вошел, я увидела двух... бритые... должно быть, жида... Один побольше, другой — поменьше...

и толстый... Высокий в желтых ботинках, низкий в черных лакированных... Они не уходили, несмотря на дождь. Я тоже не уходила... Стояла напротив... Они меня заметили... я делала вид, что пережидая дождь... Вовка вышел... с «Котиком»... желтые и лакированные пошли за ними... на углу к ним подошло еще двое — их четверо... я не могла больше следить, потому что все они меня хорошо заметили... этот мой клетчатый костюм бросается в глаза... и золотые волосы... я должна была уйти... я обежала несколько кварталов, чтобы их сбить, и пришла сюда... Но они тут!.. у подъезда... желтые и лакированные!.. Что мне было делать?! Они вас схватят, как только вы выйдете, они вас схватят.

Я понял, что опасность действительно есть. В сущности, мы были в мышеловке... Но надо выкручиваться как-нибудь...

— Позовите сюда этих барышень... Пусть переоденут Ирину.

Все с этой минуты пошло очень быстро. Я вернулся к «Котику», сообразив, что надо быть особенно осторожным сейчас. Конечно, он провокатор. Каким образом эти «желтые» и «лакированные» могли очутиться здесь у подъезда этой квартиры после того, как они стационарировали у квартиры «Котика». Совпадение... Нет, таких совпадений не бывает.

Я сказал ему:

— Вы знаете, эти барышни, в комнате которых мы сейчас, они глупенькие барышни, которые, по счастью, ничего не понимают... Но они начинают волноваться... Ведь я им даже незнаком, вы — тоже... Какое-то таинственное заседание у них в комнате... Они боятся... Вот почему приходится их успокаивать...

Сказав ему еще несколько фраз, я опять вышел в коридор. Ирина была уже готова. Передо мною стояло незначительное существо в каком-то длинном стареньком бурнусе, закутанное в темную вуаль... Неопределенного возраста женщина, скорее пожилая, и бедная...

Я сказал барышням:

— Проводите ее черным ходом... Ирина, выходите через ворота... И не возвращайтесь домой... Ночуйте у знакомых.

Теперь очередь была за Вовкой. Вовку «желтые» и лакированные» хорошо видели. И надо было, чтобы он ушел незаметно во что бы то ни стало, ибо если его и не схватят, то за ним будут следить, пока не откроют нашу квартиру.

Вот тут-то сыграло роль то непромокаемое пальто, которое я случайно захватил, так как шел дождь. Я одел в него Вовку и нахлобучил на него свою черную фетровую шляпу. Из студента, если и не нарядного, то во всяком случае вполне студента, вдруг получился какой-то молодой еврейчик, не то скрипач в дешевеньком ресторане, не то мальчик для подозрительных поручений.

В это время барышни донесли, что Ирина выбралась благополучно.

— Ну, поручик... ваша очередь...

Он ушел. А я пошел к провокатору.

Теперь вопрос состоял в том, как мне уйти... Но это меня мало затрудняло. Из нас троих я был единственный, которого «желтые и лакированные» не видели. Узнать же меня как Шульгина, если даже они меня и знали раньше, почти невозможно. Они увидят перед собой старика с большой седой бородой в какой-то фуфаечке, не то шарманщика, странствующего по дворам, не то мастерового. Эта вязаная куртка, что была на мне, она очень меня вырочала.

Главный вопрос состоял в том, даст ли мне «Котик» выйти первым. Если он уйдет первым, он, конечно, укажет меня и меня уже не выпустят. Но если я уйду первым, то «желтые и лакированные» не могут знать, что я — я...

Я сказал ему:

— Знаете что... Я немножко побаиваюсь за вас... Как бы вас не выследили... Поэтому подождите еще четверть часа, пока стемнеет. И выходите черным ходом... вас проведут... А я пойду... Завтра к вам придут с папиросами, и, если успеете, я бы хотел еще вас повидать... Вы тогда условитесь с тем, кто вам принесет папиросы.

К удивлению моему, он согласился. Значит, он выпускает меня. Или он был уверен в своих «желтых и лакированных», или испугался и боялся себя выдать. Чувствовал ли он, что открыт, и если не исполнит того, что я ему говорю, то с ним поступят плохо... Во всяком случае, он остался сидеть в комнате, а я спустился по лестнице и вышел на улицу.

Тут только я сообразил, что мне нечего надеть на голову. В руках у меня была Вовкина студенческая фуражка, но не мог же я ее надеть с седой бородой. Шел мелкий дождь. Я сделал вид, что мне жарко и я подставляю голову «освежающей влаге». Растирая голову рукой, одновременно я маскировал верхнюю часть лица, то есть собственно

глаза. Говорят, по глазам легче всего узнать... Я сделал несколько шагов и стал пересекать улицу.

В это мгновение с другой стороны улицы ко мне бросились двое. У меня было определенное ощущение, что они меня схватят за руки. Я опустил глаза и увидел справа от себя «желтые»... а слева «лакированные»... Это были они...

Это продолжалось одно мгновение... Они заглянули мне в самое лицо с двух сторон. Тогда я поднял глаза и изумленно посмотрел на одного и другого. Этот взгляд решил дело.

Очевидно, они оба сказали себе: «Нет, не может быть»... Они пропустили меня, и я прошел между ними. Мне даже не хотелось оглянуться. Я так сильно чувствовал, что я старик мастеровой, которому никакого дела нет до этих господ.

Я обернулся, пройдя два квартала. По-видимому, никто за мной не следовал. В это мгновение я наткнулся на переодетого Вовку, который бродил около, опасаясь, что со мной. Из предосторожности я не подошел к нему, а только сказал:

— Идите прямо... я нагоню вас...

Я нагнал Вовку, который внимательно читал у какого-то тамбурина.

— Вовка, этого не следует делать... Эти объявления наклеены три месяца тому назад...

Он вздрогнул и обрадовался:

— Ну, погуляем... Если эти господа следят, то пусть поработают.

И мы гуляли... хорошим шагом... контрреволюционным... Наконец мы вышли на длинную улицу, которая была хорошо видна и на которой не было ни одного человека. Тогда я сказал Вовке:

— Теперь мы гарантированы... начисто...

Рекомендую вниманию тех, кому приходится скрываться от слезки, что это единственный способ действительно быть уверенным, что за вами не следят. Если на улице есть хоть несколько человек, каковы с виду они бы ни были, у вас нет уверенности. Но если вы выйдете в такое место, где, насколько доступно оку, нет ни единого человеческого существа, ваша игра отыграна...

В этот вечер по совершенно пустынным улицам, среди дождя и темноты, мы все же разыскали Ирину. Она ночевала у какой-то своей подруги и утверждала, что за ней не следили. У нее на этот счет был очень хороший прием,

но о нем умалчиваю, может быть, пригодится еще когда-нибудь...

Мы же с Вовкой вернулись домой.

Мы выскочили на этот раз... Но что же с Ф. М.?! Если этот человек провокатор, то, значит, Эфема схватили. Откуда они могли знать «Веди» и «Слово», как не из писем, которые были на нем...

ПИСЬМО ОТ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Вера Михайловна вызвала меня на свидание. Она назначила мне собор. Я пошел туда. За мной на таком расстоянии, чтобы не терять меня из глаз, шел сын — Ляля.

Я чувствовал, что вокруг меня и всех нас шарят ищущие руки чрезвычайки. И потому надо было принимать меры. Мы никогда не выходили из дому, не осмотревшись хорошенько, и взяли себе за правило всегда обращать внимание, не следит ли кто-нибудь. Но вдвоем это гораздо легче.

Мне предстояло пройти через большой кусок города. По дороге вышла задержка. Впереди раздалась какие-то выстрелы. Люди шарахнулись во все подъезды. Улица опустела.

Я сначала не понял, что это такое, но потом сообразил. Это было в своем роде поучительное зрелище.

Сначала показалась цепь красноармейцев, она захватила улицу поперек и от времени до времени палила в воздух. За этой цепью шла толпа людей с маленькими узелочками, мужчины и женщины. Одного взгляда мне было достаточно, чтобы понять, что это наш брат — контрреволюционеры... Их переводили из центральной чрезвычайки куда-то в другое место, должно быть, в тюрьму. Очевидно, это были важные преступники, если судить, с какой помпой их вели. Не только передняя цепь красноармейцев, но и боковые, которые шли по тротуарам, вдоль самых домов, палили в воздух. Для чего это они делали?... Чтобы в панике население разбежалось по домам и было им свободно вести добычу...

Я думал о том, что вот Эфем, может быть, среди них? Но его не было.

* * *

Было еще приключение...

Мы наткнулись на облаву. Облава — это одно из обычных явлений «социалистического рая». Идут люди по улице тихо, мирно, все, как всегда... Но вдруг начинается бегство. Навстречу мчатся люди... Это значит, они там, впереди, наткнулись на цепь. Часть этих бегущих успеет проскочить. Остальных поймают. Ибо такие же цепи внезапно вынырнут в противоположном конце улицы и на всех боковых. Эти цепи постепенно сближаются и сгоняют людей в одно место. Тогда начинается процедура пересмотра «лова». Иногда, таким образом, ловят тысячу — две, один раз поймали 8 000 человек. Тут же, на улице, начинается проверка документов, ибо цель этих облав поймать контрреволюционеров, дезертиров, спекулянтов и всяческих врагов Советской Республики.

Облавы эти колоссально глупы потому, что у настоящих врагов Советской власти, активных, документы всегда в блестящем порядке. Длится эта процедура много часов, затем подозрительных ведут в чрезвычайку. Естественно, что подозрительными оказываются, главным образом, те, у кого есть деньги. Деньги остаются в чрезвычайке.

Мы с Лялей удачно юркнули в переулок. Как только мы прошли, он замкнулся цепью. Но мы уже выскочили.

Эти люди имели совершенно особый вид и наводили панику. Рассказывали, что одесская чрезвычайка получила из Москвы 400 абсолютно верных и прекрасно выдрессированных людей. Было ли это так, не знаю, но внешний вид их был, действительно, если не устрашающий, то действующий на воображение. На головах у них были только что примененные тогда новые головные уборы. Они несколько напоминали шеломы былинных русских витязей, но были сделаны из сукна защитного цвета, на каком-то черкасе. На шлеме была нашита большая красная звезда. Остальная одежда была обычная — форменная, одинаковая у всех и хорошего качества. Люди имели сытый и довольный вид. Очевидно, этих верных псов чрезвычайки холили и лелеяли... На взгляд, все это были русские, — но великороссы, не здешние...

* * *

Белый одесский собор. Народу немного... Сейчас нет богослужения.

Я сел на скамейке. Вера Михайловна долго не приходила. И приятно мне было, страшно приятно в храме...

Мне припомнилось, как перед эвакуацией Одессы я был в митрополичьих покоях и думал:

«Ну что же... придут большевики, а это останется...»

И вот «это» осталось. Стоит этот собор, как и остальные церкви в Одессе, и всем своим существом невидимо, ненашупываемо противится красному миру.

Отчего большевики переменили свою политику в отношении религии,— я не знаю. Я даже не знаю, переменили ли они ее там, в Великоруссии, в Москве... Но здесь, в Одессе, я должен засвидетельствовать, что отправление богослужения, как такового, не преследовалось. Все храмы открыты, кроме домовых церквей. Домовые почему-то закрыты.

Отчего это произошло? Оттого ли, что большевики не посмели тронуть религию вообще, или потому, что пришлось бы тронуть одну религию? Ведь невозможно было бы закрыть церкви, но не закрыть синагог...

* * *

Наконец она пришла... бледная, расстроенная...

Это ужасное известие подтверждалось. Нашлись люди, она говорила с ними лично, которые видели, как несчастного Эфема везли. Это были чрезвычайщики. Они держали револьвер у его висков, он был очень бледен и, по-видимому, узнав тех людей, его знакомых, что стояли на тротуаре, отвел глаза...

* * *

И вместе с тем она принесла еще другое.

«Котик» опять был. Он очень обижен, что, по-видимому, ему не поверили и прервали с ним сношения; ему совершенно необходимо со мной увидеться еще раз. Он побывал у Варвары Петровны³⁶ — дамы, у которой жил Эфем. И совершенно убедил ее в том, что он настоящий, а не провокатор. Варвара Петровна в ажиотаже и умоляет с ней повидаться.

* * *

Я вышел из собора, но не увидел сына, который должен был меня дожидаться. Зная, что мальчик ни за что не

уйдет со своего «поста», я начал сильно беспокоиться. Пример Эфема действовал на меня, и мне мерещилось, что Лялю схватили. Я долго его разыскивал и пережил несколько ужасных часов.

Но дело объяснилось... К вечеру он пришел на одну из наших квартир. Он потерял меня из виду, когда я пошел в собор, бросился разыскивать в соседние улицы, пропустил меня поэтому, когда я уходил, и, верный «долгу службы», метался до вечера вокруг собора, пока ему не пришлось в голову искать по квартирам.

Проклятая жизнь... Это вечное беспокойство, дрожание за жизнь людей... Хоть мы и привыкли к этому, но все же...

* * *

Я увиделся с Варварой Петровной...

— Помилуйте, Василий Витальевич...

— Сколько раз я вам говорил, что я не Василий Витальевич, а Иван Дмитриевич...

— Ну, Иван Дмитриевич... Подумайте... что это в самом деле... Да ведь он честнейший человек.

— Кто?..

— Да «Котик»... Я же его прекрасно знаю... он десять дней каждый день ко мне приходил...

— Как? когда? почему?

— Да потому, что он тот самый, с которым Ф. М. уехал. Господи!.. Да я их сама выправляла в дорогу. И то, что у них было, все эти бумаги и письма, все я «Котику» собственными руками зашивала. Да что вы, Василий Витальевич... Честнейший он человек...

— А вы знаете, что Ф. М. арестован?

— Да что вы!.. Врут они все... врут, все врут... а ваша Вера Михайловна сумасшедшая... и ничего этого не было... я вот перекрещусь вам, чтобы вот так моим сыновьям было, как сейчас Ф. М... так ему хорошо, как никогда не было... я и на карты бросила... верно говорю вам...

— «Котик» был у вас теперь?

— Да был...

— Что же он говорил?..

— Да говорит, что довез благополучно Ф. М. до этого острова, как он называется... Тендра... И там передал его нашим... а сам вернулся.

— Как вернулся?.. да ведь мне он сказал, что он прямо

из Севастополя... А деньги как он получил?.. Тоже на Тендре?.. А господина Л. тоже видел на Тендре?..

— Да я уже не знаю... Может быть, перепутал он что, как увидел, что ему не верят...

— А почему же он не сказал, что это именно он ездил с Эфефом?

— Да ведь вы его не спрашивали?

— Я не спрашивал... но Владимир Александрович спрашивал, и он сказал, что не знает никакого Ф. М.

— А как же он мог сказать неизвестному студенту?.. Если бы вы его спросили, он бы сказал. А вы не спросили... Василий Витальевич?

— Иван Дмитриевич... В соседней комнате слушают...

— Иван Дмитриевич, не губите вы дело... Подумайте, вам письмо, личное от самого Врангеля...

— Как, это еще что?..

— А то, что вслед за «Котиком» прислали они второго курьера. С письмом от Врангеля к вам и с деньгами, чтобы вы работу открыли... Иван Дмитриевич, не слушайте вы тех... Большое дело можете сделать...

Мне было совершенно очевидно, что «Котик» провокатор и что он погубил Эфема. И что этот второй курьер с письмом от Врангеля тоже провокатор. И все-таки...

И все-таки... Когда женщина смотрит вам в глаза и вы читаете в них, что не скажем прямо трусость, а просто «излишняя осторожность» может погубить дело,— это плохая атмосфера для принятия благоразумных решений.

Я решил рискнуть... Она, оказывается, видела уже этого второго курьера.

— Честнейший человек... Офицер... фронтовик... так и видно... Целый день у меня вас ждал. Приходите завтра, я им скажу, в семь часов...

Я согласился.

* * *

Я шел обратно через какой-то базар. Ах, какие там за 200 рублей можно было поесть щи!.. Мне очень хотелось. Но это было слишком дорого для меня.

Но зато я не отказал себе в удовольствии пощупать гитару... Хорошая гитара продавалась на базаре. И сверкала так на солнце медными струнами, как золото. 10 000 рублей...

И когда я взял несколько аккордов на этой золотострун-

ной гитаре, внутренний голос совершенно явственно и отчетливо зашептал:

— Берегись... берегись... берегись...

Мне не было страшно, и он не отговаривал меня от моего решения... Он только настойчиво твердил:

— Берегись... берегись... берегись...

* * *

Бывают же такие случайности...

Когда я шел при белом свете солнца по Н-ской улице, я столкнулся лицом к лицу с человеком, который был тогда в «желтых». Теперь я рассмотрел его вполне. Он был одет иначе: в темно-синем люстриновом, а на голове форменная фуражка, вроде как у заграничных моряков. И вообще в его облике было что-то заграничное. Он был еврей — это несомненно. Но я бы сказал — иностранный еврей.

Встретив его, я подумал:

«А не будет сейчас маленький толстый, что был в черных лакированных...»

И через несколько шагов столкнулся с этим последним. И этот, несомненно, был тоже евреем. Он был одет одинаково с тем первым, с тем же заграничным отпечатком. Теперь я их великолепно рассмотрел...

* * *

Отправляясь на свидание с почти заведомым провокатором, я должен был принять некоторые меры. Я сделал так:

Во-первых, я решил опоздать на час. Я понимал, что провокатор приведет с собой хвост, который расположится на улице. И мне было выгодно, чтобы они пришли раньше меня, потому что, если бы мне удалось установить наличность агентов чрезвычайки у дома, я бы просто не вошел.

Но для этого мне нужно было иметь свою полицию. Так и было сделано. Я решил поставить дело семейным образом. Я поручил главное начальство Ляле. У него под началом был младший сын — Димка, а в резерве моя жена. Она очень беспокоилась, и я чувствовал, что ей легче будет на «поле сражения».

Они должны были занять свои места раньше условленного времени. Ляля — против дома, Димка — через квартал так, чтобы видеть Лялю и исполнять его телеграфные при-

казания, жена — около ограды одной церкви поблизости; Я должен был прийти с опозданием на час к церковной ограде. Здесь мне бы сообщили, что там делается около дома.

* * *

Я пришел к ограде, как было условлено. Знакомая фигура жены, которую никак нельзя было подогнать под защитный цвет, стояла у ворот. Ее внешность, так же как и вид обоих сыновей, всегда меня беспокоила. За три улицы от них веяло белогвардейщиной.

— Мальчики не приходили?

— Нет...

Значит, все благополучно. Я пошел, думая о том, какой жестокой попытке я подвергаю близких. Но как-то мы все дисциплинировались. Надо так надо. Ни протестов, ни упрасиваний... В общем, мы научились понимать, что в трудных положениях только отчетливое исполнение того, что надо, спасает дело.

* * *

На условленном углу я нашел Димку. Он в своей красной рубашке и с вьющейся шевелюрой совсем напоминал Ваню из «Жизни за царя». Опера не совсем подходящая к случаю, хотя...

— Благополучно?..

— Можно идти... Вон Ляля...

* * *

Ляля, по классическому обычаю, применяемому в таких случаях, лускал семечки. Удивительно, как семечки действуют успокаивающим образом на чрезвычайку. А еще, говорят, верный способ, если кто-нибудь вас подозревает, — пройти мимо и пустить ему дым в лицо. Впрочем, не пробовал — некурящий... Но знаю, что очень хорошо почаше сплевывать... Плевки и до сих пор служат гарантией демократичности...

— Ну, как дела?..

— Тех нет.

Под словом «те» он подразумевал бывших «желтых и лакированных», ныне называемых «заграничные жида в

морских фуражках». Благодаря сегодняшней встрече я мог с совершеннейшей точностью описать их наружность.

— А кто-нибудь входил в дом?

— Входили, многие... Но невозможно определить... На улице никто не дежурит, это я знаю...

— Ну, я пойду... Тебе хорошо виден балкон?

— Виден...

— Я буду сидеть на этом балконе. В случае чего — наш условленный знак... Если со мною что-нибудь случится, — я запрещаю делать глупости... Понимаешь?

Он приложился головой к моему виску и несколько раз как-то особенно постукал. Это с детства было у него выражением нежности, повиновения и беспомощного протеста...

* * *

Расположение было такое.

Вход был только через ворота. Нужный мне дом стоял во дворе, квартира была в третьем этаже. С балкона хорошо было видно улицу, потому что по фасаду были только одноэтажные здания.

Я вошел в квартиру. Варвара Петровна встретила меня:

— Нет его еще...

Это было скверно... Они меня перехитрили. Я опаздывал на час, они, очевидно, решили опоздать на два... Теперь я в западне, если сейчас не уйду отсюда. Когда он придет, то, разумеется, оставит свой хвост у ворот. А ведь это единственный выход. Значит, он будет у меня отрезан. Впрочем, я заметил рядом с воротами лавочку. Лавочка, наверное, имеет черный выход во двор, а значит, в крайнем случае можно будет выйти через нее.

Я стал ожидать. Варвара Петровна продолжала убеждать меня в том, какой хороший человек «Котик» и что новый курьер — тоже хороший. Я сидел на балконе и ясно видел Лялю на скамеечке, напротив. Я даже видел Диму через квартал, по крайней мере, его красную рубашку. Ляля сидел смиренно, изредка мельком взглядывая в мою сторону, так что я понял, что он меня видит. Но он не подавал никаких тревожных знаков.

Во дворе под нами появилась высокая фигура в сером.

— Это он, — сказала Варвара Петровна.

— Вы господин Шульгин?..

— Да... с кем имею честь?..

Это был неприятный человек. Очень испорченные передние зубы, маленькая, сильно морщинистая голова. Морщины шли кругом, через весь лоб, переходя на щеки и подбородок. Зеленоватый цвет лица, лицо — порочное, злое.

— Моя фамилия Петров³⁷. Но это вам ничего не скажет... На самом деле моя фамилия другая... У меня есть удостоверение, которое я предъявлю... Я прислан к вам от военной партии... Надо вам сказать, что в Крыму две партии. Во главе военной стоит генерал Слащев... У меня письмо к вам от Слащева... Я... я — фронтовик... ничего в политике не понимаю... Но мне приказано доставить письмо вам... Приказали ехать в Севастополь... там явиться в разведку... я так и сделал, и мне там указали, как добраться сюда... Есть, кроме того, «куш»...

Опять этот «куш»...

— Куш — кушем, но, прежде всего, письмо...

Тут я сделал ошибку. Конечно, прежде всего, надо было получить деньги... Но меня так интересовало это письмо, что я даже мало обратил внимания на одно обстоятельство: Варвара Петровна говорила мне о письме от Врангеля, а этот говорит о письме от Слащева.

— Итак, письмо?

— Письмо... вот видите... его сейчас нет при мне...

— Вы забыли?..

— Нет. Я не забыл... я вам скажу откровенно... Мне приказали вручить письмо лично Шульгину.

Я посмотрел на него, не понимая.

— Вот видите... не угодно ли вам взглянуть... вот мое удостоверение...

Он протянул мне клочок холста, на котором было написано удостоверение от какого-то штаба. Была и печать. Для меня, разумеется, это не могло служить никаким доказательством. Сколько таких же удостоверений, только большевистских, было изготовлено в свое время по моему поручению.

Но я сделал вид, что это для меня вполне убедительно.

— Да, все в порядке... А дальше?..

— Так вот, видите ли, я, значит, удостоверяю свою личность... а чем вы можете удостоверить, что вы именно и есть Шульгин?..

Этого поворота я меньше всего ожидал. Очевидно, я, действительно, так изменился, что не только меня не могут узнать, но даже когда я сам заявляю, что я — я, мне не верят.

— Потому что, видите ли,— продолжал он,— я получил сведения, что Шульгин, или, что то же, «Веди», великолепно скрывается или маскируется и что он очень осторожен. И в особенности после того, что произошло вчера, Варвара Петровна, я в особенности...

— А что же произошло вчера?..— удивилась Варвара Петровна.

— А вот что... Я, как вы знаете, целый день ждал у вас прихода «Веди», но он не пришел... Но когда вы поздно вечером меня провожали, то около ворот я увидел высокую темную фигуру, которая там притаилась... Это, конечно, и был «Веди»... И правильно, так и надо поступать...

В течение этого разговора я не терял Лялю из глаз. Мне казалось, что он проявляет признаки беспокойства. Наконец я определенно увидел, что он делает мне тревожный знак большой опасности... Этот знак был в том, что он подносит платок к носу, будто бы у него насморк... Он несколько раз сделал этот жест, сидя на скамейке, потом, очевидно, боясь, что я не заметил этого жеста, он перешел через улицу, все время держа платок у лица.

Какая могла быть это опасность, о которой мальчик так определенно сигнализировал? Для меня это было очевидно. Это значит, что агенты чрезвычайки у ворот и что предомной сидит подлинный провокатор. Это значит, что надо попытаться вырваться отсюда... Для этого нужно: с одной стороны — дотянуть до темноты, чтобы облегчить себе бегство, если оно понадобится, а с другой — надо поддержать в нем сомнение, что человек с седой бородой, который сидит перед ним, не Шульгин, а подставное лицо. Тогда ему будет полный расчет меня выпустить, чтобы проследить меня и, таким образом, добраться до настоящего «Веди»...

В это время Варвара Петровна решила прийти мне на помощь.

— Да что вы, голубчик... Я Василия Витальевича десять лет знаю. Самый он и есть, настоящий, перед вами... Что вы выдумываете!..

Эта женщина была необычайно сообразительна...

Я сказал:

— Вполне вас понимаю... Но, если хотите, давайте сделаем так... Все равно у вас нет письма с собой, так давайте

сойдемся еще раз... ну завтра... вы принесете письмо, а я достану вам доказательства... Ну, хотите, например, паспорт Шульгина?..

— Нет, какое же это доказательство... паспорт...

— Вы что же думаете, что вы, как не специалист, не сумеете отличить подложного паспорта от настоящего?..

— Нет, я-то специалист...

Тут я подумал: «Странный фронтовик, который в то же время специалист по подложным паспортам».

— Нет, я-то специалист, но это так ведь просто... Шульгин даст вам настоящий свой паспорт, и вы с ним и придете... Какое же это доказательство!

— А какое же вы хотите?

— Да вот давайте поговорим. Например, если бы вы могли мне рассказать что-нибудь о лицах, несомненно близких к Шульгину... Вот, например, у вас был племянник, редактор газеты...

Я понял, что он хочет...

— Вы говорите о Ф. А. М.?

— Да... Он же Петр Иванович 3-ов...

Он хотел этим еще больше уверить меня в своей подлинности, называя мне фальшивое имя Эфема, то самое имя, под которым он жил здесь у Варвары Петровны, вон там, через эту столовую, где уже становилось сильно темно...

Но не в моих интересах было убедить его, что я — я...

Я сказал:

— Ну, какое же это доказательство!.. Пол-Одессы знает, что Ф. М. племянник Шульгина... Знаю это, конечно, и я — и могу знать и в том случае, если я — не я, то есть не Шульгин, кто-то другой...

* * *

Я не видел больше Ляли... Он, очевидно, переменял позицию. Я перевел разговор и стал расспрашивать о Крыме, чтобы затянуть время... Быстро темнело... Больше напряженными нервами, чем слухом, я почувствовал стук во входную дверь. Варвара Петровна, которая перед тем ушла в глубину квартиры, вернулась на балкон.

— Там ваш Ляля пришел. В передней...

Я извинился перед «фронтовиком Петровым» и вышел в переднюю. Там была абсолютная темнота. Ляля не заговорил до тех пор, пока я не нащупал его руками. Он боялся говорить в этой квартире.

— Ну, что?..

— Никаких сомнений... Это они...

— Кто?..

— «Заграничные жиды в морских фуражках»... Я их хорошо рассмотрел... Они пришли за этим серым, высоким... и стоят у ворот.

— Это они — наверное?

— Наверное... Один большой, другой меньше — толстый... Оба бритые, в морских фуражках... совсем как ты рассказал, это они...

— Ну, хорошо... Беги, Ляля... Я сейчас за тобой... тоже буду бежать...

Он постукался лбом о мой висок...

— Я подожду тебя у скамейки...

Ему нельзя было отказать.

— Ну, жди...

* * *

Я не пошел больше на балкон.

Я стал шарить по квартире в полной темноте, отыскивая спальню Варвары Петровны. В спальне я искал туалетный столик. На туалетном столике я нашел ножницы... Потом нашел умывальник. И над умывальником на ощупь стал снимать свою знаменитую седую бороду.

В это время входную дверь кто-то открыл ключом. Я образил, что это, должно быть, сестра Варвары Петровны. Что с нею будет, если она войдет сюда со светом и увидит эту дикую картину. Перепугается насмерть, подымет сумасшедший крик. А она чиркнула спичку и идет сюда... Тогда я пустил в ход фразу почти что из «Пиковой дамы».

— Ради бога, не пугайтесь...

Она испугалась, но не крикнула. В это время, покончив с бородой, я изменял свой туалет... Я сбросил пиджак и пустил рубашку навыпуск.

— Дайте мне какой-нибудь пояс.

Она послушно стала шарить, запалив ночничок, и подала мне огрызок какого-то ремешка. Он не сходил наполовину, но терять времени больше не стоило. Я схватил огрызок и вышел из квартиры...

Сбежал по лестнице во двор. Тут мне пришла в голову лавочка. Вот какой-то ход, очевидно, сюда. Спрошу папирос... И выйду через тот ход на улицу...

Вошел... У них светло... По странным лицам каких-то

девушек, которые что-то кому-то продавали, я сообразил свой вид. Вероятно, борода подстрижена невозможно, и потому, эта рубаха навывпуск, лиловая, ночная... Однако они продали мне папиросы. Но когда я хотел выйти на улицу, сказали:

— Нет, заперто... выходите через двор...

Если бы эти женщины знали, как мне неудобно, как меня «не устраивает» выходить через двор... Но делать нечего... надо выходить.

Я закурил папироску для большей ноншалантности и переступил порог.

* * *

Я решил уходить не вправо и не влево, а прямо перед собой, поперек улицы и затем по улице, упирающейся в эту.

Прямо от ворот я пошел очень быстрым шагом. Было полутемно, но, очевидно, меня выдала походка. Я не успел перейти улицу, как почувствовал за собой спешащих людей. Должно быть, я на одно мгновение обернулся, мне кажется, я видел, как они отделились от стенки. Я ускорил свой шаг и, быстро проходя мимо Ляли на скамейке, пыхнул папироской, чтобы он увидел мое лицо... Народу было мало на улице, и я чувствовал за собою торопливые шаги. Я знал, что за этим кварталом будет улица налево, та еще пустынной... Дойдя до угла, я брошусь влево и побегу. Черт с ними! Неужели я дамся этим мерзавцам, не испробовавши быстроту ног! В молодости я бегал, не как Ахиллес, конечно, но все же недурно...

* * *

За собой я слышу бег этих людей, кажется, какие-то крики... Я пробежал улицу, бросился вправо, влево, еще куда-то... не слышно больше? Да... Потеряли? Или задохлись?..

«Заграничные жида в морских фуражках»!.. Ведь он был толстый, этот маленький, очевидно, задохся... А русские контрреволюционеры, вышколенные на голодных хлебах, легки на бегу...

«Потворствуй русской силе»!..

* * *

Покрутившись еще по улицам, я пошел на условленное место сбора. Оно было у ограды этой церкви. Ни жены, ни Димы уже не было. Меня беспокоил Ляля...

Но вот из темноты вынырнула его белая рубашка.

Те, кто не жили в советском раю, не знают, что значит выражение: «Жив и невредим»... «Кто на море не бывал — богу не маливался»... Кто ищет сильных ощущений, например скучающие английские денди или эксцентричные янки, могли бы излечиться от сплина и скуки... Меня удивляет, отчего они не совершают увеселительных прогулок в Совдепию с женами и детьми...

— Ах... как они бежали!..

— Ты видел?..

— Да, видел все!.. Я в восторг пришел, когда ты помчался... а они за тобой... большой и толстый... но как ты бежал!..

— Да ты же как за этим следил?..

— А я бежал за вами... они за тобой, а я за ними... Будто бы я тоже преследую... Но они не могли... тот толстый скоро задохся, остановился и стал по-жидовски ругать того большого и кулаками ему в нос... это они так разозлились, что выпустили... А потом ко мне бросились... поняли... Я побегал от них не очень скоро, так, чтобы посмотреть, что они сделают... Но они сейчас же отстали...

Положительно было жарко в этот теплый майский вечер. Он даже был душный: как бывает, когда звезд нет, а тучи как бы ватным одеялом прикрывают город. Это было 28 мая по старому стилю...

Мы пошли с Лялей... Уже было совсем темно. И эта темнота была приятна, как безопасность. На одном углу светился рундук. Я купил Ляле... не семечек, а шоколаду... за «спасение отца»... Он был очень тронут...

* * *

Нам предстояло еще очень много в этот вечер.

Теперь чрезвычайка ясно понимает, что я вижу их карты. Бег за мною «заграничных жидов» ясно доказал, что и «Котик», и этот второй, «фронтовик Петров», — провокаторы... Значит, я больше не пойду на эти удочки; им остается одно: захватить тех лиц, которые, по их мнению, имеют с нами связь. Надо было предупредить теперь же

их, какой оборот приняло дело, и посоветовать кой-кому в эту же ночь переменить квартиры.

Но ничего этого нам не удалось сделать. Ибо никак нельзя было добиться в квартиру. По советскому декрету в то время в десять часов закрывались все ворота, и добиться какого-нибудь толка от зрителей двора (новый титул дворников) было в высшей степени трудно.

Мы ходили долго, наблюдая, как быстро замирает жизнь среди темных, только кое-где отдельными фонарями освещенных улиц.

Впрочем, все было по-иному.

* * *

Но надо было еще добраться на квартиру, где жил Ляля с матерью и братом. Как они должны были беспокоиться! Эта квартира была очень удобная. Она выходила окнами на улицу, и подоконники ее были на аршин от земли. При этих условиях сдать Лялю через окошко в темную комнату, откуда неся взволнованный шепот и протягивались дрожащие руки, не представляло затруднений.

* * *

Я пошел один... Время становилось совсем позднее, я чувствовал, что наскочу на патруль. Если бы не мой туалет и эта ужасно обстриженная борода, это мне было бы безразлично. Я уже ночевал в районе за позднее хождение и знал, что там делается. Но тут, в таком виде...

Совсем недалеко от дома я таки «влип»...

— Кто идет?..

Что им ответить?..

— Человек идет... вольный...

Слово «вольный» обозначает штатский. Кто мог быть в этом патруле? Конечно, солдаты.

— Отчего так поздно, товарищ?..

— Да разве поздно?..

— Три часа било...

Советские часы переведены на три часа вперед. Три часа обозначают полночь.

— Ну, вот, так я и знал... Я же им говорю, что поздно... а они все: успеете да успеете!.. Вот и успел... Часов нет. Если бы я еще необразованный человек, а ведь я же знаю,

что надо закон исполнять... Сказано нельзя,— значит, нельзя...

— Да откуда вы, товарищ, идете... Из больницы, что ли?..

— Почему из больницы?.., от знакомых...

— В рубашке? А пояс где?..

По счастью, огрызок был у меня до сих пор в руках.

— Пояс вот!.. оборвался...

Они пощупали ремень...

— Документ есть?..

— Есть...

— Какой?..

— Паспорт...

— Только?.., а советский документ?..

— Ну, на что мне советский документ?.. Мне пятьдесят лет, значит, я не дезертир, на должности не состою,— на что мне советский документ?..

— Как же так, товарищ... Столько времени, как Советская власть настала, а у вас документа советского нет... Пойдем в район!..

— Товарищи, ей-богу, тут живу, совсем близко... Мне что! — в район так в район,— да дома беспокоиться будут, сами знаете: время какое...

— Да нельзя никак, товарищ... Вы же понимать должны, что мы службу должны исполнять...

— Я к вам не имею претензий. Эх, черт!.. Вот так всегда русский человек... Все авось да авось, дойду да дойду, вот и дошел...

— Да вы чем, собственно, занимаетесь?

Тут меня осенило вдохновение... Патруль обступил меня кругом, вроде как публика. И я внезапно «впал в роль».

— Чем я занимаюсь?.. Ведите меня в район — вот что!.. Мне все равно... чем я занимаюсь? Как вы меня спросили,— так лучше бы не спрашивали!.. Потому — я человек пропащий... Все равно — в район так в район!..

Наступила почти драматическая пауза...

— Чем я занимаюсь?.. Как бы не так... Чем я занимался!.. Скрипачом был, скрипку имел хорошую... Вот в оркестр договорился... Так вот нате... заболел!.. Сыпняк. Денег нет... Продал скрипку... Теперь какой я человек?! Скрипач без скрипки... Где ее возьму?.. Что мне с этой чертовой гитары!.. Гитара у меня осталась. Учю романсы распевать... Так много ли их, дураков, ко мне ходит? Сыт с этого будешь?!

Длинная пауза. Кажется, они были растроганы... Из заднего ряда кто-то сказал:

— Отпустить бы...

Тогда старший, почувствовав «глас народа», который действительно был для меня в данном случае почти что «гласом божьим», сказал:

— Ну, как вы скрипач, товарищ...

И прибавил:

— Только не попадитесь другому патрулю... Тихонько идите, не шумите...

* * *

О, русский народ... Зверь-то ты, зверь... Но самый добрый из зверей...

Добрался домой благополучно... но без «письма главнокомандующего», конечно...

У МОРЯ

Вкратце говоря, наступил период, который можно было бы обозначить:

Мной овладело беспокойство —
Охота к перемене мест,
Весьма мучительное свойство...

Чрезвычайка каким-то образом выследила, где я живу, и узнала фамилию, под которой я скрываюсь. По этому поводу пришлось менять не только квартиру, но и имена и пройти практический курс подделывания паспортов, метрик и других документов как для меня, так и для других лиц, запутавшихся в эту историю. Итак, я жил сначала у одного украинца, потом у одной гречанки, затем у немки и в других местах. В одном доме меня едва не избрали председателем домкома, в другом хотели привлечь за кражу (по счастью, истинный вор вовремя нашелся). Профессии мои также менялись: я был музыкантом, артистом, учителем, библиотекарем... Из одного дома мне пришлось спешно выехать, потому что... *j'ai touche du piano** неосторожно... По особенностям моего «туше» соседи безошибочно определили, что я человек весьма подозрительный. В конце концов, я пере-

* я дотронулся до пианино (*фр.*).

шёл к системе жить в нескольких местах одновременно под разными фамилиями. Но эта система требует некоторого напряжения памяти, чтобы не перепутать своих прежних жизней, а также ясно помнить историю о жизни всех сродников каждого отдельного «я». Но в общем я справлялся.

Квартира у немки была мрачная. Она действовала на меня угнетающе. Вечная мысль о судьбе несчастного Эфема довела меня до поступка, достаточно бессмысленного.

Я знал адрес «Котика». Знал также, что бывают «фронтвик Петров» и «заграничные жида». Я послал по этому адресу письмо, приблизительно следующего содержания:

«Высшим представителям Советской власти в Одессе:

Милостивые государи. Обращаюсь к вам по нижеследующему поводу. Распоряжением Чрезвычайной Комиссии арестован Петр Иванович 3-ов, в судьбе которого я принимаю ближайшее участие. Я предлагаю вам обмен: я готов явиться в Чрезвычайную Комиссию в том случае, если вы выразите согласие возратить П. И. 3-ву свободу. Если вы согласны на этот обмен, напечатайте в «Известиях» в отделе справок нижеследующую фразу: «Товарища Веденецкого просят явиться немедленно». Если это будет напечатано, я буду считать это вашим согласием освободить 3-ова, в течение трех дней после напечатания явлюсь в Ч. К.

Я знаю, что у социалистов совершенно иные понятия о чести, чем у нас. Поэтому я не исключаю возможности, что вы меня обманете. Но, с другой стороны, я думаю, что, несмотря на всю разницу, существующую между нами, не все человеческое вам чуждо. Для того же, чтобы вам было ясно, почему я решаюсь на этот шаг, я должен объяснить, что 3-ов арестован исключительно из-за меня, так как лично он имеет весьма мало отношения ко всему этому делу. Я буду ждать вашего ответа в течение трех недель. (Подпись)».

* * *

К беспокойству за Эфема присоединился страх за других. Дело в том, что чрезвычайка, добравшись до моей первой квартиры (мне повезло: я ушел с этой квартиры утром того дня, когда они явились), захватила в свои когти Ирину Васильевну. Правда, они не арестовали ее, но подвергнули

утонченным пыткам, в виде ежедневных допросов, и окружили непрерывной слежкой.

Мне удалось при помощи целого ряда хитроумных комбинаций поддерживать с ней связь. Между прочим, она успела сообщить, что, если она будет вызывать нас на свидание или что-нибудь подобное, не верить ни единому ее слову. Это было не особенно понятно, но главное состояло в том, чтобы она всегда знала мой адрес для того, чтобы в нужную минуту знать, куда бежать.

* * *

И бессознательно и сознательно я все время стремился устроиться поближе к морю. Я чувствовал, что при сложившихся обстоятельствах я бессилён помочь Эфему, что я с каждым днем вовлекаю в опасность новых лиц, помогавших мне так или иначе, что инициатива вырвана из моих рук и перешла к чрезвычайке, что борьба становится совершенно неравной, главным образом, из-за отсутствия денег. Я пробовал действовать подкупом через третьих лиц, но скоро мне стало ясно, что те суммы, которые я бы мог собрать, недостаточны.

Как следствие всего этого, вырисовывалось одно определенное решение: надо бежать в Крым. Надо бежать и попробовать сделать что-нибудь оттуда.

Сухопутный путь был на Александровск в то время. Ибо у нас было предчувствие, что его рано или поздно возьмут войска генерала Врангеля. Но здесь было много трудностей. Мои друзья работали по подготовке соответствующих документов, удостоверений и командировок. Рядом с этим разрабатывался «морской драп», как мы выражались.

В связи с этим, но и по другим причинам, я очутился «у самого синего моря»...

* * *

Да, оно было пленительно синее... Никогда, кажется, за всю жизнь оно так не манило меня. Море всегда — «зовущее». Даже в самое спокойное, золотое, «старорежимное» время. А теперь...

Теперь ведь за этой синей пустыней лежит спасение — земля обетованная...

* * *

У «самого синего моря» я устроился весьма удобно. Я изображал из себя советского служащего одного из бесчисленных советских учреждений, получившего отпуск для поправления здоровья и нуждающегося в морских купаниях. На этот предмет у меня был документ, в котором были подделаны подписи, а бланк и печати были самые подлинные.

Делается это так. Впрочем, оставим это... вспомним с благодарностью тех, кто это делал, а рецепт оставим про себя: пригодится...

* * *

Мы жили с сыном, Лялей, вдвоем. Неудобство этой квартиры было в том, что, кроме садовых скамеек, никакой другой мебелировки не имелось. К тому же у нас к этому времени совершенно не стало вещей, почему мы спали на голом полу. Кроме того, у нас была одна выходная рубашка на двоих. Но это уже относится к разряду удобств, ибо вследствие этого мы никогда не выходили вместе, а только поочередно и, следовательно, меньше привлекали внимание.

К неудобствам этой квартиры можно, пожалуй, отнести то обстоятельство, что у нас систематически не хватало денег. Но в самую трудную минуту обыкновенно судьба выручала.

Иногда бывали инциденты, которые меня глубоко трогали. Почему люди, совершенно мне далекие, о которых я даже не знал, вдруг оказывались такими близкими, заботились обо мне, доставали мне все необходимое?..

* * *

Однажды я особенно долго лежал на высоких обрывах... Ах, оно в этот день было особенно приглашающее... Типичное «драп-море». Легкий ветерок, чтобы не было жарко и чтобы не было большой волны. Ничего грозного, опасного в нем, только что-то большое. Пора... положительно пора...

Когда я вернулся домой под вечер, Ляля встретил меня в саду.

— У нас гости... одна дама, она говорит, что ты ее знаешь, но она не хочет себя назвать...

Я вошел и поздоровался с этой молоденькой женщиной, которая действительно казалась мне несколько знакомой. Но только когда она не выдержала и рассмеялась, я узнал Ирину Васильевну: она была в темном парике и загримирована «четвертым номером», т. е. под смуглянку...

* * *

— Когда вы ушли, они пришли в тот же день...

— Кто они?..

— «Заграничные жиidy»...

— Как они узнали?

— Они выследили меня, должно быть... но меня не было дома, когда они пришли. Они пришли под видом служащих жилотдела... На самом деле это были чрезвычайщики, мне хозяин дома сказал. И через два дня я получила повестку явиться в Чрезвычайную Комиссию... Я пошла. Сначала хотела бежать... А потом решила пойти. Он стал меня спрашивать.

— Кто он?

— Следователь, которому было поручено все это дело. Он меня спросил, куда исчезли мои жильцы. Я сказала, что я не знаю и что сама очень беспокоилась. Он спросил фамилии, хотя он их знал от хозяина и дворника, но стал вас называть почтительно Иван Дмитриевич и Владимир Александрович... Тогда я ему стала рассказывать все, как мы условились... Он всему как будто верил. И потом вдруг спросил: «А зачем вы 7 мая были в квартире такой-то?» Тут он меня поймал. Потому что он спрашивал о той квартире, где было свидание с «Котиком»... Я видела, что я сейчас запутаюсь и будет мне конец, и чувствовала, что надо сделать что-нибудь особенное. А надо сказать, что нас вызывали вдвоем с мужем... и вдруг мне мелькнуло... Я сказала ему тихонько: «Удалите мужа...» Он под каким-то предлогом выслал Владислава... Когда мы остались одни, я стала сильно плакать и сказала, что, если он меня не выдаст мужу, то я все скажу... Он обещал, и я ему призналась, что у меня в этой квартире было любовное свидание с Владимиром Александровичем, а что Иван Дмитриевич покровительствовал нам... После этого мы стали как бы друзьями... Он мне сказал, что Иван Дмитриевич и Владимир Александрович — честнейшие люди, но что над ними повисло обвинение в злостной спекуляции и так как это карается очень строго, то они и сбежали... Но на самом

деле Чрезвычайной Комиссии известно, что они не виноваты и что им надо вернуться, чтобы себя обелить... Больше в этот день ничего не было. Он отпустил меня домой. На следующий день он ко мне приехал... Тут опять была масса разговоров, я еще больше плакала. И немножко стала возмущаться Владимиром Александровичем, что он меня бросил и ничего не сообщил и что я не знаю даже адреса. И даже я стала чуточку сомневаться, любит ли он меня... А если любит, то, вероятно, постарается увидаться, хотя бы это и грозило опасностью. Потом я настойчиво спрашивала, может быть, он настоящий спекулянт, так я не хочу иметь с ним дела... Он меня разубеждал и говорил, что В. А. честнейший человек... В конце концов, я согласилась помогать ему в его деле «обеления В. А. и И. Д.» и сказала, что сделаю все возможное, чтобы как-нибудь отыскать след В. А. Но перед этим я устроила бенефис слез и повела его к иконе.

— Да ведь он жид?

— Нет, русский... Я его заставила клясться перед иконой, что он никакого зла Ив. Дм. и Вл. Ал. не сделает. Он говорил: «Да почему вы так о нас думаете?» Я ответила: «Вы все-таки чрезвычайка, вы людей убиваете и пытаете»... Он мне клялся, что никого они не пытаются уже больше... Так продолжалось несколько дней... Наконец он стал уже нетерпеливый... некоторое время мне удавалось смягчать его тем, что я ездила с ним кататься по Французскому бульвару (у него своя лошадь), потому что он почему-то был убежден, что Ив. Дм. живет где-то на Французском бульваре. Про каждого высокого седого он спрашивал: «А это не Иван Дмитриевич?» А я дрожала: а вдруг я действительно вас увижу и выдам,— он ведь мне в самое лицо смотрел... и ловил выражение... Наконец он мне сказал, что, если я до такого-то дня ничего не сделаю, он меня арестует, а если я сбегу, арестует мужа... Тогда я стала думать о том, что надо устать куда-нибудь мужа... Это удалось, он получил командировку. А я... мне очень помогло то письмо, которое вы мне написали... Оно было так написано, что я могла показать ему. Он был очень обрадован, узнав, что Вл. Ал. просит свидания... Я написала вам письмо, назначая свидание, и ему показала... Свидание было назначено в одном скверике... Я сидела как дура на скамейке три часа... Я насчитала, что вокруг меня было семь сыщиков... Один из них одно время даже сел на ту же скамейку, на которой я была, и из кармана его торчал ре-

вольвер... Конечно, никто не пришел, и он страшно рассердился... Но я ему сказала, что, если он будет ставить таких дураков-сыщиков, которые будут садиться на ту же скамейку, то Вл. Ал. совсем не придет, потому что он-то не дурак: он, наверное, был, но увидел мой антураж и ушел. И теперь, наверное, будет мне не верить. И опять плакала. Он очень ругался и говорил, что с «этими болванами» ничего нельзя сделать...

* * *

— Ну, и так далее... Все это продолжалось в этом духе... То он заставлял меня приходиться к себе, то ко мне приходил... То он мне верил, то начинал подозревать... Труднее всего мне было изображать, что я — дурочка... А на этом все шло... Между прочим, этот человек...

— Он идейный, по-вашему?

— Идейный?.. нет... Но он и не продажный... Между прочим, я видела, как он сам себе рубашку стирал... У него не было много денег... Но честолюбец... упрямый... и без всякой жалости... О, я дрожала... он бы всех, всех вас расстрелял... совершенно спокойно... Страшный человек.

— Как вы думаете, они пытаются по-прежнему?

— Нет... не думаю... не из жалости... а просто сочли, должно быть, невыгодным... Я страшно боялась, что они будут меня пытаться. А вдруг я не выдержу... мне даже не хотелось, чтобы мне сообщили ваш адрес... Но нет... видимо, у них другие способы, более совершенные... Раз он рассердился, вышел из себя и сказал: «Знаете что, я несколько месяцев буду работать, но я их поймаю всех...» Они думают о нас, что мы — сильнейшая организация... Они не знают, что у нас нет денег. Между прочим, он знает про ваше письмо «высшим представителям Советской власти»... Он мне сказал: «Иван Дмитриевич с нами в переписке»...

— Почему же они ничего не ответили, не напечатали?

— Не верят... боятся ловушки... Они думали, что если они это напечатают, то подадут кому-то условный знак, которого вы хотите... Они ни за что не могут поверить, что вы придете... Между прочим... Эфем жив... Я знаю наверное... Они его держат под страшным секретом, но одна дама, которую выпустили из чрезвычайки, его видела, с ним говорила. Он совершенно помирился со своей участью... и готов к смерти... Но бодр... И всех там поддерживает...

* * *

— Как-то они меня позвали на Екатерининскую, № 3... Там у них было что-то вроде вечеринки...

— Зачем же они вас позвали?

— Дело в том, что он мне все-таки верил... Но другие, видимо, над ним смеялись... И вот он привел меня, чтобы им показать, чтобы и они убедились, что я дура... Это был вечер!.. Там и жены их были и любовницы... И эти были, «заграничные жида»... они действительно — заграничные... Они из Германии... Даже по-русски плохо говорят. Одного из них зовут Макс... Ах, это был вечер, пили вино... играли... веселились... я думаю, что через этих дам можно было бы кое-что сделать... им легче всего всунуть взятку... им хочется одеваться...

* * *

— Мне очень трудно было бежать... За мной следили неотступно... но я их все-таки обманула... Правда, меня нельзя узнать... Недаром я в театре... Но где же я буду спать?..

* * *

Ирине Васильевне не прошло даром это напряжение нервов. Игра в «кошки-мышки» с чрезвычайкой сказалась теперь, когда она очутилась в сравнительной безопасности...

Днем все было хорошо. На даче никого не было, кроме нас, она никуда не выходила за пределы сада. Но ночью... Но ночью дело принимало скверный оборот.

Ночь мы проводили под знаком — «идут!».

Ей все казалось, что агенты чрезвычайки идут нас арестовывать. Никакие убеждения не действовали. Она всегда придумывала новый способ, каким нас могли бы «выследить». На счастье дача имела два выхода, так, что можно было бежать даже в случае, если бы вошли в один из ворот. Но можно было бежать даже в том случае, если бы окружили с двух улиц,— через другие дачи. И вот из-за этого все и происходило: если возможно спастись, то преступно проспать! Поэтому она и не спала всю ночь напролет, прислушиваясь, приглядываясь, постоянно вскакивая и обходя сад по всем дорожкам в ночной темноте. Чтобы ее успокоить, я пробовал устраивать дежурство, наконец,

ложиться в разных местах сада, откуда могли войти, но беда в том, что у нее слух и зрение обострились до такой степени, что она слышала шаги на таком расстоянии, с которого мой слух совершенно ничего не улавливал, и видела там, где зоркие глаза Ляли ничего не усматривали. Поэтому она никому не верила, кроме как самой себе. Никогда не спала и не давала никому спать.

— Слышите... тише... да как же вы не слышите!., идут!..

— Ну, допустим, идут... Ну, пусть себе идут...

Но она не успокаивалась, пока, пройдя мимо, шаги не затихали. Через десять минут она слышала новые шаги, и так до бесконечности...

Это, в конце концов, переходило в пытку. Но кончилось самым неожиданным образом. Изведенный, я сказал ей однажды:

— Неужели вы так боитесь смерти?.. Ну, хорошо, идут, придут, возьмут, расстреляют... Ну, черт с ними!.. Ведь хуже смерти ничего не бывает...

И это странное рассуждение подействовало. По-видимому, она боялась чего-то, что хуже смерти. Когда она ясно поняла, что рискует только этим,— она заснула. Заснула, хотя совершенно негде было спать. Ничего, кроме садовых скамеек...

* * *

Надо было поскорее устраивать «морской драп». Для этого я решил на одно путешествие: надо было пройти верст 35 по берегу моря. Конечно, мне нужны были документы. И мне смастерили превосходные. Я получил приказание от соответствующего советского учреждения «осмотреть помещения для расстановки конных постов» по берегу.

Как необычайно ретивый службист, я вышел в тот же день. Ведь Врангель каждую минуту может сделать десант, расстановка постов дело важное и спешное.

* * *

По дороге я встретил трагикомичное и вместе с тем поучительное зрелище.

Навстречу мне, по шоссе, шла группа людей; не то большая артель, не то рабочих, не то арестантов. Когда они

приблизились, я увидел, что это среднее между тем и другим: это государственные рабы Советской власти.

В это время декретом Советской власти в Одессе все вообще люди были разделены на несколько рядов или категорий. Первая категория — это привилегированная, получающая полный паек от Советской власти. Вторая категория — это те, которые почти ничего не получают,— им предоставляется околевать с голоду, но на свободе. Третья же категория, которых кормят впроголодь, но лишают свободы.

За какое-нибудь преступление? Нет. Просто известная часть одесского населения, не имевшая, по мнению Советской власти, достаточно почтенных занятий, была заключена в концентрационные лагеря и гонялась партиями на работу.

Одна из таких партий шла мне навстречу. Поучительность этого зрелища была в том, что вся партия состояла сплошь из евреев.

Что это были за люди? Самые разнообразные. По всей вероятности, наибольший процент здесь был из тех спекулянтов, что тучами бродили около кофейни Робина в былое время. Теперь всех этих гешефтмахеров дюжие солдаты гнали по пыльной жаркой дороге на какие-то сельскохозяйственные работы.

Воображаю, что они там наработают! Для того, чтобы судить об этом, я как бы нарочно встретил другую партию, тоже исключительно из евреев. Эту уже пригнали на место. Они починяли мостовую. Поистине жалки до комизма были эти типичные еврейские никчемные в физическом труде фигуры с кирками и лопатами в руках. Они впятером ковыряли ровно столько, сколько сделал бы один деревенский парнишка.

* * *

Я думал...

Вы, бессмысленно ковыряющие одесскую мостовую под лучами палящего солнца, поняли ли вы, наконец... При «самодержавии» вы торговали властью, кушая мороженое у Фанкони, а теперь — не угодно ли... Долбите камень, приготовляйте щебень и прославляйте Великую Русскую Революцию, которая принесла вам равноправие...

Когда я прошел верст 20, мне стал жарко до нестерпимости. Вот какая-то деревня. Зайду, попрошу пить.

Зашел. Спinoй ко мне сидел человек. Я попросил у него воды. Он обернулся и оказался красноармейцем. И вместо воды оглядел меня с головы до ног и потребовал у меня... документ.

Я счел за лучшее рассердиться.

— Я по казенной надобности иду, а вы мне документ!.. А вы сами кто такой?

Он посмотрел на меня так, как обыкновенно в этих случаях смотрят солдаты. И сказал:

— Ну, так пожалуйста...

Я понял, что надо идти за ним. Он ввел меня в хату. Очевидно, это было караульное помещение.

За большим столом сидело человек пятнадцать красноармейцев. Мой солдат, вытянувшись, обратился к одному из них:

— Товарищ командир, разрешите доложить: вот не хотят документы предъявлять.

Товарищ командир перевел на меня вопросительный взгляд. Я сказал:

— Вам, товарищ командир, я, конечно, предъявлю документ. Только, пожалуйста,— про себя...

Это значило, что у меня секретная командировка, которую я не могу предъявлять всякому. Но ему, в виде особого доверия, предъявляю.

Он взял документ и внимательно прочитал. И, посмотрев на меня, отдал мне документ.

— Вы свободны, товарищ... Только я вам советую идти не большой дорогой, а тропинкой... ближе...

Он стал объяснять мне, куда идти, причем я в глазах его ясно прочел: «Вот эти старорежимные. Контрреволюционеры они — все, а службу знают; ведь вот действительно, секретная командировка,— правильно поступает».

В ответ мои глаза говорили: «Ну, конечно, я буржуй... и не скрываю; но раз я у вас на службе, я ее исполняю за совесть».

Он приказал солдату проводить меня, и тот, наконец, напоил меня водой. Но когда я вышел оттуда, мне все-таки было жарко.

К вечеру я пришел туда, куда мне нужно было. Когда я переступил порог хаты, пожилая хохлушка-хозяйка встретила меня фразой:

— Отчего вы так согнулись?.. Отчего вы ходите все так, в землю смотрите?.. А они вот так!..

И она выпрямилась...

Этой загадочной фразой она давала мне понять, что она прекрасно знает, из какого я рода-племени и чего мне нужно.

Впрочем, она прибавила:

— За полверсты, как я вас увидела — вы шли по берегу, то уж знала, кто вы и зачем идете... Только плохо... сейчас нельзя отсюда, стерегут... по ночам все шаланды в одно место собирают... и солдат ставят... сейчас у нас нельзя. Вот на днях расстреляли наших четырех... свои выдали... Но уж мы-то доберемся до них...

Я остался у нее ночевать. Она угостила меня великолепным ужином, и наслушался я от нее...

— Когда деникинцы были, жил тут у меня один полковник. Я ему все жаловалась, что неправильно деникинцы поступают... Надо снисхождение иметь к народу... Так нельзя... А он мне все говорил: «Верно, верно, хозяйка... неправильно мы поступаем... нехорошо... а вот как мы уйдем... будете по нас плакать»... А я не верила... думала, как неправильно поступают, чего же я плакать буду... А вот теперь плачу... День и ночь все плачем за деникинцами...

Ее сын, 17-летний хлопец, слушал этот разговор. И когда я случайно взглянул ему в лицо, я увидел такое выражение...

Нет, я бы не хотел быть на месте большевиков, попавшихся в руки этих людей.

Утром я возвращался. У меня еще было несколько встреч с разными людьми, преимущественно «простыми». Они узнавали меня сразу, с одного взгляда, то есть узнавали мое бывшее «социальное положение». Правда, я уже

давно расстался со своей знаменитой седой бородой и являл миру обыкновенное лицо бритого интеллигента.

И вот что я ощутил. Трудно формулируемый, но несомненный ток симпатий, который все время меня окружал. Все эти люди оказывали мне всякие услуги с такой готовностью, которая говорила без слов.

И все мне вспоминались слова старой хохлушки, у которой я ночевал:

— А я вам правильно говорю: с Гершки да со Стецька не будет нам того, что нам нужно... Надо нам людей как следует образованных, чтоб знали свое дело... Только чтобы... снисхождение имели к народу...

* * *

Там у нас на даче, в тени каштанов, иногда собиралось избранное общество. Избранное оно было уже потому, что безбоязненно вело со мной знакомство. Наш кружок, т. е. люди, которые знали друг друга и на которых можно было положиться, надо было считать человек в пятьдесят. Все это были люди верные, испытанные, с которыми можно было бы работать. Если бы не несчастный случай с Эфемом, мы действительно могли бы быть сильной организацией, по крайней мере, в смысле разведки. И тем более было это обидно, что несчастье произошло не по нашей вине, а потому, что из Севастополя в Одессу присылали вместе с действительными курьерами большевистских шпионов, служивших в севастопольской разведке. Ведь «Котик» был одним из таких.

Об этом случае следовало бы кой-кому подумать. Стремление во что бы то ни стало «развернуть штаты» приводит к тому, что на службу берут людей, не имеющих достаточных рекомендаций. И вот результат: такая разведка ничего не разведывает, но губит жизни.

* * *

Разумеется, у меня под каштаном никогда не собиралось много. Я видел всегда двух-трех людей, через которых и передавал все, что нужно.

На одном из таких собраний выяснилось, что две барышни, путешествовавшие по нашему поручению, нащупали случай купить шляпку...

* * *

В это время террор уже опять возобновился. В газетах появились списки расстрелянных. Но туда не все попадали. Между прочим, погиб сын члена Государственной думы А. И. Савенко — Вася Савенко. Ему было лет двадцать. Его расстреляли за то, что он был сыном своего отца. Погиб и тот настоящий курьер, с которым прибыл «Котик». Разумеется, его погубил этот последний. Эфема пока щадили. Чего-то ждали...

* * *

Однажды до нас донеслись звуки отдельной бомбардировки. Эти глухие удары шли с моря, и ясно было, что работают тяжелые калибры. Что это могло быть?

Скоро мы узнали: это эскадра генерала Врангеля бомбардирует Очаков.

Мы слушали это с непередаваемым чувством. И каждый удар сжимал сердце радостью и волнением...

* * *

Там, за горизонтом, вот в этом направлении, длинный, как змея, остров Тендра. Там, у северной его оконечности, стоянка эскадры. Напрямик — верст семьдесят... Там — свои... свобода... безопасность... и борьба за тех, кто не может вырваться отсюда...

«SPERANZA»*

Надо было бежать. Море звало, манило и приглашало определенно. В этом не могло быть сомнений.

Однако, рассуждая хладнокровно, пересекать море в небольшой шлюпке было все же очень рискованно... и трудно было решить, в конце концов, что опаснее: бежать или оставаться... Поэтому я решил: пусть жребий укажет каждому его судьбу.

Под тенистым каштаном Ирина Васильевна вытаскивала бумажки из шапки. И вытащила: себя, моих двух сы-

* Надежда (ит.).

новой, Вл. Ал. и меня. Надо к этому прибавить, что моей жене уже удалось выехать совсем особым способом.

* * *

Под видом купальщика, я осмотрел эту шлюпку. Она была совсем маленькая, но на четыре весла. Паруса не было. Но и выбора не было. Или эту, или ничего.

Я сушил в ней только что выстиранное в море белье и раздумывал: быть или не быть. И решил — быть...

Иногда судьба людей решается за время, гораздо более короткое, чем сколько нужно июльскому солнцу, чтобы высушить рубашку...

В тот же вечер она была куплена. Главным действующим лицом был Ляля. Он уже несколько дней ходил в эту семью и присматривался. Надо сказать, что эта операция — покупка шлюпки при советском режиме — дело, требующее большой осторожности. Ляля, как многие русские, очень застенчив. Еще не так давно, если его послать в аптеку за аспирином или хиной, то он спрашивал: «А как я войду? А как я скажу?»

Но шлюпку он купил ловко. Заплатил он при этом двадцать девять серебряников (двадцать девять серебряных рублей — все состояние Ирины) и царскую пятисотку. И еще какую-то не то фуфайку, не то кацавейку...

* * *

Теперь надо было подумать о провизии. У меня была карта, по которой я видел, что нам идти верст 70. Это можно было сделать, при тихой погоде за сутки. Но надо было рассчитывать на все, так как мы выходили в открытое море. Я решил пересекать напрямик, благо у меня был компас. Не малых трудов стоило его достать. Я взял провизии на три, четыре дня. Столько же и пресной воды.

Тут кстати упомянуть о ценах, которые стояли в то время. Хлеб — 150 рублей фунт, сахар — 1 000 рублей фунт, сало — 1 000 рублей фунт. Удивительно дешево были дыни: они начинались от 5 руб., а за 50 можно было купить пре-красную дыню.

* * *

Наконец это совершилось...

Мой план был таков: действовать совершенно открыто при полном свете дня, так, чтобы большевикам в голову не пришло, что это может быть...

В 10 часов утра шлюпка, которую мы назвали «Speranza» (по некоторым причинам, не подлежащим пока оглашению), отошла от того места, где она была куплена, а в 10 ¹/₅ часа утра под «мошными взмахами» весел Ляли и Вовки подошла к пустынному берегу, где должна была состояться посадка. К этому времени Димка привел туда Ирину Васильевну, а я принес огромный мешок с этими проклятыми дынями.

«Пустынный берег» очень хорошо был виден с большевистского поста береговой охраны. Это меня вполне устраивало: мы, мол, не скрываемся. Море было на высоте: легкий ветерок, чтобы не было жарко, почти никакого прибоя.

Посадка не задержала нас. Груз состоял из мешка с дынями и двух сулей воды.

Перекрестившись, ровно в одиннадцать мы отошли.

На берегу осталась маленькая хрупкая фигурка одной русской женщины с большим сердцем. Мы хорошо отходили, и белая статуэтка на обрывистом берегу становилась все меньше.

* * *

Тут надо пояснить следующее. По всему побережью большевиками установлена запретная полоса, проходящая версты полторы-две от берега в море. Эту черту очень легко узнать, потому что вдоль всего берега стоят рыбацьи лодки на якорях и удят рыбу. Дальше они не смеют выходить.

Через несколько минут мы вышли на высоту этой черты. Вправо и влево от нас, насколько хватал глаз, стояли рыбацьи лодки.

Тут мы остановились. Мы были против самого поста береговой охраны. Я решил продемонстрировать им «законопослушность».

Мы, мол, добрые граждане Советской Республики, вышли себе в море прокатиться, но отнюдь не желаем выходить за запрещенную черту. Наоборот, мы поделились и стали купаться, бросаясь с лодки в море, влезая из воды обратно, и еще раз в море. Ирина Васильевна нам не ме-

шала, ибо вообще мы решили ее не показывать и потому запрятали ее на дно лодки и прикрыли мешком.

Так прошло столько времени, чтобы, по моим расчетам, большевикам надоело следить за этими резвящимися ку-пальщиками. Тогда мы оделись, сели на весла и как можно явственней запели «Стеньку Разина». Это, как известно, весьма уважаемая в Совдепии песня. И понятно, княжну, т. е. «буржуйку», ведь бросают за борт...

Под эти дозволенные звуки мы основательно налегли на весла. Я рассчитывал еще на то, что если лодку повернуть прямо кормой к человеку (в данном случае к посту), то куда она идет, вперед или назад, и с какой скоростью, определить в течение некоторого времени довольно трудно.

* * *

Мы налегали на весла в течение, быть может, получаса, когда на берегу раздались выстрелы. Сначала в одном месте, потом в другом, потом затарахтел пулемет.

Мы продолжали нажимать, и в то же время у нас произошел спор: по нас или не по нас. Впоследствии оказалось, что по нас. Как бы то ни было, мы, по-видимому, хорошо гребли, потому что берег заметно удалялся.

Через некоторое время у берега «под постом» появился парус.

Он почему-то очень беспокоил Ирину Васильевну, но Ляля непрерывно повторял «ерунда», пока я ему не запретил. На море становишься суеверным: а вдруг судьба подслушивает.

Тем не менее я рассуждал так. Ветерок с моря — слабый. Парус, если это погоня за нами, должен идти в лавировку. При таком слабом ветре, принимая во внимание, что мы уходим в четыре весла, нас не догонят или догонят к вечеру, когда мы скроемся в темноте. И притом, неужели это за нами?

* * *

Впоследствии я узнал совершенно с точностью, что это действительно было за нами. Пост, наконец, увидел, что мы уходим, поднял трескотню из винтовок и пулеметов, а затем в первой попавшейся рыбацкой лодке пустился в погоню.

Но ветер был такой слабый, а мы уходили так быстро,

что, в конце концов, рыбаки определили: «У них не иначе, как мотор». После этого погоня вернулась обратно, — за мотором ведь не угонишься.

* * *

У нас на «Speranza» царило полное удовольствие. Погода была дивная, берег куда-то уходил, как принято говорить, «в туманную дымку», и через несколько часов пропал из глаз.

Мы были в открытом море.

Тут младший сын Димка вдруг спросил меня дрожащим голосом:

— Можно?..

Я посмотрел на его умоляющие и сверкающие глаза и понял, что он хочет.

— Можно... можно...

Тогда они торжественно встали с братом в лодке, и «открытое море» огласилось:

Боже, царя храни...

Бедные мальчики. У них совсем не было голоса... но зато сколько чувства...

* * *

Мы шли всю ночь. Иногда все спали, я греб один.

Хорошо в море в такую ночь. И даже не очень жутко. Разве, если где-нибудь всплеснет, или, вернее, прошелестит гребешок в темноте, кажется, будто море хочет сказать: «А ведь я могу наделать и гадостей». Но...

Нам звезды кроткие сияли...

По этим кротким звездам я «держал путь»... Это очень просто: поставишь корму на звезду, которую определишь по компасу, и так и держишь. Гребешь, и даже оборачиваться не надо. Правда, звезда куда-то ползет, вследствие вращения земли, но ведь нас зато несколько сбивает в противоположную сторону легкий ветер. Значит, звезда как бы делает поправку на ветер. А впрочем, иногда сверишься по компасу и меняешь звезду.

Все-таки удивительно, что при таких элементарных способах нахождения курса, когда рассвело, мы увидели как раз в нужном направлении дымки.

Мы знали, что там должна быть где-то около Тендры наша эскадра. Эти дымки не могли быть ни чем иным.

Кроме того, что это такое?

Что-то торчащее на горизонте, в виде какой-то палки. Должно быть, от движения зыби казалось, что этот шест куда-то стремится с большой быстротой.

Мы решили, что, должно быть, это «мачта бешено несущегося за горизонтом контрминоносца».

Но через некоторое время оказалось с несомненностью, что это быстро несущаяся мачта был — маяк, неподвижный, как все маяки.

Итак, мы подходим к заветному острову Тендра...

МАЯК

...Он приближался медленно, этот маяк. Мы гребли сутки и выбились из сил.

Но все же он приближался, рос в небе, становясь из «мачты бешено несущегося за горизонтом миноносца» — высоким столбом, на котором появилось два черных кольца.

Он вырос над низкой, низкой песчаной косой, за которой опять виднелось море. Под ним — какие-то домики, два дерева — больше ничего. Коса бело-желтая, тянется сколько глаз хватит. Еще бы. Ведь эта коса — знаменитый остров Тендра «чуть заметен». Он имеет семьдесят верст длиной при ширине от полутора до двух. Говорят, что когда господь создал Крым, то черт этому позавидовал. Ночью подкрался и ухватился тащить Крым в преисподнюю. Ангел господен отбил — не дал. Но черт успел, выдирая Крым из рук ангела, вытянуть из полуострова эти две стрелки: Тендру и Арбатскую.

Неужели это правда, что это Тендра? Не верилось...

И потом... в конце концов, кто его еще знает...

* * *

Там, на этом низком берегу, виднелись две группы живых существ.

Одна левее, — нарядная, ослепительно сверкающая белым, — это мартыны, большие морские чайки... Они красиво неподвижны.

Другая правее, ближе к маяку — грязно-коричневая. Это люди. Они загадочно копошатся.

* * *

Чего нужно ждать от этого копошения? Правда, рыбаки говорили нам, что Тендра у добровольцев, но кто ж его знает... Сегодня у нас, а завтра у «них».

Но нет, не может быть. Ведь вон там за этим диковинно-узким островом опять море. Это, должно быть, Ягорлыцкий залив. И там явственно видны суда — морские суда. Откуда у большевиков может быть флот? Это наши!

Во всяком случае, отступать некуда. Наши или нет, все равно, если мы повернем обратно, в море, эта копошащаяся коричневая кучка откроет по нас пальбу...

* * *

Мы выбросились на песок с одним из валов прибоя. За минуту перед этим я понял, почему кучка людей была коричневая: они были полуголые, в одних штанах, и загорелые, как полинезийцы.

Но в ту минуту, когда я, «изящно перебежав» с кормы на нос по банкам «Speranz'ы», прыгнул на песок, от полинезийской группы отделился человек во «френче».

Ура, — на нем были погоны!

* * *

Произошла сцена из «Жюль Верна».

— Я комендант острова Тендра. Кто вы и откуда?

Я ответил в том же стиле:

— Шульгин... из Одессы...

— У вас есть документы?..

— Исключительно фальшивые...

— Пожалуйте...

Он пригласил нас следовать за ним.

Мы пошли, увязая в песке. Коричневая кучка любопытных надвинулась на нас с расспросами, но ее отодвинули.

Я успел, однако, рассмотреть, что все это была молодежь. По-видимому, интеллигентная или полуинтеллигентная, но страшно загорелая, поздоровевшая, бронзово-неузнаваемая...

Но отчего они все так одеты, то есть не одеты? Что это — форма?

* * *

Итак, мы пошли за комендантом.

Маяк смотрел на всю эту сцену,— и «пусть меня повесят», как говорят герои Жюль Верна, если у него, этого маяка, при этом не было какое-то странное выражение.

Он смотрел на нас с сочувствием, даже ласково, но какая-то складка печальной иронии угадывалась в этих двух черных кольцах...

Я не понял тогда, к чему она относилась...

* * *

Мы были как пьяные. Нас качало во все стороны после шлюпки, а, кроме того, все смеялось кругом... Небо, море, песок и даже эта палящая жара, от которой единственное спасение в пене прибоя...

Но люди...

Люди были коричневатые.

Они не смеялись.

Они посмеивались...

* * *

Некоторая часть «полинезийцев» приоделась и оказалась молодыми морскими офицерами.

Они шутили на наш счет, т. е. больше насчет Ирины...

* * *

— Ты сегодня дежурный?

— Я...

— Значит, тебе...

— Что?..

— Выводить в расход блондиночку...

— Ну вот...

— А ты думал... Явно шпионка!..

— Я не дежурный...

— Не хочешь... ничего, брат, привыкай!

* * *

Через некоторое время мы уютно обедали в кают-компании эскадренного миноносца «Капитан Сакен», причем «расстрельщики» ухаживали за «жертвой».

Не к этому ли относилась ирония маяка?

Нет, к другому...

* * *

Этой же ночью мы ушли в Севастополь на «Лукулл»³⁸.

Маяк не сверкнул нам в темноте на прощанье — керосину не было...

«ЛУКУЛЛ»

Это был тот «Лукулл»... «тот самый»...

«Лукулл» — яхта. Теперь многие знают его очертания. Это тот самый «Лукулл», на котором впоследствии держал ставку главнокомандующий генерал Врангель.

Но тогда это был мало кому известный «Лукулл», замечательный, впрочем, тем, что на нем шел командующий флотом адмирал Саблин³⁹.

Итак, мы в гостях у «комфлота»...

* * *

Адмирал пригласил нас к обеду.

Обедали на юте, на открытом воздухе.

Погода была дивная. «Лукулл» «пенил воду», как принято выражаться в этих случаях, и все было, как полагается.

Обед очень скромный по старым меркам, но для наших совдеповских желудков нестерпимо сытный... Сервировка тоже скромная,— но все же, боже мой...

У нас там, «на берегу моря», был один разбитый стакан «за все».

А тут...

— И белая скатерть!..

Это не удерживается Ирина.

Белые офицеры (моряки сохранили белые кителя) учтиво расспрашивали, что значит «и белая скатерть»... А у адмирала на плечах среди золота — черные двуглавые орлы...

И обедают, как раньше обедали культурные люди, и не надо каждую минуту прислушиваться, почему скрипнула садовая калитка, и читать в испуганных глазах:

— Идут?..

Нет, идет только «Лукулл», спокойный среди спокойного моря, и идет мирная беседа на юте.

Спрашивают...

* * *

Мы рассказываем... И не знаешь хорошенько, что же сон: «это» или «то». Может быть, и то, и другое... Настоящая жизнь была до революции. Мы проснемся, когда все кончится.

Но когда же?..

* * *

Теперь я расспрашиваю.

— Не грабят?..

— Нет. В общем нет. Бывают, конечно, случаи... но в общем нет. Это надо сказать...

— Каким же образом удалось?..

— Да сначала, конечно, мерами строгости... Расстреливали... А потом как-то поняли сами. Конечно, не все... но значительная часть поняла... отчего мы в Крыму, а не в Москве...

— А население? Переменили отношение?

— Переменили безусловно... К нам, по крайней мере, морякам, хорошо относятся. Но ведь у нас строго... конечно, в армии бывает, но в общем былых безобразий нет... и отношение населения иное...

Я знаю, как флот относится к армии и обратно. Потому для меня свидетельство моряков о сухопутных ценно.

Затем следует неизбежное. Начинаются жалобы, что флот забросили, притесняют, угнетают и т. д.

Но так как я твердо знаю, что нет ни одного рода оружия, и ни одной части, и ни одного полка, и даже ни одной роты, которая не была бы свято и нерушимо убеждена, что она самая угнетенная из всех,— то я слушаю это вполуха.

В доказательство, однако, говорят:

— Нашу новую форму видели?.. Не дают флоту обмундирования, что поделаешь... Пришлось узаконить это «полуголое состояние»... Вот приедем в Акмечеть — и увидите...

* * *

Мы подходим...

Тут стоит несколько судов и, между прочим, тот несчастный крейсер, на котором в начале революции произошли душу раздирающие избиения офицеров.

Вахтенный докладывает:

— Подходим к «Алмазу»... Команда стоит во фронт. Адмирал подходит к борту.

Все замерло здесь у них.

Вот там, на борту «Алмаза», ровным, ровным коричневым частокольчиком стоят застывшие «полинезийцы».

Адмирал здоровается в рупор.

Оттуда через несколько мгновений доносится дружное, размеренное, скандированное:

— Рrrrrrr... и... е...е...а...: е...е.. е...! rrrrrrr... о!..

И чувствуется в этих гласных без согласных и согласие и сила...

И почему-то это волнует.

* * *

А когда мы всходили на судно и капитан поздоровался с Лялей, он отчеканил, как и полагается «юнкеру флота»:

— Здравия желаем, господин капитан перрррвого рранга...

И расплылся радостной улыбкой... Ведь полагается «весело приветствовать начальника»...

Почему и этот пустяк... «щемит»?..

* * *

Сигнал. Адмирал покидает «Лукулл».

Это торжественно. Все на судне должно чувствовать этот момент.

У трапа нарядный вельбот. На веслах бронзовые полинезийцы.

— Встать! смирно!..

Бронзовые вскакивают и застывают в вельботе.

Здороваются. Адмирал садится и берет в руки рулевые тросы.

— Садись!., весла разобрать!..

Бронзовые опускаются, а весла лесом встают к небу.

— На воду!!!

Весла падают на воду.

Вельбот отваливает. Бронзовые тела красиво покрываются мускулами, и Андреевский флаг волнующим крестом вьется над струйкой у кормы.

* * *

— Что с вами, Ирина?..

— Ах, я не могу на все это смотреть... хочется плакать... Отчего это?..

* * *

Мы снова вышли в море. И тут оно доказало, как нам повезло и как оно было милостиво к нам накануне.

Разыгрался шторм. «Лукулл» держал себя хорошо, но море обращалось с ним безжалостно.

Меня каким-то чудом не укачало, и потому я мог оценить красоту шторма. Удивительно интересна взбесившаяся вода. Одно неприятно. Кажется совершенно невероятным, чтобы она когда-нибудь успокоилась.

А меж тем все придет в порядок, когда настанет «час определенный». Не то ли и с революцией?

Люди, испугавшись этих косматых чудовищ, уверовали, что их силе нельзя противиться...

Нет, «Лукулл» не верит. Он бодро прокладывает себе дорогу через скверные забавы этих исполинских катящихся гадов.

Летит корма меж водных недр...

* * *

На следующее утро, то есть 27 июля по старому стилю, мы пришли в Севастополь. Переход из Одессы, следовательно, занял трое суток.

СЕВАСТОПОЛЬ

Несмотря на то, что мы пришли на адмиральском судне и обедали с «комфортом», нас для верности все же направили прямо с Графской пристани в «морскую контрразведку».

По дороге в окне одного дома я вдруг увидел знакомую фигуру Н. Н. Львова. В то же мгновение в окне оказались другие дружеские лица, а на дверях я прочел: «Редакция «Великой России». Основана В. В. Шульгиным».

Встреча была соответствующая.

— Господи, мы как раз обсуждали шестую версию вашей гибели. С того света вы,— с того света!..

И вот начались наши впечатления выходцев с того света.

В контрразведке нас признали окончательно. Выразилось это в том, что нас снабдили документами, восстановившими наше если не доброе, то настоящее имя. С этой минуты мы, так сказать, репатриировались, вновь стали гражданами «этого света»...

Мы вышли на какую-то улицу, которую я тогда не знал. И эта улица и все в ней казалось не то чтобы во сне, а как в кинематографе. Что-то свое, знакомое, страшно живое и реальное, но еще неухватимое. Казалось, что мы как бы не имеем права на все это, не можем с этим слиться,— словом, что это не «о трех измерениях», а только на экране...

Улицы полны народом, и каким народом. Прежним и даже как будто бы похорошевшим.

Масса офицеров, часто нарядных, хотя и по-новому нарядных, масса дам — шикарных дам, даже иногда красивых, извозчики, автомобили, объявления концертов, лекций, собраний, меняльные лавки на каждом шагу, скульптурные груды винограда и всяких фруктов, а главное, магазины... Роскошь витрин... особенная, крымская... и все тут, что угодно...

Кафе, рестораны...

Свободно, нарядно, шумно, почти весело...

* * *

Но почему же это не наше, почему?..

Потому ли, что мы не боролись за это, а только бежали сюда — на готовое?

Но ведь тогда, в порту, в Одессе... Разве не «за нашими спинами» многие из тех, что здесь, выехали сюда?

Или потому, что мы оборваны так, что на нас оборачиваются, и что у нас нет гроша в кармане!..

Или совсем, совсем по другой причине?

* * *

Как бы там ни было, хотелось бы выпить кофе. Ничего не подделаешь — буржуйская привычка.

— Василий Витальевич!.. Вы!.. С того света!

Объятия, удивления.

— Конечно, у вас нет денег... Я вам дам сейчас... Но, простите, только пустяки... вот сто тысяч...

Я раскрыл глаза:

— Сто тысяч — пустяки?..

Но когда мы зашли выпить кофе, неосторожно съели при этом что-то и заплатили несколько тысяч,— я понял...

* * *

— Квартира?

— Совершенно невозможно достать... Единственный способ — поместиться на судне.

— На судне?..

— Тут много кораблей стоит в порту. Много ваших друзей живет... Я вас устрою...

И действительно, нас устроили. И с тех пор мы, так сказать, пошли по флоту: сначала на «Весте», пока она не ушла в море, потом на «Добыче», которая через некоторое время ушла за «Вестой», и, в конце концов, на гиганте «Рионе», 13 000 тонн которого не беспокоят по пустякам.

* * *

Первые дни ушли на объятия и расспросы.

Друзей много, но скольких нет... Кто погиб, кто...

Иные погибли в бою,
Другие...

если не «изменили», то отошли в сторону.

* * *

Прежде всего, надо одеться...

Одевают...

Обувь — 90 000 рублей, рубашка — 30 000, брюки холщовые—40000...

— Но ведь если купить самое необходимое, то у меня будет несколько миллионов долгу!..

Я пришел в ужас. Но мне объяснили, что здесь все «миллионеры»... в этом смысле...

* * *

— Но как же живут люди? Сколько получают офицеры?

— Теперь получают около шестидесяти тысяч в месяц.

Но на фронте — это совсем другое. Там дешевле. Вообще же как-то живут.

— И не грабят?

— Нет, не грабят, в общем... Пошла другая мода... Вы думаете, как при Деникине... Нет, нет,— теперь иначе... Как это сделалось — бог его знает,— но сделалось... Теперь

⁴⁰
с мужиком цацкаются .

«Цацкаются»... Так... Но все-таки многого не пойму. Например:

— Отчего такая дороговизна?

— Территория маленькая, а печатаем денег сколько влезет.

— А что же будет?

— Ну, этого никто не знает.

— А вы знаете, что большевики остановились в этом смысле, не повышают ставок.

— Будто?.. Сколько у них жалованья?

— Не свыше десяти тысяч. А то пять, семь...

— А цены? Хлеб?..

— Хлеб — сто пятьдесят. А здесь?..

— Здесь на базарах около трехсот.

— А другие предметы? Ну, виноград, например?

— Виноград — тысяча рублей.

— Что за чепуха! В Одессе хорошая дыня стоит пятьдесят.

— А вот вы увидите, что здесь действительно как раз все наоборот... Здесь верхам хуже, а низам лучше. Да, да... Представьте себе, что в этом «белогвардейском Крыму» тяжелее всего жить тем, кто причисляется к социальным верхам... Низы же, рабочие и крестьяне, живут здесь неизмеримо лучше, чем в «рабоче-крестьянской республике». И причина та,— что в Крыму цены на предметы первой необходимости, вот как на хлеб, сравнительно низкие. А на то, без чего можно обойтись, как, например, виноград, очень высокие.

Я убедился, что это правда. Для примера возьмем заработок рабочего в Одессе и Севастополе. В Одессе очень хороший заработок для рабочего — пятнадцать тысяч в месяц. А здесь тысяч шестьдесят, восемьдесят и много больше... А цена хлеба, главного предмета потребления, здесь только в два раза дороже. Следовательно, если измерять заработок одесского рабочего на хлеб, то выйдет, что на свой месячный заработок он может купить два с половиной пуда хлеба, а севастопольский — пять пудов и выше.

— Как же этого достигли здесь у вас в Крыму?

— С одной стороны, объявлена свобода торговли, а с другой стороны, правительство выступает как мощный конкурент, выбрасывая ежедневно на рынок большие количества хлеба по таксе, то есть вдвое дешевле рыночного...

— Но все же... в Севастополе очень трудно жить?

— Как кому... Иные спекулируют, другие честно торгуют, третьи подрабатывают... Вот видите этого офицера с этой барышней?

— Ну?..

— Они сейчас оба возвращаются из порта...

— Что они там делали?

— Грузили... тяжести таскали... мешки, ящики, дрова, снаряды... очень хорошо платят...

— Ну, например...

— Тысяч до сорока выгоняют некоторые за несколько часов... то есть за ночь...

— И офицерам разрешено?

— Разрешено.

* * *

Надо подняться по характерной для Севастополя крутой каменной лестнице, которая заменяет улицу. Там наверху — дом-особняк. У дверей почетные часовые — казаки конвоя,— эмблема ставки.

В небольшой приемной много народа. Происходит несколько встреч. Вот А. М. Драгомиров, экс-премьер деникинского периода и бывший наместник киевский... Человек долга, органически не способный к интриге, он не побоялся взять ответственность, когда его позвали, и ушел в мирную тень, когда оказалось, что его «не требуется»... После установленных трансцендентальных удивлений и приветствий, мы обмениваемся несколькими фразами по существу.

— Чем более я думаю обо всем,— говорит А. М. Драгомиров,— тем более я прихожу к убеждению, что все это только... этапы. Деникин был этап. Боюсь быть плохим пророком, но, мне кажется, то, что сейчас,— тоже этап...

К нам подходит «посеребренный» человек в чесуче и с шрамом на щеке... Он чуть постарел, но такой же... Это В. А. Кривошей... Помощник главнокомандующего, теперешний премьер, гражданский правитель Крыма.

Я жадно всматриваюсь в его лицо. Когда-то правая рука Столыпина, этот человек сделал много в грандиозном деле Петра Аркадьевича, в той земельной реформе, которая одна только могла спасти Россию от социализма,— как он сейчас? Осталась ли былая энергия?

У меня остается смутное чувство. И верится, и нет. Кажется, надломилось что-то в нем... Выдержит ли?

Вот М. В. Бернацкий⁴¹, мой сторонник в деле откороирования так называемой одесской автономии.

Петр Бернгардович Струве.

Он только что вернулся из Парижа, где удалось «признать Врангеля».

— Мне нужно с ним поговорить... как следует.

Мне тоже нужно, но я уже чувствую, какое напряжение здесь у всех. Знакомое напряжение... Так живут все люди, которым надо властвовать.

Ах, друзья «управляемые»... если бы вы знали, что это за подлое ремесло, «ремесло правителей»... Самые несчастные люди в свете. Это так нестерпимо утомительно,— нужно быть вечным сторожем своего времени и своих сил, иначе вас разорвут или задавят алчущие и жаждущие «поговорить».

Для власти нужно быть рожденным.

Рожденна, не сотворенна...

И так как люди забыли, как «выводить породу властителей», то поэтому они и встречаются так редко.

Отворяется дверь, и на пороге появляется высокая фигура того, кого со злости большевики называют «крымским ханом».

* * *

Генерал Врангель встретил меня очень приветливо:

— Пожалуйте, пожалуйста... ужасно рад вас видеть... Мы ведь вас похоронили... Ну, позвольте вас поздравить.

Я не видел генерала Врангеля около года. Тогда (это было в Царицыне) он нервничал. Он только что пережил exanthematicus, у него были сильно запавшие глаза, но еще что-то кроме этого. Какое-то беспокойство, недовольство «общего порядка». Он сдерживался, привычный к дисциплине, но что-то в нем кипело. Мне казалось тогда, что он недоволен стратегией «влево»⁴², т. е. на Украину, и хочет правофланговой ориентации — на Волгу, на соединение с Колчаком, но, может быть, дело было глубже.

Меня поразила перемена в его лице. Он помолодел, расцвел. Казалось бы, что тяжесть, свалившаяся на него теперь, несравнима с той, которую он нес там, в Царицыне. Но нет, именно сейчас в нем чувствовалась не нервничающая энергия, а спокойное напряжение очень сильного, постоянного тока.

Я ответил:

— Нет, позвольте мне вас поздравить... я спас только свою собственную персону, а вы спасли... я не знаю, как это выразить... нечто...

Я растрогался и не нашел слов.

Он пришел мне на помощь.

— Я всегда думал — так... Если уж кончать, то, по крайней мере, без позора... Когда я принял командование, дело было очень безнадежно... Но я хотел хоть остановить это позорище, это безобразие, которое происходило... Уйти, но хоть, по крайней мере, с честью... И спасти, наконец, то, что можно... Словом, прекратить кабак... Вот первая задача... Давайте сядем...

Мы сели.

— Ну, эта первая задача более или менее удалась... и тогда вдруг оказалось, что мы можем еще сопротивляться... Оказалось то, на что, в сущности говоря, очень трудно было рассчитывать. Мы их выгнали из Крыма и теперь развиваем операции... Но я должен сейчас же сказать, что я не задаюсь широкими планами... Я считаю, что мне необхо-

димо выиграть время... Я отлично понимаю, что без помощи русского населения нельзя ничего сделать... Политику завоевания России надо оставить... Ведь я же помню... Мы же чувствовали себя, как в завоеванном государстве... Так нельзя... Нельзя воевать со всем светом... Надо на кого-то опереться... Не в смысле демагогии какой-нибудь, а для того, чтобы иметь, прежде всего, запас человеческой силы, из которой можно черпать; если я разбросаюсь, у меня не хватит... того, что у меня сейчас есть, не может хватить на удержание большой территории... Для того, чтобы ее удерживать, надо брать тут же на месте людей и хлеб... Но для того, чтобы возможно было это, требуется известная психологическая подготовка. Эта психологическая подготовка, как она может быть сделана? Не пропагандой же, в самом деле... Никто теперь словам не верит. Я чего добиваюсь? Я добиваюсь, чтобы в Крыму, чтобы хоть на этом клочке, сделать жизнь возможной... Ну, словом, чтобы, так сказать, показать остальной России... вот у вас там коммунизм, то есть голод и чрезвычайка, а здесь: идет земельная реформа, вводится волостное земство, заводится порядок и возможная свобода... Никто тебя не душит, никто тебя не мучает — живи, как жилось... Ну, словом, опытное поле... До известной степени это удастся... Конечно, людей не хватает... я всех зову... я там не смотрю, на полградуса левее, на полградуса правее, — это мне безразлично... Можешь делать — делай. И так мне надо выиграть время... чтобы, так сказать, слава пошла: что вот в Крыму можно жить. Тогда можно будет двигаться вперед, — медленно, не так, как мы шли при Деникине, медленно, закрепляя за собой захваченное. Тогда отнятые у большевиков губернии будут источником нашей силы, а не слабости, как было раньше... Втягивать их надо в борьбу по существу... чтобы они тоже боролись, чтобы им было за что бороться... Меня вот что интересует... как вы думаете... большевики уже достаточно надоели?

— Я не берусь с точностью ответить вам за деревню. По сведениям, которые я имел, в деревнях их тоже ненавидят, но все-таки это не личные впечатления... я могу вам сказать об Одессе... Там большевиков русское население ненавидит сплошь... а евреи — наполовину...

— Так что вы думаете, что момент наступил. Сейчас нам, конечно, очень помогают поляки... Наше наступление возможно потому, что часть сил обращена на Польшу.

— А они не подведут, по своему обыкновению?

— Могут, конечно... Но нельзя же не пользоваться этим благоприятным обстоятельством.

— А если подведут, что тогда?

— Тогда, конечно, будет трудно... я надеюсь удержать Крым...

— И зимовать?..

— Да, зимовать, конечно. Надо обеспечить хлеб... хлеб будет. Я сделал так: я дал возможность людям наживаться. Я разрешаю им экспорт зерна в Константинополь, что страшно для них выгодно. Но за это все остальное они должны отдавать мне. И хлеб есть. Я стою за свободную торговлю. Надоело мне эти крики про дороговизну смертельно. Публика требует, чтобы я ввел твердые цены. Вздор! Это испробовано, от твердых цен цены только растут. Я иду другим путем: правительство выступает как крупный конкурент, выбрасывая на рынок много дешевого хлеба. Этим я понижаю цены. И хлеб у меня, сравнительно с другими предметами, не дорог. А это главное. Но кричат они о дороговизне нестерпимо. Если бы вы написали что-нибудь об этом...

— Хорошо, я напишу... Но позвольте вас спросить...

Тут я спросил главнокомандующего об одном предмете, о котором я пока считаю излишним распространяться. Скажу только, что тут наши мнения несколько разошлись.

В конце разговора мы перешли к будущему. Нельзя же без этого...

— Как вы себе представляете будущую Россию?.. Она будет централизована?

— Отнюдь нет... я себе представляю Россию в виде целого ряда областей, которым будут предоставлены широкие права. Начало этому — волостное земство, которое я ввожу в Крыму. Потом из волостных земств надо строить уездные, а из уездного земства — областные собрания.

— Если уже мечтать, то мечтать... Как вы относитесь к тому, что когда-то раньше называлось «завершением реформ», то есть как установится государственный строй России?

— Да все так же. Когда области устроятся, тогда вот от этих самых волостных или уездных собраний будут посланы представители в какое-то Общероссийское Собрание. Вот оно и решит...

Тут я спросил о другом предмете, о котором пока тоже считаю излишним распространяться. Тут наши мнения сошлись.

* * *

Я чувствовал острое напряжение в приемной. Время правителей — это нечто, чем злоупотреблять просто безобразно... Надо было кончать этот разговор, несмотря на весь его интерес для меня...

* * *

Я ушел от главкома успокоенный и бодрый. В этом человеке чувствовался ток высокого напряжения. Его психологическая энергия насыщала окружающую среду и невидимыми проводниками доходила до тех мест, где начиналось непосредственное действие. Эта непрерывно вибрирующая воля, вера в свое дело и легкость, с какой он нес на себе тяжесть власти, власти, которая не придавливала его, а, наоборот, окрыляла, — они-то и сделали это дело удержания Тавриды, дело, граничащее с чудесным...

Я вспомнил, как в начале этого года, еще в Одессе, с А. М. Драгомировым и В. А. Степановым мы зажгли «Диогенов фонарь» и искали человека... Мы никого не нашли тогда, кроме генерала Врангеля, но дальнейшие события показали, что наш выбор был правильным.

* * *

У раскрытого окна, из которого видна красивая севастопольская бухта, мы беседовали с А. В. Кривошеиным.

— Когда меня призвали, я думал об одном: хотя бы клочок сохранить, хотя бы, чтобы кости мои закопали в русской земле, а не где-то там... Клочок для того, чтобы спасти физическую жизнь, спасти всех тех, кого не дорезали... Не скажу, чтобы я очень верил в то, что это удастся... Я бы и совсем не верил, если бы я не верил в чудеса... Но чудо случилось... мы не только удержались, мы что-то делаем, куда-то наступаем... то, что совершенно разложившейся армии вдруг на самом краешке моря удалось найти в себе силы для возрождения, — это чудо... И что бы ни случилось, я всегда буду считать это чудом...

Он стал нервничать. Я сказал:

— Это правда... ведь в России бывает... но что же дальше?

— Дальше... Прежде всего, вот что: одна губерния не может воевать с сорока девятью. Поэтому, прежде всего,

не зарываться. Надо всегда иметь перед глазами судьбу наших предшественников. Деникин, помимо всяких других причин, прежде всего, не справился с территорией. Мы наступаем сейчас, но помним — memento Деникин.

— Если так, то где же предел наступления?

— Необходимо держать хлебные районы, то есть северные уезды Таврии.

— Мне кажется, что удержать эту линию не удастся... Ведь настоящего фронта нет. Это не то, что война с немцами. Поэтому нас непременно или увлекут на север, или сомнут к югу до естественной границы...

— Да, конечно... Но хлеб нам нужен... Рассматривайте это, как вылазку за хлебом... Ведь если большевики называют генерала Врангеля «крымским ханом», то следует принять тактику крымского хана, который сидел в Крыму и делал набеги...

— Но зимовать в Крыму?

— Конечно... К этому надо быть готовым... Надо ждать...

— Ждать чего?..

— Одно из двух... Или большевики после всевозможных эволюции перейдут на обыкновенный государственный строй — тогда, досидевшись в Крыму до тех пор, пока они, если можно так выразиться, не опохмелятся,— можно будет с ними разговаривать. Это один конец... Весьма маловероятный... Другой конец — это так, несомненно, и будет,— они, вследствие внутренних причин, ослабеют настолько, что можно будет вырвать у них из рук этот несчастный русский народ, который в их руках должен погибнуть от голода... Вот на этот случай мы должны быть, так сказать, наготове, чтобы броситься на помощь... Но для того, чтобы это сделать, прежде всего, что надо? Надо «врачу исцелился сам». Это что значит? Это значит, что на этом клочке земли, в этом Крыму, надо устроить человеческое житье. Так, чтобы ясно было, что там вот, за чертой, красный кабак, а здесь, по сю сторону,— рай не рай, но так, чтобы люди могли жить. С этой точки зрения вопрос «о политике» приобретает огромное значение. Мы, так сказать, опытное поле, показательная станция. Надо, чтобы слава шла туда, в эти остальные губернии,— что вот там, в Крыму, у генерала Врангеля, людям живется хорошо. С этой точки зрения важны и земельная реформа и волостное земство, а главное, приличный административный аппарат.

— Насколько это вам удается?..

— Ах, удастся весьма относительно... Дело в том, что ужасно трудно работать... просто нестерпимо... Ничего нет... Можете себе представить бедность материальную и духовную, в которой мы живем. Вот у меня на жилете эта пуговица приводит меня в бешенство,— я вторую неделю не могу ее пришить. Мне самому некогда, а больше некому... Это я, глава правительства,— в таких условиях. Что же остальные? Вы не смотрите, что со стороны более или менее прилично, и все как по-старому. На самом деле, под этим кроется нищета, и во всем так... Тришкин кафтан никак нельзя залатать. Это одна сторона. А духовная — такая же. Такая же бедность в людях!..

Он опять стал очень нервничать. Да, положительно надломилось что-то в этом человеке. Выдержит ли? Кажется, не выдержит...

— Но все-таки как-то мы держимся и что-то мы делаем. Трагедия наша в том, что у нас невыносимые соотношения бюджетов военного и гражданского. Если бы мы не вели войны и были просто маленьким государством, под названием Таврия, то у нас концы сходились бы. Нормальные расходы у нас очень небольшие, жили бы. Нас истощает война. Армия, которую мы содержим, совершенно непосильна для этого клочка земли. И вот причина, почему нам надо периодически, хотя бы набегами, вырывать-ся...

— Ах, лишь бы только не зарваться...

— Да, да, конечно... Я же вам сказал «memento Деникин»...

* * *

Итак (с моей, по крайней мере, точки зрения) и главноком и его помощник рассуждают совершенно правильно. Но удастся ли им? Удастся ли удержаться, чтобы не зарваться и, делая выпад, не подставить себя? Здесь требуется очень смелое, но очень осторожное фехтование...

* * *

Прошло три дня... Мы сидели на Приморском бульваре... Было так, как может быть в этих случаях: старший сын — Ляля — уезжал в полк.

* * *

Народу было тьма... Толпа нарядная, красивая — вся в белом — переливалась самолюбующейся жидкостью... И казалось, что кто-то собрал сюда, на этот красивый клочок земли у моря, какую-то дорогую эссенцию,— «цену сладких вин»,— самый «цимес», как сказали бы у нас, в Одессе.

Что поразило многих в Севастополе — это здоровье, переходящее в красоту, женщин.

Обычная русская культурная толпа — «интеллигенция», как говорили во время Чехова, «буржуи», как стали говорить вместе с Максимом Горьким,— поражала своей болезненностью... Редко, редко можно было встретить яркие краски без условности... Обычно это все были лица в «блеклых тонах»... блеклых тонах условного петроградского изящества,— alias вырожденчества... Серо-желтовато-зеленое — вот колорит чеховско-блоковской красоты. Литературность манер, поза на изысканность, неестественная веселость, от которой грустно,— все это только подчеркивало бледную немочь догоревших родов и благоприобретенно-обреченных существ...

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым.
Хочу одежды с тебя сорвать...

Ах, Бальмонт, не надо...

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман...

К чему облажать хилое, измотанное, больное...

* * *

Здесь в Севастополе не то.

Ярко-пульсирующая жизнь, молодость и здоровье, нащупывающие красоту.

Ведь так шли греки: они отыскивали красоту через здоровье.

Но откуда здоровье после всех этих ужасов, трех архангелов: Abdominalis, Exanthematicas, Recurrens... После бесконечных эвакуации — всех этих нечеловеческих лишений... Откуда?..

Очень просто. Все слабое вымерло в ужасах граждан-

468

ской войны. Остались самые выносливые экземпляры, которые расцвели здесь «под дыханием солнца и моря»...

Солнце и море соперничают и сейчас одно перед другим... Красивая толпа переливается самовлюбленной эссенцией, и хотелось бы, чтобы некто «эстетный», но умный, одновременно восторженный и насмешливый, сказал про нее стихотворение в прозе...

* * *

Мои сыновья сумрачны оба. Мальчикам не нравится Севастополь.

Молодость не понимает компромиссов жизни.

Там, в Одессе, за пять месяцев они привыкли к суровости... всегда полуголодные, всегда на пределе нищеты, всегда в опасности,— они научились легко выносить все это.

Но почему они какими-то недружелюбными глазами смотрят на эту несомненную красоту?

Да, почему?..

Это у них совершенно бессознательно. Они инстинктивно чувствуют, должно быть, что пока там, за горлышком Перекопа, лежит море нищеты, этому пленительному полуострову нельзя разнежиться. Нельзя,— рано. Рано потому, что суровые смоят изнеженных. Суровых могут остановить только те, кто, если нужно, откажутся от всего «этого»...

А в этой самовлюбленной толпе чувствуется, что они не смогут отказаться... Даже перед угрозой смерти.

Меня немножко поразила Ирина. Ее синтез был категорический:

— Это не удержится...

* * *

Еще резче это настроение сказалось в Ляле.

Я уже несколько раз говорил с ним об этом.

Я обращал его внимание на то, что тыл — всегда тыл, что нужно сравнивать Севастополь с Екатеринодаром и Ростовом. И если сделать это сравнение, то все преимущества будут на стороне Севастополя. Жизнь, правда, течет здесь по старорежимному руслу, ну и слава богу... Надо же, чтобы люди жили, а не мучались. Нельзя только, чтобы было безобразия, безудержное пьянство и все про-

469

че. А этого нет. Наоборот, все очень подтянуто, так подтянуто, как давно не было.

Он слушал все это, соглашался, но все же выдержал Севастополь только три дня. Он ему не нравился, ему хотелось в полк.

* * *

И он ушел... Ушел, простившись, прямо с этого красивого бульвара, где нарядная толпа переливала всеми красками жизни...

...Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви...

ТЕНДЕРОВСКИЙ РЕЦИДИВ

(Драма в трех действиях с прологом)

В общем, как-то все складывалось так, что до известной степени я мог себя почитать свободным от общественных дел. Правда, и главком, и А. В. Кривошей желали, чтобы я писал в «Великой России». Но это как-то не клеилось. Я написал две статьи «О дороговизне» и замолк. В сущности говоря, в данную минуту мне не то что нечего было сказать, но я чувствовал более, чем когда-либо, что молчание — золото.

Много времени спустя, как-то отвечая на одно открытое письмо, П. Н. Милюков написал:

«С ужасом прочел я о том, что вы появились в Крыму...»
Если бы П. Н. Милюков видел, что я делал в Севастополе, он не ужасался бы.

* * *

Зато у меня были свои личные дела, о которых надо было подумать.

Я ломал голову над тем, как помочь несчастному Эфему, захваченному чрезвычайкой. И придумал такой способ.

Я выпросил у главнокомандующего отсрочку одного приговора. Это был видный большевик, пойманный в шпионаже и имевший по документам, захваченным при нем, серьезные связи. Я также получил разрешение главноко-

мандующего послать от своего имени радио председателю Украинского Совнаркома Раковскому.

11 августа из главной радиотелеграфной станции пошла телеграмма следующего содержания:

«Через председателя Одесской Чрезвычайной Комиссии председателю Совнаркома Украины Раковскому.

В Севастополе военным судом приговорен к смертной казни такой-то. Предлагаю обмен на арестованного Одесской Чрезвычайной Комиссией такого-то. В случае согласия, об условиях телеграфировать туда-то. Подпись».

Большевистская радиостанция в Николаеве приняла эту телеграмму и дала «расписку», по терминологии радиотелеграфистов. Харьков тоже, по-видимому, принял, но расписку не дал.

* * *

Кажется, это был первый случай за всю войну белых с красными. Жизнь за жизнь... Я ждал ответа первые дни лихорадочно. Ответа не было. Потом напряжение стало спадать и, наконец, надежда погасла. Тогда я решил действовать другим путем...

* * *

И это тем более, что...

* * *

Я жил тогда на «Рионе»... Приятно жить на судне. В особенности в то время, когда там почти никого не было. Весь огромный корабль был почти пустынный... На всех палубах, спардеках и мостиках можно было дышать воздухом и солнцем...

А вечером как приятно было возвращаться «домой» из города... По темным крутым каменным лестницам, затем по набережной, беспрестанно спотыкаясь через причальные канаты, потом по бесконечному понтонному мосту, переброшенному через бухту... В конце его, на том берегу, до самой поздней ночи всегда горят огоньки-свечечки, вроде как под вербы или под Пасху. Это там такой своеобразный базарчик,— он торгует чуть ли не всю ночь...

Тут за триста рублей можно съесть вкусную котлету

или выпить стакан молока. И винограду по 1 000 рублей фунт — сколько угодно.

Потом идешь какими-то мрачными закоулками, среди замолкших черных мастерских и складов... Иногда тут останавливается охрана, но вежливо... Наконец, подходишь к тому месту, где темной громадой виднеется «Рион».

Кричишь:

— На «Рионе»!..

Через некоторое время ответ:

— Есть на «Рионе».

— Подайте плот.

— Есть подать плот.

Что-то плескает по воде, очевидно канат, подходит миниатюрный паром, и через несколько минут подымаешься по трапу «Риона». Проходишь все эти знакомые переходы и, наконец, в полной темноте находишь внизу свою каюту.

Правда, простынь нет, подушек нет, одеяла тоже нет, спишь на каком-то брезенте, но это неважно. Научились обходиться и без этого, лишь бы чисто.

Крысы?..

К ним быстро привыкаешь. Однажды они сволокли у меня целый хлеб в свою преисподнюю... И митинговали при этом нешадно.

* * *

Я проснулся оттого, что там происходило что-то в коридоре. Было абсолютно темно и зажечь нечего. Кто-то ходит, что-то спрашивает по каютам. Женский голос... Вдруг расслышал свою фамилию. Кто-то шарит по стене на ощупь, постучался ко мне.

— Вы здесь, Василий Витальевич?

Я вдруг узнал ее.

— Лена!..

Это была жена Эфема.

— Ну, наконец, я вас нашла... Я прямо с парохода... Из Варны. Там узнала, что вы спаслись... А он где?..

* * *

И я должен был ей сказать...

* * *

Всю ночь она билась у меня в руках... Ах, проклятый мир — ты слишком жесток...

* * *

На следующий день я сел на пароход, который должен был идти на Тендру.

Но сесть не значит выехать. Так было когда-то раньше. А с революцией, куда ни ткнешься, всегда выйдет какое-нибудь глупое затруднение.

Так и с «Казбеком». Стояли мы, стояли бесконечно, потом ходили из угла в угол по бухте, от пристани к пристани, все никак не могли нагрузить топливо. Наконец, пришли к какому-то молу, где стояли вагоны с дровами.

Казалось бы, слава богу. Так нет. Команда объявила, что не будет грузить, если ей сейчас же не заплатят денег за погрузку. А денег как раз не было наличных.

Но жизнь учит.

В кают-компанию, где все едущие на Тендру тоскливо ожидали, когда кончится вся эта история, вошел какой-то полковник и сказал:

— Господа офицеры. Судно не пойдет, если не погрузить дров. Команда не желает. Если вам угодно будет самим погрузить дрова, мы отойдем через три часа. Надо погрузить восемьсот пудов. Деньги будут уплачены по расчету, но не сейчас, а через некоторое время. Кому угодно?

Переглянулись, и семь офицеров, в том числе я с Вовкой, заявили, что нам угодно.

Сбросили френчи и взялись за дело.

Первый час был труден. Положат тебе полные руки этих неудобнейших в мире дров,— беги с ними по разным доскам до парохода. Кто покраснел, кто побледнел от натуги...

Второй час дело пошло значительно лучше. Хотя руки и шею уже пообдирали корой, но мускулы приспособились.

Третий час прошел совсем гладко. Образовался уже навык, и, когда все было кончено, показалось, что особенной усталости нет.

Как и обещал полковник, через три часа мы вышли в море. Мало того, было выполнено и другое обещание — были выплачены деньги. Недели через три я их получил. Пришлось около шести тысяч на брата...

* * *

2 сентября я снова увидел загадочный маяк с двумя черными кольцами. Мы обогнули косу. «Казбек» подошел близко к эскадре. «Генерал Алексеев» в это время ушел, и центральным судном в Тендеровском заливе был крейсер «Генерал Корнилов», бывший «Кагул».

* * *

«Натриот», т. е. «начальник третьего отряда», капитан первого ранга С, принял меня на юте. В это время откуда-то взявшийся орел, сделав несколько взлетов, опустился в двух шагах от нас на дуло орудия. Я склонен был это принять за доброе предзнаменование, но увидел, что у орла молодой желтый клюв, и тут же мне объяснили, что это воспитанник «Корнилова».

* * *

Так началась «Корниловская эпоха», иначе называемая эпоха «военно-морских ужасов».

Первый «ужас» разразился в тот же вечер. Было очень тихо и очень красиво. Маяк задумался о чем-то, как будто бы о «прошлом», но скорее о будущем. Вокруг царственного «Корнилова» мирно покачивались подвластные суда... «Альма» с ее характерным, возмущающим душу моряков видом «буржуа-жантильом», коммерческое судно, обращенное в крейсер — «шмага» по-морскому... Около «Альмы» маленький «Киев», довольно невзрачный тихоход, но громкоход. По другой стороне большая баржа «Тилли», безутешная вдова, как ее почему-то прозвали. Там впереди не то «Язон», не то «Скиф», кто их разберет, они так похожи друг на друга, эти два тральщика... Далеко в море погибшая, севшая на дно «Чесьма». Около самого «Корнилова» на должности пажа СК4 — быстроходный катер, изящный, приглашающий к прогулке.

У трапов две-три шаланды, наполненные арбузами...

Эти арбузы неотделимы от Тендры. Таких арбузов, кажется, нигде и в свете нет. А дешевизна сумасшедшая. Сто рублей штука. В Севастополе «за порцию» надо платить триста. Но деньги берут неохотно. Вот если дать какую-нибудь вещь, какой-нибудь пустяк, старую рубашку,

вот тогда начинается бомбардировка арбузами через борт. Их бросают с шаланды, и команда крейсера ловко ловит их в руки.

Мы мирно любовались всей этой картиной с юта, как вдруг произошло какое-то общее смятение. «Альма» сорвалась с места и куда-то поползла с видом испуганной наседки. «Киев» тоже неистово застучал своим нестерпимым «балиндером», баржа «Тилли» осталась неподвижной, но пригорюнилась.

Вдруг рывкнуло орудие, и высоко в небе разорвалась шрапнель, сверкнув звездочкой. Это открыла военные действия «Альма». «Киев» немедленно присоединился, и вдвоем они стали покрывать участок неба сверкающими огоньками, после которых оставались дымки.

— Вон, вон, видите...

Между дымками я действительно увидел черную точку. Это и была приближавшаяся большевистская «гидра». Только что я подумал о том, что это «в честь нашего прибытия», как меня совершенно оглушило орудие, рывкнувшее на самом «Корнилове».

После этого пошло. Стреляли уж, стреляли...

Но черная точка двигалась своим путем, по-видимому даже не замечая этих дымков; их ведь, говорят, и не видно и не слышно летчику.

Цель ее посещения, в сущности, была ясна. Большевики от себя видели по дыму, который развел «Казбек» утром, что пришло какое-то судно. И вот гидра летела проверить. Но не долетев немного до «Корнилова», очевидно, для соблюдения этикета, что-то бросила, что произвело фонтанный всплеск в море. Бомбу — конечно.

В общем, все кончилось благополучно, как водится. Но, так сказать, вечерний военно-морской ужас удался на славу.

Но возмутительно себя вел маяк. Хотя какая-то наивная душа стремилась там достать гидру из пулемета, но маяк лично не принимал в этом ровно никакого участия. Выражение его было ироническое.

* * *

В числе наивных душ, обстреливавших гидру из пулемета, оказалась женщина, и даже молодая девушка. Она прибыла сюда на Тендру в качестве «разведчицы». Когда налетела гидра, оказалось, что она к тому

же — «пулеметчица». И вот хотела достать гидру в небе.
Но вместо этого...

* * *

Это было через несколько дней. Я зашел в кают-компанию к «натриоту», — мне нужно было по делу.

Он жестом попросил меня подождать, пока кончит разговор.

Я опустилсЯ в уютное кожаное кресло. И задумался. Я полюбил эту кают-компанию... симпатичная... Сквозь раскрытые двери, которые вели на адмиральский мостик, на самой корме крейсера, виднелось море — очень ласковое сегодня... Оно играло с солнцем.

Я невольно прислушался к разговору.

Этот молодой офицер, что докладывал «натриоту», очевидно, «заворачивал» там на маяке. Разговор шел о двух задержанных разведчиках, присланных из Севастополя, которых на маяке почему-то признали шпионами и жидами. Офицер говорил:

— Разрешите доложить... Он уже сознался, что он жид... Я думаю, что его надо бы пороть до тех пор, пока он ее не выдаст. Она тоже шпионка — это ясно...

Натриот успокоил его:

— Бросьте... я запросил Севастополь... Пока я приказал ее перевести на «Скиф».

Я вышел на мостик. Вдоль крейсера медленно шла, направляясь к пришвартованному к «Корнилову» «Скифу», шаланда. На корме сидела женщина. Мне мелькнуло молодое, загорелое лицо из-под красного платка.

Это, должно быть, и есть шпионка...

* * *

Мне захотелось ее повидать. Кто-то сказал мне, что она уже была в какой-то разведке и потому может мне дать полезные указания. Кроме того, мне просто было любопытно. Неужели я не могу отличить «шпионку» от настоящей?

* * *

Она сидела за столом в маленькой кают-компании «Скифа» и с аппетитом кушала жареного поросенка... Видно, голодная...

476

Я извинился и подошел к столу. Она встала, и так мы остались стоять... Это было молодое существо... сильно загорелое, с выразительными губами... еще жирными от поросенка...

Я стал ее спрашивать и по ответам почувствовал, что она затравленная, но все же доверчивая. Вдруг она спросила меня:

— Вы не... редактор «Киевлянина»?..

И когда я сказал «да», вдруг в ее улыбке, внезапно снявшей всю затравленность и оставившей одну доверчивость, я поймал что-то знакомое и безошибочное.

— Так вы должны были знать мою сестру?

Вот!.. Конечно, я видел уже это когда-то.

— В семнадцатом году... она была у вас... тогда вам поднесли...

Она смутилась... Должно быть, поднесли цветы... Тогда эта бедная молодежь жалась к «Киевлянину». Но я вспомнил не это... Вдруг вспомнил, что еще так недавно в Одессе она оказала всем нам незабываемую услугу... Та, которая должна была быть ее сестрой. Но я не сказал ей этого из преувеличенной осторожности.

Но я вернулся на «Корнилов» и сказал натриоту, что шпионка на «Скифе» — дочь генерала Н., семью которого я знаю.

Натриот ответил, что получен ответ из Севастополя, устанавливающий и подтверждающий подлинность разведчицы.

«Расстрелять, расстрелять!..» — сумасшедшие люди!..

* * *

Мораль сей истории для молодых «расстрельщиков». Когда у вас будут чесаться руки непременно кого-нибудь «вывести в расход», подумайте о том, что, может быть, где-нибудь в другом месте, но с таким же легкомыслием, какой-нибудь из ваших товарищей справляется с вашей сестрой или невестой...

* * *

В уютной адмиральской кают-компании за столом, «забросанным картами», обсуждалось предприятие. Тут я впервые узнал о тайнах мореплавания. Во-первых, для успеха всякого морского дела нужно говорить компас, а не компас.

477

Полезно также говорить рапорт, а не рапорт. Затем, нельзя называть веревку веревкой, а нужно говорить «трос», «шкот», «линь» и вообще так, чтобы было непонятно. Впрочем, все это описано Станюковичем гораздо раньше и гораздо лучше, а поэтому я могу не стараться.

В результате обсуждения оказалось, что на целой эскадре нельзя найти шлюпки, за полной бедностью, и что в дело придется пустить старого друга «Speranz'у», которая каким-то образом оказалась на каком-то судне, сохранившем ее для нас честно. Ее надо только отремонтировать. За это дело взялись рьяно.

* * *

Когда стемнело, «Альма» вышла в море, имея на буксире СК4, который, в свою очередь, буксировал «Speranz'у». В эту ночь требовалось сделать разведку в эту сторону, а следовательно, была оказия для нас.

На борту «Альмы» было приятно. Она шла без огней, прокрадываясь в темноте. Может быть, именно потому, что машина у нее на корме, у нее очень тихий и плавный ход, какой-то скользкий.

Звезды сияли, и командир «Альмы» объяснил нам, где Полярная звезда, и давал некоторые другие указания. Впрочем, у меня был компас.

Мы уютно поужинали в командирской рубке, которую наглухо закрывали, чтобы не было видно света. Конечно, не обошлось без арбузов. Что это за арбузы!..

Потом я пошел спать. Судно чуть-чуть покачивало, и все было как-то необычайно тихо и мирно. Я спал три часа, когда меня разбудили:

— Пора...

* * *

Я вышел из рубки. «Альма» остановилась. Было все так же тихо-торжественно и таинственно, как бывает в море...

В небесах торжественно и чудно...

СК4 завел машину и большой темной рыбой подошел с правого борта.

— Ну, дай вам бог...

Мы перешли на СК4, а с него на «Speranz'у», прибуксированную к нему.

Тут случилась первая неприятность: я безошибочно определил, что «Speranz'a» нестерпимо течет. Пришлось тут же ее откачивать. Немедленно после этого произошла вторая неприятность: я стал надевать изготовленный стараниями «Корнилова» руль, щедро кованный железом, но он оказался таким тяжелым, что при надевании в темноте на проклятый шпенек, который не хотел влезать на полагающуюся ему петлю, я упустил этот богато кованный руль в море, и он потонул с ужасающей быстротой.

Я собирался очень над этим разволноваться, но времени не было. СК4 торопил, и мы тронулись.

Это было путешествие... Как только СК4 прибавил ходу, впереди «Speranz'ы» появилась гора фосфоресцирующей воды и пены. Два бурливых огненных потока побежали по бортам... Страшно красиво, но шаланда стала в косом положении — носом к небу, кормой погружаясь в сверкающую завихруху. Я крикнул Вовке, чтобы он перебрался на самый нос... это чуть выпрямило шаланду. Но она стала бешено рыскать вправо и влево, и я с трудом удерживал ее веслом, заменявшим руль...

По счастью, это красивое испытание длилось минут двадцать... СК4 стал... Последние приветствия... Затем нам бросили наш шкот, и СК4 отошел, производя винтом световые эффекты. Через несколько мгновений он исчез,— мы остались одни в море.

* * *

Когда не бурно и шлюпка в порядке, то, хотя бы она была такая крохотная, как эта «Speranz'a»,— ночью в море жутко-уютно...

Но когда шлюпка отчаянно течет и, вообще, дело не ладится, тогда определенно можно сказать, что никакой уюности, а одна жуть.

А «Speranz'a» текла неуклонно. Один из нас, а было нас двое, все время должен был выкачивать воду. И это при совершенно спокойном море. Что же будет, если разведет зыбь!

Другой, неоткачивающий,— это был Вовка,— должен был грести. Должен был, а на самом деле он не греб, а только «привязывал»... Есть на этих шлюпках пренеприятные вещи, которые зовут «шкармами». Шкармы — это деревянные колышки, засунутые в борта... Они заменяют уключины, то есть к ним привязывают весла... но они же могут служить орудиями пыток.

Так было и в нашем случае. Эти проклятые шкармы почему-то все время вываливались из гнезд. Хорошо еще, что пока они падали в лодку. Но они грозили упасть и в море. Как их поймашь тогда в темноте? Правда, я скоро определил, почему они вываливаются,— это происходило потому, что борт гнилой, но от этого открытия нам не стало «уютнее»...

В довершение удовольствия очень скоро перетерлись веревки, которыми привязывались весла к этим ужасающим шкармам...

Тогда наступила скверная минута. Однако всегда есть выход, Я нащупал ремни на винтовках. Целая была история снять эти ремни, затем не менее трудно было привязать весла этими ремнями к шкармам. Я это сделал. Вовка тем временем выкачивал воду и ругался. Действительно, есть положения, когда надо ругаться... И прежде всего, надо ругать самого себя за то, что вышли в море, не осмотрев хорошенько шаланды. Поступили чисто по-русски...

Когда все было готово, оказалось, что грести почти невозможно. Ибо ремни по какому-то удивительному упрямству удерживали весло именно так, чтобы его ни повернуть, ни вывернуть. Если бы мы не так сильно ругались, то, пожалуй, заплакали бы с досады.

К тому же подул ветер с берега. Да и берег этот был бог его знает где, его еще совсем не было видно. Если так грести, как мы греем, надо было бы идти несколько часов. Между тем...

Между тем на востоке небо подозрительно побледнело. А звезды, огромные, крупные, прогнав куда-то всю мелочь и белесоватые разводы Млечного Пути, разгорелись так ярко, как они имеют обыкновение это делать перед рассветом.

* * *

Это и был рассвет... Через четверть часа это стало ясным. Итак, положение было такое. До берега несколько миль. Шаланда течет бешено, весла почти не работают. Ветерок, хотя слабый, но противный. При этих условиях высадиться на большевистский берег можно было только через несколько часов, то есть при полном свете дня.

Это был явно невозможно. Поэтому, пустив в море все ругательства, какие можно было изобрести, мы решились на позорное отступление.

Отступить, но куда?.. Конечно, на Тендру. Правда, придется идти совершенно неопределенное количество времени этими веслами и с этой течью, но у нас есть некоторые шансы, что мы найдем «Альму». «Альма» обещала ждать меня некоторое время в море в определенном пункте.

Мы взяли по компасу это направление. Шли, шли, шли, как нам казалось, бесконечно долго. Тупо гребли и обреченно выкачивали...

Солнце сияло, когда мы наконец ее увидели.

Да, это была «Альма» — безобразная «шмага», скользящая наседкой. Но как приятно было ее увидеть. Словно дом родной.

«Дым отечества», впрочем, и вился над нею.

Еще приятнее было, когда от «Альмы» отделилась какая-то точка и явно стала приближаться к нам с большой быстротой, на глазах увеличиваясь в размерах... Ясно было, СК4 спешил к нам на помощь. Кто-то там, очевидно, внимательно смотрел в бинокль, если разглядели нас с такого расстояния...

* * *

Репатриированные на борт «Альмы», мы решили так: будем высыпаться, а «Speranz'y» в это время починят. В четыре часа вечера мы будем пытаться счастье снова, благо «Альма» должна еще побыть в этих водах.

Но когда отремонтированную «Speranz'y» на талых спустили на воду, вода забила по всем швам.

Ничего не будет... Это ее СК4, когда вчера тащил на буксире, растянул. Ведь она гнилая...

Подошел командир «Альмы». Осмотрев, он сказал:

— Если вы непременно хотите покончить с собой, то у меня есть в каюте револьвер. Приятнее и сухо.

Хохол-матрос подошел к борту и уставился на шлюпку... Потом сказал негромко, не обращаясь ни к кому:

— Це сама смерть — цяя шаланда...— И отошел от борта.

* * *

Я понял, что действительно ничего не будет. Я сказал командиру «Альмы», что отступаю. В это время показался аэроплан. «Альма» приготовилась к бою, но оказалось, что это наша гидра. Единственная, которая была на Тендре. Она вылетала в особо важных случаях.

Зажужжав на все шмелиные напевы, гидра зашуршала по воде недалеко от «Альмы» и затем беспомощно, какими-то самодельными движениями, подползла к борту.

Из авиаторских пеленок вылезла голова, которая оказалась знакомым профилем лейтенанта К.

Оказалось, что натриот беспокоится, что сделалось с «Альмой» и с прочими.

Мы немедленно собрались в обратный путь. Гидра приготовилась лететь, но ничего не вышло. Вычертив со свирепым рычанием несколько пенных полосок на поверхности моря, мотор окончательно дал понять, что ничего не будет. Тогда решили идти кильваторной колонной: то есть собственно шла «Альма» и буксировала СК4, он буксировал гидру, а гидра — «Speranz'у».

Когда мы подходили к маяку, не скрывавшему на этот раз насмешки, налетели неприятельские гидры. Начался бой во всех направлениях. Несчастливая «Альма» трепетала по всем швам, потому что то «носое», то «кормовое» потрясали ее дряхлеющий корпус.

Все это было очень занятно, продолжалось довольно долго и, как водится, никаких последствий не имело: обе стороны разошлись восвояси без потерь.

* * *

После неудачной попытки индивидуального действия, т. е. вдвоем с Вовкой и на полугнилой «Speranz'e», я решил вступить на «коммунистический» путь, то есть действовать сообща с другими.

* * *

Вечером, 17 сентября, в гостеприимной адмиральской кают-компании был сервирован уютный стол. Собирались кого-то фетировать, не то Любовь Надежды, не то Надежду Любви...

Увы, мы с Вовкой должны были покинуть «свет и тепло» и пуститься в Черное море.

Таков уж долг солдата:
Вставать от сладких снов
Для распрей и для битв...

(«Отелло», Шекспир)

Было две шаланды. Та, другая, шла впереди, и мы видели ее то белым, то черным привидением, в зависимости от

перемены галса. Луна, делала эти превращения. Всех нас было на обеих шаландах десять человек. Била зыбь, но не слишком. Мы шли бесконечно долго. Наконец, берег как будто бы стал угадываться. Но еще очень далеко.

Несколько раз поднимались разговоры о том, «сбивать парус» или нет. Пока одерживало мнение: «Чего сбивать! Что ж ты думаешь, его тебе видно, так и он тебя видит».

«Он» — это был большевистский прожектор. Своим циклопским взглядом он водил по морю. В те минуты, когда этот несносный луч набегал на нас, становилось совсем светло... Парус вырастал над шаландой огромной белой птицей... И видны были наши лица, казавшиеся смертельно бледными, с резко прорубленными морщинами.

Это продолжалось одно мгновение, луч пронесся дальше, очевидно не заметив нас.

— Если бы он заметил, то остановился бы, держал бы нас под лучом,— сказал кто-то.— Значит, не видит...

И шли дальше. Но, наконец, наступила психологическая точка. Все как-то заволновались разом, отчаянно переругнулись в мать, Христа и в веру, и мнение «сбивать парус» одержало верх.

«Сбили», то есть спустили, говоря по-русски. Рыбаки — те же моряки, и даже моряки *par excellence**. А посему и они выражаются нечеловеческим языком.

Пошли на веслах.

Нас на шаланде было шесть. Двое отлынивали насчет гребли, в особенности один, самый здоровенный из всех нас. Ругались по сему поводу. Но все-таки шли.

Вдруг кто-то заметил два огонька. Красноватые, еле заметные, они где-то очень далеко мигали над самой водой.

— Это катера!..

Все переполошились. Стали спорить и ругаться. Кто-то возражал, что это не катера.

— Как же не катера!.. (В мать, Христа и веру) вот же бегут они... вот же бегут по воде!.. Назад!..

— Постой, куда же они бегут?..

— Навстречу друг другу. У них два катера и есть... Сторожевые катера!..

— А почему же, если они бегут навстречу, между ними расстояние не уменьшается?.. Огни, это — костры на берегу... Какое черта катера с огнями будут ходить?!

— А это что?!!

по преимуществу (фр.).

Рыбак Тодька обладает каким-то удивительным голосом. Он сидит на корме у руля и иногда разговаривает по-человечески. Но в некоторых случаях он рявкает со всеми скрежетаниями, какие можно только выдумать в человеческой глотке.

— А это что?!!

Это?.. Это, действительно, было нечто... Там, за кормой, на востоке, небо чуть как будто подалось...

— Неужели заря?

— А что же такое?!!

Все звуки ада были в его голосе. Да, это была заря. И тут уже нечего было разговаривать. Катера — не катера, конечно, а костры, но заря... Заря — это заря. На эту ночь предприятие можно было считать неудавшимся. До берега грести еще бог знает сколько, — несколько часов, а это значит высаживаться при полном свете, т. е. прямо в объятия сторожевой охраны большевиков.

* * *

Что делать?

Погода была приличная, а потому представлялся следующий выход. Вновь ставить парус, отойти дальше в море и там перестоять на якоре весь день вплоть до следующей ночи. Так и сделали.

* * *

Две шаланды стояли рядом. Море болтало без ветра. Было нестерпимо жарко. Время тянулось томительно, прерываясь короткими минутами сна.

Иногда ели консервы. Пробив противные дырки в жестянках, выцарапывали оттуда содержимое и ели с хлебом, который уже стал подмокать. Поев консервов, зарывались всеми челюстями в корки арбузов. Конечно, ругались. Но лениво, только потому, что нельзя же без этого.

Все они были между собой на «ты», звали друг друга Ванька, Колька, Сашка, Павка, Тодька... Тут были рыбаки и офицеры, но разобрать их было трудно. К тому же некоторые из них были родственники друг другу. Большой, который не хотел грести, очень ожил и много ел. Колька непрерывно пел какие-то шансонетки, но иногда заводился на Вертинского.

Где вы теперь...
Кто вам целует пальцы...
Куда ушел ваш китайчонок Ли...

Тодька с кормы подхватывал:

Вы, может быть, любили португальца...

А затем прервал себя «скрежетом» собственного изобретения...

— Колька... Колька... «Журавля»...

И «над ленивыми волнами» неся волосы дыбом поднимающий «Журавль».

На меня это производило такое впечатление, как будто бы грязной блевотиной рвали в чистое море. Желто-коричневая мерзость струйкой опускалась в «хрустальный чертог». Впрочем, кой-кого тошнило на самом деле.

* * *

Мы с Вовкой чувствовали себя немножко чужими в этой среде. Но к этому можно было бы привыкнуть. Неистовый Тодька, одноглазый, помесь рыбака и апаша, положительно проявлял сквозь сетку грубости какую-то симпатичную даровитость. И, кроме того, к нему образовалось какое-то доверие — не выдаст человек.

А в общем мы довольно печально смотрели на дело. Судьба Эфема не могла не быть у нас перед глазами. Точно так, очевидно, отвалив от Тендры в такой же компании, замешавшись в их среду, высадился и «Котик», погубивший Эфема. Кто знает, из этих десяти человек, кто жертва и кто провокатор.

Поэтому я посоветовал Вовке при первой возможности перейти опять к «индивидуальной деятельности».

В три часа дня было неожиданное развлечение.

Надо сказать, что мы стояли в виду Одессы. Правда, очень далеко, так, чтобы и в бинокль нас нельзя было рассмотреть, но нам-то очертания города были видны. И вдруг над этой полоской земли взвился огромный клуб черного дыма. Взвился сразу, как взрыв гейзера.

Это, конечно, был взрыв, и взрыв сильный, судя по тому, что дымный фонтан поднялся на очень большую высоту. Через много времени глухим ударом донесся и звук.

Это было 18 сентября по старому стилю. Историки при желании докопаются, что это такое было. Но мне оно осталось неизвестным...

Между сном, убаюкиваемым морем, и бодрствованием, просоленным ругательствами, как-то почти незаметно подошел вечер.

Опять ночь, опять звезды. В десять часов вечера поставили парус и пошли.

Пошли по приметам, известным одному Тодьке, которому было указано общее направление. Впрочем, у меня был в руке компас, которым я сверял ход.

Время от времени Тодька скрежетал за моей спиной: — Господин поручик... Посмотрите там на компас...

Я смотрел, но это было бесполезно, потому что он ошибочно держал направление, руководствуясь зыбью и ветром. Зыбь подкатывалась с левого борта, у которого я лежал, уютно прикорнувшись. Неприятно было то, что ноги были систематически в воде. Но к этому все привыкли. И еще с пулеметом были у меня недоразумения: при большом крене он стремился переломать мне ноги...

Почему-то не ругались. Было темно, луна еще не взошла. Загорелся прожектор. Теперь не надо было компаса. По прожекторам это легко. По этой азбуке легко читается весь горизонт: Большефонтанский, Воронцовский, Дофиновский... Все ясно...

Шли долго. Давно взошла луна, давно потухли прожекторы. Мы стали подходить: берег, в том, что принято называть «серебристой дымкой», явственно угадывался. Но в силу того, что нам пришлось сделать несколько галсов вправо и влево, мы потеряли ориентировку. Сам Тодька не мог разобрать в этой все нивелирующей мглстой серебряности, где мы, т. е. против какого места большевистского берега...

Мы все еще шли под парусом, стараясь передвинуться как можно ближе... Если слишком рано перейти на весла, то опять заря застукает.

Наконец, «сбили» парус. Впереди был берег, по-видимому обрывистый. Но какой берег — никто не мог определить.

Трудная штука — высадиться. Прежде всего морская опасность. Шторм, прибой, которые могут не дать высадиться. Затем береговая большевистская охрана, — могут тут же поймать на берегу. Затем, когда преодолеешь две эти опасности, еще остается третья: внутренний враг. Кто же их знает — не таится ли предатель вон в той другой шаланде,

что идет впереди, или, быть может, вон он лежит рядом, плечом к плечу, и рассуждает о том, «сбить» ли парус или нет...

* * *

Тем не менее мы гребли и подвигались, хотя медленно, но подвигались. Когда я садился на весла, я видел, что луна светила мне прямо в лицо, светила весьма энергично, и я понял, что мы находимся прямо в лунном столбе относительно берега. Мы еще далеко сейчас, но когда будем приближаться, нас легко будет видно...

* * *

Близко... Берег тянется ровными голубовато-серыми обрывками, вправо и влево. Почти прямо против, по носу, какие-то домики. Что это такое, господь его ведает...

Другая шаланда, ежась, подошла ближе к нам. Поручик, который, *soi-disant**, командовал всей экспедицией, был на нашей шаланде. Он сказал той другой подойти к берегу и «попробовать»...

Шаланда пошла, но, покрутившись некоторое время против домиков, отошла обратно в море.

— Боятся, сволочи!.. Не пойдут... Я их знаю!..

Шаланда держалась на дипломатическом расстоянии и от берега и от нас. Приказать ей ничего нельзя было, потому что нельзя же вопить в таком положении, а знаков не видно... Намерения ее, впрочем, были ясны: она представляла нам «честь первенства».

— Ну и черт с ними... Трам-тараарам!.. Пойдем мы... пойдём, Тодька?!

— А они что же... трам-тараарам!.. Ну идем...

На корму втащили пулемет. Он притаился там злой ящерицей. На весла сели мы с Вовкой. Когда сидишь на веслах, то есть спиной к берегу, на котором можно ожидать некоторых неприятностей, то так поневоле и тянет обернуться. А потому гребут плохо.

Я шепнул на ухо Вовке:

— Давай не оборачиваться...

Мы налегли на весла сколько могли и обернулись только тогда, когда Тодька сказал:

* так сказать (*фр.*).

— Кормой подходить надо...

Берег вырос над нами неожиданно большой, высокий, обрывистый. Домики куда-то исчезли, вместо них какие-то камни, скалы. Мы притаились на несколько мгновений, пытаясь разглядеть что-нибудь и расслышать. Но было удивительно тихо.

Сияла ночь... Луной был полон...

Все было полно луной... И море и весь этот берег, на котором впадины и расщелины ложились черными морщинами. Маленький удобный кусочек белел впереди нас песком, а вокруг него — нависшие обрывы...

— Там можно выйти?..

— Можно... Вот там как будто бы тропинка по обрыву...

* * *

Шаланда стала поворачиваться кормой к берегу. Пулемет, раскорячившийся каракатицей, установился на обрыве. Около него поместился Р. Я положил винтовку рядом с собой. Шаланда тихонько подвигалась кормой вперед к белющему местечку...

Дальше нельзя... Шаланда уперлась не то в дно, не то в камень. Не подойдет.

— Что же, надо в воду...

Еще раз внимательный взгляд кругом, прислушивание, приглядывание. Кажется, там кто-то стоит. Нет, это тень. Все тихо... удивительно тихо. Даже приборя никакого.

— Ну, Вовка... с богом...

Он простился со мной, взял свою тяжелую корзину, которая ему была необходима, и пустился за борт в воду.

И когда он побрел в воде почти по пояс от камня к камню, должно было бы быть очень страшно. Но в этих случаях спасает то, что все силы организма сосредоточиваются во внимании. Я держал винтовку в руках, и у меня осталась только способность смотреть и слушать. Все остальное временно анестезировалось.

Дошел... на белом кусочке появился его черный силуэт. Стал двигаться куда-то вправо и потом подыматься... Значит, там действительно оказалась тропинка. Черная, еле заметная тень, которая была то, что осталось от Вовки, поднялась почти до самого верха. Потом вдруг поспешно

спустилась обратно. Стало понятно, что он сбежал вниз, очевидно, что-то заметил...

Несколько мгновений, очень напряженных... Р. у пулемета.

Нет... ничего. Все тихо. Очевидно, он, поднявшись и осмотревшись, просто сошел вниз поджидать остальных.

Остальные двое, которые должны были высаживаться с нашей шаланды, лежат, однако, на дне ее, не выказывая никаких признаков того, что они собираются выйти.

— Ну, что же вы?

Не отвечают.

Р. начинает сердиться...

— Ну что же вы... долго будете валяться?.. Вон поручик вышел.

Молчание. И потом ответ:

— Не пойду в воду... у меня ноги болят...

Происходит сильная сцена. Ругаются. Постепенно Р. свирепеет. Те неподвижны — отругиваются лежа. Наконец Р. хватает винтовку и перебегает по банкам шаланды к ним.

— Стрелять буду, тра-тарарам!.. идите, говорю... стрелять буду!..

Я перебегаю вслед за ним, хватаю его за винтовку.

— Мы их в море пристрелим... Оставьте... Ведь поручик на берегу...

В это время, как бы на выручку, подходит та, другая шаланда, которую мы на время забыли. Увидевши, что мы благополучно пристали, они приближаются. Подходят, становятся рядом, и люди оттуда один за другим спускаются в воду и бредут к берегу. Там высаживается вся шаланда — четверо...

Когда они прошли, очевидно, совесть взяла и наших лежачков.

Не говоря ни слова, они поднялись, влезли в воду и побрели.

Теперь все... Р. говорит:

— Выйду посмотреть, как они там.

С винтовкой в руках бредет и он. Мы остаемся вдвоем с Готькой на двух шаландах. Мне видно, как Р. доходит до белого места, потом подымается по тропиночке и исчезает где-то вверх. Все тихо... Через несколько минут он возвращается.

— Залегли там. До рассвета... Ваш поручик там в сто-

роне. Холодно. Ну, ничего, как-нибудь... никого нет... спят большевики...

— Где мы?

Он говорит... Оказывается, мы совсем не там, где ожидали, но очень хорошо.

* * *

Ну, надо уходить. Мы отгребаемся немножко в море.

По-прежнему все тихо, но луна светит со всем усердием. Отойдя на веслах от берега, мне вдруг становится ясным, почему так было тихо у берега, почему нет прибоя.

— Горышняк,— говорит Тодька.— Попутняк...

За это время ветер переменялся, стал с берега, то есть востовый — западный... Мы пойдём великолепно.

Обнаглев, ставим парус в четверть мили от берега и с постепенно все свежающим «горышняком» идем обратно, взяв вторую шаланду на буксир. Берег быстро отходит от нас...

* * *

Где-то около рассвета я крепко заснул под разговор Р. и Тодьки.

Они иногда обменивались замечаниями, нужно ли брать «пажей» или «горстей», то есть вправо или влево, причем Тодька утверждал, что он идет верно.

— От увидите... По самой прорве будет маяк... Господин поручик, посмотрите там на компас...

Я просыпаюсь, смотрю на компас и вижу, что он держит что-то около ста, что и требуется. Я еще крепче заснул, когда взойшло солнце, хотя ветер все свежел и зыбь становилась ощутительней.

Меня разбудил Тодька.

— Господин поручик...

Он рукой указывал мне вперед. После продолжительного приглядывания я действительно увидел, по самой прорве, чуть виднеющуюся вертикальную черточку.

— Тендеровский... А туда посмотрите...

В совершенно противоположном направлении таким же едва угадываемым столбиком я увидел другой маяк...

— Большефонтанский...

* * *

Через несколько часов с некоторыми скандалами, ибо зыбь разбушевалась, нас выбросило к подножию двухкольцового маяка, который сейчас же засемафорил на «Корнилов», что шаланды вернулись... Я пересек пешком косу, которая местами превратилась в ковер каких-то краснотурецких молочаев и красивых лиловых цветов между шершаво-шелковистой осокой. Затем бот переташил меня на «Корнилов», где меня ожидала дружеская встреча.

И горячая ванна. Нежась в теплой воде, я думал о том, удалось ли Вовке избежать «врага внутреннего», и вообще, дошел ли он благополучно...

* * *

Я должен был прийти за ним через установленное число дней. Для того чтобы не пропустить как-нибудь и все наладить, я переселился с гостеприимного «Корнилова» на маяк, то есть в один из домиков, притаившихся у его подножия.

Ах, эти дни... Задул очень свежий норд-ост, переходящий в шторм. С возрастающей тревогой я следил за этим, все усиливающимся воздушным током, холодным и упрямым. Разговоры с рыбаками становились все неприятнее.

Наконец, роковой день наступил, но их нельзя было уговорить.

Этот самый Тодька проявлял и изворотливость, и упорство. Но и вообще всюду была глухая стена. Куда ни ткнешься — там было много шаланд,— везде сопротивление. Для виду соглашаются, а на самом деле увиливают.

Они чувствовали погоду. К тому же у меня было очень мало денег, чтобы подействовать с этой стороны. Да и что такое деньги? Вот если бы я им подарил какую-нибудь шинель, или теплую рубашку, или обувь,— это они бы ценили...

Ведь все эти рыбаки жили на Тендре в собачьих условиях. Некоторые имели палатки, а другие и этого не имели. Ютились при жестком норд-осте где попало, а по ночам температура была уже очень низкая. Ничего у них не было, бежали они от большевиков в чем были и жили буквально волчьей жизнью.

В этот решающий день мне не удалось их уговорить. А в ночь, которая последовала, мне было совсем плохо:

я знал, что там, на том берегу, кучка людей ждет меня до рассвета, веря моему обещанию.

И все же я ничего не мог сделать. Норд-ост свирепел с каждой минутой, и там, у того берега, накат должен был быть неистовый.

* * *

Что же было делать теперь? Теперь оставалось одно: так как условленный день или, вернее, ночь была; пропущена, то нужно было высадить кого-нибудь нового для того, чтобы восстановить связь. Партия, которой надо было высадиться, собиралась. Но не было среди них ни одного человека, достаточно мне знакомого, чтобы я мог ему доверить серьезные вещи. Поэтому выходило так, что высаживаться надо мне.

* * *

Норд-ост продолжал свирепствовать. Было очень холодно, хотя солнце было очень яркое.

Так прошло несколько дней вечных разговоров: «идем» — «не идем». Совсем уже решили идти, но норд-ост опять наваливался, доходя «до ракушек».

Бывает норд-ост «с песком» и «до ракушек». Если он поднимает только песок, то это еще ничего. Но если летят уже мелкие ракушки, то хуже.

Развлечение в эти дни состояло в том, чтобы подыматься на маяк и следить оттуда за «военно-морскими ужасами». К тому же под стеклом так тепло...

Дело в том, что «натриот» предпринял операцию. «Корнилов» выходил как-то вечером в море и долго систематически кого-то долбил: разрушали батарею. С ним выходила вся эскадра, и все это было очень интересно. Старались тральщики, старалась «Альма» и все вообще, и в лиловом море загорались эффектные вспышки...

* * *

Наконец, 29 сентября по старому стилю (я запомнил этот день), собрались. Две шаланды снарядились, как полагаются, с пулеметами на кормах, и все честь честью. Норд-ост продолжал дуть, но надоело всем — решили плыть.

Во время норд-остов на берегу косы, обращенной к

море, совершенно тихо — нет зыби. Поэтому усаживались очень долго и с удобствами. Все остающиеся выспали провожать. Напутствовали всякими благопожеланиями, даже некоторыми благополучными вещами: мне, например, дали теплую рубашку и барашковую шапку такого вида, который сильно гарантировал насчет большевистских подозрений.

В два часа дня мы отошли... имел неосторожность пересчитать, сколько человек было в шаландах, — оказалось, тринадцать. К тому же кто-то засвистел на нашей шаланде.

Правда, Тодька заскрежетал на него самым невозможным образом, но тем не менее дело было сделано; нельзя свистеть в шаланде — не будет удачи... К тому же из тринадцати была одна женщина — это уж совсем плохо.

Я пересчитал также и тех, что оставались. Их было двенадцать. Они стояли все рядышком, в равных расстояниях друг от друга, ровненьким смешным строем на удаляющейся косе.

Нет, их тоже было тринадцать. За спинами людей, неподвижный, но выразительный, стоял двукольный маяк...

Он стоял дольше всех. Те двенадцать давно ушли домой, ушла и низкая коса под воду, а он все стоял и стоял, как будто не желая уйти, стоял до заката солнца, хотя шаланды, гонимые норд-остом, уходили с большой быстротой.

Но, наконец, и он пропал.

— Прости, двукольный...

* * *

Кроме Тодьки в моей шаланде были все новые. Второй рыбак — Федюша, затем — Жорж, Яша, Коля и еще один, который тогда засвистел...

Один из них неподвижно лежал на дне шаланды, сильно страдая морской болезнью. Впоследствии этот комок в серой шинели оказался Яшей. Меня пока не укачивало, хотя норд-ост свирепел и зыбь становилась все сильнее.

Иногда две шаланды подходили ближе друг к другу и обменивались невозможными замечаниями. Впрочем, в той шаланде уже лежало несколько трупов — жертв морской болезни, в том числе и женщина, к счастью для нее, потому что говорили редкие гадости.

Без особых приключений докачал до вечера. Но ветер все усиливался. Мы шли с большой быстротой. Когда стемнело, зажглись прожекторы, и мы поняли, как мы уже

близко. На этот раз, подгоняемые свирепым норд-остом, мы сделали переход в несколько часов.

Луч прожектора бродил по неприятному морю. Когда он набегал на ту, другую шаланду, видны были огромные черные валы, с закипающей на них пеной, и мертвенно-белый парус, жутко чертящий на этом фоне...

Мы приближались, но было как-то плохо. Молчали... Даже тот, кто свистел, утомился. Шаланда тяжело хлопалась о валы, и все чаще нас окатывало гребешком, хватившим через край. Другой рыбак, Федюшка, все время откачивал воду, мы ему помогали — те, кого не укачивало. Впрочем, надо сказать, что откачивание воды самое укачивающее занятие. Стоит наклониться с этим черпаком, сейчас же начинает мутить. Было очень холодно.

Наконец, мрачное молчание нарушил скрежещущий голос Тодьки:

— Как же будем высадку делать?! Там же такой накат теперь, что шаланду к трам-тарарам побьет...

Серый комок, который впоследствии оказался Яшей, проявил признаки жизни.

— Пусть ее бьет, трам-тарарам, только б качать перестало...

Тодька захохотал.

— Что тебе, Яша, хорошо?.. Качай воду!..

Комок возмутился:

— Иди ты к трам-тарарам... у меня порок сердца...

Это вызвало бурную веселость Тодьки.

— Кушать хочешь?.. Консервов, Яша, хочешь?..

Несчастный комок подымается и,blasфемирюя на все лады, перегибается через борт. Слышны страдания, потом расвирепевшая волна вымывает ему все лицо и окатывает всех нас.

— Сделайте тут высадку! — скрежещет Тодька.— А если и высажу, а назад как, трам-тарарам там... Как я отойду?! Говорил, нельзя... Как идти, когда шторм!.. Что это — лето? Это же осень — вода тяжелая...

Жорж пробует его успокоить.

— Чего ты разоряешься?..

Но Тодьку не так-то легко успокоить.

— Чего, чего!.. А вот к самому маяку подошли. Куда еще?! Парус сбивать надо!..

В это время подходит другая шаланда.

Сквозь свист ветра и шелест валов, после заряда отборной брани доносится:

— Как тут высадку делать?! К черту шаланды побьет!.. Накат!..

Шаланды подходят ближе, и через валы и всю злобу норд-оста продолжается отчаянная ругань, из которой мне ясны две вещи: 1) что высадка действительно, по-видимому, невозможна, 2) что, во всяком случае, эти люди ее делать не будут. По прошлой высадке я знаю, что Тодька смелый и ловкий,— должно быть, действительно плохо.

Ругнувшись в последний раз, другая шаланда куда-то исчезла.

— Куда они пошли? — спрашивает Жорж.

— Куда! Отлавировываться будет!

— Куда отлавировываться?

— Куда!.. Против ветра... А куда, черт один знает,— куда...

Остается и нам делать то же. Шторм свирепеет. И теперь, когда мы идем в лавировку, то есть не с ветром, а под углом к волне, это становится особенно заметным. Бьет отчаянно и заливаает поминутно.

Я тоже начинаю слабеть и чувствую, что близок мой час последовать за Яшей. Тем не менее я размышляю, что же будет.

Будет, очевидно, возвращение на Тендру. Но когда мы туда попадем? При таком курсе ходу почти нет, потому что вся сила парусов уходит на преодоление зыби. К тому же мы идем «пузырем», это значит, что выброшено дерево, придерживающее парус. Это пришлось сделать для безопасности, но это очень уменьшает ход. Удастся ли отлавироваться?..

После первых приступов морской болезни я засыпаю на некоторое время. Просыпаюсь от того, что что-то большое и тяжелое прыгнуло мне на грудь. Это «что-то» оказывается волною. Теперь мы мокрые с головы до ног. Откачиваемся бесконечно. «Кинбурн» свирепеет... Яша умирает от порока сердца, Жорж меланхоличен, «свистун» утомился, а Колька, как улегся с самого начала на носу, так до сих пор не подал ни малейшего признака жизни. Потом я узнал причину: он невозмутимейший хохол, которого когда-нибудь видел свет. Товарищи его называли «Петлюрой».

— Эй, ты, Петлюра...

Никакого ответа.

— Колька...

Ноль внимания.

Возмущенный Жорж колотит его прикладом.

Наконец он подает голос:

— Ну, что?..

— Да ты умер, что ли!!

Молчание... Он опять заснул.

Свирепый «Кинбурн» и вообще вся эта история совершенно его не тревожат. Он спит... Ах, если бы можно был мне так заснуть, чтобы не чувствовать этих мук. Мне кажется, я скоро подарю морю свои внутренности.

Вода в шаланде прибывает, несмотря на откачивание. Тодька ругается и скрежещет хуже норд-оста — «Кинбурна», как он его называет.

* * *

Утро застало нас все в том же положении. Оказалось, что мы за ночь «отлавирования» почти не подвинулись вперед. Мы предполагали, что выйдем хотя бы на высоту Дофиновки. Но в рассвете начали вырисовываться Большефонтанские берега.

Взошло солнце и ярко осветило жуткую картину рас-свирепевшего моря. Та шаланда исчезла. Куда она пошла, бог ее знает.

Наше положение скверное. Укачались все, кроме Тодьки. Даже и второй рыбак, Федюшка, лежит бледный и не в силах больше откачивать воду. Один Тодька сидит у руля, как будто ничего. На него это не действует. Он с тем большим презрением обрушивается на Федюшку.

— Рыбалка называется!., трам-тарарам твою перетарарам... Отливай воду!..

Федюша, бледный как смерть, сползает с банки и начинает черпать. Я вижу, что ему плохо, у меня как будто бы легкий перерыв «занятий»; я пытаюсь тоже отливать...

— Лежите, господин поручик, лежите...

Эта неожиданная заботливость со стороны Тодьки меня трогает.

Он снова обращается ко мне:

— Что будем делать?..

Я соображаю. Потом говорю:

— Если не отлавируемся,— выбросимся в Румынию.

— А не расстреляют, господин поручик, румыны?..

Комок-Яша делает движение.

— Пусть расстреляют... только бы не качало...

Тодька хохочет...

— Как! У тебя порок сердца, так тебе все равно. Все равно умрешь...

Я говорю:

— Нет, расстрелять не расстреляют... За что другое не ручаюсь... Ограбят, и все такое, арестуют, задержат, но расстрела не будет.

Жорж у мачты появляется.

— Держи «горстей», Тодька...

— Чего «горстей»?., куда «горстей»?

— Держи «горстей», отлавируешься...

Тодька раздражается.

Он и так держит «горстей» сколько может. По-настоящему «пажей» надо держать.

— За неделю так не отлавируемся!.. Куда ж, шаланда полна воды, на волну не лезет...

Они некоторое время спорят друг с другом, сыпят названиями ветров: «Кинбурн», «Горшняк», «Молдаванка», «Низовка», «Оставая Низовка» перемешиваются у них с каким-то «пажей», «горстей» и «прорвой»... Я, наконец, понимаю, что «прорва» — это нос.

— Что у меня по прорве?! — кричит Тодька.— Дофиновка? трам-тарарам перетрам тарарам!.. Опять на Большой Фонтан выходим!

Затем «разговор упадает, бледнея»... Еще час мы пробуем отлавиrowаться. Однако ясно, что, если ветер не переменится,— ничего не будет. Главное, что в шаланде слишком много воды и просто нельзя ее отлить. Что отольем большими усилиями,— какая-нибудь сумасшедшая дрянь — волна, побольше других, небрежным движением наплеснет во мгновение ока. И отяжелевшая шаланда, плохо подымаясь на волнах, больше дает «дрейфу», чем «ходу».

Солнце встает все выше, и еще не покидает нас надежда, авось ветер начнет стихать к полудню.

* * *

Полдень... Норд-ост все тот же. Без меры упрямый и холодный. Опять вспыхивает разговор о Румынии.

— Господин поручик... А как же с ними говорить?..

— По-французски... Они все знают...

— А вы можете?..

В это время «свистун» вновь появляется на сцене. Неожиданно оказывается, что он прекрасно говорит по-румынски.

Но Жорж, который чувствует себя начальником экспедиции:

— А с пулеметом как будет? С винтовками?.. А как они нас за большевиков примут!.. А и не примут, что же им, подарить пулемет? Держи «горстей», Тодька!..

* * *

И еще... и еще...

Солнце пошло уже немножко вниз, а норд-ост еще усилился. Дело плохо. Мы не выиграли ничего у ветра, но воды все прибавляется. Тодька сидит уже сутки бессменно У руля.

Что же делать?..

Решаем держаться до вечера и, если буря не уgomонит-ся к заходу солнца, выброситься в Румынию.

* * *

Румынский берег виден. Вот маяк, который должен быть в устье Днестра. Солнце низко. Норд-ост свиреп. Ничего не поделаешь — надо выбрасываться.

— А как пройдем? — говорит Федюша.— Накат большой...

Действительно, там под берегом творится что-то бешеное. Там море совсем желтое; это оно беснуется на мелком, замутив дно. Эта желтизна кончается мощной белой каймой, от которой нельзя ждать ничего хорошего,— это пена свирепого прибоя.

— Как пройдем? — говорит Федюша, показывая на это желто-белое.

Но Тодька скрежещет на него с бешенством:

— Рыбалка называется! А проход зачем?! А бакан за чем стоит?! От найду бакан, и чтобы был он у меня справа, трам тарамтатам! Тоже — рыбалка!..

Он ругается с такой особенной яростью потому, что шаланда уже чувствует приближение этого весьма подозрительного места. Вода уже мутная. А валы не такие, как в море, а с яростными гребешками и вообще совсем какой-то другой породы. И как найти этот бакан?!

Эта желто-белая завируха надвинулась с ужасающей быстротой. Было одно мгновение, когда казалось, что эти огромные чудовища будут все у нас на голове. Тут твори-

лось что-то несурзное, и каким образом Тодька отыскал бакан — трудно понять.

— А это что?! Рыбалка называется! Говорил тебе, есть бакан!..

Проскочили бакан. Справа и слева от нас воротило такие горы из желтой муты с белыми оторочками, что просто было страшно... И мы прошли... И через несколько минут очутились в совсем спокойной воде,— даже до непонятности.

* * *

Низкий берег, остатки какого-то моста через не то пролив, не то устье реки и маяк.

Сбили парус и тихонько на веслах без всяких приключений мирным образом уткнулись в песок.

Это была Румыния...

КОНСТАНТИНОПОЛЬ

(Из дневника 18/31 декабря)

...Если стоять вечером на мосту через Золотой Рог, на знаменитом мосту между Галатой и Стамбулом, то вдруг вспоминается что-то живо-знакомое.

— Что?..

Вот что... так стоит на Троицком или, вернее, на Николаевском мосту в Петрограде. Золотой Рог — будто Нева. По одну сторону — как будто бы Петроградская сторона, там — набережная. Не очень похоже, но есть что-то общее.

Красиво... Очень красива эта симфония огней...

Толпа непрерывно струится через мост.

Тепло...

Как в теплый вечер в начале октября в Петрограде. Боже, где все это?..

Твой щит на вратах Цареграда...

Увидев впервые в жизни этот неистовый, но такой красивый беспорядок, эту галиматью с минаретами, именуемую Константинополем, я сказал своему спутнику по вагону:

— Боже мой!.. Теперь я только понял, что я давным-давно страстный, убежденный... туркофил.

Я думаю, что это несколько утрированное утверждение

в значительной мере применимо ко всем русским, волей судьбы здесь очутившимся.

В летописях 1920 год будет отмечен как год мирного завоевания Константинополя⁴³ русскими.

Твой щит на вратах Цареграда...

* * *

Щит этот во образе бесчисленных русских вывесок, плакатов, афиш, объявлений... Эти щиты — эмблема мирного завоевания — проникли во все переулки этого чудовищного хаоса, именуемого столицей Турции, и удивительно к нему подошли.

Недаром:

Земля наша велика и обильна...

Тут тоже никакого порядка. Наоборот, этот город производит впечатление узаконенного, хронического, векового беспорядка. Поэтому, вероятно, когда русские, голодные и нищие, обрушились огромной массой на эту абракадабру, вместо естественной ненависти, которую всегда во всех странах и веках вызывают такие нашествия, — вдруг на удивление «всей Европе» к небу взмыл совершенно неожиданный возглас:

— Харош урус, харош...

Точно нашли друг друга... Русские и турки сейчас словно переживают медовый месяц... Случаев удивительно доброго, сердечного отношения — не перечить... Одного почтенного деятеля остановил на улице старый турок и, спросив «урус?», — дал ему лиру. Русскому офицеру сосед по трамваю представился как турецкий офицер, предложил быть друзьями, потащил к себе и предложил ему половину комнаты за бесценок, лишь бы жить «урусом». Третьего хозяин кофейни угощал как дорогого гостя и наотрез отказался взять плату. Все это часто очень наивно, но это есть... Русским уступают очереди, с русских меньше берут в магазинах и парикмахерских, выказывают всячески знаки внимания и сочувствия, и над всем этим, как песнь торжествующей любви, вместе с минаретами вьется к небу глас народа — глас божий.

— Харош урус, харош...

Чем все это объясняется?

Объяснений много. Во-первых, объяснение прозаиче-

ское: русские, несмотря на всю свою бедность, по обычаю предков, не торгуются в магазинах и не останавливаются перед тем, чтобы из последних пятидесяти пиастров десять бросить на чай.

«На последнюю пятерку...» И только русские щедры. Все остальные, несмотря на свое богатство (сказочное в сравнении с русскими), скупы, как и полагается культурной западной нации. А между тем турки сейчас так бедны, в особенности чиновничество, которое бог знает сколько времени не получало жалованья, что еще неизвестно, чье положение хуже: этой бездомной русской толпы, которая залила все улицы и переулки гостеприимного города-галиматьи, или же самих хозяев, находящихся на краю голодной бездны.

Другое объяснение — «сытый голодного не разумеет». Значит — голодный разумеет голодного. Обе нации — русские и турки — почти одинаково несчастны. Обе почти лишены отечества. Обе включены, втоптаны в разряд побежденных «державами-победительницами».

Я помню, как профессор Петр Михайлович (международник)⁴⁴ во всю мощь своего великолепного баритона возмущался на улицах одного города этим термином.

— «Державы-победительницы»!.. Кажется, в мировой истории не было случая, чтобы в официальных договорах или трактатах употреблялась такая терминология. Всегда все державы обозначались по имени: Англия, Франция, Италия... Да ведь мирный договор потому и называется мирным, что война кончилась... И нет уже войны — нет побед... Мирным договором восстанавливаются «дипломатические отношения» со всем изысканным ритуалом международной вежливости. И вдруг — «державы-победительницы...».

— Дичь! Средневековье!..

И вот, по-видимому, на фоне общей обиды разыгрывается эта русско-турецкая любовь...

«Chaque vilain trouve sa vilaine»*, — скажут французы...

Ладно... «Униженные и оскорбленные», — скажем мы. И если турки еще более унижены, то ведь мы еще более оскорблены.

Да, мы оскорблены, прежде всего, оскорблены... Эти константинопольские русские, эти дети бесконечных эвакуа-

* Даже самой уродливой женщине найдется муж (фр.).

ций, живее всего чувствуют оскорбление... Ибо это те, которые, несмотря ни на что, оставались верными Антанте... Это те, которые хранить союзный договор, заключенный государем императором, почитали своей священной обязанностью... Это те, которые если не были уверены в помощи и благодарности, то все же были убеждены, что их будут уважать...

Вместо уважения...

Вот на Grand'rue d'Opera французский «городовой» останавливает русских офицеров, проверяя документы... Тон, манеры, это наглое хватание за рукав или, что еще хуже, похлопывание по плечу, этот покровительственно-небрежный тон, жест, когда — полуграмотный — он, наконец, найдет на документе французское рукоприкладство: «Vue a l'arrivee»*—все это заставляет стиснуть зубы...

На каком основании этот господин не обращается ко мне так, как полагается солдату обращаться к офицеру? Разве я не офицер?

Но ведь я выдержал все офицерские экзамены... Я потерял все решительно на свете для родины, «кроме чести»...

«Sauf i'honneur»**... Так почему же меня оскорбляют, за что?

Ах, ведь они «державы-победительницы»...

Но, наконец, кого же они победили?.. Ведь Россия была с ними, и если она не дошла до бруствера, то потому, что была тяжело ранена в бою... Почему ее зачислили в разряд побежденных?..

Потому что...

Потому что французы и другие не доросли еще до того, чтобы шадить «большую нацию». В международных отношениях царит средневековье — век звериный.

Горе заболевшим!..

И вот два «больных человека» — Турция, давно заболевшая, и Россия, недавно тяжело занемогшая, — инстинктивно тянутся друг к другу... и к ним одинаково жестоки... жестоки презрением здоровых к больным...

Но помимо этого, есть, по-видимому, какое-то расположение рас. Русские и турки как будто бы чувствуют расовое влечение друг к другу. Явление противоположного свойства называется «haine de race»***. Не знаю, как

перевести эту «расовую симпатию»... Вот, по-видимому, нравятся просто русские и турки друг другу. Только этим можно, в конце концов, объяснить этот доминирующий над всем возглас:

— Харош урус, харош...

* * *

Не думаю, чтобы массы были посвящены в тайны и интриги политики. Не думаю, чтобы здесь играли роль замыслы Кемаль-Паши⁴⁵...

Да и каковы эти замыслы — кто их знает... Хотят ли действительно, чтобы генерал Врангель занял Константинополь?..

Во всяком случае, вчера торжественно и официально опровергалось известие, пущенное турецкими газетами:

«Генерал Врангель, во главе 10 000 отряда и имея в тылу 30 000 отборного войска, занял Фракию. Греческие войска бегут в панике». При этом был помещен портрет генерала Врангеля.

Это характерно для того, в каком направлении работает мысль. Эти газеты как будто толкают: «Выйдя из лагерей, займи Фракию, — греки побегут... И путь на Константинополь свободен...»

— Харош, урус, харош...

Твой щит на вратах Цареграда...

* * *

С непривычки кипятки большого города как будто бы пьянит. Все куда-то несется... Непрерывной струей бежит толпа... трудно выдержать, столько лиц... Тем более что половина из них кажутся знакомыми, потому что они русские... Где я их видел всех, когда?.. В Петрограде, Киеве, Москве, Одессе... Одно время в 1914 году, во время мировой войны, я их видел всех в Галиции — во Львове. Когда большевики захватили власть в Петрограде и Москве, я видел их всех в Киеве, под высокой рукой гетмана Скоропадского... Потом их можно было видеть в Екатеринодаре... Позже они заливали улицы Ростова... В 1919 году они разбились между Ростовом, Киевом и Харьковом, но в начале 1920 г. столпились в Одессе и Новороссийске...

* Проверено по прибытии (фр.)

** Кроме чести (фр.)

*** расовая ненависть (фр.)

Наконец, последнее их прибежище был Севастополь.
И вот теперь здесь...

Твой щит на вратах Цареграда...

* * *

Все куда-то несется... Люди, экипажи, неистово звенящие трамваи, воющие на все голоса ада автомобили...

Все блестит, все сверкает... уличные фонари, пьянящие голодный русский дух витрины, слепящие глаза фары-тором.

Все кричит... все тревожит воздух нестройной смесью языков... но чаще всего слышен русский...

Или мне так только кажется!..

Нет, русских действительно неистовое количество... А если зайти в посольство или, упаси боже, в консульский двор,— тут сплошная русская толпа... Все это движется, куда-то спешит, что-то делает, о чем-то хлопочет, что-то ищет...

Больше всего — «визы» во все страны света...

Но, кажется, все страны «закрылись». Не хотят русских... никто не хочет, и даже великодушные, верные союзники...

И только тут, в столице народа, с которым мы воевали века, воевали и в последнюю войну, в столице, на которую мы столько раз и совершенно открыто претендовали, желая взять ее себе, только тут несется неумолчный крик:

— Харош, урус, харош...

Чудесны дела твои, господи!..

* * *

Русская церковь в посольстве...

Всякий знает, как бывает у всеношной... Так и было...

Но эти слова, такие знакомые, только теперь получили настоящую цену. Только мы, русские, рассеянные по всему свету, вытерпевшие все, можем их понять до конца.

— О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, миром, господи, помолимся...

— Господи, помилуй!..

* * *

Помилуй, помилуй, помилуй, господи!..

Что можно сказать больше...

— О плавающих...

Это Димка — младший... Он же сейчас плавает где-то под Африкой, в Бизерте. Оставленный мною в Севастополе, он нанялся матросом на миноносец... Мальчику пятнадцать лет...

— О путешествующих...

Вот уж сколько я путешествую... это, значит, было последний раз, когда я видел Россию 29 сентября... Последнее, что я от нее видел, был этот двукольчатый маяк... Прости, двукольчатый... И вот отчего всегда на нем была какая-то печальная и ироническая усмешка!.. Даже тогда, когда мы бежали из Одессы и ликующие подошли к нему... Он знал, что это ненадолго... А где Вовка?.. Тоже «путешествующий»...

— Недугующих...

Вот получил телеграмму, что Саша, брат Эфема, где-то валяется в каком-то госпитале или на судне в очень тяжелой болезни... А где — найти не могу...

— Страждущих...

Сколько их, страждущих... но из всех них один, конечно, ближе... мне кажется, что он страдает больше других, хотя я знаю, что это не так... Он, как и все... Ляля... Если жив, выстрадал весь поход, все бои, все эвакуации и до-страдывает в лагерях... Если жив... А если и жив, то, может быть, искалечен, изранен. Таким именно он приснился мне сегодня... На лбу, над левой бровью, страшный след... Другая пуля прошла около лопатки... а еще одну, говорит, надо вынуть... Это знакомое, кажущееся мне таким замечательным лицом с глазами страдающей газели, какое-то стало другое, себя не находящее...

— Плененных...

Одного плененного уже нет... Несчастный Эфем погиб... Расстреляли... Это я уже здесь узнал...

И сколько их всех...

Господи, господи, помилуй!..

Сегодня наступает Новый год... Для всего мира, кроме нас.

Кто это мы?..

Мы — «вранжелисты»...

Мы будем праздновать Новый год по-старому.

Мы одни в целом мире.

И все-таки правы мы, а не они...
Ибо старое вернется...
Мировая реакция неизбежна.
— Вовка?!
Да, это был он.
Мы столкнулись на Grand'rue d'Opera...

* * *

— Как же вы? Как это случилось?!
— Моя история кратка... То есть ее можно кратко рассказать, а было всего... Ну, словом, 30 сентября (по-старому) меня выбросило на румынский берег у Цареградского маяка... Два месяца я пробыл в Румынии... Румыны все никак не могли сначала определить, кто мы — большевики или «ванжелисты»... А потом, когда убедились, что вранжелисты, просто тянулись всякие формальности... Обращались на этот раз недурно, не то что тогда... А иногда даже были очень милы. В начале декабря и попал в Болгарию... и затем вот вчера сюда... Ну, рассказывай...
— Все рассказывать, это очень долго...
— Ну, не все... самое важное...
— Самое важное... я старался выполнить все, что было мне поручено. Вначале все шло благополучно... Мы тогда пришли в ту ночь на берег, как условились... Продали... вас не было... Решили, что, значит, нельзя было выйти... мы так и поняли, что шторм... Затем,— затем стало хуже.
— Что-нибудь узнал про Эфема?
— Узнал. Ваше радио было получено... и даже после этого его сейчас же перевели из чрезвычайки в тюрьму, улучшили пищу и стали иначе обращаться... Даже как-то от него пришло какое-то сообщение... он предупреждал, чтобы были осторожны, что они очень осведомлены... что он совсем было приготовился к смерти и был спокоен и готов... Теперь у него появилась надежда... на что, он не знает: что хуже...
— Он погиб?.., наверное?
— Да... в конце концов расстреляли... Это я уже здесь узнал — из списков расстрелянных...
— Но отчего? Какая окончательная причина?
— Нельзя понять... Когда-нибудь, может быть, узнаем...

* * *

— Я сделал все, что надо, и торговал шляпку... в это время это и случилось.
— Что «это»?..
— Вы говорили мне записывать интересное... этот эпизод я записал...
— Ну, хорошо... пойдём куда-нибудь... Они празднуют Новый год. Нам нечего праздновать... все равно... за стаканом вина прочти мне...

РАССКАЗ ПОРУЧИКА Л.

Я жил тогда... ну, словом, вы знаете у кого... проснулся с сознанием, что еще очень рано. Проснулся оттого, что кто-то открыл двери из передней и сказал за дверью:

— Это к вам?..

Я приподнял голову. В комнату быстро вошел человек. Рассмотреть его нельзя было, так как шторы были опущены. Человек быстро подошел к окну.

— Кто это?..

Человек поднял штору и сказал громко:

— Из Чрезвычайной комиссии... Вставайте все...

В эту же минуту в комнату вошел другой человек.

Я не могу сказать, чтобы я испугался,— это было бы не совсем точно. Но я почувствовал во всем организме какое-то особое напряжение... Как будто бы все точки организма оказались связанными, туго натянутыми нитями... Это совсем похоже на то, как бывает, когда услышишь свист первой пули и начинается бой.

Я рассмотрел этих людей. Вошедший первым был среднего роста, не брюнет и не блондин, полуеврейского, полу-восточного типа. На нем было рыжеватое пальто и фуражка военного образца без какого-нибудь значка или кокарды. Другой — высокий черный, молодежь первого, видимо русский, в черном пальто и кепи.

Один из них начал опрашивать всех. А в этой квартире было много народа. Он спрашивал всех по очереди. Затем обратился ко мне:

— А вы кто?..

Эти люди, жившие в этой квартире, дали мне приют почти случайно. Они не знали, кто я. Им рекомендовали

меня их друзья, просили приютить. Потому я ответил спокойно:

— Я студент такого-то университета, такой-то. Три дня тому назад приехал сюда... Меня приютили здесь, потому что мне некуда было деться.

— Это ваши знакомые?

— Да...

Один из чекистов стал перебирать и просматривать бумаги на письменном столе. Меня это не очень беспокоило; вряд ли он мог там что-нибудь найти. Когда я оделся, рыжий протянул мне какую-то бумажку. Штамп и печать одесской чрезвычайки. Я прочел:

«Товарищу такому-то. Предлагается произвести обыск в квартире гражданки такой-то, такой-то адрес, и арестовать ее и всех находящихся в квартире».

Затем последовал полусочувственный жест — ничего не поделаешь — и пояснение:

— Придется сидеть в квартире до вечера, ждать публику. А затем...

И красноречивая пауза.

Оба представителя власти шарили довольно продолжительное время по ящикам стола, по углам, приподнимали тюфяки, открывали корзинки и картонки. Извлекался откуда-то запыленный и заплесневевший номер «Единой Руси», о присутствии которого в квартире никто раньше и не подозревал. Впрочем, они сами, кажется, не придали этому обстоятельству значения.

Самое скверное было то, что не было папирос. Попросили разрешения послать купить папирос и хлеба. Сначала они не согласились, потом позволили пойти четырнадцатилетнему гимназисту Жене. С мальчиком отправился один из чекистов. Когда он вернулся, то рассказал, что чекист все время шел за ним, и когда одна из дворовых девочек с ним заговорила, отогнал ее в сторону.

Рыжий уселся на диване в столовой, черный — в передней. Они не обращали внимания на передвижение публики из комнаты в комнату. Разрешили выходить и в коридор и в кухню. Предупредили, что заперли и парадную и черную выходную дверь на ключ и что ключи у них.

Я прошел в спальню. Там было несколько молодых женщин. В общем, они почти не проявляли испуганности. Больше всех была взволнована В. А. В глазах ее стояли слезы.

— Скажите же, ради бога, откуда это несчастье, зачем они пришли?

Решить это было довольно затруднительно.

Если бы они искали меня, то они бы обращались со мной иначе. Очевидно, я не внушал им особых подозрений. Не больше, чем все другие. Но если не я, то кто же?... И хозяйка квартиры, и вся семья, и все, кто случайно у нее оказался, никакой политикой не занимались, жили изо дня в день, думая только о хлебе насущном. Я чувствовал, что здесь какая-то ошибка... Или, быть может, выследили, что здесь бывает кто-нибудь, за кем охотятся. Населению квартиры вряд ли грозит серьезная опасность, и если их арестуют, то, в конце концов, конечно, выпустят, если бы не я... Меня могли узнать, и тогда дело для всей семьи могло бы повернуться серьезно. В сущности, было очень важно, чтобы я отсюда смылся...

Хорошо было бы еще поговорить с представителями власти... Для этой цели была командирована в переднюю Е. А., как более подходящая разведчица.

Мы остались вдвоем с хозяйкой квартиры. Удивительно, что эта маленькая хрупкая женщина сохраняла все время великолепное самообладание.

— Вот в чем дело,— сказала она.— Мы ничем таким не занимались... очевидно, дело не в нас... Очевидно, они ловят кого-то, кто у меня бывает... Я в политику не хочу входить, но я не хотела бы, чтобы у меня в квартире кто-нибудь погиб...

Ее губы дрогнули в первый раз...

— Ах, боже мой... за себя я не боюсь... Ни капельки — даже странно... Но вы все...

Она помолчала минутку.

— А теперь уйдите, пожалуйста...

Она стала зажигать лампадку перед иконой. Быть может, хотела молиться...

В столовой я нашел альбом и углубился в стихи.

Стук в парадную дверь. Чекист, дремавший на диване, вскочил и бросился в переднюю. Впустили бабу-молочницу. Сдав молоко, забрав свои фляги в корзину, она намеревалась уйти, но чекист заявил, что не выпустит ее. Баба подняла отчаянный вой.

— Як же так... ой лишеньки мини... Ратуйте, добри люди... Диты ж мои дома зостались... Што ж с ними буде... Што ж це такое за горе...

Плач и причитанья продолжались минут пятнадцать.

Наконец, очевидно, нервы церберов не выдержали. Бабу выпустили со строгим предупреждением, чтобы она не смела говорить, что делается в квартире.

Инцидент с молочницей имел следующие последствия. Минут через десять после ее ухода кто-то начал энергично стучать, а потом ломиться во входную дверь. Оба чекиста бросились со всех ног в переднюю. Открыли дверь и впустили банду — человек пять - шесть милиционеров ближайшего района. Оказалось, что домовый комиссар узнал либо от молочницы, либо от дворовых детей о том, что в квартире засели какие-то личности, которые всех задерживают, допрашивают и чего-то ищут. Он предположил, что это могут быть налетчики, и поспешил в район, откуда немедленно был командирован патруль. Охранная служба у большевиков несется отчетливо.

Милицейские с шумом ворвались в квартиру.

— Кто такие?.. Сдавай оружие...

— Осторожней, товарищи... легче...

— Да кто вы такие? чего разоряетесь, трам-тарарам, сдавай оружие...

— Мы — представители Чека... Ваш ордер!

— А ваш ордер, трам-тарарам... Много таких представителей...

Произошел обмен ордерами.

— Так чего же вы, товарищи, не предупредили домового комиссара? Правило ведь знаете...

— Так какая же тогда будет засада, если его предупреждать!.. Если все будут знать, так кто же в эту квартиру пойдет?..

— Да не все... а домовому комиссару нужно... надо, чтобы по закону...

Милиционеры ушли... Ушел и один из чекистов. Насколько можно было судить по фразам, которыми они обменялись, в ордере оказалась какая-то формальная неисправность, которую нужно было исправить. А может быть, он пошел за инструкциями. А может быть, по своим личным делам.

Прошло некоторое время. И вдруг в мозгу у меня мелькнула картинка, сохраненная зрительной памятью: когда один чекист уходил, другой его не провожал в переднюю. Значит, выходную дверь он не мог запереть на ключ — ведь не унес же ушедший ключ с собой... Значит, дверь закрыта только на английский замок. Надо посмотреть, нельзя ли посмотреть...

Стучат... Вот законный предлог: я пошел открывать. Тот чекист, что в столовой, задремал — стука не слышит.

Так и есть. Поворачиваю английский замок, дверь открыта. Sacramento,—в дверях уходящий чекист. Не вовремя вернулся... Не судьба...

* * *

Е. А. произвела артистическую атаку на вернувшегося чекиста и затем сообщила результаты разведки. По словам представителей власти, причиной ареста был донос. Кем сделан донос и каково его содержание — они сами не знают... Это правдоподобно, ибо донос, вероятно, так же распространен в Совдепии, как в свое время в Венеции. Второе, что она узнала, это то, что около трех часов в квартире должны явиться какие-то следователи, которые произведут вторичный обыск и допрос, и затем всех отправят в Чека.

У нас в квартире были дети. У этих детей, в свою очередь, было много приятелей и приятельниц из других квартир. Несколько из них пришли к нам в гости. Когда они хотели уходить, чекисты их не пустили. Тогда младенцы сомкнулись гурьбой и ворвались в столовую с воем. Представители власти сначала обозлились, потом рассмеялись. Один из них вытащил из кармана ключ и сунул мальчику постарше:

— На, открой им дверь... Выпусти их... к черту...

Мальчик вышел в переднюю, сопровождаемый всей ватагой. Затем вернулся и возвратил ключ чекисту.

Спустя минутку он отозвал меня в сторону.

— Вы можете уйти... Дверь не заперта.

Спасибо, мой маленький герой. Но я не уйду. Если бы я ушел, было бы слишком ясно, кто мне помог. И бог знает, какую плату получил бы ты за свой героизм от палачей чрезвычайки.

Но было больше двух часов. Обещанные следователи могли явиться каждую минуту.

Надо было действовать до их прихода. Я чувствовал, что мне надо во что бы то ни стало уйти, потому что я был, так сказать, единственный, кто мог потопить остальных, если бы меня узнали. Если мне удастся уйти, их хотя и арестуют, но выпустят,— против них ничего нет. Они ничего не знают, ни во что не замешаны.

Но как уйти?.. Я подошел к окну. И вдруг у меня мельк-

нула мысль: «А нельзя ли из этого или другого окна по карнизу перебраться в какую-нибудь соседнюю квартиру?» I

Я спросил хозяйку дома, маленькую хрупкую женщину..

— Может быть, вам удастся... Ближе всего из кухни В соседней квартире как раз никогда никого нет в это время. Дверь на английском замке...

Я колебался...

— Скажите мне совершенно откровенно: лучше для других, чтобы я ушел?..

— Если вы чувствуете что-нибудь за собой,— уходите.. Нам будет лучше...

Она посмотрела мне в глаза.

Знал ли я что-нибудь за собой... Я знал слишком достаточно... И я решил бежать...

Сделали так. Прошли все поодиночке через столовую где полудремали на диване оба чекиста. Простились... За тем я прошел через столовую обратно и вышел в коридор В момент моего драпа все должны были находиться в комнатах для получения алиби.

Я высунулся в окно и осмотрел карниз. Раньше я как-то не подумал о том, что карнизы бывают разные,— не по каждому пролезешь... Это был не особенно удобный карниз в особенности для четвертого этажа. Узенький — ладони полторы шириной, и покатый. Попробовал стать на него ногой, держась за раму окна. Куда там... на нем немислим удержаться ни одной секунды. А стена совершенно гладкая без всяких выступов, держаться не за что.

Но вот что,— внизу на уровне пола комнаты есть другой карниз. Такой же узенький и такой же покатый, правда став на него, можно держаться за загиб того карниза, что идет на уровне подоконника. Попробовал. Да, можно удержаться, но только несколько секунд — всю тяжесть тел приходится держать на кончиках пальцев, ибо загиб карниза не более сантиметра. Острое железо режет руку... Во в чем дело — надо упереться в нижний карниз коленями.. Теперь верхний карниз приходится на уровне плеч... Так гораздо легче... Достигнуто правильное распределение тяжести тела между коленями и кончиками пальцев. Больно коленям, больно пальцам, но держаться можно. Теперь в путь... До спасительного окна — сажени две с половиной три... Техника движения такая. Хватаюсь сначала правой потом левой рукой возможно дальше вправо, а затем таким же образом передвигаю колени. В голове ничего — все ушло в мускульное напряжение. Так прополз почти поло

вину дороги. Но что это? Дальше верхний карниз оборван — перерыв аршина два. Как я раньше не заметил этого, не рассмотрел,— не понимаю... Но не возвращаться же назад. Цепляюсь изо всей силы самыми кончиками пальцев за угол верхнего карниза и передвигаюсь коленями, сколько возможно, вправо. Теперь самый рискованный момент. Нужно выпустить карниз из рук, сильно податься корпусом вправо, схватиться за кончик карниза там, где он снова начинается... Это напомнило мне поразившую меня в детстве фотографию в «Ниве». Велосипедист висит в воздухе на большой высоте вверх ногами — это мертвая петля с прерванной наверху лентой.

Но это была лишь одна из тысячи мыслей, мелькнувших у меня в голове в это мгновение; я теперь понимаю, что значит, когда говорят, что в момент гибели разворачивается в одну секунду и проходит пред глазами вся жизнь.

Я удержался с трудом. Одно колено сорвалось с карниза, но в ту же секунду я «восстановил положение». Теперь я уже был почти уверен, что доползу. До спасительного окна оставалось аршина полтора. Но вдруг я почувствовал, что самый железный карниз, за который я держусь, начинает сползать с выступа стены... Оказалось, что два последних гвоздя, которыми он прикреплен к выступу стены,— отсутствуют. Что делать? Если бы на стене была хоть какая-нибудь точка опоры и я мог бы сделать еще шаг, чтобы схватиться за раму окна... Но ни опереться, ни схватиться решительно не за что... Я продвинулся еще немножко по карнизу... Железная полоска гнется и ходит у меня в руках. До окна только аршин. Но даже расстояние в сантиметр человек перелететь не может. Возвратиться обратно — немисливо. Мускулы рук и ног страшно устали, и я знаю, что место, где карниз оборван, мне уже никак не преодолеть второй раз. Оставалось одно.

Я повернул голову к окну и тихо сказал:

— Дайте руку.

Молчание. Я повторил громче:

— Дайте руку.

В окне показалась голова... ребенка. И он протянул мне руку и, напрягши все силенки, помог мне.

* * *

Я не знаю, кто был этот мальчик и увижу ли я его когда-нибудь... Я ушел как можно скорей. Спустился по

лестнице черного хода, вышел во двор. У ворот охраны не было. Я был свободен...

* * *

А теперь все без подробностей.. Я был свободен, но столько арестовали... Оказывается, большевики будто бы раскрыли какую-то обширную русско-польскую организацию и хватали направо и налево... Я ничего не мог сделать больше, кроме того, чтобы затруднять других укрывательством своей особы. И поэтому я решил бежать еще раз морем... Удалось... Вы можете себе представить мое состояние, когда я узнал, что вы ушли с Тендры искать меня... и погибли... Там все были уверены в вашей гибели... По обыкновению, существовало много версий на этот счет. В самом отвратительном состоянии я прибыл в Севастополь двадцать шестого октября... А через четыре дня, как вы знаете, произошла всеобщая эвакуация... Я поспел как раз вовремя.

ВЗГЛЯД И НЕЧТО

Комната в посольстве... Роскошный ковер на всю комнату. Красивый стол, мрамор с золотом... камин.

У камина нас двое. Один бегаёт по комнате, я лежу в кресле. Он говорит:

— Да... и с этой точки зрения... поймите меня... я хочу, чтобы вы меня поняли... что?

— Ничего... я вас слушаю...

— Мне показалось, что вы не согласны... Моя мысль до вас не доходит... То, что вы говорите, неважно... неинтересно... А меж тем именно вы были правы...

— Когда?

— Тогда... когда вы приехали от большевиков... в июле, в Севастополь...

— Что я говорил?

— Вы говорили... это очень трудно формулировать... вы указали... вы рассказали... что под этой... корой... этой оболочкой советской власти... совершается процесс... процессы стихийные... огромной важности... ничего не имеющие общего... с ней... с корой... с властью... с большевизмом. Процессы, которые у нас не поняли... к которым мы даже... не присматривались...

— Конкретнее!

— Конкретнее?.. конкретнее — я теперь знаю... Для меня не может быть сомнений... У меня есть свидетельские показания... которым я не могу не верить... Я знаю, что война с Польшей вызвала движение, национальное движение... подъем...

— Подъем — это слишком сильно сказано. Раскол в душе многих — да... Брусиловское воззвание⁴⁶ произвело некоторое впечатление. Оно было написано старым языком и в силу этого действовало на нервы... «За Русскую Землю» — это было уже так много.

— Нет... в Москве было больше... Был подъем... во всяком случае, было изменение психологии... Было... быть может, первое признание совпадений путей... и мы... мы этого... недооценили... что?.., вы согласны со мной?..

— Да... пожалуй... Но разве вы не замечали, что давно уже — давно уже наши идеи перескочили через фронт.

Против воли моей...

Против воли твоей...

Знаете этот романс или стих, ну что-то в этом роде? Он сказал ей: «Не надо, не нужно, не должно...» Мы поставим препятствия и сделаем все, чтобы этого не было. Но если «против воли моей, против воли твоей» это будет, значит, «так в высшем решено совете...». Я говорю вздор, но все-таки это имеет отношение к делу... «Против воли моей, против воли твоей» наши идеи перескочили через фронт... И это так было. Прежде всего, мы научили их, какая должна быть армия. Когда ничтожная горсточка Корнилова, Алексеева и Деникина била их орды, — била потому, что она была организована на правильных началах — без «комитетов», без «сознательной дисциплины», то есть организована «по-белому», — они поняли... Они поняли, что армия должна быть армией... И они восстановили армию... Это первое... Конечно, они думают, что они создали социалистическую армию, которая дерется «во имя Интернационала», — но это вздор. Им только так кажется. На самом деле, они восстановили русскую армию... И это наша заслуга... Мы сыграли роль шведов... Ленин мог бы пить «здоровье учителей», эти учителя — мы... И это первая наша великая заслуга... Злые силы, разрушившие русскую армию в 1917 г., мы заставили со всей энергией, на которую они способны (а ведь они самая волевая накипь нации), мы заставили работать по нашим предначертаниям на

воссоздание нашей русской армии... Мы учили их не рассказом, а «показом»... Мы били их до тех пор, пока они не выучились драться... И к концу вообще всего революционного процесса Россия, потерявшая в 1917 г. свою старую армию, будет иметь новую, столь же могущественную... Дальше... Наш главный, наш действенный лозунг — Единая Россия... Когда ушел Деникин, мы его не то чтобы потеряли, но куда-то на время спрятали... мы свернули знамя... А кто поднял его, кто развернул знамя? Как это ни дико, но это так... Знамя Единой России фактически подняли большевики. Конечно, они этого не говорят... Конечно, Ленин и Троцкий продолжают трубить Интернационал. И будто бы «коммунистическая» армия сражалась за насаждение «советских республик». Но это только так сверху... На самом деле их армия была поляков, как поляков. И именно за то, что они отхватили чисто русские области. И даже если этого настроения не было... Все равно... все равно...

— Я с вами совершенно согласен... это ясно... фактически Интернационал оказался орудием... расширения территории... для власти, сидящей в Москве... До границ... до границ, где начинается действительное сопротивление других государственных организмов, в достаточной степени крепких. Это и будет естественные границы будущей... Российской державы.

— Ну, конечно... Социализм смоется, но границы останутся... Будут ли границы 1914 года или несколько иные — это другой вопрос. Во всяком случае, нельзя не видеть, что русский язык во славу Интернационала опять занял шестую часть суши. Сила событий сильнее самой сильной воли... Ленин предполагает, а объективные условия, созданные богом, как территория и душевный уклад народа, «располагают»... И теперь очевидно стало, что, кто сидит в Москве, безразлично, кто это, будет ли это Ульянов или Романов (простите это гнусное сопоставление), принужден, «мусит», как говорят хохлы, делать дело Иоанна Калиты. «Мусит» собирать воедино русские земли. «Против воли моей, против воли твоей...» И это два... А третье, что они у нас взяли,— это принцип единоличной власти. Они твердили о диктатуре пролетариата на Большом Московском Совещании в августе 1917 года. А мы говорили: «Вздор... Управление выборным коллективом в условиях войны и революции — вздор...» И вышло по-нашему... Обе половинки России — Северная и Южная — отвергли коллектив, и пере-

шли: Южная — к единоличной диктатуре генералов... а Северная — к «двуличной» диктатуре двух дворян: одного симбирского, а другого иерусалимского... Чтобы не надо-едасть вам, я кончаю... Резюме. «Против воли моей, против воли твоей» — большевики:

- 1) восстанавливают военное могущество России;
- 2) восстанавливают границы Российской державы до ее естественных пределов;
- 3) готовят пришествие самодержца всероссийского.

— Разве вы не конституционный монархист?..

— Если хотите, да... Десять лет Государственной думы — меня испортили... Пожалуй, мне хотелось бы, чтобы была конституционная монархия. Но надо различать... желание от возможного... Мне кажется, что желанное невозможно... После всего, что произошло, конституционная монархия вряд ли мыслима... По крайней мере, в течение ряда лет, и, главным образом, вследствие причин экономических... Чтобы выйти из положения, придется каждые полчаса подписывать героические решения... А ведь вы знаете, что русский парламент героических... ответственных... безумно смелых... решений принимать не может... Вы знаете... Где соберутся три немца,— там они поют квартет... Но где соберутся четыре русских, там они основывают пять политических партий... Поэтому и в русской действительности героические решения может принимать только один человек...

— Это будет Ленин?., или Троцкий?..

— Нет... ибо он не будет ни психопатом, ни мошенником, ни социалистом... На этих господах висят несбрасываемые гири... их багаж, их вериги...— социализм... они не могут отказаться от социализма... они ведь при помощи социализма перевернули старое и схватили власть. Они должны нести этот мешок на спине до конца... и он их раздавит... Тогда придет Некто, кто возьмет от них их «декретность»... Их решимость — принимать на свою ответственность, принимать невероятные решения. Их жестокость — проведение однажды решенного. «Это нужно — значит это возможно» — девиз Троцкого... Но он не возьмет от них их мешка. Он будет истинно красным по волевой силе и истинно белым по задачам, им преследуемым. Он будет большевик по энергии и националист по убеждениям. У него нижняя челюсть одинокого вепря... И «человеческие глаза». И лоб мыслителя... Комбинация трудная — я знаю... Я помню, Маклаков часто рассказывал про Ключевского, как он

говорил: «Конечно, абсолютная монархия есть самая совершенная форма правления... если бы... если бы не случайности рождения...» Да, это так... и все, что сейчас происходит, весь этот ужас, который сейчас навис над Россией,— это только страшные, трудные, ужасно мучительные...

— Что?..

— Роды...

— Роды?!

— Да, роды... Роды самодержца... Легко ли родить истинного самодержца и еще всероссийского!..

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Я уснул у трубы. У трубы тепло, неудобно немножко, но ведь там всюду — не у трубы — так холодно. Ведь сегодня 31 декабря. Ночь на палубе не так приятна в это время года... даже на Босфоре...

Мы давно уж тут стоим, на якоре, в сплошном тумане. От времени до времени мы запускаем сирену и звоним во все склянки. Туман иногда проясняется... иногда нет. Кругом нас, невидимые и потому таинственные, воют и звонят другие суда.

Я давно уж тут сижу у трубы. То засыпаю, то снова просыпаюсь для того только, чтобы убедиться, что туман стал еще непроницаемей. Через него с трудом пробираются Огни, образуя расплывчатые пятна.

* * *

В полудремоте вспоминается эта последняя неделя... мало радости она принесла мне...

* * *

Вот я еду в Галлиполи. За бортом «Soglassie» мягко слышна струя... лежу, зарывшись в прессованное сено... Мерзну, но не до отчаяния. Надо мною небо, то звездное, то туманное... когда туман и ночь становится серо-мутной, делается как-то смутно на душе — плохое предчувствие...

Еду в Галлиполи. Буду искать там сына — Лялю. Найдут ли? Неужели может быть так, что я никогда больше не увижу... не услышу, как он вдруг... Это называлось plus

quam perfectum... Неужели я видел его в последний раз тогда, 1 августа, в Севастополе, когда он уходил своей характерной, развинченной походкой, тянувшей ноги?..

Неужели конец?..

* * *

Приехал... Долго возились... Наконец на каком-то парусном баркасе пошли на берег.

Разбитый город... Грязь... Среди грязи толчется и топчется толпа рыжих английских шинелей, от одного вида которых шемит. Это наша армия...

Пробиваюсь сквозь нее. Одни бездельничают, другие таскают дрова. Сквозь толпу движется рота сингалезцев: губы — «полфунта», странные волосы, которые вьются «отвратно»... Черны соответственно.

Странно видеть их, этих черных, среди русской массы. Но чувствую ясно, кто здесь возьмет психический верх. Не устоят — черные. Огромный сингалез, на голову выше остальных, командует по-своему, со зверским выражением. Происходит смена караула. Исполняют как следует. Видно, сильно боятся этого огромного, высокого.

Русская масса смотрит на них без злобы. Раздражение, которое чувствуется, направлено против кого-то другого.

По грязи добираюсь к русскому коменданту. Охраняют юнкера. На них, как всегда, приятно взглянуть. И здесь они твердая опора, как были во всю революцию.

Удивительно, почему та же самая русская молодежь, попадая в университеты, превращала их в революционные кабаки, а воспитанная в военных училищах, дала высшие образцы дисциплины и патриотизма...

Узнаю у коменданта дорогу в лагерь через горы.

* * *

Иду по шоссе, потом по тропинке... Путь указывают люди в английских шинелях, месящие глину тропинки. Их много, они беспрерывно идут туда и обратно. Иногда несут ветки можжевельника, очевидно, вместо елочек... Ведь сегодня сочельник...

Горы, пустые, глинистые. Грязно... Серо... Скучно... Тоскливо...

Шел несколько верст, шесть или семь... Наконец,—

там, в долине... Белые домики с белыми крышами... Нет, это не домики — это такие палатки.

— Где они?..

— Вот... тут, направо, корниловцы... налево — марковцы... там дальше — дроздовцы и алексеевцы...

* * *

Вот, значит... Сейчас решится — господа, помощи...

* * *

— Нет, в списке наличных такого нет...

И готов я был к этой минуте... Давно с ним простился мысленно... И все же...

Но надежда еще теплится... надо расспрашивать, — может быть, где-нибудь в госпитале.

Но как стало тяжело... пришибло... Думалось: «А вдруг здесь... вдруг сейчас увижу...»

— В числе наличных нет...

* * *

Узнал все про сына... нашел офицера, который был его начальником.

Он рассказал мне всю сцену. Все, как было.

Могло быть и то и другое. И жизнь и смерть... Надежда есть. Если господь захотел, — он жив...

* * *

Отыскиваю генерала Е. Это еще за четыре версты в горах. Маленький домик... каменная хижина...

Есть же сердечные, славные люди...

Приняли, как родного...

* * *

Сочельник... Елочка-можжевельник. Горят свечи...

Маленькая комната. Но уютно. Железная крошечная печка. Белым полотном убраны стены. Не то землянка, не то палатка. Со мной так ласковы. Стараются смягчить, чем можно, удар.

* * *

Я провел там неделю, в Галлиполийском лагере... Меня очень спрашивали:

— Что же будет теперь?

Они старались, чем могли, скрасить свое существование. Издавали журнал рукописный на машинке, в одном или двух экземплярах. Текст сопровождался иллюстрациями карандашом и красками. Инициаторами этого дела были полковник Х. и ротмистр Ч.

Я ответил на то, что от меня хотели, статьей...

Эта статья появилась в этом своеобразном журнале, который носил название: «Развей горе в голом поле...».

* * *

Еду обратно в Константинополь. Лежу где-то в трюме на грязных канатах. По-французски — *parfait*, по-русски — «наплевать»...

Откровенно говоря, я очень доволен, что наконец один. «Самое большое лишение каторги, — говорит Достоевский, — это отсутствие одиночества». Я так устал... И вот теперь наслаждаюсь... валяюсь на канатах.

Я зашел к французскому офицеру в каюту, чтобы показать ему свой документ, дававший мне право ехать в Константинополь на этом русском судне.

Он встретил меня фразой и жестом.

— *Vous, vous restez sur le pont!**

Я протянул ему бумагу и сказал:

— *Votre autorisation pour m'embarquer... Affaires de service... ***

Он посмотрел бумагу и сказал:

— *Parfait... ****

Я повернулся и ушел, *pour rester sur le pont... *****

Но тут пришел русский матрос и сказал:

— Которые желающие отдыхать — в первый номер...

Вот это и есть «первый номер» — в трюме на канатах.

- *Parfait... По-русски — «наплевать»...*

* Вы останетесь на палубе! (*фр.*)

** Вот разрешение для посадки... По служебному делу... (*фр.*)

*** Превосходно... (*фр.*)

**** чтобы остаться на палубе... (*фр.-*)

* * *

Всю ночь наслаждался в трюме на канатах. Когда очень замерзал, вставал и ходил, потом опять ложился. Одежда, конечно, у меня нет, как и у всех нас,— и, вообще, никаких вещей. Хорошо не иметь вещей. Но когда очень холодно, хорошо бы иметь одеяло.

Зато я использовал всю роскошь одиночества. Я по-прежнему был один.

Мне спустили фонарь. На что мне фонарь?.. Крысы его не боятся. Зато хорошо думается в таком трюме ночью. Бегаешь, чтобы согреться, от времени до времени смотришь вверх в отверстие — не побледнели ли звезды к рассвету... Нет. Горят, яркие и холодные. Еще долго...

И мысли бегут... Какие? Все те же... Молишь бога, чтобы он был милостив к тем, кто еще жив, и тоскуешь по тем, кого уже нет.

* * *

Настало утро. Утро 31 декабря. Я вылез из своей норы. Холодно, сыро, туманно... Еще противнее. Теперь неприятно быть одному.

* * *

В сплошном тумане, неистово запуская сирены и звоня во все склянки, пришли куда-то, стали на якорь. Кругом нас выли и звонили другие суда. Все это не предвещало ничего хорошего.

В одном из перерывов тумана стало ясно, что мы в Босфоре. Подошел карантинный катер. Он немедленно взял всех французов и ушел. Русских — нет... Они должны ожидать «контроля».

Я не ел уже сутки. Аппетит начал ощущаться. На борту — ничего и ничего не подвозят. Холодно и голодно...

Подошел еще катер. Поговорил о чем-то с капитаном. Капитан — русский — бегло говорит по-французски, но стремится говорить совсем как француз. Это удается ему только наполовину, и потому противно.

Они кричат друг другу через борт:

— D'ou venez vous?

— De Gallipoli.

— Ou'avez vous sur bord? Bagage?

522

— Caisses demolies... Par ordre Marine Francaise...*
Он тянул «caise», чтобы выходило совсем по-французски. Но не выходило и было немножко неловко.

— Passagers?

— Vingt trois personnes... militaires...**

Он тянул «taires».

И этим все ограничилось. Катер отошел, заявив, что нужно ждать «контроля».

Затем пришел еще третий катер. Вышло два француза.

— Bagage?***

— Caisses demolies...****

Они пошли смотреть разбитые ящики, а потом вернулись на палубу, собираясь уезжать. К ним пристали. Они заявили, что нужно ждать «controle»*****.

Но все же взяли с собой генерала, потому что он генерал, и одного полковника, который имел находчивость сказать, что у него:

— Lettre urgente pour le general Vrangel.

— Et bien, alors, qu'il vienne, le colonel, mais lui

Полковник пошел за вещами.

— Mais... qu'il se debrouille, le colonel, quoi!*****

Тон был соответственный. Но ведь они — державы-победительницы...

* * *

Отошел и этот катер. Но вокруг парохода стали снова каюки, турецкие ялики. Их зовут «кардаш».

На «кардаш», опустившись по канатам, убежало тайком

* — Откуда вы едете?

— Из Галлиполи.

— Что у вас на борту? Багаж?

— Разберите ящики... По приказу французского военно-морского министерства... (фр.)

** — Пассажиры есть?

— 23 человека... военные... (фр.)

*** — Есть багаж? (фр.)

**** — Только разбитые ящики... (фр.)

***** контроля (фр.).

***** — Срочное письмо для генерала Врангеля.

— Хорошо, пусть полковник тоже пойдет, но только он один... (фр.).

***** — Но пусть полковник сам выпутывается! (фр.).

523

несколько человек. Мне было противно спускаться по веревке, потому что она в масле и угле. Оно и к лучшему. Все-таки неловко.

«Dura lex, sed lex»*.

Впрочем, в данном случае «dura» надо было бы понимать не в латинском, а в русском произношении этого слова. Кому нужно было, чтобы мы непременно встретили Новый год в такой обстановке?

* * *

Туман сгушался. Становилось все холоднее и голоднее. Надежды совсем упали. Ясно стало, что контроль не придет сегодня.

Я уселся у трубы: там теплее. Около меня сидел какой-то простой человек. Он вдруг обратился к нам, то есть ко мне и еще трем голодающим у трубы:

— Вы, господа, тоже, наверное, ничего не кушали?

— Да, как будто...

— Ну, так будем есть... Вот у меня банка, консервная... Только без хлеба...

Я не отказался и с аппетитом проглотил то микроскопическое, что он мог уделить. Все-таки стало легче и от консервов, и от того, что он поделился последним...

Стемнело. Я крепче прижался к трубе. Туман падал холодной росой...

* * *

И мысли снова бегут... Мне вспоминалось...

* * *

Долина. Вдоль речки-ручья выстроились белые домики. Я знаю, что это палатки. Но издали они кажутся домиками. Они стоят аккуратненькими кварталами и кажутся городом. Вот по ту сторону реки — корниловцы, марковцы, дроздовцы, алексеевцы... По эту — кавалерия...

Все это появилось здесь, среди совершенно пустынных гор, словно по волшебству... Этот сказочно-игрушечный город — это есть итог... Итог трехлетних страданий, борьбы,

* Закон суров, но это закон (лат.).

пламенной Веры, неугасимой Надежды, неисчерпаемой Любви...

Любви к России...

* * *

Что же это — много или мало? Рыдать ли или благословлять и благодарно молиться? Смерть ли Старого или рождение Нового — этот белый городок?..

* * *

И то и другое...

* * *

Здесь умирает наш Старый Грех... Здесь нет места ни Серым, ни Грязным... Их мало пришло сюда... Они остались где-то... А те, что еще есть,— уйдут...

Здесь умирает наш старый грех: Серость и Грязь...

* * *

Здесь рождается Новое.

Здесь рождается Белый Городок, где в белых домиках будет только настоящие белые — белоснежные...

* * *

Много ли это или мало? Что же, это «большой итог»?..

* * *

Большой...

* * *

Эта горсть в течение трех лет смогла бороться одновременно на три фронта. Красные засыпали ее снарядами... Серые своим тупым равнодушием создавали вокруг нее вязкую гущу, сковывающую движения... Грязные грязью залепливали глаза, уши, рот... И все же эта горсточка белых⁴⁷ не дала себя сломить, не дала задушить себя, не позволила себя загрязнить...

Вот они здесь...
Их мало, но они белые...
Они белые, как и прежде... Они белее прежнего.
И это — много...
Это итог не только большой, это итог величавый.

* * *

Это горсточка белых, эта новая столица на берегах
безыменной речки, этот белый город — он уже или по-
бедил, или победит...

* * *

Он уже победил в том случае, если России суждено
возродиться... через Безумие Красных...

* * *

Скажут, что это вздор.
Нет, это не вздор — это так...

* * *

Вы никогда не замечали, что сыпной тиф и Белая Мысль
свободно и невозбранно переходят через фронт.

* * *

Странно, как вы этого не заметили. Вы говорите: «Сып-
ной тиф — да, но наши идеи — ничего подобного».

А я вам говорю, что наши идеи перескочили к красным
раньше, чем их эпидемия к нам. Разве вы не помните, ка-
кова была Красная Армия, когда три года тому назад ген,
Алексеев положил начало нашей? Комитеты, митинги, со-
знательная дисциплина — всякий вздор. А теперь, когда мы
уходили из Крыма? Вы хорошо знаете, что теперь это была
армия, построенная так же, как армии всего мира... как
наша...

Кто же их научил? Мы научили их,— Мы, Белые. Мы
били их до тех пор, пока выбили всю военно-революцион-
ную дурь из их голов. Наши идеи, перебежав через фронт,
покорили их сознание.

Белая Мысль победила и, победив, создала Красную
Армию...

Невероятно, но факт...

* * *

Но отчего, скажут, мы все-таки в Галлиполи, а не в
Москве?

Почему мы не воспользовались тем временем, когда
Красные в военном отношении еще не мыслили «по-белому»
и потому были бессильны?

Потому что нас одолели Серые и Грязные... Первые —
прятались и бездельничали, вторые — крали, грабили
и убивали не во имя тяжкого долга, а собственно ради са-
дистского, извращенного грязно-кровавого удовольствия...

* * *

Но ведь Красная Армия под своим красным знаменем
работает ради «Интернационала», т. е. работает для рас-
пространения по всему миру Красного Безумия?

* * *

Это или так или не так...

* * *

Допустим первое. Допустим, что это так. В таком слу-
чае, мы еще с ними скрестим оружие. Белая Армия (наша
русская) в союзе с другими белыми армиями будет вести
бой, чтобы сломить, чтобы уничтожить Красное Безумие...

* * *

Допустим и второе... Допустим, что это не так... До-
пустим, что им, Красным, только кажется, что они сра-
жаются во славу «Интернационала»... На самом же деле,
хотя и бессознательно, они льют кровь только для
того, чтобы восстановить «Богохранимую Державу Россий-
скую»... Они своими красными армиями (сделанными
«по-белому») движутся во все стороны только до тех пор,
пока не дойдут до твердых пределов, где начинается креп-
кое сопротивление других государственных организмов...

Это и будут естественные границы Будущей России...
Интернационал «смоется», а границы останутся...

* * *

Если так, то что это такое?..

* * *

Это то же самое... Если это так, то это значит, что
Белая Мысль, прокравшись через фронт, покорила их под-
сознание... Мы заставили их красными руками делать Белое
дело...

Мы победили...

Белая Мысль победила...

* * *

Но, боже мой. Ведь они уничтожили, разорили стра-
ну... Люди гибнут миллионами, потому что они продолжают
свои проклятые, бесовские опыты социалистические, Сата-
нинскую Вивисекцию над несчастным русским телом...

Это что же значит?

* * *

Это значит, что на этом направлении Белая Мысль еще
не победила.

Еще не пришло время... И люди гибнут, и Всеобщая,
Явная, Равная, Прямая Нищета носится над Свято-Греш-
ной Русской землей, заматывая свой след проклятиями и
слезами.

Чтобы сократить страдания своих братьев, Белая Армия
три года без счета лила свою кровь. Она думала, она на-
деялась, что Белое Оружие работает скорее и вернее, чем
Белая Мысль.

И если будет на то господня воля, мы еще раз бросимся
в бой...

На помощь погибающим...

* * *

Во всяком случае, Белый Городок — новая русская сто-
лица над безымянной речкой среди пустынных гор — может
встретить Новый год с ясной душой...

Если Белые еще не победили, их рано или поздно пове-
дут в бой...

А если их не поведут, то, значит, они уже победили...

Значит, в стане Красных уже настолько окрепла Белая
Мысль, что восстановление России придет через Красное
Бесмыслие...

* * #

Белая Мысль победит во всяком случае...

* * *

Так было — так будет...

* * *

Я заснул... Мне приснился благовест... от этого я про-
снулся.

Что это такое?

* * *

Ах, это сирены... Туман еще сгустился... Чуть-чуть
только пробиваются ближайšie огни, и то бледными пят-
нами... Поэтому сирены и звучат на всех судах Босфора.

* * *

Звучат не отдельными погудками, а непрерывными
упрямыми алармистскими набатными голосами, звучит одна
перед другой, как будто состязаясь на долготу и призыв-
ность, звучат каждая своим голосом, но все вместе, вы-
певая одно слово, слово, которое делается страшным, и это
слово:

— Туман... туман... туман...

* * *

Звучат протяжные, глубоко-ревуче-певучие, как будто
бы какие-то исполинские существа голосят со страху...

— Туман... туман... туман...

* * *

Звучат разные,— то двойными голосами в стройном созвучии, то в случайно сцепившихся странных соединениях, то в нестерпимо неверных сопряжениях, от которых рождаются тяжело-мучительные перебойные биения... И слышится в них иногда благовест, чаще — набат, но более всего страшное, тоскливо-ужасное, долго — внезапно-отчаянное: — Туман... туман... туман...

* * *

Вдруг выстрел... Один, другой, третий... Что это?.. Здесь, там, справа, слева, со всех сторон. Что это?.. Все затихло... Вот опять разгорелось... охватывает кругом... Что это?.. Треск винтовок становится сплошным и заглушает долгий стон сирен.

Что это?

* * *

Это мы, русские, замороженные сплошным туманом, среди набатного рева в смертельном страхе тоскующих чудовищ, в тяжких мучительных судорогах перебойно бьющих биений,— празднуем свой русский Новый год...

* * *

Празднуем... Ну и слава богу... если есть силы праздновать...

* * *

Привет тебе, тысяча девятьсот двадцать первый...



КОММЕНТАРИЙ

«ДНИ»

¹ Газета «Киевлянин» являлась печатным органом русских националистов на Украине. Издавалась в Киеве с 1864 г. до начала 1918 г., до оккупации Украины германскими войсками. Была основана отцом В. В. Шульгина — В. Я. Шульгиным — профессором истории Киевского университета.

² **Пихно** Дмитрий Иванович (род. в 1853 г.) — профессор экономики Киевского университета, являлся отчимом В. В. Шульгина, с 1879 г. был редактором «Киевлянина», придерживался крайне правых взглядов.

³ Речь идет о Манифесте 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка», который был подписан царем Николаем II в момент наивысшего подъема Всероссийской Октябрьской политической стачки. Манифест провозглашал гражданские свободы и создание законодательной думы.

⁴ **Вигте** Сергей Юльевич (1849—1915) —русский государственный деятель, граф. Будучи председателем Комитета министров в 1903—1904 гг., разработал основные положения будущей столыпинской реформы, в 1905 г. заключил Портсмутский мир с Японией. Автор Манифеста 17 октября 1905 г., первый премьер-министр первого, после Манифеста, Совета Министров (1905—1906).

⁵ Речь идет об октябрьском погроме в Киеве. Погромы, как в Киеве, так и в других городах, являлись проявлением классово-политической борьбы, формой наступления дворянско-помещичьей контрреволюции против революционного движения в стране. Отсюда — тесный союз между погромщиками и правительственным аппаратом и аппаратом власти на местах. Активное участие в погромах приняли представители городской мелкой буржуазии: торговцы, лавочники и т. д.

⁶ «Желтым блоком» представители крайне правой реакции называли Прогрессивный блок, который возник во время первой мировой войны в Государственной думе (15 августа 1915 г.) как единый фронт всей российской буржуазии за доведение войны до победного конца и предотвращения революции в стране. Требовал включения своих представителей в правительство и проведения либеральных реформ.

⁷ Существовало два брата Маклаковых: первый — Василий Алексеевич (1869—1957), адвокат, один из лидеров партии кадетов, член ее ЦК, член Государственной думы; в 1917 г. — посол Временного правительства во Франции, после Октябрьской революции остался в Париже и занимался организацией империалистической интервенции против Советской России, находясь в эмиграции, вел активную антисоветскую деятельность. Второй — Николай Алексеевич (1871—1918), министр внутренних дел царского правительства в 1912—1915 гг., монархист, в 1918 г. был расстрелян за активную контрреволюционную деятельность по приговору советского суда. В тексте Шульгин речь ведет о первом Маклакове.

⁸ «Думой народного гнева» называла кадетская публицистика и пресса II Государственную думу за активную деятельность в ней членов думской социал-демократической фракции. II Государственная дума просуществовала с 20 февраля по 2 июня 1907 г., когда она была разогнана. 3 июня социал-демократическая фракция была арестована и сослана.

⁹ Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911) — государственный деятель царской России, с 1906 г. министр внутренних дел и председатель Совета Министров. Активно проводил в жизнь мероприятия, направленные на удушение революции.

¹⁰ Основные реформы Столыпина были определены законом о Думе (3 июня 1907 г.) и законами о земле (9 ноября 1906 г. и 14 июля 1910 г.). Новый закон о выборах в III Государственную думу отменял старый избирательный закон, определяемый Манифестом 17 октября, значительно сокращал представителей рабочих и крестьян и обеспечивал черносотенно-октябристско-кадетское большинство в составе Думы. Издание этого закона и арест социал-демократической фракции получили в истории название «Третьеиюньского государственного переворота», положившего начало годам «стольпинской реакции», а система политической власти царской России, сохранявшаяся вплоть до февраля 1917 г., стала называться «третьеиюньской монархией». Принятые же законы о земле, получившие название «стольпинской аграрной политики», предполагали разрушение общины и формирование крепкого крестьянина.

¹¹ Под «самоотверженным подвигом Столыпина» Шульгин имеет в виду политику проведения «правовой политики левыми руками», а также то, что даже такое маленькое отклонение, хотя оно и было направлено против революции и на сохранение самодержавия, правая реакция ему не простила и расправилась с премьер-министром. 1 сентября 1911 г. Столыпин в Киеве был смертельно ранен провокатором охраны Богровым и 5 сентября скончался.

¹² Эдисон Томас (1847—1931) — американский изобретатель и предприниматель, автор более 1000 изобретений, прежде всего в области электротехники. Предлагая Коковцеву Стать «социальным эдиссоном», Шульгин считал, что достаточно иметь во главе правительства человека

большого государственного ума и все проблемы общественного развития России будут решены.

¹³ Коковцев Владимир Николаевич (1853—1943), граф, крупный банковский деятель, министр финансов России в 1904—октябре 1905 и 1906—январь 1914 гг., председатель Совета Министров с 9 сентября 1911 г. Коковцев являлся сторонником проведения политики С. Ю. Витте и П. А. Столыпина. В эмиграции занимал активную антисоветскую позицию.

¹⁴ Речь идет о Круппе Фридрихе-Альфреде (1854—1902), пушечном короле, друге германского императора Вильгельма. На заводах Круппа в начале XX в. работало более 68 тыс. рабочих, он владел и каменноугольными копиями и 414 железными рудниками. Изготавливал пушки почти для всего мира. Находился в тесной связи с германским военным министерством.

¹⁵ Под немецкими профессорами Шульгин подразумевает немецких идеологов, обосновывавших необходимость войны Германии с Россией.

¹⁶ Речь идет о совместном заседании Государственной думы и Государственного совета 26 июля 1914 г. в Зимнем дворце, на котором выступал Николай II. В этот же день в Таврическом дворце состоялось заседание Государственной думы, где был оглашен Манифест о войне. После принятия решения о полном доверии правительству Дума была распущена.

¹⁷ Говоря о грозном отступлении 1915 г., Шульгин имеет в виду отступление русской армии на юге, когда она, достигнув вершин Карпат, по халатности снабженцев осталась без боеприпасов и была вынуждена отступить с огромными потерями.

¹⁸ Милоков Павел Николаевич (1859—1943) — приват-доцент русской истории Московского университета, один из организаторов партии кадетов, член ее ЦК, с 1907 г. — председатель партии, редактор ее центрального печатного органа — газеты «Речь»; депутат III и IV Государственных дум; в годы первой мировой войны — сторонник империалистической политики царизма, выступал за захват на юге Босфора и Дарданелл, в связи с чем получил прозвище «Милоков-Дарданеллский». В дни Февральской революции боролся за сохранение конституционной монархии и передачу престола вел. кн. Михаилу Александровичу Романову, затем — министр иностранных дел в первом составе Временного правительства до 2 мая 1917 г., когда в результате апрельского кризиса, вызванного его нотой державам Антанты о готовности России доведения «войны до победного конца», был вынужден уйти в отставку. Являлся одним из вдохновителей и организаторов корниловского мятежа в августе 1917 г., а затем — гражданской войны и иностранной военной интервенции: входил в «Донской гражданский совет» во время формирования белогвардейской добровольческой армии на Дону зимой-весной 1918 г., был одним из организаторов подпольного «Национального

центра» и товарищем его председателя. С 1920 г.— в эмиграции, где продолжал активную антисоветскую деятельность: возглавил парижскую группу кадетов, редактировал одну из самых крупных эмигрантских газет «Последние новости»; создавая вместе с эсерами и меньшевиками различного рода организации («Исполнительная комиссия членов Учредительного собрания», «Республиканско-демократическое объединение» и другие), пытался приспособиться к изменившимся условиям и соответственно им выработать «новую тактику» борьбы против Советской России.

¹⁹ Горемыкин Иван Логинович (1839—1917) —русский государственный деятель. В 1860 г.— комиссар по крестьянским делам в Польше, в 1861 г.— полоцкий вице-губернатор, в 1895 г.— товарищ министра юстиции, с 1895 по 1899 г.— министр внутренних дел, в апреле — июне 1906 г. (между Витте и Столыпиным) председатель Совета Министров; в 1914 г. по рекомендации Г. Е. Распутина и императрицы Александры Федоровны вновь был назначен на этот пост, который занимал до середины 1916 г., выступая ярким противником IV Государственной думы и буржуазно-Прогрессивного блока.

²⁰ Имеется в виду граф Алексей Константинович Толстой (1817—1875) — выдающийся русский поэт и драматург. Толстой имел придворное звание егермейстера и служил во II отделении собственной его Императорского величества канцелярии.

²¹ В составе IV Государственной думы были представители различных партий, составлявшие следующие фракции: правые (монархисты) — 65, националисты-прогрессисты — 88, группа центра — 32, октябристы — 98, прогрессисты — 48, кадеты — 59, трудовики — 9, социал-демократы — 15, польско-белорусская группа — 15, мусульманская группа — 6 и беспартийные — 7. Шесть из них, которые называет Шульгин, составили Прогрессивный блок:

1. Националисты-прогрессисты — монархическая партия депутатов III и IV Государственных дум, выражавшая интересы помещиков и высшего чиновничества, одним из лидеров которой являлся В. В. Шульгин. Часть партии, понимавшая необходимость союза с буржуазией и проведения реформ — «националисты-прогрессисты», вошла в Прогрессивный блок.

2, 3. Октябристы — члены «Союза 17 октября», партии крупных помещиков и верхушки торгово-промышленной буржуазии. Название получила от Манифеста 17 октября 1905 г., который стал ее идейным знаменем. Выступала за сильную монархическую власть и проведение великодержавной шовинистической политики. Партия неформально делилась на правых и левых: первые, октябристы-земцы, больше тяготели к монархической группе, вторые — к буржуазным партиям. Просуществовала до 1917 г.

4. Прогрессисты — члены Прогрессивной партии, партии крупных

капиталистов и обуржуазившихся помещиков. Партия занимала промежуточное положение между октябристами и кадетами. Образовалась в качестве группы депутатов III Государственной думы в 1907 г. и оформилась как партия в 1912 г. В годы первой мировой войны выступали за создание военно-промышленных комитетов, за необходимость некоторых уступок рабочим для предотвращения революции в стране. Явились инициаторами создания «Прогрессивного блока». После Февральской революции партия распалась, часть ее влилась в партию кадетов.

5. Кадеты — члены Конституционно-демократической партии или, как она еще называлась, партии «народной свободы» — ведущей либерально-монархической партии российской буржуазии.

Образовалась в октябре 1905 г. и состояла преимущественно из представителей буржуазной интеллигенции и либеральных помещиков. Стояла за конституционную и парламентарную монархию, но в марте 1917 г., учитывая февральские события, выдвинула требования установления республиканского строя. К этому времени ее численность достигала 50 тыс. человек. Главной целью кадеты считали подавление революционного рабочего движения и обеспечение единовластия Временного правительства. Имея политический опыт, опираясь на поддержку русской и иностранной реакции, партия кадетов превратилась, как отмечал В. И. Ленин, в «главную политическую силу буржуазной контрреволюции в России» (ПСС, т. 34, с. 83). С начала Октябрьской революции кадеты стали на путь саботажа, организации контрреволюционных мятежей и развязывания гражданской войны. В связи с этим Советское правительство в декрете и воззвании от 28 ноября 1917 г. объявило партию кадетов партией врагов народа. Члены руководящих органов партии подлежали аресту и преданию суду революционных трибуналов. Уйдя в подполье, кадеты продолжали активную борьбу против Советской власти: участвовали в организации иностранной военной интервенции, играли ведущую роль в различных контрреволюционных организациях («Правый центр», «Национальный центр», «Союз возрождения России» и других), составляли руководящее ядро белогвардейских правительств у Колчака, Деникина и Врангеля. После окончания гражданской войны большая часть руководства кадетов эмигрировала и продолжала антисоветскую деятельность за границей.

6. Центр — группа депутатов, представителей крупных помещиков и капиталистов, занимавшая промежуточную позицию между националистами справа и октябристами слева.

²² «Великой хартией блока» Шульгин называет декларацию (программу) Прогрессивного блока.

²³ Речь идет о генерале Поливанове Алексее Андреевиче (1855—1920), который почти год, с 13 июня 1915 г. до 13 марта 1916 г., был военным министром. В 1920 г. служил в Красной Армии, был членом особого совещания, которое было создано 9 мая 1920 г. при Главкоме. Будучи

в Риге, в составе советской делегации на мирных переговорах с Польшей, умер от тифа. Председателем Государственного совета в это время был Голубев.

²⁴ **Родзянко** Михаил Владимирович (1859—1924) — крупный помещик, владел 1625 десятинами земли, один из лидеров партии октябристов. Окончил пажеский корпус, служил в кавалергардском его величества полку (1878—1882), затем — Новомосковский уездный предводитель дворянства (1886—1896), председатель Екатеринославской губернской земской управы (1900—1906), камергер двора его величества. В 1906 г. избран в Государственный совет, председатель III и IV Государственных дум, активный проводник реакционного курса правительства. Накануне и в дни Февральской революции возглавлял Временный комитет Государственной думы, уговаривал царя ввести конституцию, чтобы сохранить монархию. Летом 1917 г. один из организаторов контрреволюционного корниловского мятежа. После Октябрьской революции бежал на юг, к генералу Л. Г. Корнилову, в 1920 г. эмигрировал.

²⁵ **Тимашев** С. И. (1858—1920) — член Государственного совета, министр торговли и промышленности.

²⁶ **Стишинский** А. С. (р. в 1857 г.) — член Государственного совета.

²⁷ **Стахович** Михаил Александрович — крупный помещик, владел 2600 десятинами земли, предводитель дворянства Орловской губернии, член ЦК партии октябристов (вышел в июле 1906 г.), член Государственного совета. После революции эмигрировал, продолжал политическую деятельность: был членом «Русского национального Комитета».

²⁸ **Шебеко** Николай Николаевич — член Государственного совета, после Октябрьской революции — активный участник гражданской войны на юге России. В эмиграции — член «Русского национального Комитета».

²⁹ **Гурко** Владимир Иосифович — товарищ министра внутренних дел в министерстве Столыпина, член Государственного совета, придерживался правых взглядов. Участник гражданской войны в России, один из руководителей «Правого центра». Эмигрировал, продолжал антисоветскую деятельность, являлся членом Парламентского комитета, претендовавшего на роль «всеэмигрантского правительства».

³⁰ **Граф Толь** — член Государственного совета.

³¹ **Иванов** — член Государственного совета.

³² **Дмитриков** Иван Иванович (1872—1917) — октябрист, член III и IV Государственных дум.

³³ **Марков 2-й** — Марков Николай Евгеньевич (1866 — в к. 1920-х гг.) — крупный землевладелец Шигровского уезда, один из лидеров монархических организаций «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела», представитель крайне правых в III и IV Государственных думах, сторонник твердой монархической власти. Эмигрировал и продолжал активную политическую деятельность: был одним из орга-

низаторов проведения съезда монархистов в Рейхенгалле (Германия) в 1921 г., руководитель Высшего монархического совета (до конца 1922 г.) за границей, затем лидер русских монархистов в Берлине.

³⁴ **Шингарев** Андрей Иванович (1869—1918) — земский деятель, врач по образованию, публицист, член «Союза освобождения», один из лидеров кадетов, депутат II, III и IV Государственных дум. После февральской революции — министр первого состава Временного правительства. Убит анархистами.

³⁵ **Чихачев** Дмитрий Николаевич (1876—?) — помещик, камер-юнкер двора, член III и IV Государственных дум, член фракции националистов.

³⁶ В Государственной думе было несколько Львовых:

Львов Георгий Евгеньевич (1861—1925) — князь, крупный тульский помещик, юрист по образованию. Депутат I Государственной думы, во время первой мировой войны — председатель Земского союза и один из руководителей объединенного комитета Союзов земств и городов (Земгора), примыкал к кадетам. После Февральской революции — глава двух первых составов Временного правительства (со 2 марта по 2 июля 1917 г.), сторонник решительных мер с революционным движением. После Октябрьской революции эмигрировал и возглавлял «Русское политическое совещание» в Париже, выполнявшее координирующие функции между державами Антанты и США, с одной стороны, и белогвардейскими правительствами в России — с другой.

Львов Николай Николаевич (1867—1944) — крупный помещик, владел 28 624 десятинами земли, председатель губернской земской управы. В 1905 г. — член ЦК партии кадетов, вышел из которого в связи с несогласием по земельной программе, один из основателей «Союза освобождения» и партии прогрессистов, депутат I, III и IV Государственных дум, товарищ председателя последней думы. В эмиграции являлся одним из руководителей «Русского Комитета объединенных организаций».

Речь, по всей видимости, идет о втором.

³⁷ **Крупенский** Павел Николаевич (1871—?) — отставной полковник лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, помещик, Хобимский предводитель дворянства, член II, III и IV Государственных дум, придерживался правомонархических взглядов. В эмиграции — один из руководителей монархического съезда в Рейхенгалле в 1921 г.

³⁸ **Маниковский** Алексей Алексеевич (1865—1920) — генерал, в 1915—1917 гг. — начальник Главного артиллерийского управления, с сентября 1917 г. — заместитель военного министра. С 1918 г. служил в Красной Армии, как и многие другие генералы и офицеры царской армии, ставшие с начала революции на путь служения своему народу и защиты его интересов. С начала создания Красной Армии и до лета 1918 г. в нее добровольно вступили и были назначены на высокие военные посты генералы старой армии М. Д. Бонч-Бруевич, Н. Н. Петин, Д. П. Парский, А. А. Самойло, А. П. Николаев, А. В. Станкевич, П. П. Сыгин, П. П. Ле-

бедев, В. М. Гиттис, крупные военно-морские специалисты В. М. Альтфабер, Е. А. Беренс, М. В. Иванов, А. В. Немитц и многие другие. Некоторые из них погибли на фронтах гражданской войны и в Белогвардейских застенках. В этот добровольческий период строительства Красной Армии, с января по май 1918 г., в ее ряды вступило по далеко не полным данным около 8 тыс. бывших генералов и офицеров. За два последующих года, с 12 июня 1918 г. по 15 августа 1920 г., к службе в Красной Армии было привлечено около 48,5 тыс. бывших офицеров. Из них около 30 тыс. сражалось в действующих армиях. Всей стране стали известны имена таких прославленных военачальников, как И. И. Вацетис, С. С. Каменев, М. Н. Тухачевский, И. П. Уборевич, Д. М. Карбышев, А. И. Егоров.

³⁹ Особые совещания являлись формой участия буржуазии в организации и ведении войны: распределение военных заказов и регулирование экономики в целях и интересах буржуазии.

⁴⁰ Число мобилизованных в русскую армию в 1914—1917 гг. можно считать не менее 15 млн. человек, из них было убито и ранено или пропало без вести 6,8 млн.

⁴¹ **Штюрмер** Борис Владимирович (1848—1917)— крупный помещик Ярославской губернии. Директор департамента общих дел Министерства внутренних дел, затем в 1916 г.— министр, с 26 июня того же года — министр иностранных дел. По рекомендации Г. Распутина и императрицы Александры Федоровны назначен председателем Совета Министров. После разоблачения в Думе германофильской политики вынужденно был снят Николаем II с этого поста.

⁴² «Новое время» — ежедневная газета, выходившая до революции в Петрограде. Основана в 1865 г., с 1876 г. перешла в руки журналиста и издателя Суворина Алексея Сергеевича (1834—1912). Газета занималась апологией правящих дворянско-помещичьих групп, высказывалась в резко выраженном националистически-консервативном духе.

⁴³ Мясоедов — бывший жандармский офицер, начальник Вержболовского жандармского управления, подозревался в шпионаже в пользу Германии. Несмотря на это, был принят на службу генералом Сухомлиновым Владимиром Александровичем (1848—1926), бывшим в 1909—1915 гг. военным министром, изобличен как шпион и повешен в 1915 г. Сухомлинов в этом же году был отстранен, в 1916 г. арестован за неподготовленность русской армии к войне и приговорен в 1917 г. к пожизненному заключению. После Октябрьской революции освобожден в 1918 г. по старости, эмигрировал, принимал участие в политической деятельности монархических кругов, в частности участвовал в работе монархического съезда в Рейхенгалле в 1921 г.

⁴⁴ Шидловский Сергей Илиодор (1861—?)— помещик, октябрист, член III и IV Государственных дум, товарищ председателя Государственной думы. После революции эмигрировал.

⁴⁵ **Капнист** 2-й — октябрист, член IV Государственной думы.

⁴⁶ Скоропадский было, по крайней мере, два. Первый — Павел Петрович (1873—1945)—генерал-лейтенант, один из организаторов контрреволюции на Украине, придерживался прогерманской ориентации, был связан с кайзером Вильгельмом, во время германской оккупации являлся гетманом Украины. В 1918 г. эмигрировал, жил в Берлине, был связан с фашистами. Второй — Георгий Васильевич, октябрист, член III Государственной думы. Шульгин упоминает последнего.

Львов 2-й, Владимир Николаевич (1872—?)—землевладелец, октябрист, член III и IV Государственных дум. Окончил университет и слушал курсы Московской духовной академии. Был обер-прокурором святейшего синода, членом Временного правительства, после Октябрьской революции эмигрировал.

⁴⁸ **Половцев 2-й**, Лев Викторович (р. в 1867 г.) — дворянин, имел чин коллежского секретаря, являлся чиновником для особых поручений Департамента общих дел Министерства внутренних дел, затем — директором Санкт-Петербургского телеграфного агентства, октябрист, член III и IV Государственных дум. После Октябрьской революции принимал активное участие в контрреволюционном движении, находился в Добровольческой армии, затем эмигрировал.

⁴⁹ **Плеве** Вячеслав Константинович (1846—1904) — директор департамента полиции с 1881 г., в 1902—1904 гг. — министр внутренних дел, шеф специального корпуса жандармов. Убит членом эсеровского боевого отряда Е. С. Сазоновым.

⁵⁰ Известно, что правительство во время войны предпринимало несколько попыток завязать переговоры с Германией.

⁵¹ **Шуваев** Дмитрий Савельевич (1854—1937) — генерал, в 1909—1915 гг. начальник Главного интендантского управления, в 1916 г. назначен военным министром. С 1918 г. служил в Красной Армии.

⁵² **Распутин** Григорий Ефимович (1872—1916) — крестьянин Тобольской губернии, где руководил сектой «хлыстов». Через тобольского епископа Варнаву проник в придворные круги и в качестве «провидца» и «исцелителя» приобрел неограниченное влияние на царское окружение. Эксплуатируя мистические настроения императрицы Александры Федоровны и через нее влияя на Николая II, вмешивался в решение государственных дел. «Распутинщина» явилась ярким выражением крайнего кризиса придворной камарильи и всей правящей верхушки царской России. В декабре 1916 г. убит в результате заговора великого князя Дмитрия Павловича Романова, В. М. Пуришкевича и князя Ф. Ф. Юсупова.

⁵³ Меньшиков Михаил Осипович — публицист, сотрудник «Нового времени», человек консервативных взглядов, к революции относился резко отрицательно.

⁵⁴ **Замысловский** Георгий Георгиевич — товарищ прокурора волостной судебной палаты, член III Государственной думы.

⁵⁵ **Чаплинский** — член Государственной думы.

⁵⁶ Дело Бейлиса — судебный процесс в Киеве в 1913 г. над евреем Мойшой Бейлисом по ложному обвинению в ритуальном убийстве русского мальчика Андрея Юшинского. Дело было возбуждено царским правительством, и министр юстиции Щегловитов пытался направлять его по «нужному пути». Процесс вызвал протест передовой общественности в России и за границей, суд присяжных оправдал обвиняемого. В действительности убийство было совершено ворами из-за боязни доноса.

⁵⁷ **Вербицкая** Анисья Николаевна — писательница (к. XIX — н. XX в.), автор романов о судьбах женщин, стремящихся к романтическим приключениям. Самые популярные произведения: «Ключи счастья» и «Вавочка».

⁵⁸ **Пуришкевич** Владимир Митрофанович (1870—1920) — крупный помещик, до февраля 1907 г. чиновник. Один из руководителей монархической организации «Союз Михаила Архангела». Лидер крайне правых во II, III и IV Государственных думах. Организатор и участник убийства Г. Распутина. После Октябрьской революции — создатель контрреволюционных организаций.

⁵⁹ **Керенский** Александр Федорович (1881—1970) — адвокат, лидер фракции трудовиков в IV Государственной думе (часть социал-демократической фракции). С марта 1917 г. вступил в партию эсеров, занимал министерские посты во Временном правительстве, с 8 июля 1917 г. — его министр — председатель, а с 30 августа еще и верховный главнокомандующий. В дни Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде организовал мятеж генерала П. Н. Краснова, после ликвидации которого бежал. В эмиграции занимался антисоветской деятельностью, издавал собственную газету.

⁶⁰ **Ефремов** Иван Николаевич (1866—?) — помещик, член Государственной думы, прогрессист.

⁶¹ **Некрасов** Николай Виссарионович (1879—1940) — профессор Томского технологического института, кадет, член III и IV Государственных дум, один из руководителей Земгора. После Февральской революции — министр Временного правительства. После Октябрьской революции как буржуазный специалист работал в советских организациях, с 1921 г. — в Центросоюзе.

⁶² **Гучков** Александр Иванович (1862—1936) — крупный московский домовладелец и промышленник. Был добровольцем в Бурскую войну, работал в Красном Кресте во время войны с Японией. Основатель и лидер партии октябристов. Во время первой мировой войны председатель Центрального военно-промышленного комитета, член особого совещания по обороне, участник «Прогрессивного блока». После Фев-

ральской революции — военный и морской министр первого состава Временного правительства. Один из организаторов корниловского заговора. С 1918 г. — в эмиграции: член Парламентского Комитета, который пытался играть роль всеэмигрантского правительства в начале 20-х годов.

⁶³ **Щекин** Дмитрий — член Совета общественных деятелей, товарищ министра внутренних дел Временного правительства.

⁶⁴ Данные о заговоре имеются в воспоминаниях и других очевидцев (А. И. Деникина, П. Н. Милюкова). Было две организации, готовившие дворцовый переворот с целью установления регентства в лице великого князя Михаила Александровича. В первую входили в основном представители высшего эшелона власти и военные; во вторую — представители крупной буржуазии, часть из которых впоследствии вошла в первый состав Временного правительства.

⁶⁵ Здесь «земщина» — в смысле представителей местного дворянства, местных общественных деятелей. В середине XVI в. Иван IV (Грозный) назвал «земщиной» области, управляемые боярской думой, в противовес «опричнине» — областям, управляемым им самим лично.

⁶⁶ Жирондисты — мелкобуржуазная партия времен Великой Французской революции.

⁶⁷ Земский и городской союзы (Земгор) — организации помещиков и буржуазии, ставившие своей целью поддержку армии во время первой мировой войны и бравшие на себя решение хозяйственных задач. В январе 1919 г. упразднен Советским правительством.

⁶⁸ **Голицын** Николай Дмитриевич (1850—1925) — князь, последний председатель Совета Министров царской России, с 27 декабря 1916 г. до 27 февраля 1917 г.

⁶⁹ «Письмо» П. Н. Милюкова было вызвано призывами оборонческих групп (прежде всего — меньшевиков-оборонцев) к демонстрациям в день возобновления работы Государственной думы. Рабочие Петрограда не откликнулись на эти призывы, зато они вызвали большой переполох в рядах либеральной оппозиции, и она устами Милюкова обратилась к рабочим с призывом не поддерживать оборонцев. «Письмо» было опубликовано 10 февраля 1917 г. в газете «Речь».

Правительство же, со своей стороны, в ответ на агитацию оборонцев к демонстрациям ответило угрозами. Так, командующий войсками Петроградского военного округа генерал-лейтенант Хабалов С. С. издал приказ, в котором говорилось: «Рабочие Петрограда. На некоторых заводах столицы рабочие призываются к забастовке в день открытия Государственной думы с тем, чтобы скопом пойти к Таврическому дворцу для предъявления политических требований... Тот, кто бастует теперь, изменяет своему отечеству, предаёт своих братьев, находящихся в окопах... Тем же, кто останется глух к моему обращению, я напоминаю, что Петроград находится на военном положении и что всякая попытка на-

силы и сопротивления законной власти будет немедленно прекращена силой оружия».

⁷⁰ **Сokolov** Николай Дмитриевич — социал-демократ, меньшевик-оборонец. Адвокат по политическим делам. Активный участник Февральской революции, один из авторов Приказа № 1 Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, председатель комиссии совета по его разработке.

⁷¹ **Савенко** А. И.— сотрудник «Киевлянина», депутат IV Государственной думы (от Киева), лидер фракции националистов.

⁷² **Струве** Петр Бернгардович (1870—1944) — философ, экономист, историк, публицист, приват-доцент. Теоретик «легального марксизма». Автор манифеста I съезда РСДРП в 1898 г., участник Лондонского конгресса II Интернационала. В 1900 г. перешел на либеральные позиции и редактировал заграничный печатный орган либералов «Освобождение». Член ЦК партии кадетов, один из авторов сборника «Вехи». В годы гражданской войны входил в состав белогвардейских правительств при генералах А. И. Деникине и П. Н. Врангеле. В эмиграции продолжал политическую деятельность: редактировал в Софии журнал «Русская мысль», входил в различные антисоветские организации.

⁷³ **Скобелев** Матвей Иванович (1885—1938) — один из лидеров меньшевиков, депутат IV Государственной думы. Во время первой мировой войны — оборонец. Активный участник Февральской революции: заместитель председателя Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, заместитель председателя ВЦИК I созыва. 6 мая 1917 г. вошел в состав Временного правительства, став министром труда. Во время заговора Корнилова в августе 1917 г. вышел из правительства. После Октябрьской революции отошел от меньшевизма, находился на советской работе, в 1922 г. вступил в члены РКП (б).

⁷⁴ На основании статьи 99 основных государственных законов Николай II распустил Государственную думу и Государственный совет с 26 февраля 1917 г. и назначил срок возобновления их работы в апреле 1917 г., «в зависимости от чрезвычайных обстоятельств». Указ вышел за подписью председателя Совета Министров князя Н. Голицына.

⁷⁵ **Алексеев** Михаил Мартынович (1847—1917). Член III Государственной думы, октябрист. В 1867 г. окончил юридический факультет Харьковского университета. В 1870—1890 гг. там же читал лекции по финансовому праву, занимал должность ректора.

⁷⁶ **Ржевский** В. А.— член IV Государственной думы, прогрессист.

⁷⁷ **Шаховский** Дмитрий Иванович (1861—1939) — князь, владелец 367 десятин земли, земский деятель, публицист, член ЦК партии кадетов, депутат I Государственной думы. В 1917 г.— министр Временного правительства. После Октябрьской революции — один из руководителей контрреволюционного «Союза возрождения России», затем отошел от

политики, с 1920 г. работал в кооперации, занимался литературной деятельностью.

⁷⁸ Шульгин упоминает три совещания Думы. Речь идет о заседании Бюро Прогрессивного блока, созданного Шидловским, заседании старейшин и частном совещании членов Государственной думы. На последнем заседании рассматривались разные мнения по вопросам о власти, прежде всего предложения: Некрасова, считавшего, что надлежит установить военную диктатуру во главе с генералом Маниковским, и Коваленко, предложившего передать власть совету старейшин. Выступая на этом совещании, Шульгин указал, что «мы не можем быть солидарны во всем с восставшей частью населения. Представьте, что восставшие пожелают окончить войну. Мы на это согласиться не можем. Мы можем принять одно из двух более подходящих предложений Некрасова или Коваленко». Было принято решение — «не разъезжаться и поручить избрание временного комитета совету старейшин».

⁷⁹ Кроме перечисленных у Шульгина, в думский комитет еще входили: И. И. Дмитрюков (прогрессист), М. А. Караулов (беспартийный), А. И. Коновалов (кадет).

Коновалов Александр Иванович (1875—1948) — крупный текстильный фабрикант, лидер партии прогрессистов и Прогрессивного блока в IV Государственной думе. В 1915—1917 гг. — заместитель председателя Центрального военно-промышленного комитета. После Февральской революции — министр торговли и промышленности Временного правительства, был заместителем А. Ф. Керенского. В ночь на 26 октября 1917 г. был арестован вместе с другими членами Временного правительства в Зимнем дворце. После освобождения эмигрировал, участвовал в различных антисоветских зарубежных организациях, в частности в торгово-промышленном и финансовом комитете (торгпром).

⁸⁰ **Чхеидзе** Николай (Карло) Семенович (1864—1926) — один из лидеров меньшевиков. Депутат III и IV Государственных дум, председатель фракции меньшевиков в IV Государственной думе. В дни Февральской революции член Временного комитета Думы, председатель исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, председатель ВЦИК I-го созыва. На Государственном совещании в Москве в августе 1917 г. выступил с призывом о консолидации всех контрреволюционных сил в стране против партии большевиков. После Октябрьской революции возглавил контрреволюционный Закавказский сейм, с 1919 г.— председатель буржуазного правительства Грузии, с 1921 г.— в эмиграции, где продолжал антисоветскую деятельность.

⁸¹ Когда доложили, что толпа уже вошла в сквер внутри ограды Таврического дворца и стоит в некоторой нерешительности перед подъездом, в Думе решили выступить перед народом. Протиснуться на ступеньки через уже заполненный подъезд удалось 4-м депутатам Государственной думы: Н. С. Чхеидзе, М. И. Скобелеву, А. Ф. Керенскому и С. И. Шид-

ловскому. Первые трое и выступили с «трафаретными митинговыми резолюционными речами», — как вспоминал позднее Шидловский.

⁸² Задачи Комитета Государственной думы, как и позиция самой Думы, вынужденной идти вслед за революцией, ясно выразилась в их воззваниях. Первое было издано 27 февраля, второе — в 2 часа ночи 28 февраля. В целом позицию Думы в февральские дни передает известная фраза ее председателя М. Родзянко: «Вы нас втащили в это дело — революцию».

⁸³ Бисмарк Отто-Эдуард-Леопольд (1815—1898) — канцлер Германской империи.

⁸⁴ Корнилов Лавр Георгиевич (1870—1918) — генерал, во время первой мировой войны был командиром дивизии, потом армии. После Февральской революции — начальник Петербургского военного округа. После июльских дней назначен главнокомандующим. Ввел смертную казнь на фронте. В августе поднял мятеж с целью установления военной диктатуры в стране. Мятеж был подготовлен при участии Временного правительства, которое сознавало непрочность своего положения. Главная роль в его организации принадлежала кадетам, опиравшимся на крупную буржуазию и монархически настроенный генералитет. Заговорщики были поддержаны представителями Антанты и США, которые боялись развития революции в России и ее выхода из первой мировой войны. Стремясь придать готовившемуся государственному перевороту «законный» характер, Временное правительство созвало 12 августа в Москве Государственное совещание, на котором была принята программа контрреволюционных действий. Генерал Корнилов был торжественно вынесен из зала заседания на улицу к автомобилю на руках. В Ставке главнокомандующего и при фронтовых штабах срочно начали формироваться специальные ударные части; в Петрограде, Москве, Киеве и других крупных городах — офицерские контрреволюционные организации. 25 августа Корнилов направил на Петроград 3-й конный корпус генерала А. М. Крымова в сопровождении английских броневиков, потребовав отставки Временного правительства и выезда Керенского к нему в Ставку, в Могилев. Через два дня кадеты — министры правительства — подали в отставку. Керенский, поняв, во-первых, что Корнилов расправится не только с большевиками, но и с эсерами и меньшевиками, а следовательно, и с ним, и, во-вторых, опасаясь, как бы возмущенные революционные массы, вставшие на защиту Петрограда, не смели вместе с мятежным генералом и его самого, объявил Корнилова изменником и отстранил от должности верховного главнокомандующего.

Организаторами борьбы против реакционного заговора выступили большевики. По призыву ЦК РСДРП (б) 27 августа против мятежников выступили солдаты революционных частей, моряки Балтийского флота, красногвардейцы. За три дня в отряды Красной гвардии записалось более 15 тыс. рабочих. К 30 августа продвижение корниловцев повсюду

было остановлено, в их войсках началось разложение. Генерал Крымов застрелился, генерал Корнилов и поддерживавшие его генералы были арестованы.

31 августа последовало официальное объявление о ликвидации «корниловской эпопеи».

После Октябрьской революции Корнилов, находясь вместе с арестованными генералами в Быхове, бежал на Дон, к поднявшему мятеж атаману А. М. Каледину, где возглавил формировавшуюся там генералом М- В. Алексеевым белую добровольческую армию. Во время ее I кубанского похода («ледяной поход») на Краснодар в 1918 г. был убит разрывом снаряда.

⁸⁵ Караулов Михаил Александрович (1878—1917) — казачий офицер, депутат IV Государственной думы (от Северного Кавказа, с Терка), примыкал к «прогрессистам». В дни Февральской революции — член Временного комитета Государственной думы. С марта 1917 г. — первый выборный атаман Терского казачьего войска, комиссар Временного правительства в Терской области. После Октябрьской революции — председатель контрреволюционного Терско-Дагестанского правительства во Владикавказе. 11 декабря 1917 г. убит революционными солдатами.

⁸⁶ Сцена ареста И. Г. Щегловитова, по воспоминаниям Н. Н. Суханова, выглядела следующим образом. Щегловитов был арестован на своей квартире каким-то студентом, пригласившим с собой для этой цели группу вооруженных солдат. Под их конвоем Щегловитов был доставлен в Государственную думу около 3 часов дня. Его ввели в Екатерининскую залу, куда инициативный студент просил войти А. Ф. Керенского. Вокруг невиданного зрелища собралась толпа любопытных. Царский сановник стоял, низко опустив голову, когда подошедший Керенский декламировал фразу, повторенную им в эти дни не один раз: «Господин Щегловитов, от имени народа объявляю вас арестованными». В это время сквозь толпу протискивалась могучая фигура Родзянко: «Иван Григорьевич, пожалуйста ко мне в кабинет»... Замешательство разрешил студент, заявивший: «Нет, бывший министр Щегловитов отправится под арест, он арестован от имени народа». Керенский и Родзянко несколько минут красноречиво смотрели друг на друга и затем разошлись в разные стороны...

⁸⁷ Хрусталева-Носарь — председатель первого Петроградского Совета во время революции 1905—1907 гг., арестован в 1905 г. Затем перешел на либеральные позиции, сотрудничал в буржуазной прессе. В 1917 г. обронцы безуспешно пытались выдвинуть его кандидатуру в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов.

⁸⁸ Суханов (Гиммер) Николай Николаевич (1882—1940) — экономист, член партии эсеров с 1903 г., с 1917 г. — один из лидеров и теоретиков меньшевиков, редактор их газеты «Новая жизнь» и член Исполкома Петроградского Совета. После Октябрьской революции работал в совет-

ских экономических учреждениях, занимался литературной деятельностью.

⁸⁹ «Пораженцами» называли социалистов-интернационалистов, выступавших против войны с Германией.

⁹⁰ В опубликованных письмах императрицы Александры Федоровны нет и речи ни о каких уступках, более того, она требует расправы не только над революционными массами, но и над депутатами Думы, в частности А. Ф. Керенским. В письме от 24 февраля (из Царского Села) она писала мужу: «Вчера были беспорядки на Васильевском острове и на Невском, потому что бедняки брали приступом булочки. Они вдребезги разнесли Филиппова, и против них вызвали казаков. Я надеюсь, что Керенского из Думы повесят за его ужасную речь — это необходимо (военный закон, военное время), и это будет примером. Все жаждут и умоляют проявить твердость». 25 февраля: «...хулиганское движение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба... Если бы погода была очень холодная, они все, вероятно, сидели бы по домам. Но это все пройдет и успокоится, если только Дума будет хорошо вести себя. Худших речей не печатают, но я думаю, что за антидинастические речи необходимо немедленно и очень строго наказывать, тем более что теперь военное время». 26 февраля: «В городе дела вчера были плохи. Произведены аресты 120—130 человек... Министры и некоторые правые члены Думы совещались вчера вечером... Протопопов писал (в 4 часа утра) о принятии строгих мер, и все они надеются, что завтра все будет спокойно. Те хотели строить баррикады и т. д....» Николай II ответил ей рядом писем и телеграмм, в которых сообщил, что им с фронта посланы войска в революционный Петроград.

⁹¹ В целях овладения государственным аппаратом, за что Временный комитет вел энергичную борьбу, 28 февраля им во все министерства были направлены комиссары — члены Думы: в Министерство внутренних дел — граф Д. П. Капнист, А. М. Масленников, И. Н. Ефремов, М. И. Арфьев; почта — А. А. Барышников, И. К. Черносивов; телеграф — П. П. Тройский, М. Д. Калугин; военное и морское — Н. В. Савич, А. П. Саватеев; земледелия — Н. К. Волков, И. П. Демидов, князь Васильчиков; юстиции — Ю. А. Маклаков, М. С. Адисямов, В. П. Васаков; торговли и промышленности — Н. Л. Ростовцев; финансов — В. А. Виноградов, И. В. Титов; путей сообщений — Бубликов, Добровольский; сенат — П. В. Годнев; Петроградское градоначальство — П. В. Герасимов, В. Н. Пеперяев.

⁹² **Протопопов** Александр Дмитриевич (1866—1918) — сторонник Прогрессивного блока, министр внутренних дел с сентября 1916 г. по февраль 1917 г., пытался вооруженным путем подавить Февральскую революцию. Принимал активное участие в контрреволюционном движении, осужден органами ВЧК.

⁹³ О Сухомлинове см. комментарий № 43.

⁹⁴ Как отметили в своих воспоминаниях Шидловский, Суханов и другие

участники тех событий, Родзянко пытался пробраться в Ставку к Николаю II для организации похода на Петроград верных правительству войск с фронта. Министерство путей сообщения готовило для Родзянко специальный поезд и вело переговоры об этом с представителями Временного комитета Государственной думы.

⁹⁵ **Романов** Кирилл Владимирович (1876—1938)—великий князь, двоюродный брат Николая II, контр-адмирал. В дни Февральской революции с целью завоевания популярности нацелил красный бант, участвовал в демонстрациях. После Октябрьской революции эмигрировал, объявил себя «блюстителем» русского престола и возглавил легитимистское направление русских монархистов за рубежом, 31 августа 1924 г. в Кобурге провозгласил себя «императором всероссийским». Пытался безуспешно сформировать офицерский корпус. Издавал газету «Вера и верность».

⁹⁶ **Рузский** Николай Владимирович (1854—1918) — генерал, в первую мировую войну — командующий армией, затем Северо-Западным и Северным фронтами.

⁹⁷ **Алексеев** Михаил Васильевич (1857—1918) — генерал, из семьи солдата. В 1890 г. окончил Академию Генштаба, участвовал в русско-турецкой и русско-японской войнах. Во время первой мировой войны — командующий фронтом, в марте — мае 1917 г. — врио главнокомандующего, затем начальник штаба Ставки главнокомандующего, выступал против демократизации армии и революционного движения, являлся членом бюро контрреволюционного Совета общественных деятелей. С 30 августа 1917 г. — вновь начальник Ставки (главнокомандующий — А. Ф. Керенский). Прибыв в Могилев, арестовал генерала Л. Г. Корнилова и участвовавших с ним в заговоре генералов (А. И. Деникина, С. Л. Маркова, И. П. Романовского, А. С. Лукомского, И. Г. Эрдели и других), спасая их от расправы революционных солдат; затем отправил их под надежной охраной в Быхов, где они были помещены в «тюрьму», которой стала городская гимназия. После Октябрьской революции бежал на Дон к атаману А. М. Каледину, поднявшему восстание против Советского правительства. Там, в Новочеркасске, куда стекались контрреволюционно настроенные офицеры, создал из них организацию, ставшую ядром белой Добровольческой армии. В декабре 1917 г. — член «триумvirата» (вместе с Л. Г. Корниловым и А. М. Калединым), стоявшего во главе «Донского гражданского совета» — контрреволюционного правительства Донской области. В июне 1918 г. был выдвинут кандидатом в военные диктаторы. 31 августа 1918 г. в Екатеринодаре провозглашен верховным руководителем Добровольческой армии и председателем «Особого совещания» белогвардейского правительства. 8 октября умер в Екатеринодаре.

⁹⁸ **Волков** Николай Константинович (1875—?)—сын купца, кадет, член III и IV Государственных дум, в дни Февральской революции комиссар Временного комитета Думы в военном и морском министерстве.

⁹⁹ **Приказ № 1** Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов по Петроградскому гарнизону был принят 1 марта 1917 г. с целью «демократизации» царской армии. Был разработан специальной комиссией Совета в составе — меньшевика Н. Д. Соколова (председатель), члена Президиума и Исполкома Совета, заместителя председателя солдатской секции и председателя военного отдела Совета большевика А. Д. Садовского, а также А. Падерина, В. Баденко и Ф. Линде; утвержден Исполнительным комитетом, а затем (в этот же вечер 1 марта) и Советом. Приказ состоял из 8 разделов, охватывавших все стороны службы и жизни солдат. Он узаконил самочинно возникшие солдатские комитеты в армии и установил, что воинские части во всех политических выступлениях подчиняются только Совету рабочих и солдатских депутатов и выборным солдатским комитетам. Согласно приказу, оружие должно было находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам. Кроме этого, приказ наделил солдат гражданскими правами, поставил их в равное положение с офицерами вне службы и строя, воспретил грубое обращение с солдатами, отменял титулование. Тем самым Приказ № 1 вырвал армию из рук буржуазии и создавал возможность превратить ее из орудия контрреволюции в орудие революционных масс.

¹⁰⁰ **Энгельгардт** Борис Александрович — полковник, националист, затем октябрист, член IV Государственной думы, член военной комиссии Временного комитета Думы. После Февраля был близок к корниловским кругам. После Октябрьской революции вел активную контрреволюционную деятельность, с лета 1918 г. служил в «Осваге» («Осведомительное агентство») при «Особом совещании» генерала А. И. Деникина.

¹⁰¹ **Терещенко** Михаил Иванович (1886—1956)— крупный землевладелец, капиталист-сахарозаводчик, финансист, председатель киевского военно-промышленного комитета. Примыкал к партии прогрессистов. После Февральской революции, с 2 марта 1917 г. — министр финансов Временного правительства, с 5 мая (после отставки П. Н. Милюкова) — министр иностранных дел, проводил политику продолжения войны «до победного конца». В ночь на 26 октября 1917 г. арестован в Зимнем дворце вместе с другими министрами Временного правительства, затем освобожден, эмигрировал, принимал участие в организации военной интервенции против Советской России, с мая 1921 г. член торгово-промышленного и финансового комитета (торгпром).

¹⁰² Военно-промышленные комитеты были организованы в 1915 г. с целью организации работы для обороны. Фактически же комитеты занимались распределением заказов между промышленниками и служили органами консолидации промышленной буржуазии и ее воздействия на правительственный аппарат. Председателем центрального Военно-промышленного комитета был А. И. Гучков.

¹⁰³ В. В. Шульгин называет только трех представителей Совета рабо-

чих и солдатских депутатов, участвовавших в переговорах с членами Временного комитета Государственной думы. По другим источникам в этих переговорах, кроме названных, участвовало еще два депутата Совета — это Чхеидзе и Филипковский.

¹⁰⁴ **Стеклов** (Нахамкес) Юрий Михайлович (1873—1941) — социал-демократ, публицист. Работал в Одессе, в 1899 г. бежал за границу, член группы «Борьба», в 1905 г. вернулся в Россию, активный участник революции 1905—1907 гг., затем — снова в эмиграции. Во время Февральской революции — член Исполкома Петроградского Совета, стоял на позиции «революционного оборончества», затем перешел на позиции интернационализма. Участник Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, редактор газеты «Известия», журналов «Новый мир» и «Красная нива». Был членом Президиума ВЦИК, ЦИК СССР.

¹⁰⁵ Собравшимися в здании «Армии и флота» офицерами была принята 1 марта 1917 г. следующая резолюция: «Офицеры, находящиеся в Петрограде, идя рука об руку с народом и собравшись по предложению Исполнительного комитета Государственной думы, признавая, что для победоносного окончания войны необходима скорейшая организация народа и дружная работа в тылу, единогласно постановили: «Признать власть Исполнительного Комитета Государственной думы впредь до созыва Учредительного собрания».

¹⁰⁶ **Острожские** — западнорусский княжеский род, затем литовские и польские князья. Первым исторически известным князем Острожским был Даниил, участвовавший в 1340-х гг. в борьбе против польского короля Казимира III, захватившего позднее Галицкую Русь и Подолию. Родовое имя — Острог. Князья прославились защитой православного населения от окатоличивания и полонизации. В начале XVII в. род пресекался.

¹⁰⁷ **Рейн** Георгий Ермолаевич — землевладелец, доктор медицины, профессор Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, профессор Киевского университета. Член II Государственной думы, правый.

¹⁰⁸ **Лукашевич** Степан Владимирович (1862—?)—землевладелец, лейтенант в отставке, председатель золотоношской земской управы Полтавской губернии, октябрист, член II Государственной думы.

¹⁰⁹ 3 июня 1907 г.— «третьеиюньский переворот», в этот день был издан новый избирательный закон в Государственную думу. Его целью являлось уменьшение числа оппозиционных депутатов и увеличение представителей землевладельцев. В связи с этим ряд городов был лишен права выбора депутатов, а в остальных — избиратели были разделены на 2 курии: собственников торгово-промышленных предприятий и домовладельцев, с одной стороны, и всех остальных граждан — с другой. 3 июня 1907 г. знаменовало наступление реакции после поражения революции 1905—1907 гг.

¹¹⁰ **Круленский** Павел Николаевич (?) — крупный землевладелец, монархист, крайне правый, член II Государственной думы. После Октябрьской революции эмигрировал, один из организаторов проведения съезда монархистов в Рейхенгалле (Германия) в 1921 г., член Высшего монархического совета.

¹¹¹ **Гегечкори** Евгений Петрович (1881—1954)—меньшевик, депутат III Государственной думы, один из лидеров социал-демократической фракции. После Февральской революции член Особого Закавказского комитета буржуазного Временного правительства и член Президиума Тифлисского Совета. После Октябрьской революции — председатель «Закавказского комиссариата — буржуазного правительства на Кавказе, с мая 1918 г.— министр иностранных дел меньшевистского правительства в Грузии. В марте 1921 г. эмигрировал во Францию, лидер грузинской политической эмиграции.

¹¹² Архиепископ Антоний — церковный деятель и писатель. Сын новгородского помещика и генерала. До монашества — Алексей Павлович Храповицкий, с 1902 г.— архиепископ Волынский. Боролся со всеми проявлениями революционно-освободительного движения.

¹¹³ Архимандрит Виталий — настоятель Почаевской лавры, призывал к борьбе против революции.

¹¹⁴ «Союз русского народа» — крайне правая, черносотенная организация русских монархистов, созданная в 1905 г. для борьбы с революционным движением в стране. Устраивала погромы, принимала участие вместе с жандармерией в разгоне демонстраций, в подавлении рабочих забастовок. По социальному составу была довольно разношерстна: в нее входили представители помещиков, чиновничества, мелкой буржуазии города и зажиточного крестьянства.

¹¹⁵ **Бугай** — не установленная личность.

¹¹⁶ А. И. Гучков привез с собой проект манифеста об отречении. В Ставке был сначала заготовлен проект манифеста об отречении в пользу Алексея, потом был составлен новый — об отречении в пользу вел. кн. Михаила Александровича.

¹¹⁷ Буржуазия придавала огромное значение манифесту об отречении и всячески пыталась удержать этот акт в своих руках.

¹¹⁸ В. Набоков, пришедший на Миллионку уже после совещания «с общественными деятелями» в третьем часу, несколько иначе вспоминает обстановку: «На лестнице дома № 12 стоял караул Преображенского полка. Ко мне вышел офицер, я себя назвал, он ушел за инструкциями и, тотчас же вернувшись, пригласил меня наверх».

¹¹⁹ В. В. Шульгин не указывает М. А. Караулова и П. В. Годнева. О них упоминает, среди названных Шульгиным, Милоков в своих воспоминаниях. (История второй русской революции, т. I, с. 54). Что касается Бубликова, то последний в это время находился в Министерстве путей сообщения, где был скопирован акт об отречении, и на Миллион-

ную копию привез Лебедев, который и находился среди присутствующих.

¹²⁰ В. В. Шульгин явно идеализирует вел. кн. Михаила, брата Николая II, в пользу которого последний отрекся. А между тем вел. кн. развил в февральские дни активную деятельность. Был обо всем осведомлен, хорошо ориентировался в обстановке и, находясь все время в контакте с Родзянко, пытался помочь ему в осуществлении программы Прогрессивного блока и спасти монархию. Совершенно неверно, что вел. кн. появился в Петрограде лишь 3 марта. По вызову Родзянко Михаил приехал из Гатчины туда еще 27 февраля и сразу же принял участие в совещании, на котором присутствовали Родзянко, Некрасов, секретарь Думы Дмитриуков и член Думы Савич. Речь шла об установлении военной диктатуры в Петрограде. Затем приехал в Зимний дворец, где встречался с Хабаловым и другими генералами. 1 марта — вел переговоры с английским послом Бьюкенсом. Учитывая революционную обстановку тех дней, возможно, что он и не уезжал из города вплоть до своего отречения — 3 марта. Расстрелян на Урале в июне 1918 года.

¹²¹ По свидетельству Шидловского, вместе с Родзянко был приглашен и князь Львов.

¹²² Первоначальный текст акта об отречении Михаила был написан Некрасовым. Но этот проект, по воспоминаниям Милокова, был «очень слаб и неудачен». Для его редактирования был вызван Набоков, который, в свою очередь, предложил пригласить и Нольде. К ним уже присоединился и Шульгин. Ими троими и был написан манифест нового отречения.

¹²³ Манифест об отречении Михаила был составлен таким образом, чтобы, с одной стороны, оставить открытой дорогу к престолу другим членам семьи Романовых, с другой — усилить Временное правительство правыми группировками и привлечь к нему либерально-буржуазные группы. Это было по достоинству оценено лидером кадетов Милоковым. В связи с этим Набоков отмечал, что «этот текст удовлетворил и, кажется, послужил окончательным толчком, побудившим его остаться в составе Временного правительства».

1920

¹ **Драгомиров** Александр Михайлович — генерал, участник первой мировой войны, командующий армией. После Октябрьской революции уехал на Дон, к генералам М. В. Алексееву и Л. Г. Корнилову, формировавшим белую Добровольческую армию; являлся одним из заместителей председателя «Особого совещания» при ее верховном руководителе, после смерти генерала Алексеева — стал председателем «Особого совещания», превратившегося в «правительство — при главкоме «всеми силами юга России» (ВСЮР) генерале А. И. Деникине.

² Шульгин преувеличивает изначально «чистоту» белого движения,

которое с самого начала носил ярко выраженный монархический, классовый характер и отличалось проявлением жестокости не только к комиссарам, командирам и солдатам Красной армии, но и к мирным жителям. Еще зимой 1928 г., накануне выступления в поход на Екатеринодар, генерал Л. Г. Корнилов, выступая перед добровольцами, провозгласил лозунг: «Пленных не брать!» По воспоминаниям самих участников «белого движения», у добровольцев перед взятием той или иной деревни «начинало ломить в груди от предстоящей мести». И так было с самого начала и до самого конца гражданской войны.

³ «Вольноперы» — вольноопределяющиеся белой Добровольческой армии.

⁴ Речь идет о мобилизации в армию. Первоначально Красная Армия строилась на добровольческих началах, затем, с расширением масштабов гражданской войны и иностранной интервенции, — на основе обязательной воинской повинности. Постановлением ВЦИК от 29 мая 1918 г. было объявлено об обязательном наборе в армию. На основании декретов 11, 17 и 29 июня объявлялся призыв на военную службу рабочих и трудящихся крестьян в 51 уезде Приволжского, Уральского и Западно-Сибирского Военных округов — в районах белочехословацкого и белогвардейского восстания, а также в Москве и Петрограде. Пятый Всероссийский съезд Советов в июле 1918 г. законодательно закрепил в принятой им 1-й советской Конституции всеобщую обязательную воинскую повинность трудящихся в возрасте от 18 до 40 лет. Белогвардейские армии также формировались на основе мобилизаций, причем в отношении рабочих и крестьян применялись насильственные мобилизации, под страхом расстрела. В 1919—1920 годах проводились насильственные мобилизации даже среди военнопленных. Последними докомплектовывались и такие известные белогвардейские дивизии, как корниловская и дроздовская. Генерал А. В. Туркул, начальник дроздовской дивизии, вспоминал: «Батальон шел теперь на красных без офицеров. Одни солдаты, все из пленных красноармейцев, теснились толпой в огонь. Мне казалось, что это бред моей тифозной горячки, как идет в огне толпой, без цепей, наш второй батальон, как наши стрелки поднимают руки, как вбивают в землю винтовки штыками, приклады качаются в воздухе. Никогда, ни в одном бою у нас не было сдачи скопом. Это был конец...»

⁵ **Степанов В. А.** (?—1920) — монархист-конституционалист, член ЦК партии кадетов. После Февральской революции товарищ министра торговли и промышленности Временного правительства. После Октябрьской революции активный участник контрреволюционного движения: член Учредительного собрания, вел агитацию в Петрограде, организовывал финансирование офицерских отрядов, отправлявшихся на Дон в Добровольческую армию, член кадетско-монархического «Правого центра» и контрреволюционного «Союза возрождения России», один из руководителей кадетского Национального центра, затем один из идеологов дени-

кинской диктатуры, поддерживал Врангеля. Эмигрировал, являлся членом Парижской группы партии кадетов.

⁶ **Деникин Антон Иванович** (1872—1947)—из семьи офицера, выпускник Академии Генштаба 1899 г, примыкал к кадетам. Участник первой мировой войны, после Февральской революции — в апреле — мае 1917 г.— начальник штаба верховного главнокомандующего, командующий войсками Западного и Юго-Западного фронтов, участник контрреволюционного корниловского мятежа, арестован. После Октябрьской революции бежал из Быхова, где находился вместе с генералом Л. Г. Корниловым, на Дон, был избран членом «Донского гражданского совета» — местного правительства, один из активных организаторов Добровольческой армии. С 13 апреля 1918 г. стал ее командующим, с 8 октября — главнокомандующим, с 8 января 1919 г.— главнокомандующим всеми «вооруженными силами Юга России» (ВСЮР), 4 января 1920 г.— объявлен А. В. Колчаком «верховным правителем» России. Установил на захваченных территориях военную диктатуру буржуазно-помещичьих правительств: первоначально — «Особого совещания», одним из организаторов и членов которого являлся В. В. Шульгин, затем — «правительства при главнокомандующем ВСЮР», и, наконец, «Южно-русского правительства». После разгрома белогвардейских армий с остатками войск эвакуировался в Крым, 4 апреля 1920 г. объявил своим преемником генерала П. Н. Врангеля и эмигрировал, отошел от политической деятельности, жил в Лондоне, занимался литературной деятельностью. Во время нападения фашистской Германии на СССР выразил уверенность, что «русская армия» разобьет захватчиков.

⁷ **Врангель Петр Николаевич** (1878—1928) — дворянин, барон, окончил Горный институт в 1901 г., участвовал в русско-японской войне, в 1910 г. окончил Академию Генштаба, во время первой мировой войны — командир кавалерийского корпуса, генерал-майор. После Октябрьской революции уехал в Крым, в августе 1918 г. вступил в Добровольческую армию, генерал-лейтенант, командовал кавалерийским корпусом, с января 1919 г.— Кавказской Добровольческой армией (с мая — Кавказская армия), в декабре 1919 г.— январе 1920 г.— Добровольческой армией. За критику главкома А. И. Деникина снят с должности и отправлен за границу. С 4 апреля 1920 г.— главком ВСЮР, с 11 мая — главком «Русской армии», установил в Крыму и Северной Таврии (юг Украины) режим военной диктатуры. После разгрома «Русской армии» эвакуировался с ее остатками в ноябре 1920 г. в Константинополь. Но сразу же поставил вопрос о возобновлении вооруженной борьбы: в ноябре провел первое совещание военачальников на крейсере «Генерал Корнилов» в Босфорском проливе, 26 декабря направил командирам корпусов секретное предписание о тайном сохранении оружия, издал специальное распоряжение о фомировании офицерских союзов, на основании которых в 1924 г. создал «Русский общевойсковой союз» (РОВС), насчитывавший, по некоторым данным, до 100 тыс. членов — бывших офицеров, насильноопределяющихся. Возглавляя РОВС,

пытался проводить диверсии и террористические акты на советской территории, разрабатывал планы войны против СССР.

⁸ Шиллинг Дмитрий Иванович — белогвардейский генерал, командующий деникинскими войсками на Правобережной Украине, защищавшими Херсон, Николаев, Одессу в конце 1919 г.— начале 1920 г.

⁹ Романовский Иван Павлович (1877—1920)—дворянин, выпускник Академии Генштаба, участник первой мировой войны, генерал-квартирмейстер в Ставке верховного главнокомандующего, генерал-майор. После Февральской революции — участник заговора Корнилова, после Октябрьской революции — бежал вместе с ним на Дон. С февраля 1918 г.— начальник штаба Добровольческой армии, с января 1919 г. до апреля 1920-го — начальник штаба ВСЮР, член Особого совещания при генерале Деникине. Эмигрировал, 18 апреля 1920 г. убит в Константинополе белогвардейским офицером.

¹⁰ Под Кубанью имеется в виду Новороссийск, который, как и Одесса, являлся портом, куда устремлялись отступающие белогвардейские войска и откуда они эвакуировались в Крым и в Константинополь.

¹¹ «Осважник» — работник ОСВАГа — крупнейшего идеологическо-диверсионного центра белого движения. Создан летом 1918 г. при Добровольческой армии, просуществовал до марта 1920 г. К осени 1919 г. располагал штабом свыше 10 тыс. человек, работавших в различных пунктах страны и за рубежом. Возглавляли поочередно кадеты: С. С. Чахотин, Н. Е. Парамонов, К. Н. Соколов.

¹² «Живто-блакитный» флаг — флаг самостийной «Украинской народной республики», украинских националистов.

¹³ Полковник Мамонтов — неустановленная личность.

¹⁴ Речь идет о том, что в ходе классовой борьбы масса средних слоев населения — крестьяне, мелкие хозяйчики, торговцы — своей политики, в силу классовой двойственности и промежуточного положения, иметь не могут и попадают то в лагерь пролетариата, то — буржуазии. В последнем случае она резко увеличивает социальную базу контрреволюции. Поэтому, сравнивая ее образно с армиями Деникина и Колчака, В. И. Ленин указывал, что она страшнее их вместе взятых (ПСС, т. 43, с. 24, 26, 28).

¹⁵ Генерал Васильев — неустановленная личность.

¹⁶ Котовский Григорий Иванович (1881—1925)—легендарный герой гражданской войны, командир кавалерийской бригады, прославившейся в 400-километровом походе от Днестра до Житомира в 1919 г., в боях при освобождении Тирасполя и разгроме петлюровцев в 1920 г.

¹⁷ «Мы большевики, а не коммунисты»,— довольно распространенное непонимание соотношения понятий «большевизма» и «коммунизма» у представителей мелкобуржуазных слоев, участвовавших в борьбе за Советскую власть в годы гражданской войны.

¹⁸ Румынский генерал Коанда — неустановленная личность.

¹⁹ Одинец Д. М.— киевский деятель, украинский министр при Петлюре, эмигрировал, был связан с Б. Савинковым, участвовал в формировании ударных отрядов для переброски на советскую территорию.

²⁰ Шульгин явно раздвигает временные рамки и преувеличивает масштабы «красного террора». Последний широко был применен лишь осенью 1918 г., после убийства М. С. Урицкого и покушения на В. И. Ленина. С начала 1919 г. он применялся как исключительная мера.

²¹ Разъяснение из Харькова. Здесь имеется в виду то, что Украинская Социалистическая Советская Республика своим политическим центром имела Киев, затем — Харьков (после освобождения Украины в начале 1919 г. от петлюровцев и интервентов, а также с декабря 1919 г., после освобождения города от деникинцев). Там находилось Украинское Советское правительство и другие учреждения.

²² Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) —советский государственный деятель, нарком просвещения РСФСР с ноября 1917 до 1929 г., академик АН СССР. Начиная с первых дней Октябрьской революции активно боролся за сплочение старой интеллигенции на платформе признания Советской власти и сотрудничества с ней. Один из теоретиков реформы народного образования, перестройки театра, кино, издательского дела.

²³ Орлеанская дева — Жанна д'Арк (1412—1431)—народная героиня Франции, в ходе Столетней войны (1337—1453) возглавила борьбу против английских захватчиков, в 1429 г. освободила Орлеан. Обвиненная в ереси, сожжена в Руане на костре. В 1920 г была канонизирована церковью.

²⁴ Ф. А. М.— неустановленная личность.

²⁵ «Еврейская власть» — довольно распространенное заблуждение в российских монархических кругах, что революция в России — дело рук евреев, что власть в Советской России принадлежит евреям.

²⁶ Ирина Васильевна. Шульгин указывает, что это не настоящее имя. Личность не установлена.

²⁷ В. А. Л., Владимир Александрович Л.— неустановленная личность.

²⁸ Вертинский Александр Николаевич (1889—1957) — русский советский артист, певец, поэт, композитор. Начал сниматься в кино с 1912 г. (фильм «Чем люди живы»). В 1919 г. эмигрировал, выступал как шансонье в различных странах, был популярен в эмигрантских кругах. В 1943 г. вернулся на Родину, выступал на эстраде, снимался в кино, лауреат Государственной премии (1951).

²⁹ Слашев Яков Александрович (1885—1929)—из семьи офицера, выпускник Академии Генштаба, участник первой мировой войны, полковник. После Октябрьской революции — один из организаторов контрреволюции на Северном Кавказе, начальник штаба казачьего отряда А. Г. Шкуро, затем — в Добровольческой армии, генерал-лейтенант.

С декабря 1919 г., будучи командиром 2-го армейского корпуса, руководил обороной Крыма (до апреля 1920 г.), затем вел бои в Северной Таврии. Получил прозвище «Крымский». «Прославился» жестокими расправами с революционными выступлениями в Екатеринославе, Николаеве и городах Крыма. Был прозван в народе «вешатель Крыма».

В августе 1920 г. за критику генерала П. Н. Врангеля был отстранен последним от должности и выслан в Константинополь, затем был судим офицерским судом и разжалован в рядовые. Осенью 1921 г. в порядке частичной амнистии вернулся с группой генералов и офицеров в Советскую Россию и обратился с письмом к оставшимся в эмиграции офицерам и солдатам о прекращении борьбы и возвращении на Родину. Преподавал на курсах командующего состава «Выстрел». Был застрелен родственником повешенного им в Крыму солдата.

³⁰ Речь идет об офицерском выступлении, организованном капитаном Орловым, которое ставило своей целью немедленную замену генерала Деникина генералом Врангелем. В этом «бунте» активное участие принимали такие крайне монархические элементы, как герцог Лейхтенбергский, князь Бебутов и другие. Хотя Врангель и открестился от Орлова, думается, оно было подготовлено не без участия врангелевцев — генералов Лукомского, Шатилова, Шиллинга, Слащева и других, которые с начала 1920 г. резко активизировали свою «антиденикинскую» деятельность, с момента откомандирования Врангеля без должности к ним в Крым. В феврале 1920 г. Врангель в связи с «бунтом» Орлова был совсем уволен со службы и уехал в Константинополь.

³¹ Речь идет о так называемых «мобилизациях буржуазии» на трудовой фронт, которые проводились соответственно решению ВЦИК от 29 мая 1918 г. об обязательном наборе в армию. В июне 1918 г. специальными декретами (11, 17 и 29 июня) объявлялся призыв на военную службу рабочих и трудящихся крестьян. Из призывных же возрастов буржуазии формировались отдельные батальоны, роты и команды, предназначенные для строительных, дорожных и других работ, необходимых для нужд армии и тыла.

³² **Павел I** (1754—1801) — российский император, сын Петра III и Екатерины II. Ввел в стране военно-полицейский режим, в армий — прусские порядки, был склонен к самодурству, убит в результате дворцового заговора.

³³ **Вера Михайловна** — неустановленная личность.

³⁴ «**Веди**» — таким псевдонимом В. В. Шульгин подписывал свои письма и шифровки, направляемые «Слову» — нужному адресату — в годы гражданской войны, когда действовала созданная им самим информационная сеть «Азбука», которую он поставил на службу генералу Деникину.

³⁵ **Кривошеин** Александр Васильевич (1857—1921) — русский государственный и политический деятель, член Государственного совета, в начале своей деятельности — крайне правый. После Октябрьской револю-

ции — один из организаторов контрреволюционного «Правого центра», в сентябре 1918 г. бежал в Киев, где участвовал в создании монархического Совета государственного объединения России (СГОР), являлся товарищем его председателя. С конца 1919 г. (после захвата Киева петлюровцами и переездом СГОР в Одессу) — в «Правительстве при главнокомандующем ВСЮР» генерала Врангеля, председатель «Правительства юга России». Белоэмигрант.

³⁶ Варвара Петровна — неустановленная личность.

³⁷ Петров — неустановленная личность.

³⁹ «Лукулл» — яхта, на которой после разгрома белогвардейских армий в Крыму и их эвакуации в Турцию Врангель держал свою Ставку. Находился на ней в Босфорском заливе вплоть до переезда в Югославию, в Сремски Карловцы в конце 1921 г.

³⁹ Саблин Николай Петрович (?) — адмирал, член правительства генерала Врангеля, начальник морского управления и командующий черноморским белогвардейским флотом. Был смещен с должности и заменен контр-адмиралом М. А. Кедровым.

⁴⁰ Речь идет о новой политике в отношении крестьянства и рабочих, которую проводило правительство Врангеля по сравнению с прежней политикой Деникина. Когда последний уволил Врангеля со службы и выслал его в феврале 1920 г. в Константинополь, тот, по его словам, «в одном из бесчисленных кафе» проводил встречи с бывшим царским министром А. В. Кривошеиным, П. Б. Струве и другими общественными и политическими деятелями октябристского и правокадетского толка. Они разрабатывали новую политическую линию, которая могла бы спасти разваливающуюся белогвардейщину. Именно тогда она и получила название — «левая политика правыми руками», которую проводил Врангель в Крыму. Ее смысл сводился к следующему: правые, в основном монархо-октябристские элементы, группирующиеся вокруг СГОРа, и составившие правительство и окружение Врангеля, демонстрируют свое желание идти навстречу трудящимся массам, осуществляя их требования, в том числе и прежде всего в аграрном вопросе. Фактически это была попытка возрождения несколько модернизированной столыпинской, третьеиюньской политики.

⁴¹ Бернацкий Михаил В. — известный финансист, кадет, в годы гражданской войны — в белогвардейских правительствах: министр финансов «Южно-русского правительства», созданного А. И. Деникиным, председатель последнего деникинского правительства, просуществовавшего с 30 марта до 4 апреля 1920 г., до назначения генерала Врангеля преемником предшествующего главнокомандующего. Эмигрировал, был вице-председателем совета «Объединения деятелей русского финансового ведомства».

⁴² Проводя «левую политику правыми руками», Врангель надеялся, что крестьянство поддержит его режим и начнет активно бороться против

Советов. Как показывают дальнейшие события, эти надежды не оправдались, крестьянство не поддержало врангелевский режим.

⁴³ Год мирного завоевания Константинополя. Речь идет об эвакуации туда белогвардейских войск и беженцев из Крыма. Буквально за 5 ноябрьских дней 1920 г. к берегам Турции прибыло около 150 тыс. эмигрантов, 70 тыс. из которых являлись офицерами и солдатами врангелевской армии. Эвакуированные воинские части были сведены в три корпуса и размещены в лагерях на полуострове Галлиполи, на острове Ломнос и в районе Чатаджи, в 50 км от Константинополя. Гражданских лиц разместили в 10 лагерях вокруг города, затем свели в четыре — на острове Холке, в Тузле, Селине (Скубари) и Бернадоре (Сан-Стефано). Бедственное положение и невыносимые условия в лагерях толкали людей на самые крайние пути добывания средств к существованию — от бандитизма до проституции. В фильме «Бег», снятом по одноименному произведению М. Булгакова, довольно красочно изображена жизнь эмигрантов в этом городе.

⁴¹ **Петр Михайлович** — неустановленная личность.

⁴⁵ **Атапорк Мустафа**, Кемаль-паша (1881—1938) —руководитель национально-освободительной революции в Турции в 1918—1923 годах, первый президент Турецкой республики. Сомнительно, чтобы Кемаль-паша рассматривал применение врангелевских войск в своих планах, о чем пишет Шульгин. Прежде всего, Кемаль дружески относился к Советскому правительству, а затем — турецкие власти с самого начала «поселения» русских на своей территории добивались от держав Антанты решения вопроса о расселении их в других странах, что и было сделано к концу 1921 г.

⁴⁶ Речь идет о воззвании бывшего генерала А. А. Брусилова, с которым он обратился к русскому офицерству встать на защиту Родины во время польского наступления в 1920 г.

⁴⁷ «Горсточка белых» — среди некоторых эмигрантских кругов было широко распространено мнение о героизме белогвардейских офицеров, носителей «белой идеи», которые, несмотря на подавляющее якобы превосходство Красной Армии, вступили в неравную борьбу и сопротивлялись почти три года.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Дмитрий Жуков. Жизнь и книги В. В. Шульгина.</i> . . .	3
Дни.	73
1920.	283
Комментарии.	531

ШУЛЬГИН Василий Витальевич
ДНИ. 1920

Редактор *Л. М. Исаева*
Художественные редакторы *Г. Г. Саленков, А. Ю. Никулин*
Технический редактор *В. М. Котова*
Корректор *Т. М. Воротникова*

ИБ № 5622

Сдано в набор 01.11.88. Подписано к печати 09.02.89. Формат 84х108/32.
Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. краск.-отг. 29,4.
Усл. печ. л. 29,4. Уч.-изд. л. 32,86. Тираж 200 000 экз. Заказ 2431.
Цена 5 руб.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР.
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат
детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госком-
издата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

